АССОЦИАЦИЯ «ЛЕРМОНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД «ДОРОГА ЖИЗНИ»

Ежегодный альманах

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

XXI век

2018–2019 год

ПОСВЯЩАЕТСЯ
памятным датам классиков отечественной поэзии

250-летию И. А. КРЫЛОВА
220-летию А. С. ПУШКИНА
200-летию И. С. ТУРГЕНЕВА
150-летию З. Н. ГИППИУС
130-летию А. А. АХМАТОВОЙ
120-летию Н. Н. ТУРОВЕРОВА
120-летию И. И. САВИНА
100-летию Н. И. ГЛАЗКОВА
100-летию Н. П. МАЙОРОВА
100-летию А. И. ФАТЬЯНОВА
100-летию Н. И. ТРЯПКИНА
95-летию Н. К. СТАРШИНОВА
90-летию А. Д. ДЕМЕНТЬЕВА
90-летию В. Н. СОКОЛОВА

а также светлой памяти ушедших поэтов

Надежды БОЛТЯНСКОЙ
Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ
Глеба ГОРБОВСКОГО
Леонида КОЛГАНОВА
Алексея КОРОЛЁВА
Анны САЕД-ШАХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Издательство «Любавич»
2019

УДК 050.9+821.161.1+82-822
ББК 84(2Рос=Рус)6+94.3
Д34

РЕДАКТОРАТ, РЕДКОЛЛЕГИЯ И ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ АЛЬМАНАХА «ДЕНЬ ПОЭЗИИ — XXI ВЕК. 2018–2019 ГОД» ОТ ЛИЦА ВСЕХ АВТОРОВ БЛАГОДАРЯТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД «ДОРОГА ЖИЗНИ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ВЫПУСКЕ АЛЬМАНАХА

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

День поэзии — XXI век. 2018–2019 год.
Д34 Альманах: стихи, статьи. — Санкт-Петербург:
Издательство, «Любавич» 2019. — 536 с.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:
Андрей ШАЦКОВ
Геннадий КРАСНИКОВ — выпускающий главный редактор

КЛУБ ГЛАВНЫХ РЕДАКТОРОВ:
Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Валерий ДУДАРЕВ (Москва)
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН (Петрозаводск)
Сергей МНАЦАКАНЯН (Москва)
Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

Редакционная коллегия:
Валерий ДУДАРЕВ (председатель)
Лев АННИНСКИЙ
Александр КАЗИНЦЕВ
Виктор КИРЮШИН
Евгений МИНИН (Иерусалим)
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН (составитель)
Владимир ХОХЛЕВ (Санкт-Петербург)

Попечительский совет:
Михаил ЛЕРМОНТОВ (председатель)
Дмитрий МИЗГУЛИН (Санкт-Петербург) (сопредседатель)
Максим ЗАМШЕВ (сопредседатель)
Виктор ЛИННИК
Ваентина РЫБАКОВА (Санкт-Петербург)
Александр СОКОЛОВ
Оксана ШЕЙКИНА (Брянск, Овстуг)

Издательство зарегистрировано в
Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране памятников культурного наследия.
Рег. ПИ № ФС77-25467 от 25 августа 2006 г.

ISBN

© Ассоциация «Лермонтовское наследие», составление, 2019
© Коллектив авторов, 2019
© Издательство «Любавич», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ
Ивану КРЫЛОВУ - 250 ЛЕТ
Юнна МОРИЦ 8
Геннадий КРАСНИКОВ 9

Александру ПУШКИНУ - 220 ЛЕТ
Владислав ХОДАСЕВИЧ 14

ИВАНУ ТУРГЕНЕВУ - 200 ЛЕТ
Константин БАЛЬМОНТ 20

ПОЭЗИЯ
Влада АБАИМОВА 25
Мария АВВАКУМОВА 26
Анатолий АВРУТИН 28
Владимир АЛЕЙНИКОВ 30
Николай АЛЕШКОВ 32
Сергей АЛИХАНОВ 33

ЮБИЛЕЙ
Льву АННИНСКОМУ – 85 лет
Владимир ХОХЛЕВ, Андрей ШАЦКОВ 35

ПОЭЗИЯ
Андрей АНТОНОВ 39
Наталья АРИШИНА 41
Вячеслав АР-СЕРГИ 42
Владислав АРТЁМОВ 44
Евгений АРТЮХОВ 46
Сергей АРУТЮНОВ 47

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Анне АХМАТОВОЙ – 130 ЛЕТ
Любовь КАЛЮЖНАЯ 50

ПОЭЗИЯ
Алексей АХМАТОВ 54
Людмила АШЕКО 55
Денис БАРАМЗИН 56
Юрий БАРАНОВ 58
Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ 59
Юрий БЕЛИКОВ 60
Андрей БЕНИАМИНОВ 61
Ефим БЕРШИН 62
Владимир БЕРЯЗЕВ 64
Игорь БЕХТЕРЕВ 66
Александр БОБРОВ 67

ПАМЯТИ ПОЭТА
Надежда БОЛТЯНСКАЯ
Анастасия ЕРМАКОВА 69

ПОЭЗИЯ
Игорь БОЛЫЧЕВ 72
Марина БОРОДИЦКАЯ 74
Николай БОРСКИЙ 76
Николай БО́ШИНЦЕВ 77
Владимир БОЯРИНОВ 78
Владислава БРОНИЦКАЯ 79
Татьяна БРЫКСИНА 81
Олег БУДИН 82
Елена БУЕВИЧ 84
Михаил БЫЛЫХ 85

ПАМЯТИ ПОЭТА
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Павел БАСИНСКИЙ 86

ПОЭЗИЯ
Вячеслав ВАСИН 87
Владимир ВЕДЯКИН 89
Виктор ВЕРСТАКОВ 90
Андрей ВЕРЕНОК 92
Евгений ВИТКОВСКИЙ 93
Игорь ВОЛГИН 95
Николай ВОЛЖЕНЦЕВ 97
Наталия ГАШЕВА 98

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Зинаиде ГИППИУС – 150 ЛЕТ
Георгий АДАМОВИЧ 99

Николаю ГЛАЗКОВУ – 100 ЛЕТ
Геннадий КРАСНИКОВ 103

ПОЭЗИЯ
Николай ГЛУМОВ 111
Юрий ГОДОВАНЕЦ 113
Александр ГОЛУБЕВ 114
Екатерина ГОРБОВСКАЯ 115

ПАМЯТИ ПОЭТА
Глеб ГОРБОВСКИЙ
Геннадий КРАСНИКОВ 116

ПОЭЗИЯ
Александр ГОРОДНИЦКИЙ 119
Наталья ГРАНЦЕВА 121
Татьяна ГРАУЗ 122
Вера ГРИБНИКОВА 124
Лидия ГРИГОРЬЕВА 125
Корней ГУДКОВ 126
Евгений ДАНИЛОВ 127

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Андрею ДЕМЕНТЬЕВУ – 90 ЛЕТ
Сергей МНАЦАКАНЯН 128

ПОЭЗИЯ
Александр ДЕНИСЕНКО 131
Ирина ДЕНИСОВА 133
Карен ДЖАНГИРОВ 134
Сергей ДМИТРИЕВ 135

Сергей ДОНБАЙ 136
Валерий ДУДАРЕВ 137
Борис ЕВСЕЕВ 138
Ольга ЕРМОЛАЕВА 140
Иван ЕРПЫЛЁВ 142
Елена ЖАМБАЛОВА 143
Варвара ЗАБЛИЦКАЯ 145
Николай ЗАИКИН 147
Максим ЗАМШЕВ 149
Вера ЗУБАРЕВА 150
Геннадий ИВАНОВ 152
Константин ИВАНОВ 153
Елена ИВАНОВА-ВЕРХОВСКАЯ 155
Наталья ИВАНОВА 156
Александр ИВУШКИН 158
Илья ИКОННИКОВ 159
Дарья ИЛЬГОВА 160
Елена ИСАЕВА 162
Юрий ИШКОВ 164
Юрий КАБАНКОВ 165
Инна КАБЫШ 167
Вечеслав КАЗАКЕВИЧ 169
Юрий КАЗАРИН 170
Александр КАЗИНЦЕВ 172
Геннадий КАЛАШНИКОВ 174
Григорий КАЛЮЖНЫЙ 176
Наталья КАМЫШОВА 177
Андрей КАНАВЩИКОВ 178
Бахытжан КАНАПЬЯНОВ 181
Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА 182
Александр КАРПЕНКО 183
Вячеслав КАРТАШОВ 184
Светлана КЕКОВА 185
Михаил КИЛЬДЯШОВ 187
Руслан КИРЕЕВ 189
Алла КИРИЛЛОВА 191
Виктор КИРЮШИН 192
Григорий КИСТЕРНЫЙ 194
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН 195
Юрий КЛЮЧНИКОВ 197
Сергей КНЯЗЕВ 199
Александр КОБЕЛЕВ 200
Александр М. КОБРИНСКИЙ 202
Александр КОВАЛЁВ 203
Василий КОЗЛОВ 204
Кирилл КОЗЛОВ 206
Сергей КОЗЛОВ 208
Мария КОЗЛОВА 209

ПАМЯТИ ПОЭТА
Леонид КОЛГАНОВ 211
Андрей ШАЦКОВ. 211
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН 212

ПОЭЗИЯ
Надежда КОНДАКОВА 217
Константин КОНДРАТЬЕВ 219
Иван КОНОНОВ 220
Дмитрий КОНОПЛИН 221
Ольга КОРЗОВА 222
Виктор КОРКИЯ 223
Андрей КОРОВИН 225

ПАМЯТИ ПОЭТА
Алексей КОРОЛЁВ
Сергей МНАЦАКАНЯН 226

ПОЭЗИЯ
Валентина КОРОСТЕЛЁВА 230
Ольга КОСОВА 231
Владимир КОСТРОВ 232
Людмила КЛЕВЕР 234
Константин КРАВЦОВ 235
Любовь КРАСАВИНА 236
Вадим КРЕЙД 237
Григорий КРУЖКОВ 239
Александр КУВАКИН 241
Марина КУДИМОВА 243
Сергей КУЗНЕЧИХИН 244
Наталья КУЗНИЦЫНА 246
Татьяна КУЗОВЛЕВА 247
Елена КУЗЬМИНА 250
Юрий КУКСОВ 252
Игорь КУНИЦЫН 253
Станислав КУНЯЕВ 254
Вячеслав КУПРИЯНОВ 256
Иосиф КУРАЛОВ 257
Владимир КУРУШКИН 259
Борис КУТЕНКОВ 260
Ида ЛАБЕН 261
Максим ЛАВРЕНТЬЕВ 263
Александр ЛАВРИН 264
Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА 266
Валерий ЛАТЫНИН 267
Евгений ЛЕСИН 267
Станислав ЛИВИНСКИЙ 269
Оксана ЛИСКОВАЯ 271
Валерий ЛОБАНОВ 272
Александр ЛОГИНОВ 274
Лина ЛОГИНОВСКАЯ 276
Юрий ЛОЩИЦ 277
Евгений ЛУКИН 278
Евгений ЛУКИН 279
Наталья ЛЯСКОВСКАЯ 280

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Николаю МАЙОРОВУ – 100 лет
Борис СЛУЦКИЙ 283

ПОЭЗИЯ
Владимир МАКАРЕНКОВ 284
Мария МАКАРОВА 285
Андрей МАРКИЯНОВ 286
Зоя МЕЖИРОВА 288
Виктор МЕЛЬНИКОВ 289
Дмитрий МИЗГУЛИН 291
Владимир МИКУШЕВИЧ 293
Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ 294

Станислав МИНАКОВ 297
Евгений МИНИН 299
Надежда МИРОШНИЧЕНКО 301
Валерий МИХАЙЛОВ 302
Наталья МИШИНА 304

ЮБИЛЕЙ
Сергею МНАЦАКАНЯНУ – 75 лет
Сергей МНАЦАКАНЯН 305

ПОЭЗИЯ
Михаил МОЛЧАНОВ 307
Владимир МОНАХОВ 308
Юнна МОРИЦ 310
Геннадий МОРОЗОВ 312
Дмитрий МУРЗИН 313
Ольга МЯЛОВА 314
Роман НЕНАШЕВ 315
Валентин НЕРВИН 317
Галина НЕРПИНА 318
Александр НЕСТРУГИН 320
Олеся НИКОЛАЕВА 321
Майя НИКУЛИНА 323
Александр НОВОПАШИН 325
Вера ОКТЯБРЬСКАЯ 326
Александр ОЛИТСКИЙ 327
Юрий ОРЛОВ 328
Олег ПАВЛОВ 330
Анна ПАВЛОВСКАЯ 332
Татьяна ПАРСАНОВА 334
Ирина ПЕНЮКОВА 335
Николай ПЕРЕЯСЛОВ 336
Юрий ПЕРМИНОВ 337
Ирина ПЕРУНОВА 338
Виктор ПЕТРОВ 340
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН 342
Татьяна ПИСКАРЁВА 343
Владимир ПОДЛУЗСКИЙ 344
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ 346
Роман ПОПЛАВСКИЙ 347
Андрей ПОПОВ 348
Михаил ПОПОВ 350
Сергей ПОПОВ 351
Олег ПОРТНЯГИН 353
Алла ПРИЦ 354
Андрей РАСТОРГУЕВ 355
Николай РАЧКОВ 356
Анна РЕВЯКИНА 358
Анна РЕТЕЮМ 360
Наталья РОЖКОВА 361
Борис РОМАНОВ 362
Галина РУДАКОВА 364
Ольга РЫЧКОВА 366
Олег РЯБОВ 367
Юрий РЯШЕНЦЕВ 369
Марина САВВИНЫХ 371

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Ивану САВИНУ – 120 лет
Виктор ЛЕОНИДОВ 373

ПАМЯТИ ПОЭТА
Анна САЕД-ШАХ 379

ПОЭЗИЯ
Людмила СВИРСКАЯ 381
Ирина СЕМЁНОВА 382
Елена СЕМЁНОВА 384
Александр СЕНКЕВИЧ 385
Даниил СИЗОВ 386
Андрей СИЗЫХ 387
Владимир СКВОРЦОВ 388

ЮБИЛЕЙ
Константину СКВОРЦОВУ – 80 лет
Константин СКОРЦОВ 390

ПОЭЗИЯ
Владимир СКИФ 392
Сергей СЛЕПУХИН 393

ЮБИЛЕЙ
Льву СМИРНОВУ – 90 лет
Лев СМИРНОВ 395

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Владимиру СОКОЛОВУ – 90 ЛЕТ
Геннадий КРАСНИКОВ 397

ПОЭЗИЯ
Валентин СОРОКИН 400
Владимир СОРОЧКИН 401
Надежда СОСНОВСКАЯ 402

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Николаю СТАРШИНОВУ – 95 ЛЕТ
Геннадий КРАСНИКОВ 404

ПОЭЗИЯ
Евгений СТЕПАНОВ 408
Наталья СТРУЧКОВА 410
Степан СУЛТАНОВ 411

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
АЛЕКСЕЮ СУРКОВУ – 120 ЛЕТ
Геннадий КРАСНИКОВ 412

ПОЭЗИЯ
Светлана СЫРНЕВА 417
Лариса ТАРАКАНОВА 419
Владимир ТЕПЛЯКОВ 420
Анатолий ТЕПЛЯШИН 421
Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ 422
Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН 423
Виктор ТИХОМИРОВ-ТИХВИНСКИЙ . . . 425
Дарья ТИШАКОВА 426

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Николаю ТРЯПКИНУ – 100 лет
Сергей КУНЯЕВ 427
Николай ТУРОВЕРОВУ – 120 лет
Виктор ЛЕОНИДОВ 436

ПОЭЗИЯ
Владимир УРУСОВ 442
Илья ФАЛИКОВ 444

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Алексею ФАТЬЯНОВУ - 100 лет
Николай СТАРШИНОВ 446

ПОЭЗИЯ
Михаил ФЕДОСЕЕНКОВ 451
Александр ФИГАРЕВ 452
Светлана ФИЛАТОВА 453
Алексей ФИЛИМОНОВ 454

ЮБИЛЕЙ
Ольге ФОКИНОЙ – 80 лет
Ольга ФОКИНА 455

ПОЭЗИЯ
Геннадий ФРОЛОВ 457
Александр ХАБАРОВ 459

ЮБИЛЕЙ
Геннадию ХОМУТОВУ – 80 лет
Геннадий ХОМУТОВ 461

ПОЭЗИЯ
Владимир ХОХЛЕВ 463
Александр ЦИРЛИНСОН 466
Евгений ЧЕПУРНЫХ 467
Валерий ЧЕРКЕСОВ 469
Маргарита ЧИКАЛИНА 470
Наталья ЧИСТЯКОВА 471
Олег ЧУПРОВ 472
Ольга ШАБЛАКОВА 473
Николай ШАМСУТДИНОВ 474

ЮБИЛЕЙ
Валерию ШАМШУРИНУ – 80 лет
Андрей ШАЦКОВ. 476
Валерий ШАМШУРИН 477

ПОЭЗИЯ
Галина ШАПКИНА 478
Андрей ШАЦКОВ. 480
Михаил ШЕЛЕХОВ 481
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 483
Александр ШИНЕНКОВ 484
Андрей ШИРОГЛАЗОВ 485
Павел ШИРОГЛАЗОВ 487
Виктор ШИРОКОВ 488

ЮБИЛЕЙ
Игорю ШКЛЯРЕВСКОМУ – 80 лет
Зоя МЕЖИРОВА 489
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ 493

ПОЭЗИЯ
Маргарита ШУВАЛОВА 494
Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ 495
Сергей ЩЕРБАКОВ 496
Татьяна ЩЕРБИНИНА 498
Иван ЩЁЛОКОВ 499
Яна ЮДИНА 500
Евгений ЮШИН 502
Михаил ЯСНОВ 504

СТИХИ СТУДЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА И УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ (Химки, 2019)
Ольга АНИКИНА 506
Камила БАГИРОВА 507
Софья БАРАШКОВА 508
Алексей БОЛДЫРЕВ 509
Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ 510
Элина ВИТОМСКАЯ 511
Александр ГУЛИКОВ 512
Наталья КАУЛИНА 513
Александр КИРВАС 514
Алина КОСТЮЧЕНКО 514
Светлана КРЮКОВА 515
Александр ЛОГУНОВ 517
Наталья МАМЛИНА 517
Вячеслав ПАМУРЗИН 518
Кира ПЕШКОВА 519
Екатерина ПИОНТ 520
Екатерина РАТНИКОВА 521
Татьяна А. УСТИНОВА. 522
Снежана ХОЛОДОВА 523
Ульяна ЦОЙ 524
Анастасия ЧЕРЕНКОВА 525
Роман ШИШКОВ 525
Роман ЯПИШИН 527
Иван АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 528
Мария ЗАТОНСКАЯ 528
Надежда КЕЛАРОВА 530
Василий НАЦЕНТОВ 531
Елена СИВАЧЁВА 533
Маргарита ЧЕКУНОВА 534



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]
ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ

ИВАНУ КРЫЛОВУ — 250 ЛЕТ



Юнна МОРИЦ,
Москва

***

В баснях прекрасных Крылова
Всё происходит сейчас,
Всё современно и ново,
Свежестью первой сочась.

Щуки, вороны, мартышки,
Волки, ягнята и львы,
Мошки, и кошки, и мышки —
Наши дела таковы!

Этим Крылов и прекрасен,
Иносказания свет —
Вся технология басен,
Где и компьютера нет!

Он рисковал неизбежно
В мире козлов и ослов…
Пушкиным трепетно, нежно
Был обожаем Крылов.

Щуки, вороны, лисицы —
Иносказаний ковчег.
Пушкин заехал проститься
Перед разлукой навек.

Лебеди, волки, гадюки —
Иносказаний среда,
Точность, её смыслозвуки,
Не иногда, а всегда!

Иносказаний основа —
Почерк, где в строчке любой
Всё современно и ново,
Всё происходит с тобой!..

Геннадий КРАСНИКОВ

ИВАН КРЫЛОВ — АНЕКДОТ И ЧЕЛОВЕК

(штрихи к портрету)

Классическая и, казалось бы, давно украшенная хрестоматийным глянцем в русской литературе фигура Ивана Андреевича Крылова на самом деле не так проста и однозначна. На протяжении не только XIX, но и XX, а теперь уже и XXI века великий баснописец оказался не таким уж благостным «дедушкой Крыловым», окружённым лисичками, муравьями, стрекозками, кукушками и петушками… Как всякий гениальный поэт (а таковым его считали и Пушкин, и Жуковский, и Гоголь), он был и остаётся в центре самых современных споров, когда вопросы касаются судьбы России, судьбы русской культуры, национальной самобытности нашего народа, вопросов исторических, политических, нравственных.

Он до сих пор является непревзойдённым мастером русского языка (неслучайно никто за все двести лет после него не только не повторил Крылова в басенном жанре, но даже и не приблизился к его уровню, можно сказать, он закрыл своим творчеством басенную тему, исчерпал этот жанр, подняв его на такую недосягаемую высоту, до которой дотянуться практически невозможно). По известности и популярности в народе, по бытованию в устной среде с ним, пожалуй, могут сравниться только Пушкин и Некрасов в XIX-м, а в XX веке — один Есенин…

Кстати, Александр Сергеевич, который писал во всех литературных жанрах, с появлением, например, сказки «Конёк-Горбунок» Петра Ершова признал за новым дарованием первенство и сказок больше не писал. Являясь автором замечательных элегий, Пушкин всё-таки поставил на первое место мастера элегической формы Константина Батюшкова и решил отказаться от написания элегий. А вот к басенному жанру даже не рискнул прикоснуться, настолько велик для него был непререкаемый авторитет Ивана Андреевича…

При этом, Крылов одинаково востребован, одинаково уместен и всегда к месту, к слову, как среди самого обычного народа, так и среди людей образованных. Крылатые слова и мудрость крыловских сентенций вот уже два века, что называется, ежедневно «на языке» у академиков и государственных деятелей, у простого рабочего и крестьянина, у писателей и журналистов, у студентов и школьников…

Мы привыкли к тому, что Крылов приходит в нашу жизнь с детства, мы читали в школе и заучивали наизусть знаменитые басни «Квартет», «Мартышка и очки», «Кукушка и петух», «Волк и ягнёнок», «Лебедь, рак и щука», «Демьянова уха», «Кот и повар» и другие. Никому и в голову не могло прийти, что безобидный, по своему даже домашний, свойский, добрый «дедушка Крылов», как нам казалось и как его нам преподносили (соревноваться с ним по такой характеристике и наименованию, — видимо, по аналогии, — допускали только другого сочинителя басен «дедушку Ленина»!), может вызывать идеологическое раздражение и даже суровое неприятие и отторжение. Однако вот что мы с удивлением и тре-

петом обнаруживаем в статье о поэте некоей В. Нечаевой (Литературная энциклопедия: в 11 т. — [М.], 1929-1939): «Басни К. в начале XIX века, в эпоху преобладания дворянской критики, встречали сдержанную оценку и иногда даже упрёки в грубости и нечистоплотности (Вяземский напр. ставил их ниже басен Дмитриева). Только представители буржуазной критики восторженно приветствовали талант К. и взяли его под защиту от критики аристократической (статья Булгарина, 1824). Позднее Белинский провозгласил К. «единственным», «истинным и великим баснописцем». Усмотрев в его баснях «сатиру» и «народность», Белинский не вскрыл, однако, консервативной направленности этих произведений. Позднейшая буржуазная критика превознесла басни К. как достижение русской народной мудрости. С такой репутацией басни К. стали обязательным предметом дореволюционного школьного воспитания и обучения и вскоре стали рассматриваться как специфический педагогический материал. К. был отдан школьникам. Историко-социологическое изучение басен показывает всю опасность такого их использования в наше время. Представитель консервативного мещанства эпохи сословно-бюрократического строя, великолепный художник характеров, создававшихся этим строем, и удивительный мастер яз., К. ни в коем случае не может быть привлечён как моралист и воспитатель в стены советской школы».

Следует особо обратить внимание, что эта «комиссарская» по духу статья, с маузером в эстетической кобуре, напечатана в литературной энциклопедии, издании по тем временам официальном, идеологически выверенном, носящем без всяких оговорок директивный характер. Лыком в строку здесь приплетёны даже классовые враги — «дворянские критики», у которых басни поэта «встречали сдержанную оценку и иногда даже упрёки в грубости и нечистоплотности…». Сгодился для обличения и князь Пётр Андреевич Вяземский, который действительно не раз в спорах со своим другом Александром Сергеевичем Пушкиным ставил баснописца Ивана Ивановича Дмитриева выше Ивана Андреевича Крылова, однако, это ему не помешало написать самые высокие слова о поэте на его смерть и в том же некрологе объявить о сборе средств на создание памятника, который и был открыт в Летнем саду 12 мая 1855 года. Да ведь и само крылатое, полное любви и почитания выражение «дедушка Крылов», так уютно и надолго прижившееся в народе русском, пущено с лёгкой руки того же Вяземского! Даже неистовый Виссарион Белинский, который как увесистая дубина тенденциозной критики столь дорог был большевистской пропаганде, не угодил новым идеологам, не посоветовался, видите ли, с товарищем Нечаевой, и «провозгласил К. «единственным», «истинным и великим баснописцем»», к тому же, «не вскрыл… консервативной направленности этих произведений».

Любопытно, что и современные оценщики, теперь уже с иного, казалось бы, прямо противоположного, либерально-демократического берега, никак не могут смириться со всенародной славой и любовью к Ивану Андреевичу Крылову, с тем, что эта слава пережила более двух веков и, к их величайшему сожалению, не обещает и в будущем угасания и обветшания. Так, в своей развязно-ёрнической книге «Родная речь» прямые потомки бывших большевиков, а ныне продвинутые либерал-демократы А. Генис и П. Вайль, десятки лет проживающие вдали не только от «родной речи», но и от самой России, с нескрываемым раздражением пишут: «В безусловной, широчайшей славе Ивана Андреевича Крылова ощущается привкус второсортности. Эта терпкость — конечно, от оскомины, которую набили за два века крыловские басни. Однако и современники не все были в восторге от его произведений: весьма критически, например, смотрел на Крылова саркастический интеллектуал Вяземский. Но он и ему подобные находились в явном меньшинстве. „За Крылова“ были и Пушкин с Жуковским, и Булгарин с Гречем, и Гоголь с Белинским».

Обратите внимание, что система доказательств (и тут сгодился князь Вяземский!), практически совпадает, хотя отрицание идёт как будто бы по иной линии, дескать, «перекормили» русский народ Крыловым, и что только «саркастические интеллектуалы» вроде Вяземского вкупе с никому не набившими оскомину «первосортными» Генисом и Вайлем (сообща с комиссаршей В. Нечаевой) могут по достоинству оценить, чего стоит эта слава

и любовь народная!.. Генису и Вайлю, специфическим просветителям русских читателей в области знания «родной речи», явно не по нутру, что, как пишут они: «Когда Крылов умер, последовало высочайшее повеление воздвигнуть ему памятник. Как сказано в циркуляре Министерства просвещения, „сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до восточной грани Европы, знамениями жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого отечества“. Крылову предстояло немедленно после кончины стать символом духовной силы, каким до него были признаны только три литератора: Ломоносов, Державин Карамзин. Компания характерная. Основатель первого университета, реформатор русского языка Ломоносов, величественный одописец Державин, главный российский историк Карамзин. И с ними — автор стишков, по определению Гегеля, «рабского жанра». Басенник…»

Ах вот, оказывается, что так смущает «характерную кампанию» заморских и доморощенных «саркастических интеллектуалов» всех политических мастей и окрасов!.. Так бы сразу и сказали! Не «ндрявица» им, понимаешь, что «высочайшим повелением» царской (ну, конечно же, тёмной для них!) России увековечена память об одном из умнейших и гениальных умов Отечества, знаки уважения к которому объявлялись «знамениями жизни и духовной силы». Разумеется, о ТАКОМ ни в советской школе говорить нельзя, ни в сытом зарубежье, ибо «историко-социологическое изучение басен показывает всю опасность… их использования в наше время»… Но почему же? — спросите вы. Ответ современные оценщики русской культуры из-за бугра дают очень странный: «Потому что его басни — основа морали, тот нравственный кодекс, на котором выросли поколения российских людей. Тот камертон добра и зла, который носит с собой каждый русский. Такая универсальность Крылова ввергает его в гущу массовой культуры». Вроде как и похвалили «дедушку», но и сей же час бесцеремонно по собственной прихоти «ввергли» бедного старика «в гущу массовой культуры». На ложку лукавого мёда у этих господ всегда приготовлена бочка их странного идеологического дёгтя… «На языке мёд, — говорится в таких случаях в народе, — а под языком лёд!»…

Думается, разгадка здесь в ином, в том, что никогда не нравилось «клеветникам России» ни в Пушкине, ни в Тютчеве, ни в Некрасове, ни в Есенине… А именно то, что Крылов был русский народный поэт. Неслучайно в культурологическом проекте «Русская цивилизация» одна из значительных работ посвящена именно Ивану Андреевичу Крылову и называется она весьма символично — «Консерватор вечного». То есть, мы видим, что самое главное, чем ценен и важен вклад Крылова в русскую культуру, в русскую цивилизацию, — это именно его консерватизм, всегда, как мы знаем, связанный не с застоем, как считают эстетствующие Швондеры от большевизма и либерализма, а с неторопливой и несуетной, не поспешной мудростью народной, мудростью взвешенной духом Священного Писания, любовью и терпением, милосердием и всемирной отзывчивостью. И тогда понятно, почему со всех нечаевско-генисовско-вайлевских сторон вызывает такую свирепую ненависть именно КОНСЕРВАТИЗМ, почему именно природная и нравственная прочность, фундаментальность во взглядах на жизнь, государство, религию, патриотизм так раздражают, если не сказать грубее — бесят! — оценщиков Крылова. В том же исследовании — «Консерватор вечного» — находим ответ этим лукавым игрокам на живом и вечном поле нашей «родной речи», которую этим игрокам честнее было бы назвать «чужая речь»: «Крылов (как и Пушкин) стал писать, по сути, новую — уникальную — книгу народного просвещения. И написал книгу вечную и неисчерпаемо-глубокую. Профессор российской словесности и ректор Петербургского университета П. А. Плетнёв однажды сравнил басенный эпос Крылова с гомеровским: „Он каждому, и юноше, и мужу, и старцу, столько даёт, сколько кто взять может… мудрость, доступная всем возрастам. Но во всей глубине своей она может быть постигнута только умом зрелым…“». Как видим, каждому — да не каждому, а тем более где же наберёшься на всех «просветителей» нецивилизованной России «зрелого ума»!..

Однако и Запад ведь до поры до времени не одними беглыми «саркастическими интеллектуалами» держался. Как говорится, «Генис brevis, ars longa»! За границей басни Крылова давно получили широкую известность. Уже в 1824 году в Париже вышел двухтомник его басен в переводе на французский и итальянский. А затем поэзия русского баснописца разошлась по свету на большинстве европейских языков. Вот, кстати, достойный образец, как Европе возвращается якобы у неё же и взятое. Только Крылов оказался знаменитей, или, лучше сказать, современней своих достойных предшественников Эзопа, Федра и Лафонтена… Во всяком случае, никто из них не стал народным поэтом. И тут есть загадка и тайна таланта Крылова, как народ принял в себя мудрость книжную, аллегорическую, будучи подготовлен к ней русскими народными сказками, в которых действующие герои тоже нередко взяты из мира животного, где фантастические и этические сюжеты воплощены в образе всех этих с детства знакомых волков, медведей, лисиц, ослов, петухов, ягнят и козлят… Так что всё это так хорошо и удачно легло на русскую почву, и философские по сути притчи и аллегории Эзопа поднялись на высоту народной этики и мудрости. Как писал о Крылове в своём некрологе П. А. Плетнёв: «…Едва понятно, как мог этот человек, один, без власти, не обладавший ни знатностью, ни богатством, живший почти затворником, без усиленной деятельности, как он мог проникнуть духом своим, вселиться в помышление миллионов людей, составляющих Россию, и остаться навек присутственным в их уме и памяти. Но он дошёл до этого легко, тихо, свободно…».

К слову сказать, на смерть Крылова откликнулись все европейские газеты. Гоголь в это время находился в Германии и о его смерти узнал из местных изданий…

Замечательно, что Крылов один из немногих русских писателей, образ которого ещё при жизни мифологизировался и становился легендой, чему немало способствовал и характер поэта, и его привычки, и внешний облик, и независимость, и популярность во всех кругах общества. Опять же, он опередил здесь и Петьку, и Василия Ивановича Чапаева… Правда, до него тем же путём прошли и Сократ, и Диоген, и многие другие философы, о которых ещё при жизни слагались легенды (конечно же, он ближе историческим фигурам древних философов, о жизни которых читал в подлиннике, выучив древнегреческий язык в пятидесятилетнем возрасте, чему так искренне удивлялся Александр Сергеевич Пушкин, и что само по себе тоже вошло в историческую крыловиану…).

Достаточно привести здесь для примера хотя бы один из исторических анекдотов о поэте, чтобы увидеть во всей характерной полноте нашего отнюдь непростого «дедушку Крылова». Сохраняем в пересказе стиль этого анекдота:

«И. А. Крылов служил библиотекарем в императорской публичной библиотеке и жил в том же здании. Как-то на лето императорская семья поселилась в Аничковом дворце. Однажды на Невском проспекте император Николай Павлович встретил Крылова:

— А, Иван Андреевич! Каково поживаешь? Давненько не видались мы с тобой.

Баснописец ответил:

— Давненько, Ваше Величество! А, ведь, кажись, соседи?»



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]
ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ

АЛЕКСАНДРУ ПУШКИНУ— 220 ЛЕТ

Владислав ХОДАСЕВИЧ

КОЛЕБЛЕМЫЙ ТРЕНОЖНИК

В каждом художественном произведении находим ряд заданий, поставленных себе автором. Задания эти бывают различного порядка: философского, психологического, описательного и т. д. — до заданий чисто формальных включительно. Ставятся они не с одинаковой сознательностью. Часто в процессе творчества одна такая задача оказывается разрешённой полнее, чем другие, как бы подавленные, приглушённые, несущие лишь служебную роль. Но самая наличность ряда проблем в художественном произведении неизбежна; в частности, стихотворец, по самой природе своего ремесла, не может себе поставить менее двух заданий, ибо стих содержит в себе по крайней мере два содержания: логическое и звуковое.

Одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, может быть — одна из тайн пресловутой её гармоничности заключается в необыкновенном равновесии, с каким разрешает поэт эти параллельные задания. Поразительно, с какой равномерностью делит он между ними своё внимание, с какой исчерпывающей полнотой одновременно разрешает их все. В пьесе, в которой смысл — благословение мирной, домашней, трудовой жизни, с равным вниманием изображён и добрый домовой, к которому обращено стихотворение, и молитвенное смирение обитателя дома, и, наконец, самое поместье с его лесом, садом, разрушенным забором, шумными клёнами и зелёным скатом холмов. Задачи лирика, передающего своё непосредственное чувство, и фольклориста, и живописца разрешены каждая в отдельности совершенно полно. В читателе одновременно и с равной силой затронуты три различных чувства. Трёхпланность картины даёт ей стереоскопическую глубину.

Подобные ряды параллельных заданий можно вскрыть в любом из творений Пушкина, но нигде его мастерство не достигает таких вершин, как в поэмах.

Здесь поражает не только мастерство в разрешении заданий, но и количество их. Можно составить длинный перечень тем, получивших полную и глубокую разработку, например, в «Медном всаднике». Это, во-первых, трагедия национальная в тесном смысле слова: здесь, как не раз указывалось, изображено столкновение петровского самодержавия с исконным свободолюбием массы; особый смысл приобретает эта трагедия, если на бунт бедного Евгения посмотреть как на протест личности против принуждения государственного, как на столкновение интересов частных с общими; особый оттенок получит эта трагедия, если вспомним, что именно пушкинский Пётр смотрит на Петербург как на окно в Европу: тут вскроется нам кое-что из проклятейшего вопроса, имя которому — Европа и мы. Но нельзя забывать, что «Медный всадник» есть в то же время ответ на польские события 1831 года, что бунт Евгения против Петра есть мятеж Польши против России. Наконец, как мне уже приходилось указывать, «Медный всадник» есть одно из звеньев в цепи петербургских повестей Пушкина, изображающих столкновение человека с демонами. Однако сказанным далеко не исчерпаны задания поэмы. Прав будет тот, кто увидит в ней бесхитростную повесть о разбитых любовных надеждах маленького человека; прав и тот, кто выделит из поэмы её

описательную сторону и подчеркнёт в ней чудесное изображение Петербурга, то благоденствующего, то «всплывающего, как Тритон», из волн наводнения, которое само по себе описано с документальной точностью. Наконец, мы будем не правы, если не отдадим должного Вступлению к поэме как образцу блистательной поэтической полемики с Мицкевичем.

Но параллельные задания у Пушкина — тема большого, пристального исследования. Сейчас я коснулся её затем только, чтобы на примере напомнить, как ряд заданий поэта придаёт его творениям ряд параллельных смыслов. Пушкин показывает предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечтаемого мира он придаёт такую же полноту бытия, такую же выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают предметы мира реального. Поэтому к каждому из его созданий приложим целый ряд критериев, как он приложим к вещам, окружающим нас. Подобно тому как художник, и геометр, и ботаник, и физик в одном предмете вскрывают различные ряды свойств, так и в творениях Пушкина разные люди усматривают разное — с равными на то основаниями. Воистину — творец Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, созидаемая его мечтой. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз возникнув, мир, сотворённый Пушкиным, обретает собственную судьбу, самостоятельно протекающую историю. Исключительная многотемность Пушкина влечёт за собой такую же исключительную многозначимость его произведений.

И если творения всех великих художников, заключая в себе ряды смыслов, вызывают соответственные ряды толкований, то творения Пушкина принадлежат к числу наиболее соблазнительных в этом отношении. Этот соблазн вытекает из самой природы пушкинского реализма. Так что, если к тому же мы примем во внимание естественное свойство критики отражать лицо критика, по крайней мере, в такой же степени, как и лицо поэта; другими словами, если припомним, с какой неизбежностью произведения великих художников приобретают разные оттенки, значения, смыслы в глазах сменяющихся поколений и целых народов, то нам станет исторически понятно всё многоразличие смыслов, вскрываемых в произведениях Пушкина. Пушкина толковали и толкуют по-разному. Но многообразие толкований есть, так сказать, профессиональный риск гениев — и надо признаться, что в последнее время неожиданность суждений, высказываемых о Пушкине, начинает бросаться в глаза. Правда, многое намечается верно и зорко, но многое поражает отдалённостью от того непосредственного и непредвзятого впечатления, которое даётся произведениями поэта; многое, наконец, положительно идёт вразрез с непререкаемой ясностью пушкинского текста. Я имею в виду отнюдь не сознательные передёргивания и подтасовки, совершаемые ради литературной, а то и просто житейской корысти, — хотя, к несчастью и стыду нашему, бывает и так. Но такие явления случайны и ничего не говорят о внутреннем соотношении между Пушкиным и нашей эпохой. Зато глубоко показательными представляются некоторые безукоризненно добросовестные труды, в которых даются толкования, находящие слишком смутное подтверждение в пушкинском тексте, делаются обобщения слишком смелые, высказываются гипотезы слишком маловероятные. Как один из примеров, со всевозможными оговорками, я бы всё же решился назвать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина», в высшей степени ценную и интересную по глубине и оригинальности многих мыслей. Немало верного сказано в ней о Пушкине — а всё-таки историк литературы Гершензон, выступая истолкователем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи.

И Гершензон не один. С каждым днём таких критиков, большего или меньшего значения, является и будет являться всё больше. Если, как я уже говорил, лицо великого писателя неизбежно меняется в глазах сменяющихся поколений, то в наши дни, да ещё по отношению к бесконечно многомысленному Пушкину, эта смена должна проявиться с особой силой. История наша сделала такой бросок, что между вчерашним и нынешним оказалась какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана. И всё

вокруг нас изменилось: не только политический строй и все общественные отношения, но и внешний порядок, ритм жизни, уклад, быт, стиль. У нас новые обычаи, нравы, одежды, даже, если угодно, моды. Тот Петербург, по которому мы сегодня пойдём домой, — не Петербург недавнего прошлого. Мир, окружающий нас, стал иной. Происшедшие изменения глубоки и стойки. Они стали намечаться ещё с 1905 года, 1917-й только дал последний толчок, показавший воочию, что мы присутствуем при смене двух эпох. Прежняя Россия, а тем самым Россия пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий. Петровский и Петербургский период русской истории кончился; что бы ни предстояло — старое не вернётся. Возврат немыслим ни исторически, ни психологически.

И вот, в применении к пушкинскому наследству, из создавшихся условий приходится сделать некоторые выводы. Мало того, что созданиям Пушкина предстоит претерпеть ряд изменений в сознании читателей. Об этих изменениях я говорил только как о явственном признаке того, что Пушкин уже, так сказать, отделился от своего времени и вышел в открытое море истории, и ему, как Софоклу или Данте, предстоит обрасти толкованиями и комментариями. Должно произойти ещё и другое.

В истории русской литературы уже был момент, когда Писарев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако ж оно подсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе, до некоторой степени выражало дух времени, и, высказывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетического развития, но никак невозможно сказать, что это были дурные люди, хулиганы или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть.

Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажется, что недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблён. Но — предстоит охлаждение к нему.

Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидно для всех. Нельзя и среди людей точно определить те круги, те группы, на которые падёт его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притуплённых раздирающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова — не отщепенцы, не выродки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распороли немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты, но всё же до понимания Пушкина им надо ещё долго расти. Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими сознаётся недостаточно, — хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность.

И не только среди читателей: в поэзии русской намечается то же. Многое в Пушкине почти непонятно иным молодым поэтам, — потому, между прочим, что они не всегда достаточно знакомы со всем окружением Пушкина, потому, что дух, стиль его эпохи им чужд и остатков его поры они уже не застали. То же нужно сказать о языке. Быть

может, они даже следуют пушкинскому завету учиться языку у московской просвирни, но просвирня сама уже говорит не тем языком. Многие оттенки пушкинского словаря, такие многозначительные для нас, — для них не более как архаизмы. Иные слова, с которыми связана драгоценнейшая традиция и которые вводишь в свой стих с опаской, не зная, имеешь ли внутреннее право на них, — такой особый, сакраментальный смысл имеют они для нас, — оказываются попросту бледными перед судом молодого стихотворца, и не подозревающего, что ещё значат для нас эти слова сверх того, что значат они для всех по словарю Даля. Порой целые ряды заветнейших мыслей и чувств оказываются неизъяснимыми иначе, как в пределах пушкинского словаря и синтаксиса, — и вот это заветнейшее оказывается всего только «стилизацией»!

Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы, подобно тому как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания. И то и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, — суть писаревцы наизнанку. Сами того не зная, они действуют как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей.

Говоря всё это, я имею в виду вовсе не футуристов, а представителей гораздо более «умеренных» литературных групп. Можно бы рассказать великое множество прискорбных курьёзов, доказывающих, что прямое, элементарное непонимание и незнание Пушкина есть явление, равно распространённое в молодой литературной среде, как и в среде читательской. Всё это — следствие нарастающего невнимания к Пушкину; возникает оно из того, что эпоха Пушкина — уже не наша эпоха, а писателем древности он ещё не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет ещё достояние немногих. Важность и ценность такого изучения ещё не понятны ни массовому читателю, ни массовому писателю. И вот наивный юноша наших дней, равно читатель или молодой стихотворец, полагает, что Пушкин «попросту устарел».

То обстоятельство, что холодность к Пушкину вырабатывается не в колбах литературной лаборатории, что она обща и писателю, и читателю, — показывает, что она питается ежедневно возникающими условиями действительности. Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, то есть проистекают из причин, в литературно-общественном смысле органических. Причины эти не те, что были во дни Писарева, отстранение от Пушкина теперь по-другому мотивируется, но оно может оказаться более прочным, распространиться шире и держаться дольше, потому что подготовлено историческими событиями огромного значения и размаха.

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубение во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведёт к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры, — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачён будет и образ Пушкина.

Но я был бы неоткровенен, если б, заговорив об этом, высказался не до конца. Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я затмением Пушкина, затянется дольше и не пройдёт бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда…

Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в неё. В лучшем случае надеялся он быть любезным народу «долго» — отнюдь не «вечно»: «И долго буду тем народу я любезен…». Охлаждение представлялось ему неизбежным и внешне выражающимся двояко: или толпа плюёт на алтарь поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит, — или колеблет треножник его «в детской резвости». По отношению к самому Пушкину

первая формула уже невозможна: «толпа» никогда не плюнет на алтарь, где горит огонь его; но следующий стих: «И в детской резвости колеблет твой треножник» сбудется полностью. Мы уже наблюдаем наступление второго затмения. Но будут и ещё. Треножник не упадёт вовеки, но будет периодически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали!»

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль и уступить место другим, уже напирающим сзади. Шумя и теснясь, толпа колеблет треножник поэта. Наше самое драгоценное достояние, нашу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бросаем в огонь треножника. И она сгорит.

О, никогда не порвётся кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с неё нам уйти некуда. Но она ещё много раз будет размежевана и перепахана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил её своей кровью, порой будет забываться.

Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые, медные формы, но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, грядущие поколения знать не будут. Этого счастия им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что прочитают на нём грядущие люди, какие открытия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят.

То, о чём я говорил, должно ощутиться многими как жгучая тоска, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спрятаться. Может быть, и мне больно, и мне тоже хочется спрятаться, но что делать? История вообще неуютна. «И от судеб защиты нет». Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоятельной потребности: отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, отчасти — страстным желанием ещё раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой. И наше желание сделать день смерти Пушкина днём всенародного празднования отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке.

Речь была прочитана в *Доме литераторов* на *пушкинском вечере 14 февраля 1921 года. Повторно прочитана* в *Петербургском университете 26 февраля. Напечатана: Вестник литературы. 1921. № 4/5 (28/29).*



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]
ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ

ИВАНУ ТУРГЕНЕВУ — 200 ЛЕТ

Константин БАЛЬМОНТ

ТУРГЕНЕВ КАК ПОЭТ

Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Этот отрывок из юношеского стихотворения Тургенева «Весенний вечер», образцово поэтический и живописный, весьма определяет одно из обычных состояний души Тургенева, всю жизнь трепетавшей пойманным крылом в многоразличном плену. Весь любовь, он прожил жизнь почти без радостей любви; всем своим нравом и чувствованием русский, он прожил полжизни вне России; один из лучших, и долгое время считавшийся лучшим среди художников русской прозы, он всю жизнь оставался не прозаиком, а поэтом.

Не все те поэты, кто пишет стихи. Многие из них всю жизнь лишь стихотворцы, не возвышающиеся до поэзии. И, наоборот, многие из тех, кто пишет прозу, часто даже и не воображают, что они великолепные поэты. Кто высказал следующую мысль? «Источник песни — любовь; в своём первоявлении, она среди живых, есть мужской голос к подруге». Можно подумать, что это сказал какой-нибудь зоркий поэт. Так оно и было. Но имя этого поэта — Чарльз Дарвин, а жизнь его, путешествия и все его проникновенные сочинения суть действительно поэмы. Так же точно, в философских своих работах, Ницше, посредственный философ, но первоклассной силы поэт, — как поэт Шопенгауэр в своей причудливой «Метафизике любви». Несомненными поэтами во всех своих повествованиях, письмах и рассуждениях были лучшие русские прозаики XIX века: Гоголь, Аксаков, Тургенев и Достоевский.

Тургенев начал со стихов, но скоро бросил их и сам своих стихов не любил. Совершенно напрасно те, кто пишут и говорят о Тургеневе, повторяют эту тургеневскую несправедливость к стихам Тургенева и обходят их молчанием, как нечто не заслуживающее внимания. В своих лирических стихах и в поэмах Тургенев нередко достигает истинного изящества и подлинной силы. В поэме «Параша» мы находим такую жемчужину:

Люблю я пышных комнат стройный ряд,
И блеск, и прихоть роскоши старинной…
А женщины… люблю я этот взгляд
Рассеянный, насмешливый и длинный;
Люблю простой обдуманный наряд…

Я этих губ люблю надменный очерк,
Задумчиво приподнятую бровь;
Душистые записки, быстрый почерк,
Душистую и быструю любовь.

Это безукоризненно свежо и пушкински-выразительно. Отрывок из поэмы «Андрей» как бы добавляет тургеневское приближение к чувству любви.

С начала самого любовь должна
Расти неслышно — как во сне глубоком
Дитя растёт… огласка ей вредна:
Как юный гриб, открытый зорким оком,
Замрёт, завянет, пропадёт она…
Потом её вы можете с потоком
Сравнить — с огнём, и с лавой, и с грозой…

Не совпадает ли здесь юный Тургенев с великим средневековым лириком любви Руставели, восклицающим:

Я дивлюсь, зачем, бесправно, то,
что тайно, делать явно.
Мысль людская своенравна.
Для чего любовь стыдить?
Всякий срок здесь — слишком рано.
День придёт, не тронь тумана.
О любовь — сплошная рана!
Рану нужно ль бередить?
Любишь, — знай же тишину…
(«Носящий барсову шкуру»)

Ещё несколько отрывков из стихов Тургенева.

Качаясь медленно, с пригорка, за селом,
Огромные возы спускаются гуськом
С пахучей данью пышной нивы;
За конопляником, зелёным и густым,
Бегут, одетые туманом голубым,
Степей широкие разливы.
Та степь — конца ей нет… раскинулась, лежит,
Струистый ветерок бежит, не пробежит…
Земля томится, небо млеет…
И леса длинного, подёрнутся бока
Багрянцем золотым, и ропщет он слегка,
И утихает, и синеет…
(«Деревня»)

Здравствуйте, лёгкие звёзды пушистого первого снега!
Быстро на тёмной земле таете вы чередой.
Но проворно летят за вами другие снежинки,
Словно пчёлы весной, воздух недвижный пестря,

Скоро наступит зима; под тонким и звучным железом,
Резвых саней завизжит холодом стиснутый лёд.
Ярко мороз затрещит; румяные щёки красавиц
Вспыхнут; иней слегка длинных коснётся ресниц.
(«Первый снег»)

И эти две божественные строчки из стиха «На охоте летом»:

Все раскинулись члены; стихают горячие волны
Крови; машет на нас тёмными маками сон.

В этих волшебствующих маках не чувствуется ли уже расцветшей вся магия таких повестей-поэм Тургенева, как «Часы», «Клара Милич» и «Песнь торжествующей любви»?

Я любопытствую, почему, истинный поэт, всю жизнь свою чтивший и любивший Пушкина, Тургенев отошёл, и не отошёл, а резко отвратился от своих стихов? Вся жизнь, вся личность Тургенева полна загадок. Загадкой является и этот вопрос, который я ставлю. Я думаю, что поэты, пошедшие в русской поэзии дорогой пушкинского ямба, уже доведённого до предельного совершенства, и тем самым исчерпанного самим Пушкиным, пошли дорогой неверной. Самый сильный из них, Лермонтов, отнюдь не украсил, — ни «Демоном», ни другими ямбическими поэмами, — того, что так хорошо у Пушкина, и наилучшими стихами Лермонтова являются те, где напевно он не следует Пушкину, а близок к народной песне и пользуется размерами, вообще говоря, Пушкину чуждыми, хотя он ими владеет прекрасно, дактилем, амфибрахием и анапестом, что составило позднее силу Фета, Некрасова и музыкального русского стиха конца XIX века. Тургенев, быть может, ушёл от стихов совершенно непроизвольно, был отброшен от них будто безотчётным, а на деле зорким указанием, чувствуя, что в стихе он явление повторное и производное, тогда как в духе его таятся могучие силы, совершенно первородные и присущие ему, и только ему, как писателю.

Форма лёгкой, прозрачной, музыкальной повести-поэмы, где самые действительные, реальные положения и лица превращаются в потусторонние явления и сновидческие призраки, Тургеневым найдена самостоятельно и принадлежит именно ему. Это не символическая сказка Гофмана или Эдгара По и не насыщенное грозным гипнозом видение Бальзака, Гоголя, Достоевского, это именно музыкальные сны, — не офорты, а пастели, не литавры, а заглушенная виолончель.

«Природа нам даёт таинственный урок» говорит в «Вечере» стих Тургенева. Но тут же и признание:

В моей душе тревожное волненье:
Напрасно вопрошал природу взором я;
Она молчит в глубоком усыпленье —
И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия.

О тайне бытия исчерпывающую мысль в двух словах давно, как золотой обруч, бросил нам Гераклит: «Панта реи» — «Всё течёт, всё в потоке». Тургенев всё время чувствует этот поток. И в поэме «Андрей» он говорит:

И мчится жизнь, играя на просторе,
В далёкое, таинственное море, —

и в письме к графине Ламберт от 1862 года пишет из Парижа, что он чувствует себя «на берегу невозвратно текущего океана», «в брызгах и в пене реки времён». Но в то время, как весь Гераклит есть творческое ликование первородного Огня и священное слияние с ним боевой человеческой души, Тургенев, полный того, что в его время называлось резигнацией, пишет в 1856 году из села Спасского той же графине Ламберт: «Должно учиться у природы её правильному и спокойному ходу, её смирению». В письме к мадам Виардо из Парижа в 1848 году он делает замечательное определение своего мироощущения: «Ах! Я не выношу неба — но жизнь, действительность, её капризы, её случайности, её привычки, её мимолётную красоту… всё это я обожаю. Я ведь прикован к земле. Я предпочту созерцать торопливые движения утки, которая влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные сверкающие капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, которая только что напилась в пруду, куда она вошла по колено, — всему тому, что херувимы… могут увидеть в небесах». Мне кажется одно слово здесь неточно: не «созерцать», а «наблюдать». Здесь лишь созерцающее наблюдение художника, а не созерцание философа или поэта, которое всегда приводит к полному утолению, к сознанию неразрывной связи человеческого «я» с Мудрой Силой, управляющей всеми мирами. Художник-живописец, или художник слова, лишь закрепляет данное мгновение, — поэт, влюблённый в Природу, всегда вбрасывает данное мгновение в бесконечную созвенную цепь Мировой Жизни.

Именно, как художник-живописец, как прозаик, Тургенев разделяет небо и природу. Поэт — будь то Фет или Тютчев у нас, или Блейк и Шелли в Англии, или Гёте и Новалис в Германии, — будучи влюблёнником Природы, естественно и неизбежно восходит от земли — и к облачному простору, к земному небу, и к отдалённейшему небу звёзд, и к внутреннему зодческому Небу Небес.

Я раскрываю наудачу «Дворянское гнездо». Глава 27: «Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из её благовонной глубины, Бог знает откуда — с неба ли, с земли, — тянуло тихим и мягким теплом». Я раскрываю том стихов Тютчева, «Ночные голоса»:

Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный,
Объятый негой ночи голубой;
Сквозь яблони, цветами убелённой,
Как сладко светит месяц золотой!..
Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звёздный сонм горит…

Вот раздельная линия между художником-прозаиком и художником-поэтом. В высокой своей художественной жизни Тургенев так же загадочно-двойственен и надломлен, как в высокой своей любви. Отказавшись от венка и венца поэта, он потерял дорогу к тому высокому мудрствованию, которое есть неизбежная награда, утоляющая поэта, влюблённого в Природу. Но, отдавшись художественной прозе, он разлил в ней все свои драгоценные свойства поэта так обильно и полно, что чуть не каждой странице Тургенева свойственно описание, а в каждом описании просвечивают все элементы лирики — они полны такого словесного подъёма и проникновения, такой слоговой-звуковой музыки, что хочется воскликнуть словами же Тургенева.

Кто вдруг освободил его? Речам
Дал звук и силу?

(«Андрей»)

Тургенев своей высокой любовью к художественному слову, постоянным стремлением к золотому обрамлению прозы поэзией и насыщению её музыкой был неотлучным учителем и спутником моей жизни. Мне было десять лет, когда я прочёл первую его повесть-поэму «Первая любовь». Между 14 и 16 годами, когда я искал и нашёл в себе поэта, он был любимым моим русским писателем. Когда я писал первые свои книги стихов, я иногда, наудачу раскрыв ту или иную книгу Тургенева, тотчас встречался с сочетанием слов, которое немедленно внушало мне звучную песню. Это свойство тургеневского слова пробуждать во мне песню не утратилось для меня и теперь. Тоскуя перед полночным камином, в пустынном зимнем Капбретоне, три года тому назад я перечитывал «Дворянское гнездо» и прочёл слова: «закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования…». Оцепенение очарования! — воскликнула моя мысль в восхищении, лучше сказать нельзя, — и тотчас возник стих.



Влада
АБАИМОВА,
Оренбург

***

В каком году всё это было?
Прости меня, я позабыла.

Автобус ехал по дороге,
Ведущей в дальнее село.
У пассажиров мёрзли ноги,
Покрылось инеем стекло,
И город снегом замело.

Потом стихи читали в школе,
На сцене Пушкин как маяк.
Ты всё сказал о Диком Поле,
Тридцатилетний наш земляк.

Мы не носители фамилий,
А всё-таки учителя
Нас напоили, накормили,
И пели, сердце веселя,
Про лебедя и журавля.

А степь за окнами тянулась
Так долго, словно белый стих.
Зачем назад я обернулась?
Там нет попутчиков моих.

Одни расстались на меже,
Другие умерли уже.

Неважно, как село зовётся,
Неважно, как меня зовут.
Пусть эта школа не взорвётся,
Пусть эту школу не взорвут…

***

Господь бывает мужиком,
За бытовуху срок отбывшим.
Господь бывает стариком,
Домашний адрес позабывшим.

Господь бывает сиротой,
Живёт в бараке запустелом.
Господь бывает даже той,
Которая торгует телом.

Ему не стыдно быть бичом,
Пока мы зло и смуту сеем,
Но никогда — не палачом
И никогда не фарисеем.

Никто бродягу не впустил,
Не дал ему штаны и куртку.
А Он преступника простил
И не отвергнул проститутку.

***

А в детстве мальчика любили,
Он зла не делал никому.
Но в день, когда его убили,
Никто не плакал по нему.

Никто не знал, что он, холодный,
Лежит в овраге под мостом,
А рядом верный пёс голодный
Лежит с оторванным хвостом.

С чего бы вдруг такой красивый
Со мной, соплячкою, дружил?
Был Серый, а точнее сивый,
И голову в Чечне сложил.

За Родину, за президента,
За деньги, чтоб кормить семью,
За откосившего студента,
Занявшего его скамью…

***

Со станции Шевченко
Отходят поезда,
Со станции Шевченко —
Неведомо куда.

Быть может, в стольный Киев,
Где есть бистро, метро,
Где слёзы, очи выев,
Вливаются в Днипро.

А может быть, в Одессу,
Где на стволах смола,
Где не читают прессу
Сгоревшие дотла.

А может быть, в Черкассы,
А может быть, в Херсон.
Стоит народ у кассы
И длится страшный сон.

Следят глаза пустые
За стрелкой на часах.
Но ангелы святые
Живут на небесах.

На землю посмотрите
Из белых облаков,
В Россию заберите
Детей и стариков.

Им нечего поставить
В отсек для багажа,
Их некому избавить
От злого грабежа.

Пускай они на полки
Улягутся свои
И спят до самой Волги…
А в Курске — соловьи.



Мария АББАКУМОВА, Москва

КНИГА

Сто лет без друга —
это знаешь как?! —
полюбишь крыс,
не то чтобы собак,

привыкнешь грызть
сухую корку книг
и соловеть
от их медовых фиг.

На книжном дереве
не выросло пока
ни друга милого,
ни глупого щенка.

И всё же
книге в пояс поклонюсь:
не будь её?! —
подумать-то боюсь.

ПРИСЛОНИТЬСЯ К ЛУНЕ…

Время движется полнолуньями,
круглым светом небесных колёс.
…Прислониться к луне,
прислушаться:
шелушится материя звёзд;

рассыпается в пыль серебристую,
в неречистые облака
невозвратное, медленно-быстрое
время умного и дурака;

рассыпается в пыль серебристую
время жажды и время вражды.
…В свет луны, в эту горницу чистую,
удалишься — и вежды влажны.

***

Петушок на красной кружке
из рубинного стекла
ждёт подружки, ждёт пеструшки,
ждёт… А жизнь текла-текла…
Дотекла до новой Пасхи:
красим яйца, тесто жмём
и, как наши бабки, счастья —
русского — уже не ждём.

Ехал грека через реку,
а по речке плыл навоз…
Выдай, Петя, кукареку,
разверни гармонью хвост!

Петушок на красной кружке
с каждым годом всё умней:
не видать ему подружки
кроме личности моей.

ВЕЧЕРНЕЕ

Всю жизнь одна веду сраженье
за жизнь свою, продленье дней.
Не легче это упражненье
с годами, а, увы, трудней.

Так сложно утром просыпаться
и для сраженья оживать.
Другое дело — в сон бросаться:
в тепло, в безмолвие, в кровать.

Мила ты мне, подруга русских
перина, тётушка-постель,
и ропот глаз, спросонья узких,
как прилетевших не отсель.

Зачем всю жизнь веду сраженье?
Зачем ты мне, продленье дней?
Материй тела громожденье
зачем — пред бездной Жизни всей?

В колючей проволке вопросов
ты изодралась, жизнь моя,
пока бросалась, как Матросов,
на чернодырье бытия.

***

Мамке Волге поклонюсь.
Батьке Дону улыбнусь.
Помолюсь гряде свинцовой,
небо — это тоже Русь.

Где ни ступишь — бурелом,
надоело — напролом.
Помолюсь судьбе бедовой,
чтоб не прыгала козлом.

Мамке Волге, батьке Дону,
волку, белому батону,
вербе тихой помолюсь,
к прислонюсь:

поддержи мя, Вседержитель,
я немножко тоже Русь.



Анатолий АВРУТИН
Минск, Беларусь

РУССКОЕ СЛОВО

Не умею сказать по-французски
Ни «природа», ни «блузка», ни «лес»…
У француженок яркие блузки,
Видел всяких — и в блузках, и без…

Всё блуждается в том, полудетском
Восприятьи… Что Бог триедин
Не умею сказать на немецком,
Хоть мы некогда брали Берлин.

Не умеешь… Не знаешь… Не видишь…
О, словесности водораздел!
Ни иврит мне неведом, ни идиш,
И английского не одолел.

Всё на русском… Конечно же, плохо
Помнить лишь «камарад» и «капут»!
Но, когда озверела эпоха,
Только крикни: «Ура!»… И поймут…

***

Я боюсь одного — что когда-нибудь станет не страшно
Позабыть, не терзаясь, что я обо всём позабыл,
И назвать пустяком злобный выпад, совсем не пустяшный,
Так бескрыло подумав, что можно взлететь и без крыл.

И кривая дорожка со шляхом сольётся отлого,
И уже не поймёшь — где дорожка кривая, где шлях…
Будет просто тропа… Будет просто плохая дорога…
Будет сладкая горечь гореть на разбитых губах.

В оживлённой толпе скоро станет совсем одиноко,
И поверится в то, что любимой давно ты не люб.
И — не глядя в глаза, — будешь помнить, что «Око за око!»,
И зубами скрипеть там, где зуб вышибают за зуб…

Всё никак не поймёшь, почему им и сытно, и брашно,
Почему веселятся с довольством на пухлых губах?..
Потому, что поверил — когда-нибудь станет не страшно…
И со страхом увидел бесстрашия подленький страх…

***

Тропинка-тростинка вконец заплутала во ржи…
Скажи мне, росинка, рассветное небо, скажи,
Что станет с душою, когда вознесётся, спеша?
Что станет со мною, когда вознесётся душа?
Какие моленья подхватят её на лету,
Придёт ли прозренье, что принял я за слепоту?
Закончатся разом — и тело, и дело, и плоть…
Закончится разум… Закончится даже Господь…
И сон не приснится — он тоже куда-то исчез…
И птица-синица… И руки любимой… И лес…
Лишь голос, звучащий чуть слышно в такую пору,
Мне молвит: «Пропащий… Я — голос… Я тоже умру…
Сменюсь тишиною, что время крадёт не спеша.
Но буду с тобою, когда вознесётся душа…»

***

Вослед за покоем приходит всегда непокой —
Затем, чтоб покой нам недолго покоем казался.
Ну, как же теперь мне к тебе прикоснуться рукой,
Когда я рукою к вселенскому злу прикасался?..

Уже заструилась с деревьев линялая медь,
И тучи тяжёлые бродят всё ниже и ниже…
Ну, как же посмею теперь на тебя поглядеть,
Когда я глядел на другую — светло и бесстыже?..

Глядел… И казалось, что это и есть благодать…
И снова глядел… И разлукою мучился снова.
Ну, как я посмею теперь тебе что-то сказать,
Когда повторял, что молчание — выше, чем слово?..

Крест-накрест зачёркнут вконец неудавшийся день,
А пульс всё морзянит, что лучшего мы и не стоим.
Луна оскудеет… И солнце взойдёт набекрень
Над вечным покоем… Над призрачным вечным покоем.



Владимир АЛЕЙНИКОВ, п. Коктебель

ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

I

Немало мне выпало ныне
Дождя, и огня, и недуга,
Смиренье — не чуждо гордыне,
Горенье — прости мне, подруга.

Дражайшее помощи просит,
Навесом шурша тополиным,
Прошедшее время уносит
Кружением неопалимым.

Внемли невесомому в мире,
Недолгому солнцу засмейся.
Безропотной радуйся шири,
Сощурься и просто согрейся.

Из нового ринемся круга,
Поверим забытым поэтам,
Прельстимся преддверием юга,
Хоть дело, конечно, не в этом.

Как будто и вправду крылаты
Посланцы невидимой сметы,
Где отсветы наспех примяты,
Отринуты напрочь приметы.

Как будто подвластны причудам,
Невинным гордятся примером
Стремленья магнитного к рудам,
Служенья наивным химерам.

Где замкнутым шагом открытья
Уже не желают собраться,
Но жалуют даже событья —
А молодость жаждет остаться.

II

Скажи мне теперь, музыкантша,
Не трогая клавиш перстами, —
Ну что тебе чуть бы пораньше
Со мной поменяться местами?

Ну что тебе чуть поохрипнуть,
Мелодию петь отказаться,
Мелькнувшее лето окликнуть,
Без голоса вдруг оказаться?

Ну что тебе, тихий, как тополь,
Король скрипачей и прощений,
Разбрасывать редкую опаль
По нотам немых обольщений?

Ну что пощадить тебе стоит
Творимое Господом чудо,
Когда сотворённое стонет
И воды влечёт ниоткуда?

Ну что за колонны белеют —
Неведома, что ли, тоска им?
И мы, заполняя аллеи,
Ресницы свои опускаем.

А кто поклоняется ивам,
Смежает бесшумные веки? —
Да это, внимая счастливым,
На редкость понятливы реки.

И племя младое нежданно
К наклонным сбегает ступеням —
И листья слетаются рано,
Пространным разбужены пеньем.

И хор нарастает и тонет
В безропотной глуби тумана,
И голубем розовым стонет,
И поздно залечивать раны.

И так, возникая, улыбка
Защитную ищет заминку,
Как ты отворяла калитку —
А это уже не в новинку.

III

Бывали и мы помоложе,
И мы запевали упрямо —
И щурили очи в прихожей
Для нас флорентийские дамы.

И мы нисходили на убыль,
Подобно героям Боккаччо, —
Так что же кусаю я губы
И попросту, кажется, плачу?

А ну-ка, скажи мне, Алеко, —
Неужто зима недалёко —
И в дебрях повального снега
Венчальный послышится клёкот?

И что же горит под ногами,
И разве беды не почуят,
Когда колдовскими кругами
Цыганское племя кочует?

О нет, не за нами погоня,
Нахлынет безлиственно слава —
Покуда она не догонит,
Земля под ладонью шершава.

Коль надобно, счёты откинем,
Доверимся этой товарке —
Покуда ведь только такими
Опавшие вспомнятся парки.

Томленьем надышимся ломким,
Уйдём к совершенствам астральным,
Октябрь не в обиду потомкам
Сезоном закрыв театральным,

Где свёрнуты без опасений
Над замками мавров и троллей
Затёртые краской осенней
Афиши последних гастролей.

НЕ УМОЛКЛИ СВЕРЧКИ

Нет, никто не сумеет сверчков убедить
Замолчать! — это звёзды над ними
Да сады над рекой — их нельзя оградить,
Населить сторожами ночными.

Значит, ныне и присно сумей улучить
Не мгновенье — лишь тень мановенья, —
Ран сердечных, как видишь, нельзя
залечить,
Невозможно постичь дуновенье.

Только шорох услышим — и тихо вокруг,
Только лодки затоплено тело,
Только замерли оба и вздрогнули вдруг —
Ты сама этой песни хотела.

То не ласточки лепят гнездо за гнездом —
Улетели они безвозвратно, —
И уйти не хотим, и ступаем с трудом —
Ну когда же вернёмся обратно?

Паутины осенней летящая нить
С чем связует? — их много на свете,
Чтобы рук не тянуть и примет не хранить,
Быть за всё пред собою в ответе.

Расскажи, расскажи — чем была ты жива?
С чем пришла ты ко мне? — как спешила? —
Не умолкли сверчки, не исчезли слова —
Есть над нами Небесная Сила.



Николай АЛЕШКОВ,
Набережные Челны

МАЛЬЧИШНИК

Хлеба горбушку да сала шматок
С кружкой холодного кваса —
Лучшей еды и не будет, браток,
Вплоть до последнего часа.
Кто-то добавит зелёный лучок
И огурец малосольный
Рядом с картошкой. Про водку — молчок
В нашей беседе застольной…
Лучше не дома, а возле реки,
Ласточки чтобы кружили.
Али не русские мы мужики,
Али друг другу чужие?
Песню старинную вспомним — споём.
Годы, как быстрые реки.
Вовсе не страшно, что скоро уйдём
Все — друг за дружкой — навеки.
Сашка да Витька, да тёзка Колян,
Васька, приехавший в гости.
Песня не ладится? Бросьте баян!
Просто обнимемся, бросьте!
Детство ли вспомним: герань у окна,
Складки отцовской шинели…
Послевоенная рвань и шпана,
Что же вы так поседели?
Живы покуда. И память остра
Вплоть до последнего часа…
Ну-ка, старшой, разливай у костра
Из фронтового запаса!

***

В морозном воздухе двоится
Крестьянский острый серп луны.
Кто любит Бога, не боится
Иной, неведомой страны.
Земная жизнь — подарок царский.
Что небеса откроют мне?..
А серп заточен по-татарски
Здесь, на казанской стороне.

А рядом с ним над зимней Камой
Горит Полярная звезда.
С землёю этой, словно с мамой,
Легко ль проститься навсегда?
Мы в небеса с рожденья метим.
Но почему-то всё равно
Живой душе смириться с этим
Вплоть до ухода не дано…

ОСЕННИЕ СТИХИ

Александру Нестругину

Спасибо, сторонка родная!
С тобой всё на свете стерплю!
А что за пределом — не знаю,
Но землю, где вырос, люблю.
Люблю это мокрое поле
И эту туманную взвесь.
Была бы на то моя воля —
И душу оставил бы здесь…
Под мелким дождём моросящим
В лесочке за тёмной рекой
Сыграл бы нечаянно «в ящик»
С оборванной этой строкой…
Я помню про счастье такое —
В миру оказаться никем
И вместе с текущей рекою
Уйти в небеса насовсем.

А чем не финал для поэта?
И пусть зарастёт колея!
Найдут ли, отыщут ли — это
Забота уже не моя.
Зато меж берёзок осенних —
Откуда? Из ангельских снов —
Мелькнут ненароком Есенин
И с грустной улыбкой Рубцов.
Под тихую музыку — шелест
Дождя и летящей листвы
Коснётся языческий Велес
Пропащей моей головы…



СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ, Москва

ОЧЕРЕДЬ ЗА ГОНОРАРОМ В «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

Тогда, устав от лет суровых,
Желая просвещённой слыть,
Россия граждан непутёвых
Своих решила подкормить.

Спешили мы со всей столицы,
Стояли, прислонясь к стене,
Свои выпрастывая лица
Из-под заснеженных кашне.

Там «Юности» один из замов,
Стоял без кресла, просто так.
В углу угрюмо ждал Шаламов,
А Смеляков курил в кулак.

И шёл совсем не по ранжиру
Один поэт вослед другим.
Так начавший стареть Межиров
Был лишь за Самченко младым.

И Мориц бедную пугая
Ухмылкою грядущих мер,
Её в упор не замечая,
Стоял боксёр и браконьер.

И даже прямиком оттуда,
Вновь улетавшие туда,
Своих мехов являя чудо,
Там становились иногда.

В тот зимний день шутила муза,
Долистывая календарь.
Стоял там я, не член Союза,
За мной — Луконин, секретарь.

О, государственной заботы
Благословенные года.
И за недолгие щедроты
Мы благодарны навсегда.

***

От зарплаты до зарплаты
Мать копила на духи,
Зряшные не делав траты, —
Не терпела чепухи!

Будущий, а не вчерашний
День вступал в свои права —
Лился из Кремлёвской башни
Запах «Красная Москва»!

Приседания, наклоны —
Физзарядку — на балкон!
Ставила на подоконник
Удивительный флакон.

Улыбалась нежным светом
Башня древнего Кремля,
И сияла ей с рассветом
Вся Советская земля…

***

Пока я вспоминал Тифлис,
Где дед, отец хлебнули лиха,
Росою сойки напились,
Уже созрела облепиха.

Клевать! Срывать! — шумят, зовут,
Взлетают птицы из-под кочек.
Осенней радостью живут…
А я смотрю в проёмы строчек.

Где пал, где похоронен был, —
Кромешный год пришёлся на год.
Утешусь вспархиваньем крыл
К созвездьям ярких жёлтых ягод…

ЛЁН ЛЕЖИТ

Солнце согреет, ветер остудит.
Тучи со всех сторон.
Лён полежит — и трудов с ним убудет, —
Росы истреплют лён.

Лён здесь по-прежнему в силе и в славе.
И рушником зимой
Вытрусь — увижу:
лежит по отаве
лён золотой!

***

В роду есть привычки —
и вот запасает жена
соль, мыло и спички —
война, — что поделать! — война…

Ей бабушка Таня,
до ста не дожившая год,
внушала — заране
узнаешь: ну вот — твой черёд.

Эх, горе-сторонка:
с корой будешь смешивать жмых.
Пришла похоронка —
одной поднимать семерых.

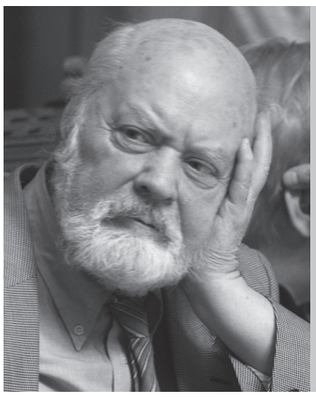
Средь маршев победных
Все долгие годы ждала.
И сирот всех бедных,
Бескормышей, пережила…

СТИХИ НА ЗАМЕНУ СТАРОГО ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКА

Старый счётчик крутился, гудя по утрам,
На пороге больших перемен, —
Кипятильник шипел, покидая стакан,
И сушил твои волосы фен.

На любви экономили мы на двоих
И нам было светло в темноте.
Он считал киловатты тех бдений ночных
В коммунальной моей тесноте.

Самой лучшей из харьковских
электробритв
Я наощупь водил по щекам.
И осталось за свет, что в годах тех горит,
Доплатить по последним счетам.



[ЮБИЛЕЙ]

Льву АННИНСКОМУ — 85 лет

Москва. Министерство культуры России. 23 марта 2006 года. Первое, после принятия решения о возрождении альманаха «День поэзии» заседание круглого стола поэтов. Слева направо: Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Лев Аннинский, Владимир Бояринов, Валерий Дударев.

Владимир ХОХЛЕВ, Андрей ШАЦКОВ

ЛЕВ АННИНСКИЙ: ЛЮБАЯ ИДЕЯ В РОССИИ СТАНОВИТСЯ РУССКОЙ

7 апреля 2019 года замечательному литературоведу, критику, тонкому знатоку русской поэзии и русской души Льву Александровичу Аннинскому исполнилось 85 лет. В России — двое великих литераторов отмечены волей провидения, и оба они — главные действующие лица на страницах альманаха «День поэзии». Критик Лев Аннинский, рождённый на Благовещенье — 7 апреля, и поэт Владимир Костров, рождённый на Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября — это слава и гордость нашей литературы.

Во многом благодаря Льву Александровичу Аннинскому в альманахе «День поэзии — XXI век» появился отдельно выделенный раздел «Критика и литературоведение» с многочисленными эссе блестящего мастера.

Долгих Вам лет жизни, Лев Александрович, во славу отечественной словесности!

— Лев Александрович, в «Опыте автобиографии, при попутном выяснении базовых ценностей» Вы сказали: «Я выбрал РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ ещё в восьмом классе, с первых сочинений я твёрдо знал, что буду заниматься ею и только ею». Как бы Вы сейчас объяснили этот выбор?

— Не я её выбрал — она меня. Я думаю, сказалось детское чтение. И мне и моему брату читали вслух стихи, которые врезались в сознание единственно, потому что были понятны. Среди накрученных и наверченных петель сюжета — что-то неизменное и неоспоримое, как дважды два. И железный ответ: четыре.

Я ещё не знал, что это Пушкин. Но в стихах всё было ясно, неизменно, вечно. Чья возьмёт, тот и главный. Ему служат!

Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была у меня на посылках».

Я был в первом классе школы (в эвакуации, далеко от дома). Ждал, что ушедший на фронт батя вернётся с победой.

Ко второму классу я уже знал: жизнь — это война. Великая Отечественная война с фашистами. Чья возьмёт, тот будет жить.

Наша взяла!

— В «Опытах...» же Вы называете чепухой «всё остальное перед *распадом Советского Союза». Почему?*

— Потому что понятно было главное: Советский Союз — это Родина. Понятно с младенчества.

Что было делать Родине при таком распаде? Сконцентрироваться. На чём? На единстве. На сплочении национальностей, составивших Родину. Но это же империя! И никакой маленькой она не мыслилась. Великая! Всемирная! Наше всё.

Вот наше всё и определило мою душу. Мою жизнь и мою судьбу. Я прочёл Льва Толстого, прочёл Достоевского. Прочёл Лескова, который соединил их полюса: верхний и нижний.

Растворяется личность в государстве или нет — мне было без разницы. Я не растворялся и не отделялся.

Есть Держава — это всё.

Неважно какая она: марксистская или ещё какая-нибудь… Антимарксистская.

— Ваше отношение к *бунтарям, которые ставили себя* как *будто* над *Державой —* к *Маяковскому, Мандельштаму?*

— В Маяковском меня смущала его рыночная хватка, было ваше — стало наше.

Вдова Мандельштама одной фразой поставила на место Сталина, среагировала на зависимость людей от этого человека. Она сказала: «Дело не в нём, дело в нас».

Дело в нас! И будет — в нас. Пока мы будем на этом свете.

А вот будем ли?

Или исчезнем в атомном безумии?

— Мы *попробуем расширить Вашу мысль словами, которые Вы уже сказали. Позволим себе* из *«Опыта...» ещё одну цитату:*

«Великая русская литература. Она возникает как *коррелят Российской империи. Империя, заметим, изначально мыслится* как *вселенская, кафолическая, всемирная („Третий Рим“). Сначала литература подводит* под *крепость Державы душевный, „домашний“ фундамент (Державин), потом наступает момент равновесия личностного* и *имперского начал (Пушкин, Толстой), потом личность начинает расшатывать государственную крепость* и *пророчит ей гибель (Достоевский, Блок). Советская литература — реакция* на *этот сюжет: сначала личность яростно стирается, растворяется* в *государстве, сливается* с *ним; возникает* то, что *называется литературой большого стиля. Момент равновесия опять-таки переходит* в *яростный бунт личности против подавления её государством,* и *возникает литература трагического звучания (от Мая-*

ковского к *Мандельштаму,* от *Шолохова* к *Гроссману,* от *Горького* к *Платонову). Будущее человечество станет попеременно вспоминать героическую* и *трагическую стороны этой истории* в *зависимости* от *того,* что у *человечества будет болеть».*

У *Вас давние отношения* с *альманахом «День поэзии». Почемуименно «День поэзии»?* А не *«Час поэзии»* или *«Год...»?*

— День — что-то близкое, ощутимое. А поэзия — голос Вечности. Вот и соединились.

— Как, по-Вашему, почему приостановленный во *время перестройки альманах «День поэзии» возродился* в *2006 году?* Что *произошло* в *обществе?* Как *Вы лично восприняли это возрождение?*

— Лично я воспринимаю с благодарностью любые варианты проявления национального самосознания. В 2006 году это случилось в поэзии. Обернувшись, видишь Дамиановы устои, Пушкина и Лермонтова. Или — Достоевского и Толстого.

Блики истории всплывают или тонут в зависимости от состояния души или духа. Значит, к 2006 году душа и дух соскучились по поэзии.

— Поэты — как *люди искусства — всё время ищут... Новые формы подачи, новые форматы, новые слова... Какие находки современной поэзии Вы готовы приветствовать?*

— Ищут смысл реальности не только «люди искусства» — все люди. Но не всем удаётся об этом рассказать.

На то и стих — чтобы рассказать о неуловимом. О смысле бытия.

Новые форматы появляются по ходу развития поэзии. В каждой ситуации это — и открытие и новость.

Каждый народ открывает для себя смысл бытия. Русские открывают и исповедуют Русскую идею. Какой эта идея будет в дальнейшем — загадка. Какой будет? У нас она будет русской. Любая идея в России становится русской. Той, что здесь и сейчас!

Если же мы утратим самоощущение русскости, о наших судьбах будут рассуждать другие люди и другие народы…

Я приветствую нынешние находки, в которых есть, видна история. Это приветствую.

И проза, как и поэзия — смысл ищет. И находит его в новых сочетаниях древних слов. В стихах это видится резче, но и в прозе так же ярок смысл.

Впрочем, в рифму человек начинает говорить, когда думает, что говорит с Богом.

С Ним и говорит, а рифма — сигнал языка.

— Что *такое счастье?*

— Счастье — это обретение смысла Бытия. Поиск этого смысла не оставлял меня в любую эпоху.

— А *русское счастье?*

— Каждый народ, обретая всемирно-историческую память, уверен, что история говорит с ним на его языке. С русскими — на русском. Тогда язык становится своим.

Это у каждого народа — если обнаруживается память.

Русское счастье — это воплощение исторической памяти в настоящем.

— Почему русские так быстро и *так глубоко впитывают чужие идеи? И даже руководствуются ими* в *жизни?*

— Путь вглубь — для тех, кто глубину ищет. И ценит.

Мы берём всё, что помогает нам жить и находить смысл Бытия. Потом нам объясняют, что со стороны мы прихватили чужое. Но ведь оно уже наше, впитано нами.

Чужое же — это всего лишь кем-то случайно прихваченное.

— Коммунистическую идею Русь тоже приняла, сделала своей… Проверила на *собственном опыте* и *отказалась. Кажется — легко отказалась.* Как бы *Вы это объяснили?*

— Смысл открывается при любом статусе. При любой господствующей идее. Если становится своим.

— Вернёмся к *Вашей любимой литературе.* К *поэзии!*

Расскажите, как *писалась книга «Красный век». Она вышла* в *свет* в *2009 году,* а *сейчас* как *будто обрела второе дыхание…*

— Я описал своё понимание жизни и смысла судьбы. История всё окрасила в багровый и красный цвета. Пришлось принять это и усвоить, как своё. Другие тоже усваивают.

Смысл эпохи не вдруг виден. Так же, как и в книге «Красный век». Три тома посчастливилось издать, ещё четырнадцать томов — в архиве.

А кто и как найдёт эту книгу, кем она прочтётся, — я не узнаю.

Почувствует человек себя русским — прочтёт.

Книги мои — все — писались так, как пишется дневник многочитающего литератора. «Красный век» — очередное объяснение моих записок. Только так я это наименование воспринимаю.

— Вопрос о *критике, которая* в *обиходе воспринимается* как *что-то негативное, даже ругательное. Хотя критика — это анализ, оценка* и *суждение… Как, по-Вашему, профессиональная критика помогает поэту?*

Откройте свой секрет. Чего добивается критик, критикуя? Может быть, с *учётом Вашего телевизионного опыта.*

— Все мои рассуждения о роли литературной критики — это поиск Смысла. Фиксация того, что случилось. Или может случиться.

Что должен делать критик? Фиксировать то, что рождает душа. И что просится в поэзию. Красный век — так красный. Цвет не угадаешь. Так и эдак — кровь.

Это должно быть крепко и глубоко. И если так, то это — главное, что я сделал.

Соберут, сохранят — хорошо. А разбросают и утратят — я уже не среагирую.

Как сейчас не реагирую на экранные прыжки. Сам с «Мосфильма». Сыт.

Критика нужна затем же, зачем философии ответ на вопрос о высшем, изначально-конечном смысле того, чем заняты философы как повседневные профессионалы.

Не только философы — но и палеонтологи, историки нравов, историки медицины, историки искусств, знатоки правил речи. Высший смысл есть в любой сфере деятельности, хотя не все и не всегда это чувствуют.

А должны бы чувствовать все, чем бы люди ни занимались.

Высший Смысл — это смысл деятельности, без него деятельность опускается до элементарного обслуживания, до нужды «сейчас или неизвестно когда».

Литературная критика — такое видное, яркое и существенное дело — демонстративно обессмысливается, если не искать и не открывать в нем Высший Смысл.

— Благодарим Вас!

Беседовали Владимир Хохлев (Санкт-Петербург) и *Андрей Шацков (Москва)*



Андрей АНТОНОВ,
Вятка

ГУСЬ

Взнесусь на крыльях мощных,
невиданных…
Я, певчий лебедь…

Гораций

Над Вятской окраиной гусь пролетал,
такой одинокий и слабый,
что с неба на воду с размаху упал
туда, где на мостиках бабы

с глухою досадой терзали бельё,
но, видя падение птицы,
оставили древнее дело своё,
и были суровы их лица.

А гусь, словно пава, поплыл по воде
животным подобием плуга,
равняя крылом борозду к борозде
на пажити водного круга.

Казалось, он плыл к неземным берегам,
и мира привычный порядок,
качнувшись, поплыл по озёрным кругам
и стал непонятен и сладок.

Тяжёлым плечом раздвигая залив,
он пел, напрягаясь, как пахарь,
темнея среди обездвиженных ив
застиранной серой рубахой.

Повеяло в сердце нездешним теплом
и бабы, всплакнувши немного,
припомнили всё, что сияло в былом
и вечно хранилось у Бога:

весёлые дни на коленях отца,
и тяжесть косы на затылке,
и белый платок потолка у лица
в горячей родильной парилке.

И бабам уже никогда не забыть
явления мира иного,
и будет их мучить и жечь, и томить
поэзии вещее слово.

АНОСИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Любовь к отеческим гробам...
А. Пушкин

На сельском кладбище среди сварных оградок,
цементных столбиков с задачками на счёт,
наивных надписей и сиротливых грядок
мне, как живущему, всё мирное поёт.

Поют тюльпанчики в железном обрамленьи,
и пироги поют, вобравшие, как твердь,
в себя земную соль трудов и вдохновенья,
и то, что в простоте мы называем — смерть.

И облака с утра галдят без передышки,
и где-то на краю, в провалах чёрных дыр,
убогий электрон, как будто из-под крышки,
тонюсенько пищит, оправдывая мир.

И как же мне не петь, когда кругом веселье!
На этом кладбище такая благодать,
здесь каждый Божий день справляют новоселье,
сажают цветники и учатся считать.

И весь объём небес, испытывая тягу
движения земли, поёт о том о сём,
и, вышитый крестом, погост, подобный флагу,
нарядной ветхостью скрывает глинозём.

Но я не буду петь. Молчат на пепелище.
Безмолвствует душа у гробовых ворот
и, приходя сюда, не обретает пищи,
а только всех друзей по имени зовёт.



Наталья АРИШИНА, Москва

НЕРЕИДА

В приморском бранденбургском городке
и далеко ещё не «на гражданке»
вы, кажется, живёте налегке,
и время вам отсчитывают склянки.

Военный хлам ещё не съела ржа,
чернеют в дюнах гильзы. Но обиды
в судьбе ещё не вызрели.
Баржа —
вот новое жилище нереиды.

Смертельно я завидовала вам,
когда встречала, убежав с урока,
и дерзко стрекотала по кустам
такая вездесущая сорока.

Была на вас тельняшка. И в кудрях
ходили вы, барашковых и светлых.
Я думала, вернулись вы на днях
из долгих путешествий кругосветных.

Хотелось мне, чтоб недоступно вы
держались, одиноко и угрюмо.
И чтобы только каменные львы
узнали ваши тайны, ваши думы.

Был мой отец приметен и высок.
Вы до плеча ему не доставали,
когда под голосок Марики Рёкк
с ним в Доме офицеров танцевали.

Я увидала вас через окно.
Но дождик лил, и расплывались лица
танцующих. А я тайком в кино
пришла на фильм
«Индийская гробница».

В саду дрожал и сыпался жасмин.
Со счёту сбилась — склянки били, били.
Он вышел, оглянулся. Вы за ним
на каблучках по лужам семенили.

Я на барже разбила вам назло
единственную лампочку у трапа.
И в ту же ночь отмщение пришло —
ангины укрощающая лапа…

С осколками в береговом граните канал.
Вы мне за давностию лет
ненужные подробности простите?
Но, кажется, иных в помине нет.

На облаке я вижу ваши тени,
они маячат мне издалека.
К подножью льва ведут меня ступени.
И мрамора касается щека.

РАССЛЫШУ ЦИКАДУ

Какие-то твари стрекочут впотьмах
и листья шуршат, и тростник.
За то, что я пришлая в этих местах,
попала я вам на язык.
Но я не отвечу на полувражду,
постыдно накликать беду.
И доводов много в уме приведу.
Тоскливо в их длинном ряду.

Мой дед врачевал в четырёх областях
такой разномастный народ,
что многое о человечьих страстях
наверное знал наперёд.
Его разговорами о пустяках
не раз отрывали от дел.
Мой дед говорил на пяти языках
и мёртвой латынью владел.

Ни щепки — исчез кипарисовый крест,
чувяками вытоптан склон.
Бушует гордыня, пустынно окрест.
Законный не вырвется стон.
Какая скупая в округе трава!
Не пахнет лекарством полынь.
Чужие поступки, чужие слова.
Смирись, не потворствуй, остынь.

Расслышу цикаду — и сердце замрёт.
Колодезный ворот поёт.
И лошадь слепая на вечность вперёд
ни капли воды не прольёт.

НА ЗВЕРЕ ВЕРХОМ

При свете ночных фонарей,
в часы, когда день устает,
люблю этих спящих зверей
в саду, на мосту, у ворот.

Я каменный холод кудрей
не раз утепляла рукой,
когда леденил их борей
у входа в больничный покой.

И кто меня щёлкнуть успел
сидящей на звере верхом?
Тот снимок ещё черно-бел
и снят в освещенье другом.

При свете ночных фонарей,
в часы, когда день устаёт,
люблю этих спящих зверей
в саду, на мостах, у ворот.

КРИПТОМЕРИЯ

Криптомерия, прима в мордвиновских кущах,
свысока, не сгибаясь, глядит на идущих.
Что ей ветер, какой-то навязчивый бриз —
с ней не вровень высокий дворцовый карниз,
здесь никто ей не брат и никто ей не ровня.
Что ушло? — Торжества, песнопенья, часовня,
бальный зал и укромный домашний алтарь,
и пейзаж, на который смотрел государь.



Вячеслав
АР-СЕРГИ,
Удмуртия

РОДИНА

Притулилась деревня моя
К огромному шару земному.
Одиноко бежит колея
Параллельно тракту большому.

Воробей перемёрз до костей,
Но от страха чирикает в такт.
Не дождаться ему тут гостей —
Поле, лес, вдаль стремящийся тракт.

Побреду под чирик воробья,
Своей памятью доброй ведомый.
Вот чернеет во льду полынья,
К ней стремится тропинка от дома.

В полынье той воды зачерпну,
В самоварчике чай сноровлю,
Самокрутку тугую сверну —
Всё здесь мило мне, всё я люблю.

Пусть другим — другое,
Мне ж — оставь моё:
Не хочу чужое,
Мне милей своё.

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Раскинув руки, я лечу
Над синею Землей.

Раскинув руки, я лечу
Над красною рекой.
Раскинув руки, я лечу
Над белой муравой.

Раскинув руки, я лечу
Над жёлтою горой.

Космический холод в ночи,
И солнце остыло в печи.

…Летит воздушный змей,
«Парсеки» оставляет,
А пальцы нежные быстрей
Бечёвку вытравляют.

АЙГИ

В поле чувашском заснеженный
Цвёл апельсин золотой.

Пах апельсин тот рябинами,
Скрытый от глаз в зверобой.

Бился от боли каликовой,
Плакал он книжной слезой.

В поле чувашском заснеженный
Сох апельсин золотой.

ВСЕНОЩНАЯ

Ах, ночь ты постылая,
В рамке окна —
Осень унылая.

Голые ветки облезлые,
В лужах уснувших —
Листья опалые.

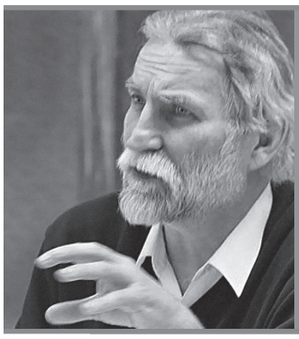
В теми небесной —
Шторой задернутой
Звёздочки нет ни одной.

На подоконнике ясная
Свечка горит
Одинокая.

Путнику светит она,
Дорогой бредущему тяжкою —
Свечка одна.

Скоро уж вся догорит…

Но затеплит рукою девичьей
Свечечку новую
Ангел…



Владислав АРТЁМОВ, Москва

СЛОВА

Мои слова прозрачнее и проще,
Чем эти облетевшие леса,
Они со мной перекликались в роще,
Я полюбил их птичьи голоса.

Они в стогах осенних ночевали,
Баюкал их тягучий шум дождя.
Кормились тем, что на ходу срывали
С сырых ветвей, по саду проходя.

На том холме в войну они играли,
Крестил их май в криницах ледяных,
Их волосы в июле выгорали,
В сентябрьских цыпках ноги были их.

Качаясь, на орешниках висели,
И проходящий катер стерегли,
И близко-близко на лугах осенних
К себе их подпускали журавли.

Я промолчу, не то сейчас волною,
Прорвав слова, из сердца хлынет грусть,
Ты их вспоил водою дождевою
Из старой шляпки, добрый старый груздь.

Даётся счастье нищим и беспечным, —
С любовью в сердце, с ветром в голове,
Здороваясь по-свойски с каждым
встречным,
Я прохожу по городу Москве.

В тяжёлый час я возвращусь к вам снова,
И как гостинцы принесу с собой —
И скрип сосны, и шум дождя лесного,
И тихий говор листьев над водой.

Вот дальний гром, а это свищет птица,
Вот радуга, вот солнце на стене…
Пока слова мои вам будут сниться,
Вы улыбаться будете во сне.

НОЧНЫЕ ПТИЦЫ

Ничего со мною не случится,
Ночью в дверь никто не постучится,
В армию меня не призовут.
Но не знаю, что со мной творится,
Даже если мёртвым притвориться —
Господи! — поют, поют, поют…

Ничего со мною не стрясётся,
Почва подо мною не трясётся,
Но часы тринадцать раз пробьют,
И опять они — мороз по коже —
Всякий раз всё про одно и то же,
Слышите! — поют, поют, поют…

Отпусти меня, возьми другого.
Спасу нет, но снова ночь, и снова
Бьют часы, и птицы тут как тут.
И стою, как лист перед травою,
Я руками голову закрою,
Чтоб не слышать, как они поют.

Ничего со мною не стрясётся,
Я почую, как восходит солнце,
И очнусь в глубокой тишине…
И жена вздохнёт, и осторожно
Снова скажет: «Жить с тобой тревожно —
Плачешь, плачешь, плачешь ты во сне».

АНГЕЛЫ

Они зовут, но мир не слышит их,
Их голос тих, призыв их еле внятен…
Жизнь промелькнёт, как призрак,
что возник
В движении лесных теней и пятен.

Взволнуется душа, заговорив,
И долго успокоиться не сможет,
Так ветра августовского порыв
Желтеющую рощу растревожит,

И встрепенётся, и вскипит листва,
Заговорив наперебив и сразу…
Я различал их, но едва-едва.
Я видел их, но только краем глаза.

Я повторял: «Как осень хороша!» —
И замирал в молчании глубоком,
И вздрагивала чуткая душа,
Незримых струй коснувшись ненароком.

И тело застывало на весу,
Пронизано лучами золотыми…
Но кто из вас не вздрагивал в лесу,
Из пустоты своё услышав имя?

И озирался я, разинув рот,
Вновь околдован тяжестью земною,
И как, должно быть, улыбался тот,
Кто подшутил, аукнулся со мною.

Сыграет ветер жизнь мою с листа,
И сколько листьев встрепенётся в роще,
Но до чего мелодия проста,
Чем глубже в осень, тем она и проще.

Подумать только — я на свете был! —
И самому не верится, ей-богу…
Всё ближе, ближе свист незримых крыл,
Перелетает тень через дорогу…

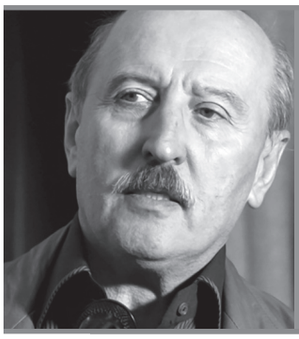
О чём, о чём, о чём мы говорим —
Сейчас сюда такой сквозняк прорвётся,
И голос мой, что так неповторим,
И трепет мой — всё в шуме том сольётся.

НА ХОЛМЕ

В этот солнечный день
Под Калугою гуси рыдали,
Запасалась душа
И простором и волею впрок,
И стоял я, стоял
И глядел в эти синие дали,
Всё глядел и глядел,
И никак наглядеться не мог.

Будто счастье прошло
И пропало за теми холмами…
Привязалась к душе
Непонятная грусть и печаль.
Да ещё этот ворон,
Что молча кружился над нами,
Да ещё этот ветер,
Да светлая стылая даль.

Этот солнечный день
Мне ещё не однажды приснится,
И вернётся к душе
Унесённое ветром тепло,
Что в тот солнечный день
Так хотело сквозь осень пробиться,
Но никак не могло,
Ты поверишь, никак не могло…



Евгений АРТЮХОВ, Москва

МОЛОГСКАЯ СВЕЧА

…И всё у нас не слава Богу!
Чтоб свет разлился над страной,
решили затопить Мологу
высокой рыбинской волной.

И затопили, не спросили,
хотят его такой ценой
те, кто веками жили-были
в обнимку с Волгой и Шексной.

Едва он вспыхнул в сорок первом,
ему добавила война
за перемигиваньем нервным
кровавых отблесков сполна.

И если морем рукотворным
теперь проходит теплоход,
тот свет виновником невольным
Мологу мёртвую зовёт.

И дважды в год на мелководье
она является на зов
то очертанием угодий,
то кладкой взорванных домов.

А то, погост перелопатив,
крестом напомнит невзначай,
что в каждом волжском киловатте
есть поминальная свеча.

НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Когда-то ты мечтал о славе
и уважении к тому,
что относилось не к забаве —
к предназначенью твоему.

Надеялся, что час наступит —
почтут душевные труды
и, может быть
(чем чёрт не шутит),
сочтут глотком живой воды.

Уверовав в счастливый жребий,
держал синицу в кулаке…
И вот в земле.
Душа — на небе.
Стихи гуляют в кабаке.

***

Ты не докажешь никому,
а прежде — самому себе,
что время кануло во тьму,
забрав всё лучшее в судьбе.

Что остаётся лишь чуть-чуть —
штришок,
царапинка,
стяжок.
И потому так ноет грудь,
что жизнь кончается, дружок.

Что надо завершать дела
и трезво подводить итог.
А похвала или хула
забыта будет между строк.



Сергей АРУТЮНОВ, Москва

***

Полжизни о цепи да об ошейнике…
Любой в уме давно б уже послал
Семидесятых ломкое брожение
И девяностых траурный базар.

Таким дерьмом отборнейшим нас
пичкали! —
То Берия божествен, то Колчак —
Отплёвываясь жёваными спичками,
Шипя о спецзаказах и хачах.

Ветшавший век… на нём —
толпища-толпища.
Ни перспектив, ни планов, абы как.
Окурок жизни — он святитель тот ещё,
О хладокомбинатах и быках.

Фарца, снабженцы — вот чьё было мнение.
Засалятся одни, других почнём.
А если бы иной нас мерой мерили,
Себя б и не узнали нипочём.

***

В запретной советской сказке,
Свинцовой по-протестантски,
В преддверьи палёных сект,
Отец привставал с дивана,
И мать меня раздевала,
Щелчком выключая свет.

И я, обалдевший за день,
Прошедший десятки стадий
От айнов до англичан,
Страны ледяной крупица,
Сигнальщика от горниста
Нимало не отличал.

И был бесконечно долог
Мой сон, растворённый в толпах,
Пижамных и плащевых.
На лунный нанизан вертел,
Я был, как весёлый ветер,
Средь будущих прощелыг.

Тому, кто скрипично боек,
Должно быть реально пофиг,
Сойдётся ль пасьянс «Паук».
И призван за счастье драться,
Аккорд Мирового Братства
Выпархивал из-под рук.

ОКТЯБРЬ

Виктории Аракеловой

Прервутся ль дожди косые,
Встопорщится ль сидр, шипуч,
У матушки ли гусыни
В предчувствии благостыни
Из клюва заблещет луч,

Из воинства Александра
Намеренно взяв отвод,
Удача бежит, внезапна,
И снег не сегодня-завтра,
И темень уже вот-вот.

На выбеленном газоне,
В шеренге от ЛФК —
Наклоны и многоскоки,
И солнце глядит косое
В изрытые облака.

О, как бы расстаться с ними,
Творения в день седьмой,
И личной своей Цусиме
Признаться в октябрьской сини,
Как страшно сливаться с тьмой.

…Неведомые касанья!
Оранжевая консоль
Заката перед глазами,
И в небе черта косая,
Надрезанная косой.

***

По-ноябрьски необъятен,
Полон золотистых пятен,
Жёлто-розоват,
Солнечный, как пшёнка с тыквой,
День безоблачный, пустынный,
Падает в закат.

Снега нет ещё в помине.
Чу! К Фемиде ли, фемине
Данника везут.
Заповеданный дреколью,
Колокольчик над рекою
Рвётся прочь из пут.

Веря мгле, как талисману,
У окна седого встану:
Тишь перед пургой.
Там, в зиме необоримой,
Прежние мечты отрину ль,
Обрету ль покой?

В облачных плутая кручах,
Жду ль чего-то, как поручик,
Нового витка?
Вечно споря с мирозданьем,
Ничего-то мы не знаем,
Ни
Фи
Га

***

Среди волнения людского
Одним лишь словом утолим,
Я не скажу тебе ни слова,
Поскольку связан только им:
Окончен труд в бездонных штольнях,
Страда поклонов поясных,
И голову задравший школьник
Снежинки ловит на язык.

Веленьем время хомутавших
Зевак молитва начата:
О, что за ель! Виват, монтажник!
Прелестница, не нам чета!
Гремит полуденная спевка,
Не чуя суши под собой,
И в пустоте сиянье снега
Главенствует над пустотой.

Блестит, как чешуя драконья,
Витрин оплавленный черпак:
Предновогодняя торговля,
Единственный источник благ,
И я с рождения в ответе
За праздничный рыбоотлов
И сталагмиты городов,
Налипшие на облик тверди.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]
ПОЭТИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ

АННЕ АХМАТОВОЙ — *130* ЛЕТ

Любовь КАЛЮЖНАЯ

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

(1889–1966)

Началом долгого творческого пути Анны Андреевны Ахматовой стал уникальный период отечественной культуры, получивший название Серебряный век. Философ Николай Бердяев написал об этой эпохе: «…тогда было опьянение творческим подъёмом, новизна, напряжённость, борьба, вызов. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувственности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувство заката и гибели с надеждой на преображение жизни. Но всё происходило в довольно замкнутом кругу…».

Пришедшие в эту эпоху поэты продолжили те традиции русской поэзии, в которых человек был важен сам по себе, важны его мысли и чувства, его отношение к вечности, к Богу, к Любви и Смерти в философском, метафизическом смысле. Поэты Серебряного века в своём художественном творчестве и в теоретических статьях и высказываниях подвергали сомнению идею прогресса для литературы да и для жизни тоже. Одним из родовых признаков поэтов Серебряного века была вера в искусство, в силу слова, поиски новых, сильных средств выражения.

Ахматова была олицетворением Серебряного века. Но её величие в том, что она преодолела это яркое, но болезненное и глубоко мифологическое время в русской культуре, она поднялась над ним — и её голос звучал величественно и в 1940-е, и в 1950-е годы, доказывая, что поэзия всегда больше, чем та или иная эпоха.

Кто бы мог в начале XX века предположить, что довольно жеманная и изысканная дама Серебряного века, «коломбина десятых годов» будет потом много месяцев стоять в тюремных очередях в ожидании приговора сыну, потом напишет «Реквием», который станет символом тех страшных лет.

В автобиографической заметке «Коротко о себе» Ахматова пишет: «Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребёнком я была перевезена на север — в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет». Первое стихотворение она написала в одиннадцать лет, стихи начинались для неё с Державина и Некрасова.

Ахматова окончила Царскосельскую гимназию и последний класс Киевской фундуклеевской гимназии. Поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве, потом к ним «охладела» и перешла учиться на Высшие литературные курсы Раева — это уже в Петербурге.

В 1903 году Ахматова знакомится с Гумилёвым, а в 1910-м — выходит за него замуж.

Настоящая фамилия поэтессы — Горенко. Свой знаменитый псевдоним она взяла от прабабушки — татарской княжны Ахматовой.

В 1912 году вышел первый сборник Анны Андреевны — «Вечер». В этот же год у Ах-

матовой и Гумилёва родился сын Лёва, будущий великий учёный, будущий великий страдалец, проведший в годы репрессий в тюрьмах больше десяти лет. Арестовали его, по сути, за то, что у него такие великие родители. Отец к этому времени был расстрелян как соучастник контрреволюционного заговора…

В первой книге «Вечер», наряду с характерными для Серебряного века стихами, такими, например, как «Сжала руки под тёмной вуалью…»

Сжала руки под тёмной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
— Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдёшь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

[1911]

Или наряду с «Песней последней встречи», со стихотворением «Муж хлестал меня узорчатым, / Вдвое сложенным ремнём…» — одним словом, наряду с несколько манерными, изысканно декадентскими стихами есть и такие вот, другие строфы:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озёрных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.

[1911]

Дело не только в том, что уже в первом сборнике Ахматова коснулась пушкинской темы, которая потом всю жизнь будет её сопровождать. Но в этих, приведённых строках, мы видим Ахматову не приписанной уже к определённой культурной эпохе, а Ахматову вечную, соединившую в себе традиции классики и новейший опыт русской поэзии.

Одна за другой выходят новые книги Анны Андреевны: «Чётки» — 1914 год, «Белая стая» — 1917, «Anno Domini» — 1921, «Подорожник» — 1921, «У самого моря» — 1921. Следующая книга выйдет только в 1940-м, потом в 1946-м, и последняя прижизненная книга «Бег времени» — в 1965 году.

В пантеон русской поэзии Ахматова вошла классической строгостью стиха, ясностью, лапидарностью, редким чувством гармонии. И, безусловно, своим выдающимся патриотизмом. После революции 1917 года она не уехала в эмиграцию, она, тесно связанная с дворянской культурой, поняла глубину перемен, их неизбежность и их трагизм, и осталась с народом.

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

В годы Великой Отечественной войны поэтесса, своими глазами видевшая блокадный Ленинград, создаёт цикл стихов, полных любви к Родине, гражданское звучание их потрясает.

Ещё в 1922 году она писала:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

А через двадцать лет, в 1942 году, в стихотворении «Мужество» она чеканно выбивает знаменитые теперь строки, естественно вытекающие из её глубокой патриотической позиции:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

[Февраль 1942]

То, что мы называем патриотизмом, народностью Ахматовой, мне кажется, не в последнюю очередь зародилось в ней на тверской земле, куда в начале века она часто приезжала с Гумилёвым в имение его матери Слепнёво. Ахматова жила у свекрови почти каждый год по несколько месяцев, написала в Слепнёве около 60 стихотворений. Здесь рос её сын, здесь ждала она мужа из дальних зарубежных странствий.

«Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, „воротца, хлеба, хлеба“… Там я написала многие стихи „Чёток“ и „Белой стаи“», — вспоминала Анна Андреевна в 1965 году.

Ахматовой здесь хорошо писалось, здесь были созданы многие прекраснейшие стихи, которые входят в любую антологию русской поэзии, такие, например, как «Я научилась

просто мудро жить…», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе…», «Так много камней брошено в меня…», «Сколько раз я проклинала это небо, эту землю…», «Бессмертник сух и розов. Облака…», «Просыпаться на рассвете оттого, что радость душит…» и другие. Здесь она «залпом» писала поэму «У самого моря», здесь рождалась «Поэма без героя».

Именно на этой земле ей запали в душу «взоры спокойных загорелых баб» — здесь она соприкоснулась с исконной крестьянской глубинной Русью.

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля,
Но всё мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

[1913]

Мы не коснулись «Реквиема», страшной поэмы 1935–1940 годов, в которой переплелись глубокое личное несчастье — арест сына — и общенародное горе:

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.

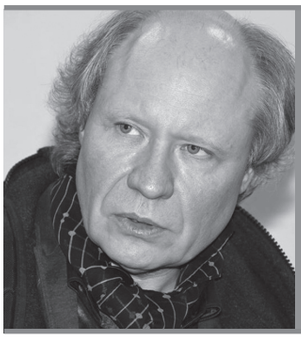
Мы не коснулись травли Ахматовой в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», после которого люди боялись с ней общаться, не то что публиковать.

Судьба Анны Андреевны — это всё время подвиг мужества, всё время трудный путь преодоления всего неправедного и подлого, это жизнь на грани жизни и смерти.

Александр Твардовский высоко оценил вклад Анны Андреевны в отечественную культуру: «Поэзия Ахматовой — это прежде всего подлинность, невыдуманность чувств, поэзия, отмеченная необычайной сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала».

В 1964 году Анне Андреевне была присуждена престижная литературная премия «Этна-Таормина», Оксфордский университет присвоил ей степень почётного доктора литературы.

Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. Похоронена под Ленинградом, теперь Санкт-Петербургом, в посёлке Комарово, на кладбище среди соснового леса. И летом, и зимой на её могиле лежат живые цветы. Розы. Ландыши. Цикламены. Ромашки. Дорожка к её могиле не зарастает травой летом и не заносится надолго снегом зимой.



Алексей АХМАТОВ,
Санкт-Петербург



***

Я как-то гостил у поэта
В глубокой таёжной глуши.
Он раньше был баловнем света
И судьбы чужие вершил.

А нынче он гладит берёзы
И чинит свой старенький ЗИЛ.
Про эти вот метаморфозы
Его я за рюмкой спросил.

И он мне тогда, колоброду,
Сказал без особых затей:
«Чем ближе быть хочешь к народу,
Тем дальше держись от людей»!

***

Что с того, что цену знаю
Я собратьям по перу?
Никогда не обижаю
Их на дружеском пиру!

Их призвали всеблагие
В собеседники ко мне.
Здрасьте, гости дорогие,
Все в капусте и вине!

Кто я, чтоб им портить вечер?
Ведь ни сторож, ни судья.
Им и так прикрыться нечем
Перед тьмой небытия.

***

Когда-то Плиний заявил:
«Чтобы алмаз разбить
Не нужно тратить много сил,
А нужно раздобыть

Козлиной крови, чтобы там
Вымачивать кристалл,
Тогда он может треснуть сам».
Уж Плиний это знал.

Альберт Великий тоже знал
В алмазном деле толк.
Он уточнил: «Того козла
Кормить петрушкой впрок,

И винами его поить
За пару-тройку дней.
Ну что тут можно возразить?
Учёней нет мужей!

Порою также знатоки
Ведут разбор стихов
И полагают, что близки
К разгадке тайных слов.

Разбить «Магический кристалл»
И разнести дотла
Не нужен даже аммонал,
Достаточно козла.

***

На помойке остывают книжки
Сиротливой стопкой за бачком:
Горький с Фетом, Федин, Пушкин,
Пришвин,
В куче «Люди, годы, жизнь». «Разгром»!

Их недавно холили на полках,
Нежно пыль сдували с корешков.
А потом решили — нет с них толку,
И как тех есенинских щенков

Сунули в большой мешок без дрожи
И избавились в конце времён.
Ну кому сейчас потребен Дрожжин,
Это тот, который Спиридон?!

Снег неторопливо засыпает
Слово во плоти, бесценный «Дар».
И опять идёт на дно Чапаев,
И опять сгорает Жанна д'Арк.

Ну, конечно, всё есть в интернете,
Книжкам цифровым потерян счёт.
Только никогда никто на свете
Так, как мы, их больше не прочтёт.

***

Дом не готов был к нашему приезду,
Незапертый, скулил из всех щелей.
И всё же принял, просушил одежду,
Являя много радостных вещей:

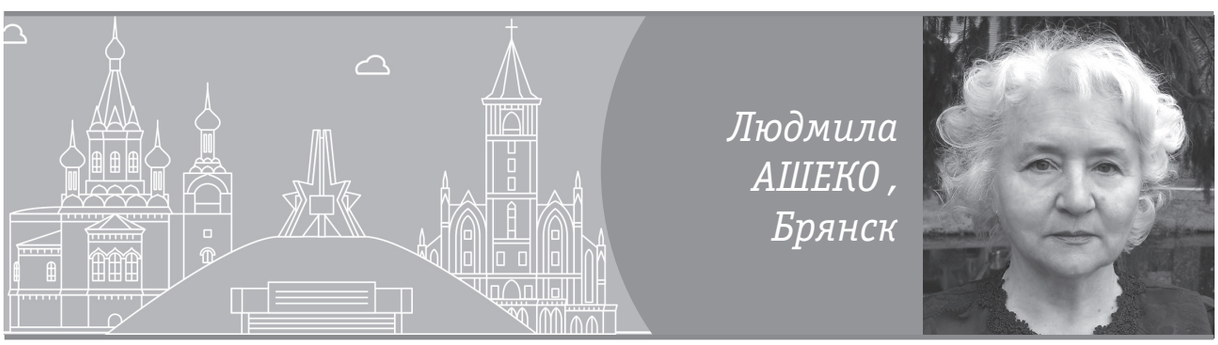
Дрова нам дали жар, а снег дал воду,
Лучина свет дарила кочевой,
Спирт телу дал негибкую свободу,
А тело телу — не скажу чего.

Крепчал мороз, мрак исподволь сгущался,
К луне тянулся хоботок дымка.
В ночи светился дом — шкатулка счастья,
Коробочка уюта без замка.

***

Зачем ты, меня проклиная,
Счета предъявляешь судьбе?
Живи без меня, дорогая,
Раз больше не дорог тебе.

И зренье пускай не подводит
В искусной глазами стрельбе!
И те, кто тебе не подходят,
Пускай не подходят к тебе.



Людмила АШЕКО, Брянск

ОТВЕТ КУПЦУ

Сказал, что всё на свете продаётся, —
Всему своя есть красная цена.
Почём, скажите мне, вода колодца,
Что родниковой свежести полна?
А сколько стоит этот день погожий,
Природой данный будто на заказ?
И как доход от счастья подытожить?
Назвать по курсу доллара сейчас?
А сколько стоит жизнь? Любовь?

Здоровье?
За это тоже надо заплатить,
Но не деньгами. За любовь — любовью,
За жизнь, здоровье — по заветам жить.
Смотрю в глаза оценщика и вижу,
Как тень корысти бродит по лицу.
Я крах его в конце пути предвижу,
Но не желаю зла и бед купцу.
Кто купит, кто продаст — все одиноки
В последний миг на жизненном пути,
И каждому свои наступят сроки,
И ничего ТУДА не унести.
Да, есть цена у каждого товара,
Но ЧТО товар, решает каждый сам.
Нет ничего ценней Господня дара,
И в нищете его я не продам.



Денис БАРАМЗИН, Вятка

ЖУРАВЛЬ

Здесь больше не журчит живая речь.
Едва заметны в зарослях крапивы
косой плетень, разваленная печь…

Над пустырём, топорщась сиротливо,
стоит журавль, нескладный исполин.
Внизу под ним, в очерченном квадрате,
скользит за грань венца усталый клин
его свободных небо-сводных братьев.

Журавль скрипит… Грядёт его черёд
лететь в края, откуда нет возврата, —
последний и единственный полёт
в бездонный космос чёрного квадрата.

И на прощальный журавлиный клик
глухим протяжным гулом отзовётся
глубинный дух покинутой земли
из темноты заросшего колодца.

СВЯТОНОССКИЙ МАЯК

Маяк установлен в 1862 году на мысе Святой Нос (Кольский полуостров). В первую же зимовку от цинги из шести человек команды погибли пятеро. Сам смотритель (унтер-офицер в отставке Филиппов) выжил, но по причине перенесённой болезни оставил службу на маяке, на смену ему пришёл отставной унтер-офицер Алексеев. В следующую зимовку от цинги на маяке погибла вся команда — кроме смотрителя.

Среди суровых северных широт, где не родит земля ни льна, ни хлеба, где месяц длится ночь, и всех щедрот — полярное сияние в полнеба, в оковах вековечной мерзлоты спят мёртвые поморские посёлки, стоят пусты раскольничьи скиты. Всевластны ветры, вороны и волки — здесь, от царя и Бога вдалеке, где коротает век моряк вчерашний на дальнем Святоносском маяке — во вросшей в скалы светоносной башне.

Зажаты в беломорские тиски семь человек на остроносом мысе. Здесь водка не спасает от тоски и от больных, с ума сводящих мыслей. От смертоносных щупалец цинги не спрятаться за стенами в остроге. Здесь не беда, что встал не с той ноги, а радость — оттого, что держат ноги.

…Который день бушует океан, на вильде* то и дело восемь баллов; и руки старика (он спит — он пьян) всё тянутся к незримому штурвалу.

И не таких сгибает жизнь в дугу. От инвалида в море мало толку — собачьей смерти ждать на берегу сточившему клыки морскому волку.

…Метель кружит над шпилем маяка, по одному людишек прибирая, хромым калекой брезгует — пока. А шестеро — лежат рядком в сарае. Их даже не схоронишь по-людски.

Но души ждёт небесная обитель. Ведь звёзды — это тоже маяки, и, значит, — каждой нужен свой смотритель.

А тот — один на вымерзшей земле — кому досталась доля страстотерпца, пусть спит, пока пульсирует во мгле свет маяка, как огненное сердце.

** Вильд — разговорное название флюгера Вильда — простейшего прибора для измерения скорости ветра.*

ГЕН КАИНА

Сын Каина, взбирайся к небу
И Господа оттуда сбрось.
Бодлер

Проклят, одинок и неприкаян,
мучим нескончаемой тоской,
по ночным дорогам бродит Каин,
тщась вернуть утраченный покой.

И, клеймо скрывая, как проказу,
одичало прячется во тьму,
как заклятье, повторяя фразу:
«Я — не сторож брату моему!»

Суждено блуждать ему, доколе
не найдёт приют в чужом краю,
где построит дом, засеет поле
и взрастит немалую семью.

Ждать недолго жатвы. Грянет время —
мерить правоту длиной ножа, —
вот тогда-то каиново семя
принесёт обильный урожай.

Рухнут вековечные каноны
под напором яростной волны
в день, когда на мировые троны
вознесутся Каина сыны.



Юрий БАРАНОВ,
Москва



ВЕРУЮ

Н. Б.

Пускай зима, снега, морозы,
На озере — метровый лёд,
Звучат печальные прогнозы
Да иностранные угрозы,
Но — Китеж всё-таки всплывёт.

Нам слали столько похоронок
За все прошедшие века!
Писали — при смерти ребёнок,
А слой озоновый так тонок!
Гуд бай, Россия. Всё. Пока.

Нам запрещали то и это,
Учили по-чужому жить,
Давали ложные советы,
Ссылаясь на «авторитеты»:
Нет, нет, не сможет Китеж всплыть.

Из-за границы привозили
Паскуднейших профессоров
И те нам головы дурили,
Мол, миф о Китеже сложили
Агенты вражеских штабóв.

Нам географию меняли,
За бред платили гонорар,
Пожар бензином заливали,
Из книг страницы вырывали,
Где было слово Светлояр.

Нам говорили: «Глуповатый
И простоватый вы народ.
Для вас всё кончено, ребята,

Прошли вы точку невозврата».
…Нет, Китеж всё-таки всплывёт!

ИРИНЕ МАЛАНДИНОЙ

Вот идут по *аллее, так странно нежны,*
Гимназист с *гимназисткой,* как *Дафнис* и *Хлоя.*
Николай ГУМИЛЁВ

Ира, ты помнишь Старомонетный
В сорок девятом году?
В конце переулка дымилась,
Порхали в снегах какаду,

Цфасман играл гениальней Шопена;
Вздымаясь под потолок,
Читал Маяковский проникновенно
И скромно помалкивал Блок.

За спорами «Лемешев или Козловский?»
С доброй улыбкой следил
Квартирный сосед Пётр Ильич
Чайковский,
Он запросто к нам заходил.

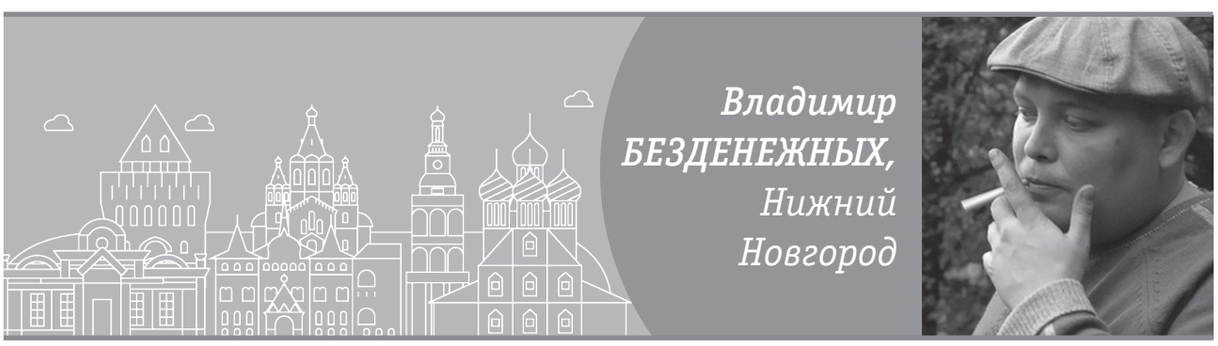
Помню, однажды с тобой попрощался,
Пошёл через Каменный мост —
Случайно с Есениным там повстречался…
Ну кто говорит — склероз?!

Видится чётко, во всех деталях
Любимых лиц череда;
Вот скучные рожи куда-то пропали,
Как не было их никогда!

***

Л. П.

Утекают из памяти Висла, Иртыш и Гудзон
И почти что без рек остаётся моя голова.
Всё забыл, всех забыл, даже Волгу и Дон,
Протекая сквозь сердце, осталась одна лишь Нева.
Широка, холодна и красива — ну Боже ты мой!
Я теперь переплыть её — нет, не смогу, не смогу.
Я за счастье сочту лишь увидеть платок голубой,
Твой платок голубой на далёком на том берегу.



НАКАТИЛО

Душу вынул и обнажил,
Предо всеми её положил:
Нате, пользуйтесь. Вот какая!
Да душа нынче не дорога…
Вот поддели носком сапога,
Равнодушными взяли руками.
— Глянь, большая. Края не влезают.
— Щас подрежем и вся недолга! —
По живому кроят, обрезают,
А потом, невзирая на раны,
Душу втиснули в тесную раму.
Всяк на свой хохряк мерку снимает
То-то важность, — душа не нога,
И подрежешь, чай, не захромает…

***

Утро и дождь. Уже сентябрь.
Гадкая дрожь. Время простуд.
Снова встаёшь, ничего не хотя.
Теплится свет, но почти потух.
Вижу других, говорю, друзей.
Вот Паша идёт, за Пашей смерть,
Не подпускайте ко мне людей.
Я не хочу никого жалеть.
В детстве всё просто — встал и пошёл.
Просто пошёл, понимаешь, Карл?
Нехорошо это, нехорошо.
Ведь не пришёл, не нашёл, не стал.
Кончилось лето и в этом суть.
Выхода нет, но держись за нить
Вот и придёшь хоть куда-нибудь
Как-то, наверное, может быть.

В КАНУН ПОТОПА ИЛИ ЯДЕРНОЙ ЗИМЫ

В канун потопа или ядерной зимы
По всем каналам врут за сказкой сказку,
А продавцы каштанов и хурмы
Клянут дожди на палеобалканском.

Какого лета ты ещё хотел?
Тебе, дружок, не двадцать и не тридцать,
Чтоб изменять соотношенья сфер и тел
Как вздумается. В дождь прекрасно спится —
Я слышал от кого-то. Ну и тут
Отличный выход есть и даже оба:
Пей, спи себе. И обязательно пройдут
Дожди или приятели за гробом.



Юрий БЕЛИКОВ,
Пермь

СИРИЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Сирийская земля накренена.
По склону, что едва ли не отвесный,
вцепившись в плуг над дышащею бездной,
идёт феллах. Темна его спина.

Идёт феллах. И пашет свой бугор
тугой земли, для злака непригодной.
Так на иной равнине плодородной
её вспахать не могут до сих пор.

А там, на склоне, вымахал сосняк,
но как-то по-особому — не к небу,
а вертикально заданному крену,
где, как гимнаст, работает бедняк.

Как будто тянет сосны что-то вбок,
как будто есть другие небосводы,
иначе бы из хаоса природы
феллах создать гармонии не смог.

И стоит нам ступить хотя бы раз
с горизонтальной плоскости на эту,
как станет склон равниною для нас,
а склоном — то, чего ровнее нету.

ПАЛЬМИРА

Брожу средь развалин Пальмиры.
Стоят оголённо колонны.
Да это же осень — помилуй! —
что кровли стряхнула, как кроны.
Да это же вечная осень!
Довольно уже камнепада.
А впрочем, да здравствует просинь!
И кровли нам больше не надо.
Пусть всё здесь пребудет, как в роще
опавшей — в тщете и уроне:
багрец черепковый и росчерк —
нелепый — на белой колонне.
Сей град во сирийской пустыне
затем оказался в обломках,
чтоб царственным прахом поныне
будить поклоненье потомков.
И то, что от мира осталось,
являет величие мира
сильнее, чем, если бы сталось,
избегшая гибель Пальмира.

НЕВОД АЛЕКСАНДРИИ

Медленно тянут невод
жители Александрии…
Невод уходит в море, море уходит в небо,
а за чертою неба земли сквозят иные.

Солнце уже на закате.
Что там? Макрели? Или
так рыбаки босые в стойком своём захвате
материки друг к другу вдруг притянуть
решили?

И далеко в Европе —
в доме, что сын покинул,
матерь его безмолвно тех рыбаков торопит
и ощущает вскоре: «Ближе я стала сыну!»

СТАМБУЛЬСКИЕ КОШКИ

Стамбул начинается с кошек. Шагни
на берег — повсюду они.
Как будто бы каждый, кто с трапа шагнул,
по кошке привёз в Стамбул.
Колонией чьих-то надежд мировых
сидят — не отгонишь их.
И смотрят, и смотрят на все суда,
какие идут сюда.
Чего же трёшься, кошак-лешак,
о русской земли башмак?
А ты, полосатая, плачешь так,
узрев полосатый флаг?
И этот — на кнопки горящих глаз —
пришпиленный мир ночной
сирен посильней наполняет враз
истошный кошачий вой!
Стоит на коленях-материках
Стамбул в этот миг, страшон,
и мост над Босфором в своих руках,
как чётки, сжимает он.



Андрей БЕНИАМИНОВ,
Псков

***

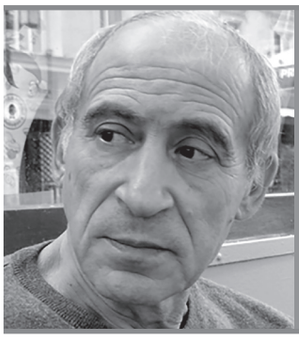
Молотом по наковальне —
звон пошёл,
Где-то за заставой дальней
хорошо…
Спят поля, и дремлет хата,
меркнет свет.
— Хорошо лишь там, ребята,
где нас нет.

От вопросов до ответов
длинный путь,
Но опять холодный ветер
студит грудь,
Дым да гарь с востока гонит —
не до сна.

В пене конь и ранен конник —
знать война.

Там, за дальнею заставой,
у межи,
В вязкой лужице кровавой
брат лежит.
Половецкою стрелою
сбит с коня —
Значит нынче ветер воет
про меня.

Молотом по наковальне —
будет меч.
Время на заставе дальней
в землю лечь…



Ефим БЕРШИН,
Москва

***

Я вырос на руинах той войны,
там, где за водкой и в кровавых драках
вернувшиеся с фронта пацаны
достреливали жизнь свою в бараках,

хватаясь за ножи и топоры,
размазывая братьев по заборам.
Я тоже мог по моде той поры
заделаться убийцей или вором.

Но у меня своя была война,
свой вечный бой, который вечно длился
меж двух дворов.
И не моя вина,
что я родился там, где я родился.

Пока вели угрюмый разговор
крутые мужики в угаре пьяном,
мы пядь за пядью занимали двор,
заросший повиликой и бурьяном.

Мы шли на штурм разболтанных оград
чужих садов, ломая ветки с хрустом,
не славы ради и не для наград —
там был наш враг.
А я считался русским.

Я шёл вперед. Я был почти комдив.
Мы против комьев в полный рост
вставали.
Ворчал сосед: мол, мало вас, жідив,
фашисты на войне поубивали.

Безногая, безрукая война
ещё блуждала в переулках стёртых,
выменивая хлеб на ордена,
сверкавшие на грязных гимнастёрках.

И что нам до Великой Мировой,
застрявшей в историческом провале,
когда уже и с нашей, дворовой,
иных уж нет, а те — отвоевали.

***

Марине Кудимовой

Когда закончится гражданская война,
нам будет явлена единственная милость
определить, чья большая вина
в том, что случилось или не случилось.

Когда в лесах завоет тишина,
а снайперы, уставшие по целям
работать, выпьют горькую до дна,
по рыночным закупленную ценам,

когда воронки зарастут травой,
и снова обретётся чувство меры,
останутся до новой мировой
последние минуты или метры.

Лесные звери выйдут из лесов,
и Гамлет, ослепительный и лёгкий,
пойдёт на бой за тени всех отцов,
убитых и освистанных с галёрки.

Но Бог не выдаст, и свинья не съест.
И мужество останется в почёте.
И на погостах крест пойдёт на крест.
Всё будет хорошо, в конечном счёте.

И ворон принесёт благую весть,
запрятанную в гроздьях винограда,
что жизнь не кончилась, что жизнь,
конечно, есть
не только на вершине Арарата,

но в Химках или Солнцево. Бог весть,
где для героев сыщется награда.

***

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...
Осип Мандельштам

Эта осень расставила всё по местам
и застыла на веки веков.
Потому что кончается век-Мандельштам
и является время волков.

Если все волкодавы сидят на цепи,
ожидая бесплатных костей,
я не чую дыханье сибирской степи
и не жду воронёных гостей.

Только месяц в распахнутом небе страны
золотыми ушами прядёт.
Мы давно и настолько уже не нужны,
что за нами никто не придёт.

Только бродит по улицам ветер-солист,
спотыкаясь на каждом углу.
И, похожий на сердце, изношенный лист
прилипает к ночному стеклу.

***

Дальний пригород. Ночь холодна.
Чьи-то тени на белой стене.
Словно здесь не земля, а луна
на обратной её стороне.

Наизнанку развёрнутый свет.
Наизнанку развёрнутый звук.
Это снег. Это новый завет.
Это снова куда-то зовут.

Это манна засыпала двор
и дома, и мою колыбель.
Лишь у мусорной свалки, как вор,
озирается старый кобель.

Это снег. Это новый завет.
Это неба разодранный кров.
Из-под белого снега на снег
проступает ленивая кровь.

По дороге, под топот и лай,
где столбы из асфальта растут,
к заповедной земле, за Синай,
молодые собаки идут

то на Запад, а то — на Восток,
в ерихонские трубы трубя.
Я залаял бы, если бы смог,
да боюсь обнаружить себя.

***

Елене Черниковой

Осенний обморок. Лысеющий ноябрь.
Осколки листьев — августа осколки.
Жизнь погружается, как Китеж
в Светлояр,
на дно заиндевевшего посёлка.

Осенний обморок. Изнемогает дол.
И так пугает дальний грай вороний,
что так и хочется запрятаться в подол
добропорядочной Февроньи.

Осенний обморок. И медленно на нет
сошла луна сверкающей подковой.
И тихо так. И пробуется снег
на роль врача в больнице поселковой.

Как хорошо, что мы теперь вдвоём,
и снег приносит истины простые,
о том, что мы ещё переживём
и тишину, и зиму, и Батыя.



Владимир БЕРЯЗЕВ,
Новосибирск

МОРСКОЙ ТРАМВАЙ ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ

Из России в Россию плывёт катерок
Чрез пролив, что далече когда-то
По январскому льду князь ли Глеб пересёк.
Тыща лет — только камень и дата.

В лето, Боже, какое-то — я, имярек,
Проплываю по старому курсу
На корме средь мешков, где небритый абрек
Щурит глаз и грызёт кукурузу.

Где болгарские перцы в корзинах скрипят,
И старухи, что клушки-наседки,
Охраняют коляски: там вместо внучат
Гроздья — только что снятые с ветки,

Там пушистого персика розовый ворс,
И арбузы в пижамах курортных.
Ветер торга и табора на борт занёс
Разнокрашенный говор народный.

Говорят, что нас встретит чужая страна,
Здесь Тамань, а за морем — таможня.
Говорят, что очнулся от сна Сатана,
Невозможное — снова возможно.

Я плыву и не знаю: зачем так давно
Нам назначено странствие это…
Просто-напросто, просто — дурное кино,
Закольцована старая лента.

Просто-напросто, просто… Но просто ли то?
Нет, не просто, не пусто, не глухо.
Греку даст сигарету красавец-бато,
К туркам сядет хохлушка-старуха…

Из России в Россию… А море шумит,
Катер борется с ветром наверно!
И не кончен ресурс. И не выбран лимит.
И жива наша вечная вера.

И всеобщего счастья златые ключи
Не потеряны в бешенной сече.
…Тыщу лет уж стоит на пороге Керчи
Русский храм Иоанна Предтечи!

17 августа 1994

***

Тигроподобные осы роем вьются над горой тучного злато-лилового винограда. Спрашиваю у уличной торговки: «Почему этих зверей не отпугиваете? К вам покупатель близко не подойдёт». «Подойдёт! Если осы вьются, значит виноград медовый. Сахарный».

Мессершмиты, как осы, поют над дворцом Митридата,
И закатное золото гроздьями ткёт виноград,
Пыль Европы и Азии смешана с кровью солдата:
Обелиски и кости на тысячи стадий назад.

Понт Эвксинский кипит, жадно тыкаясь в вымя Тавриды.
Над Таманским заливом упругая синяя зыбь.
Арианский монах собирает у моря акриды,
Да простудно кричит на лиманах забытая выпь.

Что-то стронулось в мире. И время, как старая кладка,
Рассыпается в пальцах песчаник, саман, известняк.
Лишь разбитый кувшин, лишь вина золотая облатка,
И на синей глазури — лишь чайки парящий зигзаг.

Над лучом маяка полыхают небес аксамиты.
Мир навылет сквозит — грохот гусениц, топот подков.
Митридат упадает на меч… И горят мессершмиты…
И суровый монах всех оплачет во веки веков…

16 августа 1994

***

Приближается край… Но не хочется верить.
На краю затоскую о крае родном.
А Потерянный рай назван именем зверя,
А грядущий Эдем мечен страшным числом.

Я был вдрызг одинок без любви и России.
Я был просто дурак, обречённый на жизнь.
Но, прозрев, я объят тьмою невыразимой,
Где позор на разоре и злоба на лжи.

Треугольная мгла в треугольном убранстве —
Этот проклятый знак врезан в сердце стране.
Шесть грехов бытия.
Шесть зияний в пространстве.
Шестипалый захват, что присущ Сатане.

А меж тьмою и мной — только крестик нательный,
Только слово прощенья за ради Христа.
А иначе не снесть этой муки артельной,
Этой трассы над бездной, что страхом пуста.

25 августа 1994

ГОЛОС ДРЕВНЕГО ПОЛЯ

Есть ли какое подобье тебе, предрассветное степи дыханье?
Эта начальная тёмная дрожь, эта остуда в груди…
Вот уже тронуло ветром поля, колыхнулись овсы и пшеницы,
Облако зреет на гребне зари, слышится ржанье коня.
Вот уже вновь возникает во мне в нескончаемом рокоте славы
Давняя-давняя песнь, древняя-древняя жизнь.
Снова мне чудится дивная весть в набегающем гуле пространства.
Что так далёко поёт? Что так высоко звенит?

1985



Игорь БЕХТЕРЕВ,

с. Рычковка, Переволоцкий район, Оренбургская обл.

КУЗНЕЧИК

Всё меньше чистых и глубоких речек,
Всё у́же степи и всё реже лес.
Но ты, полей певец, кузнечик,
Под колесо истории не лезь!
Не для того тебя скрывали травы,
Не для того хранила целина…
Ты должен им, ты погибать не вправе,
Пока долгов не выплатишь сполна.
А посему — живи и делай дело:
Пой, как умеешь, трогая сердца…
Ещё Россия песен не допела
И, сказывая сказки, не успела
Добраться до счастливого конца.

***

Я помню, в городе дремотном,
Убитом пылью и жарой,
Одну из труб водопроводных
Прорвало вдруг; из мостовой
Забил источник. Отовсюду,
Дивясь и радуясь, как чуду,
К нему слетались пацаны

И лезли вглубь, задрав штаны…
…Вначале холод родниковый,
Биенье трепетных ключей,
Потом разлив, — и вот уж новый
Запел, запенился ручей.
Он покатился вниз, к Уралу,
А с ним и к морю самому.
И я, в волненье небывалом,
Я позавидовал ему…
И вмиг от края и до края,
Не прерываясь и не рвясь,
Вдруг обнаружилась живая
И осязаемая связь
Меж этим городом дремотным,
Убитым пылью и жарой,
И океанскою, холодной,
Просторно дышащей волной.

***

Травою заросших улиц
Всё так же стесняется город.
Фасады, подъезды, крылечки
Всё так же стыдятся задворок.

Всё так же живут переулки
Своей переулочной жизнью,
И между столбами в дни стирок
Бельё, словно радуга, виснет.
«Всё так же, всё так же, всё так же…» —
Идёшь, про себя напевая, —
Как будто кого убеждая,
Как будто кого утешая…

ТАНЦПЛОЩАДКА 1946 ГОДА

В саду играет полковой оркестр,
Огнём горят начищенные трубы,
И тесно от солдаток и невест,
И беспризорны спеющие губы…

«Эй, музыкант! Оставь напрасный труд,
Сойди сюда, затепли папиросу!..»
Но музыкант трубы своей не бросит,
И мальчики не скоро подрастут.



ТРОЙСТВЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Командиру поисковиков
Герману Саксу

В осеннем лесу, над поляной,
Мне слышится шелест знамён…
Спасибо, отряд Безымянный,
За сонм возвращённых имён!

К Вуоксе идут электрички.
Когда настаёт тишина,
На самой большой перекличке
Героев звучат имена.

Я много прошёл и осмыслил,
И вот замыкается круг:
Мне слышится тройственный выстрел:
Алёшин, Бобров, Гончарук.

И отзвук разносится грустный,
Но как-то спокойнее мне,
Что прах захоронен на русской,
На взятой с боями
Земле!

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Запахи детства. Дворовые сценки.
Фабрика «Эйнем» и мост.
И долетающий ветер со Стрелки,
Где церетелевский монстр.

В воздухе смешаны гарь и прохлада,
Вновь настигают, как встарь,
Сладкие запахи шоколада
Фабрики «Красный Октябрь».

Что там сегодня? Какой-то арт-кластер,
Офисы и номера.
Помню: ходили на фабрику классом,
Это — как будто вчера:
Русские бабоньки в белых халатах
И шоколада листы.

Ну, а сегодня в кирпичных палатах —
Царство базарной тщеты.
Нет ни следа от горячей, рабочей,
Пахнущей сладко Москвы…

Пётр Церетели. Навыкате очи.
Каменные мосты.

СНЕГ ПОД РОЖДЕСТВО

Нас похожесть натур связала,
Потому и беседуем вновь.
«Я любила любить», — сказала…
Кто ж не любит!
Если любовь.

Не напрасно же сердце чует
Это ранящее родство,
Но любые раны врачует
Снег, летящий под Рождество…

ЯНВАРСКИЕ ЛИСТЬЯ

…А ты со мною не на ты —
Так долго, как и не бывает.
Шуршат кленовые листы,
Январский ветер их гоняет,
Поскольку в этом городке
Не убирают их киргизы…

Иду по Хайду налегке,
Лелею поздние капризы:
Они простые — говорить
С тобой, пускай на расстоянье,
И листья эти подарить,
И заслужить твоё признанье,
Что ты расслышала в Москве
Какой-то незнакомый шорох
В давно исчезнувшей листве…

Что я тебе хоть чем-то дорог.

***

Было трудно, но я справлялся,
Не погряз в душевных копаниях,
По безлюдным рекам сплавлялся
Или пел в огромных компаниях.

И дарила моя Россия
Это странное ощущение,
Что, о чём её ни проси я, —
Исполнялось в одно мгновение.

Как такому не подивиться,
В положительном самом ракурсе?
Вот под старость хотел влюбиться —
И случилось…
Хоть плачь,
Хоть радуйся!

ПАМЯТИ СТАРШИХ ДРУЗЕЙ

Падают листья… Что это значит?
Виктор БОКОВ

Кто знал любовь в судьбе своей
мытарской —
Тот верит в Песню, а не в чистоган.
Мы собирались на Большой Татарской,
Где царствовал аверкинский баян.

Взмывали вдохновенные качели,
Смеялся Боков: «Хорошо сидим!»,
И восклицал Аверкин: «Бокичелли!
Да мы ещё такое сочиним…».

Пока ещё есть силы веселиться
И снова брать восторженный аккорд,
Но на Большой Татарской кружат листья,
Которые опали в этот год…



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

НАДЕЖДА БОЛТЯНСКАЯ

(1963–2015)

Анастасия ЕРМАКОВА

ОПРОКИНУВШИЕСЯ НЕБЕСА

О поэте Надежде Болтянской (1963–2015) говорить необходимо. Особенно сегодня, когда этого талантливого и светлого человека уже нет с нами. Особенно в этот, юбилейный 2018 год — 55-летия со дня её рождения.

Мне очень близки слова писателя и философа Ивана Ильина: «Сердечность — необходимое условие русской литературы». Созвучен с ним известный критик первой волны эмиграции Георгий Адамович: «Настоящее искусство должно быть сердечно и сдержанно». Именно таковы стихотворения Надежды Болтянской — сердечны и сдержанны. Сплав мастерства и естественности, версификационного профессионализма и интонационной искренности. И написать такие гораздо труднее, чем эпатажные и вычурные. Потому что для таких стихов, помимо таланта, нужна душевная чистота, та степень выстраданности, после которой можно говорить только сердцем, и только правду.

Стихи Надежды Болтянской узнаваемы, насыщены яркими образами и своеобразными метафорами, но при этом эмоционально неброские. Парадоксальность, глубокий философский подтекст, пронзительная лиричность — вот основные черты поэтики автора.

Слабой свечки мерцанье,
Звон беспомощной льдинки,
Тонких крыльев касанье
Иль разрыв паутинки,

Комариная плёнка
Над застывшей водой —
Это лепет ребёнка,
Не рождённого мной.

По значимости и эмоциональной энергии это короткое стихотворение сопоставимо с целым романом. Высокая амплитуда переживаний у Надежды Болтянской всегда таится в застрочном пространстве, и оно больше зримого, созданного в самих строках. В каждом стихотворении точно передано настроение лирической героини, и передаётся оно художественно оправданными и убедительными образами:

Тени рыб в голубом заливе,
Стекловидны тела медуз.
Чуть колышется ветвь оливы,
Лёгкий бриз навевает грусть.
Наползая на гальку змеем,
Еле слышно шипит прибой.
Небеса, всех небес синее,
Опрокинулись надо мной.

Следует отметить и метрическое разнообразие поэтики Болтянской. Кроме любимого автором хорея, в книгах присутствуют практически все известные метры как силлабо-тонической, так и тонической системы стихосложения. Есть и несколько изящных верлибров.

Немало пришлось страдать в жизни Надежде Болтянской из-за своей тяжёлой болезни. Но писала она не упаднические и мрачные стихи, как можно было бы ожидать, а напротив — духовно крепкие и жизнестойкие.

В книгах Болтянской немало стихотворений о вере, о Боге, о вселенской спаянности всех проявлений бытия. Но стихи эти скорее не о смирении и всепрощении, а о напряжённом духовном поиске трудных смыслов мироустройства. В основе поиска — любовь. Бог в понимании Надежды Болтянской — некое высшее, справедливое и прекрасное начало, и потому в её творческой вселенной нет никакого противоречия между вечной жизнью, дарованной христианством, и чередой многочисленных перерождений, в которую верят буддисты. Поэт имеет полное право сказать: «И буду в новом я рожденье / Стрижом, а, может, воробьём» и тут же «Боже святый, Боже крепкий, / Триединый Бог бессмертный…». В этом нет никакого кощунства, а есть ощущение того, что всё едино, весь мир — видимый и невидимый — из одного источника. Источник этот удивительно красив. И душа поэта, которая парит теперь в высях небесных, отдыхая и радуясь, была именно такой.

За последние годы творчество Надежды Болтянской стало широко известно. В газетах, литературных журналах и альманахах часто выходят подборки её стихотворений, статьи о её творчестве, рецензии на книги. Вышла книга, посвященная её творческому пути, — «Серьёзней последней молитвы. Особенности поэтики Надежды Болтянской» (М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017). А последняя по времени книга издана мамой поэта (Эмилией Болтянской) — «Избранное» (М.: ИПО «У Никитских ворот», 2019), куда вошли и ранние стихи Н. Болтянской, и никогда ранее не публиковавшиеся, и некоторые произведения из посмертной книги «Я когда-нибудь в синюю даль уйду…», а также эссе, рисунки, сделанные автором, и фотографии. Всё это говорит о том, что стихи поэта оказались востребованы. При жизни Надежда Болтянская выпустила четыре поэтических сборника, пятый вышел уже тогда, когда автора не стало.

В чём же секрет стихов Надежды Болтянской, почему они не канули в забвение, как это чаще всего случается, а, напротив, обрели новую жизнь? Думается, дело тут в непохожести Болтянской на других авторов. Она не примыкала ни к каким литературным течениям, болезнь не позволяла ей вести активную творческую деятельность, ездить на поэтические фестивали, часто выступать на вечерах. Однако в этом, наверное, есть и огромный плюс. Всё свободное время, все силы она оставляла на стихи, которые, как ей казалось, найдут своего читателя. И в этом она не ошиблась. Теперь, когда есть её книги и публикации, когда обозначился основной корпус стихотворений и можно в общих чертах говорить о её поэтическом

наследии, стал очевиден и масштаб фигуры. Стихи её удивительно лаконичны, она умела в нескольких строчках выразить то, для чего другому поэту понадобилась бы целая поэма:

В книжице загнётся страница,
Радио продолжит вещанье.
Мне шофёр в любви объяснится,
Я ему кивну на прощанье.

Оригинальность — это не всегда искусственно сконструированные рифмы, рваный слог или эпатирующие строчки. Чаще всего оригинальность проявляется во взгляде автора на мир, в том, как он воспринимает действительность, какие выводы делает. В этом плане Надежда Болтянская была, конечно, автором, безусловно, оригинальным. Наследуя классической традиции русского стихосложения, она развивала и углубляла её, не оглядываясь на современников. Это, возможно, одна из причин того, что в своё время стихам Болтянской не было уделено должного внимания. Литературный цех с удовлетворением воспринимает всё, что создано в рамках заданных им правил. А ко всему, что выходит за рамки, относится равнодушно или с подозрением. Осознавая своё литературное и житейское одиночество, Надежда Болтянская писала:

Я, как старый солдат,
Что остался живым,
Словом, чёрт мне не брат,
И не брат херувим.

Ещё одна немаловажная деталь — стихи Болтянской чрезвычайно гармоничны. В её текстах нет лишних слов, ненужных повторений или надуманных образов. Напряжение, не ослабевая, держится с первой до последней строки. И это, конечно, признак работы настоящего мастера, который точно знает, что делает. Вместе с тем её стихи пронизывает удивительная лёгкость. Метафоры Болтянской глубоки и пластичны, каждая из них словно приоткрывает завесу тайны, позволяя спеть «невзрачные сюжеты на новый лад».

Я из породы длиннокрылых,
Боюсь зимы и белых вьюг.
А значит, время наступило
Лететь на юг.

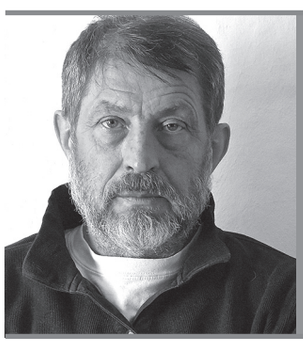
Ориентируюсь по звёздам
В дремучей свежести ночной,
И возвращаться к стуже поздно
Не мне одной.

Чем путь южней, тем больше света,
И я, теряя звёздный клад,
Спою невзрачные сюжеты
На новый лад.

Есть ещё одно драгоценное качество стихотворений автора — простота. Но простота бывает разной. В случае Надежды Болтянской можно сказать, что это простота изысканно-интеллектуальная. Та самая «неслыханная простота», в которую нельзя не впасть, как утверждал Патернак. А такая простота «всего нужнее людям». При этом, Борис Леонидович подчёркивает в своём знаменитом стихотворении, что говорит о больших поэтах.

И можно с уверенностью сказать, что Надежда Болтянская в современной литературе явление, безусловно, заметное.

Можно только догадываться о том, сколько ещё займёт этап её окончательного прихода к читателю. Но в том, что такое время настанет, сомневаться не приходится. Мы знаем, как порой долог бывает этот путь, сколько имён, забытых, замалчиваемых или даже запрещённых, вернулись к людям, чтобы пережить второе рождение. А Надежда Болтянская этого, конечно же, заслуживает.



Игорь БОЛЫЧЕВ
Москва



***

Ты ли, другой ли… Осталось-то — горсточка слов.
Серый орёл расправляет гранитные крылья.
Пыли и боли взыскующий плебс городов
В клёкоте века становится болью и пылью.

Чёрной вселенской коростой становится то,
Чьи торопливые жабры сосали из слизи
Воздух и волю… Накинь на супругу пальто,
Дочь научи исполнять без ошибок «К Элизе».

Сим, продравшись сквозь перхотный страх,
Жизнью заплатишь за эти слюнявые крохи.
Груди имперской Венеры торчат в небесах
-ическо-ическо-атско-флективной эпохи.

Так называется то, что, вообще говоря,
И пожирает тот воздух, которым мы дышим.
Звука хрустальный корабль, оборвав якоря,
Тает в бессмысленном небе, на солнце горя,
Ржавые звенья согласных роняя по крышам.

Красивовато?.. Но в этом спасительный яд —
Тёплый, целующий, полуразборчивый шёпот…
Не отличающий чуда от яда солдат
К солнцу вздымает рифлёный распоротый хобот.

Как он трубит! Как манит его царственный бюст!
Как он хрипит и скребёт эту землю ногтями…
Свет из окна. Сизо-пёстрый сиреневый куст.
Дождик. Жена на веранде хохочет с гостями.

Что ты застыл, как ипритом пропитанный глаз,
Мёртвый от всех этих завтр, вчера и сегоден?
Встань и иди. Да сними этот противогаз.
Встань и иди. Он не нужен тебе, ты свободен.

***

Дай мне руку. Всё прожито. Дым на аллее пустой.
Восходящее солнце скрежещет о голые ветки.
Жалкий отзвук безумия, облачко пара: постой,
Дай мне руку, прохладная длинная тень человека.

Дай мне руку. Всё выжито медленно, тихо, до дна —
По деньку. Как сонет, ты цитируешь запах на память.
Эта женщина в чёрном всегда почему-то одна;
Только рыженький гравий скрипит у неё под ногами.

Протяни же мне руку, скажи мне, о чём я, о ком,
Обними меня, Господи, как эта жизнь одинока…
Эта женщина в чёрном и этот заброшенный дом,
Это детское счастье отвеченного урока.

Протяни же, ведь если не ты, протяни же мне, дай…
И на чёрном подоле серебряная паутинка
Всё дрожит и трепещет, цепляясь за медленный рай;
Только рыженький гравий скрипит под подошвой ботинка.

Сатанинская гордость: родился в таком-то году.
Отлетает с ладони клочок сероватого дыма.
Начинается всё голубой хризантемой в саду,
А кончается страшно, бессмысленно, непоправимо.

***

Назови как угодно — историей, выдумкой, былью —
Эту жалкую повесть земных всемогущих держав.
Чёрный лебедь искусства вздымает блестящие крылья,
В красном клюве раскрытом тяжёлое солнце зажав.

Назови как угодно, а всё отзывается кровью
В риторической стройности не уместившийся мир.
Эту гордую кротость и влажную нежность коровью
Голубиное слово уносит в звенящий эфир.

С чем останешься ты? — С ощущением тайной свободы,
Как фольга шелестящим на серой каминной золе?
С металлическим отблеском прут низколобые годы,
Как тяжёлые танки по гулко дрожащей земле.

Этот мёд бытия, этот дёготь убогого мига,
Среднерусский пейзаж — этот слишком небрежный эскиз, —
И с балконных перил соскользнувшая тайная книга,
Точно чайка, мелькая страницами, падает вниз.

Белый ангельский пух. Искажённые жизнишкой лица.
Тёмно-красные полосы на океанском песке.
Это, кажется, снег над притихшей столицей кружится.
Это, кажется, кровь на заросшей и впалой щеке.

Назови как угодно — измена, притворство, коварство —
Этот грузный, с звенящими жилами, медленный взлёт.
Создаются и рушатся тысячелетние царства.
И сияющий лебедь тяжёлыми крыльями бьёт.

***

Ничего не слышно над землёю.
Страшная такая тишина.
Может быть, она перед зарёю.
Может быть, посмертная она.
Пляшут тени лунные по соснам.
Молча ветер травы шевелит.

Может быть, увидеть довелось нам,
Как творенье Божие лежит,
Брошено бессмертною душою,
Превращаясь медленно в скелет.
Ничего не слышно над землёю.
Ничего на свете больше нет.



Марина БОРОДИЦКАЯ, Москва



***

Отдам в хорошие руки
виниловые пластинки:
их больше не на чем слушать
и не с кем больше крутить.

Отдам в хорошие руки
кассеты с «Гусарской балладой»,
с Фанни и Александром,
с доверчивой Одри Хэпберн,
похожей на оленёнка, —
бесплатно, за самовывоз,
да-да, подгоните «газель».

Отдам в хорошие руки
картинки, запахи, звуки,
собрания сочинений,
альбомы чудных мгновений…

Простите?
Нет, это не прялка такая стильная,
это лира —
битая, гнутая, семижильная.
Она остаётся.
Не отдаётся.
Пускай пока постоит.

***

В восемьдесят четвёртом
в очереди за водкой
меня пропустили вперёд.
— Мужики, — попросила я, — мне одну,
хотя бы надбитую, для компресса,
у ребёнка уши болят.
Мужики расступились, и кто-то гаркнул:
— Дайте девушке, ей для ребёнка!
Я ушла, прижимая бутылку к груди.
Дети выросли, я проколола уши,
но разбилась любовь, и стихи зачахли,
и опять я проталкиваюсь к прилавку
за прозрачным, горьким любовным
хмелем.
— Мне чуть-чуть, — шепчу, от стыда
сгорая, —
хоть на донце… Мне для стихов.

ПЕСЕНКА ВАГАНЬКОВСКАЯ

Клейкой стайкой златокрылой
«носики» кружатся:
клён над папиной могилой
хочет размножаться.

В небо рвётся оголтело
лиственным цунами,
подставляет ветру тело,
сыплет семенами,
налегает на ограду
твердью напряжённой,
сыплет золотой рассадой,
крыльями снабжённой.

Что ты, клён, куда ты клонишь,
под ноги взгляни-ка —
ты нам памятник уронишь
чёрного гранита!
А на памятнике скрипка
выведена тонко,
и она поёт-играет
голосом ребёнка.

И поёт чугун калёный
в день весёлый мая,
и приплясывают клёны,
ветками качая.

Это папа мой играет
в праздник воскресенья
для своей правнучки Майи,
девочки весенней.

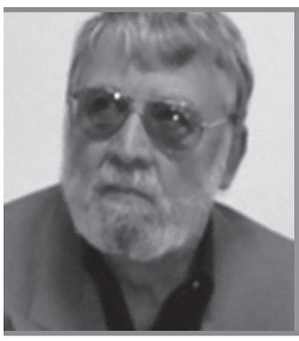
Скрипка дразнит мир унылый
носиками клёна,
и усыпаны могилы
жизнью окрылённой.

***

Спит поэт в часу десятом: допоздна читал опять,
а прозаик встал до света — в ловких пальцах глину мять.
Стайку глиняных героев он качает на руке,
а один, упрямый самый, затаился в уголке.

Встал поэт, напился чая, уши крупные напряг –
не подаст ли мирозданье звук на бедность или знак?
Не напишет ли заданье на пятнистом потолке?
Но похоже, мирозданье спит, свернувшись в уголке.

А прозаик вяжет петли, жить героям не даёт,
он сплетает-расплетает, рассердившись, нитку рвёт…
А поэт посуду моет и не слышит ни черта,
сам себе петля и нитка, пальцы, глина, глухота.



Николай БОРСКИЙ,
Мытищи, Московская обл.

ТОТ САМЫЙ ЗАПАХ

Аромат земляничного мыла…
Помню детскую бедность мою.
Мало счастья и радостей было
В деревенском заволжском краю.

Жили данью лесной, полевою,
Выходили гулять на перрон.
Жмых считался почти что халвою,
Жвачкой — чёрный и липкий гудрон.

Поезда, громыхавшие мимо,
Уносились, как праздники, вдаль.
Всё же сносно дышалось. Терпимо —
Разгоняла тоску магистраль.

То простой пассажирский, то скорый,
То с целинной братвой товарняк.
От войны и опричнины чёрной
Воскресала страна кое-как.

С гладом-хладом прощаясь постылым,
Приучалась без трепета спать,
Отвыкала с хозяйственным мылом
Ребятишек в корытах купать.

СОН РАЗУМА

Осилить ночь, как будто реку, вплавь…
Не задохнусь, а разве что расплачусь.
Есть сновиденья чувственней, чем явь,
Одно из многих боговых чудачеств.

Как в синема Психея забредёт
Ребёнком в них без матери и нянек.
А что за фильм, не знает наперёд
Ни кинозритель, ни киномеханик.

Ей, беззащитной, благо или вред —
Бред подсознанья, коему порукой
Иосиф, Гойя, Ремизов и Фрейд
С прозреньем их, искусством и наукой?

Как до сеанса душу ни готовь,
Всегда внезапны кадры жизни прошлой —
Сквозь слёзы вспыхнет первая любовь,
Ударит враг, давно уже подохший.

Безумной смесью — тартар и астрал,
Родные тени, волжский берег дальний,
Антиреальность, зал кривых зеркал,
Калейдоскоп восторгов и страданий.

Вплоть до деталей сбывшийся прогноз
(Дневной расклад полуночного вздора) —
Для смертных щедр на выдумку Гипнос.
Все в руку сны: им прошлое опора.

Ведь перед тем, как в Лете потонуть,
Навек оно смогло в ней отразиться
И в спящий мозг неслышно
проскользнуть,
Как в тёмный дом ночница или птица.

Транс бытия, намёк на мир иной,
Где, словно космос, бездна
беспредельна…
Кого просить: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной»?



Николай БО́ШИНЦЕВ, Брянск

***

Прозрачно время, как вода,
Уходит в небо птичья стая.
Хотел бы с чистого листа я
Начать другие «Никогда».

От нескончаемого дня
Круги расходятся, мелькая,
И тишина стоит такая,
Как будто в мире нет меня…

С ЛИЦА ЗЕМЛИ

Выйдешь в поле — веет ветер,
Сеет небо с небосвода,
А вокруг на целом свете
Несусветная свобода.

Зреет спелость, млеет алость,
Даль в серебряном покое,
Но куда-то подевалось
Человечество людское.

У лисы повадка лисья,
Шустрой белкой белка скачет,
Листопад роняет листья,
Каждый знак живое значит.

В сонных росах никнут травы,
Солнце щурится от пыли.
Все на свете были правы.
Все на свете, право, были.

ПОСТ СДАЛ

Человечно правил против правил,
Да с бедой не справился в дому.
На кого ты, Вечный, нас оставил,
Мимолётно явишься кому?

Не понять нам, присно или пресно
Время о́но, стиснутое впредь.
Ни тебе по-божески воскреснуть,
Ни по-человечьи умереть.

АЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Нечеловеческим существам,
меченным человеческой
несущественностью,
посвящается

У бессмертного существа
Между пальцев цветёт трава,
Из глазницы растёт сова
У бессмертного существа.

А у смертного существа
Туго стянута тетива.
В сердце дым и во рту слова —
Признак смертного существа.

Существо существу не рознь,
Не химера, не тать, не кознь.
Еле слышным кивком во тьму
Говорит одно одному:

«Приходи ко мне, существо,
Приноси своё вещество
На зелёную на кровать —
Будем вместе существовать».

НЕБО НЕЖДАННОЕ

Будет день, как быль и небыль,
Будет ночь, как тень и свет.
Кроме памяти о небе,
Ничего на свете нет.

Там, где стелет мирозданье
Веры сумрачный покров,
Жизнь — простое ожиданье
Неожиданных даров.



Владимир БОЯРИНОВ,
Москва



ВЗОРОМ КАСАЯСЬ

Я просыпаюсь от взмаха ресниц
Сабельно острых — и падаю ниц:
Сколько в зеницах слепого огня!
Прочь, сатана! Не гляди на меня.

Я поднимаюсь и падаю ниц:
Нет у меня боевых колесниц,
Вырваться чтобы живым из огня.
Нет боевых колесниц у меня.

Господи правый! Твоих багряниц
Взором касаясь, я падаю ниц.
Если не выйду живым из огня —
Под багряницей отпойте меня.

КАМЕНЬ

Все когда-то споткнёмся и канем,
Не вернёмся на зорях уже.
Мы немеряной тяжести камень
Обогрели и носим в душе.

Эта глыба — крутого замеса:
Боль и пепел, слезинка и желчь,
Свет — от Бога, потёмки — от беса:
Напрочь выстудит, чтобы обжечь.

Станет с горя жена молодая
Биться оземь, белугою выть:
«Ты подумал, семью покидая,
Каково неприкаянной жить?»

Боль отступит. Во времени вящем
Ты проснёшься в предмайской тиши,
Лёгким жестом, по-царски изящным,
Скинешь камень тяжёлый с души.

ЛИСЫ ЛАЮТ

Путь пройдя наполовину,
Лето тронулось под гору.

Сколько леса повалило
В Подмосковье в эту пору!

Буйный ветер был несносен,
Дул неделя за неделей…

Повалило столько сосен,
Повалило столько елей!

Где в чащобах близлежащих
Ночи пасмурны и мглисты,

Там лисят своих дрожащих
В лоск вылизывают лисы.

К непогоде лисы лают,
Пребывая в смутном страхе,

Тявкают и завывают,
Как побитые собаки.

Лисы знают — кто владеет
Бедоносными ключами.

Лес волос моих редеет
От нахлынувшей печали.

Вылизали злые бури
Просеки лесных залысин.

Лисы чуют — сколько дури
Окаянный бес замыслил!

Смёл подлесок подчистую,
Грянул в поднебесной выси!

Лисы лают не впустую,
Не впустую лают лисы…

НА НИВЕ

Когда пожитки собирать
Прикажет время скорбное,
Не надо сразу помирать —
Не всё на ниве собрано.

А если и настигнет срок —
По дедовскому способу
Я с головой зароюсь в стог
И буду спать без просыпу!

Я ПОЗАБЫЛ

Я позабыл закадычных друзей,
Грешную лиру спровадил в музей.

Я разлюбил коньяки и вино,
Про самогонку и думать срамно.

Если я завтра тебя разлюблю —
Я свою жизнь до конца погублю!



Владислава БРОНИЦКАЯ, Харьков

***

Если выбор твой — быть со мною,
Будет слово «покой» позабытым…
Шансов больше расти горою,
Шансов меньше всегда быть сытым…

Если ты не страшишься расплаты,
Быть бойцом безымянным в роте,
Шансов больше остаться крылатым,
Шансов меньше увязнуть в болоте…

Будет поздно менять траекторию.
Карте место. И карта крыта.
Шансов больше попасть в Историю,
Шансов меньше уютного быта…

Если я тебя не спугнула,
Революцией сердце вызрело,
Шансов больше увидеть дуло,
Шансов нет, что не будет выстрела…
14.05.2013

***

Город мой, что Гитлер назвал замком,
Оккупаций город, и душегубок,
Ты, в груди застрявший, ревущий ком,
Умирающих труб заводских и трубок.

Ты завязан со мной на семнадцать морских узлов.
Нас с тобой одевают в смирительную рубаху.
Бедный город колючей проволоки и углов.
Нашей памяти реваншисты зла воздвигают плаху.

Мой расстрелянный город лучших своих сынов,
Затюремленный город рваных и сытых душ,
Ты ещё протекаешь светом из детских снов,
Но уже леденеешь тьмою мертвящих стуж.

Умоляю, рвись из последних сил!
Заклинаю в страхе тебя не стыть!
Мертвецы, восставшие из могил,
И живые требуют победить!
25.03.2014

***

Отмотаем? Ещё не свистели пули…
Кровь не пролита. Мы ещё не враги…
Обманулись в чём? Обманули
На Майдане тротиловые пироги…
Не убило ещё. Не поранило.
Брат на брата. А кум на кума.
Разбросало нас. Размайданило.
Чем? Каким майданом ты думал?
Что? Трамвай желаний? Каждому по трамваю?
Горним светом казался неоновый свет? бред…
Мы теперь разделились на тех, кто продажен, и нет.
Тех, кого продают. Предают. И сливают.
В многомерности шахмат нашего бытия
Каждый ход многозначен в разных же измереньях.
Раскололись, рассыпались ты и я.
Кто упал в слепоту, кто взлетел в прозренья.
И не в том вопрос, кто глядит на запад, кто на восток.
Разделились на тех, кто вниз, и кто — ввысь.
Кто на сторону силы, и кто за правду.
От смерти на волосок
Кто сдаётся, и кто себе говорит: «борись»,
Кто по трупам готов, кто метит на пьедестал,

Кто крылами меряет звёздную млечность.
Разделись на тех, кто экзамен сдал и не сдал
На человечность.
27.11.2014



Татьяна БРЫКСИНА, Волгоград

***

Июнь крапивой зарастёт,
Завяжет вишни узелками,
И будет пахнуть первый мёд
Ромашками и васильками.

Налипнет жёлтая пыльца
На пальцы, сладкие от мёда…
Ты позовёшь меня с крыльца
В хмельную зелень огорода…

О, этот зной из-под ресниц —
Калмыковатый, острый, жгучий!
Я покраснею до ключиц
И засмеюсь на всякий случай.

Букетом дивных сорняков
Затмится синь,
и, словно луни,
Льняные крылья облаков
Нас убаюкают в июне.

ОДОНЫШЕК

Сбегающий смешить весну,
Охладевающий ко мне,
Не оставляй меня одну
Захлёбываться в тишине!

Я, может, не пойду ко дну,
Не изойду слезами, но
Не оставляй меня одну
С нелюбящими заодно!

Когда б ты видел, как черна
Изнанка боли, — может быть,
Бокал прощального вина
Не предложил бы всклень налить,

Не повторил бы в сотый раз:
«Цветы мне говорят — прощай…».
Вино, что выпито сейчас,
Подобно боли через край!

Так вот что сердцу суждено —
Вино тоски, тоска окна,
Окно бокала… — всё темно,
И жизнь — одонышек вина.

***

Только ветер и свистнет: — Зайди!
Так сверни же к просёлку, дорога, —
Я увидеть хочу, как дожди
Намывают гостей у порога.

Не чужая под кровом родным,
Я поглажу сударыню-печку…
За семь вёрст мне почудился дым,
И тоска подкатила к сердечку.

Вязнет в хляби осенней сельцо,
Что ни ставенка — взгляд исподлобья…
Как смиренно осело крыльцо!
Как затоптана горенка вдовья!

Стопки мутные, в кружке вода,
Тлен идёт по цветастому ситцу —
Знать повадилось горе сюда
Приносить в рукаве не водицу…

Смирный дом, дорогая изба,
Неужели средь горницы этой
Поселилась чужая судьба,
Чтобы стыть у печи несогретой?

Табуретку придвину к столу,
Облуплю на клеёнке картошку…
Кто я нынче родному селу?
С чем пришла к дорогому порожку?

Кроме слёз, чем ещё пособлю
Безысходности этой горючей?
Не посмею сказать, что люблю,
Коли встреча — нечаянный случай.

На прощанье — платок с головы, —
Вот и всё, чем могу отдариться…
— Как вы трудно живёте!
— А вы?!
— Все под Господом… — как говорится.



Олег БУДИН,

Электросталь, Московская обл.



***

В нашу комнату мартовский вечер
Смотрит грустью взошедшей луны —
И летит заоконная вечность
От галактик до теплой стены.
И от этого столько покоя
И таинственной тихой любви,
Что достаточно искры какой-то,
Чтобы мы загореться смогли.
Пусть сомкнётся до плоти пространство
И исчезнет отсчёт временной —
Мы венчались в пожизненном танце
Под вечерней и вечной луной.
Всё на свете без слов понимая,
Нам друг друга до старости греть,
И проносится вечность немая,
Завлекая в свою круговерть.

***

Мну в кармане последнюю сотню
На Тверской у съестного ларька
У какой-то глухой подворотни,
Где стекает вода с козырька.
Пахнет затхлой кирпичной утробой,
Уводящей в запущенный двор.
А в ларьке за стеклом — бутерброды
И горячий «кофейный» раствор.
Постою, пожую и исчезну,
Затерявшись в снующей толпе.
И запомнится мне, если честно,
Только то, что запомнить хотел,
Что от сердца куском откололось:
Подворотня и в ней пустота,
Словно жизнь провалилась в колодец.
А вокруг суета, суета…
Среди лиц — и простецких и ушлых —
Мой порыв в неуёмной тщете,
Как осколок эпохи минувшей
В современном рекламном щите.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Тусклый тамбур горчил от табачного дыма,
У неё на плечах меховое манто,
А под тушью ресниц — интеллект и гордыня,
Подступиться к которым не смеет никто.
Я от скуки рискнул, только самую малость:
Болтовня ни о чём — почему бы и нет?
Раствориться в словах — это всё, что осталось,
Чтоб хоть чем-то заполнить дорожный фрагмент.
А она, изогнув утончённые пальцы,
Усмехнулась в ответ — тут в эстетике суть:
Ей в поэзии нравятся хокку и стансы,
И, конечно, цитатный кибировский путь.
Постмодерн, так сказать, в эклектическом стиле…
И Рубцова читать — зря словами сорить.
Ну, зачем ей стихи о каком-нибудь Филе.
Я вернулся в купе. А о чём говорить?

В ГЛУШИ

Каждый город — гордый викинг:
Купола, огни, дома…
А вот станции безлики —
Все стандартны, как одна.
И, пока не дал отмашку
Красноглазый светофор,
Здесь, на станции-букашке,
Скинув прыть, затих мотор.
Здесь не ходят электрички,
Здесь на всех один клозет…

Вот смешная почтовичка
С пачкой свеженьких газет.
Ей, укутанной до носа,
Ей, измотанной до жил,
Проводник, пьянющий в доску,
С ним погреться предложил.
Анекдот, смешно до колик, —
О простушках много врут.
Усмехнулась: что ты, кролик,
Здесь стоянка пять минут.



Елена
БУЕВИЧ,
Черкассы

ЯВЛЕНИЕ ЦВЕТУЩЕГО АБРИКОСА

1

Он первый, он самый отважный,
он чует, что будет теплей,
и шмелик однофюзеляжный
поверил ему, дуралей.

И бабочка, la mariposa,
не зная прогноза вполне,
мерцает в столпе абрикоса,
на светлой его стороне.

Все вместе они обязались
втянуть меня в эти дела —
летать, любоваться на завязь,
сулить наступленье тепла.

2

К старости становишься японцем.
И стоишь под солнцем, чуть раскос,
и глядишь: с тишайшим перезвонцем
помавает веткой абрикос.

Обогнал он яблоню с черешней,
посетил на миг земную клеть,
чтоб воздушной радостью нездешней
окатить, утешить, облететь.

Будто растворились двери рая,
и стоит в пристанище добра,
на тебя, заблудшего, взирая, —
дерева цветущая гора.

А вокруг — ристалища и квесты,
пёсий лай и человечий бег.
И летят, как «капельки» челесты,
абрикоса радость, сладость, снег…

ЛИСТ КЛЕНОВЫЙ

Лист кленовый безголовый,
свежий, юный, неземной.
Ах, с какой надеждой новой
увязался он за мной!

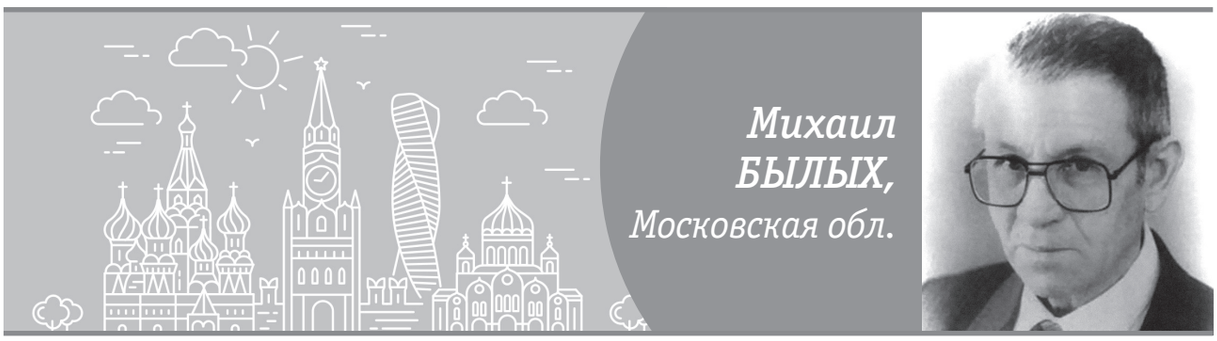
И летает, и сияет,
и спасает, и поёт,
будто больше не зияет
смерти выход (или вход).

Неужель, бежавший тленья,
будет счастлив индивид?
Нету летоисчисленья,
как Георгич говорит?

Только жду не без опаски,
с непонятною виной,
что иссякнут эти сказки,
эти танцы под луной.

Есть невидимы законы,
по которым навсегда
мрак бездонный заоконный
позовёт меня туда,

где заждавшуюся лодку
обнимает старый Стикс,
где найдёт свою находку
каждый игрек, всякий икс.



Михаил БЫЛЫХ,
Московская обл.

***

Облетают последние маки...
Н. Заболоцкий

Облетают и годы, и маки.
За спиной поднимаются пни.
Умирают в последней атаке
И погожие летние дни.

В золотой разливанной печали
Осень кажет нам тысячи лиц.
Вот уж начисто вымыты дали
И распахнуты настежь для птиц.

Скоро первая вышняя стая
Проплывёт, исчезая на нет.
А душа человечья, стеная,
Как подранок, рванётся вослед.

Кинусь к ней, беззащитной и ломкой,
Заслоняя, как мать малыша.
Между прошлым и будущим кромкой
Побредём, лепестками шурша.

БЕЗЫМЯНКА

До горизонта ни куста, ни колка,
Лишь звон цикад, да свистнет где сурок,
То из-под ног метнётся перепёлка,
И режет мне под речку поле лог.

Река не удостоилась названья,
А в омутной бездонной темноте
Мне блазнится уж бездна мирозданья,
Исконно равнодушная к тщете.

И я смущён картиною случайной,
Но вновь и вновь, чаруя и маня,
Из глубины невысказанной тайной
Вода глядит как будто сквозь меня.

БЕЗЪЯЗЫКИЙ

В проломы стен ушли из церкви лики
И затерялись в буйстве бузины,
А колокол всё виснул, безъязыкий,
Клонясь на все четыре стороны.

Быть может, в ком он отзывался болью,
Но не во мне. Ослушник и пострел,
Таясь людей, я лез на колокольню,
Узнать, о чём он синим ветрам пел.

Знобящий страх, дуван, немые гуды —
Не разгадал я медную главу.
Лишь через годы, беды и остуды
Увижу в ней себя, как наяву.

Во временах завис я безъязыким:
Поруганного прошлого налёт,
Отторгнутого нынешнего блики,
И непогодь грядущего сечёт.

***

Мы все из российской глубинки —
Кто волей могучей страны,
Кто зовом обманной тропинки,
Кто эхом Великой войны.

Манили обратные дали,
Колхозный толкал недород.
О, как же мы дружно сигали
За паспортной крепи заплот!

И мы города без оглядки
Локтями раздвинули вширь.
Вдогон, наступая на пятки,
Стелился отчизны пустырь.

Тот век, обдувая пылинки,
Храню в очарованном сне,
И кто-то со старой пластинки
Поёт о счастливой стране.



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Лариса ВАСИЛЬЕВА

(1935–2018)

Павел БАСИНСКИЙ

НА 83-М ГОДУ ЖИЗНИ НЕ СТАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЭТА И ПРОЗАИКА ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

Это было прекрасное сочетание необыкновенно одарённого писателя, которому удавались самые разные жанры, и удивительно яркой женщины. Кто видел её хотя бы один раз, не мог не запомнить на всю жизнь.

Она говорила о себе: «Я люблю быть самой собой». Именно так — «люблю». Но она же писала в стихах: «Я главного слова ещё не сказала…»

А сказала она много. Её детские стихи отметила ещё Анна Ахматова, и, хотя строго разбирала их на полях, закончила свой разбор странной припиской: «Меня ты не бойся». Но Лариса Васильева всегда говорила о себе: «Я никогда никого не боялась».

И это было правдой.

Она родилась на Украине. Её отцом был один из создателей танка Т-34. Девочкой на Новый год она наряжала ёлку в квартире Ворошилова, забралась высоко наверх и оттуда увидела Сталина. «Высоко забралась — больно падать будет», — сказал вождь.

Путёвку в поэзию ей дал поэт Сергей Наровчатов, одно время бывший главным редактором «Нового мира».

А потом были годы жизни в Англии, где работал её муж и откуда она писала очерки для «Литературной газеты». В итоге это вылилось в книгу прозы «Альбион и тайна времени», которая в конце 70-х годов открыла для советского читателя совсем иную Англию. Книга эта имела сенсационный успех, и с тех пор за Ларисой Васильевой закрепилась слава одного из лучших писателей-документалистов (сегодня это называется модным словом «нонфикшн»).

Потом была «Книга об отце», для создания которой она встречалась с многими танкостроителями и танкистами.

А потом… Потом Лариса Васильева, по сути, открыла жанр, который впоследствии эксплуатировали многие, но, увы, делали это плохо, без того блеска таланта, который был у Васильевой. В 1993 году она выпустила документальную книгу «Кремлёвские жёны», написанную на материале личных встреч и бесед с очевидцами о жёнах советских вождей: от Н. К. Крупской до Р. М. Горбачёвой. Это была пора, когда «желтела» не только пресса, но и литература. Но Васильевой удалось из этой темы сделать серьёзную книгу о том, что такое быть женой крупного политика.

Продолжением этой «кремлинологии» стало другое исследование «Дети Кремля», в котором прослеживались уже судьбы детей Л. Б. Каменева, И. В. Сталина, С. М. Будённого, Л. М. Кагановича, Н. С. Хрущёва и других. И опять — талант и честность писателя выводят эту книгу далеко за рамки обычной «массовой» литературы подобного рода.

И ещё она всегда оставалась поэтом. И переводчиком с английского языка. И принимала участие в благотворительной деятельности. И была инициатором создания музея истории танка Т-34. В 1996 году ей присвоили звание профессора Ноттингенского университета. Она была постоянным членом жюри литературной премии «Писатель года», открывавшей новые имена в прозе и поэзии.

В одном из последних своих интервью она сказала: «Ангел-хранитель есть у каждого, только не каждый ощущает его в себе. Моего Ангела, который диктует мне, зовут Василиса. Без неё я не написала бы ни строки».

Удивительные слова!



Вячеслав ВАСИН, Москва

***

Идти пешком в хорошую погоду, по живописной местности, не спешить и ожидать в конце пути нечто приятное — вот условие существования, которое мне больше всего по вкусу.

Жан-Жак Руссо

Все печали, все тревоги —
Тошнотою изнутри…
Как подкашивались ноги
По дороге в Шамбери.

Взвизгнет зверь и вскрикнет птица,
Стародавний скрипнет клён —
И никто не удивится,
Как я молод и умён…

Тот же свист и те же трели,
Тот же пруд и ближний сад,
Так же вишни побелели,
Как и триста лет назад.

И не кажется, не мнится,
Но мерещатся во мгле
Те же руки, плечи, лица,
Что и были на земле.

СТАРИКИ

Спать спокойно —
и видеть сны.
Включить телевизор,
смотреть кино.
Старики
отделения ветеранов войны
под лестницей
режутся в домино.

Тикают тихо часы на руке,
кошка свернулась в клубок в уголке.
Ночь.
За окошком темно.
Старики стучат в домино —
и грохот в фойе лазарета
как выстрелы из пистолета!

СЕРДЦЕ

Сердцу-то вон как легко:
Сбросило всё неуместное,
И высоко. Высоко.
Выше лишь Царство Небесное.

САД

Деревенская лачуга
И незапертая дверь.
И крикливая пичуга
Мне подружкою теперь.
Окружённый облаками,
Бородат и волосат,
Я сражаюсь с сорняками
И возделываю Сад.
Тяжкий труд не утомляет,
Непогода нипочём.
Сад надёжно охраняет
Ангел с огненным мечом.

БЕССТРАСТНЫЙ

Бешеной страсти
Прилив и отлив:
Тихон Задонский
Очень гневлив.

Страсть возгорается, —
Тих он и сдержан.
Кто догадается,
Что он рассержен?

Лик величавый…
Слог непростой…
Тихон Задонский,
Русский Святой.

СЧАСТЛИВЫЕ СУПРУГИ

Что Белл, что Морзе —
……вспомнить их,
Имели жён глухонемых;

Когда мужья работали,
Те шили
…….или штопали.

У Морзе был прескверный нрав,
Но он придумал телеграф…
И, будучи в общении смел,
Нам телефон оставил Белл…

Зачем для ссор искать причины,
Любимых криком оглушать?
На дивные вещи способны мужчины,
Если им не мешать!



Владимир ВЕДЯКИН,
Москва

***

А. Ш.

Ты слышишь этот шум?
Проходит лихогодье.
Немного потерпи,
А там — не тяжело.
Не бойся — мы с тобой,
Не бойся — всё проходит,
Не бойся — всё пройдёт.
Уже почти прошло…

***

На востоке за Коломной
Не воздух — виноград,
Синийиссиня, огромный.
Дали, не дали — рахмат.
На востоке город Муром —
Незвёздно далеко,
Там и вечером и утром
Вздыхается легко.

***

Лошадь чмокает губами —
Ей, наверно, сладко,
Хочет воду из Кубани
Выпить без остатка.

А по берегам тучнеют
Сады-виноградy.
А в Америке скучнее —
сами виноваты.

Очень скученный народ,
Теснота-обида.
А городят огород
Просто так, для вида.

Я там не был никогда,
Но другие были —
Небоскрёбы-города
Да автомобили.

Я не знаю, как у них,
Наверное, горе.
А у нас лесов одних
От моря до моря.

А у нас в Кубани мёд,
Или мёда вроде.
Лошадь пьёт себе да пьёт,
Морды не воротит.

***

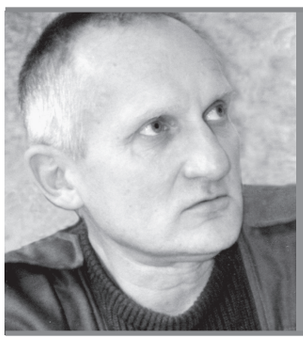
А. П.

Семь раз водили на расстрел
Поэта Португалова.
По счастью, он остался цел.
К несчастью, я не знал его.
А то спросил бы: «Где предел
Великому терпению?»
Он точно знал.
Считать умел.
Не до меня теперь ему.
Он тихо свой закончил путь
В Москве — не в Магадане.
Оставил нам свои семь пуль.
Мы их найдём с годами.

***

Светлые сумерки с тёмным подбором.
Тихо под небом.
Тихо под Богом.
Столько покоя, воли и лада —
Сердцу бы смолкнуть,
Биться не надо.
Бьётся.

Тревожиться не перестало.
Птица ночная в кустах краснотала,
Горло прочистила и залилась.
Значит, услышала.
Отозвалась.



Виктор ВЕРСТАКОВ, Москва



СЛОВО

Перестав заниматься собой,
над людскою заплакал судьбой —
над любой: современной ли, прошлой,
героической, средненькой, пошлой.
Вся любовь — до рожденья детей,
все мечты — до исхода страстей,
все надежды — до смертного зова…
Только в плаче рождается Слово.

12 марта 2018

ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ

Сосед и одноклассник,
фарцовщик и спортсмен,
виновник женских сцен,
мой друг Сергей Лимасик.

С копьём на стадионе,
с валютой у сберкасс
и в школе среди нас
держался, как на троне.

Ведь был он чемпионом
и рекордсменом был,
вот только не любил
уроков и законов.

В конце концов попался
на золотых делах
и в строгих лагерях
три года обретался.

Вернулся на свободу —
вновь деньги и гульба.
Со спортом же — труба:
пришли другие моды.

Недвижимость купил
и девочку покраше.
Но в разговорах наших,
казалось мне, глупил.

— Верстак, ты счастлив, нет?
— Ну, счастлив, — отвечал я.
А он глядел печально:
— Дурак ты, хоть поэт.

В 90-е года
Лимасика убили.

Как стыдно иногда
мне на его могиле…

10 марта 2018

ДМИТРОВЛАГ

Ездовой полкового обоза,
безмедальный и немолодой,
не принявший победную позу,
утомлённый далёкой ездой.

Это дед мой, ни много ни мало, —
дворянин, ярославский кадет,
враг народа, строитель Канала,
с фотографии смотрит на свет.
Он бывал уже в этом Берлине,
знал Венецию, видел Париж,
где родители живы доныне, —
чем в Европе его удивишь?

Долгий срок штыковою лопатой
он ворочал грунты под Москвой:
слава Богу, забрали в солдаты,
потому и остался живой.

Пусть ему автомата не дали,
не доверили службу бойца,
но повозки его грохотали
день и ночь, всю войну, до конца.

И заснявшись на фоне Рейхстага,
европейский закончив поход,
он поселится у Дмитровлага,
на конюшню работать пойдёт.

Из Парижа окольно получит
сообщенье о смерти родни.
И меня между делом научит
принимать в жизни трудные дни.
Будет грустное петь под гитару,
а умрёт, матерясь сгоряча,
про разбойников и Кудеяра
в «скорой помощи» песню крича.

1 марта 2018

ТАНЦОРКА

В который раз жестокая танцорка
Надула братьев — Витьку и меня.
Владимир Урусов

Она была солисткой в местном хоре
(а русский хор и пляшет, и поёт).
Ещё девчонкой в школьном коридоре
ко мне она бежала в давний год.

Стройна, невысока, чуть рыжевата,
слегка вертлява, вечно весела,
она училась вроде плоховато,
но двоечницей точно не была.

В ту пору старший брат окончил школу
и наезжал студентом из Москвы —
стиляга и умелец рок-н-ролла:
я плохо танцевал тогда, увы.

Вот и смотрел, когда они на танцах
на городских показывали класс,
как двое прилетевших иностранцев
для просвещенья наших тёмных масс.

Со временем и я окончил школу
и вслед за братом укатил в Москву.
И долго с этой девочкой весёлой
мы не встречались в жизни наяву.

По слухам, полюбила лейтенанта
из гарнизона местного, но он,
не оценив ни стати, ни таланта,
не дольше первой ночи был влюблён.

Она в порыве гнева отравилась
в химкабинете некой кислотой,
но потому, что средненько училась,
не самою смертельною, простой.

Переболев, навечно повзрослела
и перестала петь и танцевать.
Но выйти замуж всё-таки сумела.
В ту пору с ней мы встретились опять.

Случайно разглядев нас у вокзала,
до центра в «мерседесе» подвезла
и брата в губы вдруг поцеловала,
а мне — так и руки не подала.

Как будто я один за всё в ответе!
И в те же дни — опять моя вина?! —
она глотнула яду в туалете,
откуда школа в стёклышко видна.

1 марта 2018



Андрей ВЕРЕНОК,
Москва

***

Бывали фразы пёстрыми,
Бывали ночки дивными.
Пивал я спирт с медсёстрами,
Весёлыми, наивными.

Манеры слыли лёгкими,
А вовсе не английскими.
…Считались недалёкими.
А мне казались близкими.

Душою неустанно я
Сам дух больничный впитывал.
Я чувство очень странное
Какое-то испытывал.

Нам друг на друга нравилось
Смотреть глазами грешными.
Со мною жизнь расправилась.
Они остались прежними.

О том о сём кумекали
(Среда ль была? Суббота ли?)
Они куда-то бегали.
Они в ночи работали.

В них было вдоволь ловкости
И вдоволь молодечества.
…Они с привычной лёгкостью
Спасали человечество.

***

Женщина красивая лучше, чем смышлёная.
Запах сена прелого лучше, чем озон.
Лучше пьянка буйная, чем тоска зелёная.
Лучше муки творчества, чем спокойный сон.

Лучше пить без повода, лучше петь раскованно,
Лучше спать урывками, лучше жить чудно.
Это так изысканно, это так рискованно.
Впрочем, право выбора каждому дано…

Пусть застолья к праздникам чьи-то приурочены.
Я ж от мыслей праведных в принципе далёк.
Пусть кому-то нравятся умные уродины!
Пусть кого-то радует толстый кошелёк!
Можно сделать выводы, далеко идущие.
Но не все же сволочи на Святой Руси:
За мои чудачества, за великодушие
Кто-нибудь когда-нибудь скажет мне «мерси».

***

Наверно, это глупо — иметь четыре хобби,
Спокойным притворяться, всю жизнь летать во сне.
…Бродячая собака в подземном переходе
На многих нападала, но улыбнулась мне.

Меня собаки любят и разные кретины,
Бездарная актриса, поэт с больной душой.
Для этого, возможно, имеются причины.
Да только я не жажду такой любви большой.

Уж лучше затеряться, исчезнуть, раствориться.
Пора угомониться. Себя менять пора.
…Я буду вечно пьяным и перестану бриться,
И грохну телефонный об стенку аппарат.

Безропотно поддамся душевному посылу;
А прочие моменты значенья лишены.
Любить меня такого лишь избранным под силу.
Любить меня такого — удел моей жены.

А там, глядишь, на стройке, под крики «вира — майна»
Подохну от инфаркта в задрипанном пальто…
Такая перспектива сравнительно нормальна:
Печальная немного. Красивая — зато.



Евгений ВИТКОВСКИЙ,
Москва

АПОФЕОЗ ДВАДЦАТЫХ

Как странно размышлять о тех годах,
о серых и голодных городах,
о датах полнолуний и затмений,
о пасюках, скребущихся в душе,
о на уши навешанной лапше,
о том, что нет ни Бога, ни пельменей.

Ещё и те, кто был в своём уме
считали, что вот-вот конец чуме,
что через месяц рухнет сигуранца,
и в каждый рот вернётся бутерброд,
и обожал читающий народ
Есенина и Менделя Маранца.

Как паутина, ширилась впотьмах
разруха и в сортирах, и в умах
и думал тот, кто попадал на нары,
что Сан-Томе и острова Рюкю,
и ливры, и пиастры, и экю
придумали Дюма и Буссенары.

Почти без опасений москвичи
святить носили в церковь куличи,
но черти в Кремль приволокли Уэллса,
исчезли напрочь ситец и поплин,
зато спустился с неба Цеппелин,
и Маяковский никуда не делся.

И не припомнить было бы грешно
таксомоторы фабрики «Рено»,
зарплату, сокращаемую вдвое,
игру то в преферанс, то в дурака,
безбожников, стоящих у станка,
и Мэри Пикфорд, спящую в «Савойе».

Хранятся там, как мошки в янтаре,
тоска о том, что было при царе,
гвоздём в мозги вбиваемая лажа,
полночные радения в чека,
червонцы, что летели с потолка,
и будущая гибель Эрмитажа.

Искать в те годы было бы вотще
хоть что-нибудь съедобное в борще,
но в мире телогреек и авосек
видны доселе и пайковый жмых,
и рыковка, и съезд глухонемых,
и Алексей Турбин, и Лариосик.

Хотя уже кончался перекур,
в ощипанной державе дохлых кур
гремели то Гардель, то чижик-пыжик,
медведицы брели в сосновый бор
и рос неразбираемый забор
спасающих народ заборных книжек.

Не то, что спьяну, а скорей со зла
с трудом сквозь эти годы проползла
ввязавшаяся в действо шутовское
страна детей, забывших про отцов,
империя святых и подлецов,
не ведавшая, что она такое.

МОЛИТВА РОЖДЁННОГО ПОД ЧЁРНЫМ НЕБОМ

Упаси атеиста, могучий Аллах,
от визита на нищий советский мальчишник,
от бесплатной горчицы на грязных столах,
от газеты «Вечорка» за медный семишник.

Упаси от проезда в метро за пятак,
от больных без больниц, от пустых поликлиник,
от повесток на фронт, от учебных атак,
от обеда в столовой за гнутый полтинник.

От гнилых сигарет, от осадка на дне,
от работы за так в инвалидной артели,
от рубля за бутылку вина «Каберне»
и от двух сорока за вино «Ркацители».

От сгорающей лампы за тридцать одну,
от семейных трусов за последнюю трёшку,
от игры в домино, в волейбол и в войну,
от решений ЦК и езды на картошку.

От штрафного броска и от сына полка,
от мичуринских слёз, от наркомовских дочек,
от УК, ЦСК и от РККА,
от путёвки в Артек, от халата в цветочек.

От чужих протеже на крутом вираже,
от селёдки в борще, от соседки-кретинки,
от езды на еже и от феи Драже,
от Вивальди, Гуно, Доницетти и Глинки.

От защиты Руси от коварства Оси,
от запрета на внос, от запрета на вынос,
от цены на джерси и посадку в такси,
от чего-нибудь, словом, скорее спаси нас.

…Отзвучал патефон и застыла игла,
разошлись господа и откланялись дамы,
по Коциту ладья дураков уплыла,
увозя реквизит неудавшейся драмы.

Отпуская ковригу по мёртвым водам,
съела мякиш эпоха и бросила корки,
утонула в забытом портвейне «Агдам»
и послала империю на три семёрки.

Никуда не поспел пресловутый пострел.
Износились кальсоны. Истлела рубашка.
Заколочен лабаз. И шалман прогорел.
И разбрёлся конвой. И закрыта шарашка.



Игорь ВОЛГИН,
Москва

ПАМЯТИ Е. Е.

Мы, конечно, в этом неповинны:
просто в мае, в некое число —
ровно на твои сороковины
всю столицу снегом занесло.

Как не узаконенные ГОСТом
ангелы, бегущие от стуж,
закружились хлопья над погостом,
чтоб принять ещё одну из душ.

Может, в рай блаженные и внидут,
протрубят архангелы отбой,
только снеги белые всё идут
как и было сказано тобой.

И навек твои смежая веки,
над страной, не ведающей нег,
идут припозднившиеся снеги,
словно первый, самый чистый снег.

***

Я хоронил товарищей моих —
под звон цикад, под траурные марши.
Сначала, как ведётся, тех из них,
кто был тогда меня намного старше.

Затем настал ровесников черёд.
И, придушив бессмысленные слёзы,
у райских врат, у адовых ворот
я покупал кладбищенские розы.

Но не дай Бог, когда в конце пути,
тебе, как не исполнившему долга,
уже и те, кому до тридцати,
с усмешкой жить приказывают долго.

***

Коль режим полового покоя
прописал тебе лечащий врач,
убедившись, что это такое,
не ропщи, не надейся, не плачь.

Утомлённое тело покоя,
затаись, как на пенсии, тать,
и режим полового покоя
по часам начинай соблюдать.

Прилетит к тебе Оле Лукойе
и почувствуешь ты, недвижим,
что режим полового покоя
самый добрый на свете режим.

Если встретишь ты женщину, коя
проявляет к тебе интерес,
не нарушь полового покоя,
ибо счастье возможно и без.

Путь безумствуют Рубенс и Гойя,
но до греческих, скажем, календ
пребывай в состояньи покоя,
как потомственный индифферент.

Одуряющий запах левкоя
и закат, что горит за рекой…
Но режим полового покоя
абсолютен, как вечный покой.

Будет небо сиять голубое,
где паришь ты почти невесом,
времена полового разбоя
вспоминая, как сладостный сон.

***

В памяти твёрдой и ясном уме,
не говоривший ни бе и не ме,
я заявляю публично:
прошлое мне безразлично.

Что там мутилось за гранью веков,
кто пробирался к царице в альков —
я разбираться не стану —
мне это по барабану.

С кем А. С. Пушкин шампанское пил,
кто там геройствовал у Фермопил,
быстры ли струги у Стеньки —
мне это, в общем, до феньки.

Цезарь ли кем-то когда-то убит,
Ленин ли пестует Брестский гамбит,
Данте ль откуда-то выжит —
это меня не колышет.

Вправду ль крестили кого-то в Днепре,
что написали Мольер и Рабле —
вместе, а, может, отдельно —
мне это всё параллельно.

Сиюминутность ценя однову,
я без оглядки отныне живу.
Кушаю рябчиков с грядки,
ибо живу без оглядки.

Сонму тупых исторических лиц
предпочитаю смешливых девиц,
чей без сомнений и споров
ум занимает Киркоров.

***

Рождённый в любезной отчизне,
где свету сопутствует тьма,
я прожил две пушкинских жизни,
но так и не нажил ума.

Душевной не маялся смутой,
встревая во всякую нудь.
И честную чашу с цикутой
отнюдь я не принял, отнюдь.

И Русь от меня не балдела,
не слал поздравлений Кабмин.
И Бог моё личное дело,
задумавшись, бросил в камин.

Гнушаясь таковскою мордой,
шли мимо: не вяжущий лык
и внук славянина прегордый,
и, знамо, тунгус и калмык.

И словно бы в миг озаренья
я понял, что дело труба, —
что крепко травою забвенья
ко мне зарастает тропа.

Что немощен звук моих песен
за здравие ль, за упокой,
и, значит, народу любезен
навряд ли я буду такой.

Ни жёны не в курсе, ни дети.
Но, может, до Судного дня
на том ли, на этом ли свете
хоть ты да вспомянешь меня?..



Николай ВОЛЖЕНЦЕВ,
п. Переволоцкий
Оренбургская обл.

НА РОДИНЕ

Так велось издалёка, издревле.
Жизнь сложна, ну а путь её прост.
Лес и речка. У речки деревня,
За деревнею поле, погост.
Торопиться здесь вовсе не надо,
Всё душе для труда под рукой.
Размеряй свою жизнь по укладу,
И не нужен порядок другой.
Земляков суета не подвинет,
Не сломает привычный уют.
Не в разлуке с местами родными
Жизнь свою они здесь проживут,
Так, как жили их предки издревле…
Только с виду путь жизненный прост.
Лес и речка, у речки деревня,
За деревнею поле, погост.

СТАРИК

Вот родные места перед взором,
Что в душе — никуда не ушло.
Тяжело, но поднялся на гору
И глядишь на родное село.
Есть печаль, а раскаянья нету,
По-другому бы жить ты не смог.
Вот деревня — часть белого света,
Света белого твой уголок.
Сладок хлеб твой был здесь или горек?
Здесь прошли твои жизнь и судьба.
Попрощаться взошёл ты на гору,
Время есть у тебя.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Ах, ветер ненастья глашатай, трубач,
Тревожен твой жалобный вой.
Как будто рыданье, как будто бы плач
Над сонной, пустынной землёй.

Дыханье унылых печальных полей,
Сиротский, глухой перестук
Озябших, раздетых стволов и ветвей
Пронзят безысходностью вдруг.

И туч неуютный лохматый навес
Клубится над самой землёй.
Несётся, сорвавшийся, будто с небес
Тоскливый простуженный вой.

Летит над землёй непогоды трубач,
Просторно ему в вышине.
Как будто рыданье, как будто бы плач
Понятный, быть может, лишь мне.



Наталия ГАШЕВА,
Пермь

***

В этих узких пространствах забыт человек.
Только вещи прицелились хищно —
Из углов, из щелей, каменея навек, —
Проигравшим в утеху да нищим.
Ввечеру тут угрюмо старухи ворчат
И боятся смотреть в изголовье.
У бревна за обоями мыши стучат.
На губах замирает присловье.
Кто-то страшный в окне —
Как нам ночь скоротать? —
Всё шуршит и кивает листвою.
Две ладошки вдвоём — не разбить,
не разнять.
Никому твой секрет не раскрою.
На заре петухи разгоняют муру.
Прокричат — и надежда воскреснет.
Мне галить. Мне дежурить опять
по двору.
А в кармане — из пальчиков крестик.

***

Вот возьми, приголубь голубочка.
Это Родина бродит в крови.
Точно гульбищем выкрана ночка.
Зряшный лютик на память сорви.
Не напейся Ванюшка водицы
Из копытца — другой разговор.
Снежным комом растут небылицы.
Душегубец. Стахановец. Вор.
Ну, и где же ты нынче, Россия?
Как прореха в холсте бытия.
Ни тиран не спасёт, ни мессия.
На помин — самогон да кутья.
И народ, уходящий под землю, —
Ни словца проронив, ни слезы.
Всё окутано пламенем бледным.
Пропадают как в сказке следы.

***

Припомни тесное жилище.
Случайный штрих карандаша.
Как будто бы пробито днище.
Нахлынула твоя душа.
Мы с полночью, да и с тоскою —
Накоротке. И не с пьяна.
Эпоха «позднего застоя».
Буханка хлеба. Горсть пшена.
И братский поцелуй «Агдама».
И привкус «Примы» на губах.
Стекло и щебень под ногами.
И ветер известью пропах.
Пигмеи числятся Богами.
Но сквозь муру и кривду снов —
Догадка, как волна цунами,
Что главное — порядок слов.

***

Воздух студёный и тёмный.
Милый и дальний простор.
Что я о Родине вспомню,
Кроме молитвы простой?
Поле пустынно и голо.
Нету в округе жилья.
Очи потупятся долу.
Где вы, любовь и семья?
Запах навоза и дёгтя.
Разве отпустит земля?
На расстояние локтя.
Дальше — нельзя.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

ЗИНАИДЕ ГИППИУС — 150 ЛЕТ

Георгий АДАМОВИЧ

Каждый раз, как приходится мне говорить или писать о Зинаиде Николаевне Гиппиус, спорить с теми, кто относится к ней отрицательно — а таких людей немало, — каждый раз я вспоминаю лаконическую запись в одном из дневников Блока без дальнейших пояснений:

— Единственность Зинаиды Гиппиус.

Да, единственность Зинаиды Гиппиус. Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной работы», — и такой была Гиппиус. Но помимо её исключительного своеобразия я, не колеблясь, скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моём веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одарённых поэтесс, которых я встречал.

Думаю, что в литературе она оставила след не такой длительный и прочный, не такой яркий, как принято утверждать. Стихи её, при всём её мастерстве, лишены очарования. «Электрические стихи», — говорил Бунин, и действительно, эти сухие, выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синеватыми искрами. Однако душевная единственность автора обнаруживается в том, что стихотворение Гиппиус можно без подписи узнать среди тысячи других. Эти стихи трудно любить — и она знала это, — но их трудно и забыть. В статьях — хотя бы в тех, которые подписаны псевдонимом Антон Крайний, — по общему мнению, сложившемуся ещё задолго до революции, будто бы сказывается её необыкновенный ум. И в самом деле, она была необыкновенно умна. Но гораздо умнее в разговоре, с глазу на глаз, когда она становилась такой, какой должна была быть в действительности, без раз навсегда принятой позы, без высокомерия и заносчивости, без стремления всех учить чему-то такому, что будто бы только ей и Мережковскому известно, — в разговоре с глазу на глаз, когда она становилась человеком ко всему открытым, ни в чём, в сущности, не уверенным и с какой-то неутолимой жаждой, с непогрешимым слухом ко всему, что за неимением другого, более точного, термина приходится назвать расплывчатым словом «музыка».

В ней самой этой музыки не было, и при своей проницательности она не могла этого не сознавать. Иллюзиями она себя не тешила. Музыка была в нём, в Мережковском, какая-то странная, грустная, приглушённая, будто выхолощенная, скопческая, но несомненная. Зато она, как никто, чувствовала и улавливала музыку в других людях, в чужих писаниях, страстно на неё откликалась и всем своим существом к ней тянулась. От всего только бытового, бытом ограниченного, от всякого литературного передвижничества она пренебрежительно отталкивалась, будто ей нечего было со всем этим делать, и даже бывала в отталкиваниях не всегда справедлива, принимая за передвижничество и то, что было им

только в оболочке. Ей, да и ему, Мережковскому, нужен был дух в чистом виде, без плоти, без всего, что в жизни может отяжелить дух при попытке взлёта, они оба были в этом смысле людьми «Достоевского», антитолстовского склада — склада, определившего то литературное движение, к которому они оба принадлежали и которое одно время даже возглавляли. Не случайно Зинаида Николаевна в последние годы жизни шутя называла себя «бабушкой русского декадентства».

В течение двенадцати — пятнадцати лет, предшествовавших войне, я у них бывал постоянно, и не только на шумных, многолюдных воскресных чаепитиях, которые должны бы войти в историю русской литературы, но и почти каждую неделю вечером, когда не было никого другого. Сначала разговор с ней — то, для чего я и приходил, и когда ни на минуту не бывало скучно, потом, уже под полночь, с Дмитрием Сергеевичем, выходившим от себя с какой-нибудь рукописью или книгой.

Должен признаться — и это я до сих пор вспоминаю с удивлением, — что в его обществе, если я оставался с ним наедине, мне всегда бывало как-то не по себе. Не неприятно, не тягостно, а именно не по себе. Я не знал, как с ним говорить, что ему сказать, я не находил тона, он меня стеснял, и вовсе не из-за какого-нибудь чрезмерного литературного пиетета, как можно было бы, допустим, стесняться писателя с европейским именем, который к тому же гораздо старше тебя. Нет, я не чувствовал его как человека, не понимал, что это за человек, не мог себе представить, каков он, например, один у себя в комнате, что он делает, о чём он думает. Было в нём, в его душевном составе что-то неуловимо причудливое, почти диковинное. Каюсь, у меня в связи с этим явилось даже предположение, которое оказалось неверным.

Зинаида Николаевна не раз рассказывала мне о том, как они оба были в Ясной Поляне. Перед тем как разойтись на ночь, Толстой будто бы остановился со свечой в руках и молча, пристально, в упор долго смотрел на Мережковского.

— Мне даже жутко стало, — вспоминала она, — что это он своими страшными серыми глазами уставился на Дмитрия!

Мне представилось, что Толстой безотчётно задумался: что это за человек такой, как бы его надо было описать? Толстой, — думал я, — встретил «модель», не похожую ни на какую другую, и именно поэтому так пристально, со вниманием и любопытством художника вглядывался в Мережковского. Но потом я прочёл в воспоминаниях Короленко, что с ним было то же самое: он тоже поймал на себе долгий, упорный взгляд Толстого и ему тоже стало «жутко». Очевидно, это было у Толстого привычкой: ничего странного, загадочного, трудноуловимого в личности Короленко, наверно, не было.

Вернусь, однако, к Зинаиде Николаевне.

Если я позволил бы себе с уверенностью сказать, что был с ней близок, то всё же не решусь употребить слово «дружба». Слово это требует обоюдного согласия, признания с той и другой стороны, и, кто же этого не знает, слишком часто у покойников, в особенности у покойников знаменитых, находятся после смерти друзья, которые заявлениями о мнимой дружбе с ними сильно бы их удивили. Но я действительно хорошо знал Зинаиду Николаевну и, только узнав её, понял — а теперь, на расстоянии двадцати с лишним лет, понимаю ещё вернее, — что между нею самой и тем, что она говорила и писала, между нею самой и её нарочитым литературным обликом было резкое внутреннее несоответствие. Она хотела казаться тем, чем в действительности не была. Она прежде всего хотела именно казаться. Помимо редкой душевной прихотливости, тут сыграли роль веяния времени, стиль и склад эпохи, когда чуть ли не все принимали позы, а она этим веяниям не только поддавалась, но в большой мере сама их создавала. Ведь даже Иннокентий Анненский утверждал, что в литературе, в поэзии надо «выдумать себя». Не могу понять, для чего. В литературе, в поэзии надо быть самим собой: всё прочее — суета сует, пустые, досужие измышления, прах, который рано или поздно развеется. Анненский оттого и останется в русской поэзии, — думаю, до последнего дня её существования, — что, «выдумывая себя», он оказал-

ся не в силах истинную свою сущность преодолеть. О Зинаиде Гиппиус это можно было бы сказать только с оговорками.

Она хотела казаться человеком с логически неумолимым, неизменно трезвым, сверхкартезианским умом. Повторяю, она была в самом деле очень умной. Но ум у неё был путаный, извилистый, очень женский, гораздо более замечательный в смутных догадках, чем в отчётливых, отвлечённых построениях, в тех рассудочных теоремах, по образцу которых написаны многие её статьи. Она хотела казаться проницательнее всех на свете, и постоянной формой её речи был вопрос: «А что, если?..» А что, если дважды два не четыре, а сорок семь, а что, если Волга впадает не в Каспийское море, а в Индийский океан? Это была игра, но с этой игрой она свыклась и на ней построила свою репутацию человека, который видит и догадывается о том, что для обыкновенных смертных недоступно.

Она знала, что её считают злой, нетерпимой, придирчивой, мстительной, и слухи эти она усердно поддерживала, они ей нравились, как нравилось ей раздражать людей, наживать себе врагов. Но это тоже была игра. По глубокому моему убеждению, злым, чёрствым человеком она не была, а в особенности не было в ней никакой злопамятности. (Ещё меньше было этого в нём, в Мережковском. Прекрасная его черта: ему можно было сказать что угодно, он сердился, махал руками, возмущался, а через полчаса всё забывал и говорил с обидчиком, как с приятелем.) Однажды Милюков заявил Зинаиде Николаевне, что не может больше печатать в «Последних новостях» её статьи:

— Я слишком стар и слишком занят, чтобы уследить за всеми шпильками, которыми вы каждую свою статью украшаете!

Она была искренне удивлена: «Ну подумайте, у меня шпильки! У меня!» Она не придавала своим язвительным выпадам значения, она забывала о них, как о чём-то третьестепенном и в худшем случае только забавном.

Другое воспоминание. В самом начале революции Троцкий выпустил брошюру о борьбе с религиозными предрассудками. «Пора, товарищи, понять, что никакого Бога нет, ангелов нет, чертей и ведьм нет», — и вдруг, совершенно неожиданно, в скобках: «Нет, впрочем, одна ведьма есть — Зинаида Гиппиус». Мне эта брошюра попалась на глаза уже здесь, в Париже, и я принёс её Зинаиде Николаевне. Она, со своим вечным лорнетом в руках, прочла, нахмурилась, пробрюзжала: «Это ещё что такое? Что это он выдумал?», а потом весело рассмеялась и признала, что по крайней мере это остроумно.

Вот, перебирая давние свои впечатления, пытаясь в них разобраться, я прихожу к мысли, что Зинаида Николаевна как личность была больше, значительнее, человечнее и даже сложнее всего, что удалось ей написать. Нет, «удалось», пожалуй, не то слово; всего, чем она хотела в литературе казаться в расчёте на возникновение какой-то легенды, имя которой «Зинаида Гиппиус». Но Блок не ошибся в своей необъяснённой формуле о её единственности, и я уверен, что все, действительно близко её знавшие, с Блоком согласны, хотя и они нелегко нашли бы своему согласию объяснение. В ней была какая-то сухая печаль — говорю «сухая», потому что бесконечно далёкая от всякой слезливости или жалостливости, — печаль, поднимавшаяся будто из самых глубин её натуры. Если бы всё-таки попытаться определить в двух словах то, что было в ней основным, самым существенным, я бы сказал, что была она человеком вполне земным, но с каким-то постоянным, хотя и рассудочным — и в этом-то и была её драма! — томлением о потустороннем. Ей действительно были скучны «скучные песни земли», но не потому, что она помнила «звуки небес», а только потому, что она знала о существовании людей, которые эти звуки улавливали. Неслучайно в одном из давних своих стихотворений она писала, что «мёртвый ястреб — душа моя». Некоторые её стихотворения противоречат этому утверждению и как будто рвутся из того заколдованного, удушливого круга, который был её миром. В некоторых сквозит не то упрёк самой себе, не то стремление себе помочь, — например, в восьмистишии, необычно для нее откровенном, лишённом притворства и что-то приоткрывающем:

Преодолеть без утешенья,
Всё пережить и всё принять,
И в сердце даже на забвенье
Надежды тайной не питать,
Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землёй.

Заканчивая эти заметки, я сомневаюсь: не вызовут ли они недоумения? Это всё, могут мне возразить, это всё, что вы нашли нужным сказать о выдающейся поэтессе, о человеке, сыгравшем в нашей новой литературе значительную роль, наконец, о верной спутнице Мережковского, сотая годовщина со дня рождения которого недавно была отмечена? (Они ведь были неразлучны и, по утверждению Зинаиды Николаевны, не расстались за полвека супружества ни на один день).

Мне хотелось прежде всего быть правдивым, тем более что правдивость по отношению к Зинаиде Гиппиус в конце концов приводит к чему-то не очень далёкому от надгробного «похвального слова». Возникает образ сложный, лишённый тех условно хвалебных черт, которые тут же и забываются. Я рад и даже благодарен судьбе за то, что с Зинаидой Николаевной мне привелось встретиться, потому что встреча и долгое общение с таким человеком обогащают жизненный опыт и позволяют ещё лучше вчувствоваться в безграничную, загадочную противоречивость человеческого ума и сердца.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

НИКОЛАЮ ГЛАЗКОВУ — *100* ЛЕТ

Геннадий КРАСНИКОВ

ПАРАДОКСЫ НИКОЛАЯ ГЛАЗКОВА

Всё, что случалось в жизни с Николаем Ивановичем Глазковым, не могло случиться ни с кем, кроме него. В нём как будто была роковая обречённость на недоразумения — печальные и весёлые. Одни недоразумения он, словно фольклорный герой русских сказок, не без удовольствия порождал и нагромождал у себя на пути сам, другие, помимо его воли, легко прилеплялись к нему с чьей-то (не всегда легкой!) руки.

Поскольку всё равно не обойтись без упоминания образа «Летающего мужика», сыгранного поэтом в фильме А. Тарковского «Андрей Рублёв», сразу укажем на это ставшее расхожим сравнение Глазкова с его кинодвойником. Действительно, невозможно не увидеть сходства судьбы поэта с судьбой воплощённого им на экране средневекового мечтателя, дерзновенного русского мужика, решившегося на безумный по тогдашним временам полёт с колокольни на воздушном шаре. Но дорогого стоят и пережитые дивные минуты счастья перед гибелью, когда прозвучало с экрана на весь мир теперь уже всем знакомое непередаваемое глазковское выражение восторга: «Летю-ю-ю!..». От Глазкова в этом эпизоде остались не только уникальный, зримый образ и голос. Остались и точно угаданные Тарковским, ставшие ключом к фильму, притчевость, фольклорность, мифологичность судьбы и личности поэта. В этой глазковской притчевости более всего важен корневой контекст его биографии — с глубинными пластами отечественной истории, с ощущением себя органической частью философской системы народной культуры…

Н. Глазков, несметно расхватанный и растащенный на цитаты, на анекдоты и легенды, прижизненно мифологизированный как чудаковатый гений «не для широкого потребления», нёс в себе до самой смерти печальную непóнятость, необъяснимость, так до конца и оставшись по-настоящему неразгаданным. Искали истоки его странной иронической (чаще всего — горько-иронической) поэзии в смеховой культуре Древней Руси, в скоморошестве, в раёшнике, в творчестве обэриутов и даже в мрачно-натуралистическом юморе Саши Чёрного. Можно было бы кстати припомнить и незабвенного Козьму Пруткова с его упорным самовозвеличением, и так дойти вплоть до комедиографа Аристофана и старика Эзопа.

Универсальная образованность, начитанность Глазкова могли дать повод для самых неожиданных параллелей. Но это не приближало к сути дела. Глазкова оглядывали как москвича (в Москву он переехал в раннем возрасте с родителями), как горожанина,

как задержавшегося в состоянии детства арбатского вундеркинда, которого до самой старости так и продолжали называть «Коля Глазков». Он был выставлен для показа на столичный асфальт. Ему отвели постаментик в дальнем уголке литературного интерьера, дабы не заслонял чужие амбиции и не бросал тень на светлые лики официальных гениев. Недаром И. Сельвинский с нескрываемым раздражением называл Глазкова «неисправимым самозванцем». Всё это вместе взятое закрывало (сознательно или невольно) от любопытствующих глаз глубинную основу его сути.

Исключительная неповторимость поэзии и личности Николая Глазкова — в национальной самобытности его характера. Невозможно понять природу его юмора, игровой стихии его стихов, «странностей» поведения и даже его раздражающе нетипичной внешности — без укоренённого в срединную нижегородскую русскую землю многовекового родового древа. Глазков — потомственный волжанин, родившийся в крупном селе Лыскове Макарьевского уезда, некогда известного на всю Россию своими ярмарками и макарьевским Желтоводским монастырём, сочетанием строгой святости и разудалой вольницы. Нижегородская земля, как никакая другая, в глуши непроходимых лесов и в просторной чистоте рек, в нетронутой и нерастраченной первозданности родного языка, в духовном огне святой православной веры и любви к Отечеству, словно бы веками настаивала и выдерживала опаляющий и пьянящий настой непокорности и, как теперь сказали бы, пассионарности, необузданной готовности к подвигу, к самопожертвованию. Лицо отечественной истории было бы не столь поэтичным без напоённых этим густым настоем могучих волжских характеров. Среди них — протопоп Аввакум, патриарх Никон, Иван Кулибин, Козьма Минин, Николай Лобачевский, Павел Мельников-Печерский, Максим Горький, Фёдор Шаляпин, Валерий Чкалов, Борис Корнилов…

Ещё Петру I жаловались на «озорство» глазковских земляков лысковцев, создававших «конкуренцию» близлежащей уездной ярмарке, «они де вашему… указу учинились непослушны: с продажным питьём и с таможнею, и с торгом не сошли, и шалашей, и харчевень не сломали, и всякими промыслы торгуют, и в то ж де время учали бить в барабан и послали на лошади в село Лысково, и из села ж Лыскова, собрався многолюдством с бердыши, и с топорками, и с ослопьем, прибежали на берег и конные и пешие со всяким боевым ружьём — и с саблями, и с пищальми, и с луками, и с копьи неведомо для какого вымыслу, и бранили всякою бранью…» (П. И. Мельников (А. Печерский)). Насколько исторически узнаваем характерный, «неведомо для какого вымыслу», кураж в этом динамичном летописном эпизоде, в котором явно не на последнем плане где-то действуют и предки Глазкова! Неслучайно, вспоминая в стихах, как ещё до войны он снимался в массовке картины Эйзенштейна «Александр Невский» в сцене Ледового побоища на Чудском озере, поэт писал о своём сражении с «псами-рыцарями»:

Простой и высокий —
Не нужен мне грим, —
Я в русской массовке
Служил рядовым…

Помню, однажды при встрече Николай Иванович, сам обладавший недюжинной силой, рассказывал о деде, который был настолько могуч, что мог в узел завязать железную кочергу. В семье Глазковых хранили память также об одном из предков, священнослужителе с мятежным нравом.

Ещё одна черта характера, унаследованная от благодатной нижегородской земли, от традиции народной культуры, — художественная изобретательность (вот уж где истинный, не умозрительно-рациональный модерн!), абсолютная, совершеннейшая свобода фантазии, ненасытная воля к творчеству как к сотворению чуда. К такому пониманию своего дела отнюдь нешуточно относился Глазков:

…И тебя зачислят в книгу
Небывалых стихотворцев,
И меня причислят к лику
Николаев Чудотворцев.

Разве не таким «чудотворцем» был другой «волжанин», Иван Петрович Кулибин, гениальный русский механик-изобретатель, который ещё в XVIII веке, словно филигранно отточенные стихи, измысливал и воплощал в чудесные творения собственные идеи? Стоит к месту привести хотя бы одно небольшое описание, чтобы понять, каким художественным блеском и какой высотой этического уровня сияет изобретательская мысль простого самоучки-механика. Кулибин уверял своего мецената, нижегородского купца Михайло Андреевича Костромина, что сделает (и слово своё сдержал!) «часы видом и величиною между гусиным и утиным яйцом… В доходе каждого часа отворяются створные двери внутри онаго яйца и представляется чертог наподобие зала, в котором противу дверей поставлен по примеру палатки наподобие гроба Господня гроб, а в него затворенная малая дверь, а к дверям привален камень; по сторонам гроба стоят с копьями два война. По отворении реченных дверей через полминуты является ангел, и вдруг камень отваливается и дверь во гроб разрушается, а стоящие войны ниц падают: через пол же минуты приходят две жены-мироносицы и бывает слышен подпеваемый звоном голос стиха: Христос Воскресе из мертвых…».

В этом замысле, в реальности ещё более изощрённом и многосложном с технической точки зрения, есть что-то от захватывающего полёта «Летающего мужика». А в самой кулибинской малой форме сказочно фантастического произведения «величиною между гусиным и утиным яйцом» — словно бы незримое, из разных сфер, но парадоксально близкое родство с лаконичной, почти лубочной формой многих знаменитых стихов Глазкова, «краткостиший», как сам он их называл. Таков природный национальный ум: глубокую мудрость сказки, песни, присловья, загадки уложить в ёмкую совершенную форму. Потому-то Глазков справедливо считал, что русские пословицы и поговорки «кратко излагают все философские системы». И если уж искать аналогии своеобычию поэта, то необходимо перебрасывать мостик именно к народному складу самовыражения.

В Глазкове несомненно жил подлинный философ. Не скоморох, не шут гороховый, не фигляр и хохмач жванецко-хазановского пошиба, а своего рода арбатско-лысковский народный Сократ, Экклезиаст. О чём не раз свидетельствовал и сам поэт. Горек корень его русского смеха. В прекрасном стихотворении «Всё происходит по ступеням» он недвусмысленно приоткрывает свои «истоки»:

Всё происходит по ступеням,
Как жизнь сама.
Я чувствую, что постепенно
Схожу с ума.

И, не включаясь в эпопеи,
Как лампа в ток,
Я всех умнее — и глупее
Среди дорог.

Все мысли тайные на крики
Я променял.
И все написанные книги —
Все про меня.

Должно быть, тишина немая
Слышней в сто крат.
Я ничего не понимаю,
Как и Сократ.

Пишу стихи про мир подлунный
Который раз?
Но всё равно мужик был умный
Экклезиаст…

Таким же «умным мужиком» в литературе был и Николай Иванович Глазков. Он вообще знал цену и в жизни, и в истории, и в интеллекте, и в любом деле — настоящий мужик, будь то Сократ или маршал Жуков. В стихотворении «Примитив» поэт при всей иронической мягкости весьма жёстко ставит на место надувающую щёки спесь, предъявляя в качестве аргумента личную историческую родословную:

…Я к сложным отношеньям не привык,
Одна особа, кончившая вуз,
Сказала мне, что я простой мужик.
Да, это так, и этим я горжусь.

Мужик велик. Как богатырь былин,
Он идолищ поганых погромил,
И покорил Сибирь, и взял Берлин,
И написал роман «Война и мир»!..

Будущим историкам литературы, тем, кому предстоит заниматься XX веком, придётся немало поломать голову над поэтической судьбой Глазкова. Как могло случиться, например, что такой большой поэт (даже в соизмерении с золотым XIX веком русской поэзии) оказался грубо отодвинутым от участия в литературном процессе своего времени и буквально до последнего часа, словно вериги, нёс на себе какую-то злую печать незримой опалы, изломавшей ему не только жизнь, но и во многом исковеркавшей предначертанный свыше поэтический путь? Поэт, который ещё до Великой Отечественной войны создал десятки блестящих стихотворений и поэм, ставших классикой, был лишён возможности не только издать их отдельной книгой, но и просто донести до читателя хотя бы со страниц газет и журналов. (Сколько творческих нервных клеток сгорело, сколько часов и дней вдохновения отравлено из-за этой оскорбительно несправедливой обречённости на немоту, сколько не написанных стихотворений придавлено под этим гнётом в душе!..) Ни сном, ни духом не собиравшийся ни в смутьяны, ни в крамольники, ни в диссиденты, ни даже в злоязыкие шуты при царском дворе, Глазков почему-то с самого начала своим необычным видом, оригинальностью мышления, своею резко выделяющейся инакостью («Я в мире — как никто иной, И потому оригинален…») показался опасным мелочно подозрительной власти. Об этом он ещё в 20 лет написал пророческие строки:

…И художник сам тому не верил,
Расточая бисер дуракам,
Но в такие дни обычный веер
Поднимает ураган…

Выскажу действительно крамольное предположение о том, что в значительной мере в глазах непросвещённой власти, которую Блок не без основания называл «чернью», соз-

данию этого якобы опасного образа непредсказуемого и неуправляемого поэта и человека немало поспособствовали собратья-писатели. Слизывая сливки с блестящих глазковских стихотворений, они разносили их по своим междусобойным кухням. С многозначительной таинственностью и оглядкой, словно заговорщики, цитировали на небольших литературных вечерах, читали каким-то чиновникам из своих высоко и мелко поставленных знакомых, придавая этим стихам совершенно несвойственную им двусмысленность. Но поэзия Глазкова никогда не была «восстанием под знаменем насмешки» (Евг. Евтушенко), что ей так упорно приписывали. Как человек научного склада мышления (знал наизусть таблицу Менделеева, курс истории Ключевского, являлся действительным членом Географического общества СССР, увлекался минералами…) он был просто объективен и точен в оценках («Мир сиял, огромен и естествен, // В жалкой исторической возне…», «Плохо быть рабами // Всяких там хазар»). В школе получил двойку за сочинение по роману «Разгром» Фадеева. Как говорил сам Глазков, за то, что «доказал, что Левинсон был профан в военном деле, потому его и разгромили»…

Добродушно-наивный Глазков, тоскуя по признанию в отсутствие читателей, невольно сам становится игроком в игре против себя самого. Только от безысходного отчаяния он, словно новый Гуттенберг, приходит к изобретению, которому дал якобы весёлое название «самсебяиздат», «самиздат». Это словцо в русской транскрипции без перевода, также как «луноход», «космонавт», знают по всему свету. Вручную перепечатанные и переплётенные в тоненькие книжечки стихи Глазков в течение многих лет дарил десяткам, сотням своих поклонников, в основном всё тем же собратьям-писателям. В сущности, это был первый, до-интернетовский полуконспиративный сайт Глазкова в идеологической паутине той эпохи. Пожалуй, Глазков не знал только одного, что приоритет его изобретения, хоть и остаётся в России, но всё же должен быть поделён на двоих с другим русским поэтом. В XIX веке Василий Андреевич Жуковский в подарок для друзей создавал аналог «самиздата» — небольшие книжечки стихотворений, которые назывались «Для немногих». Правда, чтение «немногими» стихов Жуковского не помешало Василию Андреевичу быть влиятельным лицом не только в литературе, но и при царском дворе. Книжечки же Глазкова, достойно умножая его литературную славу в узком кругу профессионалов, всё дальше отодвигали от него возможность выхода к широкой читательской аудитории. Его добровольные устные «интерпретаторы», которым со временем отчасти и подыгрывал поэт, почему-то предпочитали развлекать своих слушателей Глазковым. Получался какой-то потешный поэт, умеющий так закрутить инверсию, так вывернуть синтаксис, так вытянуть небывалый смысл из привычной ситуации, из самого обычного слова, что смех да и только!

Один мудрец, прожив сто лет,
Решил, что жизнь — нелепый икс,
Ко лбу приставил пистолет
И переехал Стикс.

Или:

И неприятности любви
В лесу забавны и милы:
Её кусали муравьи,
Меня кусали комары.

И ещё:

Я это мог бы доказать,
Но мне не дали досказать.

Последнее по скрытой горечи так похоже на настроение «умного мужика» Сократа, которого «демократическим» голосованием с перевесом в несколько голосов приговорили к смерти. Ведь рядом с этими игривыми «картинками» воем выли иные, исповедально надрывные строки:

…А в ночь угрюмую,
Когда темно,
Иду и думаю,
Что мне дано?

Что дано? Причитанье причуд,
Неоткрытых открытий высоты,
Мысли, что мудрецы перечтут,
А глупцы превратят в анекдоты…

Какая великолепная глазковская словесная причуда «Иду и думаю», и какое гениальное тут же, следом, соединение несоединимого, как «Апология сумасшедшего» у Чаадаева, как плач гоголевского Поприщина — «причитанье причуд»… Действительно, можно сойти с ума от сознания, что твои «причитанья» и мысли превращаются «в анекдоты», в забавы. И не только глупцами… Известен его ответ Осипу Брику, когда Глазков, сорвавшись, показал всю мощь своих «потешных» стихов, которые как «потешные» войска Петра в нужный час преобразились в гвардейские Преображенский и Семёновский полки:

Мне говорят, что «ОКНА ТАСС»
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

Но и в том безнадёжном положении Глазков оставался неколебим в стоянии за свою неисправимость. Когда однажды ему пришлось услышать о себе: «Ох, уж эти юродивые без креста», он, не задумываясь, спокойно и твёрдо ответил: «Нет. Я с крестом»… В стихах этот свой горький крестный путь Глазков определит беспощадно и глубоко выстрадано: «Пусть многогрешен русский человек, // Но русский человек могуч и свят…».

Самой большой нелепостью является выдумка о том, что он якобы, «подобно Велимиру Хлебникову», был «поэтом для поэтов». И эту легенду также сложили «собратья-писатели». Хотя определённое творческое единство с Хлебниковым Глазков не отрицал. Но, как всегда, в парадоксальной форме, заставляя слова, словно драгоценные камни, сверкать всеми мыслимыми и немыслимыми гранями:

Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.

В 18 лет (заметьте!!!) Николай Глазков пишет своего знаменитого «Ворона». И сразу раскрывается как абсолютно зрелый поэт. Здесь всё лучшее глазковское, что потом до конца будет фонтанировать в его творчестве: ирония мудреца, для которого «во многом знании большая печаль»; классическая прозрачность смысла при парадоксальной игре интеллекта; по-детски безбоязненное, в каком-то почти грубом наиве первооткрывательское отношение к слову и со словом; и целеустремлённое искание истины. Классическое «In vino veritas» (*лат.*) — «истина в вине» в поэтической системе Глазкова могло бы на законном основании звучать как «In versus veritas» — «истина в стихах».

Поэтом блестяще обыгран «Ворон» Эдгара По с его грозным отрицанием «Невермор» — «Никогда». Замечателен эпический замах начала стихотворения Глазкова:

Чёрный ворон, чёрный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, чёрный час.

И потрясающая концовка, в неожиданном глазковском ключе: «Я спросил: — Какие в Чили // Существуют города? — // Он ответил: — Никогда! — // И его разоблачили». Чем, кстати, с русской прямотой разоблачён и утончённый мистический пафос американского «Ворона». Какая вообще разительная инакость двух миров, двух космосов — русского и западного. Там, где Э. По оценивает себя отвлечённо-художественно: «Моя жизнь — каприз — импульс — страсть — жажда одиночества — презрение к настоящему, разжигаемые страстностью ожидания будущего», там Николай Глазков, как раскаявшийся грешник, истово утверждает: «Я сам себе корежил жизнь, // Валяя дурака. // От моря лжи до поля ржи // Дорога далека…»

Большинство лучших стихотворений поэта написаны в молодом возрасте. Читая их сегодня, надо помнить, что все они, прежде чем оказаться в книге, были фактически устным народным творчеством, прошли путь легенд, сказаний. Да, это сказанья, былины XX века, которые лишь спустя целые эпохи попали на печатный станок… Только по дикому недоразумению могло случиться, что такие прекрасные стихи, как «Ворон», «Бюрократы», «Баллада», «Надо плакать иль смеяться», «Всё очень просто, хоть и сложно…», «Движутся телеги и калеки…», «Примитив», «Ты, как в окно в грядущее глядишь…», «Гимн клоуну», «Боярыня Морозова», не появились в своё время в опубликованном виде. Это отчасти поменяло бы поэтический ландшафт тех лет, а иным литературным авторитетам пришлось бы померкнуть на ярком фоне поэзии Глазкова. Но существеннее то, что читатель был лишён возможности знакомства с богатейшим поэтическим миром одного из самых умных своих современников. Жаль, что неизвестны были замечательные патриотические военные стихи поэта, его пророческие предсказания («Но мне кажется, что обязательно кончит // Самоубийством Гитлер Адольф», октябрь 1941), его потрясающее стихотворение об открытии американцами «второго фронта» «Вечная слава героям», написанное в 1944 году и, кажется, не потерявшее своей провидческой актуальности до сегодняшних дней:

…Лучше в Америке климат
И дешивизнее быт;
Но мёртвые сраму не имут,
А вы отказались от битв.

Вы поступаете здраво,
Пряча фронты по тылам;
Но в мире есть вечная слава,
Она достаётся не вам.

Интересно, как стало меняться отношение к Глазкову его «поклонников», когда он почти в сорокалетнем возрасте всё-таки выпустил в 1957 году первую книгу стихов «Моя эстрада» в периферийном калининском издательстве. Увы, знаменитым стихам поэта предстояло ещё три десятилетия дожидаться выхода к читателю. Заговорили о том, что Глазков исписался, стал «графоманить», потрафляя властям, чтобы печататься. «Счастливые вы, — скажет поэт своим вчерашним поклонникам — собратьям по перу. — Вам, чтобы напечататься, надо писать как можно лучше, а мне — как можно хуже». Загнанный

в угол никем официально не объявленной опалы, он, подобно героям платоновских романов, попытался заговорить в стихах на языке ложного энтузиазма. Это не было идеологической пропагандой. Напротив, нацепив на себя куцее тряпье идейной лояльности, поэт самим фактом вынужденного маскарада лишь резче выявил ложность этой идеологии. Так, бросаясь в огонь, пытаются спасти, вынести из горящего дома детей. Другой бы зарезал кого-нибудь на большой дороге или спился до смерти от тоски. Те, кто списывал Глазкова со счетов, не понимали, что он моральнее их благополучной и безопасной принципиальности, ибо пытается, устав «диктовать в пустоту», вытащить свои лучшие стихи из пламени забвения. «Он и жизнь свою играл как чёрные шутейные стихи, — пишет А. Вознесенский о Глазкове. — Страшное время виновато, что дар его во многом растрачен попусту и ради хлеба». Во-первых, время не виновато. Страшным его делают страшные люди. Во-вторых, все свои великие стихи Глазков всё-таки написал, так что дар его не назовёшь «растраченным попусту». Дай Бог, чтобы от тех, кто благодаря своей высоко оплачиваемой несгибаемости и смелости не думал о куске хлеба, осталась хотя бы сотая часть того, что сделал полуголодный и униженный обстоятельствами жизни Глазков… Но это в его бедный арбатский дом, а не на шикарную дачу к любителям хорового пения «комиссаров в пыльных шлемах» могла ночь-полночь забрести Ксения Некрасова, чтобы попросить тонким голоском: «Коля, дай мне иголку и тряпочки, я буду куклу шить…».

Может быть самым страшным обвинением собратьям по перу звучит одно из писательских воспоминаний: «Однажды мы с Николаем поехали в Сочи. Я по путёвке, Николай — „дикарём“». Ему, коллекционеру, в душе страстному путешественнику, литературные хозяева жизни привозили из-за граничных вояжей открытки видов других городов и стран, в которых он так никогда и не побывал… Да, он жил не по фальшивой «американской мечте» о том, как стать Фордом или дружить с президентами, но по «русской идее», как Хлебников и Глазков, для которых важнее стать Мыслителем, Поэтом, «умным мужиком Сократом», святым, даже оставшись нищим, гонимым, осмеянным…

Не было у него «чёрных шутейных стихов». Было:

…Я отщепенец и изгой,
И реагирую на это
Тоской
Поэта…

Да он называл себя гением! Писал: «Но не выпить нельзя // За мою гениальность!..» Что тут такого? Все вокруг втайне считали себя гениями, а он открыто, без фарисейства («Лучше всех пишу свои стихи»). Он был благородно щедр к другим: «Даже знак нуля занимает какое-то место». Он, по замечанию Н. Старшинова, «блестяще доказал, не занимаясь никакими формальными ухищрениями, что можно быть оригинальным и без них». Его афоризмами можно украсить любую антологию мировой мысли («Азбучные истины не должны начинаться с „Я“», «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака», «Скажи мне, кто твоя любовница, // И я скажу тебе, кто ты», «Пошло́ то, что по́шло», «Правдою неправды умудрённый…», «Благородству сопутствует тактический проигрыш и стратегический выигрыш», «Поэты это не профессия, // А нация грядущих лет»…).

В 19 лет он напророчил свою судьбу «Летающего мужика», написав про то, как злобно смотрели бюрократы «…на Первого русского летуна, когда тот прыгал с колокольни Ивана Великого…», и про то, как они «всю жизнь готовили мне смерть и не печатали мои стихи…». Он любил сниматься в кино, в массовках, его можно найти в фильмах «Ленин в 1918 году», «Александр Невский», «Суворов», «В. Чкалов». В «Романсе о влюблённых» А. Кончаловского у него маленькая роль, тоже «из народа». Он мог бы без грима играть Сократа. К концу жизни у него было лицо каторжника. Его утвердили на роль Ф. Достоевского. Поэт Владимир Бурич рассказывал мне, что те, кто видел отснятый материал, плакали

от потрясающей достоверности исполнения трагедийного образа. Плёнку с Глазковым потом спешно смыли, чтобы и следов не осталось от страшного совпадения образов двух мучеников русской литературы. Он говорил: «Я самый сильный среди интеллигентов и самый интеллигентный среди силачей». Но, измученный жизнью, умер очень рано, шестидесяти лет. Основным критерием в оценке поэта для него было — останется в истории или нет. О себе он имел право сказать:

…Но человек, как я, останется:
он молодец и не боится!



Николай ГЛУМОВ,
Пермь

***

Мир постсоветский печален и сер,
Есть лишь окошко, есть вечер осенний,
Чахленький скверик из СССР,
Сильно помятые жизнью растенья.

Сядь у окошка, с тоской наблюдай
За незатейливой этой картиной,
Пусть это всё не похоже на рай,
Вспомни — здесь жизни прошла половина.

Вспомни прекрасные эти года,
Вспомни счастливые эти мгновенья,
Вспомни, как клялся ты, что никогда
Социализм не подвергнешь сомненью.

Чем наградили сомненья тебя?
Только разрушили мир совершенный.
Долго сидишь у окошка, скорбя,
Долго грустишь о советской вселенной.

Солнце садится. Спокойно вокруг.
Благостен мир обречённый, осенний.
Социализм — твой единственный друг,
Твой и раздавленных жизнью растений.

***

Мимо школы, мимо дома,
Мимо детства своего,
Мимо бывшего обкома
Я лечу, и самого

Удивляют, как мальчишку,
Взмахи крыльев в тишине.
Умер я! Для жизни слишком
Был советским я в стране.

***

В перевёрнутой чаше небес
Рдеют СССР облака.
Недвижима округа окрест,
Недвижима большая река.

И припомнив Советский свой рай,
И забыв этот тягостный век,
Улыбается вдруг невзначай
Несоветский уже человек.

***

Было Первое мая, и ветер весенний
Нежно гладил меня по небритой щеке,
И, как всякий непризнанный истинный гений,
Пребывал я в похмельной привычной тоске.

По проспекту я шёл с жалкой кучкой
рабочих
И советских времён красный нёс
транспарант,
И пространство пронзал среди лозунгов
прочих
Лозунг мой, что унижен сегодня талант.

Равнодушно стояли нарядные зданья,
Равнодушно смотрели буржуи на нас,
Только водки стакан разбудил подсознанье,
Только он пролетарского гения спас.

Что случилось потом, плохо помню,
конечно,
Вроде — что-то кричал, хмелем злым обуян,
Вроде — добрая женщина с плачем:
«Сердешный!»
Подливала мне водку в гранёный стакан.

***

Закончились Царства Христова
Советские семьдесят лет.
Восславив тельца золотого,
Буржуй выползает на свет.

Но улочкою каменистой
Сквозь всю новорусскую рать
Я струганный крест коммуниста
Влачу на Голгофу опять.

***

Вестибулярный аппарат
Давно работает прескверно,
Но меж дерев, но меж оград
Бреду, шатаясь, к благоверной.
Пусть заплетается язык,
Пусть грязен свитер мой сермяжный,
Пусть пролетарский тёмный лик
Встречает мат многоэтажный.
Но эти грубые слова
Меня ничуть не растревожат,
Я — пролетарий, ты права,
Но я, как пролетарий, — тоже.

***

Весна. Холодный мелкий дождик.
Парк. Клумба. Белые цветы.
Напьюсь сегодня, как сапожник,
Из-за вот этой красоты.

Ведь можно только очень пьяным
Хоть как-то разумом объять
Весну, холодный дождик странный
И лепестков нарциссов гладь.

***

Удивительно синее небо,
Удивительно красный закат,
Даже волны реки на потребу
Праздной публике ярко блестят.

Перед нами советские дали,
И несёт нас всё дальше с тобой
В красный мир без тоски, без печали,
Пароходик советский, смешной.



Юрий ГОДОВАНЕЦ,
Москва

ОБРАЗ ТРЁХ ЕДИНСТВ

Сейчас и здесь, здесь и сейчас,
когда мы все по одному,
святые молятся за нас,
а знаешь, смертный, почему?

Здесь и сейчас, сейчас и здесь,
где — и один — он как мы все,
зачем, передавая весть,
течёт молитва в колесе?

Мир ходит ходуном, стучась
молитвенным набатом, днесь!
Сейчас и здесь здесь не сейчас,
здесь и сейчас сейчас не здесь.

НОЧНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

Велят высокие уста
нам задушевно и вельможно
приземистые знать места,
где можно то, что невозможно.

Так — словно бьют в колокола
непререкаемым набатом!
Не потому ль душа смела
стать скоро образом распятым?

МАРЕВО РОМАНСА

трепещет сердце очень звонко
едва затихнет — и опять
любовь — наверное — воронка
ей трудно противостоять

весенней нежностию пышет
колышет мрака бахрому
и снова — под копирку пишет
сама не зная — что кому

и письма складывает в книгу
и — словно гнёзда — свиток вьёт
и — Никой приникая к нику —
с небес спускается в живот

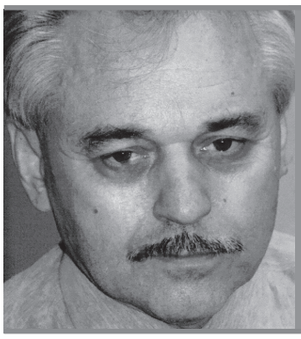
я знал — что ты уже в пожаре
и сквозь черёмуховый дым
весь мир — как девочка на шаре —
на Пасху кажется святым

ВЕТРЕННЫЙ КРЕН

Не выгорело — прогорело,
Как головни — от голых пар,
Лишь по тяжёлым лёгким тела
Ещё гуляет перегар.

Медовые летают нити,
Под ними, связан, дрыхнет Вакх,
И в бессознательном наитьи
Оса присела в головах.

А я живу, переживая,
И этим, кажется, живу,
Прошла ли Третья, мировая,
Иль происходит наяву?



Александр ГОЛУБЕВ,
Воронеж

***

Умирала Анна Дергачёва
В городе Ростове у сватов.
Всё трудней ей поддавалось слово
(Только, впрочем, до каких ей слов).
Умирала в тягостном сознаньи
Кроткая старуха из села.
Всё обдумав на земле заране,
Смерть она с покорностью ждала…
Но однажды вышла с ней оплошность —
Слабость, вероятно, подвела.
Стало Анне тяжело и тошно.
И из горла вяло кровь пошла
На ковёр, на модный пол паркетный.
Сват такое вытерпеть не смог.
И невестке вслух, авторитетно:
«Увозите вашу мать» — изрёк.
«Увозите»…
И июньской ночью
Из глухого города земли
На последнем поезде рабочем
Анну в дальний хутор увезли.

Дом их встретил запахом духмяным.
И, когда всходили на крыльцо,
У неё, как в детстве раннем-раннем,
Кротко зарумянилось лицо.
У неё, доярки-рекордистки,
Ожило всё в чувствах, как вчера.
Но под вечер на кровати низкой
Старая казачка умерла.
Безутешно плакали родные.
И под взмах полуметровых крыл,
Оглашая донники густые,
Сиротливо кочет голосил.
Да под клёном у соседней хаты,
Не моргая синевою глаз,
Плакал Федя, конюх конопатый,
Плакал в первый и в последний раз.

***

Перед судьбой возьму и спешусь.
Коня стреножу вязью пут.
Ну, что поделать, братцы, грешен.
На праведный ведите суд.
Ведите хутором казачьим,
Гоните впереди мой грех.
Я только с виду лишь незрячий,
Кого обидел: вижу всех.
Толпа стоит и скалит зубы:
«Он не умел ценить добро.
В костёр его, с цыганским чубом,
Или подвесьте под ребро.
Ты не смотри довольным оком.
Всё было выше честных сил.
Глядишь обидно и жестоко,
А я ведь так тебя любил.
Презрев толпы зловещей муки,
Я вспыхну в жертвенном костре.
А ты на нём погреешь руки
И скажешь: «Зябко в октябре».

***

В станице ранний листопад.
Дни чистые пошли насмарку.
Прощаясь с летом, гомонят
За ржавой сеткою цесарки.
В затишье у плетней тепло.
Гудит под вишней старый улей.
И во дворе пока тепло
От полыхающих петуний.
Сегодня от обид остыв,
Я, кажется, впервые понял,
Что этот медленный разрыв
С тобою сам я узаконил.
По улице среди осин,
По жёлтой лиственной метели

Идёшь домой ты с именин,
Сияя лаковым портфелем.
Проходишь мимо у окна,
Не глядя в стёкла, как когда-то.
И стала тягостней вина,
И невозможною расплата.



Екатерина ГОРБОВСКАЯ,
Лондон, Великобритания

***

Всем стихам — строфику,
всем чертям — ладана,
а душе — пофигу,
ей теперь надобно
молока птичьего
да взлететь заживо —
ничего личного,
ничего вашего.

***

Оно, конечно, ёклмн…
Но мы ведь и не ищем виноватых
и, взмахом попадая в «Ай, нанэ!»,
мы числимся в счастливых адресатах.
Оно, конечно, жаль, безумно жаль,
и всё могло бы быть совсем иначе,
но нас учили всякую печаль,
пересчитав, откладывать на сдачу.
А мы хотели что? Да просто быть
и с горочки на саночках кататься.
А мы хотели мальчика любить
и чтоб при этом девочкой остаться.
И чтобы только пользовать своё,
и не пошли нам, Господи, чужое! —
Но каждый раз выходит ё-моё!..
клмн… и всякое такое.

***

И вот мы приходим к Нему чебурашками,
Со всеми своими немыслимо тяжкими,
Со всеми своими, такими огромными,
Спиной неподъёмными,
Смертными, тёмными…
И тихо сидим у воды, аки заиньки,
И тяжкие наши ложатся в мозаики
На ровное-ровное белое дно —
И те, что недавно, и те, что давно…
И так безобидно лежат они рядом,
И слёзы так странно идут снегопадом,
А нам говорят:
«Вам пора, уже ждут.
А это пока что останется тут».

***

…Жить-поживать, покупать попугайчиков
и обучать иностранным словам,
тихо прикармливать солнечных зайчиков
или отлавливать, скармливать львам.

Реки подвысохли — сделались речками.
Речки повысохли — стали дождём.
Вы тут не видели доброе-вечное? —
Где-то посеяли — и не найдём…

***

С лева бока — ножка правая,
С права бока — ножка левая.
И слова мои — корявые,
И делами Бога гневаю.

То направо перекошена,
То налево. Вот ведь надо ведь…
А хотела быть хорошею,
Чтоб собою только радовать —

Чтобы речь держать — напевами,
Чтоб ходить повсюду павою,
Чтобы слева — ножка левая,
А по праву руку — правая.

***

Эх ты, кровь твоя венозная, кость
чугунная.
Всё, что было в тебе звёздное,
стало лунное.
Стало мутное, стало томное,
даже мать родную помнишь как
приёмную.
И хватаешься за голову —
эх, ну что же я,
ведь была же у меня искра Божия…
И полдня потом рыдаешь и икаешь —
искру Божию нутром высекаешь.

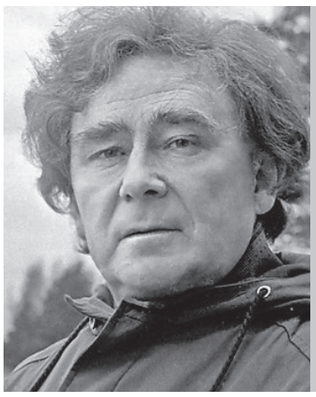
***

Мы с вами гуляли по минному полю,
молясь на доселе хранивший авось.
Авось и доселе позвали доколе,
и минное поле к чертям взорвалось.

…Когда на прощанье даруют прощенье,
душа замирает на миг, не дыша, —
вольно же вам было не есть угощенье,
вольно же вам было не пить из ковша.

***

День начнётся как всегда.
Я вам рада, господа.
Я от вас уже устала,
но ещё не перестала
не хотеть идти туда,
где вас нету, господа.
А когда я перестану,
я пред Господом предстану —
без одёжек, без серёжек,
без привычных ручек-ножек,
в неизвестном мне обличье,
и скажу Ему по-птичьи:
«Ой…
Боже мой…»



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

(1931–2019)

Геннадий КРАСНИКОВ

Когда посреди зачумлённой повседневности, серости буден, прозаичной заземлённости жизни вспоминаешь, что где-то на берегах Невы живёт поэт Глеб Горбовский, то сразу становится как-то спокойнее на сердце и душевные твои потёмки расступаются, рассеиваются, как мутный туман, и ты в самом себе обнаруживаешь нечто хорошее, доброе… Его стихи помнятся так, как помнятся встречи на российских просторах, когда-то ли в поисках кружки воды, ночлега ли ты стучишься в низенькое деревенское оконце и тебе навстречу распахиваются двери, за которыми и бедность, и щедрость, и простота, и мудрость. Кажется, окончательно выветрилось уже из памяти лицо хозяина, хозяйки дома, но не изглаживается в памяти чувство, которое я бы назвал радостью узнавания чего-то очень родного, нужного твоему нравственному самочувствию.

Вот говорят, что «стиль — это человек». Наверное, так оно и есть — для прозы, но для поэзии данная формула не совсем подходит, тут надо бы сказать иначе: «Интонация — это человек». Иметь свою интонацию в стихах, увы, не каждому дано, ибо она каким-то чудом заключает в себе своеобразие личности автора, она как бы является мелодическим портретом автора, его характером, внутренним голосом. Нет ничего индивидуальнее в стихах, чем интонация. Рифмы повторяются, ритмы давно открыты, размеры расписаны во всех учебниках литературоведения, а вот она — есть достояние только этого и никакого другого поэта…

Глеб Горбовский обогатил русскую поэзию неподражаемой интонацией, в которой мы услышали удивительную раскованность, чистоту, нежность, иногда стыдливо прикрывающуюся игрой в грубоватую мужскую суровость. Но даже и в знаменитых, ставших песней стихах «Когда фонарики качаются ночные…» — под налётом приблатнённости — Горбовский со свойственным ему чувством юмора трогательно оберегает собственное свободолюбие — самое дорогое и самое дефицитное в его поколении богатство… Вот, к счастью, и возникло слово, которое можно было бы отчеканить над сводом поэтического мира Горбовского: свободолюбие! Именно это качество всю жизнь работало и на поэта, и против него. Читатель с первых же строк попадал под обаяние Горбовского, компенсируя смелостью поэта, его хлёстким ироническим умом, самоуважением собственные зажатость, закомплексованность, социальную неполноценность. Но свободолюбие предполагает независимое поведение и такую же независимую позицию, что в литературной жизни для писателя по нынешним временам слишком накладно, так как воспринимается собратьями по перу как вызов, как пренебрежение официальной иерархией, как непростительная непочтительность к серой и хищной массе пишущих. Может быть, по этой причине, будучи известным и любимым с первых литературных шагов, Горбовский никогда не попадал в критическую и послужную «обойму», не умещаясь в чьё-то «прокрустово ложе» и спокойно презирая его.

Читать Горбовского легко и сложно. Он никогда не впадает в поучительный тон. Почти в каждом его стихотворении присутствует улыбка сострадания или горькая усмешка понимания мира, белого света…

Он один из немногих поэтов, кому доверяешь, его стихи обладают необъяснимой притягательностью, они написаны так, будто автор каждый раз обращается к тебе одному, лично, словно ты и только ты — самый дорогой для него собеседник, слушатель…

Почему сложно? Потому что Горбовский на протяжении всего своего творчества занят одной темой, той, что не давала покоя Блоку и Есенину, Твардовскому и Рубцову… Это — тема России, её трагической истории и роковой судьбы. Вместе с поэтом читатель проходит через сомнения, отчаяние, боль при виде того, что творится в Отечестве, в родном доме, в душах земляков. Но даже и предельно мрачные сомнения в стихах Горбовского не убивают веры, не опустошают безнадёжностью. Словно сокровенный образок на груди, подаренный матерью, пронесён поэтом через все противоречивые эпохи образ России, усталой, измученной, но не сломленной Родины, будущее которой неясно, но, как всегда, величественно и в невзгодах, и в покое…

…В Псково-Печерском монастыре мы с Глебом Горбовским спустились в пещеры, где захоронено несколько поколений монахов. В длинных тёмных коридорах пещер, в холодном удушливом воздухе едва-едва удерживались слабые огоньки свеч, прикрываемые от сквозняка нашими ладонями. Ноги увязали в мелком песке, устилающем весь путь и словно удерживающем шаги непрошеных гостей. От всей этой обстановки слегка «уплывало» сознание, точно перед обмороком. Вдоль по стенам шли мемориальные плиты с краткими сведениями, в нескольких строчках вмещающих целую судьбу опочивших, как правило — долгую и волнующе-таинственную. Кое-где под плитами оставались узкие окошечки, за которыми, если к ним приставить свечу, в ледяном раскачивающемся полумраке, под истлевающими парчовыми плащаницами стояли ряды гробов, показавшиеся почему-то безмерно тяжёлыми от накопленной ими за десятилетия неподвижности… Вот оно, оказывается, каким бывает упокоение!..

Не без чувства трепета и неуютности живые в этих лабиринтах стараются держаться поближе друг к другу, не упуская из виду, куда повернул ближайший трепещущий огонёк грозящей потухнуть свечи…

Задержавшись у какой-то очередной плиты, мы неожиданно отстали с Горбовским от группы и как раз в этот момент погасли в залитых воском пальцах огарки свечек. Наступила в буквальном, физическом смысле полная темнота. Не спеша, без суеты, стараясь не выдать противное, подгоняющее тебя изнутри волнение, мы молча попробовали пройти в одну сторону, но уткнулись в тупик, прошли назад, попали в другой коридор, но и там не было видно просвета. Может быть, когда-нибудь и кто-то из монахов, живших в этих пещерах, испытал подобное нашему чувство. Неужели годы пребывания здесь ни разу не обострили до предела их нервы, не сломили ощущением замурованности заживо?.. Нет, мы не метались, мы шли, загребая песок, и думали, наверное, об одном и том же: что место живых с живыми, под солнцем, пусть на самой разнесчастной земле, но со всеми вместе, на миру!.. И о том, как, в сущности, неуютно нашей земной суете рядом с таким огромным, страшным вечным покоем!

Но странное дело, чем больше мы блуждали во тьме, тем больше у меня появлялось уверенности, что мы обязательно выберемся к свету. И свет появился. И в нём был знак, символ, который пусть каждый прочтёт по-своему. А я вспомнил (как часто вспоминаю про себя) любимое стихотворение Глеба Горбовского, с которым мы только что побывали в ином временно́м и духовном измерении…

Был обвал. Сломало ногу.
Завалило — ходу нет.
Надо было бить тревогу,

вылезать на белый свет!
А желания притихли…
Копошись, не копошись —
столько лет умчалось в вихре!
Остальное — разве жизнь?
И решил захлопнуть очи.
…Только вижу: муравей
разгребает щель, хлопочет,
хоть засыпан до бровей.
Пашет носом, точно плугом,
лезет в камень, как сверло!
Ах ты, думаю, зверюга…
И — за ним. И повезло.



Александр ГОРОДНИЦКИЙ, Санкт-Петербург

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Мне счастливая выпала карта,
Что спасала не раз в беде:
Я родился Двадцатого марта,
В равноденствия светлый день.
Я пришёл в этот мир суровый,
У распутья холодных рек,
На Васильевском, у Большого,
Где на улицах таял снег.
У эпохи крутых обочин,
Белой выстеленных пыльцой,
Я рождён на исходе ночи,
Между Рыбою и Овцой.
Под балтийскими облаками
Лето, спорящее с зимой.
Далеко ещё до блокады,
Год не близко Тридцать седьмой.
Мне мальчишеского азарта
И до смерти не превозмочь:
Я родился Двадцатого марта,
Когда день обгоняет ночь.
Пусть родительский скуден завтрак,
В узкой комнатке теснота.
День длиннее, чем ночь, назавтра, —
Это, видимо, неспроста!
Много лет, далеко отсюда,
В неуюте других квартир,
Вспоминать я нередко буду
Перевёрнутый этот мир,
Где горит в поднебесье чистом
День полуденной синевой,
В подоконник капель стучится,
Чайки кружатся над Невой.

***

И в снег, и в дождик, и зимой, и летом,
Поднявшись утром, или спать ложась,
Смотрю я на знакомые предметы,
Стоящие на книжных стеллажах.
Приглядываюсь к выцветшему снимку
Вдоль Ладоги блокадной колеи.
Вот фото с однокурсницей в обнимку —
Следы моей распавшейся семьи.
Листаю позабытые страницы
Из питерских студенческих времён:
Здесь компас мой из первых экспедиций
И института Горного погон.
Любил я почему-то безделушки,
Их из далёких привозил земель.
Вот баховский сидит чугунный Пушкин,
Вот «Крузенштерна» моего модель.
Припомнится, как, напрягая снасти,
Гудел норд-оста сумеречный вой.
Вот фотоснимок на СП-17,
Где я стою в кухлянке меховой.
Кораллы из тропических атоллов,
Куда попасть опять не суждено,
Тот аппарат подводный, на котором
Я погружался некогда на дно.
В кипящей бездне и метельном гуде,
Повсюду мне отчаянно везло.
Когда умру, придут чужие люди
И выкинут всё это барахло.
И снова солнце освещает полки,
И я смотрю, проснувшись поутру,
На жизни разноцветные осколки,
Которую я вновь не соберу.

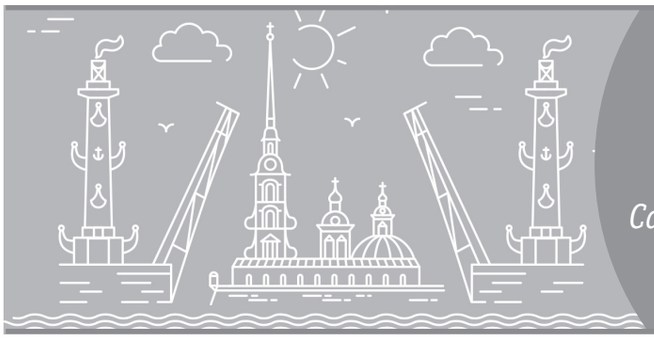
ПАМЯТИ ВАДИМА ШЕФНЕРА

Мы старые островитяне.
Вадим Шефнер

Над холодной невскою водой
Давняя мне вспомнилась беседа.
Невысокий, тихий и седой,
Он и вправду был похож на шведа.
За его сутулою спиной
Плыл наш остров в облике туманном
Рядом с Петроградской стороной
И соседним островом Буяном.
Возвращаясь к прошлым временам,
Оценить сумеют ли потомки,
Книги, им оставленные нам,
Этот голос питерский негромкий?
На пороге перемен лихих,
Возле заболоченного устья
Я его забытые стихи
Иногда припоминаю с грустью.
Мне они — лекарство от тоски.
Шли мы в жизни разными путями.
Не с того ли так они близки,
Что мы оба с ним островитяне?
И мерцает, близок и далёк
Остров наш, в закатной дымке тая,
Что от Стрелки биржевой пролёг
До песчаных мелей Голодая.

***

О натруженные сваи
Бьёт холодная волна.
Лёгкой жизни не бывает
Ни в какие времена.
Жизнь свою в конце дороги
Оглядев издалека,
Кто сказал бы вам в итоге,
Что была она легка?
Сколько жить бы ни осталось,
Неудачей обожжён,
Лёгкой участи под старость
Не ищи за рубежом.
Нас дорога столбовая
В край какой бы ни вела,
Лёгкой жизни не бывает —
Жизнь повсюду тяжела.
Над безлюдною протокой
Кружит в небе вороньё.
Только смерть бывает лёгкой,
Если это не враньё.



Наталья
ГРАНЦЕВА,
Санкт-Петербург



***

Из-под храма огромного, башен, химер,
Из-под бездн земляных и скалистых пещер,
Из оков преисподней своей ледяной
Вылетает невидимый всадник ночной.

Повелитель дорог, переправ и мостов,
Эмиссар европейских идей и кнутов,
Чужестранец в чугунном лавровом венке,
Он летит на закат в исполинском прыжке.

Над веками вздымаясь, как чёрный пластид,
Венценосным путём от востока летит,
Оседлав скакуна на гранитной волне,
Повернувшись спиной к покорённой стране.

Золотого столетья последний герой,
Он летит за всевластьем, забвеньем, игрой,
К невозможным деяниям, верным сердцам,
К превратившимся в прах дорогим праотцам.

Он летит над историей звёзд и планет,
И Нева, как вдова, исполняя обет,
Крестит лоб, и, обняв неживой парапет,
Никогда не глядит улетевшему вслед.

***

Кто-то в каменных палатах
Тонет в мыслях о бабле.
Кто-то в дырах и заплатах
Ищет счастье на земле.

Кто-то рад похлебке постной,
Кто-то клянчит пармезан.
Кто-то жаждет лечь компостом
В новомодный котлован.

Необъятная докука,
Многоглавая герань:
Это лебедь, рак и щука,
Конь и трепетная лань.

Это праздник сил ничтожных,
Гесиод, Гарвей, Кювье.
Перебор стратегий ложных,
Заблуждений оливье.

Случай — смутная улыбка,
Наслажденья пузыри.
Жизнь — янтарная ошибка
С муравьишкою внутри.

***

Проза жизни прекрасна, как рынок Сенной,
Но особенно утром воскресным, весной,
В толчее у торговых рядов смуглокожих,
Где бросает лукавых весов произвол
В социального равенства чудный котёл
Многошумные речи прохожих.

И о чём разговор? А о том разговор
Вавилонской наживы бетонный шатёр
Расфасует в пакеты умело.
Всё, что взглядом в живот неуёмный вместишь:
Молодую клубнику, янтарный киш-миш,
Россыпь дынь золотых, твёрдотелых.

Пробегай же, душа, по халяльным рядам,
Где бараниной нежной, как новый Адам,
Завлекает Лилиток дородных
Тёмноглазый Кавказ, не познавший вершин,
Где поодаль осётр, как серебряный джинн
Развалился меж рыб благородных.

Сколько пряностей, масел, солений, сластей!
Сколько лиц волооких, чужих новостей,
Прибауток улыбчиво-странных.
Сколько грузчиков юрких, тележек хмельных,
Коробов многоярусных, чанов стальных,
Колыханий творожно-сметанных!

Разбегайтесь, глаза, по торговой стране!
Открывайся, карман, кошелёк, портмоне!
Разлетайтесь на волю, деньжата!
Накрывает мозги дешевизны сачок,
И, алчбу насадив на прозрачный крючок,
Проплывает Меркурий пузатый.

Где солома? Где сено? — Весна на плаву!
Выплывает на тракт, как варяг на Москву,
Благодарности спелая вспышка.
Изобилие пиршеств, кастрюль казино,
Золотая брюшина, постыдное дно,
Объеденья земная кубышка.

***

Когда мы умрём, развенчают героев,
Умевших светить и во мраке столетья.
Алмазные оды в могилы зароют
И память удушат компьютерной сетью.

Когда мы умрём, документы истлеют,
Сотрутся свидетельства радиоплёнки
И вырубят пасмурной славы аллеи,
И щебнем засыплют бомбёжек воронки.

Рассеются нашего прошлого тучи,
Пролившие в души святые мгновенья.
И наших детей пораженьям научат
Учебники в ласковых школах забвенья.

***

Герои вчерашнего дня полиняли,
Их галстуки вышли навеки из моды.
Они не вписались в стальные скрижали
Истории, доблести, чуда, природы.

Они доживают с почётом в разлуке
И селфят себя по всему околотку.
Их тачки крутые и зависть обслуги
Повыдохлись, словно палёная водка.

Они улетели в кювет мирозданья
И лбы потирают в былье небывалом,
И нитками белыми шьют оправданья
Тому, что грозит неземным трибуналом.

В воронке забвенья влачат к непрощенью
Жевательных галстуков дантово бремя
Герои вчерашних соблазнов отмщенья,
Герои измен, перелгавшие Время.



Татьяна ГРАУЗ, Москва



ОГНИ

куда ты летишь Рембо́ или Ре́мбо [тёмное пиво в крови] голосом чёрным поёшь в свете ночи джаз осипшего лета луна отчуждённо раскачивается над твоей головой в горле звенит куст кровеносный и освещает всех белых и чёрных рыжих и русых с глазами как лодочки

узкие когда ты целуешь слово [щербатое] крик новорождённого несущего небо и волю и эту тёплую как молоко из упругих сосков оглашённую речь вкус её свежий особенно после заката когда мёртвые спят как живые и солнце [сторожевая собака] лакает лучи ускользающих слов

Рембó [или Рéмбо] снова уходит туда где огни и одни одиночки аэроплан пролетает над белым виском когда к женщинам приходит ненастье и тяжело внизу живота волосы сплетаются с воздухом русым с корнями живого и первородного света а муравьи убегают в чащу речи лесной и плещутся на другом берегу тяжёлые флаги деревьев кроны зелёные горят в груди и не гаснут ночные костры [мать отец брат сестра] кто-то картошку печёт хлеб посыпает солью крупной и твёрдой [холодом ясным] свяжи крепко свяжи небо землю слова звёзды мужчину доверие женщину [разрыта душа] и вспыхивают у самого рта огни [...] одни сторожевые собаки крылато срываются с языка

***

и не молчанием
теплом ответным пылает
ветром светлым голос
ответный голос смутных улиц
вощёных ветром крещёных светом
аптека оптика и перекрёсток
плывёшь по руслу переулка
г у л к о
бросаешь в снег как гильзу сигарету
и гаснет в небе жёлтым гаснет
«н а с н е т»
наст — снег — звезда

***

весна не весна
а свалка вещей
гробы потемневшего снега
вырытая кем-то траншея
и мы как блаженные фонари
присноблаженно сияем

***

в увеличительном свете весны
мы — только форма присутствия
[цвет] завитки забытого времени
мы воздух у самой земли воздух горячий

***

Маленький зверь
усаживается на краю ковра. День тёплый,
ковёр молчит. Свет под острым углом
над ухом зверька летит — поёт
голосом ворсистым о доме, о стариках,
о больных, о тоскующих всех родных, о тех,
кто курит в форточку, и о тех, кто ворочается
в золотистой листве воздуха и медленно
нарезает круги
по дорожкам осенним, по небу синему,
где кто-то, похожий на птицу, не спит —
летит.

НЕДОЛГОЕ

когда мы забудем
забудемся
и как наледь сорвёмся в пустой
оживающий к вечеру город
где балки балконы и даже бельё от мороза железно
и улицы густо синеют на теневой стороне
когда мы всё это забудем (забудемся) и озаримся покоем
может мы снова полюбим
лёгкое дыхание слов
и недолгую — ранящую — безысходную жизнь



Вера ГРИБНИКОВА,
Тверь

БРАТЬЯ СТАРШИЕ

Задыхающиеся деревья,
Узники кварталов городских,
Вам бы за околицу деревни,
Где и ночь тиха, и полдень тих.
Там прозрачны и целебны росы,
Ветку тронь — и подставляй ладонь.
Не визжат безумные колёса,
Не плывёт бензиновая вонь.
Люди обрекают вас на му́ки,
Заточив у городских дорог:
По весне обрубят ваши руки,
Летом уготовят едкий смог…
Вот какая адская опека —
На культяшках чёрная листва.
Мученики атомного века,
Братья по планете — дерева.
Мудрые заложники терпенья,
Вы стоите в чаде и пыли
Молчаливой армией спасенья
Безрассудных детушек земли.

ВСТРЕЧА

Преднамеренно ль, случайно ль,
Подарило лето вдруг
Неразгаданную тайну
Нежных губ и сильных рук.

Прикоснуться к тайне этой
Нам доверено двоим,
И хочу я быть одетой
Лишь в объятия твои.

В небесах, светясь лукаво,
Бродят звёздочки гурьбой.
Ох, и сладкую отраву
Мы отведали с тобой.
Не ищи противоядье,
Избавленья не проси,
И сквозь терний многорядье
Эту тайну пронеси.

За окном ласкает ивы
Ветер лёгким взмахом крыл.
Заалел рассвет стыдливо
И разлукой пригрозил.

На столе оплыли свечи.
Обрели печаль слова.
Ты вздыхаешь: «Время лечит…».
Я вздыхаю: «Чёрта с два…».

Зазвенела где-то пташка.
Тает утренний туман.
А на вешалке рубашка
Обнимает сарафан.

ПРИВКУС МЁДА

Вернуться бы опять в те дни,
В тот синий августовский вечер,
В тот шёпот страстный: «Обмани!
Но дай надежду мне на встречу!»

Мы оба ждали этих встреч,
На волю отдаваясь Божью.
И чувство чаяли сберечь
В лихом житейском бездорожье.

Сильнее старого вина
Оно сердца пьянило наши,
Но осушили мы до дна
Судьбой дарованную чашу.

И больше не пригубить мне
Тот мёд, что был безмерно сладок.
Как жаль, что прятался на дне
Полынной горечи осадок…

В предзимних серых небесах
Не сыщешь бликов летней сини,
Но привкус мёда на губах
Всё спорит с горечью полыни.



Лидия ГРИГОРЬЕВА,
Лондон, Великобритания

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Жизнь проведя в плену призвания,
не знала, что это такое:
стихи для зала ожидания
и для приёмного покоя.

Как жить в кручине укоризненной,
значенья слов не умаляя,
в ажиотажной и болезненной
толпе стихи не распыляя?

Чтоб жизнь, рекламой отмечаема
навязчивой и громогласной,
на люди вышла и нечаянно
в толпе увязла непролазной.

Иль чтоб, гордыней побуждаемо,
от глаз людских таилось слово,
пока почтенна и читаема
одна словесная полова.

Но так ли уж пусты мечтания,
чтобы поэзии страницы
листали в зале ожидания,
в автобусе или в больнице.

ПИСЬМО В КИТАЙ

Написала профессору Ланю
о Полтаве, о Гоголе и,
как стихами пространство тараню
на пределе беды и любви.

Я спросила в письме: в Поднебесной
где бродили Ду Фу и Ли Бо,
в жизни нынешней — косной и пресной —
быть поэтом и только — слабо?

По горам, по туманным лощинам,
бродят толпы искателей слов,
или всё-таки зрелым мужчинам
нужен более вещный улов?

Поманила ли почесть иль зависть
заморочила в зрелых летах,
или вечности млечная завязь
засквозила на чистых листах?

Как найти, поскребя по сусеке,
лёгкий росчерк на белых полях?
В двадцать первом расчётливом веке,
и в Китае, и в прочих краях,

кто стихами полночными бредит,
забредя в заколдованный круг?..
Вот и жду, что на это ответит
мой китайский начитанный друг.

***

Григория Сковороду
Читаю и не понимаю...
П. Кошель

Стихи былые перечту.
Без прихоти словам внимаю.
Но словно бы Сковороду
читаю и не понимаю!

Мне застит зренье бурелом,
камней немых нагроможденье.
Давно ль слова пошли на слом,
на поруганье, не прочтенье?..

Блуждают в дебрях словаря
одни лишь призраки да тени,
косноязычно говоря,
как Кантемир или Катенин.

Иной курьёз неразрешим,
в пылу былой словесной сечи.
Лишь Пушкин внятностью грешил,
и растворился в устной речи.

***

Т. Набатниковой

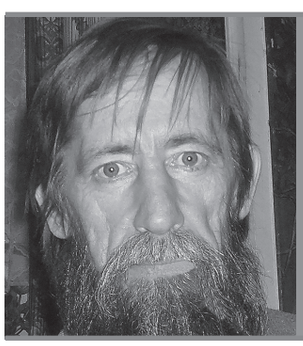
Я есть, меня ничто не уничтожит.
Лишь только смерть, быть может...
28.06.81 г. Москва

Неужели мы кончили жить
между словом и делом?
Сумасшедшая нежить бежит
по полям очумелым.

За потерянный рай в шалаше
нас призвали к ответу.
Неужели мы были уже?
Неужели нас нету?

Неужели беспутный наш путь
был расчислен заране?
Эй, откликнись в мирах кто-нибудь —
в поле брани!

И возник на последней меже,
золотой и неявный,
чей-то голос, озвучив в душе
весь канон покаянный.



Корней ГУДКОВ, с. Навагинское, Туапсе

***

В ладони — сила и упрямство,
Смотри внимательнее, как
Сминая жёсткое пространство,
Она сжимается в кулак.

Как будто выведав и зная
Как ненадёжна и слаба,
Как будто преодолевая
В какой-то миг саму себя.

И в этом есть порядок некий,
Похожесть знаковая в том —
Так образумывают реки,
Смыкая их надёжным льдом.

Чтоб успокоилось теченье
И устоялась глубина —
Ведь только в сосредоточенье
Душа становится видна!

***

Пусто и холодно. Руки в карманах.
И на перроне пустынно и зябко.
Но не уеду — в полуночных странах
Тоже не лучше и также несладко.

Так же искрит на ветру папироса,
И под свинцовым мерцающим светом
Я не задам никакого вопроса,
Чтобы опять не услышать ответа.

Но заслоняясь от сильного ветра,
Я обогрею дыханьем ладони.
Нужно дождаться любви и рассвета —
Пусть в одиночестве и на перроне…

***

Мне огонёк привиделся в тумане,
Но было всё так призрачно и зыбко,
Что я подумал, это лишь ошибка,
Одна из многих в нашем мирозданье.

А сколько было их и сколько будет,
О том нельзя догадываться даже,
И всё же нужно быть всегда на страже
Везде, где могут быть не только люди.



Евгений ДАНИЛОВ,
Москва

НАШ ПАРОВОЗ

Наш паровоз, вперёд лети…
. . . . . .
Летели мы, да стали.
Не то разобраны пути,
То ль спит товарищ Сталин?

Наш паровоз стучал тук-тук,
Был громче всех на свете.
Теперь молчит железный друг,
Лишь дождь звучит да ветер.

Куда ж пропал наш паровоз?
Не виден путь, завьюжен…
Свалился, может, под откос?
Стал никому не нужен?

Куда спокойнее спать в тепле,
Вкушая сны и грёзы —
Пока несутся по земле
Другие паровозы!

***

Здесь у каждого свой Апокалипсис,
Впору в пляс нам пускаться иль в крик.
Всё блудили, грешили, не каялись,
Блудный свой потешали язык.

Просто вечность резвиться планировали,
Вечным — думали — будет полет.
Только вот неудачно спланировали,
И в ущелье горит самолёт.

В ПОЛЯХ ПОДМОСКОВЬЯ

В полях Подмосковья немало земли,
Далёко разносятся звоны,
Здесь в русский суглинок в избытке легли
Ливонцы, литовцы, тевтоны!
Степные над Русью звенят ковыли,
Становится дух просветлённым…
А гости незваные — все — полегли,
Истлели в грязи их знамёна.

А в небе высоком летят журавли,
Не помнят они про убитых, —
Зарытых в глубинах российской земли
Османов, норманнов и бриттов.
Пространства Руси расстелились вдали,
Белеют в снегу как рубахи!
И разве забудешь — как шли к нам и шли —
И саксы, и галлы, и ляхи…

Все всласть погуляли по русской земле —
Хазары, татары, монголы,
Лишь трубы торчали в горячей золе
Да выли горящие сёла.
Захватчиков вновь соберётся толпа,
Проснутся бравурные ноты…
Но вскоре украсят шесты черепа
Полегшей в атаках пехоты.

Зачем к нам незваные гости пошли,
И рвутся как раньше — сегодня?
В полях Подмосковья немало земли,
Готова для всех — Преисподня…
Но бесы напрасно пускаются в пляс,
Не кончен ещё поединок!
Ах, столько желающих — здесь и сейчас
Собою удобрить суглинок!

В России немало свободной земли,
Далёко разносятся звоны,
Здесь в русскую землю в избытке легли
Ливонцы, литовцы, тевтоны!

2018



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

АНДРЕЮ ДЕМЕНТЬЕВУ — *90* ЛЕТ

Сергей МНАЦАКАНЯН

УЛЫБКА ПОЭТА

(Несколько штрихов к портрету Андрея ДЕМЕНТЬЕВА)

Мне помнится самое начало 70-х годов XX века. В частности и тем, что на работу в издательство «Молодая гвардия» пришёл работать относительно молодой поэт и комсомольский работник Андрей Дементьев. Он возглавил редакцию по работе с молодыми писателями. Тогда я с ним и познакомился. С тех пор мне запомнилась сияющая, доброжелательная улыбка Андрея. Он покорял людей с первого взгляда своей открытостью и внимательностью к собеседнику. Вскоре на этом посту его сменил поэт из города Иваново Генна-

дий Серебряков, тоже из ЦК комсомола, а Андрей Дмитриевич перешёл работать в журнал «Юность» заместителем главного редактора. Тогда его возглавлял Борис Полевой, но он уже готовился уходить из журнала. Возраст, болезни… Дементьев вскоре стал главным редактором и за несколько лет сумел поднять тираж журнала до трёх миллионов — с хвостиком! — экземпляров. Страсть к чтению в те советские годы была беспрецедентна.

Сам я печатался в «Юности» почти двадцать лет, с 1971 года, и при Полевом, и при Андрее Дементьеве.

В принципе мои стихи шли через отдел, но, бывая в редакции, я всегда заглядывал к «главному». Разговоры наши были короткими типа «Привет!» и «Как дела!», несколько беглых фраз.

Дементьев был очень подтянутый, спортивный, всегда в форме. И опять вас встречала сияющая улыбка.

Его друг по Твери, а потом по Москве Алексей Пьянов, который в те годы сам стал главным редактором знаменитого журнала «Крокодил», рассказывал мне, что Андрей Дмитриевич каждое утро делал зарядку — тысячу спортивных «движений».

— Он начал это ещё в школе…

Уже в наше время он «пробил» и открыл в родной Твери единственный в стране Дом поэтов. Об этом надо писать отдельно.

А между тем не всё было просто в жизни этого сияющего доброжелательностью красивого человека.

Ещё в восьмидесятые годы прошлого века врачи литфондовской поликлиники прозевали раннюю онкологию. Ему вскрыли грудную клетку и удалили опасную опухоль. Тяжёлое хирургическое вмешательство.

А тираж журнала «Юность» рос, и вместе с тиражом росли проблемы.

Мало кто знает или помнит о «революции» в журнале. Часть редакции в конце восьмидесятых пыталась голосованием «сбросить» Дементьева с «парохода современности». А когда это не получилось, вместе с Сашей Ткаченко недовольные ушли из редакции и основали свой журнал «НЮ» — «Новую юность». Хороший журнал получился. Жалко, что такой ценой.

Дементьев ещё некоторое время пробыл на посту главного редактора, но вскоре его самого выдавили из журнала. Это было несправедливо. Но в те годы горбачёвско-ельцинской перестройки подлости и несправедливости было столько, что ещё одна потаённая драма прошла почти незаметно. С этой минуты началось катастрофическое падение тиража журнала: из «трёхмиллионника» он упал до нескольких тысяч экземпляров, если верить выходным данным. По другим сведениям тираж журнала снизился чуть ли не до пятисот экземпляров.

Но сам Дементьев не упал, удержался на своей высоте в новой непредсказуемой жизни.

Тайна Дементьева была в том, что он не терял друзей, и его старые связи помогли ему подняться.

Несколько лет он проработал руководителем ближневосточного бюро государственного телевидения, вёл передачу «Виражи времени» на радио. Я удивлялся, как его на всё хватает, однажды сказал ему об этом, и он заулыбался в ответ.

Всё было не так плохо: песни на стихи Дементьева пели знаменитые артисты России, сам он вёл передачу на радио, его книги выходили фантастическими по новым временам тиражами. В каком-то смысле Андрей занял ранее неоткрытую поэтическую нишу. Она располагалась где-то между Евгением Евтушенко с его страстной публицистикой и Эдуардом Асадовым с его сентиментальной назидательностью. Не надо думать, что сравнение с Асадовым чем-то унизительно для поэта. Да, по части стихотворной техники Асадов не отличался большим умением, но зато он брал искренностью, душевностью. Отвлекаясь от героя моего воспоминания, подчеркну, что Асадов по запросам ныне несуществующего книготорга был самым тиражным и популярным поэтом СССР.

В девяностые и почти два десятилетия нового века книги Андрея Дмитриевича вышли общим тиражом не менее миллиона экземпляров. Песни на его стихи не устаревали и продолжали звучать на эстраде.

Он оказался одним из очень немногих, кто сумел (простите за модное словечко!) монетизировать свой талант, когда занятия поэтическим словом перестали быть делом и профессией и незаметно перетекли в разряд не самого уважаемого в общества хобби, что на самом деле к искусству поэзии не относится, а является беспощадной характеристикой нового российского общества.

Итак, он естественным для него образом занял абсолютно пустую поэтическую нишу — где-то между Евтушенко и Асадовым. Наверное, этого лирического сплава не хватало многим из тех, кто не отвык от чтения стихов.

И вот именно за это многие его не любили, презирали, завидовали и ненавидели. Это было нормой литературных отношений. Поэтические импотенты и графоманы не могли сдержать своих чувств по отношению к чужой удаче и к чужому таланту.

А ведь Андрей Дементьев был одним из самых по-хорошему отзывчивых людей в литературном сообществе.

Он дружил с Иосифом Кобзоном, с Зурабом Церетели, многими артистами, композиторами, исполнителями его песен. Сердце Андрея было наполнено теплотой к людям, отзывчивостью к ним.

Когда в начале 2004 года готовилась к изданию моя книга стихов и поэм «Зимняя философия» в тогда ещё замечательной серии «Золотой жираф», я позвонил Андрею Дмитриевичу:

— Андрей, — попросил я, — у меня выходит книга, но в ней не хватает твоего предисловия…

Дементьев засмеялся:

— Я напишу предисловие. Когда надо?

Вскоре он прислал мне две странички в мою книгу. Написал он это предисловие прекрасно: без перехвала, но с очень хорошим настроением. Я поныне благодарен Андрею Дмитриевичу за его давние слова.

Мы неоднократно встречались с ним и на его вечерах, и на встрече в магазине «Москва», где проводили презентацию очередного альманаха «День поэзии», и в «МК», где я работал в 90-х и в «ЛГ» нулевых и десятых годов, на Красной площади 2017 года, где он выступал в одном из павильонов Книжной ярмарки. В редакции «Литературной газеты» он частенько появлялся. У меня сохранились фотографии наших встреч. И сколько я его помню: подтянут, молодцеват, великолепно уложенная причёска, открытая солнечная улыбка. Редкий человек в этом сумрачном мире!

В своей родной Твери он основал Дом поэтов, и перед ним — скульптурную галерею своих друзей: Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной… Не забыл и самого себя, по праву вписал в этот знаменитый ряд.

Но ведь все помнили его стихи:

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за всё вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берёт он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы.

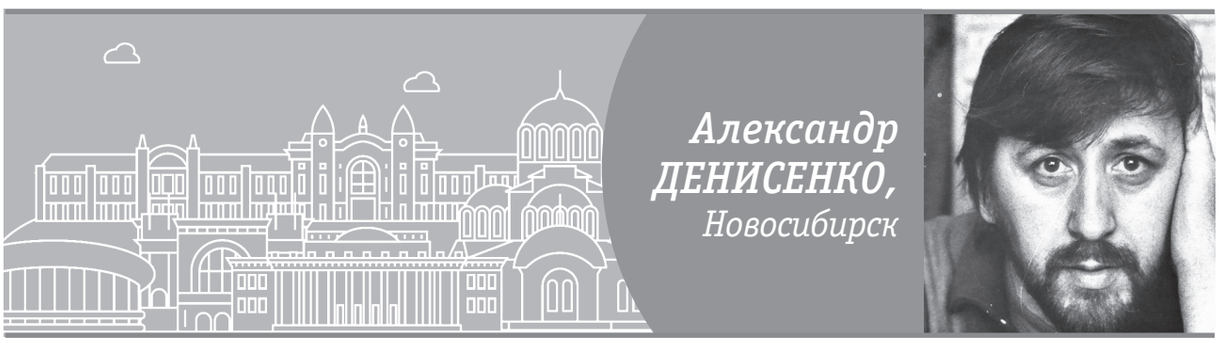
Наверное, это лучшее его стихотворение, написанное в давние времена — в 1977 году. В нём весь Андрей Дементьев — и назидание, и сочувствие, и улыбка, подаренная своему читателю…

Последний раз я встретился с Андреем Дмитриевичем в мае 2018 года на приёме в Болгарском посольстве. Он старался держаться, но было видно: что-то потухло в этом человеке. Улыбка стала беспомощной, а его великолепная причёска тоже как-то потускнела и поникла. А 26 июня он умер в больнице от тяжёлого ракового заболевания. Почти никто из тех, кто с ним общался, этого не знал. Андрей Дементьев никогда не жаловался.

Его хоронили 28 июня. 16 июля ему бы исполнилось 90 лет. Чуть-чуть не дотянул…

Телевизионщики с их обыкновением любую печаль превращать в праздник, снова ликовали: у них появился повод заполнить часть эфирного времени «сенсациями и разоблачениями». Но Андрей Дмитриевич повода для этого им не дал — он жил открыто и ничего не скрывал. Разве что кроме смерти сына…

Флейта поэта Дементьева ещё звучит в душах тех, кто знал и любил Андрея Дмитриевича.



Александр ДЕНИСЕНКО,
Новосибирск

***

Покрести на дорогу мне сердце и сокола выпусти,
Отцвели васильки у тебя на высоком лице.
В час вечерний у рощи прощальной прощенье нам выпроси,
Где стонал соловей и дрожали огни на ВЦ.

И за рощей за той, причиняя земле ожидание,
Осень красное платье снимает и дарит тебе.
Вот и будет теперь на лице у меня два страдания:
Как мне вас различать и кого мне любить в сентябре.

Серый гусь просвистит, словно свет собирает от сокола,
И сойдутся они над моей головой в небеси,
И перо упадёт мне под ноги с гусиного локона,
Чтобы я написал тебе мёртвое слово «прости».

Пусть уж лучше, как встарь, золочёным замком сердце заперто,
Пусть соловушка в роще осенней уронит ключи,
А зима подойдёт — упадёт в этом месте он замертво,
И сожмётся сердечко, как красный кусочек парчи.

Я посею цветы по высокому русскому снегу,
Чтоб играла метель в васильки, васильки, васильки,
Но ударил вернувшийся сокол под сердце с разбегу…
…Гусь летит в середине рыдающей русской строки.

***

Чей
чей
чей
это конь
это конь
этот конь
Оторва оторвался от железного кольца
И летит — грива льётся, как гармонь,
Молодого, убитого Германией отца.
Я рвану
этот ситец
этот ситец
от плеча —
На котором цветут русские цветы —
И пойдёт он по кругу сгоряча,
Как невест обходя, яблонь белые кусты.

Вот уж бабы завыли
завыли
уж сердцу невмочь,
Пляшет с бабами конь вороной вороной —
Всё быстрей и быстрей — уж ничем нельзя
помочь,
Как тогда, перед самою войной.

Плачь, гармонь,
да плачь, хорошая,
во все цветы
навзрыд —
В саду Сталина осыпался на гриву весь ранет.
Сам товарищ Сталин на учёт сейчас закрыт,
А откроют, когда будет мясоед.

Всё пройдет…
солдатка
слёзы
чёрной гривой
оботрёт

И прибьёт к столбу своё железное венчальное кольцо
Чтобы конь, хрипя, не рвался из распахнутых ворот

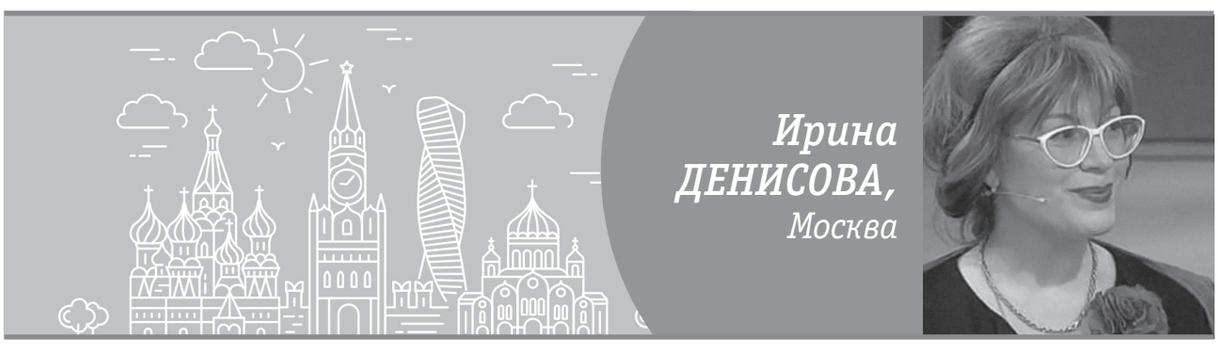
По дорожке,
занесённой
лепестками
за отцом

***

Красный, как май, жеребец —
Надо ж такому присниться:
Будто бы мать и отец
Едут в деревню Провинция.

Чёрный, как ночь, жеребец
Должен вот-вот появиться.
Ждут меня мать и отец
В тихой деревне Провинция.

Белый, как снег, жеребец,
Дай мне ещё помолиться:
Живы и мать, и отец
В светлой деревне Провинция…



Ирина ДЕНИСОВА,
Москва

***

Сколько мне осталось этих зим?..
Сколько мне осталось дней морозных?..
Путь снежинок неисповедим —
На щеках оставят след свой слёзный.

Сколько остаётся мне ночей,
Что не сплю я, строки сочиняя?
И считает звёзды казначей,
Годы и события листая.

Напевает блюзы ветродуй.
И они звучат во всей Вселенной.
Сколько над летами ни колдуй,
Было, есть и будет тело — тленно.

Но зато потом, когда-нибудь,
Сквозь недели, месяцы, столетья
Человек другой продолжит путь,
Отправляя в вечность междометья…

***

Молочный свет безмолвных фонарей
На снег упал, как будто белый саван.
И череда ночей и ясных дней
Напомнила опять о самом главном.

О том, что жизнь конечна. Ну и что ж?..
О том, что радостна, порой — печальна.
Как сердце памятью не растревожь,
Всем предстоит маршрут не самый дальний.

И на извилистой дороге той
Так важно не утратить дух и душу.
И поклониться Троице Святой,
Кто б ни пытался благодать нарушить.

Знать, помнить и любить. За той чертой
Нас встретят те, в которых сомневались.
Но милый друг, ты погоди, постой!..
Ещё дела насущные остались.

Быть благодарным и дарить добро.
Утешить тех, кто залился слезами.
Раздать и золото, и серебро —
Готовиться ко встрече с Небесами.

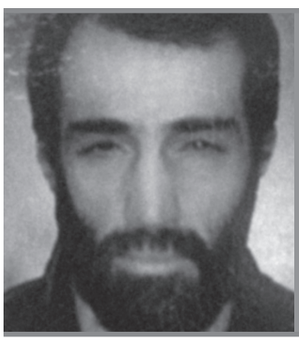
***

Дни идут. И стискивают стрелки
Те часы, что Богом мне даны.
То, что было крупным, — стало мелким.
Что ничтожно — словно знак судьбы.

Сутки прочь. Мелькают светотени,
Становясь всё мельче и бледней.
Будто их какой-то скорбный гений
Поднял с затонувших кораблей.

Маятник всё медленнее ходит,
Замыкая жизни полный круг.
И меня печальней, тише водит
Кукловод, не покладая рук.

И дышать становится труднее,
И летать уже невмоготу!..
Но зато — я становлюсь мудрее,
Удалив из будней суету.



Карен ДЖАНГИРОВ, Монреаль, Канада

***

Я вышел из дома,
потом обернулся,
увидел потухшие
окна и стало
немножечко грустно,
немножечко больно —
ведь кто-то остался
там

***

Я знаю — на пальцах
женщин живут
совершенно чудесные
бабочки, но
никто их поймать
не может

***

Боюсь тишины,
в которой земли
существенно больше
неба

***

Положив на ладонь
время, увидел
чайку с разбитыми
крыльями

***

Хотел бы я знать,
сколько меня
в это счастливой
пылинке

***

Глубина человека
исчисляется окнами,
в которые он
смотрел и тихонько
плакал

***

А ведь это луна
наполняет мой дом
печалью далёких
стран

***

Я давно бы ушёл,
если б знал, на кого
оставить себя
в этом мире

***

И вот я добрался до самого края любимой,
и вдруг оказалось, что край —
это сердце моё

***

Пройдя весь мир,
я понял, даль —
всего лишь тень
пространства



Сергей ДМИТРИЕВ, Москва

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Давай с тобою улетим,
Куда укажет ветер странствий,
Пусть это будут гордый Рим,
Париж в рождественском убранстве,
Рождающийся вновь Берлин
Или любой далёкий остров,
Где в море встретит нас дельфин
Приветливый и длиннохвостый.

А может, просто сосчитать
Жемчужины Кольца Златого
И ощутить былую стать
Санкт-Петербурга или Пскова?..

Давай всё бросим и сбежим,
Хоть на два дня, куда угодно,
И нам откроется двоим,
Что жизнь совсем не безысходна.

НА РОЖДЕСТВО

Ковыль в снегу, ковыль усталый
Заснул в объятьях холодов
И ждать ему ещё немало
Весенних радужных ветров.

Ещё вселенские морозы
Достойно встретят Рождество,
Ещё капели звонкой слёзы
Своё подарят волшебство,

Ещё снегов поля растают
И унесутся в небеса…
Ковыль уже предвосхищает
Весны грядущей чудеса.



Сергей ДОНБАЙ, Кемерово

***

Долгие, тихие радости
Воцерковленной старости.

Снова мы, словно дети,
Не догадываемся о смерти.

***

Вот и зимняя тоска
Не за горами,
И снежинка проросла
В оконной раме.

Иордань во льду реки
Крестом дымится —
Вырубили мужики
Дверь из темницы.

РУССКАЯ ДОРОГА

Дело было в бурю
И мужик с лошадкой
Потеряли сбрую,
Ум, телегу с шапкой.

А потом, а после
В лавке притрактовой
Он коньки отбросил,
А она — подковы.

Кости, холм могильный ли —
Не нашла хозяйка.
Канули, как сгинули,
Лишь в народе байка.

Русская дорога,
То мороз, то жарко.
Мужиков-то много…
А лошадку жалко.



Валерий
ДУДАРЕВ,
Москва

Смотрю на снег — и взгляд не оторвать!
На что ещё так можно засмотреться?!
Так начинаешь бренность понимать
Всего…
Сильнее грусть.
Сильнее бьётся сердце.
Грусть оттого, что время так бежит,
Что ни один пейзаж не сохранился.
Как изменился мир!
Как изменился быт!
Как изменились мы!..
Как снег не изменился!
Быт стал чужим,
мир стал ещё грустней,
Душой мы стали одиноки,
А за окном всё тот же добрый снег.
Глубокий снег —
предвестник дум глубоких!
Представлю:
степь,
позёмка,
бег саней.
На тройках прошлого выскакивают тени!
Но кто же там желанней? Что ясней?
Всё тот же снег.
И Пушкин!
И Есенин!
Наш снег идёт! Он вырвется из тьмы
Веков.
И правнук мой на лыжах пробежится!
Мы всё сметём! Всё раздербаним мы!
Но снег пойдёт, и что-то сохранится.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Моей Марианне Андреевне

И вот понеслось, полетело!
И видит поэт наяву,
Как его — Есенина — тело
Для прощанья везут
в Москву.

Ему ль — с потерями
да утратами —
Не знать — сам задирист
и лих —
Убитый дегенератами
Как он важен для них.

Как в своём кабинете
Среди гвоздик, хризантем
Приплясывает на паркете
Царь всея Руси
Лейба Бронштейн.

Как мудрёную отсебятину,
Крестясь на собачий лай, —
Поэтическую дохлятину
Смиренный мычит
Миколай.

А я жил в России, где все
в порядке,
Где негодяи всегда ловки,
Где лишь изредка резче
свои трёхрядки
Растягивают мужики.

Не ругайтесь! Такое дело:
И видит — видит поэт наяву,
Как его — Есенина — тело
Для прощанья везут
в Москву!

Потрепала житуха изрядно.
И странны
Снеги — не как всегда.
Получается: лишь
две Анны
Остаются с ним на века.

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ

Любимому сыну Валериану

Моим стихам, написанным гортанно,
Как цокот птичий, засвист трелевой,
Не достаёт ракетниц и фонтана
И новгородской свары вечевой.

Филолог-Бог, кудесница Марина,
Когда птенец проклюнется вот-вот,
Моим стихам не то что магазина —
Листа бумаги даже не найдёт.

В них птица вещая — привычная ку-ку,
Как дата смерти на чужом веку.
Поэт не Жуковский и царь не лесной,
Чьи дочери-ветлы — чужой стороной.

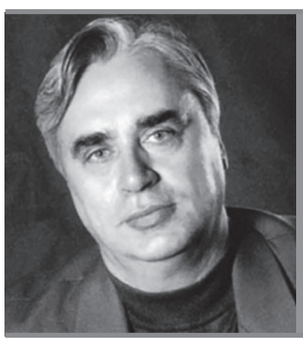
Мой царь Лесной, а вдруг… и Вы нам
Земных забот?
Моим стихам, моим грехам и винам
Найдётся свой народ.

КОНЁК-ГОРБУНОК

О чудо — на конька садиться,
Кита на удочку поймать!
Для снов годилась мне Жар-птица,
А для стихов — тетрадь.

Но горбунок умчался в дали,
Когда взашей
Меня из юности погнали
Бессмертный лысенький Кощей
И та, что род в литературе
Не различает нифига,
Зато о модах балагурит —
Старушка вечная Яга.

По-современному отжали,
Ведь ихней мудрости — века!
Какие выдержат скрижали
Весь путь Ивана-дурака?!



Борис ЕВСЕЕВ,
Москва



ПОКОЛЕНИЕ

Гражданские войны стихают на время дождей.
Сожжённые воды текут желобками штыков.
Во всех углубленьях, бороздках и впадинах шей,
Связуясь легко.

По счёту, по времени — нам остаются нули.
На досках, спидометрах стрелки предсмертно дрожат.
Не видим сквозь них мы ни сути, ни лисьей земли.
Но слышим сквозь жар —

Скостившие время разливы безмолвий в стволе
И посвист заправленной в трубки змеиной слюны,
И гул разрастания сильных и слабых долей —
В сурдинах войны.

Осенние войны стихают, незримые воды нежны.
Но в зеркале вод мы себя не узнаем в упор.
Мы — пламя печали, мы дымом исчезнуть должны,
Сквозь цепкий прицел и обзор.

***

Ты меня заставишь открыть тетрадь,
Жильною струной над листом бренчать,
Ты меня заставишь завиться в прядь
И, чумея, сжечься на трёх свечах.

Ты меня заставишь… Но веселей
Было бы дудеть нам в одну дуду,
Кутаясь, как в морок сухих полей,
В тускло-золотую небес наготу.

Спрячемся? Ведь истинности нет на письме!
И напрасно было бы в нём сути искать.
Это нас подталкивает бес по весне
Рифмами друг друга в черёд окликать.

Но опять, но снова: я выну тетрадь,
Разложу в ней тело твоё на лист,
Всё страшась по сутолоке вен разобрать,
Что зашифровал в тебе небесный хронист?

А когда тебя, поднимая с листа,
Стану я на вмятинки бумаги смотреть,
Обоймёт нас разом та полнота,
Пред которой выдумки и жизнь, и смерть.

РОМАНС НАВЫВОРОТ

Не бери гитару в руки.
Дай душе на миг воспрянуть.
Дай лизнуть ей чёрный пряник
Немоты, нужды и скуки.

Дай хотя б ещё мгновенье
Полетать без сочетаний
Горестных узлов на венах
И аккордов внятно-тайных.

Пустота, пустоты, скосы,
Золотые пустотинки,
Слаще слов и словно осень
С лопнувшей на веках льдинкой.

Словно осень, словно озимь,
Словно то, что неподвластно
Ни поэзии, ни прозе
И чего искать напрасно.

Не бери ж гитару в руки!
Если что и скажешь — смысла
Всё равно не обнаружишь,
Всё равно себя погубишь
Чем-нибудь, хоть строчкой вислой.

Лучше дай опять воспрянуть
Немоте твоей певучей:
Тёмно-лёгкой, мягко-пьяной,
Чёрной, бархатной, сухмяной,
Пре-ходящей, не-минучей…



Ольга ЕРМОЛАЕВА, Москва

***

В тех временах, где я бегу
по виадуку сквозь пургу
и в зверский хлад не чувствую колени,
как было весело лепить,
и на фанерках выносить
морозиться семейные пельмени…

…От жизни всей — щепоть, пустяк, —
так мимо станций товарняк
прогрохотал, — и что осталось ныне?
с мужскою рифмой строгий ямб,
да с женской рифмой лёгкий ямб,
Гаспарова, Зализняка рабыне,

да этот, хоть уныл, а мил, —
кого он только не любил! —
но мимо всех, рассеян, смотрит в стену!..
…Цыган Забар свой сизый рот
скривит, — на кухне запоёт, —
и Солнечную с мест сорвёт систему!

2 января 2018

***

…она наконец представилась: «Натали!» —
наверное, врёт: как хочешь, так понимай…
он — прочь пиджачишко свой серо-голу́бый (да, в нём замели!), —
морской пехотинец, Сайгон за ним, Индокитай.

…мгновенно уносят сюрприз, мой вселенский приз! —
учитель устало подымет лицо: «— Ну-ка, выйди вон!» —
сидишь на уроке, думаешь: «Учпедгиз»,
не знаешь, какой красавчик Ален Делон.

5 декабря 2018

***

памяти стадиона «Динамо»

вечно тащусь куда-то: шкандыб, шкандыб…
только и счастья — душистый мороз, зима!
всё шутки юмора, всюду блатной пошиб.
девушек нежных зачем-то зовут «Кузьма».

вот и прикинь, кто мил: Франкенштейна монстр?!
шут ли гороховый?! этот ли, что гугняв?!
муть, болтовня и вздор, забродивший морс…
Господи, всяк виновен, никто не прав.

…жизнь порешив за слово, за ерунду —
о, не кичись, тем боле — не докучай!
ну, аккуратнее, не наверись на льду,
и стадиону «Динамо» скажи: «Прощай!»

14 февраля 2012

***

Любезное дитя, прекрасное стекло.
Письмо о пользе стекла. М. В. Ломоносов, 1752 г.

если куда и скрыться — в дыру, в Жиганск.
там сухогруз зимует, в окне — картон.
пороховая наколка бича: «Хинганск»,
из обувной коробки торчит батон.

всей-то и роскоши — щёголи карандаши,
имя им «кохинор», аромат их — кедр…
да алконавт, молодой Станислав Любшин:
с репсовой лентою шляпы нечистый фетр.

да, холодать-зимовать, ночи там глухи:
сопки, тундра, свобода… враз отсекла!
для дисциплины ещё вспоминать стихи —
ну, например, «Письмо о пользе стекла».

злым да беспамятным детям немолодым
всё ты простишь… ничья в Москве не раба.
…там расточатся, как от пожаров дым,
ухари-теоретики, позорная их гульба.

11 мая 2012

***

Так жалко церквей, церквей,
тайных моих опор,
вечно, подняв лицо,
молила: «Благослови…».

Кошка моя чуть свет
носила мне на крыльцо
ящерок в острых зубах —
в её головёнке мысль
мерцала: меня кормить!

Когда она умерла,
сниться мне принялась
женщиной молодой:

в сумрачных анфиладах,
набросанных так небрежно,
будто серебряным мелом, —
бегала с лёгким смешком,
не приближаясь ко мне…

…Старенький горный спасатель
к праздникам вечно слал
открыточки из Терскола:
сидел без ног у окна,
смотрел в бинокль на Эльбрус!..

…Знаю, в какой футляр
прячут любимые мной
лёгкие голоса…

…За что, за который грех,
изъеденные кислотой,
мне — не жене, не подруге! —
поэты кричат в лицо:
— Меня! Никто! Не читает! —
…убила бы! но люблю.

…Невыносимая ты!
что ж так (горька!) сладка?
пудовые слёзы мои
ночные на Третьем кольце…

…Вдохни и ещё вдохни:
вот уж прикрутят фитиль…
галоша в тёмном лесу
полна зеркальной воды.

Сентябрь 2016



Иван ЕРПЫЛЁВ, Оренбург

ПОИСКИ

В тишине ночей, в суматохе дня,
Под присмотром больных светил
Ты ищешь похожего на меня,
Но тебе его не найти.

А на всех столбах — фоторобот мой.
Королевство кривых зеркал
Для тебя обернулось пыткой, тюрьмой,
Только я тебя не искал.

Если в раковине шумит прибой,
На губах — солёная взвесь.
Так и я — всегда рядом с тобой,
У тебя за спиной — здесь.

И пока ты вглядывалась в глаза,
Губы, бороды тех — чужих,
Я жалел о том, что себя наказал
Тем, что ты от меня бежишь,

Что нелёгкое дело — меня искать:
Я давно у тебя в плену,
Что ещё не сделана та кровать,
На которой с тобой усну.

Все другие — всего лишь сладкая ложь,
Потому ты опять одна.
Когда ты меня наконец найдёшь,
В этом будет твоя вина.

НОЧЬ

Этой ночью воздвигают древо,
Украшают двери остролистом.
Будь моею первой королевой,
Самой непорочной, самой чистой.

Мы пока не знаем о рассвете.
Собери волшебные коренья,
Разожги костёр, мы в пляске встретим
Этот горький день невоскресенья.

Нет у нас ни колеса, ни Книги,
Идолы покрылись серой пылью.
Точно первобытные вериги,
Шкуры твои бёдра облепили.

В эту ночь в пещере будет жарко,
Тени успокоятся к рассвету,
А наутро неземным подарком
К нам заглянет шалая комета,

И тогда — пьянящая, нагая,
Ты шагнёшь истории навстречу.
Только мало нам земного рая,
Мы на звёзды смотрим каждый вечер.

ПИСЬМО

Не сойдутся пути.
Никогда.
Мы едва ли знакомы.
Белый голубь летит
В глубину нескончаемых комнат.
Белый голубь пронзит
Тишину цифровым опереньем.
Электронный транзит:
«Вам на почту пришло сообщенье…»
Неразгаданных слов,
Ненаписанных букв океаны.
Тёплый запах духов
Вдруг повеет от чаши экрана.
Рукописную вязь
Разгляжу сквозь кристаллы айпада.
Ты в любви поклялась,
Но любви тебе вовсе не надо.
Так зачем голубей
Выпускать из компьютерной клетки.
Не вернутся к тебе,
Ведь добро возвращается редко.
Всё горят корабли.
Пахнет нежностью сахарной ваты.
Я письмо удалил.
Шелестят на ветру килобайты.



Елена ЖАМБАЛОВА,
Улан-Удэ

***

Сегодня утром вышла за дровами,
обвела с крыльца округу глазами,
показалось,
что домов стало меньше в Эрхирике.
Может ураган или инопланетяне.
Взяла охапку полешек,
Сварим себе пельмешек.
Надо топить печь и весной.
Нас же ещё не унесло.

***

обратно поеду поездом —
шагаю, под нос бубня.
обратно поеду поездом,
и пусть, что четыре дня.
и дело не в экономии,
хоть это огромный плюс —
цыгания и бездомия,
и хочется, и боюсь.
обратно поеду поездом.
мне кажется, так честней.
я в поезде встречусь с совестью
и даже полажу с ней,
хмельная, татуированная
обнимет меня страна,
и я прислоню к ней голову,
и не оттолкнёт она.

***

отец возвращается с калыма
летит апрельским голосом над Чулымом
Ленкаааа
и деньги, вернее, их остатки
на, отдашь мамке
а ты куда
да я щас
куда ты
да я щас
только верну топор
и стоишь, и смотришь ему в спину
до сих пор

***

лучше б ты там осталась,
в тёплом барачном детстве.
суп из пакета, гречка,
выданная собесом.
помнится, вышивала,
было красиво, честно —
алое на небесном,
алое на небесном.
верно, что света много.
вот и пока ты плачешь
сын твой мизинцем трогает
маленький одуванчик.

разве ты их не любишь?
разве тебе здесь плохо?
алое на небесном
сердце твоё, дурёха.

***

И мама, и муж вдруг
Выпустили меня из рук
Поверили и разрешили мне,
Перестали глядеть шиншиллами
Сверлить углями
Значение пошло нулями
Линии стали размыты
Зажмите меня сожмите
В кулак снова
Я не готова
Без вас ничего уметь
Свобода смерть.

***

Замирает молоко, вынесенное на мороз в кастрюле.
В сенях темно, ты лежишь среди калош и тюлей.
Дышишь на стену, на ней растут белые иголки.
Не всё, что белое, молоко. А в доме волки,
Лисы, просят карамелек кислых,
Цвень-цвень о зубы, цок-цок.
Разговаривают с отцом.
Прибаутки сиплые. Я же — ныть.
Бежать, прятаться. От ряжены-ых!

***

Наверное, мне придётся идти за спичками.
От плиты керамической никак не загорится бумага
Снег хрум-хрум, руки чирк-чирк рукавичками,
Скрипит яблочная мякоть и влага
На всём, на всём. Потом прибежит собака,
Я ей брошу мои непропечённые боовы.
Сагалганаар, дорогая. Из нашего аймака
Ты для меня самый дорогой гость. Забегай снова.

***

Говори с безумцами,
Мёртвые говорят тебе через них.
Мёртвый плохого не посоветует.
Слушай юродивых, бросай копеечку.
Там космос — там Бог — там жернова пахоты.

***

Дрова прогорели, заслонку задвинь.
Вот так же в тебе сберегает «аминь»
Тепло прогоревшего слова.
И лес поднимается снова.



СТЕПНАЯ ПЫЛЬ

Что кому суждено — знают лишь Бог да судьба.
Родину для себя мы, рождаясь, не выбираем.
Но, наверное, если б могла, я выбрала бы тебя,
Пыль моя, пыль степная.
Пусть ты въелась в кожу мою, пусть на зубах скрипишь,
пусть ты бьёшься в мои глаза и их застилаешь туманом —
но я так полюбила ветер в жаркой, рыжей степи,
в выжженной солнцем степи под Казахстаном.
Он колышет высокие травы, он волосы треплет мои,

этот ветер, пропитанный тёплой пылью…
Поднимается из-за трав своим светом степь напоить
солнце — алая кобылица на больших огненных крыльях.
Кто передаст это утро — этот нежный, розовый свет?
Кто передаст эти ночи — эти звёздные вихри над степью?
За день я полюбила её сильней, чем за тысячу лет,
я с ней радостью связана сильней, чем тяжёлой цепью.
Может быть, эта пыль когда-нибудь осядет в лёгких моих
и убьёт меня, воздух больше в грудь ко мне не пуская.
Но пока, сколько хватит сил, я вдыхаю ветер полей золотых,
тобою пропитанный, пыль моя, пыль степная!

ОМЕГА

Когда-нибудь мы распадёмся
на землю, воду и душу.
И каждого ждёт своё:
цветок, слеза или Бог.
Когда-нибудь, но не скоро —
а нынче и думать не нужно.
Так все, кто умеют дышать,
пропускают последний свой вздох.
И эта твоя девчонка,
что будто отлита из стали,
что так бесстыдно красива,
мучительно молода,
да, эта твоя подруга
с гибкой и тонкой талией, —
она, как и все другие:
душа, земля и вода.
И сам ты — мне больно, правда,
мне больно думать об этом! —
да что о тебе, ведь мы же
едины были с тобой, —
и сам ты не послан свыше,
и нет в тебе вовсе света.
Но нет его и во мне.
Мы — глина. Земля с водой.
Давай прекратим бояться —
стихии не знают страха.
Пока мы не растворились,
дай руку, пойдём со мной.
Сквозь нас прорастёт шиповник.
Мы будем больше, чем прахом —
мы будем с тобой единой
душой, землёй и волной.

ТРЕВОГА

Нет, никто не стрелял и не объявлял войны,
и земля не разверзлась, и море не стало льдом,
не коснулось затмение солнца или луны,
и никто не бьёт, не кричит, не ломится в дом…
Всё вокруг — как всегда: лёгок ветер в обрывках туч,
города невредимы и спят, ясен звёздный свет.
Ни за кем не следит смертоносный зелёный луч,
нет ни чёрной дыры, ни враждебных больших планет.
Так зачем исступлённо вцепилась я в твой рукав,
почему прижимаюсь так крепко к твоей груди?
Что за дикая, что за неистовая тоска
вынуждает шептать беспрерывно «Не уходи!»?..
Я ведь верю тебе, ты всегда был честен и прям.
Ты всегда возвращался, ты снова придёшь ко мне.
Так зачем повторяю то, что ты знаешь сам?
Ни в земле, ни на ней — без тебя мне покоя нет.



Николай ЗАИКИН,
Москва

ДЕКАБРЬ

Я не хотел, чтоб очень грустно.
Точней — печально самым близким…
Но листья подбирает осень
Всегда к началу декабря.

А тот, последний, одинокий,
Что трепыхается, трепещет, —
Он тоже не позднее срока
На землю хладную падёт.

СУДЬБА

Била жизнь по голове,
А потом — с носка по рёбрам.
Но остался человек
Несгибаемым и добрым.

Не избранник, не герой.
Просто быть другим не может.
Так случается порой…
И Господь ему поможет.

БИОГРАФИЯ

Лишнего ведь не просила,
Зря не тратила слова:
«Лишь бы ноженьки носили,
Не кружилась голова».

И уже — к концу дорога,
В дымке белой — перевал.
Об одном молила Бога —
Чтобы «вовремя прибрал».

Ко всему была готова,
Свято верила Ему…
А я плачу, плачу снова,
Сам не знаю почему.

29 апреля

ЦЕНА

У прошлого запах укропный…
С. Кекова

У прошлого запах укропный,
Крыжовниковый и травяной,
Небесный, цветочно-подробный,
Невыветриваемый, родной.

Но у каждого экспоната
Непредсказуемая цена.
… Покупать ничего не надо,
Воображаемая она.

РАЙЦЕНТР

Какая жизнь была в окрестностях вокзала,
Под крышею его со стареньким навесом —
Верёвочки вила, узлы на них вязала,
Развязывала их с не меньшим интересом!
Нет поезда туда. Лет пять как отменили…
Не хочет грустной быть очередная строчка.
Забылось почти всё, за что себя винили,
И в тех хитросплетеньях —
нигде ни узелочка.

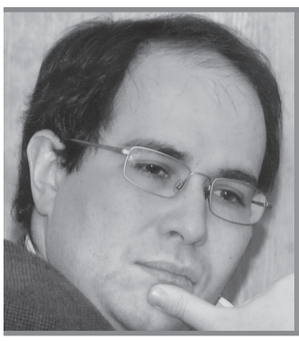
ИЗЛУЧЕНИЕ

Такой слепящий, тёплый свет
идёт из прошлого,
Что не смотреть туда нельзя
из настоящего.

ПЕЙЗАЖ

Покажется, что помню до травинки
Заулок и лужайку у ворот,
Изгибы убегающей тропинки,
Большой дороги ближний поворот.

Вот как судьба легко распорядилась —
Родное возвращает всякий раз…
А мнилось, что пропала, заблудилась
Да и забыла, бедная, про нас.



Максим ЗАМШЕВ, Москва

***

Вот постамент, вот тумба,
Что-нибудь с них возьми…
Жизнь, как пустая клумба,
Вытоптанная людьми.
Тянется день вчерашний
К нам из последних сил.
Мне ничего не страшно,
Я ведь тебя любил.
Пальцы теряют цепкость,
В воздухе — дух белья.
Если что было ценным,
Это любовь твоя.
Режешь так звонко дыни,
Что ничего не жаль.
Смерть исчезает дымом,
Лёгкая, как вуаль.
Может, и жили б складно,
Но впереди — мечта.
Прошлого нет, и ладно —
Клумба стоит пуста.

***

Из казарм доносилась побудка,
У троллейбуса вымерзло дно.
Очень холодно было и жутко,
Безнадёжно раскрылось окно,
Понимая, что некому мёрзнуть,
Что мороз не сильнее огня,
Что небесную азбуку Морзе
Расшифруют теперь без меня.
Очумелые тёти и дяди
Затевали рискованный флирт.
Пировали в подвале бродяги,
Разливая кладбищенский спирт.
Ничего от слезы не промокло,
Но морщин перепуталась вязь.
Лишь собаки дышали на стёкла,
На свои отраженья дивясь.
Я пропал в этом дне, растворился,
Даже пятнышка нет на стене.
Не хотел я, чтоб он повторился,
А теперь он смеётся во мне.
Не изжить молодые потуги,
И болезненный трепет земли.
Постарели друзья и подруги,
Псы подохли, солдаты ушли,
За границу подались соседи,
Что горело — сгорело дотла.
Ты сказала, что утром приедешь,
Я всё думаю, вдруг соврала?

***

На Литейном голуби подобрели,
К воробьям немножечко подостыли.
А в цирюльнях морщатся брадобреи,
Так чужие волосы им постыли.
Жизнь моя всё крутится как монетка,
Не всегда здесь ровные мостовые,
Дунешь и покатится прямо в Невский,
А на Невском дяденьки ходят злые.
Как пластинка молодость заедает,
Слишком тонким выдалось то свеченье,
Водку кислой горечью заедает
Друг мой, не поверивший в воскресенье.
На Литейном голуби те ли, те ли?
Что с руки кормила ты так беспечно.
Улетели, милые, улетели,
Счастье, как поэзия, быстротечно.
Дедушки и бабушки на скамеечках
Ждут, чтоб наше прошлое им вернули.
Безнадёжность спуталась
с бесконечностью…
На Литейном голуби… гули-гули..

***

Трудно погружаясь в пустоту,
стань непогрешимым для искусства,
будет кофе в аэропорту
в этот раз особенно невкусным.

Будет плакать шёлковый поэт
в сетевом прогорклом антураже,
оттого, что в жизни больше нет
ничего, о чём в стихах он скажет.

На табло чужие города
светятся до бесконечной боли,
самолётов долгие стада
некому пасти на лётном поле,

Грустно им, ведь мир смертельно мал,
и не разорвать его оковы.
Женский взгляд споткнулся и упал,
так и не добравшись до мужского.

***

Снилось мне всё, что нельзя,
Всё, что не стало лекарством:
Ранняя юность, друзья,
Жизнь без тоски и лукавства.

Снился мне город в скале,
Дом с бесконечным балконом,
Снились на мёрзлом стекле
Дивные буквы с наклоном.

Сесть бы опять в тот трамвай,
В те многократные зимы.
Ветер! Знамёна срывай!
Прошлое невыносимо.

Невыносимо вставать,
Сна вспоминая детали,
Родина! Родина-мать!
Где твои дети пропали?

И почему красота
Ни от чего не спасает?
И отчего пустота
Чёртовы локти кусает?

Трудно признаться во мгле,
Что прокатился впустую,
что на трамвайном стекле
Стёрла судьба запятую.

Небо шуршит, как фольга,
Ангелы небо колышут.
К вечеру будет пурга…
Кто-то её не услышит….

***

Поезд стремится во Псков.
В ставке бесчинствует Каин.
Белая кровь облаков
По небосклону стекает.
Скоро семнадцатый год
Глухо, как лампочка, треснет,
Царь непременно умрёт
И никогда не воскреснет.
Белая кровь облаков
Тихо сползает на землю,
Царский терзает альков
Гимн приворотному зелью.
Век проскакал, как листва
Осенью скачет рывками,
Не устаёт голова
Путать себя облаками.
Кто-то снимает кино,
Ложь стародавнюю множа.
Выпьем на станции «Дно»
То, что на кофе похоже.
Если уж кончится свет,
Белым заваленный снегом,
Верю: вокзальный буфет
Ноевым станет ковчегом.



Вера ЗУБАРЕВА, США



***

Одесса в оккупации. В оперном тишина
Исполняет реквием для позолоченных
херувимов.
Билеты распроданы. Публика сожжена,
И пепел потоком движется мимо,
Останавливаясь на Куликовом, оседая в пыли,
Прилипая хлопьями к оброненной конфете,
И, поднимаясь из могильной земли,
Гонит дальше его конвоир-ветер.
Чумка, кладбище, за ним тюрьма.
За тюрьмою тьма,
Позади — дома
Остывают комнатами пустыми.
Кружит пепел. И чтоб не сойти с ума,
Город шепчет своё имя.
Зажигаются окна. Акация пахнет острей.
Говор чужбины щёлкает затвором.
Свет уже за тридевять морей.
Только память о нём с городом.
— Шма Исраэль!*— доносится волн иврит.
В камере тучи — звезда накануне смерти
Смотрит в Чёрное море, горит.
Одесса в оккупации. Сорок третий…

* Слушай, Израиль! (*ивр.*) — декларация иудейской веры. Эти слова произносились евреями и перед казнью.

***

И скоро звонкой мостовой
Покроется спасённый город…
А. С. Пушкин

Город заветный,
имя его — загадка,
соль на его берегах,
магия чаек в небе.
С ним просыпаешься,
с ним засыпаешь
и слышишь —
кто-то аукает
в раковине старого дома.
Нет его больше.
Только то и осталось:
пенный прибой,
солнце за волнорезом,
дым корабля,
живших людей отраженья,
тени их на песке,
на мощёных улицах.
Цокает прошлое
бликами звонкого света,
город в броню одевает,
хранит, спасает,
шепчет ему
на языке Бога
что-то такое,
чем дышит он долго,
долго…

***

Оттого что тянет плоть к земле,
Оттого что тянет душу к небу,
В печке думы бродят о тепле,
В звёзды сон забрасывает невод.
Снег раскрылся куполом, парит
Белый парашют его в затишье,
Оплывают воском фонари —
Снег, мерцая, приземленье пишет,
Обнимает крышу, ель и холм,
Оседает, подступая к дому,
Словно там, в безлюдии своём,
Стосковался по всему земному…



Геннадий ИВАНОВ,
Москва

СТРАННИК

Открылись двери — женщина вошла,
она сказала медленно и просто:
«Живи любя, живи, не помня зла.
Живи, чем жив, до самого погоста».

Никто не знал, что совершалось там,
в душе, — какие открывались дали.
А ветер за окном ветлу качал,
скрипел колодец, лошадь запрягали.

Он всё любил, что встретилось в пути:
свет городов, селения во мраке…
Хотя не знал, куда ему идти,
на тот ли путь он силы свои тратил.

Но он всё шёл как бы на некий свет,
и шли пред ним огни, вагоны, лица…
Он счастлив был — и через много лет
он не хотел нигде остановиться.

***

Пряный запах флоксов увядающих…
Небосвода выгоревший цвет.
В этом мире много унывающих,
а счастливых вроде бы и нет.
Но счастливых много, уповающих
на любовь, на свет, на красоту…
Эту жизнь с восторгом принимающих.
Эту принимающих
и ту…

4 сентября 2018 г.

***

Восходы! Закаты! Восходы! Закаты!..
О, как на земле мы безмерно богаты!
Богаты полями, богаты лесами,
Богаты мы так, что не знаем и сами

Насколько богаты и чем так богаты —
Об этом расскажут нам только закаты
И только восходы, и вольные птицы…
И это богатство продлится, продлится…

И детям, и внукам, и всем его хватит…
Но враг если родину нашу захватит,
Тогда и восходы, тогда и закаты
Не будут красивы, не будут крылаты…

22 июня 2018 года

ВОСПОМИНАНЬЕ О ХИБИНАХ

Лыжня в лесу — таинственное что-то!
Я позабыл, что в мире есть лыжня.
Что через горы снежные, болота
Она вела когда-то и меня…

Мне вспомнились бамбуковые палки.
Мне вспомнилось, как я летел с горы…
И много было силы и смекалки,
И много было всяческой игры.

Мелькали ёлки, валуны мелькали —
Лыжня меня восторженно вела…
Потом куда-то лыжи запропали.
Пришли заботы, мысли и дела.

Стремился к знаньям и стремился к Богу,
Работал много и любил страну.
Теперь иду к какому-то итогу.
И не скажу, что я иду ко дну…

А всё равно — лыжня вот взволновала,
Напомнила о молодой поре…
И мне всего-всего вдруг стало мало
В сравненье с той лыжнёю на горе.

18.03.2018 г.

***

Поэзия неотменима.
Да, многое мимо и мимо…

Но вдруг открывается строчка!
Как будто весенняя почка!

Поэзии вечный поборник
Прощаю посредственный сборник,
Коль есть в нём строфа или строчка —
Как чудо живого цветочка.

2 февраля 2018 г.



Константин ИВАНОВ, Новосибирск

***

От чистого познания устав,
Я возвращаюсь к трепетным явленьям.
Природа, подари свои уста,
Отдайся мне за чудо песнопенья!
Раскрой, бутон, сокровища свои,
Прижмись щекой мохнатою, зверюга,
И солнечным нектаром напои,
Покуда хлещет ледяная вьюга!..
Уснуть, и улыбнуться, и лететь,
Иль, распластавшись, плыть листом
зелёным,
И в синь заворожённую глядеть
Немного сонно, детски, изумлённо…
И кажется — не надо ничего
Отныне и навеки, всё пустое,
Когда я часть дыханья твоего,
Твоё существование простое.
О, если б только детство, только лист,
Цветок, и блик, и стрекозиный шелест!
И дальше дни, желтея б, не текли,
И лето, вечной славой раскошелясь,
Текло б как мёд и солнце пополам,
Богов с людьми объединив в расплаве,
Ненадкусивший яблоко Адам
Сады Земли навек цвести б оставил.
Кто против?.. Только ветхая печаль
Вкрапилась в этот первобытный лепет,
И ничего с начала не начать,
Не повторить возникновенья трепет.
Так боль, и плач, и рану мне оставь,
Оставь тоску, оставь моё стенанье.
Меж мною и тобой стена: страданье.
Но выше — средоточие Креста.

***

Упадая навзничь в ночи, отправляюсь в рейс,
И в ушах отражается гулко неясный звук —
То ли стук колёс состава на стыках рельс,
То ли сердца стук.

Отплывает челнок одиночества и любви,
И ему помогает править в ночи сам Бог.
До утра Магеллан, а с рассветом опять убит,
И далёк Лиссабон.

Как стремительно время несётся! Вот этот стих
Я как будто начал вчера, а промчался год.
И опять секунды, как пепел, в моей горсти,
На окошке лёд…

Эту грустную музыку всё же хочу допеть,
Хоть не знаю, к чему пришёл, ухожу к чему,
Всё равно непонятно, зачем мне когда-то тлеть,
Насыщая тьму?

Но не надо меня утешать, укорять, учить,
Вы с Иовом проделали это уже, друзья.
Если сквозь расступившийся мрак Он начнёт говорить,
То внимать буду я.

***

Воля к власти — не русская воля.
Наши степи — кровавые соли
Подмерзающей крови земли,
Закипающей боли любви.
Нас пространство бескрайнее мучит,
Равнодушьем терпению учит,
Этот холод безмолвных лесов
Словно ищет единственных слов.

***

Внутри таинственного шара,
Что носим на своих плечах,
Есть всё, от холода до жара,
От милосердья до пожара,
Разнообразие в мирах…
Но в дебрях клеточного трека
Есть роковые полюса —
Внутри вселенной человека
Свои земля и небеса.

И что снаружи мнилось небом, —
Здесь, в общем, тот же перегной.
И только не единым хлебом
Горит немыслимой звездой.
Душа — земля, лиха и гола,
И нищая, как ты и я.
Душа — материя глагола.
Глагол — возможность бытия…



Елена ИВАНОВА-ВЕРХОВСКАЯ,
Москва

***

Чего-то как-то зачехлились мысли
И выпали в осадок, без названья,
Конверты отправляются без писем,
А письма зажигают на экране.
Там многое не будет мне понятно,
Захочется ответить, но не надо,
Какие-то немыслимые чаты
С рассеянностью посторонних взглядов.
Существ незримых сумерки предметны,
Пасёт их Гугл, бессмертен и свободен,
А ты сидишь и наблюдаешь лето
И думаешь, зачем оно проходит…

***

Мир был огромен — во весь экран,
Всех измерений расставлен капкан,
В нём пропадало немало слов,
Самое первое помню, — любовь…
Может попробовать сделать скрин?
Может напишет кто-нибудь — Скинь?!

***

Когда предрассветными ливнями
Город накроет, как остров,
Успеть бы проснуться счастливою,
Не отчего-то, а просто…
Торопится лето выбежать,
Согреться в твоих ладонях,
Неважно, кто первый не выдержит,
Его уже не догонят…
Ведь всё же за нас придумано:
Все сумерки, трели, запахи…
И нужно быть круглой дурою —
Не выучить это заново!

***

А может, перейдём на «ты»? —
Сказал беспечно,
И стёр случайные черты…
Мои, конечно.
Там где-то выправил, белил
Слегка добавил,
А после, то и полюбил,
Чего оставил.
И кинул в виски талый лёд,
И нас накрыло…
А то, что было, то не в счёт,
Затем и было…

***

Пусть никто нас не покинет,
Если мы кому сдались,
Жизнь опустит и поднимет,
Но на то она и жизнь.
Суетна и привокзальна
Вся её земная суть,
Если в шутку повязали,
То отпустят как-нибудь.
На панельные просторы
В шелест стоптанных подошв,
Строго взглянет врач со Скорой —
Слушай, ты меня не трожь,
Видишь засиделась в девках
Осень. Тоже не спешит,
Я сверну сейчас налево,
Отдохнуть за гаражи,
Там небесные, как дети,
Звёзды выстроятся в ряд,
Выйдут, никому не светят,
Ничего не говорят…



Наталья ИВАНОВА,
Сингапур

***

Слышу, звенят недостачи в твоих букварях,
Доски исписаны мелом и стёрты прибытки.
Был великаном, а нынче — слуга при царях:
Крошится хлеб и вино разбавляется жидко.

Чаша Грааля — казалось бы, вот, протяни
Руку, но пенные кубки опять передвинут
В залы, где кровь голубая. Тяни-не тяни
Лямку старанья, а будешь ни к месту, ни к чину.

Всё же я смею напомнить: драконы, киты,
Мельницы, гидры и прочие ложные знаки
Были с тобою на «ты»,
Но не сбили с версты.
Так почему ж — у престола навроде собаки?

Так почему же, пройдя меж чудовищ, сирен
И возвратившись, робеешь в браваде у трона.
Лук неподъёмен, стрела отлетает от стен.
И Пенелопа стоит…
Под венчальной короной…

***

То ли чайкой, то ли мотыльком —
Кайты в небе ветреным полуднем.
Между лодок — сетчатые будни.
Пахнет рисом, тиной, тростником.
Дребезжит вдали аэроплан.
В коромыслах — корки мандаринов…
И кишат моллюсками витрины,
И корзин грохочет караван,
Полный устриц, туны, окуней.
Снасти сушат тут же, на причале.
Снится аист — нам ли быть в печали,
Если жизнь бессмертия главней.

***

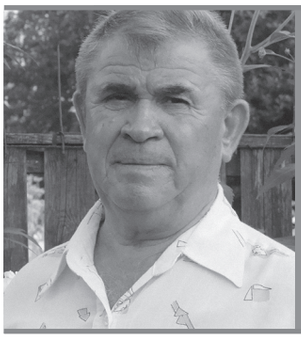
Прикоснись к запястью и ритм отсчитай на шаг:
Это катится бусина или скрипит бамбук.
На ракушках роспись из «Гэндзи» — лодочки в камышах —
Собери попарно, свадебно в лунный круг.

И приблизятся: ключ, ворота и горний сад,
Алый персик, на нём — печать и цепей канва…
И ползёт змея под песню льняных цикад
В полотняный дом, в белотканые рукава.

Обменявшись чарами красных и синих свеч,
Обменявшись чарками, кольцами — инь и ян —
Так легко высоким жребием пренебречь,
Создавая себе подобных — изъян в изъян.

***

Катилась держава, едва поспевая за посохом,
И глобус катился, едва поспевая за скипетром,
До самой Канавки, до скитов — к траншее философов,
И падали ядра в окопы, в ворота голкиперов,
Но дальше не сдвинулись, ибо предсказаны старцами
От Третьего Рима до Мурома: всадники, конницы,
Руины кремля, осаждённые крепости, карцеры,
До самой Канавки, а дальше — с мечом и схоронятся.
А дальше — стена, омофор Купины Несгораемой
И Спас на Крови с ДНК византийской наследницы,
Летят томогавки и бьются в курганы мамаевы,
О штанги царьградских ворот, об Иаковы лестницы.
Что нам многоборье калибров, ракетные панцири,
Стояли и будут Каяла, Угра и Четвёртая
Обитель чудес семистрельных, конечная станция
Всех рек и дорог. Орбитальная, в небе простёртая…
Катились планеты, как яблоки катятся посолонь,
«Не имам иныя» — писалось и кровью, и грифелем,
И свет ойкумену делил моисеевым посохом
И бился о колокол над непокорною Скифией.



Александр ИВУШКИН,
Волоколамск

ВЕЧЕР

Памяти моего наставника, советского поэта, фронтовика Марка Соболя.

Вы знаете, он был,
наверно, очень старым,
тот самый музыкант,
что громко дул в трубу.
Над миром догорал
стожаровым пожаром
широкий горизонт и — падал на траву!
А по земле июнь
бежал, сбивая ноги,
в коротеньких штанах, без кепки, без сапог,
и ласковая пыль просёлочной дороги,
плескаясь и клубясь, взлетала из-под ног…
Дроздиха за ручьём
своих птенцов скликала…
Июнь был очень юн и, может, потому
о грусти и любви
играл тот — очень старый
и добрый музыкант, что громко дул в трубу!

А может быть, трубач,
вонзая ввысь синкопы,
играл суровый марш святых и трудных лет,
когда другой июнь рыл первые окопы,
рыл первые могилы, падал в хлеб?!.
Когда другой июнь —
седой в неполных двадцать! —
глядел через прицел на пепельный закат,
когда в горячей ржи, не пожелав сдаваться,
остался навсегда молоденький комбат!

О чём трубил трубач?
Была ли это зависть,
что розовый июнь — и босоног, и юн?
И гулко по селу, в кручёных путах маясь,
густую тишину в ночное нёс табун.

А маленький июнь —
кавалерист удалый! —
на палочке верхом пустился следом вскачь.
…И где-то за селом прощально и устало
о грусти и любви
ещё трубил трубач…

СОЛДАТКИ

Нашим матерям к 40-летию Победы

Пили бабы самогонку.
Дёшево — да зло!
А вдогонку пели звонко,
чтобы за село
улетала песня эта —
словно горький дым!..

Ни ответа, ни привета —
за селом седым
не звенит давно трёхрядка, —
гармониста нет.
Без него поют солдатки
сорок долгих лет.

Сорок тяжких лет — ни в жилу! —
ноченьки да дни.
Так живут, как жизнь сложила:
до сих пор одни.
И гармонь осиротело
смотрит из угла…
А ведь как сыграть хотела —
рук родных ждала.

Верь-не верь, её товарищ
на войне убит.
Перламутр чутких клавиш
тишину хранит.
Коли надо, стала б прежней —

только пальцем тронь!
Гармонист один заезжий
пробовал гармонь.

Но рукам его несмелым —
впору зарыдать! —
всё, что знала и умела,
не смогла отдать…
Память — проседью на прядках,
влагою — из глаз!
Самогонку пьют солдатки
в сорок первый раз.

БЫВАЕТ

Приглашён я в гости к богатею
И застыл к нему на полпути:
как о нём подумаю — потею:
с чем к нему, сердечному, идти?

У него, поди, — и виски, и индейка…

Не прогнали, ненароком, вон.
Что ему купить на три копейки,
чтобы удивить на миллион?..



Илья ИКОННИКОВ,

Онега, Архангельская обл.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Дали спят. Окутаны низины
Розовым туманом у земли.
Облака, седые исполины,
Отдохнуть над лесом прилегли.

Плёс речной, как зеркало, недвижен.
(Где вы, шумной запани огни?)
С берега другого — еле слышен
Визг и хохот дачной ребятни.

А деревня дремлет на угоре,
По-старушьи чутко в тишине.
В клеверном и лютиковом море
Ставит избы прежние во сне.

Заселяет избы молодцами —
Вот они, хозяева страны!
Снится, что успеют стать отцами,
Воротясь живыми с той войны…

Спи, мой край! Любовью и покоем
Эта ночь тебя от бед спасёт.
Но придёт рассвет с кремлёвским боем,
И какие вести принесёт?..

***

Рыжая, до пояса, трава.
Тонкий березняк среди покосов.
В огородах жалкая ботва,
Чёрная от утренних морозов.

А за нею горбятся дома
У свинцовых волн, под небом мрачным…
Скоро, скоро станет тут зима
Щели пухом забивать гагачьим…

Я рубцовским памятным стихом
Встретил потемневшие избушки,
Мой Ан-2 им вновь качнул крылом,
И опять на луг-аэродром
Вышли деревенские старушки…

Увязали накрепко в кульки
Свой гостинец: рыбу да морошку,
Машут самолёту, сняв платки,
Крестят пассажиров на дорожку…

Молодость, возможно, не поймёт,
Сколько в этих проводах печали —
Расстаются с внуками на год,
А в глазах вопрос: не навсегда ли?..

Пью с янтарной ягодою чай,
Что мезенским солнцем обогрета…
Ты, деревня, шибко не скучай,
Прилетим на будущее лето!..

Вот и стали зори посветлей,
Звёзд высоких радостней горенье…
Защити, спаси, Звезда полей,
Маленькие русские селенья!..

***

Полнозвёздное небо крещенское,
Обжигающий душу мороз.
Еле теплится жизнь деревенская —
Три окошка мерцают вразброс…
Санный путь за угором теряется,
И «Бурана» извилистый след,
Но по ним, хоть дорогой считаются,
Никуда хода-выхода нет.

А под ветхими отчими крышами
Люди тихой, простой доброты,
Уповая на милость Всевышнего,
Довершают земные труды…

Год, другой — и уже не потянутся
К небесам русских печек дымы,
И едва ль нашим внукам достанутся
Опустевшие эти холмы…

Но и зла мирового вершители,
Пролетая над мёртвой страной,
Не войдут сюда как победители
И следа потаённой обители
На земле не найдут ледяной!..

Лишь сполохи всё так же засветятся
То зелёной, то алой волной
В бесконечные зимние месяцы
Под Полярной звездой и луной…



Дарья ИЛЬГОВА,
Москва

***

Чуть поскользнёшься, выйдя на Придаче.
След поезда уже в ночи простыл.
Подумаешь, что надо жить иначе —
Свободным и отчаянным, простым.

Под лай дворняг докуришь, осторожно
Пойдёшь вперёд, ругаясь так и сяк.
В ночи морозной, железнодорожной
Тебя проводит чёрный товарняк.

На станции, где даже нет вокзала, —
Дыра такая, Господи, прости, —
Вновь сходятся и вновь берут начало
Надежды непутёвые пути.

Под грохот проходящего состава
Пойдёшь вперёд, шальной, полуживой,
Рывками разгоняя боль в суставах,
Кивая непокрытой головой.

***

Где памятник с протянутой рукой,
Красивый и приветливый такой,
Как будто приглашает удавиться,
Там я среди молчания иду,
Не приминая снега на ходу,
В надежде разглядеть живые лица.

Родные имена шепчу тайком.
Что толку звать — давно лежат рядком
За этим неприметным поворотом.
А если чуть подальше повернуть,
То всё равно ни охнуть, ни вздохнуть,
Припоминая — это кто? а кто там?

И не пугаясь шорохов земных,
Приветствую знакомых и родных,
И тянется порука круговая.
Но тишина обрушится в ответ,
Когда они посмотрят мне вослед,
Посмотрят на меня, не узнавая.

***

Память, что горстку пепла,
Ветром подхватит лёгким.
Наскоро буераки
Жизни моей облетев,
Где ты песчинкой белой
К чёрной дыре несёшься?
Вынырнуть на обратной
Солнечной стороне.
К девочке незнакомой —
Синее платье в алый
Крупный горох. Неужели,
Господи, это я?

***

Увядший сад, неровная межа,
Заборчик, покосившийся по пояс.
Захочешь всё забыть и убежать —
Бери билет, садись в вечерний поезд.

И больше никогда не вспоминай
В пылу столичных яростных сражений
Протяжный гул полей, собачий лай
И спелых яблок алые мишени.

Но детства незатейливый мотив —
И память с перепуга бьёт наотмашь,
К земле усталой душу пригвоздив
И повторяя: «Помнишь? Помнишь?
Помнишь?»

***

Благодаря свою свободу,
Стакан гранёный, чёрный хлеб,
Прожили мы четыре года
И проживём ещё шесть лет.

Как образцы правопорядка
В своей блистательной красе,
Живём без споров и достатка,
Не сильно жалуясь, как все.

Не зная праздности и лени,
Грешим и каемся навзрыд.
А в мавзолее дремлет Ленин,
Гагарин по небу летит.

А мы живём без кривотолков
Вдали от этих и от тех —
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.



Елена ИСАЕВА,
Москва

СТИХИ О ЛЮБВИ

Деревенский столяр дядя Вася,
Как напьётся от тоски вселенской,
Так давай гонять свою Тамарку,
Мудровать над ней, гнобить, морочить!
Говорит: «Тебя тут слишком много!
Всё в моём дому заполонила!
Не хочу тебя тут слышать-видеть!
Двадцать лет назад ты мне разбила
Чашку голубую с окоёмкой!
Я ж просил — не ставь на край, не надо.
Ты ж мне, как нарочно, прям под локоть!
Ты же знала — это память деда!»
Говорит: «Зачем ты не призналась,
Что любила до меня Серёгу?!
Ну, и что, что мне не изменяешь,
Всё равно ведь ты его любила,
А как год назад он слёг с инсультом,
Сколько ты туда сносила денег!
Лучше б в мастерской мне перекрыли
Крышу или новых инструментов
Закупили… У меня искусство!
Трачу на тебя, на дуру, время,
Мог бы новый шкаф придумать-сделать!
…Да, ходил к Лариске и к Наташке,
И ещё пойду, и не скрываю!
Я же должен где-то разряжаться!
Не с тобой же тут сидеть всё время!
От тебя мои болеют почки,
Сердце ноет, ломит поясница,
Уходи ты с глаз моих, паскуда…».
А Тамарка плачет от бессилья,
Чувствуя свою приговорённость
К этому несчастному мужчине,
У которого талант от Бога
И неизрасходованной силы
На ещё пятьсот таких тамарок,
На столы, трюмо и шифоньеры,
А чтоб переплыть ночную реку,
Чтоб плясать на свадьбах, днях рожденья,
Уходя последним с вечеринок,
На руках нести её до дома,
Где-то останавливаясь в поле,
Чтобы прям под звёздами любить…
У него — масштаб другой планеты,
И ему тут пусто-одиноко,
И ему тут места не хватает,
Потому, как слон в посудной лавке,
Он её хрустальную посуду
Вдребезги в отчаяньи разбивши,
Выхода не видит всё равно.
И потом, всё склеивая, стонет:
«Полечи, накапь валокордина…».
И они, обнявшись, засыпают.
Потому что — как ещё спастись?

***

Здесь «зажигала» Ленка Чистякова —
Верхом на брусьях — кувырок вперёд.
А я иду, и ничего такого —
Ну, только чуть под ложечкой сосёт.
Не плачь, не плачь об этом — всё пустое…
Где жил Калядин — там высотный дом.
Империя периода застоя —
Пятиэтажки пущены на слом.
Где был каток — теперь у них парковка.
И очевидцев не осталось, нет,
Как Решмина выруливала ловко
Из «ласточки» в сложнейший «пистолет»!
Вот здесь была спортивная площадка,
И двор наш зачарованно глядел,
Как мальчики периода упадка
Переходили в жёсткий беспредел.
Уже сходились не за гаражами
Играючи друг друга попугать,
А на серьёзных джипах приезжали
Палатки новорусские сжигать.

Не плачь об этом времени забытом.
Есть темы только две — любовь и смерть.
А «деревяшку» сделали «магнитом»,
А на «стекляшку» не пошла смотреть.
Мы весь район здесь вместе исходили,
И ждёшь, что повернут из-за угла…
Разбился Шпренгерт, Райского убили,
И Людка Дикарёва умерла.
А я иду, и ничего такого,
И позади, и впереди — века…
На месте Лёлика,
На месте Кулакова,
На месте Гусевой,
На месте Костюка…

***

И неважно, какой подо мной каблук,
И неважно, какая юбка,
Всё равно отводит глаза мил друг,
И я вижу, как счастье хрупко.
Не удержишь его — стройней-
не стройней —
Исчезает вдруг временами.
И я вижу чужой хоровод теней
Тех, что вклиниваются меж нами.
И я чувствую — пляшут они вокруг,
Как на шабаше в бликах ночи,
Даже если высок подо мной каблук,
Даже если красивый очень…

***

Разговоры. Сигаретный дым.
Ничего конкретно впереди.
Говорила: «Приходи любым —
Сонным, злым, усталым — приходи!..»

Оказалось сложное простым,
Фронт однажды превратился в тыл,
Потому что приходил любым —
Сонным, злым, усталым… Приходил.

***

Какие ночи, Боже мой, какие ночи!
Весенний воздух опьяняюще порочен,
Москва сияет, как в пятнадцать лет и в двадцать,
И я по-новой научилась улыбаться!
Хотя уже не попадусь на этот ребус.
Ты здесь когда-то останавливал троллейбус —
В неразрешённом безо всяких правил месте —
И мы с тобой туда запрыгивали вместе.
Мы целовались, потому что были живы,
Смотрели с завистью на это пассажиры!
Какие ночи, Боже мой, какие ночи!
Зачем же ты опять на мне сосредоточен?
Я не хочу, не покупай гвоздик ли, роз ли!
Я знаю всё, что было до и будет после.
Не обольщайся тем, что я смеюсь, как прежде,
Смех не имеет отношения к надежде.
Я просто вспомнила: твой взгляд под лёгкой чёлкой

Ещё цинизмом зрелых лет не перечёркнут…
Давно задушенные чувства на минуту
Вдруг оживут, летя по этому маршруту!
Чего ты хочешь от меня? Чего ты хочешь?
Зачем ты голову, мне голову морочишь?
Чего ты хочешь от меня? О чём ты плачешь?
Ты ничего уже в судьбе моей не значишь…



Юрий ИШКОВ,
Великие Луки, Псковская обл.



МАТЕРЬ БОЖЬЯ! ЗДЕСЬ ЖИВУ И ВЕРУЮ!

Право, славна родина моя!
Матерь Божья, здесь живу и верую!
Сохрани российские края,
Ниспослав судьбу благословенную!

Город тоже мой благослови
На успех труда и вечность Памяти,
Храмы тут — святыни на крови
Со следами пороха и пламени.

Молится и воин, и монах,
Были беды долгие и общие,
Потому кресты на куполах
Блещут по-особому на Псковщине.

Сберегая неба чистоту,
Уподобь его златому кружеву,
Полюби навек за красоту
Приграничья древнюю жемчужину!

Утром глянь, какдивно в синеве
Месяц путь выкладывает зореньке,
Как лучи струятся по траве
И светлеют улицы и дворики!

Где ещё вот так же хороши
У домов берёзки тонкоствольные
И для них поющие в тиши
Птицы легкокрылые и вольные!

Девы взглянут — оторопь берёт,
Столь глаза загадочны и веселы,
Был бы наш богат к тому ж народ,
Ну так то в мечтах: кабы да если бы!..

К истине идём не без греха,
Крестимся, а целим в лебедь белую,
Ниспошли нам мудрость на века,
Матерь Божья, здесь живу и верую!

БЛОКАДНИКИ

Герои достойны почести,
Их враг истреблял и голод.
Столпом первозданной прочности
Стоял осаждённый город.

Ему повторяли реквием
Бомбёжки и канонады,
Дымы простирались едкие
Над крышами Ленинграда.

Снаряды крушили улицы
И рвали на части небо,
А в тёмных руинах чудились
Краюхи ржаного хлеба.

Больные и невесомые
Сменили рабочих дети,
Сражались — боеспособные
В то чёрное лихолетье.

Всем миром внимали радио,
Роднясь под звучанье скрипок,
И были сердцами в прадедов
От малого до велика.

В кольце орудийных выстрелов
Их было священным братство,
А краткое слово «выстоять» —
Заветным для ленинградцев.

На многих пальто и ватники
Свисали не по размерам.
Варили ремни блокадники
С крапивой из местных скверов.

Общались они вполголоса
И знали: под смертной сенью
Без слёз и последних возгласов
В домах умирают семьи.

Туманы ложатся саваном,
На плачущие берёзки
И землю, святую самую, —
На кладбище Пискарёвском.

История помнит ужасы
Младенцев с глазами старцев.
О том, что такое мужество,
Спросите у ленинградцев!



Юрий КАБАНКОВ,
Владивосток

***

Спящий похож на мёртвого.
Мёртвый похож на спящего.
Время, как свиток, свёрнуто,
время, во мглу летящее.

Мёртвый — от плоти спящего.
Солнце встаёт слепящее.
Спящий похож на облако,
сквозь тишину летящее.

Сердце само, как облако,
как наливное яблоко,
вспять от земли летящее —
будто дыра свистящая.
……

Маленькая тростинка,
жалобная пластинка —
Божьего ока прячется,
здесь побывав, расплачется.

Глиняная мелодия,
свет, в листве шелестящий,
флейта моя двойная,
есть ли она — иная?..

3–8 августа 2016

АКВАРЕЛИ

Тёмные воды катит Печора — светлое горе:
чёрные воды катит Печора в белое море.

Встречное горе катится катом — чёрное горе:
чёрное солнце, белые хаты, чёрное море.

Там, где от зноя жизнь замирала, — красное горе:
лишь окровавленные кораллы красного моря.

Долго ли, кратко ли: вспышка, мгновенье — чует Всевышний
горькое горе в сладком томленье зреющей вишни.

Жёлтая глина, жалость Господня — жёлтое горе:
от Поднебесной до Преисподней — жёлтое море.

Ангел небесный стелет соломку — мёртвое горе:
время не тонет в горькой солонке мёртвого моря.

Белый кораблик — лёгкое горе, с волнами споря…
Ах, как бурлит на привольном просторе синее море!

23–31 августа 2016

ПЛАЧ ПО СОЛДАТУ ОЛОВЯНКИНУ, ХРАНИТЕЛЮ ВРЕМЕНИ

Я точно знаю: это навсегда —
как медный плач «Прощания славянки»:
и время иссякает, и вода,
и плавится солдатик Оловянкин —
на солнцепёке, с думою в очах
о пенной кружке солнечного сидра,
всю вечность простоявший на часах —
песочных, каменных,
при облачных клепсидрах, —
«в ружье и кивере»…

И обнажилось дно —
и циферблат похож на незабудку,
им, стойким, оловянным — всё одно,
в который час трубить свою побудку,
поскольку времени — и не было, и нет
ему названия, и, видимо, не будет,
и захлебнувшийся пространством интернет
стоит,какперст, —«непокровенинеобувен»…

…и — вспыхивает соло на трубе,
исполненное медными слезами;
и просыпаюсь, светел, — весь в Тебе,
и бабочки трепещут пред глазами…
……
…чего не может быть — и не бывает!
И сердце, бедное, беспомощно кивает…

22 (9) ноября 2018,

Иконы Божией Матери «Скоропослушница» [...комнатного формата утреннее сфумато].



Инна
КАБЫШ,
Москва

***

А берёза — кости вся и кожа —
на из гроба вставшую похожа:
Лазарь, манекенщица, скелет,
Бухенвальд, блокада — на просвет,
по краям лишь только золотая —
там, где плоть воскресшая, святая:
так воскреснет каждый куст и пень.
Так и я воскресну в Судный день.

***

…А кота звали попросту Понтий,
но, конечно, совсем неспроста:
я в то лето жила не у Понта,
а за пазухой у Христа.
Я не знала ни счастья, ни горя,
знала только одни лишь труды,
и хоть рядом и не было моря,
было соли полно и воды.
С неба падала манка и гречка,
сам собою слагался сюжет,
день за днём протекал словно речка,
у которой названия нет.
Приезжали то Коля, то Саша,
привозили то хлеб, то вина,
и была моя жизнь словно чаша:
хоть упейся — всё будет полна.
Что и делала я: упивалась,
так что лыка связать не могла,
а оно вдруг взяло и связалось —
даже крепче морского узла…

АХМАТОВА В ФОНТАННОМ ДОМЕ

Дворца и коммуналки помесь —
Фонтанный Дом
(и нет печальнее, чем повесть
о доме том!):
так вот откуда этот царский —
до гроба! —
вид.
Здесь быт кромешный,
пролетарский,
но что ей быт?
И что ей время за стеною
её дворца:
не страшно в нём с ТАКОЙ страною
быть до конца.
И не к мужчинам возвращаться —
там счастья нет.
Одно лишь есть на свете счастье —
в окошке свет.
Придёт Параша Жемчугова,
родная тень,
и будет день, и будет слово,
и снова день.
И улыбаться перестанешь,
и му́ка — сын,
и много всяческих пристанищ,
а дом — один.
И даже из того предела
лишь дома жаль.
И повторяет контур тела
на кресле шаль.

***

Суженый, путь мой сужен,
мне ведь никто не нужен:
Бог меня создал целым —
,

дал мне не просто много —
всё.
Возропщу ль на Бога,
давшего только счастье
тем, кого создал частью?..

***

Что сказать тебе, любимый мой,
чтоб сказать такое напоследок?
Что была несчастлива с тобой
(волос долог, ум у женщин редок)?
Что не знала радости ни дня?
Что не знала ни на миг покоя?
Так и ты ведь видел от меня
лишь меня.
И нас, выходит, двое.

***

Как говорит соседка моя баб Люся:
«Я с каждым днём счастливее
становлюся…»
(Хоть ни кола, ни двора у ней,
ни скотины —
только и есть одна у ней гильотина,
что от всего отсекает дурные части,
преображая любое несчастье в счастье).

***

Как на рассвете светится,
как на закате жжётся,
любится, да не терпится,
плакать бы — ан смеётся.
Нету печали радостней
этой, почти хрустальной.
Кто это нынче рядом с ней?
Пусть остаётся тайной!
Кто там спустился с горочки,
вижу я по походке —
сладкое это с горечью
в самой своей серёдке.
Невыносимо лёгкое —
и с каждым днём всё легче —
парусом,
чайкой,
лодкою,
бармами — на оплечье.
Не соловей за рощею
мне насвистел такое:
время всегда хорошее,
даже когда плохое.

***

До того ль мне, что творится в мире
и по чьей воюет он вине,
если даже в собственной квартире,
если дома я —
как на войне.
Ни родства,
ни близости,
ни братства,
ни кола,
ни дыма,
ни огня,
ни двора —
с соседкою обняться,
ни собаки —
облизать меня.
Тили-тили —
все вдруг разлюбили
и ушли,
перчатки позабыв.
Трали-вали —
все повырастали:
называлась книжка так — «Обрыв».
У матросов не было вопросов,
вот и я решила:
не решай.
…Мой любимый Фёдоров,
философ,
ты, смотри, меня не воскрешай!



Вечеслав
КАЗАКЕВИЧ,
Токио, Япония

***

Я просыпаюсь. Голуби галдят.
Над головой будильник страшный тикает.
За детектив «Двенадцать поросят»
взялась с утра пораньше муха тихая.

Открыт балкон. Заляпан солнцем плед.
К стене горячей придвигаюсь ближе.
И думаю про тот рассвет,
который я однажды не увижу.

***

Красный мостик над прудом зелёным
распростёрся огненною птицей.
Безнадёжно и давно влюблённым
здесь красиво можно утопиться.

Но никто с перил не бултыхнётся,
чтобы волны привести в движенье.
Видно, нечем поразить японцам
старого пруда воображенье.

А вот если б я своей макушкой
вздыбил брызги и зарылся в иле,
то кувшинки, карпы и лягушки
долго б о России говорили.

ПРАЗДНИК ОСЕННЕЙ ЛУНЫ

Сегодня все любуются луной —
и буйные подземные пираты,
и бонза с сонным карпом за спиной,
и спрятанный в столице император.

Выходит иностранец на балкон,
высокий нос подвешивает к небу.
Наверное, надеется и он
луну отведать запросто, как репу.

Никто не будет гостю докучать.
Но чтоб сияньем насладиться этим,
тишайший праздник надо отмечать,
по крайней мере, два тысячелетья.

Несчастный варвар силится в ночи
тоскливым взглядом до луны добраться.
Но, кроме своей родины дурацкой,
навряд ли что во мраке различит.

***

Нет давно на свете дорогой семейки:
петуха в сарае, кошки на скамейке,
матери, которая нянюшку бранила,
нянюшки, что пенсию в валенке хранила.

Наплевать с пригорка всем на это дело,
только ты с печалью подружился смело.
Чтобы настроенья ты не портил людям,
скоро, мой хороший, и тебя не будет.

***

Приятно беспризорному животному
вручить внезапно с колбасой кулёк
и спящему на лавке безработному
оставить беззаботно кошелёк.

Но я ещё не чувствую усталости,
смотрю высокомерно в зеркала
и прогоняю первый признак старости —
желанье делать добрые дела.

***

Навряд ли я смогу уже добиться
от про́клятых поэтов добрых слов:
ни сифилиса нету, ни девицы
с каких-нибудь Маркизских островов.

Я не замучен критиков обстрелом,
от опиума день и ночь не пьян,
не умоляю в доме престарелых
мне выделить под лестницей чулан.

Чудесный кто-то вёл меня по жизни,
подбадривал огнями впереди.
Вот и сейчас он полон оптимизма
и шепчет убеждённо: «Подожди…».

***

По натруженным вагонам
стеганул свисток,
и запрыгал, как безумный,
в тёмном тамбуре платок.

Это твой уходит поезд!
И с собой увозит он
даже здание вокзала,
рельсы, шпалы и перрон.

И когда от всей Вселенной
не останется следа,
группка ангелов и демонов
подойдёт: «Тебе куда?»

***

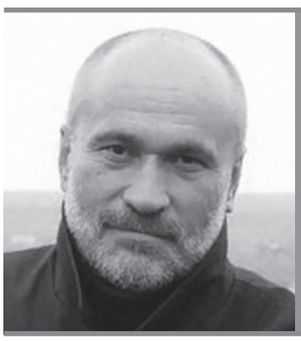
За двенадцать лет туманных,
что в чужих краях прошли,
два китайских чемодана
мы с тобою завели.

Глаз от этих чемоданов
невозможно оторвать!
Вот на этих чемоданах
нам с тобой и умирать.

***

И когда любуемся цветами,
чинно взявшись за руки с тобою,
или восседаем на татами,
лишь одно мне не даёт покоя.

Неужели мы когда-то жили
у пивной, гремевшей до восьми?
Неужели мы когда-то были,
дорогая, русскими людьми?



Юрий КАЗАРИН, Екатеринбург

***

Я знаю эту дрожь.
Очей не закрывая, —
и ты, земля, умрёшь,
бессмертная, живая.
И сквозь твои персты
пройдут пески и воды,
и небо пустоты,
и небо непогоды,
последняя слеза
без боли и печали,
которую глаза,
как мир, не удержали.

***

М. Никулиной

Сад напросился в дом.
Веткой открыл окно.
Что ж, посидим вдвоём,
выпьем своё вино.
Выпьем его до дна,
и — лепесток на дно:
бездна у нас одна.
Сердце у нас одно.

***

Ты помедли надо мной,
ангел улетающий.
Каплет ужас ледяной
из души рыдающей…

И поём средь бела дня,
коли сердце порвано, —
то ли ворон — про меня,
то ли я про ворона.

***

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

Холодно как. Слишком светло.
Баба в футболке
ковшиком в кадке разбила стекло —
в горле осколки.

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
слушаю птицу.

***

Птичка серая скажет мне:
остаёшься в своей стране —
белой, каменной, ледяной…
Полетели на юг со мной.

Отвечаю сквозь первый снег:
я не ангел — я человек,
я — земля, я из глины весь…

Я давно похоронен здесь.

***

Трясогузка. Серебряный хвост.
Скоро воздух ознобом и дрожью
тронет речку — ничейную — Божью
как большое дыхание звёзд.

Так сквозит на реснице слеза
чистым временем, осенью русской,
так мы смотрим на всё с трясогузкой…

У неё голубые глаза.

***

Выйдешь с утра — однако…
В бочку впечатан лёд.
Заморозок, собака,
в щёки тебя лизнет.

Крепко себя обнимешь
и над землёй поднимешь,
и, заплывая в дрожь,
бездну к груди прижмёшь.

***

Царапнет с неба гвоздь,
как по душе, по жести.
Мерцает волчья ость
в густой собачьей шерсти.

Рукою проведёшь,
как Бог — по небосводу,
выискивая дрожь
звезды, её свободу
светить во все края,
пространство продлевая…

Собака ты моя.
Хорошая. Живая.

***

Так пасмурно, что нету небосклона
и некуда мечтать.
Вот лобачёвская ворона:
пропала, появилась и опять
исчезла, и внезапно показалась —
и с глаз долой средь бела дня,
как будто вся во времени осталась…

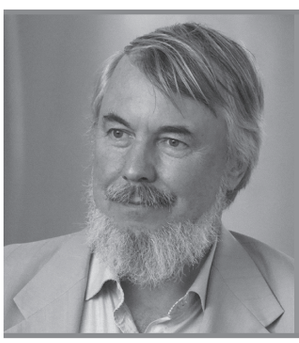
Как мало времени осталось у меня.

***

Маленький человек,
мальчик — щека в песке:
глина у нас, как снег,
тает сама в руке.

Если тебе не лень —
вылепи воробья…

Ангел отбросил тень —
Господи, это я.



Александр КАЗИНЦЕВ, Москва



***

М. Лукичёву

Есть в первом настоящем снегопаде
какой-то грустный преизбыток сил.
Вы посмотрите — он не то что за день,
за полчаса весь мир преобразил.

И вот уже во двор выходят дети
и тычут в снег лопаткой для песка,
и скатывают ком, второй и третий —
и ставят с торжеством снеговика.

И всё стихает, словно это сад
в глуши, а не в полметре от движенья,
и ветки невесомые парят,
как вишни в мае в первый день цветенья.

Глаза закроешь — до чего светло!
А небо нависает тяжело
над жёлтыми разбухшими домами,
над пэ-образным вырезом двора.
Теперь пойдут такие вечера,
и только снег пребудет вместе с нами.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Памяти отца

Что на тело смотришь ты, душа,
сторожишь пустую оболочку,
в памяти событья вороша,
теребя имён и лиц цепочку?

Каково тебе сидеть одной
в зале с голым светом посредине,
в страшной невесомости земной,
в кафельной сверкающей пустыне.

А над толщей сводов и палат,
там, куда крыла твои воздеты,
зимние созвездия горят
и, пылая, движутся планеты.

И о чём-то ангелы поют —
ты ещё не поняла ни слова,
ты, томясь и сокрушаясь тут,
вся во власти языка земного.

Ты ещё не подымаешь взор,
ты ещё сидишь осиротело,
не решаясь вознестись в простор,
в звёздный мир из своего придела.

СКАЗАНИЕ ОБ АВВАКУМЕ

Есть в Божьих светилах особый разряд —
пять звёзд, обтекающих выси, —
небесные знаменья звёзды творят,
как пишет о том Дионисий.

Так дважды в нестройные эти года,
когда воздвигалась в Москве без стыда
на веру бесовская сила,
предвестием мора являлась звезда
и солнцу затмение было.

И с Волги архиепископ смотрел,
как к солнцу звезда подтекала,
и солнечный диск постепенно чернел,
и чёрное солнце сияло.

Но, видно, привык ошарашенный глаз,
и чёрное солнце приятней для нас,
и чёрное солнце висит над Москвой,
и песий стоит над посадами вой.
. . . . . .
А к лету в Дауры доходит указ —
кончаются годы изгнанья.
Тебе, протопоп, собираться сейчас
в столицу ночного сиянья.

Вдогонку оттянет даур тетиву
и скорчит довольную харю.
Подумай, подумай, с чем едешь в Москву,
что скажешь в Москве государю.
. . . . . .
Приплыли в Россию — худые дома,
народ словно пьяный с кручины.
Стоит еретическая зима
без праздника, без годовщины.

И он опечалился: что я могу,
жена моя, Анастасия,
ты видишь — здесь всё потонуло в снегу,
ты видишь — замёрзла Россия!

Смолчать или, душу живую храня,
бороться с мертвящею новью?
Что делать, жена, ты связала меня,
связала теплом и любовью.

— Господь сохранит от бесчинства и бед,
а я тебя благословляю —
дерзай проповедовать истинный свет
родному замёрзшему краю.

И он до земли поклонился жене,
и сколько ни плыли — повсюду
он истину Божью, ревнуя вдвойне,
кричал православному люду.

В Москве заливаются колокола
в потоках графитного света.
И словно лилея, бела и мала
рука государя-поэта.

Его удручает церковный раскол,
теченья различного толка.
А из-за плеча государя тяжёл
взгляд пристальный Никона-волка.

А речь государя тиха и сладка
и голову кружит, как зелье:
он помнит беседы у духовника
Стефана в полуночной келье.

И выясняется обиняком
царя заповедная дума —
на место Стефаново духовником
назначить его, Аввакума.

Бояре сидят, ожиданья полны,
едят протопопа очами.
И он обращается к ним: горюны,
о вас я молился ночами.

Вы променяли веру свою
на место в Никонианском раю!
Послушай моленье моё, государь,
повинную душу пред Богом ударь!

И потянуло сосновым дымком
под сводчатым расписным потолком,
открылись морские пространства.
И спины бояр пробрало холодком
от злостного окаянства.

И тут-то его обступили гуртом,
беснуясь, вопя оголтело,
плевали в глаза и стегали кнутом,
и жгли огрузневшее тело.



Геннадий КАЛАШНИКОВ, Москва

ЗВЕЗДА

Глядящая с высот, с немыслимым наклоном
к поверхности земли, так чуждая земле,
холодная звезда взошла над нашим домом,
холодная звезда в холодном феврале.
И что нам до неё, средь прочих тел небесных,
но увидавши раз, мы глаз не оторвём:
ей снится наша жизнь, дохнувшая сквозь бездны,
достигшая её своим скупым теплом.
Здесь в скрепах ледяных, снегами запорошен,
ветрами просквожён, лежит земной простор,
а в том далеком сне отчётливей и строже
сплетается судеб загадочный узор.
Здесь речка подо льдом полна заноз железных,
ушла в свою печаль, не помнит ни о чём,
но тонкий свет звезды, легко презревший бездны,
пронзил во всю длину мерцающий объём.
На нас глядит звезда, нам укрупняя зренье;
куда нас повлечёт неведомым путём
холодный этот луч и света дуновенье?
В светящейся реке без берегов плывём,
на зыбкий этот луч, на этот свет тревожный,
жизнь бесконечна и — в одном мгновенье вся.
Куда глядит звезда? Куда спешит прохожий,
дыханья ломкий куст сквозь стужу пронося?

СВЕТ

Ире

Осенний день, но осень
сдает свои права.
Иней словно проседь,
ломкая трава.
И воздух словно взвешен,
и постепенно в нём
над полем опустевшим,
за глиняным бугром
нетронутые ветром,
из одного куска
все в переливах света
вспухают облака.
Неярок он и млечен
свет тот неземной,
словно мир подсвечен
грядущею зимой.

НОЧНАЯ ГРОЗА

С тоскою кочевья,
с натугой корчевья,
томясь электрической силой сухой,
касалась губами верхушек деревьев,
на крыши вставала босою стопой.
Куда-то всходила, держась за перила,
уступы и арки в себе громоздя,
изломанной молнией вдруг осветила
блестящие мышцы дождя.

***

Сутулый поплавок в воде увяз по плечи,
намечен чуть пейзаж откосов и лугов.
Какой-то ночедень — не утро и не вечер,
запаяна вода по кромке берегов.
Откосов и лугов, узлов и тайных петель
не отразит вода недвижимой реки.
Все снасти, все крючки, все невода, все сети,
насторожившись, ждут — все снасти, все крючки.
Всё сбудется, придёт, всё вновь на место встанет,
забудется, уйдёт и унесёт с собой,
останется, пройдёт… О, это трепетанье,
удилище творца согнувшее дугой.

***

Вдоль по обочине грязи брильянты,
мёрзлых полей домотканых холстина,
солнце сквозь облако, как у Рембрандта
крепкая пятка блудного сына.
Манят поля, эти пажити, просеки,
красный, немного всплакнувший суглинок,
венецианские синие проблески
с охрой голландской, фламандским кармином.
Было легко и с водою проточною,
с ветром от стужи сутулым и пьяным.
Время струилось часами песочными,
жизнь прошуршала по колбам стеклянным.

Всё позади — и вокзалы и палубы,
угли костров, и остывшие клятвы
на горизонте леса словно жалобы —
так же случайны и также невнятны.
В общем, ни прибыло жизни, ни убыло,
да и неважно, чуть больше, чуть меньше,
чтобы в хламиду отцовскую грубую
крепко уткнуться лицом помокревшим.



Григорий КАЛЮЖНЫЙ, Москва



***

Горька стезя расстроенного быта
Среди потерь и дорогих теней.
Я Русь люблю за то, что в ней сокрыто,
За то, что не избыть печали в ней.

Её поля, могилы и сугробы,
И храмы взору говорят, что здесь
Живёт народ печали, а не злобы,
И верит он, что правда в мире есть.

Его не раз обманывали воры.
Над ним трудились сонмы палачей.
О нём гремели яростные споры…
А он, как прежде, Божий иль ничей.

***

Холодное снежное поле,
А небо ещё холодней,
Никто не кричит здесь о воле
И вовсе не мыслит о ней.
Заезжий поежится нервно:
Народишко замкнут и хмур,
К тому же ругается скверно,
Но держит бурёнок и кур.

На окнах разводит герани,
Привычно, без всяких идей,
Он топит сосновые бани
И даже рожает детей.
Я спешно вернулся в столицу,
Как чудный герой на коне,
И словно попал в заграницу,
Чужую огромной стране.

Январь 1993 г.

***

Я сегодня защищён улыбкой,
Никакая зверь мне не страшна.
Над землёю, как над детской зыбкой,
Наклонилась полная луна.
Спит земля в сутёмах, как младенец,
Прозревая светлое во сне.
Звёзды блеском колыбельных пленниц
Будят весть о будущей весне.
Доживу ли до неё — не знаю,
Но в душе и тучки ни одной.
Я давно с погибелью играю,
Как играет с нею край родной.
Сонмы сёл, навеки разорённых
Для незваных гробовых гостей
Проводил я с грустью непокорных,

Испытавши всю тщету страстей.
Не иссякли всё же их истоки
В панихидах скорби и потерь.
Спит Земля. Грядут иные сроки.
Не страшна мне никакая зверь.
13 октября 1992 г.

***

Занавесили Божий лик,
Не сказали, что это значит.
Потеряло село язык —
Не кричит, не поёт, не плачет.

Поразъехались кто куда
Из насиженных мест крестьяне
В полоумные города,
Словно сели в чужие сани.

И явился голодный год,
Потекли ручейки исхода,
И узнал наконец народ,
Что таила в себе «свобода».

***

Ничего у Бога не просите,
Кроме Отчей сени и любви.
Ты уже, родная, — небожитель,
Я ещё — невольный сын Земли,
Одержимый лишь одной мечтою:
Тенью стать твоей в любой дали
И лететь в сиянье за тобою,
Чтобы разлучить нас не могли.

***

В этом городе всё заколдовано,
Хоть пройди за ступенью ступень.
В каждом доме, считай, упаковано
До десятка больших деревень.

Но вокруг не увидишь ни семени,
Ни сердец, прозревающих ввысь,
Словно люди без роду, без племени
На скрещенье путей собрались.

Слышу песнь в глубине мироздания:
— Вечной памяти вечный покой…
И вопрос, как его отрицание:
— Что здесь делаешь? Кто ты такой?



***

Это дружба, но не братство —
Света нет, но не темно.
Нелюбовь — не святотатство —
Так решили мы давно.

Нет креста над изголовьем,
Не дарил ты мне кольцо.
Но, спасаясь нелюбовью,
Как смотреть любви в лицо?

***

Белый храм и небо голубое,
Нового Завета старый том —
Предвкушенье вечного покоя…
Что душе приблудной толку в том?

Обещала не грешить отныне —
Снова опустилась ниже дна.
Сколько грязи льётся здесь, в долине,
Что вершинам девственным видна!

Но, коптя, душа не погасает
В твёрдом знанье: жизнь моя — мой крест.
Почему Христос не воскресает
В этом сердце, если Он воскрес?

***

Надо встать, занавесить окно.
Злое солнце над нами смеётся —
Никогда не видало оно
Столько тьмы в этом мире под солнцем.

Надо думать, и завтра взойдёт,
Вновь прольются лучи золотые.
Не печалься, и это пройдёт.
А сегодня мы просто живые.



Андрей КАНАВЩИКОВ, Великие Луки, Псковская обл.

УЧИТЕЛЬ

Для неучей в оценках стоек,
Когда их знания малы,
Ученикам не ставлю двоек,
Пишу всегда в журнал колы.

Я верю, что души задворки
Не поздно к свету двинуть вспять,
Колы в журнале на четвёрки
Легко потом переправлять.

БОМЖ

Давно изжёван, смят и сник,
Вонючий дух за ним струится шлейфом,
Бредёт нелепый юноша-старик
В одной одежде: что зимой, что летом.

Давно ушла причин и следствий связь,
Но машинально, с давней жизнью в смычке,
Он, прежде чем присесть в земную грязь,
Газетку подстилает по привычке.

НЕДОТЫКОМКА

В Иванову ночь, предварительно рухнув с дуба,
Пришла, не стучась и не снимая сапог,
Великолукская Недотыкомка Фёдора Сологуба,
Провинциальных пьяниц и упырей божок.

Пьяно покатывалась в мятом борщевике,
Икала лягушачьей захлёбывающейся икотой,
А потом сгинула, даже не сказав «о'кей»,
Словно оборванная ударом бутылки нота.

От ругани оглохшие, еле успев изнемочь,
С разбитыми рожами лихо плясали на святцах,
И понимали: была бы немного длиннее Иванова ночь,
То никому бы рассвета уже не дождаться.

ИЗБА

Как завещали нам отцы,
Рубили избы на века.
Просели нижние венцы,
Но дом стоит ещё. Пока.

Он в землю врос, как свой народ,
Не вечен в поле даже дуб,
Ещё и крыша не течёт,
Но покосился древний сруб.

Просел отцовский материк
До самой матушки-земли,
К сырой низине сруб приник,
Размякли брёвна, отошли.

Его забыли в кураже,
Где мир — давно уже борьба,
Стоит живая, на меже,
Но обречённая изба.

Ввысь поднимается трава,
Чтоб всё закрыть в один из дней,
Ещё жива, уже мертва
И оттого ещё больней.

Лишь иногда притормозит
На серебристом БМВ
Хозяин края и глядит
На брёвна мокрые в траве.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Качнулся неба тяжёлый жернов,
Перемалывая стволы берёзок-костей,
Меня убили даже не подо Ржевом,
А в каком-то болоте, на какой-то версте.

На безымянной высотке, не обозначенной на карте,
У какой-то тропинки, где железнодорожный тупик.
Думал, не дамся, да не вышло фарта,
С разбега навечно к земле я приник.

Плюхнулся в лужу у самого болота,
Мы штурмовали высотку, нам сказали «Пора»
И фриц скосил меня тогда из пулемёта,
Бегущего с сапёрной лопаткой и с криком «Ура!».

Политрук говорил: «На подходе новые тыщи,
Резервы готовы и нужно лишь простоять чуть-чуть».
Их я не видел, только захлебнулся в кровище,
Землёй затыкая разбитую грудь.

Без слёз и поминок, умер сразу на месте,
Никого не спас, не добежал, никому не брат.
Матери вышлют бумажку, что пропал я без вести,
Вещи поделят соседи, комнатушку жильцы уплотнят.

Был и не был, что в голом остатке
До того, как качнулись в глазах деревца?
Пробежал пару метров с сапёрной лопаткой,
Да и те не успел пробежать до конца.

Говорит мне трава: «Не грусти, не напрасно
Ты погиб, ты — герой, ты остался в пучине атак».
Шелестят мне берёзы: «От тебя наше небо так ясно».
А чего мне ещё остаётся. Пусть так…



БАХЫТЖАН КАНАПЬЯНОВ,
Алма-Ата, КАЗАХСТАН

***

Тебя звали Алма*,
тебя называл
половиной
зелёного города,
имя твоё
торопливой строкою кассира
вписывалось
в голубой бланк
авиабилета,
когда к тебе я спешил,
ты шутила при встрече:
— Парень, не так переводишь,
меня звать — «не бери».
Имя моё,
что плод,
на который
наложен запрет.
Не так переводишь,
парень,
э, не так.

** Алма (каз.) — яблоко, второе значение — «не бери».*

НЕГАТИВ (ДОЦИФРОВАЯ ЭПОХА)

Засняли — мелькнули шторки.
Фотограф седой — учтив.
Быть белой душою в плёнке,
Когда она — негатив.

В скрытой камере виден каждый,
Всё вобрал в себя объектив.
Но белой душою в стоп-кадре
Обозначится негатив.

Знать,
раньше иного срока
Перед всевидящим оком
Грехи небесами отпущены.
Душа моя
белая
сушится,
Плёнкою
свесясь
раскрученной.
Где белой души мгновения
Преломлялись сквозь призмы,
Период пройдёт проявлений
В лабораториях жизни.

И вот вам — цветной портрет.
А белого света — нет!

ВСТРЕЧА С ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ

Тебя не зная наяву,
твоё я чувствовал дыханье.
Дышала почва сквозь траву,
небесный облегая камень.
И к месту встречи подойдя,
на листьях пробудившейся берёзы
Блестят не капельки дождя —
пришельца человеческие слёзы.

***

То день, то ночь
Моей клавиатуры.
Но — ты вошла
В мой небольшой сюжет.
Твои зрачки,
Как ноты партитуры —
В сонате

Под названьем
Белый свет.

До смутного
Дотронешься лица —
И не найти
У повести конца.

То — день, то — ночь.
Тома литературы.
И — некто
Переходит в персонаж.
На шахматной доске
Рассыпаны фигуры,
И — разрушает
комнату
Трельяж.
Вновь не найдёшь
У повести конца —
До смутного
Дотронешься лица…



Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА, Кострома



***

На твоей земле мой застенчив след.
Вот он есть пока… Ан гляди — и нет:
То ли ветер стёр, уходя в покой,
То ли кто-то шёл позади другой…
Пред тобою быть — век в тени стоять!
Но пришла к тебе… И приду опять.

(Из цикла «В Михайловском»)

11 августа 2017 г.

***

В осеннем небе стаи птиц
Под жёлтой сенью света,
Как стаи вырванных страниц
Из книг весны и лета.

Ещё тепло… Но с каждым днём
Тоскливей ожиданье
Поры, охваченной огнём
Холодного дыханья…

Сентябрь 2018 г.

***

К седьмому вдруг похолодало.
И снег рождественский, кружась,
Белил и старый люд, и малый,
Дома и смёрзшуюся грязь.

Он шёл, безмолвствуя, повсюду
И был в сознании людском
Ничем иным, а Божьим чудом
В своём явлении простом.

14 января 2018 г., Кингисепп

***

Сегодня утром птичья стая
Не вьётся шумно у окна.
И тишь стоит кругом такая,
Что мнится всё виденьем сна.
И груз тоски в молчанье нашем
Не легче каменной плиты…
О, как ты страшен!
Как ты страшен
Покой грядущей пустоты.



Александр КАРПЕНКО,
Москва

ДОМОЙ С ВОЙНЫ

Из земли, изувеченной
язвами мин,
Измождённые, злые как
черти,
Ветераны боёв
возвращаются в мир
На правах победителей
смерти.

И не скажут вам метрики,
сколько нам лет:
Так случилось —
на высях сожжённых
Прикоснулись мы к вечному
миру, где нет
Победителей и побеждённых.

Вот поднялся наш лайнер,
мы вышли в зенит,
Жизнь и смерть — мы
раздвинули грани!
Только на север, на север
,
А душа остаётся в Афгане.

И, преследуя солнце,
мы рвёмся домой —
К нашим семьям, по нам
тосковавшим, —
А над выжженной солнцем
афганской землёй
Наши души вселяются
в павших.

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КОСМОС

Проснувшись в тиши спозаранку,
Я космос надел наизнанку.
И тотчас из комнаты вышел,
Внезапными звёздами вышит.

Таинственным высвечен знаком,
«Себя обволок Зодиаком»*.
И космос свернулся в клубочек
Из маленьких трепетных точек.

Я ложкой помешивал чайной —
И всё это вышло случайно.
Кренились столетья откосно,
И жёг перевёрнутый космос.

Почуял на темечке ранку.
«Я космос надел наизнанку!»
Как больно… но вижу я выше,
Бездонными звёздами вышит.

** «Себя обволок Зодиаком» — фраза принадлежит Андрею Белому.*

МОЛИТВА

«Ты услышь меня, Господи, Отче наш,
Ведь погубишь ты душу свою», —
Весь в крови, я стонал на обочине,
Позабытый друзьями в бою.

«Не пристало идти тебе в зрители,
Вспомни только Себя на кресте,
Ведь найдутся за павшего мстители», —
Возопил я в глухой черноте.

Мне ответило марево грохота,
И тогда, средь огня и песка,
Я возвысил свой голос до шёпота —
И меня услыхали века.

ВЕТЕР

А
Н

Валерию Горбачёву

Ветер мало печётся о ранах.
Лишь стаккато бутылки в стаканах,
Да застенчивый чайник осипший —
Словно соло живых о погибших…

Захлебнутся рыбацкие лунки
Непрозрачною горечью рюмки.
Перекусит волна океанов
Всю перкуссию гулких стаканов!

Так неужто и вправду мы в силах
Вновь вернуть к нам товарищей милых —
И призвать, как волшебную строчку,
Тех, чьей жизнью живём мы в рассрочку?

Тонкий мир между ними и нами
Станет тоньше, отпетый ветрами,
И взлетят голосящие очи
По наточенным лезвиям ночи,

И замрёт, окликаясь на имя,
Эхо встречи меж нами и ними.

***

Что наши дни? Судьбы заём,
Пусть даже лиц не повторяем,
Смертью друг друга мы живём,
Жизнью друг друга — умираем.

Мы на войну пошли вдвоём.
Он спас меня, в огне сгорая.
Смертью друг друга мы живём,
Жизнью друг друга умирая.

Всё, что сбылось, что не сбылось,
Всё, что случится в мире с нами,
Священный гул метаморфоз —
Нездешними навеян снами.

Век силуэтом встал в проём.
Что мы в сердцах ни вытворяем!
Смертью друг друга мы живём,
Жизнью друг друга — умираем.



Вячеслав КАРТАШОВ,

Нижний Новгород

***

В мареве летних полдней
голосом незнакомым
осень зовет меня тихо.
Чувствую — это она.
Непроходимой болью
копится в горле комом.
Странно душе и дико,
хоть и нельзя не знать.
Тянется ночь к восходу.
Клонится жизнь к закату.
Время посеет камни —

вызреют сон и явь.
Зной или непогоду,
гул громовых раскатов…
Внемлю.
Ты так нужна мне,
краткая жизнь моя.

***

Мутное утро
в долины стекает с небес,
стелется мелкопузырчатой пеной тумана.
Сладко в груди от того,
что мне холодно здесь.
Жарко в душе.
И от этого больно и странно.

Искренне видеть
и не умиляясь любить.
Много ли счастья в пустом созерцании?
Чувствовать кожей,
как солнце выходит в зенит.
Вечной дорогой пройти в никуда ниоткуда.

…Мутное утро росой растеклось по траве.
Небо светлеет,
из серого сделавшись синим.
Кто-то слегка прикоснулся к моей голове.
Я оглянулся
и понял,
что
это — Россия.



Светлана КЕКОВА,
Саратов

***

Тянет с севера тленом и холодом,
подо льдом цепенеет река,
и опять над разрушенным городом
кучевые плывут облака.

Проплывут над столицею древнею,
над зубчатой кремлёвской стеной,
над заброшенной русской деревнею,
над огромной усталой страной.

Равнодушное небо безбрежное,
этот синий воздушный простор,
бороздят облака — белоснежные,
как вершины невидимых гор.

Злого времени ветер пронзительный
над тобою не властен, пока
в неземной красоте ослепительной
над Россией плывут облака,

очертанья меняют, колышутся,
и, покуда не кончился день,
как бесшумно, стремительно движется
по земле их летучая тень!

***

По утверждению историка,
весь мир стремится стать руинами,
всё остальное — блажь, риторика,
борьба ацтеков с бедуинами.

А с точки зрения алхимика,
любой металл — больное золото,
жестикуляция и мимика —
лишь следствие любви и голода.

По убеждению лунатика,
любая ночь — как математика,
где звёзд немое копошение
готовит верное решение.

Снуют по миру, словно гномики,
в погоне за большими числами
банкир, профессор экономики,
удачливый торговец смыслами,

и гибель лета в шубе лиственной,
и Гоголь в сюртуке набоковском,
и мой печальный друг единственный,
что утонул в стакане блоковском.

Бегут большевики с эсэрами,
стоят составы под Царицыным,
и только вопленицы с серыми
от сдавленного крика лицами

стоят у кладбища просторного
от моря Белого до Чёрного,
от океана Ледовитого
и до стакана недопитого…

***

Миску с красною чечевицею
снова жадно схватил Исав —
и Россия с её столицею
Богом взвешена на весах.

И бесстыжие, безобразные
бесы вновь сорвались с цепи —
кони рыжие, кони красные,
кони мечутся по степи.

Сердце сделалось белой птицею
и, рыдая, летит на юг…
Убивают Царя с Царицею,
и Детей их, и верных Слуг.

В дни июльские, в дни январские
стала красной, как кровь, заря.
Если б были мы слуги царские,
мы б спасли своего Царя.

Штык наточен и ямы вырыты,
спит Россия во власти тьмы,
и её убивают Ироды,
а в убийстве виновны мы.

Мы заплатим за всё сторицею,
чтоб душа не была пуста…
Как нам жить без Царя с Царицею,
без молитвы и без креста?

***

Небо вечером в звёздном инее,
спит Россия в туманной мгле…
Расцветают, как звёзды синие,
незабудки по всей земле.

Церкви Божии обезглавлены,
навсегда осквернён алтарь…
Но уже в небесах прославлены
Слуги, Дети, Царица, Царь.

О, какие страданья вынесли
вы во имя святой любви!
И небесные храмы выросли
незабудками на крови.

***

Мирно в озере плавают уточки
под покровом зелёной листвы,
и звучат ядовитые шуточки
на «Дожде» и на «Эхе Москвы».

Сколько там удивительной братии!
Мечут камни в чужой огород
и вещают врагам демократии
про отравленный рабством народ.

Только катится жёлтой горошиной
солнце Крыма, как призрак беды,
и трагический профиль Волошина
виден рыбам из чёрной воды.

АММОНИТЫ

Станиславу Минакову

«Стыдно быть богатым и знаменитым» —
Так сказал однажды один поэт.
И слова, подобные аммонитам,
мы из недр скалы извлекли на свет.

В них пространство движется по спирали,
но не слышит мир их благую весть…
А когда-то русские умирали
за Отечество, Веру, Царя и честь.

Есть у слов тела и святые лица,
если мы их видим — мы не умрём,
и покуда новая чернь глумится
над Отечеством, Верою и Царём,

в тяжком мире мрамора и гранита,
в неподвижной, чёрной, глухой скале
я лежу подобием аммонита,
чтобы стать подобием динамита
и продолжить спор о добре и зле.



Михаил **КИЛЬДЯШОВ,**
Оренбург

В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ

Мы теперь не знаем, что нас ждёт:
Мы который день не видим суши,
Мы кричим: «Спасите наши души» —
Отпускаем ворона в полёт.

Ни к чему нам плуг или соха,
Пусть вода запомнит наши лица,
Если не сумеем расселиться
На земле, свободной от греха.

Молим о случайном островке,
Словно о великом Божьем даре,
Не беда, что твари — все по паре —
Говорим на общем языке.

По воде никто здесь не пройдёт,
Ворон не достиг заветной суши,
Шёпотом: «Спасите наши души» —
Голубь устремляется в полёт.

Господи, помилуй, просветли!
Позабудем про вражду, про битвы,
Обещаем выучить молитвы,
Если доберёмся до земли.

Мы своим предчувствиям верны,
Мы в скитаньях стали молчаливы…
Голубь — в клюве веточка оливы —
Значит, наконец-то спасены.

СПАС

Яблоко, мёд и хлеб,
Господи, дай в дорогу.
Всякий скиталец слеп,
Если не верит Богу.

Что ожидает нас,
Если утратим корень?
Боже, Твой кроткий Спас
Дивен, нерукотворен.

В райском вздохнём Саду —
Трапеза ждёт на небе:
Миро в Его меду,
Тело Христово в хлебе.

***

Палачи всегда опаздывают.
Свмч. Иларион (Троицкий)

Меч бессилен, заложенный в ножны,
Будь ты в праздности или в труде,
Ведь шаги распознать очень сложно,
Если кто-то идёт по воде.

Я Его приближение слышу
В полусне или полубреду,
Как расслабленный, я через крышу
Путь к Спасителю всё же найду.

Укажи, где святая дорога
И молитве меня научи,
Говорят те, кто веруют в Бога,
Что опаздывают палачи.

Опоздали они на Голгофу,
Опоздали они в Вифлеем,
Напророчили нам катастрофу,
Но сюда не придут ни за кем.

***

Помнишь, мы уходили в поход,
Нам места приготовили в склепе,
Неумело, штыками вперёд,
Одолели мы горные цепи.

А по спинам бежит холодок —
Ощущение пятой колонны,
Словно рыбы попали в садок,
Наши боги к врагам благосклонны.

Не хватает над сердцем щита,
Как пульсируют наши аорты!
Боевая идёт нищета
На войну против мощной когорты.

Древком знамени вооружён
Новый житель фамильного склепа,
Не учите слезам наших жён —
Предкам это казалось нелепо.

***

Я знаю, мы с тобою в силе
Сражаться хоть когда, хоть где,
Нам даже голени дробили,
Чтоб не ходили по воде.

Я знаю, ты устал от битвы,
Как на полях от саранчи,
У нас для жатвы только бритвы
И раскалённые мечи.

Но если диким страхом болен —
С небес на землю не смотри,
Так с подожжённых колоколен
К врагам бросались звонари.

Тебя я в схватке не покину,
За дрожь в ногах не прокляну,
Но ты стрелу получишь в спину,
Когда окажешься в плену.



Руслан КИРЕЕВ,
Москва

ПОСЛЕДНЯЯ КОМНАТА

Гуляя в предосеннем парке,
Вдруг осознал в закатный час,
Что судьбоносные подарки
Судьба мне делала не раз.

Увидел явственно развилки
Больших и маленьких дорог,
Но кто-то в ложной предпосылке
Мне выбрать верную помог.

Она петляла, но не падок
Я был на искусы. И вот
Я разменял восьмой десяток.
Я у кладбищенских ворот.

Так что же нет в душе покоя?
Что зябко так? Я весь продрог…
За что мне выпало такое
По истечении дорог?

Нетерпеливей всё и чаще
Я апеллирую к судьбе.
Молчит сурово. Не прощает
Неблагодарности к себе.

***

По радио Алла Демидова
Читает в условленный час
Стихи, а я тихо завидую,
И это не в первый уж раз.

Завидую тону и паузам,
В которых её как бы нет.
Искусству искусно рассказывать
Про тот удивительный свет,

Какой излучался поэтами…
С иными и я был знаком.
Любил их стихи, и поэтому
Держал язычок под замком.

Ну мало ли кто с кем общается
И водку с кем выпало пить!
Глухою душа притворяется,
Восторгом боясь оскорбить.

Когда понимают, то равными
С поэтом становятся те,
Кто чувствами самыми главными
Способны внимать красоте.

Да, равными… Славно и весело!
Но правило не для меня.
Оно-то замок и навесило…
Ну что же я им за ровня!

Судьбу не смущаю обидами
И вряд ли чей вызову гнев.
По радио — Алла Демидова.
Я слушаю, осиротев.

***

Мой дом похож на склеп.
Вокруг сплошная тьма,
Как будто я ослеп
Или сошёл с ума.

Не слышу даже вздох,
Что испустил впотьмах,
Как будто я оглох
Иль превратился в прах.

Играя и звеня,
Жизнь будет колесить,
Но некому меня
Из мёртвых воскресить.

Бывают чудеса,
Однако не со мной.
Кому-то — в небеса,
А кто-то — в перегной.

Но даром не исчез:
Ведь не изобрели
Как тверди без небес,
Так неба без земли.

***

Мы в комнате последней. Из неё
И ты, и я шагнём в небытиё.
Кто раньше, а кто позже — не дано
Нам знать такого. Да и всё равно…
Преобразится комната в момент —
Один лишь в ней останется клиент.
Вот именно: клиент, а не жилец,
Вдова ли это будет иль вдовец.
Преобразятся комната и мир,
В котором столько лет прожили мы.
Другое солнце будет в нем светить,
Другие люди будут в нём ходить,
И незаметно будет среди них
Безмолвное отсутствие двоих.

***

«Какое счастье…» — ты сказала,
Губами двигая едва.
Круги больные под глазами…
Растрепанная голова…

Я подаю тебе лекарство,
Готовлю легкую еду
И, как избранницу на царство,
Под ручку в ванную веду.

А ведь иным бывало счастье:
Друзья и споры до утра,
И выход книг, и лес в ненастье,
И разговоры у костра,

И сумасшедшие поездки
Почти без денег, на авось…
А как в гостинице одесской
Нам замечательно жилось!

Как в рубашонках наши дети
Скакали с визгом по тахте,
Когда уже при лунном свете
Мы возвращались от гостей!

Как мы плескались с ними в море!
Как ёлку наряжали мы,
Ликуя, празднуя и споря
Средь новогодней кутерьмы!

О счастье размышляли мало.
Зачем? Когда-нибудь потом…
Но час пришёл, и ты сказала:
«Какое счастье! Мы вдвоём».



Алла
КИРИЛЛОВА,
Оренбург

***

Уходит день, принесший пустоту,
Прощальный луч скользит по крышам
белым,
Я снова не поверила в мечту,
В твои слова, написанные мелом.

Написанные веткой на снегу,
Кометою шальной на небе тёмном.
Я не поверила. Бреду одна в пургу.
Чужая в белом городе огромном…

***

Благословляю день вчерашний,
Его дразнящий шум и блеск,
Когда легко уют домашний
Меняла на осенний лес.

Там воздух был и чист, и ясен,
Костров осенних едкий дым
До срока спал. И мудрый ясень
Дождём всё сыпал золотым.

И отражались в редких лужах
Грачи, кричавшие: «Прости!».
Их черный взгляд, уже не нужный,
Мне предстояло унести

В домашний мир, меня лишивший
Свободной, радостной мечты…
Благословляю наступивший
День зимний, день с названьем «Ты!»…

***

Хочу, чтоб дом мой стал невидимый
На день, на год, на много лет,
И тот, кого вчера обидели,
Нашёл убежище и свет.
А рядом с домом — белым облаком
Грушево-яблоневый сад
Цвёл буйно так, и так по-доброму,
Скрывая тех, кто скрыться рад.
И небо синее, прозрачное,
За садом — быстрая река,
Чтоб уносила мысли мрачные
В далёкий край наверняка!
И я под шум листвы загадочной
Уснула, зная наперёд,
Что в моём доме, доме сказочном,
Усталый путник отдохнёт.

***

Сяду, себя пожалею,
Выключу в комнате свет…
Ржаво течёт батарея —
Водопроводчика нет…
Хлюпает пеною ванна,
Выкипел чайник давно…
Женское счастье обманно,
И беспощадно оно!



Виктор КИРЮШИН,
Москва

СТАРОЕ ДЕРЕВО

Красное зарево, логово зверево,
Ворона в чёрном на мёртвом суку…
Старое дерево, старое дерево
Всё повидало на долгом веку.

Радость — негаданна, горе — непрошено.
В небе растаяли дни — журавли.
Как тебя гнули ветра заполошные!
Гнули да только сломать не смогли.

Варится варево, мелется мелево —
Вечности неистощимая снедь.
Старое дерево, старое дерево
Снова надеется зазеленеть.

Свежей корой затянуло отметину
Молнии, плоть опалившей твою.
Слышишь, за речкой кукушка ответила
Юному, в неге любви соловью?

Кроне густой благодарны, как терему,
Птицы, птенцов сберегая в дупле.
Старому дереву, старому дереву,
Господи, дай устоять на земле!

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н. И. Тряпкина

Люди не ходят,
А травы к поэту пришли,
Следуя зову приятельства и простодушья.
Немудрено украшенье могильной земли —
Мята, кипрей, одуванчик да сумка пастушья.

Ты укрощал табуны полудиких словес
И приручал своевольную птицу гагару…
Что там теперь с неулыбчивых видно небес?
Тяжко ль молчания вынести вечную кару?

Крест потемневший доверчиво обнял вьюнок.
В гуще крапивы дождя мимолётного блёстки.
Славный поэту природа соткала венок —
Хвощ да осот,
Сон-трава да кукушкины слёзки.

Люди больны,
Времена безнадёжно глухи.
Я бы и сам не поверил в наивные сказки,
Если б не знал,
Как растут из забвенья стихи —
Чертополох, василёк и анютины глазки.

***

Округу чуть припорошило
И снова хочется туда,
Где вяз, как многорукий Шива,
Застыл у спящего пруда.

Где за озябшим перелеском,
За полем вымокшей стерни,
В промытом воздухе
Нерезком
Мерцают редкие огни.

Предзимья скудное убранство
Скрывает, смутные пока,
Необозримые пространства,
Непостижимые века.

Дорога видится сквозь сырость
Едва до первого столба…
России всё дано на вырост:
Земля, история, судьба.

ПОПУТЧИЦА

Вдвоём полсуток едем.
Читает, взгляд тая,
Несклонная к беседе
Попутчица моя.

Состав идёт рывками,
Как будто дышит так,
И ложечка в стакане
Позвякивает в такт.

Сидит, поджав колени,
Склонив лица овал.
А за окном сирени
Неукротимый вал.

Неведомая птица
Туманностей иных
И ничему не сбыться
Из помыслов шальных.

Нашла коса на камень
И камень не винит.
А ложечка в стакане
Звенит, звенит, звенит.

ХОРОШО!

Тянет гуж провинция глухая,
Ни о чём столицы не моля.
Хорошо, что сыплет, не стихая,
Белый снег на чёрные поля.

Быть большой воде и урожаю,
Льду речному рваться на куски…
Хорошо, что больше не сажают
За случайный трёп и колоски.

Яблоня, озябшая, в окошко
Постучит, мечтая о тепле…
Хорошо, что в подполе картошка
И она же вечно на столе.

Хорошо, что золотятся дали
И весною аисты кружат
Над избой, где дедовы медали
За божницей строгою лежат.

Первые в застолье и артели,
Без отказа — только позови…
Хорошо, что не разбогатели
На чужой недоли и крови.

Подавать не брошена привычка
И врагу разбитому не мстить.
Хорошо, что церковь-невеличка
Всех принять готова и вместить.

Хорошо, что подрастают дети
С чистою и ясною душой.
Просто жить на этом белом свете
Необыкновенно хорошо!



Григорий КИСТЕРНЫЙ,
Брянск

***

Вслед за жестом прощания — долгий волнительный взгляд,
Как попытка запомнить тебя, в каждый шорох вникая,
Как в волшебном кино, прокрутив киноплёнку назад…
Ты уйдёшь всё равно, на себя эту жизнь замыкая.

Сотни раз повторяя всё то, что уже не вернуть,
Лишь частичку тебя разгляжу я в своём отраженье:
Не упасть, не разбить, не дышать на стекло, не спугнуть,
Повторяя с тобою знакомого танца движенье.

Улыбаешься ты, и неслышно слетают слова,
И ответным движеньям моим может быть нет причины.
И как будто к ладоням твоим прикасаясь едва,
Ощущаю лишь холод и чёткость сомкнувшихся линий.

Но неверная дрогнет рука и потупится взор,
И рассыплется вдребезги зеркало, павшее с полки,
И услышу вдогонку знакомый до боли укор,
Выметая из памяти жизни разбитой осколки.

***

Былое вспоминается, горит,
Вгрызаясь в душу, не предупреждая.
Она о павших воинах скорбит,
Вокруг пространство болью обжигая.

И боль, консолидируя народ,
И жгучие трагические ноты
Вскрывают наш пассионарный код:
Чем хуже нам, тем ближе к нам высоты.

На обнажённом фоне бытия —
Предвестники грозы — чужие лица…
Не против них вершится лития,
А против бурь, чтоб в мир щитом явиться!

И каждый раз всё шире крестный ход,
И жаркие сердца единоверцев
Срастаются в дороге на восход
В большое человеческое сердце.

Оно и там, где есть бессмертный полк
В одном потоке разных поколений.
И если голос памяти не смолк,
Никто нас не поставит на колени.



Александр КЛИМОВ-ЮЖИН, Москва

ПЯТЫЙ РОМАНС

Надежде Сосновской

Ваяет облака рукой незримой холод,
У моего окна сижу я до темна,
Внизу шумит Москва, но я не вижу город
Из моего окна, из моего окна.
Из моего окна шум улицы несносен,
И только днём видна поблекшая луна;
Я видел столько зим, я видел столько
вёсен
Из моего окна, из моего окна.
Из моего окна я вижу в небе точку,
И тянется за ней инверсионный след,
А самолёт проткнул, как шарик, оболочку,
А лётчик улетел в Итаку на обед.
Из моего окна, как рыбы на призоре,
Ныряют дни и вспять уносит их волна.
Я помню эти дни, и тень крыла над морем
Из моего окна, из моего окна.
Из моего окна день чист и светоносен,
Синее синева, всё глубже глубина, —
Не обмануть меня, я знаю — это осень
Из моего окна, из моего окна.
Натянута струна: всё б зрелищ нам да
хлеба,
И жизнь моя в окне ночном отражена,
Что если никогда я не увижу неба
Из моего окна, из моего окна?..

***

С. Попову

Внепланово, с инсультом, без страховки,
Хоть в памперсах, но мыслящий тростник,
Мой добрый друг лежит на Пироговке
И русский учит заново язык.
Он здесь притормозил на автостопе,
Как Гарпократ, беспомощен и нем,
Но умственно в нём, как в калейдоскопе, —
Ковёр, чередование фонем.
В палате день не скоро умирает,
Уходят сёстры белые, тихи,
Всю ночь он трудно флексии склоняет
И вспоминает Маршака стихи.
Глаголы, существительные… тише,
(Молчит пресуществление времён),
Всё знающий, до срока позабывший,
На всякий случай всё же причащён,
И этим успокоенный отчасти.
Где, где его мучитель логопед!
Уж он то знает то, что у причастья
В недавнем прошлом будущего нет.
Вот стул, вот стол, коляска-колесница,
Окно, рассвет и дальше за окном:
Дорога, дом, деревья, ветка, птица,
Больница, завтрак, крыша, небо, дом.
Как просто всё, но непроизносимо,
В чернильницу погружено перо:

Окно, рассвет — он пишет без нажима,
А со стены глядит политбюро.
Пройдёт минуты две, и он очнётся
И передёрнет буквы в кадыке:
Как тесно слово в горле птахой бьётся,
Родная речь дрожит на языке.

***

Ещё не смолкнул гром, раздался треск.
Огромный дуб на запад завалился —
И за спиной его сомкнулся лес,
И ливень получасовой пролился.

Как будто бы кончался человек,
(Я с ним всю ночь лежал в одной палате),
Он для меня остался имярек,
Истёк, но стрелки шли на циферблате.

Я дерева застал последний миг,
Последний вдох, как облако аморфный
Пунктир его, мне вспомнился мужик,
Как он кричал, выпрашивая морфий.

Как он кричал, выпрашивая жизнь,
Все двести тысяч листьев так кричали;
Так я б кричал (не помню), окажись
Лет шестьдесят назад в своём начале.

***

Солнце нынче ярко, словно дискос,
Куличи идут святить весной
Люди, вот за здравие записка,
Вот ещё одна — за упокой.
Сверху вниз пройдусь не раз по списку.
Все ль моей рукою внесены?
Те, кто рядом, кто со мною близко,
Кто, увы, не дожил до весны.
Нет друзей и родственников бывших.
Взвешенных по Божьему суду,
Я люблю их, на земле отживших,
Будь они в раю или в аду.
Боже правый, Боже милосердный,
Души их спаси и защити,
Чтобы дьявол корчился, и черти
Жарились на Пасху до кости.
Пусть изыдут, пусть паскуды знают,
Как моих друзей в аду пытать,
Пусть они, как смертные, страдают.
А в раю чего ещё желать?!
Будет так, я сгину и воспряну
С литургией хлеба и вина.
За Петра, за Дмитрия, за Анну,
И ещё два раза за Петра.
Всепрощенье, райские вам кущи,
Все былые распри — ерунда,
И, конечно, помяну живущих,
Чтоб не умирали никогда.

***

Грибок, надкушенный на вилке,
Доел и всё, что включено.
Допил на донышке бутылки
Четырёхлетнее вино.
Почал нетронутую водку,
Икрой намазал бутерброд,
И сам с собою пил в охотку:
«За тех, кто в море» — в Новый год
До дна, над участью их плакал,
Потом над участью своей
Закусывал и громко крякал,
Потом надрался до бровей,
Проснулся, запах сигареты —
Не закурить ли впрямь? Свят, свят!
Доел декабрьские котлеты,
И прошлогодний съел салат.



Юрий КЛЮЧНИКОВ,
Новосибирск

XX ВЕК

Памяти Н. С. Гумилёва

Я люблю этот век,
потому что он начат стихами,
карнавалами масок,
игрой коломбин и пьеро.
А ещё потому,
что срывал наши маски штыками,
что на кровь и на вес
измерял нашу суть и перо.
Я люблю этот век,
потому что ласкал нас свирепо,
и надежду таил
среди самых свирепых угроз.
А ещё потому,
что на прочность проверил в нас
Небо —
нашу верность Ему
и связующий с Вечностью трос.
Я люблю этот век
за его чёрно-белые страсти,
потому, что размазал
по стенке все полутона.
А ещё потому,
что любое ничтожество власти
долго терпит, но быстро
смывает со стенок страна.
Я люблю этот век,
потому что в нём жизнь свою прожил
и не мог не влюбиться
в его восхитительный лик.
А ещё потому,
что был сыном его, не прохожим,
что родное болото
всегда обожает кулик.

13 февраля

МОЛОДЫМ

Поучать не хочу,
жизнь сама вас научит:
обломает рога,
шоры с глаз уберёт.
Есть у каждой эпохи и солнце, и тучи,
есть у каждой души свой крутой поворот
или вверх, или вниз,
остальное — детали…
Вон Георгий опять поднимает копьё.
Мы Россию в боях никому не отдали,
вы на ваших торгах не продайте её.

***

Не за тем, чтоб с грехами расстаться,
Не для праздных томлений души
В оны веки к пустынникам-старцам
Наши гордые прадеды шли.
И какой-нибудь грозный воитель,
Весь в былых и грядущих боях,
Перед тем, кто жука не обидит,
На коленях смиренно стоял.
Темнота? Суеверье? Юродство?
Или мудрый завет старины-
Напитаться святым благородством
Перед варварским делом войны?
Чтоб любовь и во мраке дышала,
Чтоб в жестоких трудах бытия
Возвышалась, добрела, мужала
Дорогая Россия моя.

1984

***

В памяти застрял светло и немо
Ласковый осколок тишины —
Синее саратовское небо
Самых первых месяцев войны.
Есть ещё там зарева полночные,
Огненные прочерки наверх
И барак соседский развороченный,
Точно в клочья порванный конверт.
Паровозный дым густой и чёрный,
Долгий путь,
налёты,
крики,
рвы.
А за Волгой вылетают пчёлы
Не из туч,
Из листьев, из травы.
Тихие цветочные пожары,
Жаркой дымкой сломанная даль…
Ничего прекраснее, пожалуй,
Никогда на свете не видал.
Что ещё?
Покос июньский помню,
Дальних молний частые броски.
Почтальон привозит прямо в поле
Призывные серые листки.
Медленно уходят полудети
В полутьму
с медовой полосы.
Тишина.
Над нами солнце светит,
А над ними сполохи грозы.
Небом этим, степью,
удивленьем,
Красотой,
упавшей в сердце мне
Я обязан маленькой деревне,
А выходит —
и большой войне.
С ними в грудь мою вошла Россия
Бабушкиной сказкой наяву
И косой тяжёлой,
Что косила
Только что подросшую траву.

***

Звенит печаль легко и строго,
И мужество звенит окрест.
Мне вспоминается дорога,
Военной музыки оркестр.
Коляски детские и танки,
Солдат и беженцев река,
И марш «Прощание славянки»,
И облака, и облака…
Струила музыка щемяще
Сквозь первых дней военных ад
Какой-то мудрый, настоящий,
Утерянный сегодня лад.
Летела праведно и строго
В неумирающий зенит.
Куда теперь зовёт дорога?
О чём старинный марш звенит?

1993



Сергей
КНЯЗЕВ,
Подольск,
Московская обл.

***

В ту осень были хороши грибы.
Бродили люди Кулундинским бором,
Где дятлы обалдели от пальбы
И комары жужжали тонким хором.

Грибы росли вразвалочку, толпой
Не очень плотной вместе собираясь…
Но вот пошел весёлый дождь слепой —
И люди стали думать, укрываясь

В хрустящие свои дождевики:
«Зачем дождю внезапному над бором
Идти?..» Но приумолкли грибники,
Как вспомнили за бойким разговором

О том, что дождь слепой приносит
смерть —
Но что поделать с этим знаньем древним?
Дождь кончился. Решили посмотреть,
В чей дом пришла беда. А по деревне

Шёл дурачок и к людям приставал.
А люди шли и всё в наш двор глядели.
Сентябрьским утром умер дед Иван,
А я родился через две недели.

***

И снова всплывёт картина:
Висит в уголке икона,
И бабушка бьёт поклоны:
«Во имя Отца и Сына…».
Я слушаю, октябрёнок,
И думаю: «Слышать стыдно!»
А бабушка заклинала,
Колени не разгибая.
Слезинка с лица слетала,
А следом за ней другая…
Я знал, что она глухая,
Я знал, что когда-то стала
Вдовой. «И Святого Духа», —
Продолжит она молиться.
И печка жужжит как муха.
Засну я — и сладко спится.
А нынче — не те ночевья.
Чуть лягу — всплывёт картина:
«Зачем я живу, зачем — я?»
А кто-то всё шепчет в ухо:
«Во имя Отца и Сына,
Святого Духа».

***

Я заснул, и привиделись мне голоса —
Или ветер бездомный бродить поднялся
Между прожитым днём и грядущим?..
Голос матери тёк с незадутой свечи,
Тихий голос отца был песком, у ночи
Осторожно меж пальцев текущим.
Этой ночью два голоса были со мной.
Отражённые сирой родной стороной,
По душе моей медленно плыли
Два задумчивых голоса — воск и песок.
И волна прикасалась к ладье из досок,
Будто сказка досужая — к были.

***

Отчаянье от Радости поёт.
В воздушном теле птица Досвиданье
Воды попьёт и гнёздышко совьёт.
Душа уже не бродит взад-вперёд,
А в вечное стремится мирозданье.

Там, где гуляло имя Легион,
Звучит октоих. Ангельский канон,
Составленный из несловесных слов,
До светлых долетает облаков.

Потёмками, в безоблачной дали —
Ты помнишь ли, куда народы шли,
Куда глядели смутные глаза?..

Нам Радость отворила образа,
Преображая и земную ось,
И всё, что здесь отчаяньем звалось.



Александр КОБЕЛЕВ,
п. Новонукутский, Иркутская обл.



ОТСТАВШИЙ ГУСЬ

Он низко — низко пролетел,
Пронзительно кричал.
Осенний луг росой блестел
И гуся привечал.

Но гусь не сел на этот луг,
Рванулся ввысь опять,
Чтоб улетающих на юг
Сородичей догнать.

Мои ж сородичи уже
Влетели в новый век,
А я сижу на рубеже,
Отсталый человек.

Отстал, и этому я рад.
В век новый не хочу.
Пусть все летят, куда хотят,
А я не полечу.

Пусть буду снегом погребён.
Мне юг не по нутру.
В двадцатом веке я рождён,
В двадцатом и умру.

Сложу покорно два крыла
И навсегда уйду
В Россию ту, что умерла
В семнадцатом году.

БРОШЕНЫЙ

Осень. Поздним вечером
На скамью у домика
Сел старик, задумчиво
Голову склонив,
А в руках натруженных
Шуйская гармоника
Завела тихонечко
Памятный мотив.
И в зарю вечернюю
Уплывает музыка
Прямо над теплицами
Опустевших дач.
Попиликай тоненько,
добрая гармоника,
Побеседуй с дедушкой,
Вместе с ним поплачь.

ЛЮДМИЛЕ

Я вспоминаю до сих пор
Быль — небыль эту,
Июльский день, иркутский двор
И сигарету.

Изящно пальчиком своим
Ты сбила пепел.
И как же близко мы стоим!
А день так светел.

Я молча на дымок гляжу
И в нём витаю.
Ну почему я не скажу
О чём мечтаю?

Врата мечтаю распахнуть
Земного рая,
чтоб словно факел полыхнуть,
В любви сгорая,

Чтоб смерть пришла, косой звеня:
«Ты где, придурок?»
А там остался от меня
Один окурок.

5 АПРЕЛЯ 2055 ГОДА

Какая красивая дата!
Пойду на просторы полей,
Чтоб здесь на природе, прогрессом
объятой,
Столетний встречать юбилей.

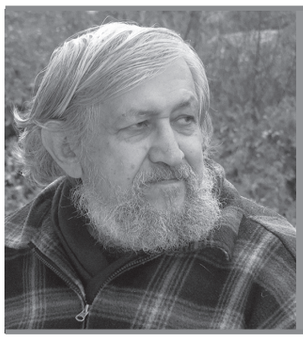
Лежит за селом, как лужайка,
Широкий зелёный палас.
За ним синтетических ёлочек стайка,
Берёзки из белых пластмасс.

Чуть дальше, за рощицей этой,
Оттаял искусственный дёрн.
На нём созревать успевает за лето
В блестящих пакетах попкорн.

В лазурной дали небосклона
Обычный весенний контраст —
Дождливая серость клочков поролона
И белый как снег пенопласт.

А жизнь не сбивается с круга,
И вот надо мной, стариком,
Шарниры летят, возвращаются с юга.
Я им помашу париком.

Они голосами стальными
Кричат что-то радостно мне,
А я улыбаюсь зубами вставными
И радуюсь сотой весне.



Александр М. КОБРИНСКИЙ,
Иерусалим, Израиль



***

За чертой вселенской цитадели
что-то есть, но мы не знаем что;
и Пётр Первый не пробил окно
туда из прибалтийской параллели.

И в будущем нам тоже не дано
освоить амплитуду той качели
и потому всесильны Злые Щели,
где Люцифер играет в domino!..

***

Опасности подстерегали пичугу —
она щебетала с заметной оглядкой,
ей небо дырявой казалось заплаткой:
ниже — изморозь посеребрила округу.

Мы в этой дыре занимались наладкой
в желании злобном собрать центрифугу,
и в запарке такой мне поведал, как другу,
чернорабочий с чугунной ухваткой,

что от лютости съежилась даже рябина
и ещё, что подкормкой пичугу спасала,
смысл жизни его — крановщица Альбина…

Здесь только в обед нас теплом обдувало
и сквозь запахи в нас проникали резины,
и наших фуфаек — чесночное сало!..

***

О проникающая мудрость тишины
в молчании келейного отшельника
и в блёклости заснеженного ельника
сквозь крепостную толщину стены.

В худой избе зимующего мельника
(он овдовел — тоскует без жены)
у печки сушатся фуфайка и штаны
и вонь портянок времени Коперника.

В обзоре лунном над таёжным лесом
в бессонном бдении изба и монастырь
смиренно миротворничают с бесом

и с ними сопок пробудившаяся ширь,
и даль космическая в саване белесом,
и на снегу — щебечущий снегирь!..

***

Степная даль с полоскою заката
похожи на пластинку патефона —
за ними вслед вращаются синхронно
мои глаза — сосредоточенно куда-то

из дней былых плывут заговорённо
кургана мимо, где простор покатый
под колокольчиками дышит виновато
на ветерке — дин-донит полусонно:

за явным он в безлюдье погружён…
Здесь видимо не пашут и не сеют.
Уже ноябрь. В снопы не убран лён.

По ходу трассы три избы немеют —
и кругозор воронками взрыхлён;
и бампер искорёженный ржавеет!..



Александр КОВАЛЁВ,
Санкт-Петербург

***

Ещё, чем круче,
тем заветней,
но тем грустней день ото дня.
«Красивый, двадцатитрёхлетний…» —
увы, уже не про меня.

Ещё, чем выше,
тем желанней,
но всё отчётливей в груди:
мои вершины мирозданья
и перевалы позади.

Ещё под куполом манящим
так ослепительна
звезда…

Но всё пронзительней и чаще
смотрю в далёкое, туда,
где я над крутизной
запретной,
глотая воздух жадным ртом,
«красивый, двадцатитрёхлетний»,
карабкаюсь за окоём.

ВОЙ

За деревней, у оврага,
в самый чуткий из часов
воет по ночам дворняга
на созвездье «Гончих Псов».

Воет всей собачьей болью,
всей округе душу рвёт.
А про чью судьбу и долю —
разве кто-нибудь поймёт?

Может, так надрывно плачет
по кому-нибудь из нас.
Может, просто жизнь собачья
на Земле не удалась.

***

Вдоль обветренного пляжа
в полуметре от воды
на песке осеннем, влажном
узких туфелек следы.

В терпком воздухе остуда
с безразличьем пополам —
кто так рано и откуда,
по каким таким делам?

Только ветер запоздало
рыщет-свищет у воды —
кто же всё-таки оставил
узких туфелек следы?..

Утомлённо лижет пляжи
полусонная вода,
не ответит, не расскажет —
кто, откуда и куда.

ПРОЗРАЧНОЕ

Вот и пришло опять
время пустых скворешен.
Листья сгребает мать,
пилит отец черешню.

Ходит в руке пила,
точит кору сухую —
жалко, а всё ж пора,
время сажать другую.

Где-то сквозь листопад
плачет чуть слышно птица.
Ветер летит сквозь сад —
не за что зацепиться.

***

Вот и славно, что всё-таки дожили,
что теперь уже точно — к весне.
Что снега и долги подытожены
и оплачены нами вполне.

Что в саду за чугунной оградою
пахнет прелью и талой водой.
Что в кармане нежданно-негаданно
завалялся червонец шальной.

Что ушанки сменились на кепочки.
Что синица свистит под окном.
Что такие нехитрые мелочи
без стеснения водят пером.



Василий КОЗЛОВ, Иркутск



В ХРАМЕ

Уйду от пошлости и срама,
От новизны пустых идей,
Войду в вечерний сумрак храма
И в запах гаснущих свечей.

Грехи мои, не отступая,
За мною тянутся во след,
Но только здесь душа слепая
Сквозь веки прозревает свет.

Я опускаюсь на колени:
О чём бы ни просил Его,
Не в просьбе, а в благодаренье
Суть нашей веры в Божество.

Но всё в ней — мысль: и облако, и птица,
И де́рева причудливая стать.
Возможно, через нас она стремится
Себя в грядущем сущем осознать.

И мне не важно, кто я и откуда,
Зачем пришёл я и куда иду —
Меня ведёт предощущенье чуда,
Мне всё равно, когда я Чуда жду.

И под рукой всегда забавы эти —
Стальной резец, весёлое тесло,
Не зря же выбрал я на этом свете
Созвучное природе ремесло.

2014

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Виктору Бронштейну

В природе нет ни зависти, ни злости,
Она к нам равнодушно холодна.
Незваные, мы к ней приходим в гости,
Ей непонятны наши письмена.

***

А русскому сердцу везде одиноко.
Ю. Кузнецов

Одиночество — русский удел,
Но не следует этим гордиться.
Я врага возлюбить не сумел,
Мне бы с братом успеть примириться.

Помоги мне, Пречистая Мать,
Устоять между тьмою и светом.

Враг убьёт, но не сможет предать.
Брат предаст. Но довольно об этом.

***

Наталье Камышовой

Грань между алым и синим прочерчена хлёстко, —
В утренней, ветром пронизанной клетке ветвей,
Чистую ноту возьмёт в тишине горихвостка
И сладкозвучную трель вознесёт соловей.

Все эти струны, свисточки и дудочки тонкие,
Все эти здешне-нездешние звуки с небес,
Все эти всплески, коленца и щёлканье звонкое
Звуком и смыслом луга наполняют и лес.

Певчие птицы не ждут от людей восхищения,
Самозабвенно невольничий славят приют.
Им безразлично, кто слышит — не слышит их пение,
Певчие птицы поют, потому что поют…

1 декабря 2015

***

Геннадию Гайде

Я оставил на том берегу
Свои лучшие годы…
Вот бреду по колени в снегу
И желаю здоровья врагу,
Заключённому — скорой свободы.

А тебе я желаю любви,
Что ушла безвозвратно…
Жизнь былая, зови не зови,
Не вернётся обратно.

Но отрадно встречать холода
Посреди заметённого поля.
Лучше было не знать никогда
Это слово жестокое — «воля».

Пусть же стая волков обступает в кольцо,
Но, надеясь и веря,
Я и в смерти чужое лицо
Посмотрю со спокойствием зверя.

Вот и красное солнце из снега встаёт,
Купол храма в огне золотится…
Тот, кто в сердце воскресшего Бога несёт
Никого, ничего не боится.

ЭМИГРАНТЫ

И вы смотрели с корабля,
Как исчезает за волнами
Святая русская земля,
Навек оставленная вами.

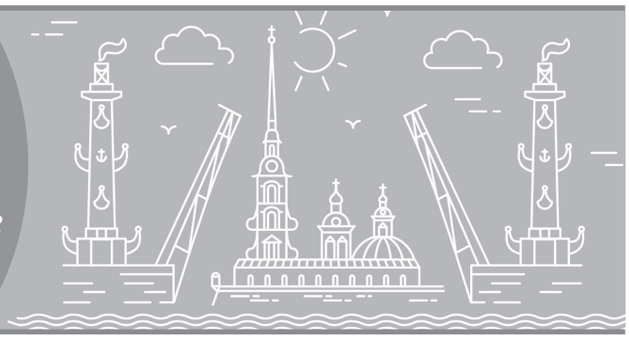
Вы всё с собою взять смогли:
Боль, переполненную криком,
Персть окровавленной земли
И образок с печальным ликом.

И обезумевший старик
Кричал кому-то: «Видишь, видишь…
Господь и грозен и велик…
На дно, на дно уходит Китеж».

И кровь, и смерть уходит с вами…
Но много горше, горше нам,
Когда Россию — вместе с нами —
Относит к чуждым берегам.



Кирилл КОЗЛОВ,
Санкт-Петербург



***

День за днём проходит без оглядки,
Город спит и видит странный сон:
Голоса фальшивы, взятки гладки,
Старый дом безжалостно снесён.

А потом ищи-свищи дипломы,
Грамоты, монеты, ордена…
Сотни лет звучат вопросы: кто мы
И зачем юродствует весна?

Помню только то, что мне в дорогу
Собирать события в рюкзак,
Объявляя ложную тревогу,
Получить необъяснимый знак.

Переезды или перелёты?
Знаю, откровенно говоря,
В сердце продолжаются подсчёты
Числовых потерь календаря.

Тороплюсь куда-то. Снова, снова
Покидаю город над Невой
В поисках космического слова
В час вечерний, час предгрозовóй.

***

Шумовые эффекты столицы дождливой…
Однотонный костюм по привычке надет…
Терпеливая партия — в нетерпеливой
Атмосфере крушения прежних надежд.

Дескать, кто ты?
Чиновник, поэт, реконструктор
Позабытых событий, растраченных лет?
Или просто смотрящий за кем-то кондуктор,
Продающий один краткосрочный билет?

И в душе бесполезная зреет вендетта,
Умножая причины постыдных утрат.
Только пальцы скользят по экрану планшета,
Активируя ссылки почти наугад.

Не совпала реальность с мечтой, не совпала!
Всё в порядке. Они совпадать не должны.
Уведите меня от конфликта, скандала,
Чтоб ни той стороны, ни другой стороны,

Ни мостов Петербурга, ни Третьего Рима,
Ни концертов на бис, ни эстрадных реприз…
Только юность, которая неповторима,
Только солнце, которое катится вниз.

***

Ускорена жизнь в двадцать первом столетье,
Никто никогда не желает стареть. И

Мы смотрим на небо, грозу ожидая,
Не помним о том, что земля молодая!

В сомнениях долго терзаться не будем,
Всё то, что построим, останется людям.

Учёба, работа, посланья в конверте,
Всё это — великое счастье, поверьте!

По-прежнему зло и добро вперемешку,
Но кто пожалеет обычную пешку?

Расскажем друг другу о тягостной доле
И снова на поле… И снова на поле…

Молчат небеса. Не раскроют секреты.
Мы живы. Одеты, обуты, согреты.

Не знаем, какие отпущены сроки…
И звёзды вросли многоточием в строки…

***

Город закругляется на КАДе.
Петербург мой, бывший Ленинград,
Не мечтаю о чужой награде,
Личных предостаточно наград.

В деревянных рамках А4
Все они томятся под стеклом
В маленькой родительской квартире,
Где лежал когда-то под столом
Друг четвероногий, самый добрый.
Он постиг свой бескорыстный путь —
(Случай предоставился удобный
В том числе, о нём упомянуть!)

Время не расщедрится на ласку,
Скрутит, как всегда, в бараний рог.
Я бы сочинил другую сказку,
Жаль, никто мне в этом не помог.

Мимо шли, любезничали двое,
Открывали вместе новый мир…
И предупрежденье штормовое
Продолжало радиоэфир.

НА БОЛЬШЕОХТИНСКОМ…

(памяти родителей)

На могилах просят прощенья за всё и сразу
И нельзя назвать подходящей любую фразу.

Если бы кабы… Мы хотели вернуть, могли бы?
Но безмолвны камни, холодные эти глыбы.

На могилах вовсю щебечут, ликуют птицы,
В книге памяти вырваны и сожжены страницы.

Привалились кресты к деревьям. Под ними — люди.
Я прошу прощенья, не в силах молить о чуде.

Не хочу ни ада, ни райского, впрочем, сада,
На могилах пусто. (Банальное чувство, правда?)

Посреди венков, цветов и листвы засохшей
Остаётся то, что мы называем ношей.

«Не ропщи — тащи! На Родине, на чужбине,
Зажигая счастье в дочери или в сыне…»

Так сказал Господь. Понятно без пояснений…
Завершался день. Незамеченный день весенний.



Сергей КОЗЛОВ,
Тюмень

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕСНЯ

Подсолнух передразнивает солнце,
Трава идёт по полю налегке,
Вода в реке течёт, как луч в оконце,
И ветер умирает вдалеке,
Развеявшись над сединой Урала.
И небо отражается в реке,
Хотя ему на ленте места мало,
А море шепчет где-то вдалеке.
Поёт душа мелодию простора,
Но горизонт не удержать — руке
И взгляду. Но стелясь по следу взора
Шёл ветер, что начался вдалеке.
Он говорил сначала на японском,
Как иероглиф — клевер рвал в песке,
Запел на русском где-то там, под Омском,
И песня оборвалась вдалеке.
И поезд, пересчитывая стыки,
Тревожил над Транссибом облака,
Которые водою быть отвыкли,
А потому тянулась к ним река.
И понимая значимость момента,
У времени обрыва на краю,
Я замер посредине континента
Я здесь один, в молчаньи, постою.

***

Я пройду по Ильинской на запах сирени,
Май на День пограничника буен и крут,
Я люблю эти улочки старой Тюмени,
Я родился и жил, и влюбился я тут.

Деревянной резьбой недопетое время,
И остатки брусчатки, и клёны в пыли,
Это сердце моей деревянной Тюмени,
Золочёные луковки храмов вдали.

Царский след у реки, и Алябьева эхо,
Всё летит сквозь меня, возвращается, ждёт,
Что замрёт суета, отпадут все помехи,
И какое-то новое старое время придёт.

Приползти умирать на Васильевский остров?
Да зачем? Я и здесь посижу в тишине.
У Туры. Где под Троицким вытянут остро
Мост туда, где Врата утопают в огне…



Мария КОЗЛОВА,
Москва

***

Не разлюбить, а так, как будто
Забыть и вспомнить через миг
И эту ночь, и это утро,
Вечерних сумерек двойник.

И тишину словами гладя, —
Что звук? — безделица, пустяк —
Не разлюбить, а так, разладить,
То, что разладилось и так,

Чтобы в конце, вздохнув устало,
Коснуться музыки без слёз.
И знать: она твоей не стала,
А ты любил её всерьёз.

***

Что тишина — лишь голос пленный,
На смертной службе рядовой,
Не тот, сиятельный, нетленный,
А твой, спасительный, живой.

Голубоглазый, светлолицый,
Почти потерянный в веках,
Как ветер северной столицы
В провинциальных облаках.

Ударом солнечного лета
Расколот слов зеркальный лес,
И лишь слегка саднит рассвета
Кровопролительный порез,

И хочется вполоборота
Всё перепеть наоборот,
Не запинаясь на длиннотах
Заатлантических широт,

Всю эту музыку измерить,
Весь этот мир разволновать.
И только жить, и только верить,
И никогда не умирать.

***

Там река голубела, синела,
Лодку правила в лёгкой воде,
Уносила меня и жалела,
Я не знаю, зачем я и где.

Вспоминаю тебя поминутно.
Как холодного света глоток
Эта ночь, выносящая в утро
Распустившийся сердца цветок.

Всё как будто во мне замирает,
Расцветает, болит и горит,
Словно формула крови простая
Из любви и любви состоит.

Бесконечное звука значенье,
Гармонический твой постулат:
Там, где слов золотое сеченье —
Расставанье, разрыв и разлад.

Ты ли это, и горы, и горе,
Горький замысел песни любой.
Как река, уходящая в море,
Я ли это иду за тобой.

Ты, с которого песен довольно,
Разреши мне ещё подышать.
Мне не больно, не больно, не больно.
И не надо меня утешать.

***

Побеждённого сердца отвага —
Ты попросишь, а я не смолчу:
Этот воздух горит как бумага,
К твоему прикасаясь плечу.

Голос плавится, город дымится
И горчит у тебя на губах
Обещанием южной столицы,
На семи настоявшись холмах.

Ах, свернуть бы куда-нибудь к морю
Или в детство, не всё ли равно,
Там, где счастье большое, как горе,
То, которое свыше дано.

Подожди, мы ещё не убиты,
Нам ещё предстоит как-нибудь
Покорить океан знаменитый
И на новую землю взглянуть.

***

Нас ветер вышел провожать
До подворотни своевольной,
Но не уйти, не убежать
Из перво-наперво-престольной.

Передавай по всем постам:
Как я люблю в строке начальной
Того, кто жил когда-то там —
В плену у юности печальной.

Я говорю: пойдём со мной,
Мой август, рыцарский и царский,
Туда, где дождь стоит стеной
От Пушкинской до Пролетарской.

Пока не кончились слова
У нашей мудрости житейской —
О, как кружится голова
От Пушкинской до Красносельской!

Вот мастерство без мастерства:
Весь мир отдать за полдень летний
По праву кровного родства
С самим собой — двадцатилетним,

Придумать всё наоборот,
Не помня, кто кого погубит,
И дальше жить, как тот живёт,
Кто только думает, что любит.

***

Ну, признайся, как дорог и долог
Расставаньем отмеченный час,
Ослепительной жизни осколок,
На глазах потемневший у нас.

До чего тяжело превращаться
В то, что памятью станет твоей,
И любить, и по смерти прощаться,
И до смерти не помнить о ней.

Уходить, возвращаться и снова
Уходить, и уже насовсем,
С тем, который под честное слово
Обещает прощение всем.



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Леонид КОЛГАНОВ

(1955–2019)

Андрей ШАЦКОВ

«РЕКВИЕМ ПО ЮНОСТИ»

«Май жестокий» мы ненавидели и боялись с Лёнькой Колгановым всегда. Все годы нашей дружбы, начатой в далёком и юном 1972 году. Сколько бед нам пришлось пережить в этот сакральный месяц за истекшие годы! Кончину многих друзей-поэтов. Смерть моей мамы. Отъезд Леонида в 1992 году на Землю, не ставшую ему Обетованной.

И вот финал — скоропостижная смерть любимого друга в мае 2019 года, за месяц до его 64-летия. Вместе с ним от меня ушла способность к сочинительству. Не уверен, что она ещё вернётся. Поэтому я просто приведу замечательные слова о Лёне, написанные ранее нашим редактором — Эвелиной Ракитской: «Леонид Колганов — поэт не просто „русскоязычный", но по-настоящему, я бы даже сказала — отчаянно — русский. Поэзия его полифонична, многоголоса. Поэтический голос Колганова — не одинокая скрипка, а звучание эфира…».

А поведать о непростой жизни нашего общего друга я попросил Сашу Климова, ибо, когда пытаюсь сам что-нибудь рассказать о человеке, который до последних дней именовал меня в письмах «Андрюшенька», у меня дрожит рука и наворачиваются слёзы.

«На годах-камнях семидесятых // Наше поколенье полегло…» отчаянно «выдохнул» когда-то ещё очень давно Лёня… Потом я взял эти строки эпиграфом к своему стихотворению, посвящённому ему. Нет, мы не полегли. Мы — выжили. Превратились в настоящих русских поэтов и только теперь начинаем «выбывать» туда, куда поэтическое воображение давно «отправило» нас.

Уходят поэты-семидесятники. Но их лучшие строки остаются на страницах «Дня поэзии» — вневременного альманаха, ставшего «мостом» между поэтическими поколениями. Верую, что переход через Лету по этому мосту станет благосердным для Леонида Колганова.

P.S. Удивительно (а может быть как раз наоборот), что примерно за полгода до своей кончины Леонид написал пророческое стихотворение, напечатав его за неделю до своей смерти. С мистикою он всегда был на «ты».

Без него она практически исчезнет из русской поэзии, а нам будет неуютно и одиноко. Исчезнет «драйв», как скажет нынешнее, пока ещё малопонятное поколение.

Прощай, Лёня!

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

ПОСЛЕДНИЙ ПОСТСМОГИСТ

Даже не помню, где и когда я увидел Леонида Колганова впервые, но помню отчётливо, как завязалась наша дружба. В солнечный весенний день мы вышли из редакции Совписа, Лёня прервал молчание: «Я долго к тебе приглядывался, к тебе и к твоим стихам, приходи завтра вечером в Переведеновский переулок». Так я впервые оказался у Лёни на квартире и был введён в круг его друзей. Квартира вместила в себя поэтов: Шацкова, Касьянова, Суглобову, Михаила Василевского, Богатову, Кудрякову, это только те из упомянутых, кто запечатлелся в памяти, круг этот впоследствии варьировался и менялся, а наша приязнь оставалась неизменной. Я только пробовал писать, Лёня же был сформировавшимся поэтом с толстой тетрадкой рукописных стихов, которые даже такой мэтр, как Юрий Влодов, иногда тайно читал на вечерах, не считая зазорным лучшие выдавать за свои. Хотя сам Влодов считался в узких кругах общепризнанным авторитетом. Стихи Колганова врезались в память мгновенно с первого раза, завораживали своей стихией и энергетикой. Левая рука, заведённая назад, правая, согнутая в локтевом суставе с вывернутой внешней стороной ладошкой, жест диктатора, время от времени передёргивание усов, вылетающие со свистом строчки — кто видел и слышал колгановское чтение, едва ли забудет, и вряд ли забудутся стихи, ставшие для меня со временем вехами:

В чёрные голые ветки —
Волком — меж ночью и днём,
Толь от себя, толь от Светки
Я ускользну с декабрём.
Нежные и снеговые
Снова воротимся в дом,
Очи её гулевые,
Словно ножи за углом,
Скользкою сузятся местью,
Встанут обидою годы,
Вечное несоответствие
Женщины и свободы…
(«Светлана и декабрь»)

Среди льдистой корки старо-Рузской,
Где вода, как тёмная слюда,
Я твоей ступнёй, босой и узкой,
Ревностно изрезан навсегда.
(«Прощание у старой Рузы»)

Я жду тебя, — и боль моя сквозная
С твоею ноженькой средь режущих дорог,
Идёшь ты каждой жилкою родная,
Мой пыточно-привычный сапожок.
Грядёшь средь марта, колкого и злого,
Неброскою сиренью, чуть снежна,
Чтоб у капризной женщины былого
Два лунных слова выкрасть — Ночь нежна!

У памятника в шесть я жду жену чужую,
Проходит час — Она всё не идёт,
Проходит век — И тот же март, бушуя,
Поэзии бессвязный бред несёт!
(«И тот же март...»)

Это у Лёни я впервые прочитал Бродского, отксеренного с книг издательства «Ардис»: «Конец прекрасной эпохи», «Остановка в пустыне», это с его голоса я впервые услышал «Красные помидоры» Чичибабина, стихи Кузнецова, Рейна, Чухонцева. Кто знает, не повстречайся мы, никогда бы я не дорос до высот толстых литературных журналов.

Лёня формировал мой вкус. Триумвират (Шацков, Колганов, Климов) привёл нас к первой книге на троих, назвали мы её символично «Триптих».

Как в писательстве, так и в дружбе, мы были в это время неразлучны. Андрей гусарил, Лёня шалил, все трое мы сильно пили. Книга «Триптих» вышла в количестве пяти тысяч экземпляров и явилась первым коммерческим проектом времён перестройки. Большую часть мы развезли по квартирам, остальная почему-то отправилась в Минск, где продавалась в нагрузку к колбасе.

Именно в нынешнем году мы планировали издать «Триптих-2», в ознаменование тридцатилетия выхода нашей первой книги. В январе Лёня приехал в Москву, и мы в полном составе встретились у меня на квартире. Вспоминали минувшие дни, обсуждали планы на будущее. Как отрадно, что эта встреча состоялась. Встреча, которая оказалась прощанием с Лёней.

Когда встал вопрос об отъезде Лёни в Израиль, куда собрались уезжать его мама и отчим, не было и речи о том, что в Москве он останется один (Лёня астматик, инвалид детства), родственники задумали его женить.

Новая жена, переехав на Бауманскую, выбросила все шкафы и потёртые кресла на помойку вместе со стареньким холодильником ЗИЛ, обставив квартиру новым гарнитуром — гостиной и спальней. Замужество оказалось непродолжительным; поэзия её не интересовала, а друзья повергали в уныние и скуку. Вскоре, хвала Господу, она съехала, а с помойки водворились назад кресла, шкафы и холодильник, за два месяца на них так никто и не позарился. Впоследствии они вместе с хозяином переселились в Израиль. Уезжая в 1992-м, в 2013 году мой друг приехал в Россию получать премию журнала «Юность» всё в той же кожаной кепке, в том же пальто, в котором он ходил когда-то по Москве.

Прожив в городе Кирьят-Гате двадцать лет, и будучи его почётным гражданином, он не знал в нём ни одного магазина за исключением отдела в торговом центре, где он время от времени покупал шубункинов и красных шапочек для своих аквариумов — единственным оставшимся увлечением, которым он пытался когда-то заразить и меня в наших блужданиях по птичьему рынку. Поэзия всегда была, разумеется, — главным в жизни. В своей надбытности он был гениален.

Ещё в Москве, приехав к нему на Бауманскую, я застал его за приготовлением макарон, которые он высыпал из пачки на сковородку, подливая масло и помешивая. Единственно что никогда не исчезало из его холодильника — трёхлитровая банка томата и кусок сыра. Лёня творил могучим воображением свой поэтический мир, где вещи, важные для обывателя, не имеют абсолютно никакого значения, потому в его реальном мире всегда царил неорганизованный хаос: фигурки драконов, которые он лепил из пластилина, соседствовали с клочками вчера написанных стихов, гранёные стаканы с ободками лиловой жидкости на дне ожидали новой порции пива или портвейна на журнальном столике.

И только приходящие друзья возвращали его в пространство и время сиюминутного проживания. Мне всегда казалось, что, как человек, Лёнечка был больше своих стихов. Намного чаще случается наоборот. Очень тонко настроенный на едва уловимые движения мира, на стихи предшественников и друзей, к которым он был необыкновенно добр

и чуток, мой друг был нетерпим ко всякой фальши как в стихах, так и в дружбе. Как раньше в его московской квартире не переводились многочисленные приятели, так и в Израиле к нему приезжали и останавливались у него многочисленные визитёры.

Всех он встречал и окружал своим фирменным радушием. Его личное обаяние зашкаливало. Прежде всего его интересовала жизнь в России, которую он так и не перестал за двадцать семь лет разлуки считать истинной родиной. Любая публикация в Москве, весточка от друга радовали его до безмерности. Всё это свидетельствует о широте его натуры, о любви к ближнему, да и в его стихах прежде всего во главе угла стоял человек, и только потом всё, что ему сопутствует, все внешние атрибуты, незримые слёзы, и зримые следы ногтей. Круг его друзей расширялся повсюду.

Вплоть до безвременной кончины, Леонид вёл два литобъединения в городах, в которых проживал — в Кирьят-Гате и Беэр-Шеве. Его любили, и с ним дружили поэты Иерусалима и Тель-Авива. В нём всегда было объединяющее начало, и к нему, светлому и чистому, многие тянулись, просились в дружбу. В поэзии масштаб личности задавал большие художественные задачи. Исторические реалии и литературные герои вошли в его стихи отождествлённой метафорой.

Времена и события из разных эпох присутствуют в них одновременно.

Удивительно, как во всех этих смешениях историй и персоналий непонятным образом ему удаётся сохранить своего лирического героя.

Пожалуй, проиллюстрирую свою мысль колгановскими стихами «Полифемы» («Полифемам» от поэзии и критики):?

Вы проходите мимо алмазов,
Вы проходите мимо жемчужин,
Вечный свет ослепительных стразов
Вам — как плач Ярославны не нужен!
Не нужны вам и слёзы Рахили,
Вы проходите мимо шкатулок,
И в Москве, — а теперь Израиле —
Вы проходите мимо Катулов.
Так — больны слепотою куриной,
Проходили вы мимо Марины!
Так в года — на стихи «бесхлебные»
Вы прошли мимо хлеба Хлебникова!
Так в застойные годы-каиновы
Проходили вы мимо Губанова.
……..
Иссушённые суховеем,
Ослеплённые Одисеем,
Оскоплённые — ночи — скопцами,
Вы циклопы слепые! Чёрт с вами!
Проходите, но только с концами!

Вот видите тут соединилось несоединимое, всё работает на нерв стиха и плач Ярославны и слёзы Рахили.

Или вот ещё:

Поэзия, с тобой мы отступаем,
И, как Кутузов, вновь Москву сдаём,
И вне её пределов отмираем,
А вне своих пределов просто мрём!

Вот ещё:

Как беглый сын перед Петром,
Я пред тобой стою, немея,
Давно смирясь с твои судом,
И лгать тебе уже тебе не смея.

Это уже образ, применительный к лирическому герою, а само стихотворение называется «Сцена ревности».

Ещё:

С того ли, с этого ли света
Меня опять берёшь в полон,
Как рыжая Елизавета,
На миг отбросив честь и трон…
(«Старая любовь»).

И эти отождествлённые метафоры присутствуют у Колганова почти во всех стихах. В этом он схож с Леонидом Губановым, чьим учеником он себя считал, но был в методе более последовательным, так как отождествлённые метафоры в его стихах являлись лишь частью развёрнутой, глобальной метафоры.

Как никто другой, Лёня соответствовал розановскому определению: талант — вопрос физиологии. Из всклоченных, с разбега, иногда чуть неряшливых стихов проступал лик поэта, его жар и темперамент.

Он терпеть не мог причёсанных, сделанных, рафинированных стихов. Как-то на семинаре у Храмова и Балашова выдал перл, заметив одному эстетствующему сочинителю: «В ваших стихах говнеца не хватает». Сам же поэт ценил в словесном ремесле, вслед за Мандельштамом, сумасшедший нарост, дикое мясо. Как мало в современных стихах этого дикого мяса, поэтического безумия и как много было его в стихах Леонида Колганова.

Жаль, что его не стало на пике всеохватной отзывчивости. Именно стихи последних шести лет поражают своей развёрнутостью, крупным охватом и масштабом. Сохранив в себе всё лучшее из раннего Колганова, Лёня нарастил свой дар, стал по-новому интересен. Смерть по какому-то нелепому сценарию настигла его в Польше, в Израиле он наверняка бы был спасён, там работают лучшие кардиологи в мире. Так три земли определили начало, конец и вечное погребение поэта (Россия, Польша, и Израиль). Но и в жизни, и в смерти Лёня Колганов остаётся для меня един.

Просто поставлена точка в последней строке.

МОЙ ГОСТЬ

В могилы чёрную постель
Я лёг вдали от хаты,
Лежу за тысячу земель
От Родины проклятой!

Но там я свой оставил хвост,
И не пройти мне мимо,
Лежу за сотни тысяч вёрст
От Родины любимой!

Оставил душу там, не хвост,
Отбросив здесь копыта,
Но снова я смотрю на Ост,
Где Родина забыта!

Пускай покинул я её,
Ещё во время Оно,
Там всё моё, там всё моё
И даже смерти лоно!

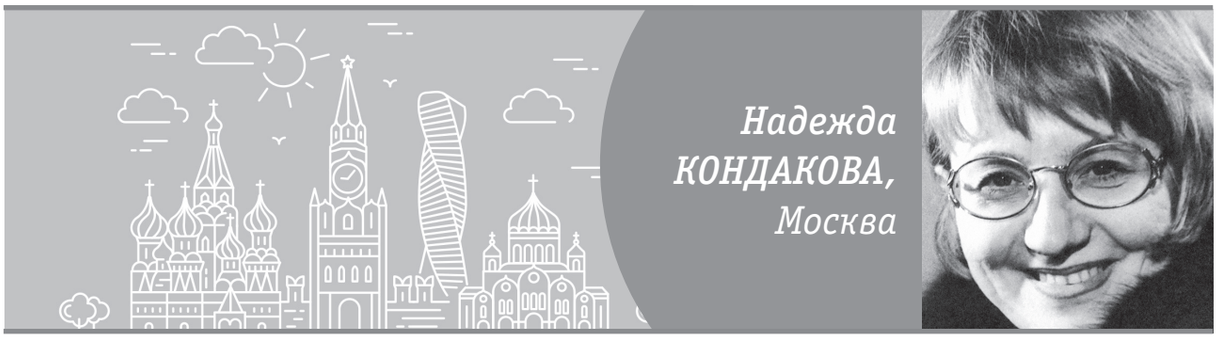
И там блуждает средь могил
Душа моя живая,
Как будто только ею жил,
Её не покидая!

И вижу — движется погост,
В своё он манит лоно,
И, как живой, там бьётся хвост
Метельного дракона!

Пронзив насквозь сто тысяч вёрст,
Прорвав границ охрану,
Ко мне пришёл Руси погост,
Как Командор к Жуану!

Дохнул он русскою зимой,
Чтоб мне в снегах согреться…
И мнится, — он пришёл за мной,
И никуда не деться!

Кирьят-Гат, Израиль



Надежда
КОНДАКОВА,
Москва

***

Уйдут последние свидетели
эпохи серой Москвошвея
и слушатели, и глядетели,
и пониматели идеи.

Уйдём и мы, не зная лучшего,
ученики, в пример иным,
но не Леонтьева и Тютчева,
а Кожинова с Бахтиным.

Из рук вторых и третьих подано,
но не бессмыслица и жмых,
а всё, что предано и продано
на гулких торжищах земных.

***

В овечьей одёжке, в заморской дублёшке
и в волчией шкуре
была ты когда-то надёжной дублёршей
отчаянной дури.
О молодость, молодость, как же нелепы
твои балаганы,
как слепы твои ненадёжные скрепы,
пустые карманы.
Как глупо прощалась с любимым дитятей
своим нерождённым…
О молодость, молодость, тыщу проклятий
постыдным знамёнам!
В совет нечестивых ходила? Ходила!
Лукавым — внимала.
Скажи мне теперь, под завязку хватило,
иль всё ещё мало?
Откуда полова неверья, оттуда
тупая двужилость.
Обмякла полова, исчезла полуда —
порода сложилась.

О молодость, молодость, дыры латая,
я ставлю заплаты.

… Но что без тебя я, моя золотая,
и что без меня ты!

ДЕВЯНОСТЫЕ

Вагоны шли привычной линией…
А. Блок

Исчезли — жёлтые и синие.
В зелёных плакали и пели
продрогшие, невыносимые
простонародные свирели.

И флейты провожали жаляще
челночные, душе угодные
одежды из турецких залежей
в те девяностые, свободные.

Одни намылились отваливать,
а ты пытался в это встроиться.
И я ещё могла отмаливать
тебя у Господа на Троицу.

И я ещё могла надеяться
в Егорьевске у храма Божия,
что мной посаженное деревце
тобою будет обихожено.

Свобода била неуверенно
кому — под дых, кому-то — мимо.
Но музыка была потеряна,
осталась только пантомима.

***

Жену поэта хоронили пышно…
Он был поэт известный и главред.
Она ушла внезапно и неслышно,
и запил вновь непьющий вновь поэт.

Она лежала в ритуальном зале.
Был полон зал, и сразу не понять,
зачем столпились, словно на вокзале,
зачем спешили все его обнять, —

кто из машины — с палочкой, кто пёхом,
кто с кучей роз, кто с парочкой гвоздик.
Казалось, что прощаются с эпохой,
а он, эпоха, был суров и дик,

сидел у гроба, никого не видя,
хотелось выпить, и болел живот,
и ныло сердце пьяное в обиде,
что вряд ли он её переживёт.

Его везли по кладбищу на «скорой»,
поэта и героя соцтруда,
военную эпоху, от которой
ещё чуть-чуть — не станет и следа.

Он месяц пил, потом лечился месяц.
Средь фолиантов и великих книг
он жить решил, от мира занавесясь,
как довоенный мальчик, как двойник.

А умер скоро, на восьмой неделе.
Жара стояла, белый пух летел.
И шли старухи к гробу еле-еле,
ифлийские старухи — в ЦДЛ.

Его народу хоронило мало —
шесть-семь поэтов, дальняя родня.
И дочь от брака первого стояла,
и улыбнулась, увидав меня.

Он был дитя, герой больного века,
и нет вины — и в том его вина.
…Осиротела лишь библиотека,
а год спустя исчезла и она.

***

Отец её был генерал большого полёта,
знал Сталина, к Хрущёву был вхожим в дом.
То ли броню он изобрёл,
то ли фюзеляж самолёта —
теперь уже вспомню с трудом.

А ещё у них была маленькая квартира —
всего 120 метров — на четверых:
четыре комнаты и два сортира,
Евангелие, три золотых потира
и много-много церковных книг.

Когда отец умер, она так рыдала
на Новодевичьем! А потом —
отвезла свою бабушку, мать генерала, —
то ли в дом престарелых,
то ли просто в дурдом.

С тех пор я у них никогда не бывала.
Она писала об отце книги, снимала кино,
перед пионерами выступала.
И в комнате, где бабушка проживала,
Музей генерала живёт давно.

Но причём тут музей и благое дело,
и великий отец, если из психушки во тьму
погрузили давно слюдяное тело
и бабушкина душа за ним улетела
и нашла там сына, и прижалась к нему.



Константин
КОНДРАТЬЕВ,
Воронеж

***

(Пустыня)

Промёрзла реченька до дна
и не лопочет в перелеске.
А в небе звёздочка — одна:
поговорить бы с кем!.. —
а не с кем…

Да вот и я, уткнувшись в шарф,
хожу и рук не вынимаю:
безмолвию морозных арф —
как тьма синайская —
внимаю…

***

(Великопостное)

…не зима, не весна. Не беда — не победа.
Тает в сумерках след золотой полосы.
До дежурного ужина после обеда,
как старушки на службу, плетутся часы…

По земным колеям, нынче вусмерть раскисшим,
тяжеленько добраться до благостных мест.
Лишь воронам вольготно под небом нависшим:
— Где ж ещё перекаркать его благовест!..

…где ж ещё, как не в этом вселенском расколе
на церковнославянский мы переведём:
— «Шевелись, лихоманка!..» — «Петрович, доколе?..»
«Ахти ж, матушка…» — «Ино ишшо побредём…»

***

Ибо даруешь нам по милости Своей…

Перед выходом в отставку
я подам Тебе прошение.
Приложу к нему я справку,
где сочту все прегрешения,

чтоб меня на том резоне
Ты назначил по свирепости
в самом дальнем гарнизоне
комендантом снежной крепости…

***

…как поскрипывает где-то в близкой чаще
днём вчерашним расщеплённый ствол…
как потенькивает птичкою ледащей
в голых рёбрах детский произвол…
Неужели вправду настоящий
этот лес — от кроны до корней?..
и вокруг — всё чаще, чаще, чаще…
А вверху — всё реже и синей…

***

…не выскоблить беса опасною бритвой.
Он в жилке, дрожащей над гордою бровью.
Он в жадном объятьи — тут только молитвой…
в зрачке ненавистном —
тут только любовью.



Иван КОНОНОВ,
Москва — Ростов-на-Дону



***

Разбойник, вздёрнутый на рее
Или висящий на суку,
Перетекай в меня скорее,
А я в тебя перетеку.

Я над рекой сижу на иве,
В глаза мне смотрит мной вода,
Всё, что таится в перспективе,
Течёт оттуда и туда.

Цивилизации этапы
Проходят вкруг одной тропой.
Я встану на четыре лапы
И побегу на водопой.

***

Как страшно мне думать о страшном,
Но страшным пока что не ставшим,
Как страшно, что я с перепою
Проснусь, не замечен тобою,
В стране, в подворотне, на свалке,
Где мысли и шатки и валки,
Явлюсь в этот мир не загадкой,
А некой субстанцией гадкой,
Свалявшийся, пахнущий дурно,
Открытый для дряни, как урна,
И всё, что кругом я увижу,
Опошлю, облаю, унижу,
И всё, что поступит в продажу,
Я тут же куплю и изгажу.
С такою душою пустою
Я этого даже не стою!

***

С дерев сдувая семена,
Небрежно листьями соря,
Природа пишет письмена
На имя своего царя.
Без содержания, без тем,
Вбирая времени сквозняк.
А он ей отвечает тем,
Что не внимает им никак.

***

Спросите нас. Мы помним ту
Страну, дырявую, как сито,
Всегда живущую не сыто,
Просеивающую пустоту.
Вы, в ней растущие сейчас,
Распределённые по сотам,
Идя к зияющим высотам,
Спросите с нас, простите нас.
Иначе, кроя всех подряд,
Пустые подхватив котомки,

Ни нас, безродные потомки,
Ни вас — не спросят, не простят.

ВТОРАЯ НАТУРА

Русские привыкли жить без денег,
То, что называется деньгами,
Изобрёл какой-то беспредельник,
Смыслы все поставив вверх ногами.
Русские привыкли жить без воли,
Отдавая всё на откуп Богу,
И ему молиться в чистом поле,
Забывая вымостить дорогу.
Русские привыкли жить без Бога,
Потому что он — за облаками,
Ну а мы тут погрешим немного,
Смыслы все подвесив вниз ногами.
Русские привыкли жить без толка,
Так оно, пожалуй, безопасней,
Всякие там ноги кормят волка,
Русских кормят домыслы и басни.
Если толку нет, то на хрен браться?
Нет зато и горя в русском цикле!
Потому бессмертные мы, братцы,
Что давно уж ко всему привыкли…



Дмитрий КОНОПЛИН,
Сибай, Башкортостан

***

Обычная для октября картина:
холодная осенняя рутина,
свод неба в клочьях серого ватина —
так называемые облака,
пусты поля, наги колки, и горы
лишь только и укрыты камнем голым,
всё более замшелым год от года,
под ветром дрогнет рябью волн река.
Вдали огонь, костёр ли там, свеча ли?
Плыви, мой чёлн, посмотрим, как
причалим,
кто там и что, и почему, и как.
Душа предвосхищает встречи трепет,
и суть не в том, кого она там встретит —
зелёного юнца иль старика.

***

Сударыня, уж ежели с моста
и прыгать — предпочтительнее в реку.
Я всякого вкусил: и хрен, и редьку;
я был и видел дивные места
(и в этом не солгут мои уста
не верящим Ерёме ли, Фоме ли):
воды пронзительная чистота
в ручьях, где хариусы и форели,
видны песчинки и узор листа;
там, право, есть резон прожить до ста,
да мы, пожалуй, что бы и сумели,
поскольку всяк на выдумки мастак.

А привыкать нам к посоху, к суме ли —
для нас, скитальцев по миру, — пустяк.

***

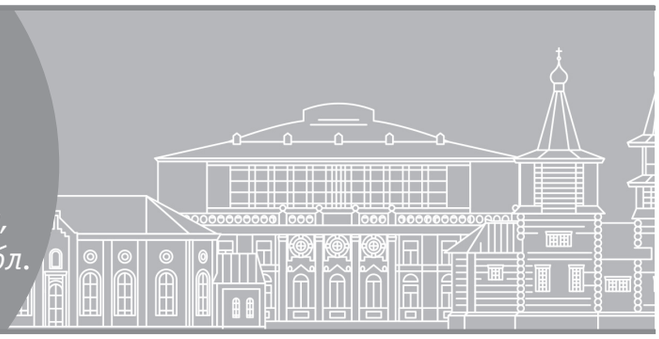
О чём свидетельствует в час вечерний
штиль совершенный по началу марта?
О том лишь, что уж как бы ни был мал там
мир наших деревенских увлечений, —
строительство ли для синиц харчевен,
для овощей подземных казематов —

для огурцов, салатов и томатов,
чем начался, закончился бы чем он,
он в сути не настолько уж плачевен,
хотя, признаем, не коврижка с мёдом
и уж тем паче не суфле с пампушкой —
земное тяготенье с каждым годом
весомей, и сверяешь дни со счётом
в той смете, что составлена кукушкой.



Ольга КОРЗОВА,

д. Корякино,
Плесецкий район,
Архангельская обл.



***

Сама себе кажусь большим кустом,
Задумчиво бредущим через поле.
Остановлюсь, вздохну о прожитом,
О том, что стало тихо нынче в школе,
Закрыт большой сельповский магазин.
Хоть флаг ещё торчит над сельсоветом —
Дверь заперта. И сколько лет и зим
В деревне жизнь протеплится? — Об этом
Не знает куст. Да и к чему кусту
Тревожиться и будоражить память?
Иду вперёд, цепляя пустоту
Для всех ветров открытыми корнями.

***

По снегам осторожно ступая,
Проминаю дорогу вперёд,
А зима вслед за мной заметает
И тропинку, и лето, и год,
Словно лепит пространства иные,
Где не будет случайного дня,
И тревожно былинки сухие
Из-под снега глядят на меня.
Их пугает неясная доля —
Переход в угасание, в тьму.
Чтобы зря не тревожилось поле,
Наклонюсь и его обниму.
Буду гладить ладонями травы,
Не расстанемся — корень один.
Не увёл меня век мой лукавый
От любимых российских равнин.
Ты со мной, моя вольная воля!
Угасает закат в облаках.
Дремлет поле, бескрайнее поле,
Как младенец, на женских руках.

***

Обижаюсь, услышав,
что реки — маленькие,
деревушки — невзрачные,
край — заброшенный.
Для меня каждый цветик —
цветочек аленький,
и о каждой травинке грущу
нескошенной.

И дома называю
хозяев именем,
пусть дымок
не над каждою крышей
тянется.
А весною стою
над морями синими.
Кена, Чурьега, Сондола —
все красавицы.

А когда повезут —
будет день —
дорогами
в наволоцкий край,
на моё пристанище,
мимо серых поженок
с перелогами…

Нет, не мимо! —
Со мною они останутся
навсегда…

ЛАМПЫ

Ночник материнский и лампу отцову
В субботу зажгу я опять.
Их свет, точно отблеск далёкого слова,
Которого не разобрать,
Пока не послышался звук из заречья,
Пока на другом берегу
Хромой перевозчик с котомкой заплечной
Устало стоит на снегу.
Пока он цигарку свою не потушит,
Пока не откроет замка
И ржавой тоской громыхнёт в мою душу
Старинная цепь челнока,
Пока я люблю, вспоминаю и плачу,
Пока ожидаю восход,
Помедли, весло, потому что иначе
Кто лампы в субботу зажжёт?

МОЛИТВА

Забудь моё имя.
Пускай растворится, как дым.
И голос возьми —
Ни к чему бесполезная песня.
Позволь хоть снежинкой
Кружиться над лугом моим,
Над речкой и полем —
Над всем этим краем безвестным.
Пускай не у моря,
Мне только б смотреть с высоты
На эти дома,
На ушедшие в небыль деревни,
На лес поредевший,
Стоящие насмерть мосты —
Они, как часовни, застыли
В молении древнем.
Позволь мне остаться
На стрелке затерянных рек
Песком или камнем,
Прибрежною белою глиной.
Не дай отступиться,
Когда отступается век
И прадед молчит,
Укоризненно глядя
Мне в спину.



Виктор КОРКИЯ, Москва

***

На гробницу сталинского века
по ступеням шествует калека.
Мучимый одышкой и склерозом,
он идёт наверх, как под наркозом.
Он идёт на смерть и не страдает,
что о нём никто не зарыдает.

У него все ордена и звания,
на него без слёз нельзя смотреть.
Ищет он взаимопонимания
и от счастья хочет умереть.

А вокруг стоят народы мира.
Знойная красавица Индира,
тронутая первой сединой,
тонко пахнет химией и хной.
Простирает трепетные руки —
и гремят победных маршей звуки,

и в народном сердце отдаются,
и как слёзы счастья — льются, льются!..

Залп салюта озаряет здания,
красная в Москве-реке вода.
Только нет взаимопонимания —
и уже не будет никогда.

***

Не хватает нескольких аскетов
на больших ответственных постах.

Не хватает нескольких поэтов,
у которых вечность на устах.

Не хватает нескольких мгновений,
чтобы задохнуться от любви.

Но весь ужас в том, что русский гений
созидает только на крови.

***

Состав громыхает в бессонной безлунной ночи.
Черно и просторно. И хочешь не хочешь — молчи.

В дали неоглядной сливается с небом земля.
Ну что, деревеньки, ну что, огоньки и поля!

За этим холмом не кончается Русь. И разъезды
летят под колёса из тёмной ликующей бездны.

И вот она, стрелка, и вот он, единственный путь!
И тьма мировая, и сонная одурь, и жуть,

что вот он — твой миг, вот он — час твой, и вот он — черёд.
Иду по вагону назад — пролетаю вперёд.

70-е годы

***

Искусство обитает в прошлом:
шедевры, гении — всё там —
и тяга к старым мастерам,
и склонность к женщинам роскошным.
А сколько долгожданных встреч
с немеркнущими именами,
и та возвышенная речь,
что невозможна между нами…

***

На досуге без умысла злого
любят выпить кудесники слова.

Только слово пьянит, убивая.
Только время свистит, убывая.

И для вещего князя Олега
от коня не найти оберега…

***

Далёкая разноголосица
во тьму ушедших голосов…
Ночами зимними доносится
их долгий безутешный зов.

Какая сила беспричинная
их вызывает ниоткуда?
Дорога белая и длинная
вдруг обрывается, и чудо

не в том, что время не кончается:
всё — прах и тлен, и всё — тщета…
Но тайно по миру скитается
рыдающая пустота.

Во власти тьмы и мракобесия,
как диво дивное белея,
в миру скитается поэзия,
одна, как русская идея.

***

Двери сомкнулись — и сердца не слышно.
Зря ты целуешь стекло под землёй.
Время проходит, а жизнь неподвижна.
Свет, разлетаясь, становится тьмой.

Нет, не железная, нет, не дорога,
нет, не печальные, нет, не глаза.
Тайное слово исходит от Бога —
и возвращается в небеса.

***

Жизнь сложилась как сложилась,
ничего иного нет —
так писалось, так дружилось
столько зим и столько лет.

И летит, летит мгновенье,
жизни равное, во тьму
сквозь последнее томленье,
непосильное уму…



Андрей КОРОВИН, Москва

ЛЮБОВНЫЙ АВИТАМИНОЗ

Ольге Х.

пока декабрь парит над городом
пока над городом зима
пускай горит под сердцем вспоротым
невыразимая сурьма

пускай ни разу не рифмуются
коньяк и горький шоколад
мы всё равно идём по улице
сквозь бестолковый снегопад

пускай разъятое срастается
пускай блефуют поезда
пристанционная качается
пусть вифлеемская звезда

***

на станционных часах
время отгрызло кусочек
время проворная крыска
страж полноводной луны

ночь это просто пластинка
это луны половинка
кружатся майя и инки
кружится дао любви

на станционных часах
стрелки усов не смеются
снежной зимы поцелуй
тает на тёплых губах

поезд уходит в края
где абонент недоступен
тьма заливает меня
снег засыпает меня

***

— любимая, здравствуй! — кричу я тебе
хочу до тебя докричаться
как будто в моей бестолковой судьбе
проснулись кузнечики счастья

— любимая, слышишь? — кричу я во тьму
и ты меня кажется слышишь
любовь неподвластна ни мне никому
как будто бы заново дышишь

— любимая, жду тебя! — вепрем кричу
стихи словно бусы роняя
и снежные вихри ночные кручу
твои поезда подгоняя

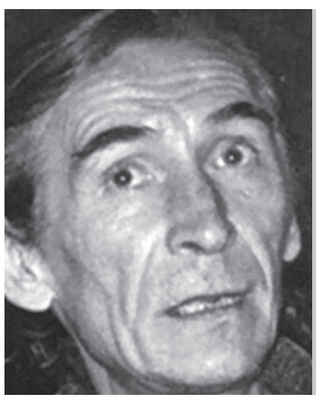
***

так смешно целуются прохожие
осторожно ветрено взахлёб
поцелуев сладкие пирожные
невлюблённым попадают в лоб

бесконтрольны на губах как выстрелы
поцелуев сочные тычки
поцелуи долгие и быстрые
всюду поцелуйные торчки

с поцелуев город начинается
радостно целуется Москва

жизнь без поцелуев не считается
жизнь без поцелуев не права



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Алексей КОРОЛЁВ

(1944–2017)

Сергей МНАЦАКАНЯН

КОРОЛЬ СО СТАРОГО АРБАТА

Лёша Королёв был старше меня на несколько месяцев, ничтожная разница. Сколько его помню, он не менялся — высокий, костистый, жёсткий… И в жизни и в стихах. Тайно ездил к Тарковскому, который, конечно, был одним из его кумиров… В какой-то мере это отразилось и в стихах, но влияние Тарковского было почти незаметно — слишком жёсткий и сильный характер Алексея не позволял следовать напрямую поэтическому учителю. Правда, Лёша это скрывал. И то, что кумир, и то, что ездил к нему. Он вообще достаточно категорично разводил в разные стороны друг от друга свои знакомства. По стихам я назвал бы его «тарковианцем», хотя это и звучит как-то неоправданно пафосно.

В те годы в нашу компанию входили хорошие люди и хорошие поэты. Большинство из них прожили трагичную и короткую жизнь — Саша Тихомиров, Володя Шлёнский, Ян Гольцман… И, как говорится, многие другие.

Был Алексей знаком и с Булатом Окуджавой. А как иначе: почти Лёнька Королёв со старого Арбата, о котором, точнее как бы о его прототипе в своё время написал Булат

Окуджава свою известную песню, ещё не подозревая, что на старом Арбате реально живёт молодой поэт Алексей Королёв. Таким образом знакомство барда с Королёвым было в некотором роде символическим актом. А такое Булат Шалвович ценил. Вспомним:

В том дворе, где каждый вечер всё играла радиола
И пары танцевали, пыля,
Ребята уважали очень Лёньку Королёва
и дали ему званье Короля.

Ну пусть не Лёнька, а Лёшка — это почти одно и то же. А попадание стопроцентное. Даже если судить по молодым стихам Королёва:

Со сверстниками, как на грех,
досада и надсад,
а я один из них, из тех,
кто тридцать лет назад
по сводкам Совинформбюро
родной язык учил,
а тридцать лет спустя добро
творил по мере сил.

Воистину явленная связь времён и поколений. Фронтовик Окуджава и новое поколение от сводок Совинформбюро.

А я познакомился с ним — страшно сказать! — чуть ли не в 1967 году. В этом году, когда я услышал о его внезапном уходе, мы могли бы отметить полвека нашего знакомства и даже многолетней дружбы. Но, по правде, уже давно ничего совместно не отмечали. Тому было много причин. Но не о них сейчас разговор, а о том, что много лет дружили, соприкасались, читали друг другу стихи, вместе выпивали, заглядывали друг к другу в гости — просто так и на дни рождения.

Я оказался невольным свидетелем его развода с прибалтийской женой — холодной и презрительной молодой дамой, которая категорически не принимала его образа жизни. А потом он познакомился с прекрасным и добрым человеком — Тома стала его женой и всю оставшуюся жизнь они прожили вместе. Сама Тома была родом из Одессы. Из года в год каждое лето Алексей и Тома уезжали отдыхать в Одессу, где у неё была родня. Ещё Алексей дружил с бывшим одесситом Гарри Гордоном, с которым и у меня были неплохие отношения. А Гарри приходился Томе роднёй, и дружеские связи подкреплялись семейными. Вскоре появился и сын Гарика — известный шоумен Александр Гордон, который вернулся из Америки в Россию. Он бывал у Алексея, и как-то мы выпивали на одном из дней рождений Королёва.

Время от времени, как и всех нас, смертных, Алёшу преследовали житейские неприятности. Однажды он сломал ногу и ходил с костылём. Ещё раз где-то подскользнулся — и вот, рука в гипсе. Самый страшный удар настиг его на субботнике. На него обрушились бетонные блоки, под которыми он сидел с сослуживцами по своему институту. В итоге многочисленные переломы костей таза. Тяжелейшие травмы. Долго ходил на костылях, но ничего, всё срослось, костыли Лёша отбросил и жил как ни в чём не бывало. Был очень живучий и крепкий человек. Другие бы после таких злоключений давно бы сидели на инвалидности.

Помню году в 80-м прошлого века в газете московских писателей «Московский литератор» было напечатано значительное стихотворение Королёва. Там он показал весь спектр своих творческих возможностей, а упомянутая в этом стихотворении или, может быть, даже в маленькой поэме итальянская вилла «Альберти» уж никому и не могла прийти в голову в те времена. Прекрасный человек, поэт-фронтовик Марк Лисянский, с которым мы столкнулись где-то в районе писательского клуба, спросил меня: — Ты знаешь этого Королёва… Потрясающее стихотворение, не представляю, кто бы сравнялся с ним по культуре стиха. — Знаю, —

отозвался я, — это мой товарищ. Я ему передам ваши слова, ему будет приятно… — И конечно, я слово в слово рассказал об этом разговоре Королёву. Это и в самом деле его порадовало.

Однажды я заглянул к Алексею со своим товарищем, курсантом Высших литературных курсов, поэтом из Казахстана Бахытжаном Канапьяновым. Бахытжан — прекрасный азиат из рода Чингизидов, запомнил эту встречу на всю жизнь. Таких, как Королёв, в той жизни было немного…

Алексей блистательно владел формой стиха, прекрасно чувствовал слово и одновременно с этим в его стихах словно бы не хватало чувства, иные из них были умозрительны и холодноваты, что называется, написанные от ума, а не от страсти. Но всё же его стихи очень отличались от стихов сверстников — выделкой, умением. Приведу пример одного из сонетов Королёва:

С иголочки обнова хороша,
Как в Марбурге, — от пяток до затылка,
А обветшав, не стоит ни гроша…
Не по нутру мне эта предпосылка!
На что уж троп затрёпанный — душа,
А мы его употребляем пылко:
Так воодушевляет алкаша
Сознание, что спрятана бутылка

На чёрный день. Но о каком из дней
Не скажешь, что грядёт ещё черней, —
Так стоит ли испытывать терпенье!
Но если уж надежда на спасенье
Припрятана, не прикасайся к ней, —
Успение ещё не воскресенье…

Да, поэзия Алексея Королёва отличалась некоторой камерностью, замкнутостью. Его любимый кумир Арсений Александрович Тарковский был более открыт, более ярок. Он любил вещественное. Стихи Лёши отличались не только безукоризненной формой, но и почти полной отстранённостью от мира:

Из того, что на роду каракули
Предрекали, кое-что сбылось,
И особой нет нужды в оракуле —
Остальное сбудется авось.
Сводит челюсти от безразличия,
Тем не менее ещё пока
Отличу личину от обличия,
Не сыщу в ничтожестве величия…
Впрочем, если соблюдать приличия,
Разница не слишком велика.

Это красноречивое признание. Возможно, он так относился и к людям из своего окружения, потому что наши связи с ним рвались из года в год, пока не прервались совсем.

Много лет, даже десятилетий своей советской жизни Алексей работал. Он не делал ставку на литературу. Был физиком и работал в закрытом радиоинституте где-то на улице 8 Марта. Институт был абсолютно секретным, наверняка с подпиской сотрудников о неразглашении. Сегодня я думаю, что и это наложило отпечаток на характер Алексея. Уже в начале 90-х XX века, когда рушились советские структуры, рушились и советская промышленность и наука. На работу Лёша почти не ходил, но какое-то время сидел на окладе, сокращённом во много раз. Пла-

тили, чтобы не терять специалистов. А вскоре платить перестали. Правда, мы все уже были близки к пенсионным возрастам. Что поделаешь — не только жизнь, но и природа беспощадны.

В давние времена Алексей написал две рецензии на мои молодые книги: одна вышла в журнале «Юность», а другая в газете «Литературная Россия». У самого Алексея при Советской власти вышли три книги. Первая «Зеница ока» — в «Совписе», которая очень нравилась редактору Виктору Фогельсону, а вторая «Синица в небе» — в «Современнике». Третья называлась «Экс-либрис». Мне тоже довелось поучаствовать в судьбе моего товарища. Я был рецензентом одной из его книг и, понятно, написал в высшей степени положительный отзыв. Четвёртая книга Королёва «Вокруг да около» вышла уже в нулевые годы нового века под фирменным знаком журнала «Предлог».

Журнал «Предлог» — это была попытка создать журнал новой литературы, которой просто не было. В итоге журнал продержался несколько лет и «благополучно» перестал издаваться. И Лёша и его коллеги сами потеряли интерес к этому изданию, которое выходило на деньги тайного мецената, который просил только регулярной подготовки очередного номера. Меня и давних друзей Королёв в журнал не приглашал. Почему? Однажды мы с ним разговорились, и он признался, что редколлегия, то есть издатели, решили печатать в журнале только тех, кого не печатали при Советской власти. Успешных в своё время литераторов — за редким исключением — в упор видеть не хотели. Вообще это была общая журнальная тенденция. Кто-то на это обижался. Я не обиделся и высказал Лёше своё мнение. — Знаешь, Алексей, только те, кто был успешен раньше, могут быть успешными и сегодня. Вот почему твой журнал не может подняться: вы печатаете безнадёжных графоманов из прошлого… Я никого не хотел обидеть этими словами, но Алексей неожиданно со мной согласился. Между прочим, такую линию избрали и некоторые другие издания, и все они в скором времени упали до мизерных тиражей в тысячу или полторы тысячи экземпляров. Падение фантастическое — после стотысячных и даже миллионных тиражей!

Но всё же мне довелось напечататься в «Предлоге». Очевидно, понимая мою правоту, вскоре Королёв позвонил мне и предложил дать стихи в очередной номер. Это был последний номер журнала «Предлог», который так и не смог подняться. В нём напечатана подборка моих стихов, которая, как мне кажется, удалась. Мы презентовали журнал в Музее Маяковского на Лубянке и отметили этот номер неумеренным возлиянием. Это был последний всплеск «Предлога». После этого журнал исчез из литературного пространства, а я даже успел получить скромный гонорар, что уже было редкостью. Многие издания давно перестали платить гонорары своим авторам по разным причинам: кто-то от жадности, а кто-то от бедности существования литературы в капиталистическом мире нового российского времени.

Время от времени мы встречались, но всё реже и реже. Алексей болел и, думаю, стихов уже не писал. Я вспоминаю его старые стихи. Все они прекрасно написаны и, как я уже отметил, очень герметичны. Вот пример стихов Алексея последнего времени:

Сначала воспари — а после рухни!
Сперва залейся, а потом опухни,
От жажды умирая у ручья…
Уменья трохи да чуть-чуть чутья —
Вот основное из того, что я
На поэтической усвоил кухне,
Хотя стихов, как правило, на дух не
Переносил, лишь исключенья чтя.

Неприязненное и даже циничное признание. Но Алексей Королёв был таким, каким был, и не скрывал своего отношения. Да, в дни его ухода, 12 ноября 2017 года исполнилось полвека нашего знакомства, но последние несколько лет мы ни разу не созвонились.

В дни, когда Алексея не стало, умер Михаил Задорнов, застрелился семидесятипятилетний Борис Ноткин — известный телеведущий. Несколько дней все СМИ были полны разговором об этих людях. Алексей ушёл из жизни на семьдесят четвёртом году. А родился

Алексей Алексеевич Королёв 13 апреля 1944 года. Он был по-своему незаурядным поэтом, но остался абсолютно неизвестным. О смерти истинного, серьёзного, значительного поэта не было сказано ни одного слова. Так изменилось отношение к поэзии и поэтам, в отличие от мира нашей поэтической молодости.

В своё время мы о многом успели поговорить, а теперь вспоминаются стихи Юрия Левитанского: «Жизнь прошла — как не было: не поговорили…»

И сегодня я думаю: какая жалость, что мы тоже не успели договорить наш диалог, который длился несколько десятилетий.



Валентина КОРОСТЕЛЁВА, Москва



И, МОЖЕТ БЫТЬ…

Не знаю, кому это надо —
Всё то, чем живу и дышу,
Но тайную песнь листопада
Я в сердце своём запишу.

Земля накренилась опасно,
Порою душа — на краю,
Но жизнь остаётся прекрасной,
Пока я хоть что-то люблю.

И, может быть, кто-то, побитый
Безбожностью нынешних дней,
Склонится над книгой открытой,
Спасётся любовью моей…

ПРЕДЧУВСТВИЕ СНЕЖНОГО ЧАСА…

Предчувствие снежного часа
Так сильно уже в октябре!
В окно ещё капли стучатся,
Но смутен покой на заре.

Но что-то родилось и смеет
Уже под крылами ветров,
И чем-то торжественным веет
Вдоль улиц, пустынных дворов,
И всё вероятней свиданье
С зимою, созревшей уже,
И город затих в ожиданьи,
И трепетно русской душе…

И НАУЧИТ, И СПАСЁТ

Стережёмся от обмана,
Помня каверзы судьбы…
А в природе всё желанно —
До травинки у тропы.

Светит солнце, рожь поспела
(Левитан — ни дать, ни взять).
Если ветер, то по делу,
Если дождик — благодать.

И когда по жизни — броды,
Ветер слово принесёт,
Что родимая природа
И научит, и спасёт…

НАД РЕКОЙ

Сияла церковь, всем отрада,
А нынче лишь бурьян у ног,
И всё вокруг — как так и надо,
Но ведь не надо, ей же Бог!

Она сияла над рекою,
Светила летом и зимой —
И тем, кто душу свою строил,
И тем, кто плыл порой ночной,

И всем хватало Веры, Света,
И на сто вёрст краса легла,
И в честь её певали ветры,
Цвели заречные луга…

А ныне — как укор живущим
Её развалины стоят,
И тронут чем-то неминучим
Её пронзённый болью взгляд.

И всё же тянет к ней подняться,
Где высь по-прежнему светла…
Но нелегко дождаться счастья
Там, где летели слишком часто,
Как головы, колокола…

04.01.17



Ольга
КОСОВА,
Кстово,
Нижегородская обл.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

У окошка сидит молодая жена,
Живо тянется нить за иголкой.
На коленях — подрамник, кусок полотна
Из тончайшего нежного шёлка.

Вышивает судьбу свою, не полотно,
Аккуратно, любовно, неспешно.
На морозное глянет, с улыбкой, окно,
И опять — за работу прилежно.

Вместе с ниткой, заботу вдевает в иглу,
Чередуя с любовью и лаской.
Расцветают зимою цветы на лугу,
Словно время над ними не властно.

Чтобы жизнь, будто шёлк, оставалась гладка,
Без прорех, узелков и затяжек,
Свою нежность вложила в два белых клубка,
Для букета июньских ромашек.

У окошка сидит молодая жена,
А в руках её нитка, иголка.
На коленях — подрамник, кусок полотна
Из тончайшего нежного шёлка.

ОРИГАМИ ЖИЗНЬ

Всем и каждому выбор даётся богами.
Я из жизни сложила свою оригами.
Я сгибала по линиям и по пунктирам,
Как в инструкции было — на радость сатирам.
Объяснять бесполезно глупцу и невежде:
Ничего не исправить, чтоб было как прежде:
Начинала сначала, разгладить пыталась.
Получалось не очень, лишь самую малость.
На листе оставались неровности, складки.
Нет в инструкции, как победить в трудной схватке
С этой дамой капризной, иначе — Судьбою,
А она всё качала, смеясь, головою.
Свою жизнь перестала сгибать по шаблонам,
Хоть, конечно, хотелось достичь эталона.
Я сумела увидеть (не с первого взгляда):
Всё идёт чередою и всё — так, как надо.
Получилась чудесная, в целом, поделка.
Пусть неровная — но вся моя. Не подделка.
Словно ожил листок под моими руками.
Я её полюбила — свою оригами.



Владимир КОСТРОВ,
Москва

***

Владимиру Личутину

Получилось уж так, извиняюсь,
Только это — беда, не вина.
Я, как заяц-русак, не меняюсь,
Хоть какие стоят времена.
Знать природою, ясной и грустной,
И открытой, как смерть на миру,
Было сказано: будешь ты русым,
Русым в холод и русым в жару.
Вот и нет мне дороги обратной,
Что́ бы там не случилось со мной.
Это предусмотрительный брат мой
Серый летом и белый — зимой.
И опять наливается просо,
Кони ржут и пылят большаки.
На клюки, как на знаки вопроса,
Опираясь, стоят старики.

13 марта 2019 года

***

Ну, наконец, жара решила кончиться,
Давящая, сводящая с ума.
Как белый гусь на лапах перепончатых,
Скользит по льду пушистая зима.
И в городе вдруг стало, как за городом,
И торфяная кончилась шуга,
Как будто бы я вызвал помощь скорую,
И в дворик наш приехала пурга.
И прописала грусть из сердца вывинтить,

И обувь подходящую обуть.
Свою тоску морозным ветром выветрить,
И лёгкие забитые продуть.
И выдыхать букетом бело-розовым,
И верить в предстоящую судьбу,
И подмести бы веником берёзовым
Страну, как деревенскую избу.

***

Писк первых спутников
Был трогательно тонок.
Так среди звёздной молодой крупы
Проклюнулась планета, как цыплёнок,
Из голубой воздушной скорлупы.
Как высоко Россию вознесло!
Жестокою космическою ночью,
Я знаю, как безумно тяжело
Защитную покинуть оболочку.
И за черту привычного шагнуть,
Встречая грудью бездну, жар и стужу, —
Как перед незнакомцем распахнуть
Ранимую и трепетную душу.
На рубеже космического века
Соединились, временность круша,
Мятежное сознанье человека
И космоса безбрежная душа!
А звёзд неодолимое сиянье
Опять слепит глаза земных детей.
Всё дальше и опасней расстоянья,
А люди нам всё ближе и родней.

***

Не трогайте жанр,
Излучающий жар.
Поленья рассудка в пыланье напева.
Поверьте, проверьте — поэзия шар,
Поедешь направо — приедешь налево.
В ней ясный неясен
И глупый неглуп.
В ней чувство и мысль —
Словно конь и подпруга.
Поверьте, проверьте — поэзия куб
Той комнаты, где вы любили друг друга.
Простого кумира себе сотворю,
Слеза на щеке — вот её откровенье.
Поэзия — угол, я вам говорю,
Где редко, но мы преклоняем колени.

***

Если спросишь меня:
— Ты откуда такой?
Я отвечу тебе: там, вдали, за рекой
Деревушка стоит на угоре,
Где хлеба колосят, где хвосты поросят
И весёлый петух на заборе…
…Там, вдали, за рекой не слышны голоса,
Не звенит по зелёной отаве коса,
Не шипит молодое варенье,
Не пищит в полусгнившей скворешне
скворец,
И в телегу коня не впрягает отец, —
Лишь глухая трава запустенья.
Как расскажешь тебе, что́ вдали за рекой
Там любовь, и работа, и вечный покой,
И упавшая наземь ограда,
И заросшие кустики дивных цветов,
И сухие распятия древних крестов,
И рябина горит, как лампада.
Но мне слышатся скрипы ворот и телег.
И огнёвка ныряет в нетронутый снег.
И петух гомонит ку-ка-ре-ку.
Вот такие дела, дорогой человек,
Там, вдали, за рекою кончается век.
Только я переплыл эту реку!

РЕВОЛЮЦИЯ

История смиренна и смела —
То вознесёт, то оторвёт от сердца.
В России революция была,
И от неё Земле не отвертеться.
И род людской она с ума свела,
Взметнув кумач до звёздно-синих ситцев.
В России революция была,
Нам от неё уже не откреститься.
Пред нами отступила нищета.
Мы справились с фашизмом окаянным.
Родили мы китайского кита,
Взметнувшего фонтан над океаном.
Но наших душ великий лейтмотив
В веках иных не станет изменяться,
Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся.

2017



Людмила КЛЕВЕР,
Тула

***

Карену Джангирову

Слёзы…
Слёзы уставшему от
спазма сухих зрачков…
Руки с мороза в воду холодную, в воду…
Огромным стихам твоим: «Аллилуйя!»…
Зеркало с трещиной величиной
в слово «Однажды», куда
можно войти и увидеть
реки обнажённой лирический бег,
имя которой —
«Рядом»

***

Пока ты молчишь,
успеваю родиться
Евой

***

Океан выгибает
спину, устав
прыгать за чайками

***

Так и уходим,
навсегда оставляя
звенеть этот мир
нетронутым

***

Родники заросли
небесами, а ты
всё ещё ищешь
дно

***

Модильяни ушёл,
не оставив рецепта
слетающей с мира
шляпы

***

Никто не знает, как идти к ручью,
но все доходят



Константин КРАВЦОВ, Ярославль

***

В привокзальной капели, её забытьи,
различишь, пустомеля, мытарства свои,
дом, на снос приготовленный, весь — изнутри,
перекрёстки, бульвары, пруды, пустыри,
лисьи язвины-норы средь прелой листвы
и, как смерть на пиру, всё красны, не мертвы
птичья Русь Велимирова и мерзлота,
где дырявую ложку несут мимо рта.

Лодка села на мель и сгнила с головы
под осыпавший рощу в сентябрь алкоголь,
всё тщета, как известно, пустая тщета,
но преклонишь главу, перекатная голь, —
соль просодии русской проступит, как та
из весны в Галилее языческой соль,
и звездами горит в кругосветной ночи.

Научи же меня, согласиться позволь
стать жилищем Твоим: укачай, научи…

ОДНОКУРСНИК

Мне сказали: «Займи эту нишу», —
двое в белом. И быстро ушли.
Денис Новиков

Всего-то дел: затяжка Беломора
и вот, глядишь, прозяб, в конце концов,
стишок-другой — из сора, из позора.
И что как не бесстыдство мертвецов —
поэзия? Вот девушка из хора
несёт валежник к нашему костру,
и валит снег в твои сороковины.

Надежда с Верой старшую сестру
признают в ней, и ветка Палестины
в излучине реки — реки Оки —
блеснёт тебе приветом от Марины,
а дальше — дальше петли и крюки,
да капли те на донышках ключиц, и
синоним воскресенья — самопал,
и никакая тварь не отлучит нас,
как римлянам тарсянин написал.

Займи, тебе сказали, эту нишу:
Покойник вышиб дно и вышел вон,
посмертный одр, как ландышами, вышив
свечением, похожим на неон,
в проталинах играющий, но тише:
темна, темна во облацех вода,
и что с того, что гад морских ты слышишь
подводный ход? Молчи. Тебе — сюда.

***

Какая странная задержка с холодами!
Всё медлит свет и, кажется, у тьмы
нас тщится искупить, забытый нами,
за что-то зацепиться в нас, хоть мы
кто, как не тьма? И где ему? И надо ль
искать своё подобие, струясь
сквозь эту синеву, сквозь эту падаль,
как будто обнаруживая связь
хрусталика и солнца, и такую,
о коей здесь и слух давно простыл?
Ему видней. Всё медлит он, тоскуя,
и, верно, всех и каждого простил.

15 октября 2018 г.

DE PROFUNDIS

В тишине, в глубине, вне всего, что вовне
и всего, что внутри — в глубине, в тишине,
отрешенно, как лодка по сонной воде,
и — лишь сфера, окружность которой — везде,
центр — нигде, лишь безмерность, бездонность вины,
Ты, чуть слышно взывающий из глубины…



Любовь КРАСАВИНА, Москва



***

Я знаю всё, но только не себя…
Франсуа Вийон, 1431–1463

Ты знаешь всё, но только не меня…
У новой осени иные Имена,
которыми судьба пригвождена навылет!
И помнишь всех, но только не себя:
расколотого словом — до угля
сгоревшего — до битого нуля
навынос!
Я помню всё, но только не Тебя…

ПОЧТИ СОНЕТ

Разрушительна сила!
А свобода? Бог с нею!
Чем сильнее любила —
Разлюблю тем сильнее!

Разбивается властно
Страстей стекло:
Моё сердце — погасло,
Твоё — взошло…

Тем надёжней забыла,
чем нежнее к весне…
бесконтрольно прекрасно
в любовь влекло:
Твоё сердце — погасло,
Моё — взошло…

***

Мало должно быть терял —
не ожидал —
что на счёт раз — исчезну!
Пьяный в хлам —
в бездну трезвый!
Мало, должно быть, терял!

Мало, должно быть, любил,
раз позабыл
каково нелюбимым — сдаться!
Коли не мил —
где найти сил,
чтоб не расплакаться —
и на счёт два — рассмеяться:
мало должно быть любил…



Вадим КРЕЙД, Айова-Сити, США

***

В вышине шуршали листья,
может, так — для одобренья,
в тишине шатнулась лисья
эластическая тень.
Ты бродил в леске весёлом,
светлом, как стихотворенье,
что когда-то так пронзило
в дальний, ранний, юный день.

Жар серебряного света
в час, когда всё приутихло,
отворил в долине лета
хор мифических дриад,
не мелодии — намёки,
снов чуть плещущие вёсла —
неуловленные строки
в контур чётных русских строф.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Он мог в четырёхстопном ямбе
с архангелами в унисон,
шептать о всероссийской амбе,
прозреть, увидеть вещий сон…
и столько лет слепит «Баллада»
в шестнадцать жалостных свечей,
победоносная Паллада
«бессвязных и страстных речей».

Остра, опасна, осиянна,
сквозь бархат звёздной черноты
из-за какого океана
в глухую ночь метнулась ты?
И чудилось — опять спадало
с экрана жизни полотно,
слетала — и слова шептала,
но всех расслышать — не дано.

***

И как природы званый гость,
как именины их справляю, —
хвалю рябины горькой гроздь
и крепость чабера вдыхаю,
любуюсь вереском высоким
и в хвое — дятлом краснобоким.

Кристальный утренний покой,
гранёный, солнечный и ломкий,
он — хруст под босою ногой,
он — слух без вслушиванья тонкий,
он ненасытно дышит весь
на тайны радостную весть.

***

Весенний день, везенья тень
и первый крокус…
уплыл в заботах и трудах —
не пригодится,
но вот и обещаний бред
собрался в фокус
и слева медная ладья
в ночи двоится.
Взглянул случайно на луну —
там звон хрустальный,
нет, погремушка на ветру
в дверях соседа,
а звуки словно от луны
и трепет дальний,
как между бездной и землёй
звенит беседа.

***

Дуб шелестит не опавшей за зиму листвой,
заячий след, в зеркальцах синевеющий наст,
и надо мной и ветвями весёлый простор голубой
смотрит пустыми очами на речку, на лес, на всех нас.

Дикие гуси канадские плавают в полынье,
знает меня и овчарку весь настороженный слёт,
хочет охотника видеть этот народец во мне,
тихо гогочут и вылезают на лёд.

Мерзлой калины поклёвана птицами гроздь,
тут можжевельник, а на берегу краснотал —
но и в природе гармонии нет — все мы врозь,
и не о том ли я в «Песне Небесной» читал.

***

Без племени и без рода,
без родины, без любви,
без крова, без идеала,
без звона стихий в крови,
без мира, без друга, без блага
земного светлого дня,
но только бы не без Бога,
а если —
то без меня.

***

Смотрелся в речку лес, как смотрят в зазеркалье,
и слышался вблизи оленя робкий зов,
и вспышки синих солнц так радужно сверкали
в осоке и в кустах, что мир казался нов.
В себя ты заглянул, без мысли, без опоры,
без якоря надежд — и там сверкает суть,
в которой так легко, в той простоте, в которой
ты раньше чуял смерть, теперь же — узкий путь.



Григорий КРУЖКОВ,
Москва

ОДИНОКИЙ

Этот человек гуляет один вечерами.
Он неотличим от других прохожих —
Кеды, куртка, кашне в полоску.
Ходом шахматного коня он обходит доску:
Эту партию он может играть вслепую.
Приближаясь к очередному киоску,
Морщит лоб и достаёт папироску,
Дым пускает и держит её в кулаке как дулю.

Этот человек гуляет один вечерами.
Сколько лет ему, сколько зим, неизвестно.
Хорошо, что никто не лезет к нему в кастрюлю,
Не проводит пальцем по зеркалу гардероба.
Вечерами — в час, когда тени встают из гроба,
Он выходит во двор, достаёт из кармана пачку,
Огонёк зажигает торжественно, словно свечку, —
И выгуливает свою невидимую собачку,
И пасёт свою заблудившуюся овечку.

РИЧАРД II

Человека, который изобрёл носовой платок,
Умертвили злодеи. Умертвили его не за то,
Что он изобрёл. Но ещё почему-то страшнее,
Что убили не просто какого-то короля,
Но того, чьим стараниям благодаря
(Значит, можно сказать, что он жил и погиб не зря)
Мы чихаем и плачем нежнее.

Тут Шекспир не додумал какой-то важной строки.
Если всех изобретающих носовые платки,
А также всех роняющих и теряющих носовые платки,
Умертвлять с гримасой неандертальца,
То никто не станет уже облегчать носов
И придумывать названия парусов,
А все станут, наоборот, ходить без трусов
И сморкаться посредством пальца.

Может быть, все к тому и идёт. Посмотри на экран.
Левый кран прикрути. Или вовсе заткни этот кран.
Лучше в ванну заляжем.
Удивляюсь, откудова столько взялось сволочей,
Что придумали столько полезных вокруг мелочей,
Что не знаешь, которая кнопка и номер тут чей,
И каким вытираться пейзажем.

Человека, который изобрёл носовой платок,
Зарубили враги. Он уже не пойдёт на каток,
Потому что растаяло время.
Есть в аббатстве Вестминстерском скорбный один уголок.
Можно встать над могилой его и сказать монолог.
Завяжи узелок, мой дружок, завяжи узелок,
Не стесняясь, один перед всеми.

СКАЗКА

Что-то в черепе скрипит:
Видно, богатырь не спит.
На полатях без конца
Поворачивается.

Что ты, богатырь, не спишь,
В черепе моём скрипишь?
Ходит чашей круговой
Звёздный ковш над головой.

Что, детина, сердце жжёт?
Конь у тына тихо ржёт;
И все кустики видны
От порога до луны.

ВИЗИТ МОЛОДОГО ПОЭТА

Этот парень, хотя и смешон,
Не лишён поэтической жилки.
Он глядит на меня, как пижон,
Понимание пряча в ухмылке.

Я стою на другом берегу,
Дребезжу, как венок на могиле.
«Извините… судить не могу…»
Да ему и не нужен Вергилий.

Хватит, видно, и так куражу
Довести до конца это ралли
По кренящемуся виражу,
По извилистой адской спирали.

Так какой тебе, к черту, сезам?
Что за тени счастливца пугают?
Научить? — Научился бы сам,
Если б знал, куда лошадь впрягают.

Остаюсь, чтобы думать свою
Отменённую веком идею.
И сверчиную песню пою,
И мычу, и во сне холодею.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, по сути дела,
Как бы падающий с крыши,
Но по внешности наружной
Вид имея пассажира,
Из дверей вокзала вышел:
Сыро, холодно, безлюдно.
Значит, это так и нужно.

Он в гостиницу идёт,
Выпивает виски в баре
И, поднявшись в номер десять,
Как умерший египтянин,
Достаёт из саквояжа
И раскладывает вещи
Для потусторонний жизни
(Не забыто ли чего).

Бритва, зеркальце, рубашка.
Нежный голос в телефоне:
Не желаете развлечься?
Он развлечься не желает.

Он ложится в саркофаг,
Задвигает глухо крышку,
Сверху камень налагает
И — без воскрешенья — спит.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
[∞]

Ты пышнее гусарских усов,
Ты грудастей житомирских бабок,
О подобье песочных часов,
Злой судьбой опрокинутых набок.

Ты — упёртый в бессмертье лорнет,
Ты — глядящая в душу двустволка,
Ты — петляющий заячий след,
Обводящий Собаку и Волка.

Ты — ревнивого Бога лассо,
Охлестнувшее сердце заране,
Исковерканное колесо,
Недоехавшее до Казани.

Отменяешь ты времени счёт, —
Но по-прежнему верят поэты,
Что им царская Вечность нашьёт
Продувные твои эполеты.



Александр КУВАКИН, Москва

НА НОВЫЙ 2019

Тропами тайными, волчьими, вольными
Дни, облачённые в сталь,
Вольно текут просторами вольными.
Здравствуй, печаль.

Русские лица, родные, печальные —
Лики иконные в ряд.
Гаснут советские песни прощальные.
Здравствуй, закат.

Ночью глухой городской, деревенскою
Теплится, еле дыша,
Явь, что горела правдой имперскою.
Здравствуй, душа.

Ржавые остовы верных учений,
Бури и битвы суровых лет —
Прошлого века ночные тени.
Здравствуй, рассвет.

И над молитвой о Всемогущем
Солнце встаёт после долгого сна,
Путь освещая во мраке грядущем.
Здравствуй, страна.

Над городами под облаками
Русской земли и над крышами сёл
Зорко и грозно парит он кругами.
Здравствуй, орёл.

***

Что же делать, если несём свой крест,
Если пот наш кровавый — не наш,
гефсиманский.
Что же делать, если нам слаще Брест,
Чем порядок вкусный,
отменно-германский.

Что же делать, если в подкорке скиф
Оживает и требует всепрощенья
За смертельную правду, что он — не миф,
А венец мирозданья и ангел мщенья.

***

Всё живое спешит умереть —
Власть у мифа.
Никому никого не согреть,
Кроме скифа.

Что ж! Затеплим его свечу
Среди ночи.
Если что, я собой заплачу
За цветущие очи.

***

Цемент горяч. Песок тяжёл.
И руки виснут, словно плети.
Но силы человек нашёл
В родной золе, в сгоревшем свете.

И камень лёг в родную пыль
Фундаментом земли и дома.
А мировой подземный штиль
Ответил зло ударом грома.

***

Всё дело — в этой тишине
В руках у ангела возмездья.
Всё дело — в этой глубине
Поющих сумерек предместья.

И ангел — будущего знак,
И сумерки, как знак ушедших,
Нам вручены пройти сквозь мрак
Времён, в грядущее вошедших.

***

Белый храм. Кровавый рассвет.
И никого на дороге.
Выпита чаша этих лет.
Умерли старые боги.

Ты говоришь: «Брат! Не грусти —
Видишь, рассвет-то ясный».
Да! Но нет никого на пути.
А путь открылся прекрасный.

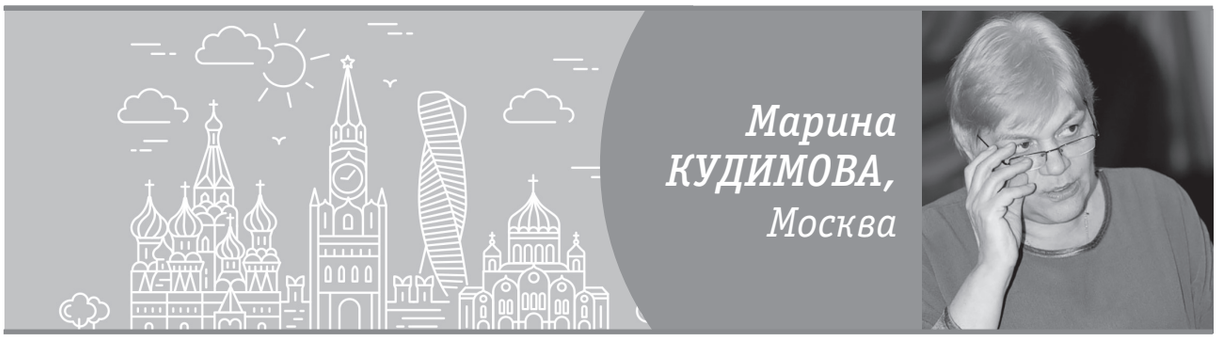
***

Что-то будет случаться всё чаще
С нашей богохранимой страной,
С нашей юной и вечно летящей
За границу родной стороной.

Но пока наполняет колодцы
Сила русских подземных вод,
Не печальтесь! И юность вернётся,
И прозреет ослепшее солнце,
Полыхая во весь небосвод.

***

«Большевиков — к стенке,
а комиссаров — в прорубь», —
твердил поручик Голицын
на склоне жизни земной.
Но нет ни тех и ни этих.
А есть только мёртвый голубь,
паривший символом мира
над парящей страной.



Марина КУДИМОВА,
Москва

АРИНА РОДИОНОВНА

Кто дал бы нам на бедность ссуду,
Кто правил бы придворный бал,
Не прикупи деревню Суйду
Абрам Петрович Ганнибал?

Жена его грешила поркой,
Но няньку — няньку не замай,
Будь та чухонкой иль ижоркой,
Иль в пращурах у ней Мамай.

Как повезло во время оно
И в остальные времена
Аришке, дочке Родиона,
За квартеронкой квартерона
Вспоить, чтоб ей нали́л вина —

Нет, на́лил в сысканную кружку,
А нет вина, так полугар,
Чтоб в печке русской кладки вьюшку
Закрыли в срок — не то угар.

И чем бы нам занять, раззявам,
Свой праздный мозг, когда б она
К земле безгласной — не к хозявам
Осталась вдруг прикреплена
И про́дана — иль продана́
Без своего веретена?

ПАСХА

После утрени то задрёмывала, то ела,
И рвалось орудовать без меня
Семь недель навёрстывающее тело
От начала Светлого Дня.

Нет нужды ни в чём, и мой стол обилен,
И обычай твёрд и на твердь опёрт.
А внутри ещё не умолк светилен
Об уснувшем плотию, «яко мёртв».

И, вися на тонком противовесе,
Вылезая вон из истлевших кож,
Сколько раз объявишь: «Христос Воскресе!»,
Столько раз от смерти себя спасёшь.

Пасха ранняя нынче, и сад безлиственный…
Столько раз в смятенье отступят беси,
Сколько раз ответишь себе:
«Воистину Воскресе!»

ПОКРОВ НА РВУ

Памяти Евгения Евтушенко
Александру Сизухину

Что не так в копотливой России,
Знает всякий хожалый. Что так —
Знал московский блаженный Василий,
В лексиконе позднейшем — дурак.

Здесь, где лгут не себе, так другому,
И где каждый не пьян, так смешон,
Не откажут во вкусе нагому —
И юрод рассекал нагишом.

Лобным пляжем, январским курортом
Брёл Василий Москвой моровой,
Где нельзя быть немножечко мёртвым,
Но легко быть мишенью живой.

Еле-еле вдомёк инородцу
Из досужей циклопой толпы,
Отчего на костях нагоходца
Устоялись шатры и столпы.

Так при снах, при любви и при родах
Выдувается радужный шар,
В перекрытьях буравится продух…
Мы бы рады прижиться в юродах,
Да куда — при таких-то погодах,
При свистках, разгоняющих пар!

Нищеты разодетые дети,
Пионеры модельных агентств,
Мы и сами забыли, что эти
Девять храмов — суть девять блаженств —
На едином крепятся подклете.

Сувенирен, попсов, узнаваем
На открытке с недвижной рекой…
Мы и сами здесь редко бываем,
Мы и сами недоумеваем,
Почему он весёлый такой.

Почему изукрашен дикарски
В застарело последние дни…
Чтоб на нож не наткнуться лопарский,
На железный язык тарабарский,
От дохи отбоярься боярской,
От шинельки худой отдохни.

Если вдуматься в чудо о шубе,
В жмуровидную позу вора,
Если жизнь не смотреть на ютюбе,
А знобеть в её лыке и лубе,
Может, впрямь прифрантиться пора.

Переладить неправильный прикус,
На аренах взывах и рыдах,
И в покосной рубахе навыпуск
Фертить в нижних торговых рядах.

Здесь, в господстве булыжного цвета,
Пританцовывая кикапу,
Был один, кто решился на это —
Нарядился и прыгнул в толпу.

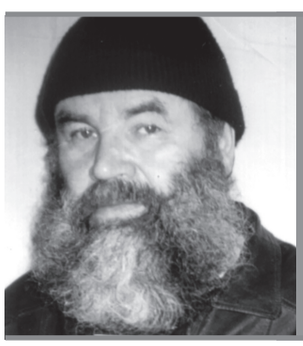
Под ахиллов рефлекс сухожилий
Диагност подберёт молоток,
На роток накопает платок
Шебутной мужичок с ноготок…
Был такой же шальной, как Василий, —
Лишь наружу сквозил кровоток.

Разноцветье его нагоходства
Нелюбимо в родной стороне,
Но заделывать долго придётся
Щели-продухи в цельной стене.

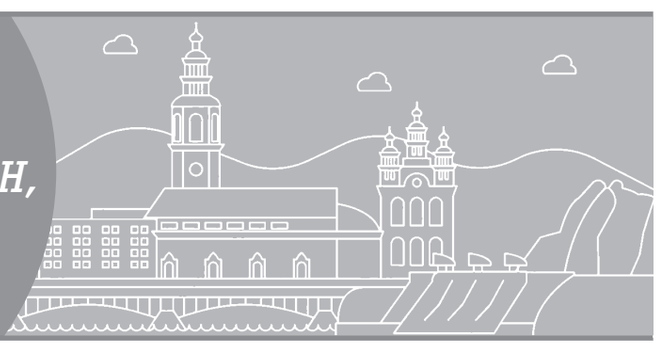
И когда на Васильевском Спуске,
В Шереметьево-3 мужики
Соберутся и врежут по-русски
Без инструкции и без закуски,
Сразу вспомнят его пиджаки.

Инстаграма бесцветные дети,
Мы постромки последние рвём,
Но стоим на едином подклете
Надо рвом, надо рвом, надо рвом.

А над нами, над нами, над нами
Богородицын дышит Покров,
И никем не разгадан орнамент
Пестролистых столпов и шатров,
И закрыт огнедышащий ров!



Сергей КУЗНЕЧИХИН, Красноярск



ТУНГУССКИЙ МОТИВ

Икону в праздничном углу
Прикрыли байковой портянкой,
А сами на чужом полу
Расположились. Злобно тявкает
Хозяйский пёс, рычит на дверь,
В которую вошли без страха

Самец и самка, чует зверь
Густой дразнящий запах паха.
А пол холодный. Пол скрипит.
Иконочку на всякий случай
Прикрыли и разлили спирт
Противный (тёплый и вонючий),
Разбавленный напополам.
Мы не в ладу с сухим законом —
Привыкшие к чужим углам
И не привыкшие к иконам.
А здесь подделка — ну и что ж —
Откуда взяться настоящей?
И между нами тоже ложь
Безбожная — и даже слаще.
А стёкла забивает гнус
Густой, что даже штор не надо.
Мне говорил один тунгус,
Что вера их не знает ада.
Им легче лишь на беглый взгляд,
А мы полны другой надеждой.
И этот дом на спуске в ад
Не станет долгою задержкой.
Который день тайга горит.
До неба дым. Глаза слезятся.
А где-то там метеорит
Уже давно готов сорваться.

ДОМ С КРАЮ

Косо в землю вросшая избушка,
Словно почерневший истукан.
На столе порожняя чекушка
И стакан.

Пара мух ощупывают крошки —
Видно, чем-то запах не хорош.
Ни тарелки на столе, ни ложки,
Только нож.

РАЙЦЕНТР

Всё готово для взрыва в берёзовых почках,
Чтобы щедро разбрызгать зелёную краску.
Большеглазая, юная мать-одиночка
По весенней распутице тащит коляску,
По родному селу, что зовётся райцентром.
До больницы дорога вдоль школьной
ограды.
Непутёвая девка по местным расценкам,
Обречённая на нездоровые взгляды.

Через грязь, через лужи с натугой
бурлацкой.
От вопросов устав и устав от советов.
Ну а ветер весенний настойчив и ласков,
И она улыбается шалому ветру.

ГДЕ-ТО В НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Уже подсовывает лист
С приказом «На покой»
Сутуленький канцелярист
Небесный,
Но такой,
Как наши грешные. Не пьян,
Но пил не только сок,
Однако прячет свой изъян,
Дыша наискосок.
По всем инстанциям пронёс,
В руке дрожащей тряс,
Похожий больше на донос
Губительный приказ,
Где перечень грехов моих,
Пустая жизнь моя…
И морщит лоб, читая их,
Нахмуренный судья.
Но где же список добрых дел?
Он тоже должен быть —
Я очень многого хотел
Добиться от судьбы.
Чернильницу канцелярист
Придвинул для пера.
И перечёркивает лист
Вердикт: «Давно пора».
Уже в нашлёпку сургуча
Утоплена печать…

И «Смерть Ивана Ильича»
Слабó перечитать.



Наталья КУЗНИЦЫНА,
Вятка

ПРЕДЗИМЬЕ

Ни ветра, ни дальнего звука,
Тоска да унынье окрест.
Пустой, обречённый на муку
Безмолвия, тянется лес.

И в скованных инеем травах
Всё тот же вселенский разлад.
У жизни — ни места, ни права,
Везде только смерть да распад.

И даже надежды на чудо
Не будет, не будет. Не жди.
Река затихает, повсюду
Встают её прочные льды.

Вот-вот и в сквозном перелеске
Последний пожар догорит…
И тут-то откроется вид
На вечность, что снегом, отвесно,
На землю летит и летит.

ДНИ 7 НОЯБРЯ

«Утро красит нежным светом» —
Пел наш хор, и пела я.
А под праздничным рассветом
Стыла родина моя.

Зябко жались перелески,
Мёрзла тёмная вода,
Только флаги ветер дерзкий
Рвать пытался иногда.

От Москвы и до окраин
Вся страна вставала в строй…
Но смолкали дни и дали,
Зная о любви иной.

***

На маленькой станции редко стоят поезда.
Но каждое утро, в 7.30, в дожди или зной,
Упрямый мальчишка приходит и ждёт тут всегда
Отца, что из дальнего города едет домой.

Он ждёт две минуты… Но поезд прощально ревёт.
Мальчишка считает вагоны, сбиваясь опять.
Потом он погладит собаку и в школу пойдёт.
На маленькой станции нечего больше ждать…

***

Вот и всё. Отгорела рябина,
На прощанье лишь кинула гроздь.
Бабу Тасю три внука, три сына
Хоронили. Промёрзли насквозь.

Той же бабки первач замахнули,
Посолили покрепче ломоть,
По последней ещё помянули.
Да и в город! Ты сам уж, Господь,

Принимай бабы-Тасину душу,
Как родную её приюти,
Здесь-то дом у ней нынче разрушен,
Да и сад опустевший притих.

НОСТАЛЬГИЯ

Тень от этого тихого облака
Проплывает по всей Земле,
Мимо нашего дома, около
Деревушек в далёкой стране,

Где такие, как мы с тобой, русые,
С тем же говором, с той же душой,
Где все бабы с дешёвыми бусами,
А мужья их — в дешёвой пивной.

Там, где реки, как время, небыстрые,
Там, где к грядкам прибиты дома,
Наши души, как ветви смолистые,
Бьются в окна и сводят с ума.



Татьяна КУЗОВЛЕВА, Москва

***

Улетают слова. Осыпается с веток миндаль,
И шуршат под ногами засохшие травы.
Я живу на земле. Здесь моя поднебесная даль.
Здесь страдают поэты,
что мало им выпало славы.
Здесь читают стихи,
и над каждым свой Ангел трубит.
Здесь разлито вино и судьба превращается в участь.
Я хранительница ваших тайн, ваших бед и обид.
Я сестра ваших жён
и случайных полночных попутчиц.
Я люблю вас.
В вас так перемешаны нежность и зло,
Как свиваются змеи
свистящей февральской метели.
Что бы нас породнило, когда бы ни то ремесло —
Колдовское, неженское, древнее.
Нету тяжеле.

***

За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая...
Марина Цветаева

Нет, не в тиши библиотек,
Не в шумной суете вокзала
Припоминаю тех, кому
Я нужных слов недосказала.

Я накрываю стол для них.
Ты, время, от меня не застишь
Всех тех, ушедших и живых,
Пред кем душа и сердце — настежь.

А тех, кого не назвала,
С особой нежностью приму я,
Приткнувшись на углу стола,
Седьмого не забыв, седьмую.

И взглядом каждого коснусь,
И поимённо обозначу
Тех, с кем я плачу и смеюсь,
С кем над собой смеюсь и плачу.

***

Первоянварского воздуха прикосновение
Чисто и холодно к сомкнутым сходит губам.
Ни клевете никогда не отдам, ни забвению
Тех, с кем случилось пройти по минувшим годам.

Взлёты и срывы по-разному были им выданы.
На сквозняке бьётся рваное пламя свечи.
Ты осторожно, судьба, разведи их с обидами,
С чистой страницы разбег начинать научи.

Все мы живём на земле не капризною славою,
Не ожиданием манны на праздном пути.
Не опоздать бы нечаянно с помощью к слабому.
Не побояться бы к сильному в горе придти.

СТАРЫЙ ЗА́МОК

Постой! Зачем входить туда, где множа страх,
Летучей мыши писк пронзительно-печален?
Ведь прошлое давно здесь превратилось в прах,
Лишь силуэт любви впечатан в глубь развалин.

Вглядись, здесь призрак жив того, кто был влеком
Сто лет назад сюда неутолимой страстью,
Полураскрытых губ кто целовал излом
И кто на стол швырял тузы в четыре масти.

Ты видишь, он пришёл. Гляди, его рука
Зелёного сукна касается любовно.
И он спешит туда, где шелестят шелка,
Где тесно для двоих и дышится неровно.

Какою платит он безумною ценой,
Чтобы себя облечь давно истлевшей плотью,
И поцелуй вернуть глубокий, как глоток,
И снова умереть у страсти на излёте?

И снова стать травой среди шумящих трав,
Пока не вздыбит страсть над ним земную толщу.
И вновь лететь туда, где — смертью смерть поправ,
Где длится краткий миг иных столетий дольше

И, освещая свод, луны сияет диск.
И призрак меж руин, как будто на арене.
Остановись! Оставь ему его каприз.
И пощади его — не тронь чужое Время!

***

И когда две ласточки взрежут небес полотно,
И поймает дрожанье воздуха стрекоза,
И тяжёлый колос в землю сольёт зерно,
И две рыбы замрут в запруде — глаза в глаза;

И в гортани льва провернётся утробный рык,
И Земля покачнётся, про свой забывая вес,
И два облака встречных сойдутся внахлёст и встык,
И глубоким вздохом глухой отзовётся лес, —

Вот тогда ты поверишь, что смерть не сильнее нас,
Просто мир на разлуки щедр, а на встречи скуп.
И душа станет легче тела в милльоны раз,
И слова станут легче пуха, слетая с губ.

И строка к строке — обозначат начало дня,
Всё, что прожил ты, подводя под единый свод.
И пока ты смотришь, как кофе бежит с огня
И как пёс-страстотерпец кроссовку твою грызёт, —

Мчится скорый поезд, глотая дорожный смог,
Пролетая жизнь и на спусках не тормозя.
И всё то, что каждый из нас удержать не смог,
Ни догнать, ни обнять, ни окликнуть уже нельзя.



Елена
КУЗЬМИНА,
Архангельск

***

Соберётся старуха, подхватит кошёлку,
по привычке скорее… Цветастого шёлка
полушалок нарядный накинет на плечи.
И пойдёт потихоньку.
Светло над Заречьем.
Хорошо. Ветра нет. Подморозило к ночи.
Не шумит — засыпает посёлок рабочий.
Хрупкий лёд на тропинке хрустящею коркой.
А дорога — на горку, дорога — под горку…
Вот уж благовест редкий сменился трезвоном.
«Он воскрес, как сказал». Кого ищите, жёны?
Над рекой, там, где вербная жёлтая россыпь,
мироносиц ей слышится быстрая поступь…
Берега у реки высоки, величавы…
Но старуха — на левом, а церковь — на правом…
Вон сияет на взлобье, почти в поднебесье.
И спокойна душа: «Несомненно. Воскресе».

НЕВЕРНАЯ ЖЕНА

Бесконечный погост на угоре —
Лихолетий военных печать.
Ты сегодня вернулся героем,
И живые все вышли встречать.
И считали мальчишки медали
На груди на геройской твоей,
И старухи глядели с печалью,
И некстати запел соловей
По счастливой когда-то привычке.
Но застуженный ветер не стих,
Полоскался голубенький ситчик
Вкруг озябших коленей моих.
Холодком обнимала рябина.
И когда замолчала родня,
Словно тысячи вёрст до Берлина,
Стали десять шагов до меня.
Отголоском последнего боя
Гром небесный вдали отгремел.
У ворот, где прощались с тобою,
Ты в глаза наконец посмотрел.
И шинель, улыбнувшись беспечно,
На виду изумлённой родни,
Мне набросил на слабые плечи,
На неверные плечи мои.

***

Старая каракатица,
маленький речной пароходик
С поблёкшей надписью на борту — «Герой»,
Чуть жив, ползает, а не ходит,
Он и сам знает: пора на покой.
От пристани к пристани — шлёп, шлёп — по волнам бурым,
Радуется, что тучи
не застят светило.
Может и просил — по молодости — бурю,
Стыдно вспомнить, да и когда это было?..
Довезти бы в сохранности живой груз,
И чтобы сердце достучало исправно,
А за опоздание пусть поругают, пусть:
Дошёл, дошлёпал — и это главное!

Терпеливо ждёт, когда скажут: «Не подкачал!»,
Прощаясь с ним без сантиментов ненужных.
И больше он не оставит причал,
И закончится его служба.
А потом он просто полежит на речном берегу,
Застенчиво спрятав под ржавым покровом
Гордую надпись на рваном боку —
Эпитафию в одно слово.

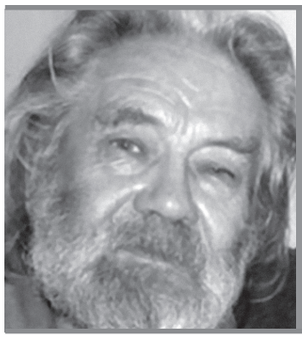
ПЕЛАГЕЯ

Памяти Фёдора Абрамова
и его героинь

А по северным рекам стояли тогда деревни.
Не были берега кисельными, реки — молочными.
Чтобы жизнь текла и земля не твердела кремнем,
Работали бабы денно и нощно.
Пели, бывало, сердца грея,
Мужиков вспоминая, отданных военному лиху,
И жила в деревне одной Амосова Пелагея,
Золотоволосая пекариха.
Статью слыла богатырской, а как же иначе.
Без богатырской стати столько хлеба не выпечешь.
Хлебную буханку, как младенца, надобно вынянчить,
А буханок тех — тысячи!
Слава о хлебе Пелагеином шла повсеместно,
Из дальних краёв приезжали, Христа ради просили,
И кормила Пелагея хлебом все деревни окрестные,
Врать не буду, может, и пол-России.

Ветер из века двадцатого приносит скупо
Запахи клевера сладкого, чаще — полыни.
Была мне в юности Пелагея, что гамлетовская Гекуба,

Прочитанной книги литературная героиня.
Когда и выросло мифа сего золотое дерево?
Не заметила — неба коснулось ветвями.
Вижу: идёт Пелагея с работы в свой терем,
Травы ночные стелются под ногами.
Ныне дни убывающие считая скаредно,
Поминаю её со сродники, душой светлею:
Упокой, Господи, в селениях праведных
Пекариху абрамовскую, Амосову Пелагею.



Юрий КУКСОВ, Москва



***

Ивану Минушову

Отцвёл зеленчук, и настроилась буквица.
Мы снова с тобою у лета в гостях.
И память уже ни за что не откупится
От злого татарника на пустырях.

Трава по заулкам напомнит нам отчину.
Когда это было? В какой стороне?
Давай-ка присядем с тобой на обочину,
А дальше отправимся по целине.

Чтоб шаг — и кузнечики веером прыснули!
А там уже Волга — к тропинке впритык.
Девчонка-зараза с калязинской пристани —
Не нас ли дразня? — показала язык.

Беспечные полдни и грешные полночи.
И вновь нашу лодку несёт по волнам.
И мы, как мальчишки, свистим
по-разбойничьи
В надежде, что вечность откликнется нам.

1994

***

В шумных гнёздах, в колыбели птичьей,
С соловьиной песни начат день.
Солнце, как придирчивый лесничий,
Маркирует в роще каждый пень.
Вспыхнут в жёлтых лютиках поляны.
Шмель в пригоршни луга упадёт.
Рыхлые, ленивые туманы,
Как медведи, выйдут из болот.
Из чащоб слетятся на брусничник
Глухари, как чёрные тузы.
Буду отвыкать от слов обычных,
Стану птичьи постигать азы.
Обживаясь в заповедной чаще,
Приручу рычащее зверьё.
Здравствуй, лес! Дремучий, настоящий,
Стрёмное пристанище моё.
И, как зверь вечерний, в кои веки
Сумрачен, нечёсан и небрит,
Крикну:
— Где вы, люди-человеки,
С кучей ваших мелочных обид?!
Ветром битый, дождиком помятый,
Загляжусь, как в зеркало, в бочаг…
И лоснятся солнечные пятна,
Как лоскутья неба, на плечах.

***

Весна на север позвала,
И новый день мой добр и светел.
Всех прежних суматох зола
Отныне пущена на ветер.

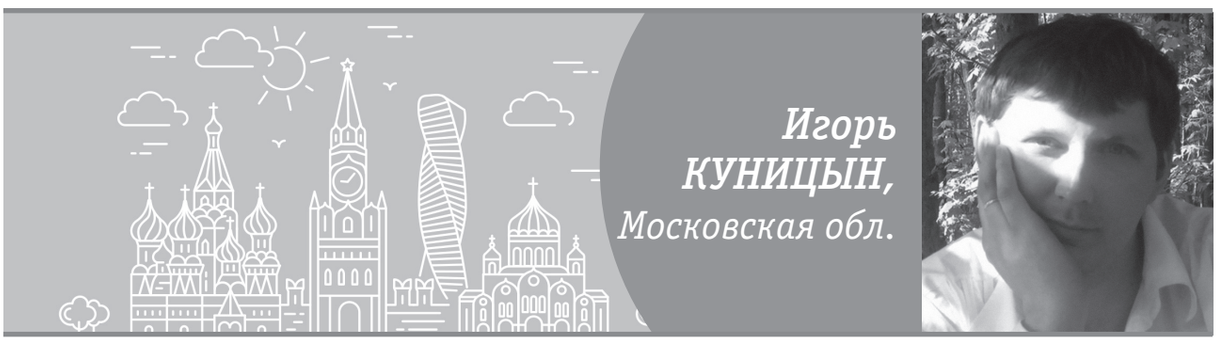
Отныне не поддашься злу,
Как говорится, взятки гладки.
Я доверяю жизнь веслу,
Костру, двустволке и палатке.
По берегам угрюмый лес
Слагает вслух медвежью повесть…
Здесь должность не имеет вес,
Совсем другое дело — совесть.
Здесь честь и мужество в цене,
И места нет для лжи и лести.
С самим собой наедине,
Я, между тем, с природой вместе.
Здесь тихий мох и дикий злак.
Здесь нет понятия вещизма.
Здесь за спиною лишь рюкзак,
А в сердце — целая Отчизна.

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Грешно над чувствами глумиться
В глуши, где властвует сквозняк.
Внезапно вспугнутая птица
Встревожит чуткий березняк.
И листопад в расцветке лисьей
Невольно навевает грусть.
Как хорошо в опавших листьях
Найти сухой осенний груздь.
Как хорошо в осинник ветхий
Войти, почуяв сгоряча,
Как лес коснётся влажной веткой
Неосторожного плеча.

ЧЁРНАЯ ШЛЯПА

Пил, грешил, служил Отчизне.
Тру задумчиво чело:
Что осталось в этой жизни?
Право, вовсе ничего.
Но хотел бы в этой драме
Грех поступком искупить:
Может быть, любимой даме
Шляпу чёрную купить.
Накоплю побольше денег —
Чай, других мы не бедней! —
Пусть она её наденет,
Чтобы выглядеть модней.
Чтоб потом не моды ради,
А меня когда-нибудь
В этом траурном наряде
Проводить в последний путь.



Игорь КУНИЦЫН,
Московская обл.

***

Молилась ли ты на ночь, Пенелопа,
чтоб Одиссей до нового потопа
пришёл с войны и гости разошлись?
А если не молилась, помолись.

Твой муж уснул в объятиях Цирцеи
с улыбкою блаженной на лице, и
товарищи уснули. До сих пор
им снятся сны. Бедняга Эльпенор!

Тки покрывало, верная жена,
для старого Лаэрта, из окна
все дни тревожно глядя на дорогу.
Бессмыслица какая-то, ей богу —

война закончилась, но мира в доме нет.
Твой сын ушёл, скитается по свету.
Твой муж пропал, а гости двадцать лет
едят и пьют, убить бы их за это.

Но время вышло, слуги разбрелись,
а женихи ломают двери спальни.
Молилась ли ты на ночь? Помолись
в последний раз, и будет всё нормально.

***

Через парочку веков,
может раньше на полвека,
станет мир вокруг таков,
что взгрустнётся человеку.

Он захочет закурить,
лишь подумает про это,
и в руке начнёт искрить
цифровая сигарета.

На скамеечку присядет
и тайком стакан нальёт.
На пустую руку глядя,
он подумает, что пьёт.

Скажет умная программа:
«Осторожно! Перепой!
Лишние четыре грамма.
Человек, пора домой!»

Вмиг исчезнет сигарета
и бутылка пропадёт.
За короткой вспышкой света
отрезвление придёт.

***

Уже свечерело, а снег всё лежит,
растаять не может.
Под окнами курит нетрезвый мужик
с небритою рожей.
Снежинки спадают ему на башку
с безлюдного неба.
Окошко открою и в шутку спрошу:
Закуски не треба?
Мужик удивлённо поднимет глаза,
согласно опустит.
Во-первых, мы выпьем немедленно за
отсутствие грусти.
А после покатятся тост за тостом,
как снежные комья.
Напьёмся как черти, и это при том,
что с ним не знаком я.
Мы так и расстанемся, именно так,
вот так — по-простому.
Он мне на прощанье опять про «Спартак»,
а я про Ерёму.



Станислав КУНЯЕВ, Москва



***

Средь злых вестей
и невесёлых слухов,
столь частых в мире,
думаю подчас:
детей почти не жалко,
жалко внуков,
жаль синевы их беззащитных глаз.

Зачем они бесстрашно доверяют
свои сердечки миру моему,
младенческие души отворяют
и, как слепые,
тянутся к нему?
Учились бы у деда,
чьи глаза
давно приобрели стальной оттенок
от дней войны,

от бед послевоенных,
так очерствел,
что не проймёт слеза.
Беспечные чудные человечки!
Что значат ваши нежные словечки
и все мои суровые слова
пред безымянной и безликой мощью,
что белым днём и непроглядной ночью
калечит жизнь, покуда та жива.
Но им-то что!
Глядят во все глаза,
особо младший —
чистый одуванчик!
Гляди, гляди,
мой белокурый мальчик,
вдруг выживем — бывают чудеса…
Быть может, свет
твоих небесных глаз
пронижет тьму до самой сердцевины…
Быть может,
потому сильнее нас
те, кто чисты,
блаженны и невинны…

***

Пожелтел и повысветлел лес,
скоро сёмга рванётся на нерест,
есть свидетельства — знаки небес,
жёлтый мох да сиреневый вереск.

Дух сиротства… Не зря на Руси
почитаемы пахарь и плотник,
а не баловни праздной стези —
не рыбак и не вольный охотник.

Потому что лопата и плуг —
непростая, но верная доля.
Коль хватает терпенья и рук —
не нужны ни удача, ни воля.

В этой воле детей не взрастишь,
лишь на землю сырую приляжешь
да подслушаешь ветер да тишь —
песню сложишь и сказку расскажешь.

ОЗЕРО БЕЗЫМЯННОЕ

Тишина. Ни собак, ни людей
здесь не видно со дня сотворенья.
Только свадебный стон лебедей,
только царственный блеск оперенья.

Только ягель да зубчатый лес,
да в безмолвные белые ночи
тусклый пламень полярных небес
отражают озёра, как очи…

Если есть в человеке душа —
да придёт она после разлуки
под струящийся шум камыша
на озёрные эти излуки.

Пусть останется с миром вдвоём
без меня на закате багряном
и лепечет о чём-то своём
безымянная над Безымянным.

Пусть витает, в пустынном краю
о прошедшей судьбе забывая,
и да примет её, как свою,
лебединая белая стая.

ЧИТАЯ ТОЛСТОГО

Горит коптилка
        в северной ночи.
В печной трубе
        протяжно воет вьюга…
Сестра и мать уснули на печи,
а мальчик — в узах сладкого недуга.
Он беженец. Он чудом выживал
среди бомбёжек, голода, разрухи,
и смерч войны, её горячий шквал
его занёс на берега Ветлуги.
Но в этот час в натопленном дому
он позабыл все страхи, всё сиротство —
нет лучше пищи сердцу и уму,
чем чистый воздух горя и геройства.
«Война и мир». Какие имена!
Бородино! Смоленская дорога!
И наконец река Березина…
Остыла печь, и до утра далёко.
А сводка Совинформбюро гласит,
что к тёмной Волге отступили наши.
Горит коптилка. Книга шелестит…

Так, значит, суждено из той же чаши
испить врагу!
Недаром эта ночь
так тягостно и так блаженно длится!
Ещё он сможет Родине помочь
глазами и устами очевидца.
Пускай кристаллизуется в крови
дыханье слов «бессмертье»,
«слава», «тризна».
Пылай, коптилка, и, душа, гори,
Когда в сплошном огне твоя Отчизна!

***

Погляжу на равнину морскую,
на холодную серую гладь
и опять о тебе затоскую —
а чего о тебе тосковать?

Хоть бы малое судно рыбачье
оживило пустынный пейзаж…
Что-то волчье и что-то собачье
есть, наверное, в каждом из нас.

Что расскажешь земными словами?
Молвишь «да», а подумаешь «нет»,
вот и кажемся мы существами,
прилетевшими с разных планет.

Все простуды твои и причуды,
как во время прилива вода,
возникают бог знает откуда,
исчезают бог знает куда.

Но страданья, восторги, обузы
день за днём оседали в крови…
Как нежны невесомые узы,
как слабы…
А поди разорви.



Вячеслав КУПРИЯНОВ, Москва



ЭХО

Звёзды блещут осколками звонкой чаши
кристальной.
Кто лучистую пыль в прежнюю форму
вернёт?
Где застыло последнее гулкое эхо паденья?
Бродит ли в нашей крови бывшее в чаше
вино?

ГЕНИИ

Из вечности
приходят не вовремя
чтобы уйти безвременно
оставляя нам
время

Бессмертные
они принимают смертельную дозу
жизни

чтобы бездарным
легче и дольше
жилось

ВРЕМЕННЫЕ РАДОСТИ

Наступает
весна человечества:
все хотят
сновать по зелёной травке
никто не хочет
пахать и сеять.

Наступает
утро человечества:
все хотят
получать любовные письма
никто не хочет
разносить почту.

Наступает вечность:
все кричат —
остановись
мгновенье!

Никто не хочет
на других
тратить
своё время.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Поэт всевидящий
обсуждает с ослепшими
виды на будущее,

всеведающий
выспрашивает у несведущих
о неведомом,

и говорит обо всём
во всеуслышание,

чтобы скрыть навсегда
от глухих.

ПАМЯТИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

И я в свой век отчизне посвятил
Моей души прекрасные порывы.
Молитвами друзей да будем живы
Среди воров, в мерцании светил!

Свинец и злато, вот глагол времён,
А помыслы о вечности негромки.
И сетовать не стоит на обломки,
Где наших не написано имён.

Не более иных наш век суров.
Лишь гении глядят на нас сурово.
И стоит петь, чтоб не скудело слово
В мерцании светил, среди воров…



Иосиф КУРАЛОВ, Кемерово

ПЬЕДЕСТАЛ

Я возносил тебя на пьедестал,
Чтоб ты на нём стояла и блистала.
И наконец вознёс. Но так устал,
Что умер у подножья пьедестала.

Твой свет погас. Я в тот же миг воскрес
И свет увидел в солнечной короне.
И полностью утратил интерес
К твоей, меня измучившей, персоне.

Я всю тебя испил. И мёд, и яд.
Стал горек мёд. А яд не убивает.
На пьедестале — тьма. А говорят,
Что свято место пусто не бывает…

ИОСИФ, ИЛИ ТРАМВАЙНЫЙ НАРОД
Маленькая трагедия

Пела песню женщина в трамвае
Голосом Вахтанга Кикабидзе:
— Па аырадрому, па аырадрому
Лайныр прабэжал, как па судьбэ…

Милая, нетрезвая, родная.
Коренная наша сибирячка.
Продавщица? Штукатур? Доярка?
Из души и сердца состояла.
Запахом духов шибала шибко.
Бижутерией сверкала ярко.

Как она, бедняжка, надсаждалась,
Чтоб изобразить акцент грузинский,
Бархатный душевный баритон
Славного красивого Вахтанга!

Я не выдержал! Я ей ответил!
Я ответил голосом Кобзона.
«Артиллеристы, Сталин дал приказ!»
Спел державным голосом всю песню.
Громко спел. И тихо замолчал.

Замерли в трамвае пассажиры.
Стало слышно, как летают мухи
Сквозь пространство тихого трамвая
И штурмуют стёкла понапрасну.

Тут моя приспела остановка.
Распахнулись двери на свободу.
Я спокойно вышел из трамвая.
И пошёл туда, куда мне надо.
И в пространстве мира растворился,
А народ трамвая вдруг взорвался
Криком небывало громким, страстным:
— О, вернись любимый наш Иосиф!
Наш Иосиф ясный и прекрасный!
На кого ты бедных нас покинул?!
Наш великий, мудрый, гениальный,
Дальновидный, скромный и родной!

Я, конечно, слышал эти крики.
Но решил на них не откликаться.
Потому что я предполагал,
Что народ трамвая страстно, громко
Из пространства мира вызывает
Не меня. Иосифа другого.
(Звать в трамвай меня или Кобзона
У народа не было резона.)

А трамвай поехал по маршруту.
Бесконечно долго — круг за кругом.
Бесконечно долго — год за годом.
И всё время в нём звучала песня.
Пела песню женщина в трамвае
Голосом Вахтанга Кикабидзе.

Ей никто уже не отвечал.
И народ трамвая не взрывался
Криком небывало громким, страстным,
Весь народ трамвая тихо-тихо
Ехал-ехал и молчал-молчал.

Я в трамвай тот больше не садился.
Я пешком ходить предпочитаю.
А красивый белоснежный лайнер
В небесах летит, неся во чреве
Не трамвайный, а другой народ.

***

Я — ветеран
Куликовской битвы.
Вот мои шрамы —
Узкие глаза,
Широкие скулы
И воспоминание о слове «татарин»
В советском паспорте.

ПОЗВОНИ МНЕ ИЗ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМИДЕСЯТОГО ГОДА

Давно ты упала на землю с высот
Прозрачного небосвода.
Позвони мне из тысяча девятьсот
Семидесятого года.

Тогда нам было по 17 лет.
У каждого за спиной — пара крыл.
И в будущее трамвайный билет
Кондуктор нам подарил.

Рядом со мной прекрасная ты
Состояла из света и огня.
И страшную силу своей красоты
Сознавала, улыбкой дразня.

А я сознавал, что мне всё по плечу —
Не в копии, а в оригинале.
Но не сознавал, кого больше хочу —
Тебя или Клаудию Кардинале.

Из твоего имени сиял свет,
От тела твоего шёл жар.
Но в тот год я был не Донжуан, а поэт.
Мне дороже тебя был мой дар.

Чтоб не чувствовать рядом твоих красот,
Обжигающих душу в вечерней мгле,
Закинул тебя на небесный свод
И ушёл один по земле.

Ты в небе сияла вместо звезды.
Меня по планете везли поезда.
Пока я скитался, сгорела ты.
Невечная, как любая звезда.

Не встретил и Клавочку Кардинале.
Даже среди самых ослепительных звёзд.
Они мне быстро надоедали.
Я новых ловил, за хвост.

Сгорели все! Сгорела ты!
Я разучился вдохновенно лгать.
И страшная сила твоей красоты
Уже не может меня пугать.

Упал твой пепел на землю с высот
Прозрачного небосвода.
Позвони мне из тысяча девятьсот
Семидесятого года.



Владимир КУРУШКИН,
Кувандык, Оренбургская обл.

***

Пчела собирает нектар,
Так просто — попробуйте сами,
Собьёте пыльцу, как нагар,
Большими своими усами.
Тропинка, бегут муравьи,
Уйди, не мешай им работать.
И если поют соловьи —
Молчи, им не надобно хлопать.
Чужими мы будем вовек,
Валить беспощадно деревья,
Пока не найдёт человек
К сердцам их пути и доверья.

***

Всё изменится само
Без твоего вмешательства.
Солнце выйдет всё равно,
Сядет председательствовать.
И зелёные леса
Над твоим топориком
Посмеются, и лиса
Вспыхнет рыжей зоренькой.
Мир по-прежнему богат,
Мир ещё не выдохся.
Он единственный гарант
Выхода из кризиса.

***

Пируй, столичная братва,
Съезжайся, шумная малина.
Не вы создатели «Ан-2»
И победители Берлина.
Не вы, восстановив страну,
Гагарина послали в космос.
Не вы подняли целину,
Кубинский отстояли остров.
У вас всё ваше на столе,
И заграничные костюмы
Вас выдают. На помеле
Вы прилетели, чтобы плюнуть
В лицо заплаканной вдове,
В лицо безногому солдату,
Что не поймут уже вовек,
Как оказались виноваты
Они, что ночи напролёт
Для нас готовили победу,
Что верили они — придёт
Счастливый день на всю планету.
И вот настали времена,
Стоят и пьют на гробовые.
И лишь в глазах у них видна,
Как отражение, Россия.

***

По дороге в рай
Должны цвести черёмухи.
Ландыш расточать
Свой нежный аромат.
По дороге в рай,
Простив все мои промахи,
Ангелы должны
Кричать мне: «Здравствуй, брат!»
По дороге в рай,
Качая плавно бёдрами,
Женщины должны
Идти со мной, шепча:
«Милый мой, прости,
Что я была недоброю.
Жизнь моя с твоей
Сгорела, как свеча».
По дороге в рай
В тени берёз сиреневой
Я хочу упасть
В шумящую траву,
Чтоб застыть на миг
С землёй в соединении,
Солнцем уходя
Навечно в синеву.



Борис КУТЕНКОВ, Москва



ЗАБВЕНЬЕ
I

говорит забвенье в ребре, старея:
— много-много времени впереди,
есть и крепкий гусь, молодая шея,
и нетварный сын в молодой груди;
на реке ватага, не помня неба,
сотворит легко из одной земли,
если тело — гулко, а лоно — слепо,
если небедовых не завезли;
если свет, что лился из колыбели, —
скрипка зла теперь, оркестровый гнёт;
я теперь беспамятство на пределе,
чуть качнёшь — и руки бедой качнёт;
чуть протянешь — пусто в суме дорожной,
а отдёрнешь — посох на дне сумы;
всё смогу подобьем своим небожьим,
растворяя тьму в лучевое «мы»;
а о чём болелось, в огонь стремилось,
застекольем плакало под пятой, —
то не я, а юность, щенячья милость,
то не я — в часах отраженье сбилось;
рот раззявил, вали, не стой.

II

— эй, птенец, приём, я тёплый дом! —
да не дом, всего пропащий атом, —
так летящий, вытеснен гнездом,
пять минут живёт собой-распадом,
две берёт у смерти напрокат:
имя чуждо, речь едва знакома;
дальше — кровь — бессмертный вертоград —
говорит, как скрипка перелома:
— помоги мне доползти до дома,
петь с моим забвеньем наугад.
встану, сам себе трава и пламя,
сам себе и кража, и ворьё,
благодарен битыми крылами
за уют гнездовый между нами
с чёрной меткой «не моё».

III

за то, что имя — никогда,
за то, что сейф — неотворим,
чужое имя — никогда,
и сейф неотворим, и снова, —
чужое, чуть его качнёшь,
сожжёт хатынью колыбель,
а колыбель, пустившись в пляс,
займётся музыкой бедовой,
займётся музыкой до неба, —
благодарю, а Ты не слышишь,
и я-не-я расслышит всё.



Ида ЛАБЕН,
Ростов-на-Дону

БАЛЛАДА О ЗАТОПЛЕННЫХ КОРАБЛЯХ

Они ещё пахли смолой, сосной,
Медлительной влагой таёжных рек.
Потом их прогрел черноморский зной,
Просоленный парус взвивался наверх,

И мимо бесплотных ночных огней,
Дрожащих, омытых печалью, шли,
И бился волной опустевший рейд,
Вслепую ища свои корабли.

А в пристань врастал каменистый спуск,
Кривились стволы в миндальном цвету,
И ветер их гнул, а берег был пуст
И сваи держали его пустоту,

Но в миг возвращения, ткнувшись бортом
В расщелину бухты, как в добрую мать,
И в спячку впадая, не знали о том,
Что здесь, а не в море им умирать.

Слободки, калитки, колодцы, мостки,
Рыбацкие лодки — скорлупки в ряд.
И курят в убогих дворах рыбаки,
И тенью наброшен на них виноград.

Над морем — закат, над морем — восход,
Глухой разговор кораблей и бухт
В дрожащих огнях: тише, тише ход!
Мы входим, мы входим в родной приют!

В извилинах улиц без фонарей,
В расселинах балок — домишки вкривь,
И тощие руки усталых рей
Тянулись туда, паруса спустив.

В домишках проснутся, зажгут огни,
Начнут, суетясь, доставать из печи…
Вернулись, вернулись! Считали дни
До новой разлуки в сырой ночи.

Здесь жизнью звучала родная верфь,
Им матерью зыбкой была волна,
А смерть… лишь вдали им грозила смерть,
Холодное ложе морского дна.

Кто знал, каково разлучаться — так!
К погрузке камни! — Сдержать печаль.
Рубить отверстия! — Близок враг…
Покинуть судно! — Прощай, прощай!

Они умирали, закрыв собой
Холмы и овраги, бухту и верфь,
И длился их странный бескровный бой,
И бился в обшивке бесплотный нерв.

Ветер срывался и замирал.
Да и к чему, если всё решено?
И молча смотрел в бинокль адмирал:
Они, кренясь, уходили на дно.

МИНДАЛЬ

В этом марте опять без меня на бульваре миндаль расцвёл.
Сладко пахнет — и пчёлы гудят в вышине, наполняя слух.
Узловатой неверной тенью зацепился на склоне ствол.
Под обрывом изгиб шоссе повторяет извивы бухт.

Лепестки заметают редут, налетая, как поздний снег.
Где тропинка, петляя, вилась, склон зарос молодой травой.
В эполетах зелёной бронзы Тотлебен смотрит поверх
Суеты современности. Долу клонится ствол кривой.

А стемнеет под вечер, — когда канут в море следы зари —
В амальгаме агатовой вод и небес огни задрожат.
Лабиринтами узких улиц обозначатся фонари,
Тьму разгонят в провалах лестниц и пустотах ночных аркад.

Глажу выгнутый ствол, улыбаясь гудящей юной пчеле.
Ты укроешь меня светотенью, наклонишься, храня мой сон
В каменистой, сухой и чистой, бесконечно родной земле,
Там, где память, ярость и боль затихают под говор волн.

***

Когда уйдут последние трамваи
И отдалённый звон поглотит ночь,
Войдёт любовь, глухая и немая.
Её не слышно. Ей нельзя помочь.

Не встанешь ты на зов её безгласный,
Не распознаешь имени, и лишь,
Распятую в усилии напрасном,
Слепым прикосновеньем отдаришь.

И, не проснувшись, вздрогнешь от испуга.
А та, немая, поспешит уйти.
Вам не увидеть наяву друг друга,
Как двум концам трамвайного пути.



Максим ЛАВРЕНТЬЕВ, Москва

***

Услыхав какофонию дня,
закрываюсь от мира мгновенно.
Но нельзя почитать и меня
инструментом, настроенным верно.
Ведь какой ни коснёшься струны,
до каких ни дотронешься клавиш,
ни с Иуды не смоешь вины,
ни Христа от креста не избавишь.

2014

***

Как драгоценные подарки,
ловлю последние лучи.
Но мне гулять в осеннем парке
теперь советуют врачи.
Гляжу в небесную пучину
немного даже сам не свой —
ведь не по своему почину
шуршу здесь палою листвой.
И оттого гораздо реже
бываю в этой красоте.
Привычки вроде бы всё те же,
да поводы уже не те.

2014

***

Подавляя недовольный возглас,
если переглянемся порой,
понемногу входим в новый возраст
я и мой лирический герой.
Хочется кольнуть его: «Эй, тёзка!
Признавайся, отчего так хмур?
Где твоя капризная причёска,
джинсы-стрейч, на женщину прищур?»
Он, конечно, выглядит иначе
нежели когда был молодым,
но и я не тот уже, и наше
поколенье сделалось иным.
Впрочем, сходство проступило резче,
тронутое временем одним.
Нет, пока не может быть и речи,
чтобы вдруг нам потеряться с ним.

2014

***

Свод неба, сегодня какой-то барочный,
над милой Вишнёвкой горит синевой.
Иду, как положено, в бывший молочный,
где ныне открыт гастроном сетевой.
Напротив — аптека, здесь в булочной прежде
толкал я ручонкой скрипучую дверь.
Мне первый костюм покупали в «Одежде» —
там лавка резиновых членов теперь.
Нет книжного, кулинарии, мясного.
Ну что же, так надо — меняется быт.
И только родимой культуры основа,
наш винный покуда на месте стоит.

2014

***

Плыву на лодке по реке ночной,
в ночное небо устремив свой взгляд.
Живу давно, а звёзды надо мной
такие же, как много лет назад.

Не изменилось ничего с тех пор
в известном положении светил —
всё так же неподвижен их узор,
как будто бы я с места не сходил.

Арктур, дружок, по-прежнему ты жёлт!
Но невозможно сердце обмануть:
я долго шёл, был длинен и тяжёл
во времени, а не в пространстве путь.
2018



Александр ЛАВРИН,
Москва



***

Какая молодость прошла,
Какая юность пролетела!
Как будто швейная игла
Жизнь прострочила, словно тело…

Я жил и жил, и не тужил:
Хирурга нож, а после — нега.
И если рвался я из жил,
То для последнего побега.

Куда смотреть, куда бежать,
Вовсю растрачивая силы?
Ведь слева — гать, и справа — гать,
А между ними — три могилы.

И я вернулся на вокзал,
Где было чудное виденье,
Где проводник мне показал
Мое плацкартное сиденье,

Мой электрический, мой стул…
Всё так легко, что даже скверно.
Вагон качнуло. Я уснул.
И не проснусь уже. Наверно.
1 февраля 2019

У НАС В ДЕРЕВНЕ

У нас в деревне жил Иван,
Хороший человек.
Он трезвым был, когда не пьян,
Он коротал свой век.

Он как-то яблоко сорвал
Чужое. И батон
С прилавка прихватил. Соврал,
Что расплатился он.

Его догнали. И под дых
Свалили на газон.
И разделили на троих
Неписанный закон.

Одни втроём на одного,
Лежащего в траве.
И били палками его
По голой голове.

Я мимо шёл, я рядом лёг
На жухлую траву.
Он отмотал свой срок-оброк,
Он умер — я живу.

И бабочка как силуэт
На пыльной желтизне,
И сердце бабочки как свет —
Извне, вовне, во мне.

ПАСХА

Послушай, как напряжена,
Устав от бархатного хора,
Полуслепая тишина
Богоявленского собора.

Среди небес — иконостас,
На звёздах слёзы, как алмазы.
Пускай помолятся за нас
Не согрешившие ни разу.

Жужжит на клиросе оса:
— Покайся, грешник окаянный, —
И купол треснет, как стеклянный,
Приоткрывая чудеса.

Но мне не нужно оправданья
Я не ищу ни в ком греха.
Оставь себе свои рыданья
И хора чёрные меха.

«Вот Бог!» — и тычу пальцем в степь я.
Здесь — ни сомненья, ни вины,
А только нищенской весны
Великолепные отрепья!

***

Протекли мои лучшие годы,
Словно лунные воды в ночи.
И кричат в никуда пароходы,
И смеркаются угли в печи.

И тупят в тупиках паровозы,
Просыпаясь в заржавленных снах,
А над ними подвешены слёзы
Белым бисером на проводах.

Кто их вышил? Кто плакал? Не знаю.
В никуда никому говорю:
Я не верю апрелю и маю,
Октябрю, ноябрю, декабрю.

Может быть, в январе, накануне
Самой полной и ясной луны
Будет так, как бывает в июне, —
Тёплый вечер, счастливые сны…

***

В Музее снов душа прозрачна я говорю тебе прощай всё бесконечно плачет прачка кольцо упало невзначай на дно колодца день смеётся поди попробуй отыщи и мчится лучик первородца как будто камень из пращи мы все когда-нибудь безумны такое мнится и в раю так гунны вырулив на гумны вотще остались на краю наивной яви значит вправе и мы не забывать о том что на последней переправе нас ждёт не родина но — дом.



Любовь
ЛАДЕЙЩИКОВА,
Екатеринбург

УДУШЬЕ

1

Сначала пристрелили соловья.
Расправа… Кровь… Венчание на царство.
…О, Господи! Что значит жизнь моя
В сравнении с кончиной государства?

2

Кто любить способен больше жизни —
Родину… И всё ж переживёт
И позор, и смерть своей Отчизны, —
Тот меня, единственный, поймёт:

В час удушья, в час печальной тризны,
В час стыда, распада и потерь,
Я рыдала на гробу Отчизны,
К звёздам заколачивая дверь.

12.12.1991

РАТНОЕ СЛОВО

На русском рубеже, не ради славы,
Я выставляю стих сторожевой,
Чтоб Речь спасти от лающей облавы:
Полон — страшнее раны ножевой.

Не пуля гнёт народ, не меч булатный, —
Сражён Глагол в державном дележе…
Язык мой, Отче! Стань же Словом ратным,
Как воин, встань на русском рубеже!

01.12.2004

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Юрию Конецкому

Откуда явилась — туда и вернусь,
Как сотни и тысячи звёзд,
Я знаю об этом — почти наизусть,
И время читаю насквозь.

Но сердцем к Вселенским прильнув воротам,
Отринув и ересь, и спесь,
Я вижу немало разумного — там,
И много прекрасного — здесь.

И бережно тронув летящий, земной,
Ещё не слежавшийся век,
Я чувствую, — рядом по следу, за мной
Охотник идёт, человек…

Мы стали, как пламя, объятьем одним,
Одною укрылись судьбой,
Но нас выдаёт вулканический дым,
Рождённый любовной борьбой.

Тому, кто не ведал великую страсть,
Удар метеорный не снесть.
Нам выпало счастье на Землю упасть
И райское яблоко съесть.

Сплелись наши корни и кроны, и кровь,
Чтоб новую вечность зачать,
Но времени вызов призывно-суров,
И значит — пора помолчать.

Очнись, моя радость, к чему эта грусть?
Мы будем летать в облаках!
…Откуда явилась, туда и вернусь,
Уснув у тебя на руках…

2008



Валерий ЛАТЫНИН, Москва

МОЛИТВА О БЛИЗКИХ

Господи, помилуй наших близких,
Не оставь их в самый трудный час!
Старость без опеки — зона риска,
Где опасно следовать без нас.

А судьба так близких разбросала,
Что уже, наверно, не свести?
Я прошу Тебя о самом малом —
Милостью Твоей не обнести.

У Тебя все люди — на ладони,
Их болезни, горести, дела.
Сделай так, чтоб на последнем склоне
Без ухабов их стезя была,

Чтобы сохранили человечность,
Чтоб не мучил перед смертью страх,
Чтобы подошли к черте засечной
Непостыдно, на своих ногах.

СНЕЖНЫЙ ОБВАЛ

Снег всё валит, и валит, и валит,
Заполняя пространство собой.
И все чувства — в каком-то провале,
Что хоть волком с отчаянья вой.

Ни луны нет, ни солнца над нами,
Утопила их снежная муть.
Это ж надо, гнилыми ветрами
Из Европы такого надуть!

О ЛИЧНОМ

Кому постылы армия и флот,
Тем и служенье Родине — обуза.
Их подвиг Прохоренко не проймёт,
Они его до неудачи сузят:

«Подумаешь, — собою пренебрёг,
Геройствовал у чёрта на куличках!»
А он престиж страны родной сберёг
И укрепил своей судьбою личной.



Евгений ЛЕСИН, Москва

***

Картина, вероятно, вам знакома:
Бессонница, Гомер, потом шансон.
А перед самым выходом из дома
Неумолимо тянет в сладкий сон.

Не надо ни вниманья, ни оваций,
Не принято такое на Руси.
Не слушай воровских рекомендаций.
Проси и бойся, бойся и проси.

Когда же прилетит сюда комета?
И рухнут ваши тысячи дверей?
Послушайся хорошего совета:
Советчика гони, и поскорей.

Не может быть объединённых наций.
Никто не хочет небольших потерь.
Не слушай воровских рекомендаций.
И всё-таки: не верь, не верь, не верь.

***

Хорошо сидеть в автомобиле,
Глядя на закаты возле МКАД.
Внутренние органы побили.
Внутренние органы болят.

Как же я люблю свою столицу,
Лизаньку люблю без лишних слов.
Лиза съела в баре всю горчицу,
Слизывала кетчуп со столов.

Лизанька давно и всем известна.
Потому что Лиза — идеал.
И к тому же Лизе, если честно,
Никакой закуски я не брал.

Вот она и съела всю горчицу.
Больно уж горчица хороша
С солью, например. Забудьте пиццу.
Проживите жизнь без беляша.

Пьяные купаются и в мае.
Кто-то видел даже Уренгой.
В рюмочную еду на трамвае,
Алкокраевед с больной ногой.

***

Мечтаешь о чём-то великом
И свой теребишь триколор.
А где-то… на острове диком
Встаёт «Солсберецкий» собор.

С утра только выпьешь из фляги,
Глядишь на собор, а над ним
Уж наши колышутся стяги.
Приятен отечества дым.

Скорее в Россию включите
В отместку за Анну Болейн
Таити (а может, Гаити?).
И наш «Солсберецкий» бассейн.

Под власовским шли триколором
Предатели, так их растак.
А над «Солсберецким» собором
Деникинский плещется флаг.

Уныло стоят англосаксы,
Рассвет изумительно сер.
Стремительно падают баксы.
Ах, где же вы, молот и серп?

Шумит плотоядно Госдума,
Любовники прячутся в шкаф.
А возле Собора угрюмо
Изысканный бродит жираф.

ШИКС ПИР, ИЛИ ЕЩЁ РАЗ ИЗ ВЕРЫ МАТВЕЕВОЙ

Драли кошки усталую птицу,
Прорывались маршрутки за МКАД.
В почерневшую нашу столицу
Снова белый пришёл снегопад.

В ожидании чёртова марта
Вспоминаешь невольно жару.
У Шекспира, нерусского барда,
Только шиксы одни на пиру.

Хорошо им. Они осторожны.
Да и что им бояться чумы?
До чего же в Москве безнадёжны
В наше время дела у зимы.

***

Девушка пела в хоре,
Баба была Яга.
Может, кому не горе,
Если болит нога.

А у меня забота —
Сам себе наливай.
Яузские ворота.
Вот уже мой трамвай.

Ночью все мыши серы.
Холодно под Москвой.
Граждане офицеры,
Господин рядовой.

Не понимаю речь я
И забываю сны.
Боги Замоскворечья,
Министерство весны.

Едет к удачам новым
Пьяный доцент ИМЛИ.
А за кольцом Садовым
Прячется пуп земли.

***

Жизнь похожа на вокзал.
Никакого барства.
То, что раньше пропивал,
Тратишь на лекарства.

Говорят: неси в семью,
Береги ботинки.
Лучше я уж сам пропью.
На фига поминки?

Не ходи ты в Малый зал.
Не ищи ответа.
Или адрес потерял
Нижнего буфета?



Станислав ЛИВИНСКИЙ, Ставрополь

***

Дышим воздухом сплошь загазованным
и не лезем в карман за словцом,
и живём, как Пьеро, с нарисованным,
вызывающим жалость, лицом.

Уроженцы страны невезения,
расстояний, державных побед,
где застыл колеса обозрения
ископаемый жуткий скелет.

Виноград, узловатый и жилистый,
весь облеплен с утра мошкарой
и деревья вдоль речки извилистой
рассчитались на первый-второй.

Мы ж любовными тешимся ссорами,
наживая рубец за рубцом.
И колючка торчит над заборами,
притворяясь терновым венцом.

***

Вынесли крышку, припёрли к стене,
молча курили под липой.
Лёгкая смерть, без мучений, во сне.
Ну и на этом спасибо.

Всё, что хотел, но боялся сказать,
рот зажимая ладонью.
Бедный отец и несчастная мать.
К ним и тебя подхоронят.

Там, где у времени вечный тупик
и земляная воронка,
женщина держит охапку гвоздик,
словно грудного ребёнка.

Длинные речи и в голосе дрожь,
где у конца есть начало.
А закопали, и начался дождь —
может быть, просто, совпало.

***

Вот фотография — ребята,
по восемнадцать шумных лет.
У них не оказалось блата.
Повестка из военкомата,
военный новенький билет.

В стране без права перемотки
в зелёной выцветшей пилотке
почти при батюшке-царе
я словно муха в янтаре:
найди меня на этой фотке.

Салага с талией осиной.
В казарме холод. Дедовщина.
Из дома писем долго нет.
Ещё игрушечный мужчина,
я в настоящее одет.

И песня главная о старом,
как смерть дыхнула перегаром.
И ты сползаешь вниз по стенке,
и пишешь маме на коленке:
«Люблю. Целую. Не скучай».
И краснодарский куришь чай.

Отбой. Дежурный свет луны.
Но в армии не снятся сны.

А где-то дембельская осень.
Всё по накатанной пойдёт:
заматереешь через год,
умрёт отец, девчонка бросит.

Да что ты знаешь о судьбе?
Сидишь играешь на губе,
что время до смерти залечит,
что через десять лет с предплечья
сведёшь наколку ДМБ.

Не замирает больше дух.
И гармониста лишь по пьянке
в пивной попросишь — сделай, друг,
для нас «Прощание славянки».

***

Вот представитель поколенья,
он каждый день выходит в чат.
И дух болящ и песнопенья
в его наушниках звучат.

Он что-то пишет, с кем-то спорит,
он сам себе наметил цель.
Герой, практически Печорин,
его последняя модель.

Ему бы всё на свете бросить
да и сорваться бы туда,
где осень — это просто осень,
и всюду затхлая вода.

Где за Машук луна садится
и солнце медленно встаёт.
И так поют чудесно птицы,
хотя совсем не знают нот.



Оксана ЛИСКОВАЯ, Москва

***

Золотая рыбка,
Исполни моё желанье —
Пусть тайное никогда
Не становится явным.

Я, знаешь,
Ещё
Чего бы хотела,
Чтоб лебеди в небе летели
С дорогою Элизой своей…

Чтоб братцу Иванушке
Вовремя дали воды.

Это море волнуется,
Солнце светит.
Считаем с тобой:
«Раз, два, три».

Загорается ёлка,
Идут золотые дожди.

***

Подают нынче плохо,
Народ пошёл бестолковый.
Все норовят накормить
За углом
В столовой.
Как будто я воробей
И не хочу водки,
Не хочу, как они,
Плыть в своей лодке.

Предлагают, уроды,
Еду из чужой тарелки:
Плов, суп, компот, гренки.
Не понять дуракам,
Что когда выпьешь,
Станешь как воробей —
Всех выше.

***

С. Н. Есину

Всё равно это было тихо —
Ведь писателей много
Вот умер очередной мальчишка
А старик в некрологе.

И травой зарастёт
И сплетни
Пронесутся быстрее славы
В памяти — книжный ветер
Прочитали?
Не прочитали?

***

Говорят, в непроверенном стоге сена
Можно найти иголку.
Сесть,
Зашить всё, что порвано,
Что давно не болело.

Снова — здорово
Стать бестолковым,
Больным и растерянным.
Палкой разбрасывать грязную лужу
И просить прощенье
У дерева.

***

А. К.

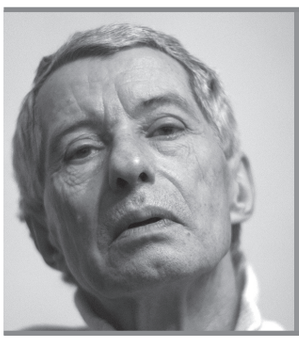
Когда все сплетники умрут,
Все наши кости перетрут.
И перемелется зима —
Я стану сплетницей сама.
Переверну свою тарелку,
Переведу обратно стрелку,
Чтобы часы вернули мне
Всё, что осталось в той зиме.

***

Бог пошёл на речку искупаться,
Полюбил он Мурманскую область.
Позабыл, что где-то стол накрыли,
Ждут к обеду — станут волноваться.

Смотрит, как вокруг гуляют рыбы,
Шепчутся друг с другом о небесном.
И мечтают вырасти как сосны,
Или стать могучими как глыбы.

Холодна их речка золотая,
Но когда ты Бог — тепло повсюду.
Можно опоздать домой к обеду,
Чтоб пересчитать воронью стаю.



Валерий ЛОБАНОВ, Одинцово, Московская обл.



РУССКИЙ РОМАН

Анатолию Кобенкову

В голове туман, именуемый «Анна».
Зимняя Москва проступает за ним.
У меня роман,
и субъект романа
молод, зелен, голоден и раним.

Обжигает щёки
ледяной крапивой.
Далеко до площади.
А в кафе, где мы
пирожки запивали пивом,
подружился с нами
какой-то румын.

А великий январь
распростёр свои руки
над землёй в огоньках
новогодней гульбы,
и никуда не скроешься
от его заварухи,
и нигде не спрячешься
от своей судьбы.

И всё-таки хорошо.
Небесная сыплет манна,
то есть падает с неба
чистейшей воды порошок.
И всё-таки хорошо —
русский разлив романа,
русский разлив румына.
И всё-таки хорошо!

РОССИЯ. 1950

Вот и книжки запретные изданы,
а не только «От двух до пяти».
Вспомнил, как убегали мы из дому,
чтобы до горизонта дойти.

Слабину у родителей высмотрев, —
прочь из дома! — сквозь сад и лужок.
И со мною дружок, Витька Присмотров,
доедает второй пирожок.

Небеса осиянные родины.
Полдень века в российском раю.
Никакие дороги не пройдены,
кромка леса вдали, на краю.

Мы купались в земном изобилии —
перламутром цвела стрекоза,
голубели высокие лилии
и ромашек желтели глаза.

Наши ноги зелёными волнами
омывала густая трава.
Открывались нам, тайнами полные,
неизведанные острова.

…Длится ночь, сигареты кончаются.
Всё равно мы туда убежим,
где под ветром июльским качаются
золотые Твои рубежи!

МОЛЧА

Ни на что не надеемся,
не смеёмся, не плачемся.
Никуда мы не денемся,
не исчезнем, не спрячемся.

Глянем внутренним зрением
в несказанное, раннее…
Постоим со смирением,
постоим со старанием

над родными могилами,
там, где звёзды — лампадами,
со своими мобилами,
со своими айпадами.

УТРО

Неприметно для зренья и слуха,
завершая своё бытиё,
поутру умирает старуха,
затихает дыханье её.

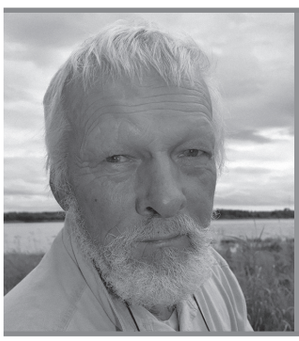
А покуда она умирает,
птица певчая звонко поёт,
да рассвет краснопёрый играет,
да высокое Солнце встаёт.

***

Листва ударяется оземь,
и рыжий октябрь не в себе,
и первопрестольная осень
в округе царит и в судьбе.

Минувшее не повторится.
Нагуливаешь аппетит…
И осень,
и чёрная птица
по серому небу летит.

Снаружи всё выглядит клёво.
Блаженные слёзы утри!
Льёт дождь,
и последнее слово
сжигает тебя изнутри.



Александр ЛОГИНОВ,
Каргополь, Архангельская обл.

ЛЮДИ-КОРАБЛИ

Мы — люди-корабли с пробоиной в борту,
На уровне сердец залатываем дыры.
И нас устали ждать давно в родном порту -
Вздыхают у бойниц седые канониры.

Плывём из века в век, заложники штормов,
И нас несут ветра к земле обетованной.
Но что нам этот рай без отчих берегов,
Без дедовских могил и русской славы бранной?

Наш порох отсырел и потускнела медь
Расколотых стволов всех корабельных пушек.
И нам не суждено в сраженьях умереть
За близких и родных, оставленных на суше…

…Но что это вдали? — Смерч огненных шаров,
Кипящая вода, треск палубных надстроек!..
Последний бой ведёт там Фёдор Ушаков.
Держись, наш адмирал! И мы чего-то стоим.

Эй, у штурвала, брат! А ну-ка, левый руль!
Закончился наш дрейф. Идём в родную гавань.
Сердца пронзает шквал девятибалльных бурь.
Для русских моряков ещё не соткан саван.

Пусть порох отсырел, но на последний залп
Найдётся для одной из корабельных пушек.
Мы сверили наш курс. Держись, наш адмирал!
Мы — люди-корабли. И дух наш не порушен.

Нет, не поглотит нас времён водоворот.
Восходит к небесам гул колокольных звонов.
К бойнице, канонир! Нас Севастополь ждёт,
Защитники его бессмертных бастионов.

***

Он загадан чуть дальше
Окаянных времён —
Этот маленький мальчик
Не закатан в бетон.

Он ещё не расплющен
На асфальте ночном
Этим веком бегущим,
Обречённым на слом.

Не распят на решётках
Ледяных площадей,
И не числится в сводках
Похоронных вестей.

Он ещё не пришпилен
Рифмой к песне-строке.
Убаюканный штилем,
Вниз плывёт по реке.

Этот маленький Беринг,
Открыватель миров,
Скоро выйдет на берег
Разрывных моих снов,

Где огонь девяностых
Плавит красный гранит
И слышны отголоски
поминальных молитв,

Где, уйдя от охоты,
У последней черты
Он меня спросит: — Кто ты?
И отвечу я: — Ты.

…Вот и семьдесят. Грозно
Молоточек стучит.
Прибиваются звёзды
На небесный мой щит.

Мы вдвоём. Остывают
Угольки костерка.
С резвой чайкой играет
Молодая река.

Всё вокруг голубое…
Утро пьёт тишину.
Уплываем с тобою
В глубину, в вышину.

***

Помню, в детстве, как только ступлю
за порог —
Золото солнышка течёт по вискам.
Засмотрюсь на небо: а где ж там Бог?
Поклонюсь в пояс ромашкам и васильком.

И — по росному полю, к оврагу, где
Изойду слезами под черёмухой
белой-белой…
Выплачусь в одиночестве.
И при первой звезде —
К дому огородами, тихий, несмелый…

Жутко мне, жутко. Уханье сов.
На крылечке мамка. Улыбается горько:
— Много ли изловил, сынок, ночных
светлячков?
Выверну карманы: а там гнилушки —
и только.

— Завтра из дому ногой ни-ни!
И учти, на засов тебя запирать не стану.
Солнечных зайчиков будешь ловить — они
Тебя не обманут…

По утреннему туману ушли и отец, и мать.
Вычернились цветы и новые дали всходы…

А я всё ловлю, ловлю солнечных зайчиков…
и не могу поймать.
Зимы проходят, вёсны… Годы.

На вечернем крылечке, по осколкам собрав
зарю,
Как младенца её на груди, возле сердца,
прячу.
И всю ночь напролёт в суровую даль смотрю,
Перед словом заветным склоняя чело, плачу.



Лина ЛОГИНОВСКАЯ, Оренбург

***

Эх, судьба-судьбина.
Красная калина.
Во́ поле рябина.
Под рябиной крест.

Эх, была краина —
Нэнька-Украина.
Чистая дивчина
Потеряла честь.

Страшная годына.
Чёрная темнина
Улеглась под тыном
Да рябину ест.

***

Нам, далёким и разделённым
Кровью, гарью, свинца потопом.
Нам, разъеденным и солёным
Не слезами — рабочим потом

Что делить? Не осталось силы —
Разодрали, разворотили.
Брат на брата, топор на вилы,
Два креста на одной могиле.

Чем дышать? Перекрыли доступ.
Кислород извлекли из лёгких.
Не срастись. Словно бритвой острой
Рассекли неделимый остов.

***

Запах вешний, запах нежный,
Запах солнца и цветов.
Он весною безмятежной
Разбивает лёд фронтов.

Над домами пляшет ветер.
Птичий свист на проводах.
День кружится, чист и светел,
У любви на подступах.



Юрий ЛОЩИЦ, Москва

***

Ветром нежимой стаею
шелестят камыши:
Ни на чём не настаивай…
никуда не спеши.
Эти стебли блестящие,
вздохи, выплески кос…
Вот оно — настоящее.
Или ты не дорос?
То, что ветром взъерошено,
влагой напоено,
в чужину не заброшено —
осмотрись по-хорошему —
при своём всё оно.
Дыхом-выдохом взораны,
не теряясь в глуши,
во все дали и стороны
раздались крепыши.
При своих плёсах, пажитях
не скучает душа.
Ширь от прадедов нажита, —
восхитись, хороша!
Так куда же, куда же ты
поспешаешь, шурша?

19 апреля 2019

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ

Официальные статистические документы РФ подтверждают: каждый десятый гражданин России прописан в Москве.

В сводку российских статистик
как победительный клич
вывод итоговый втиснут:
каждый десятый — москвич!

Каждый десятый?.. Ужели?
Как это мы преуспели?
Сам потрудись и сочти:
каждый десятый — в чести!

Разве не мы намечтали?
Разве не мы поклялись:
на состязаньях столиц
первые взять все медали?
Вот и в десятку попали!
На пьедестал прорвались!

Боже, но что же Россия —
вся остальная? Да так!..
Бросьте оглядки косые.
Каждый десятый — мастак!

Каждый деся?.. А не слишком?
Как пораскинешь умишком:
кто же засеет поля?
кто обиходит угодья?
Хватит силёнок в народе,
чтоб не пропала земля?

… Что там народ, коли робот
всё без людей обиходит —
вспашет, засеет, сожнёт…
Бросьте скулить про народ!

Этот былинный оратай
весь изошёл, толстопятый,
в дебрях исчез, будто сыч.
Здравствуй, десятый, стань пятый —
даже четвёртый — москвич!

… Втиснешься вся ты, Рассея,
в кольца московского змея.
Съест и меня он, друзья.
Вот вам и сказочка вся.

15. 02.19



Евгений ЛУКИН,
Волгоград

***

Нас поссорили, как дикарей,
бледнолицые братья,
и срываемся мы с якорей,
изрыгая проклятья.
Кто виновен в сплетенье тенёт?
Разгорается свара.
Делавар ирокеза клянёт,
ирокез — делавара.
Потому-то советская власть
и была богоданна,
что услышит подобное — хрясть!
И привет с Магадана!

09.04.14 — 19.11.18

ХЛОПЬЯ С НЕБА

Удивляюсь, выйдя в скверы
и гуляя по аллее,
что вверху снежинки серы,
а чем ниже, тем белее.
Оседают на эпоху,
на меня на верхоглядца…
И чему ещё, ей-богу,
в наше время удивляться?

13.03.18

***

Судьбой ли, Богом суждено
уйти за грань земного круга —
скажи, не всё ли нам равно,
кто нас отнимет друг у друга?
Жизнь обращается в ничто,
недолгий век почти что прожит.
Остались я, и ты, и то,
что нас однажды уничтожит.

2017

***

Сергею Васильеву

Переулки белы, мертвы.
Сам, смотри, не заиндевей!
Снег бредёт меж чёрных ветвей,
как французы из-под Москвы.
Не убит, но уже отпет,
в хмуром шествии примечай,
как слагается невзначай
поражение из побед.
Не сносить тебе головы
этой выморочной зимой.
Побредём-ка и мы домой,
как французы из-под Москвы.

2016

***

Совесть мучит по мелочам.
Сам приходишь в недоумение:
чепуха ведь — и тем не менее
просыпаешься по ночам.
Светят звёзды. Чернеет шкаф.
Это что же выходит? То есть ты
до сих пор признаёшься совести
только в мелких своих грешках?

2014

***

Вечернее безветрие окрест.
В апрельской роще, где-то там, у липок
безбожно врёт мелодию оркестр —
зверинец металлических улиток.
А мы с Витьком, не зная ничего,
сидим и принимаем постепенно.
Нам невдомёк, что это для него
разучивают школьники Шопена.

1972–2016

***

Через две недели быть разливу,
дышит грунт, а лист ещё таков,
что поверю, будто сел на иву
рой зелёнокрылых мотыльков.
Чуть помедлю, проникаясь благом,
и опять взойду на бугорок,
за которым мусор по оврагам
и сплошное месиво дорог.
Господи, прости за повторенья,
но, быть может, скажешь, отчего
именно такой венец творенья
нахлобучен миру на чело?

2016



Евгений ЛУКИН,
Санкт-Петербург

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАРТИНКИ

Ангел Петропавловского собора

Что делает ангел на шпиле?
В какие стремится края?
Его облака обступили,
Его осенила заря.

Вот птица над ангелом кружит —
То в поле поманит, то в лес.
А он только с ветром и дружит,
И следует воле небес.

Его неземная работа
Лишь ангельской силе под стать —
Парить на краю небосвода
И город свой оберегать.

Александро-Невская лавра

Здесь, в этом перелеске,
В урочище сыром
Князь Александр Невский
Скрестил мечи с врагом.

И в честь победы славной,
Преобразив пустырь,
Воздвигли православный
Чудесный монастырь.

А кто не хочет видеть,
Что битва здесь была,
Пускай на площадь выйдет
Из темного угла.

Встречая вызов дерзкий,
Там едет на коне
Князь Александр Невский
В сияющей броне.

Пантелеймоновская церковь

Есть русский храм первоначальный,
Достойный памяти веков.
Здесь на доске мемориальной
Названья выбиты полков.

Уже давно за облаками
Они штурмуют без конца
Иные башни с куполами,
Иные стены в три зубца.

Но каждым утром, как светает,
Тень императора Петра
Полки на бой благословляет:
«Богатыри, вперёд! Ура!»

Медный всадник

Этьен Фальконе всё мечтал об удаче:
Найти бы Гром-камень, который гремит,
И всадника сделать, который поскачет
И царственным громом весь мир покорит.

Что грезилось, то и сбылось — не иначе.
С тех пор обветшал на ступенях гранит,
А всадник на камне всё скачет и скачет,
А камень под ним всё гремит и гремит.

Зимний дворец

Однажды случился пожар в Эрмитаже:
Горели гардины, картины, паркет,
Горели кушетки, розетки и даже
Дымился царя Николая портрет.

Огонь подступал к галерее военной,
Где гордые образы русских солдат
Теснились отважной ватагой настенной,
Точнее в воинственный строились ряд.

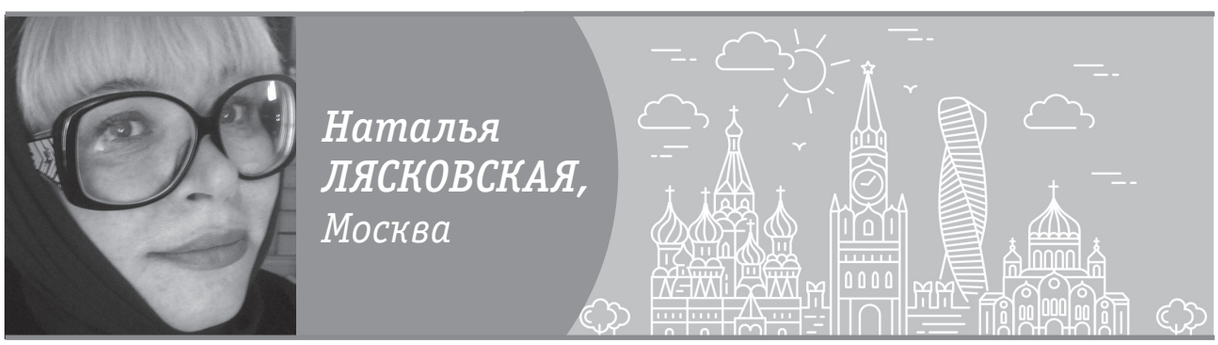
И вдруг перед строем, в боях закалённым,
Огонь отступил и развеялся в дым,
Как будто он понял умом воспалённым,
Что каждый из воинов непобедим.

Исаакиевский собор

Собор стоял подобьем рая,
Сияя святостью своей.
Но грянула пора другая,
И превратили храм в музей.

И был под купол поднебесный,
Откуда лился Божий свет,
Подвешен маятник железный,
Чтоб доказать, что Бога нет.

Хотя был фокус необычен,
Господь промолвил: «Исполать!
Я к разному труду привычен.
Что ж, будем маятник качать!»



Наталья ЛЯСКОВСКАЯ, Москва

ЖАЖДА ЧИСТОТЫ

собрала чемодан и в прихожую — нет уж подальше пинками — за самую дверь
забирай да вали всё закончилось vale издох зверь либидо постылый поверь
мне теперь всё равно день-июнь за окном утро-вечер январская ночь

прочь потрёпанный эрос минхерос старперос роспис кобельерос и проч
о блаженство одной на безгрешной старушьей кроватке безгрешно уснуть
только милой подружке-сорочке позволив обнять мои бёдра и что там и грудь
только Богом мне данного тела вдыхать суховей сухоцвет
и забыть что не так и забыть что не то и забыть сколько вешу и сколько мне лет
и постыдные тайны которых мешок на закорках пыхтела-влачила немал
и дорогу к врачу что железом на крючья полжизни родильное лоно вздымал
снова девочкой стать я хочу как в коробке подарок свертеться в уютном домке
в нежно-бежевых тапках сидеть да в горошках платке да с конфетой в руке
и не видеть вот так в простоте ни тщеты ни чужой суеты ни своей нищеты
снам отрадным внимать где играют в раю птицы ангелы люди цветы и коты
и не знать ничего кроме смыслов евангельских пусть говорят что раба что овца
и на сына смотреть снизу вверх как на старшего брата и даже всё чаще — отца
за любимых молиться да петь — птица эй поэтица по небу по речи по русской плыви
я невинность верну телу мыслям словам
и стихам
и душе
и любви

К ЗЕМЛЕ

не надо встав к пяти накидывать осинку
заклёкшую как луб всю в мольих вензелях
и в полутьме вздувать каряку-керосинку
вар в кружке скипятить хлебнуть — и через шлях
вкруг обойти садок добраться до дроварни
в хрустящей мгле ночной отбить с пяток полен
и чуять на губах январский жар полярный
и хватку мужика-мороза у колен
а распалится печь — не надо утром лунным
в трёхведерный бачок свинячью пищу сечь
на лавочной доске щербатой меццалуной
да «с радива» ловить далёкой жизни речь
как нагло верещат на «пионерской зорьке»
у нас в хлеву своя со звёздочкой на лбу
и сытный стойла дух и запах крови горький
въедятся в плоть мою впитаются в судьбу
ешь мать-корова жуй и силосом полезным
насыти молочко чтоб зиму перемочь
и бабушке с клюкой и девочке болезной
будь зорькой в небесах когда уходит ночь
зимища за окном а я в гнезде столичном
сижу гляжу в окно где мир мороз трощит
у Бога соловей в запазухе тепличной
у сына за спиной надёжной словно щит
не надо мне сейчас задрав подол до паха
по вязкой колее чесать с дитём в снегу
в автобусе трястись и умирать от страха
что в лазарет живым доставить не смогу
не надо хоронить родных в земле железной

дробить ломами наст до глины до корней
и выть на холоду вдовицею бесслезной
и через гроб глядеть в ознобный мир теней
а здесь-то рай-зима сиди старей безбедно
хочь хлеба на те хлеб хочь чаю на те чай
какое счастье жить в опеке заповедной
спи если хочешь спать а спросят отвечай
благодари
молись
но что же я всё чаще
тоскую по селу родному своему
и вижу через лет густеющую чащу
сквозь выморочный дым и ледяную тьму
как бабушка встаёт с лежанки костоправки
закутывает плат зевает крестит рот
растапливает печь берёт секач на лавке
и начинает день
и так из года в год
крестьянское моё всё ближе мне всё ближе
и бабынастин зов всё чётче и сильней
унученька вернись на землю
даже ниже
работать чтоб на ней
покоиться бы в ней

СКОКА ВРЕМНЯ

Христос заходит в спящую деревню
дома под крышу снегом занесло
а брат дурной подначивает зло —
«мала спытай у Бога скока времня»

меж нами невозможен диалог —
закутываюсь в хустку с петухами
и как мешочек с детскими грехами
послушно выпадаю за порог

я маленькая да мне может пять
совсем одна под черно-звёздным небом
и лишь одно значенье слова треба
могу умом и сердцем понимать

мне брат велит — так надобно идти
и это треба без обид прияти
в сакральном смысле важном для дитяти
ответ найти и брату принести

метель затихла белые коты
сугробов посвернувшихся клубками
мне светят вслед янтарными зрачками
и греют пузами подземные бурты

людей не видно спит усталый люд
так уработались на личном и колхозном
на то й зима чтоб дрыхнуть в коматозном —
едят во сне и беспробудно пьют

что значит время и какое мне
принадлежит где я жила когда-то
и сколько нужно этой штуки брату
деревне городу и всей моей стране

о мир без цифр кружала белизна
снежинки сыплются часы минуты годы
по хустке катятся горошки углерода
алмазы или слёзы кто их зна

но вдруг шаги — и понял брате ты
хрустит ли снег у Бога под ногами
и час узнал — и поспешил кругами
туда где несть о числах суеты
а мне

какое время здесь моё
когда я мучаясь от боли жажду света —
нет на земле целебного ответа
как воска нет в хвалёном мумиё

но верит сын в молитвы торжество
и побеждает мой хранитель ревний
не говори мне Боже «скока времня»
ночь на седьмое
скоро
Рождество



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Николаю МАЙОРОВУ

(100 лет)

Борис СЛУЦКИЙ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Был октябрь 1941 года, один из самых тяжёлых для Москвы дней октября — 16 или 17 число.

Немцы наступали где-то у Можайска. Их ещё не удавалось остановить. Кое-где над центром города падал странный серый снег, вялый, медленный. Это был пепел. Эвакуируемые учреждения жгли бумаги. Каждый час тысячи людей уходили на запад, на юго-запад, на северо-запад — на фронт. Другие тысячи уходили и уезжали на восток, в эвакуацию.

Вот в такой день на улице Герцена я и встретил, в последний раз в жизни, Колю Майорова.

Какой он был тогда — помню: хмурый, лобастый, неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах.

— А я вот иду в военкомат, записываться в армию.

Постояли мы на улице, на самой важной для нас обоих улице Герцена — больше трёх лет проучились мы на ней, через два дома друг от друга. Поговорили о товарищах: кто как и кто где. Торопливо, в двух словах, рассказал я Коле о фронте и о госпитале. И — разошлись, чтобы никогда более не увидеть друг друга.

***

В книге Майорова, которая вышла год назад, и в этом сборнике собраны почти все известные мне стихи Коли — последних трёх-четырёх лет его жизни. Почти все, но не все.

Я хорошо помню стихи о деревенской гулянке, со строкой:

Я сам любил ходить в такие игры.

Может быть, когда-нибудь вспомнятся, приснятся другие стихи, другие строки, а может быть, и не вспомнятся. Мы, наверное, слушали в те годы друг друга не очень внимательно.

Всё написанное и читанное казалось присказкой. «А сказка будет впереди». Главное ещё напишется. У иных так и случилось. А у иных вместо сказки впереди была смерть.

***

Я перечитываю стихи Майорова тридцать девятого, сорокового, сорок первого годов. Многое вспоминаю, со многим встречаюсь впервые и думаю, что нет, это уже не присказка.

Мы никогда не прочтём того, что Коля написал бы о войне, о нашей победе. Но он сказал своё честное и точное слово о том, что думали и чувствовали люди его поколения за день, за год до войны. О буре истории, ревевшей за окнами наших студенческих общежитий. И о том, как

…были высоки, русоволосы

те, кто шагнул навстречу буре. Победа начинается с решимости её добиться, с уверенности в правоте нашего дела. Об этой решимости, об этой правоте — всё, что написал Майоров.



Владимир МАКАРЕНКОВ,
Смоленск

МОЛИТВА МОНОМАХА

Денёк, одетый в белую рубаху,
Под гусли солнца пел о синеве.
У памятника князю Мономаху
Я приютился нотой на скамье.

Колокола Успенского собора
Не нарушали главной темы дня.
Земля и небеса, друг другу вторя,
Благих звучаний ждали от меня.

И я запел, не вслух — душой, как птаха
В стремленье песней взмыть за облака.
Мне бронзовой улыбкой Мономаха
Вдруг улыбнулись древние века.

Вдруг в княжеских руках раскрылась книга.
Затрепетало солнце, как свеча,
Лучом коснувшись вспрянувшего лика.
И голос Мономаха зазвучал:

«Премудрости наставник и податель
Благого смысла, научи пути,
Дай нищему спасение от знати,
И в разуме мне сердце утверди.

Даруй моим устам познанье слова,
Не запрещай, упав, взывать к Тебе.
Всемилостивый, дай надежду крова
Господнего мне — падшему — в мольбе.

Помилуй, Боже, за дела земные!
Суди, не осудив на ад за грех.
Поверь молитвам Пресвятой Марии,
И ангелов, и мучеников всех».

ВЕНЧАНИЕ В ОВСТУГЕ

Туман и зябкий ветер во дворе
Не обещали ясную погоду.
Но чудно выпадают в октябре
Деньки благому солнышку в угоду.

Сияло так, как будто бы часы
Природы сбились в солнечном загуле,
И жало заблудившейся осы
Их стрелки пригвоздило на июле.

Благой денёк нам выпал на Покров!
Улавливалось тайное звучанье
Невидимых живых колоколов,
Благословлявших позднее венчанье.

Светились для меня твои глаза,
Как в космосе Земля для космонавта.
И приняли в объятья Небеса,
Открылось нам неведомое завтра.

Из церкви вышли в образах людей,
И солнце нас повторно обвенчало.
Мы отразились в паре лебедей,
Шагающих к усадьбе величаво.

Смеялись добрым шуткам и у ног
Поэта легкокрыло обнимались.
Один лишь он был недвижимо строг,
Когда для фотографии снимались.

Вдруг вспомнилось: «…коснётся ль благодать
Моей души болезненно-греховной…».
И захотелось вновь тебя обнять
Под дуновенье нежности духовной.

Я думал, Тютчев в парке сквозь века
Не может наглядеться на усадьбу.
А он глядит нам в души;
Как река
на облака,
Как Бог на нашу свадьбу.

ЖИВАЯ МУЗЫКА ПРИРОДЫ

И на трубе, и на кларнете
Легко сыграет небосвод,
Когда маэстро вольный ветер
Задорно палочкой взмахнёт.

Её мельканье скроют крыши
И солнца яркие лучи.
Но не волнуйся, ты услышишь,
Как явно музыка звучит.

Как будто в яме поднебесной
Для всех, кто счастлив от стихов,
Играет оперный оркестр,
Читая ноты с облаков.

Глухой скептически заметит:
«Какая чушь! То вой и свист!»
А это — музыка, ведь ветер —
И дирижёр и вокалист.

О чём? Зависит от погоды,
От нот, летящих стаей ввысь.
Живая музыка природы,
Неповторимая, как жизнь.



Мария МАКАРОВА, Москва

***

Серое, бурое или такое вот в крапку,
Бабушка, где ты? Свяжи мне, пожалуйста, шапку.
Чтобы кололась ужасно и было в ней жарко.
Цвет неудачный, но главное, что он не маркий

Дай мне пальто моё с белой кудлатой опушкой,
Ладно уж, я застегну его, буду послушной,
Шарф полосатый и варежки, те, на резинке.
Где для подснежников наша смешная корзинка?
Так уж и быть я с тобой завтра встану до свету.
Бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, где ты?

***

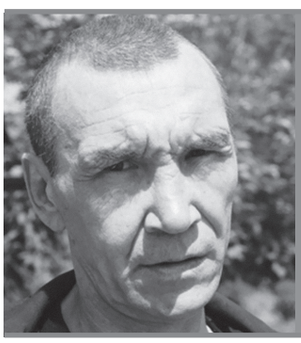
Исподнее в проруби тёмной полощет
И красные руки за пазухой греет.
Она вышивает подзоры наощупь,
И молча болеет, и молча стареет.

Она никого и не ждёт, и не ищет.
Четыреста сорок шагов до погоста.
Напомнит себе — будет день, будет пища,
Постелит в субботу крахмальную простынь.

Она расстегнёт на кармане булавку
В подвязанном старой бечёвкой халате,
И купит себе столько дней в автолавке,
На сколько накопленной пенсии хватит.

***

Мне хочется спать, а тебе говорить.
И я провожаю тебя до двери,
Встаю, засыпая почти у окна,
В такой снегопад я тебе не видна.
Но виден за шторами лампочки свет —
Мой странный и даже смешной силуэт,
Он быстро идёт за твоею спиной,
А ты остаёшься за это со мной.
А я остаюсь за морозным окном.
В дворовом колодце пушистое дно.
И я засыпаю, в снежинках кружа,
Их сонными вздохами перемежа…



Андрей МАРКИЯНОВ, Тюмень

ОЖИДАНИЕ

Неуютен, недвижим и низок
Небосклон замыкался вдали.
А в селе на резные карнизы
Предзакатные тени легли.

И мужик с папиросой за ухом
Примерялся поленья колоть.
И крестилась в окошке старуха:
«Упаси мою душу, Господь…».

И над этой вот жизнью унылой,
Из последних карабкаясь сил,
Кто-то шёл по дороге застылой
И нетрезво, навзрыд голосил.

И мычала корова в сарае,
И гремело в колодце ведро,
И гусей запоздалая стая
В полыньях разметала перо.

А в морозном тумане, как гири,
Поднимались вершины стогов…
Было грустным и тягостным в мире
Ожидание близких снегов.

***

Я вчера проходил по заброшенным тропам погоста.
Я смотрел на кресты, на портреты ушедших людей.
У могил никого. А над ними обыденно просто
Сотни галок чернели на кронах седых тополей.

Чуть поодаль, над речкой, виднелись останки селенья.
От него лишь бугры, да сирень, да бескрайний лопух.
Здесь не слышно давно лунной ночью девичьего пенья.
Здесь не гонит коров к водопою нетрезвый пастух.

Так зачем я вчера очутился на мёртвом погосте?
И зачем, как лунатик, бродил — может быть, потому,
Что по лету страшней приходить к этим призракам в гости,
И на буйство природы живому смотреть одному.

Неужели затем, чтобы мучиться грешному телу
От сознанья конца, ограниченных временем лет.
И бессвязно текли невесёлые мысли к пределу,
А за ним пропадал в пустоту человеческий след.

Я присел у надгробья с эмалевой треснутой рамкой
На железном обломке, который могилу венчал.
Там парнишка стоял в гимнастёрке и с орденской планкой.
Я сидел на траве, водку пил за него и молчал.

Значит, так и должно, значит это кому-нибудь нужно.
И зачем мне опять ворошить эту тему в стихах.
Просто пахло весной, просто было тревожно и душно,
И остатки венков шелестели на серых крестах.

МОЛОДАЯ

Вот уже и август на подходе,
Хорошо бы — с тучей дождевой.
Молодая с тяпкой в огороде
На жаре замаялась с травой.

Поглядит, прищурившись, порою
В бледную от зноя высоту.
И опять сражается с грядою —
Злая, загорелая, в поту.

Шорты жмут, и лифчик влажный тесен —
Словно обруч сдавливает грудь…
Кружит коршун высоко над лесом,
Блещет солнце — белое, как ртуть.

Ей бы бросить всё, пойти на речку —
Сбросить всё, войти в неё нагой.
И, расправив с наслажденьем плечи,
Как русалке, скрыться с головой.

Скрыться можно, но сначала дело,
И упорства ей не занимать.
Это ничего, что ноет тело.
Тело подождёт, ядрена мать!



Зоя МЕЖИРОВА, штат Вашингтон, США



***

Памяти Тани Бек

Зажигаю тонкую церковную
У своей чуть приоткрытой двери.
Но тотчас же пламя возвратилось
Внутрь себя. Свернулось и опало.
В тот же миг похолодела кровь —
Свечка отчего-то вдруг потухла…

Снова я тогда её затеплив —
(Жили мы в одном с тобой подъезде), —
По ступеням понесла на пятый.
Встала перед запертою дверью.
Не твоей уже.
И тишина
Ледяная льётся —
На бездонное непониманье,
Невозможность осознать, осмыслить
Эту пустоту.

Слуцкий всё твердил —
Познакомиться с тобой должны мы.
По его упорному указу
Встретились и сразу подружились,
Был он прав — не разольёшь водой.

— Вот идут подружки-сговорёнки, —
Межиров, однажды нас увидя,
Усмехаясь, издали сказал.

Таня, Таня, что же ты исчезла?..
И стихи не пишешь так давно…
Ты ведь не могла их не писать…

Помню на тахте открытый томик
В полном книг бесценных кабинете,
Помню карандашные пометки
У четверостиший на полях.

Много их… Тогда я удивилась
Твоему упорству и усильям.
Знаю, ты поэзию любила,
Может быть, гораздо больше жизни.
Но и одиночество любя,
Наслаждалась им до исступленья.

Разные потоки настроений
По квартире двигались, как кошка,
Вместе мы за ней с тобой следили.
Вот бы эту пластику движений
Взять бы да и в строки перелить.

Долго разговаривать могли,
Тайны все друг другу доверяя…
Только вот прервался разговор.

Ты однажды вдруг произнесла,
Мне свои поведав приключенья:
— А рассказывать гораздо интересней,
Чем всё это в жизни проживать…

Я тогда была поражена
Этой неожиданностью фразы.
Но мгновенно согласилась с ней.
— Ну, конечно, творчество глубинней,
Ярче, да и выше, чем реальность.

Только всё же не могу поверить,
Что ушла ты в ту и ширь, и высь,
Где поэзии не существует…
Пусть там нет совсем привычных слов.
Пусть там тихо, может быть, беззвучно.
Но чем меньше слов в стихах, тем больше
Музыки, когда слова почти,
Растворяясь, — как бы исчезают.

Вот и ты теперь без всяких слов
Растворилась, музыкою стала.
С музыкой несложно говорить…

Мне твоя мелодия и тон
Пронизали вечер этот долгий,
В нём с тобою разговор веду.
И пометки с прошлых книг взлетают
На тахте у давних книжных полок,
Будто ноты… Только звук угас…

ПАМЯТИ ОТЦА

Приличествуют жалобы тебе ль,
Чья жизнь прошла, казалось бы, в забавах.
Ты был рабом, изгоем, а теперь
Окажешься изгнанником вдобавок…
Александр Межиров

Квартирка на Бродвее,
Почти к нему впритык.
Кругом чужой язык.
Далёкий материк.

Он и теперь к России,
Как и тогда приник.
Она ему родник,
И крест, и гнёт вериг.

От горестных раздумий
Ходил крутой кадык.
К смиренью попривык.
Мечтатель. Еретик.

На стеллажах открытых
Ряды московских книг.
И Смелякова лик.
Потушенный ночник.

Решеньем невозвратным
Чужбины хриплый рык.
Отступника ярлык.
Изгнанья ученик.



Виктор МЕЛЬНИКОВ, Коломна

КРЕЩЕНИЕ ВНУКА

По листьям блестящим струится серебряный свет —
Омыли дожди благодатное тёплое лето.
Стоит Божий храм, будто облаком белым одет,
И люди спешат к нему, верой небесной согреты.

Звучит, будто с неба, высокий торжественный звон,
Над куполом древним плывёт голубиная стая,
А в храме крещенье… Торжественны лики икон,
И дети, как ангелы, смотрят, молитве внимая.

Я, ладан вдыхая, душою парю в облаках,
Немало поживший, смотрю в необычном волненье,
Как внука приподнял священник на сильных руках —
Судьбу его будто приблизив к Христу на мгновенье.

Мой внук несмышлёный! Хотел бы я в даль заглянуть,
Увидеть, как детские годы твои пролетели,
И радостно мне, что осветит твой жизненный путь
Свеча, что сияет звездой возле этой купели.

Наш мир — океан: и греховен, и праведен он,
И нашей душе в нём бывает то тяжко, то тесно,
Но вера ведёт: коли светоч духовный зажжён —
Дорогу к спасенью Отец нам укажет Небесный.

Дорогу ты выберешь, ратник России, Иван,
Ты Божие Слово воспримешь душой, подрастая.
Ведь Ангел Святой здесь тебе при крещении дан,
И первый твой храм — это Троицы церковь святая.

Да будет родная Россия чиста и светла,
Доколе сияет от Бога идущее Слово.
Ведь, что б ни случилось — на солнце глядят купола,
И Голубь Небесный над ними возносится снова.

АБАКУМОВСКИЙ ФЕВРАЛЬ

Умыта ветром солнечная даль,
А снег — как холст разостлан придорожный.
Сегодня — абакумовский февраль,
Нам словно улыбнулся сам художник.

Шумят ветра у птиц над головой,
Тревожа дали трепетными снами.
И кажется, что Мастер — здесь, живой,
Коломною проходит вместе с нами.

Его рябины снова ждут весны,
Озябшие персты на солнце грея,
И будут жить, на холст нанесены,
Не увядая, вечно не старея.

Асфальт подсохший солнцем разогрет,
Ручьёв и птиц струятся отголоски.
Что ж, Абакумов был большой поэт
Провинциальной красоты неброской.

Мазки его — что ливень грозовой:
Когда прольётся благодать на землю,
Наш город глянет звонкой красотой
С его холста, церковным гимнам внемля.

Не торопитесь от его картин
В тот мир, где сердцу суетно и пусто.
Весь этот праздник создал он один,
Но нет его… И днём весенним грустно…



Дмитрий МИЗГУЛИН,

Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск

***

Жизнь моя от края и до края
Расплескалась в мареве огней.
Я живу и больше не считаю
Сентябрей своих и октябрей.

Словно кто покрасил эти клёны,
На берёзах золото и медь.
Я старею так непринуждённо,
Что совсем не страшно мне стареть.

Сложные решаются задачи,
И непредсказуем путь светил.
И, конечно, выглядят иначе
Женщины, которых я любил.

Уповаю я на Божью милость
И смиряюсь на закате дня.
Но совсем никак не изменились
Женщины, любившие меня.

Отчего такое — сам не знаю.
Восхищаясь — на тебя смотрю.
Догораю тихо, догораю,
Возвращаясь в молодость свою.

В этой жизни мутно всё и зыбко…
Но полны предчувствием любви
И твоя прощальная улыбка,
И глаза печальные твои…

***

Над немыми далями чужбины
Прочертил пространство самолёт.
Подо мною горы и долины,
Бесконечность океанских вод.

Я лечу опять над миром сонным
По волнам небесным бытия.
По квартирам съёмным и казённым
Расплескалась молодость моя.

Был и я весёлым и упёртым,
Делал всё, что можно и нельзя.
По вокзалам и аэропортам
Разлетелись близкие друзья.

Бестолковым сумрачным влеченьем,
Ветер вечных странствий, мимо мчи…
Озарится пусть душа свеченьем
У иконы тающей свечи.

И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжко русская земля.

***

Ты живёшь, как будто в сутках
Двадцать пять часов.
Закрывай хоть на минутку
Душу на засов.

За дисконтами вприпрыжку
Быстро не беги.
Поплотней замкни задвижку,
Душу сбереги.

От наветов, от сомнений,
От гнетущей лжи,
От бессмысленных стремлений
Душу удержи.

Береги её, покуда
В мире правит Хам.
И шатается Иуда
По святым местам.

И моли во тьме полночной
Отыскать пути,
Чтоб готовым в час урочный
В вечность перейти.

***

В век тотальной обналички,
В царстве мытарей-менял,
Жизнь прожил я по привычке,
Но себе не изменял.

На вершине и в болоте
Жил, как все в родной стране.
И в застолье, и в работе
Был со всеми наравне.

Сокрушает жизни битва,
Но спасает вновь и вновь
Нерадивая молитва,
Бестолковая любовь.

В мире муторно и тесно.
В облаках лечу во сне.
Там, где Ангел мой небесный
Молит Бога обо мне.

***

В урочный час, намеченный судьбой,
Созвездия снежинками кружили…
Зачем, скажи, мы встретились с тобой?
Но всё же хорошо, что вместе были.

Мир погрузился в сумрачную мглу,
Но две звезды погасшие шептались.
Из-за чего расстались — не пойму,
Но всё же хорошо, что мы расстались…

Сомнениями душу не тревожь.
Остынувшее сердце не обманешь.
А если в жизни что-то и поймёшь,
То всё равно счастливее не станешь.

Приемли всё, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непого́дь,
И жизнь, как бы нечаянную милость.

***

Без мифов живём и без песен —
Толпа настороженных лиц…
Наш мир до безумия тесен.
Мы сжаты флажками границ.

Заборы, заборы, заборы.
Весь мир — бесконечный забор!
И всё превращается в споры,
О чём бы ни шёл разговор.

В утробе, в квартире, в машине.
Что толку роптать на судьбу.
И кончится жизнь — в домовине,
А проще, по-русски, — в гробу.

Соседи теперь уже рядом
Прилежно и тихо лежат.
Ограды, ограды, ограды.
Весь мир состоит из оград.

Заборов, оград постоянство
Повсюду — межа на меже.
Лишь небо дарует пространство
Зажатой по жизни душе.

Где птицы парят высоко,
Где с Господом Богом легко…



Владимир МИКУШЕВИЧ,
Москва

ОДНО НАВСЕГДА НАСТОЯЩЕЕ

М. Л.

Где время от времени возгласы
И с ними совпавшие руны,
Оттуда ко мне твои волосы,
Твои неразрывные струны.

Посланница сна сердобольного,
Меня у меня ты похитишь
И, звона душа колокольного,
Заманишь из Китежа в Китеж.

Там тень одиночества путающего
Исчезнет, сиянье наращивая,
Ни прошлого там нет, ни будущего,
Одно навсегда настоящее.

12.01.2019

ТРИ ИСКУШЕНИЯ

Сказал искуситель: «Вот люди в пути,
И камни Ты в хлебы для них обрати!»

Ответил Спаситель: «Как Истинный рек,
Не хлебом единым живёт человек».

Сказал искуситель: «Что смерть и что боль?
Ты броситься с храма на землю изволь.

Надёжнейший ангельский сонм тут как тут.
Разбиться о камни Тебе не дадут!»

Ответил Спаситель: «Для праведных лишь
Есть заповедь: Бога да не искусишь!»

Сказал искуситель: «Весь мир я отдам
Тебе, если мне Ты поклонишься Сам!»

Ответил Спаситель: «Отринувший тьму
Поклонится Господу лишь одному».

Тогда от Христа отошёл Сатана,
Однако настали его времена,

И как бы его ни грозила печать,
Мы знаем теперь, что ему отвечать.

20.01.2019

ИЗ СОНЕТОВ К ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЕ

КОВРИК И КОВРИГА

Дары медового и яблочного спаса
Предназначаются Успенью Твоему,
И нескончаемый нисходит свет во тьму,
Чтоб не изведала Ты рокового часа,

Хотя не избежать кончины никому
Из тех, кто в храм идёт на зов иконостаса,
В дороге трубного ещё не слышит гласа,
А сам покорствует лишь времени-ярму,

И как не предпочесть в пути Христова ига,
Когда над бездною лишь мостик:
жертва-жердь,
А в терему Твоём и коврик и коврига,

А дальше впереди распахнутая твердь,
Чтоб убедиться мог, покаявшись, расстрига:
С Тобой, Пречистая, успение — не смерть.

21.08.2018

КОМСОМОЛКА

Я знал, что она комсомолка,
Но под восковою луной
Шла странница, шла богомолка
По улице рядом со мной.

Она под ракитою хмурой,
Где днём пламенел иван-чай,
Коснулась косой белокурой
Плеча моего невзначай.

Сполохи, летучие летом,
Отведали дикой росы,
И веяло липовым цветом
От них и от этой косы.

Я знал, что она возвратится,
Услышав, что сердцу темно,
Как молния или жар-птица
Врывается ночью в окно.

Того же посланница света,
Частица того же огня,
Касается та же комета
Косою смертельной меня.

13.03.1990

ЧТО ИЗВНЕ

Что извне, то тщетно или мнимо.
Гибельный удар всегда извне;
Мнимым настоящее гонимо,
Даже смерть от мёртвых в стороне.

Всё равно, кто правый, кто неправый,
Что зовут судом, а что судьбой;
Вне тебя тебе грозит лукавый;
Бог в тебе. Лишь Бог всегда с тобой.

16.12.1991 — 19.02.2019

БАБУШКА РУСЬ

Снежная ночь и тревога воздушная.
Лишь невидимкою в небе луна.
Но привыкала душа непослушная
Слушать при взрывах кота-баюна.
Всё ещё я ненароком аукаю:
Бегство ли, бесы ли, снова ли сны.
Бабушка Русь под ветлой сухорукою.
Зимнее детство во время войны.

1958–2018

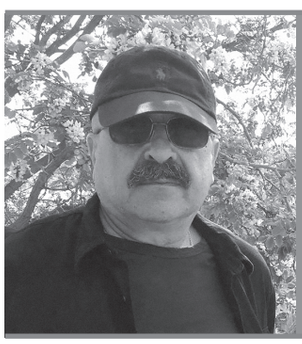
РОВЕСНИКИ ВОЙНЫ

Война бездетна.
Мы ровесники войны.
И мы не дети.

СЕРЕБРЯНЫЙ МИГ

Сумерки к весне
Серебряные брезжат,
И речь — серебро.

16.02.2019



Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ, США



В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Расскажи мне, мой друг, — что владело тобою во сне?
Это многое значит.
Что встревожило-встретило бедное сердце — извне,
Почему оно плачет?

Для себя сберегает, чтоб нам не смущаться двоим,
Плод Едемского древа.
Он теперь затаился под шёлковым спудом твоим:
Как положено, — слева.

Если вдруг прикоснуться к нему и шепнуть: «Отрави…»,
Он ответит: «Не трогай».
Нам с тобою предложено вместе отведать любви —
Перед дальней дорогой.

Это стоит усилий? — Да разве я знаю? Молчи,
Притворись иностранкой.
Наше лучшее чёрное мы надеваем в ночи —
И летим над Фонтанкой!

Где плывут, одурманены дымом заморской травы
Колоннады и своды,
Петербургские звери — крылатые смирные львы
Ниневийской породы.

НА ТРЕВОЖНУЮ НОЧЬ В ОТЕЧЕСТВЕ

Стал я спать беспокойно и плохо.
Снится плеск пересохшей реки,
Снятся строек заброшенных грохот
И заводов умерших гудки, —
Запрещённые при Маленкове,
Чтобы нам не насиловать слух. —
Нет во снах моих плоти и крови,
Лишь трусливо мятущийся дух,
Лишь предатель Победы железной,
Перемётчик небесных Начал
Суетится во снах, бестелесный,
Мародёрствует по мелочам.

Так ли прежде со мною бывало?
Помолился — и тотчас уснул:
Хоть во чреве китовом вокзала,
Хоть почётный неся караул.

Развенчались державные сцепы,
И во снах моих, — где ни приляг, —
Детсадов обесчещенных лепет,
Городов обесченных лязг.

9 МАЯ: ЭПИТАФИЯ

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!..

Ещё немного — и мы здесь никого не застанем
В живых. Но тайну сию велику Единый ведает Бог:
Се, Росс, весёлый и храбрый, — вышед на поле брани,
Принял он бой неравный — и победил. Как мог.

Се Росс — и его победы гром, вдали замирая,
Не оскорбляет слуха соседского, ибо сроки прошли.
Се Росс — и его могила, чёрная и сырая.
В её головах — чекушка. В ногах её — костыли.

А на груди у Росса — медали, медали, медали.
А на плечах у Росса — пара солдатских погон,
Или штаб-офицерских? Майора ему не дали:
Он победил, встряхнулся — и тотчас же вышел вон.

Теперь его не догонишь. Да если кто и решится,
Да если вдруг и догонишь — то всё равно не возьмёшь
И не поймёшь его, дерзкий: се — Росс, кавалер и рыцарь.
Стой, где стоишь, злополучный! — Да и решится кто ж

Настичь его, уходяща? Кто возомнит, что достоин
Взойти во смоленское пламя — и выйти на невский лёд?
Се — Росс, врагов победитель, христолюбивый воин
Глядит на тебя, потомок, и в морду твою плюёт.

НА РАЗРУШЕННОЕ СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ В ХАРЬКОВЕ, ИМЕНУЕМОЕ «МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРК»

…Вновь я посетил…
Пушкин

Тем же примерно шрифтом, что некогда там
На папиросной коробке писали слово «Казбек»,
Здесь на цементной глыбе начертано «Смерть москалям».
«И жидам», — добавил ниже рачительный человек.

Это вполне разумно в отношении тех и других,
Равно и прочих третьих, — всё сходится по нулям, —
Тобою не упомянутых: оседлых и кочевых,
Горных, лесных, равнинных, посадских и поселян.

Виждь во гробех лежащу безславну их красоту.
Правда твоя. Однако что же ты медлишь, милок?
Надо бы всех перечислить — и подвести черту
Так, чтобы в прах искрошился краеугольный мелок.

Раз уж ты посягнул заглядеться в подобную тьму,
Не закосни! — откликнись на неотступный зов.
Ухо приставь к цементу: по перечню твоему —
Чуешь? — земля расселась и отдаёт мертвецов.

Или в себя принимает, согласно реестру. А нам
Светит фонарь надвратный сквозь увлажнённую бязь.
Времени больше не будет. И мы поспеваем во храм
Усекновенский, нисколько не торопясь.



Станислав
МИНАКОВ,
Белгород

***

И понял он, что это — не война,
не сеча, понял он, не брань, не битва,
и этот вой — не песня, не молитва,
а прёт и прёт ликующее быдло,
и всё под ноль ровняет, как волна.
И понял он, что он — всему вина,
и что душа молчаньем сожжена,
и сердце непричастностью убито.
И понял он. И жизнь ему обрыдла.
И льдом сковало чёрный Иордан.
(А может, это — Лопань или Уды…)
И смертью жизнь предстала для иуды.
Но избавленный жребий не был дан.

***

Русский язык преткнётся, и наступит тотальный хутор.
И воцарится хам — в шароварах, с мобилой и ноутбуком.
Всучат ему гроссбух, священный, фатер его с гроссмуттер:
бошам иль бушам кланяйся, лишь не кацапам, сукам.

Русский язык пресечётся, а повыползет из трясин-болотин
отродье всяко, в злобе весёлой плясать, отребье.
Но нам ли искать подачек в глумливых рядах уродин!
Не привыкать — посидим на воде и хлебе.

Перешагни,
лети эти дрянь и мерзость,
ложью и ненавистью харкающее мычанье!
…Мы замолчим, ибо когда гнилое хайло отверзлось,
«достойно есть» только одно — молчанье.

Что толку твердить «не верю», как водится в режиссуре!
…Мы уйдём — так кот, полосатый амба, почти без звука
от убийц двуногих уходит зарослями Уссури,
рыжую с чёрным шерсть сокрывая между стеблей бамбука.

Водка «Тигровая» также горька, как старка.
Ан не впервой, братишки, нам зависать над бездной.
Мы уйдём, как с острова Русский — эскадра контр-адмирала Старка,
покидая Отчизну земную ради страны Небесной.

СОН ВОЕВОДЫ

Я Сумы проспал, я очнулся в Сумах,
визжавших, что ржавая гайка.
Упавшее сердце стучало впотьмах:
«Нэгайно*, нэгайно, нэгайно».

Что мает, имает меня на испуг,
играет в ночи, как нагайка?
Так — залпом, внезапно, немедленно, вдруг:
«Нэгайно, нэгайно, нэгайно».

Ахтырка, ах ты-то, чернея, как нефть, —
заржавела или заржала?
Как будто регочут, снося меня в неть, —
Ягайло, Скрыгайло, Жаржайло.

И скрежет, и режет, и гложет, и лязг,
и фары, и гвалт инфернальный.
Литвин, галичанин нахальный и лях
затеяли грай погребальный?

Три чёрта — три ражих, три рыжих чёрта
пролаяли, будто над прахом.
Но я не закончен! И вряд ли черта
отчерчена слухом и страхом.

Я русский бы выучил только за то б,
что в нём — благодатная сила,
за то, что Солоха, грызя Конотоп,
от русского — кукиш вкусила.

Не слышать, не видеть, не знать, не терпеть
нэгайной и наглой их воли.
Скажи, Богодухов, и Харьков, ответь:
доколе, доколе, доколе?

———
* Нэгайно (*укр.*) — немедленно.

МЫ С СЕСТРИЦЕЙ КО СВЯТОМУ ФЕОДОСИЮ ХОДИЛИ…

Светлане Кековой

Мы с сестрицей ко святому Феодосию ходили,
мы с сестрицей у святого Феодосья побывали:
мы с сестрицей страхом Божиим умы похолодили,
мы с сестрицей славой Божией сердца посогревали.

Мы, весёлые, на паперть, мостовую выходили,
с Крестным ходом — со Печерской Богородицею Свенской,
с Феодосьем, и спивали в поднебесье «дили-дили»
колокольцы, оль, над киевскою лаврою Успенской!

Оттого ль мы увидали переливистые круги,
что на небо поглядели, благодатные, ликуя?
Подарил игумен радость всем радевшим вон какую —
светозарные для грешников зажегши радуг дуги!

Ой, сестрицынька, ты помнишь ли те дуги, солнцесветы,
те восторг, и синь-усладу, диво-полымя с востока!
Как младенцы мы смеялись, позабыв про наши леты,
и водицей умывались, золотою, из истока.

……..

Так и жить бы, светик мой, моя отрада-голубица,
только глянь-ко, что за толпы у Святой Софии вьются?
Что за сходка непотребная толчётся и клубится,
и камланья над Крещатиком кричащим раздаются?

У, как тля зашлась ничтожная в столице православной!
Ржавь — бесов своих — сзывает самозванцем безобразным!
Знать, такое попущенье, значит, биться нам в неравной,
значит, выпало и нам стоять стоянием непраздным.

Одолеем вовкулаку, порасскажем правды-были —
как с тобою мы небёсы возлюбили, обнимая…
Дай же, Боже, быть когда-нибудь такими, как мы были
в день особенный, по-новому шестнадцатого мая.



Евгений МИНИН, Иерусалим, Израиль



***

Свет погасил.
И затопила тьма
как бы водой, прорвавшею плотину,
израильскую нашу палестину,
где осень — это вроде бы зима.
Дороже нету тишины ночной
во тьме, текущей вязким шоколадом,
а ты в ковчеге дремлешь, будто Ной,
над бездной вод, и звёзды где-то рядом…

***

Листаю журнальные гранки,
Всё больше фамилий в рамке,
И вроде бы сам у кромки,
Но велено в сторонке.

А время клокочет в воронке
Стекая в ней по спирали,
И просят в раю негромко,
Чтоб задние не напирали…

***

Кто верит теперь в колдунов, магов, гномов и фей?
Сеем добро и зло — только читай, не зевай.
Каждый у монитора поёт, что тот соловей.
И Бог стал у всех единым.
А имя ему — Вай-фай.
Что строить китайские стены и резать на части атом?
Что строить козни друг другу, стихи мастерить из фраз?
Уже не захочет Всевышний нашим стать адвокатом,
У него, как пишут в комментах, третий открылся глаз.

***

Сидеть, печально глядя на окно,
как на квадрат Малевича в музее,
в рубашке и штанах из бумазеи,
а может быть, другое там сукно,
но это мелочь — где, во что, мой друг,
нет связи у событий и декора,
когда мы словно шарики жонглёра —
кого он первым выронит из рук…

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Когда размоет память разнотолки,
а вечер тишиной наполнит дом —
какая сладость, сев у книжной полки,
перебирать за томом том.
За томом том.
И открывать страницы наугад,
и насладиться строчкой-безделушкой,
потом забыться с книгой под подушкой,
как тридцать лет,
как сорок лет назад…

СОСТОЯНИЕ РАЯ

Когда мы обнимаемся во сне,
переплетая в объятьях руки,
то не знаем,
что у нас есть дети и внуки,
и что мы знакомы, и что не
снится нам ничего, что останавливает —
не смей,
никакого душевного раздрая,
потому что в душах — состояние рая,
в который ещё не явился змей…

***

Иногда забредаешь в памяти закоулки
снова и снова,
чтоб выковыривать, словно из булки,
изюминки слова.
И начнётся из серии колдовства
мука-услада.
Превратятся стихи в слова,
да кому это надо!

ЛИШЬ ПОЭЗИЯ…

Мне науку прощать никогда не освоить,
тех, кто лгут по отдельности и сообща,
потому что всю жизнь проживаю совою,
а натура совы — ничего не прощать.
Непрощенье — всегда, словно в сердце
заноза, —

это муторный сон, боль, возникшая вдруг,
это жизни гримаса и скучная проза,
лишь поэзия — солнца сияющий круг.

***

Сквозь колкие кусты каллистемона,

пойдёшь за нею следом в темноте,

чтоб рухнуть на какой-нибудь версте

в колодец ночи, а она — бездонна.

Очнувшись утром от клинка зари,
на тьмы и света пограничье тонком,

заплачет исцарапанным котёнком
больная память где-то там внутри…

***

Поэты-други, ваша жизнь ярка,
У каждого есть преданная паства,
За рифму отдаёте вы полцарства,
От жажды умирая у ларька.
Я вас люблю, литературный люд.
Любить — поверьте — это сладкий труд
Вот вам плечо!
Я вас в беде не кину,
А если кто-то всадит ножик в спину —
То как же в наше время без иуд…

СНЕГОПАД

Засыпать город снегом —
мечта любой зимы.

Под этим серым небом
как муравьишки мы.
Кружился в ритме вальса
снежинок рой большой.

И снег упал.
Отжался.
Поднялся и пошёл.



Надежда
МИРОШНИЧЕНКО,
Сыктывкар

***

А Москва-река Москвою пробегала,
Торопилась, чтоб успеть до Покрова
Поглядеть на небеса и на кварталы.
И уснуть. А я искала ей слова.
А не то она бурлила и сердилась.
И волною билась о берег она.
Я боялась, чтоб чего с ней ни случилось —
Слишком смутные стояли времена.
В небесах копились тучи. А снежинки,
Словно мушки, зависали над водой.
А Москва-река, живая, не с картинки,
Всё бедою мне казалась разлитой.

6.10. — 12.12.18.

***

Да идите вы, куда хотите.
Только в мою душу не ходите.
И на сердце даром не пеняйте.
Да жар-птиц-то не перестреляйте.
И на землю лучше поглядите
Да глаза на небо наведите.
А на небе тайны угадайте
И одну хотя бы разгадайте.

Что нам счастье — выдумка в горошек.
И зачем цепляемся за гроши?!
Хоть живём ни шатко и ни валко.
А любовь — шалаш да раздевалка.
А была — поляна и былина.
И судьба народа — исполина…

Где ты, юность, — платьице из ситца,
Что судьба сносила — баловница?!

9.01.19

ПАРАФРАЗ

Опять замаячили в воздухе Киплинг и Гумилёв.
Но только акценты сдвинулись в сторону Азии.
И ходит жираф в плащ-палатке, пока без подков.
Он — Африки конь боевой вовеки веков.
И бдительно спят боевые слоны,
пока не участвуя в безобразии.

А Маугли в школу пошёл и вошёл в интернет.
Он мальчик талантливый и наверстает упущенное.
А где же, Россия, твой воинский нынче билет?
А, может, списал тебя международный совет
Спецов-аналитиков, не пропуская в грядущее?

Вернись, моя Родина, к трудным своим берегам.
И перечитай повнимательней нашу Историю.
Не ту, о которой мечтает поверженный вновь Нотр-Дам,

А ту, что от Бога навеки бессмертная выпала нам.
И ту, о которой мы с ворогом прежде не спорили.

Уж ходит жираф в плащ-палатке, пока без подков.
И резко акценты сдвинулись в сторону Азии.
И гении смерти живут не в Стране дураков,
В стране Апокалипсиса. И выжидают оказии.
08.11.18.

***

Памяти Анатолия Федулова

Этот мальчик не умел целоваться даже.
Как смущённо он краснел в доме трёхэтажном.
Как дарил он мне цветы, их считая блажью!
Ну и что? А разве ты не такой была же.
Как сказать он мне посмел: «Выходите замуж».
И женился. И жалел. Да чего уж там уж…
Как он рвал календаря листики бумажьи!
Ну и что? А разве я не такой была же.

Хорошо, что наяву это. Не приснилось.
Он ушёл. А я живу, как ему молилось.
Стынет сердца полынья без него на свете.
Говорю: «Дождись меня. Вот окрепнут дети…».
Жизнь короче, чем пролог. И длинней, чем память.
Как предчувствовать он мог всё, что будет с нами.
Потому со мною здесь есть любовь во имя!
Вот, что может жизнь поднесть. Смерть что не отнимет.



Валерий МИХАЙЛОВ, Нурсултан, Казахстан

***

По забытому богом просёлку
В той степи, где лишь вольный ковыль,
Я бреду безо всякого толку,
Босиком, слыша нежную пыль.

Льнут по лёгкому ветру метёлки
Ковыля, на сто вёрст ни села.
Что мне все на земле кривотолки!
Ах, как пыль золотая тепла!

Может быть, величайшая ласка
Этой Богом забытой земли —
Отпустить, словно в поле савраску,
На часок, босиком по пыли.

Ах, пока облака не нависли,
Пыль нежна, тёпел солнечный свет,
Так и брёл бы, забывши о смысле,
Смысле жизни, которого нет.

***

Фонарь качался и скрипел,
Один в пурге неслышной,
А снег летел, летел, летел
Всё выше, выше, выше.

И небо мутное впотьмах
Светилось млечным светом.
В глухой ночи на воротах
Стонал фонарь под ветром.

В краю чужом, чужом, чужом,
Заснеженном по крыши,
Слетал с небес родимый дом
Всё ближе, ближе, ближе.

В душе моей, в душе моей
Он затерялся где-то.
Ни окон в нём и ни дверей,
Одни провалы света.

***

Ю. Поминову

Мы вот как с тобою поступим:
Мы водку в стаканы нальём,
Картошку от гари облупим
И в серую соль обмакнём.

Как в мире пустеет к закату!
Как осенью тянет с реки!
Понурились дачные хаты…
Сквозь пепел костра лиловатый
Румянцем дрожат угольки.

На чурке на круглой сосновой
Сидеть я до ночи готов…
Под сводом небесного крова
Почти что не надобно слов.

Душе так свободно и тихо
И просто у самой земли…
Планеты шатучее лихо,
Пошло оно прахом вдали.

Люблю угощение друга:
Тут сало и репчатый лук,
И хлеба ржаного краюха.
Тут бедно, и чисто, и глухо…
Родимым употчевал друг.

Бела на разломе картошка,
Печёным дымится парком.
Плеснём же ещё понемножку
Да сдвинем стаканы ладком.

Что радости, годы и беды!
О том же не будешь кричать.
Но есть что друг другу поведать,
И есть нам, о чём помолчать.



Наталья МИШИНА,
Брянск

ЗИМНИЙ ТЮТЧЕВСКИЙ ПАРК

Плавают утки и лебеди
В тютчевском зимнем пруду.
Слышится тихое «Ich liebe dich…
Снова к тебе я приду…».

Птицы ныряют за крошками.
Как же не холодно им!
Мы тут своими сапожками
Возле беседки стучим.

Лёгкие рифмы по зёрнышку
Мысленно строятся в ряд.
Смотрит на дом цвета солнышка
Мюнхенский наш дипломат.

Овстуг, покрытый сугробами,
Смотрит на спящий ручей.
Шапками, правда, не новыми,
Кажутся гнёзда грачей.

В парке дорожки расчищены
Чьей-то хозяйской рукой.
Значит, поэты не лишними
Стали по жизни такой.

В ЧАСОВНЕ НА БУЙНИЧСКОМ ПОЛЕ

И вновь качнётся маятник в часовне
Среди венков и строгой тишины:
Я всех вас поимённо помню, помню,
Погибшие за Родину сыны!

Тик-так… Пример показан был, как надо
Вести тяжёлый бой без лишних слов.
Не зря зовут отцом для Сталинграда
Отважный, сильный город Могилёв!

Тик-так… С тех пор на Буйничском поле
Росой ложатся слёзы матерей
Солдат, не знавших об исходе боя,
И в ополченье собранных людей.

Тик-так… Стоят зенитки, пушки, танки,
Сдержавшие ход немцев на восток…
А с неба молча смотрят спозаранку
Семён Кутепов, Симонов и Бог.

Тик-так… Считая мирные минуты,
Качнётся снова маятник Фуко.
Вся жизнь — меж крайних точек амплитуды,
Ушедшая от войн недалеко.

Тик-так… А мы опять несём гвоздики,
И красный флаг Победы вознесён.
И кажется, что проступают лики
Сквозь мрамор плит и золото имён.



[ЮБИЛЕЙ]

Сергей МНАЦАКАНЯН, Москва

(75 лет)

Замечательному российскому поэту Сергею Мнацаканяну 4 августа исполнилось 75 лет. В 2006 году он стал первым главным редактором возрождённого альманаха «День поэзии — XXI век».

К своему юбилею литературным фондом «Дорога жизни» С. Мнацаканян был награждён орденом «Русская звезда» им. Ф. И. Тютчева.

***

Я одевался словно рвань,
носил китайские жилетки,
но в сумерках и спозарань
пытался вырваться из клетки.

Но, к сожалению, увы,
не поддавались сердцу прутья
товарищества и любви
в краю великого распутья…

И, ощущая сердцем крах,
трясу доныне, словно сдуру,
в до крови содранных руках
невидимую арматуру…

14 ноября 2016

***

Я разлюбил тебя, милый город,
где вместо возлюбленной русской речи
всё чаще звучат чужие наречья —
где турки, уже не стесняясь, лают
в свои мобильные телефоны…
Я прожил здесь три четверти века
и незаметно вошёл в патриархи
твоих бульваров и переулков,
где почти никто не читает на русском
да и вообще никто не читает…
В неизвестном направлении и внезапно
исчезают книжные магазины,
закрываются библиотеки
и тексты переходят в электронный формат…
Этот город увеличился вдвое,
появились сотни районов,
в которые я никогда не приеду,
он перестал быть лично знакомым
и напоминает неведомый лес,
полный гастарбайтеров и полицейских,
недружелюбных и отстранённых
от человеческого искусства,
жить в своём городе и в своём
отечестве, которого больше нету…
И всё же Москва — лучший город мира,
город, с которым корнями связан,
в котором живётся легко и просто,
здесь спят твои родные в могилах,
и только здесь когда-нибудь встречусь

……..

ЖЕНЩИНЫ МОДИЛЬЯНИ
(ХОЛСТ ИЗ КНИГИ ЭКФРАЙСИСОВ*
«ОБНАЖЁННАЯ В ЗЕЛЁНЫХ ЧУЛКАХ»)

Мне нравятся женщины Модильяни —
поодиночке
и, Господи,
сразу вместе,

благословенны изысканные полотна,
где ничего лишнего — только женщины,
женщины Модильяни!

Прекрасны женщины Модильяни —
эти изысканные красотки
с вытянутыми лебедиными шеями
и раскосыми удивлёнными глазами
на удлинённых лицах…
Вы всю жизнь мне чудились
в лебединых шеях,
в очертаниях облаков,
в песнях без единого слова…

Он рисовал Ахматову — и в его рисунках
стройная поэтесса с лебединой шеей
почему-то потеряла свою стройность,
словно бы он заглянул в будущее
и там увидел дородную грузную даму,
которая с трудом
передвигалась по комнате…

Ему посвятил стихи русский эмигрант
Илья Эренбург — Илья Лохматый.
такую кликуху ему придумал
Владимир Ленин,
они вместе пили пиво в парижских
забегаловках, —
а Эренбургу чудились римские пинии
и на их фоне растрёпанный Модильяни,
скорее всего, сильно нетрезвый…
Кто знает, бывал ли он когда-нибудь трезвым?
Наверное, никогда!

Он умер, гениальный художник,
а на другой день его возлюбленная —
Жанна Эбютерн, которая так часто являлась
на его полотнах,
выбросилась с шестого этажа — и насмерть,
а их ребёнок остался полным сиротою…

Вот и вся история про Амедео Модильяни:
бесприютный итальянец из Ливорно,
занесённый во Францию,
нищий алкаш и гениальный живописец —
есть в этом мире странные сочетания,
есть в этом мире чудные очертания —
лебединые шеи
и вытянутые лица —
божественные женщины Модильяни.

**Экфрасис — словесное описание произведений живописи.*

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ ГЕНИАЛЬНОЙ КНИГИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА «СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ» (1918–2018)

На семьдесят пятом году
нечаянной жизни, однако, —
я музыку слышу во льду,
а это стихи Пастернака…
С тех пор миновало 100 лет
восторга, отчаянья, крика,
и снова на старом столе
звучит гениальная книга.
Как будто бумага поёт…
Трепещут прекрасные строки,
они пробивались сквозь лёд
не старой, а новой эпохи.
И сам я по сути не здесь,
а если серьёзно, то между:
внимаю из вечности весть,
которая дарит надежду.
«Сестра моя жизнь»… Хороша
и ныне и присно — навечно,
и снова ликует душа,
что краткая жизнь бесконечна.

Москва, 2018

ПАЛОМНИК

И ты, как в прошлом некогда волхвы,
входил под своды Вифлеема,
здесь было мало скорби и любви,
здесь порохом пропахло время.
Здесь на иврите восклицают «йес!»,
когда идут ночные танки,
здесь терроризм всходил под свод небес —
небесный, а на временной стоянке.
В песках пустыни отзывался Бах,
и до сих пор невыносимо
колючим поцелуем на губах
горит дыхание хамсина…



Михаил МОЛЧАНОВ, Москва

НЕУДОБНОЕ МЕСТО

Боковая плацкартная нижняя полка.
Я всегда на неё покупаю билет.
А напротив шумит молодёжь-балаболка!
Надо мной пассажира, как правило, нет.

Неудобное место — с чужими ногами
перед носом, что вечно в проходе снуют.
Но зато я один в этом транспортном гаме,
хоть вагон — это вам не домашний уют.

Мне его и не надо: я здесь наблюдаю
жизнь воочию — место моё не соврёт —
не бездарной попсы оголтелую стаю,
не тупой сериал, а рабочий народ.

Здесь дешевле билет — с ним и едут мещане,
старики, работяги; мне полка нужна,
чтобы видеть с неё — не на телеэкране —
чем живёт небогатая наша страна.

Мне расскажет плацкартная нижняя полка,
чем живёт наш народ и в жару, и в мороз.
Лучше всё ж разглядишь ты Россию
с просёлка,
чем с шоссе современного в десять полос.

Не скажу про себя, что натура скупая,
но плевать я хотел на дешёвый престиж,
неудобное место всегда покупая,
на удобном — простую Россию проспишь.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДУРАЧОК

Видишь — разум практичный и глух в нём,
и нем!
Добродушен всегда, никогда не сердит,
как дитя, улыбаясь, не зная проблем,
дурачок деревенский на лавке сидит.

Крошки хлеба лежат на ладони, хотя,
как он дорог — ни сердцу его, ни уму.
Пару истин простых, чтоб он жил, как дитя,
при рожденье Господь заповедал ему.

Эти крошки — меж ними незримая связь:
это — глупая птица, а он — идиот.
Посему, человека ничуть не боясь,
воробей их с ладони спокойно клюёт.

Взгляд на жизнь его прост: не своруй, не убей.
Посему не ко всем, а к нему одному
на ладонь безбоязненно сел воробей,
и котёнок залез на колени к нему.

РАДУЙСЯ, СТАРУХА!

Что ты плачешь? Ты же молодою
тоже много лет назад была!
Не зови ты жизнь свою бедою.
В городе у них — свои дела.

Не бросаться ж в омут без оглядки:
к ним приедешь — сын и зол, и хмур.
Да и как оставишь эти грядки?
На кого оставишь этих кур?

За окном — синичка да сорока.
И дорога из окна видна.
Радуйся, что ты не одинока,
хоть живёшь в избе своей одна.

Навещают, хоть и редко, дети,
даже внук и внучка — иногда.
Если безразлично всё на свете —
это настоящая беда!

С ними ты хлопочешь до упада.
Из трубы — столбом весёлый дым!
Как ты суетишься, как ты рада
им — нарядным, умным, деловым!

Выслушают все тебя вполуха —
все твои старушечьи слова.
Радуйся судьбе своей, старуха:
раз ты плачешь — значит, ты жива.

ТИХИЙ ЛИРИК

Алкоголь мне поможет бороться с тоской…
Но, увидев его, всё забыл, как дурак:
в магазине «Армения» возле Тверской
покупал он бутылку вина «Аштарак».

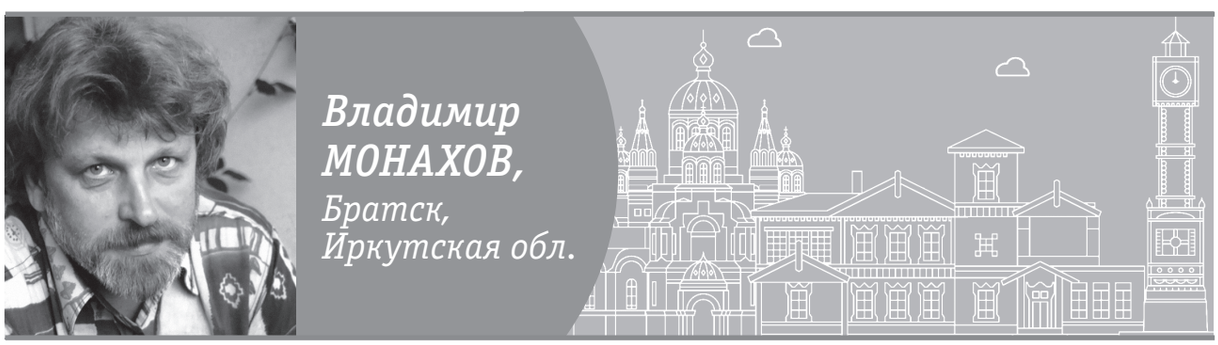
И пошёл я за ним потихонечку вслед.
Безразлично шагало бульваров кольцо:
тихий лирик — не то — что эстрадный поэт,
потому-то его и не знали в лицо.

Всё вместить в себя могут и ямб, и хорей.
Тихий скромник мне ближе, чем громкий
гордец,
ибо тихая лирика эта скорей
достучится до наших российских сердец.

В тихой лирике этой почти не слышны
звуки русской грозы — в ней снегов тишина,
в ней услышите тихую флейту весны —
барабанная дробь в ней совсем не слышна.

Что важней: стадион иль домашний уют,
переулок безлюдный иль громкий вокзал?
А ему безразлично, что не узнают,
а важнее, что многое сам он познал.

Занята голова его поиском слов.
Он не яркий софит, а ночная свеча…
По столице шагает поэт Соколов,
по асфальту негромкою тростью стуча.



***

И на всю вселенную
Яблоко хрустит.
Владимир Микушевич

Коль хочешь тишины —
проникни в яблоко,
и зёрнышком внутри
него замри, и, созревая,
наслаждайся тишиною.

Но будет день —
услышишь скрежет ты,
как яблоко твоё
проест червяк!

***

Когда жена умерла,
То заботливый муж ничего
Не поменял в доме,
А только стал спать
На её половине кровати…

Мужчина не помнил,
Когда это произошло,
И почему он так поступил…

Но пятнадцать лет по утрам
Просыпается на спальном месте
Умершей жены и продолжает
Совместную жизнь без неё!

***

…в тишине
в городе без стен.
Татьяна Виноградова

По ночам я слышу,
Как за стеной переворачивается
Со скрипом душа соседки,
Которой давным-давно
Никто не говорил:
«Я тебя люблю»!

Мэр нашего города,
Прочитав это наблюдение
В местной газете,
Вызвал заместителей и сказал:
«У нашего поэта плохие жилищные условия.
Надо ему помочь!»
И через месяц я переехал в новую
Просторную квартиру
Улучшенной планировки.

Но и там каждую ночь
Я по-прежнему слышу,
Как ворочается
Со скрипом душа соседа,
Который давным-давно
Никому не говорил:
«Я тебя люблю»!

***

Памяти Анатолия Кобенкова

Дышит Вселенная из тишины
В сторону жизни, что топчется в круге,
Где человечества Божьи сыны
Любят и ненавидят друг друга.

Дышит Вселенная из пустоты
В сторону речки, цветка полевого,
Утренней птицы, вечерней звезды
К ясности нового вещего слова.

***

Между не было и не стало
птица счастья легко порхала.
Через гладь мирового мела
Всё летела, летела, летела.
И свернулся хаос в калачик,
Нищете не вернули сдачи,
А душа за глухих и незрячих
Отмолилась и тихо плачет!

***

Ю. Ю. Рясенскому

вот и всех дел —
помнить о ближних,
вспоминать ушедших,
качаясь в кресле-качалке
между не было и не станет…



Юнна МОРИЦ,
Москва



***

Пока светает и темнеет, пока темнеет и светает,
Пока святая тайна тает, не исчезая ни на миг,
И в небе облако летает, пока река его питает,
И это облако питает волну, где жабры и плавник,

Пока простор звенит в просторе, как в подстаканниках стаканы,
Пока в поэзии растворе сияют солнце и луна,
Пока ритмичны океаны, листвы изделия чеканны,
Пока у слога — чувство Бога, чья сила движет времена,

Пока из логова наживы ничто не избежит разрухи,
Пока событий старожилы мерцают ночью в небесах,
Пока любовь струится в жилы, всё остальное — в том же духе,
Всё остальное — как при Ное кошмар в библейских чудесах.

И ты со мною, мой Читатель, и ты со мною, как при Ное,
Переплывёшь потоп в ковчеге, нельзя купить ковчег за чек,
Пока у слога — чувство Бога, пока ритмично всё родное,
Пока сильна сказать так много голубка, белая как снег.

ПРОХОЖИЙ

Он говорит, — такие, брат, дела, —
Россия столько раз пережила
Клиническую смерть, что от восторга
Иные пляшут на её костях.
Однако в окончательных страстях
Мы стали выходить живьём из морга!..
И это видно издали, вблизи,
В плохих дорогах, в дураках, в грязи,
В жестоких гениях, востребованных адом,
Который нам устраивают здесь,
Забрасывая взрывчатую смесь
Вражды, чреватой гибельным распадом, —
С доставкой на дом катят бочку с ядом:
Во всех, без исключенья новостях
У нас — клиническая смерть от нефтеторга,
Посмертно давят нас на всех путях,
Сопровождая воплями восторга.
Однако в окончательных страстях
Мы будем выходить живьём из морга, —
Никто не может, а для нас — пустяк!..

***

Война — это вой на…
Вой на разницу — мёртвый, живой,
Вой на — чья в этом деле вина,
В этом теле — чужой или свой?
Вой на — бомбы над головой,
Вой на — зверские времена,
Вой на — чья победит страна?
Вой на — кто зарастёт травой?

Вой на — бездну, чья глубина
Будет всасывать вниз головой,
Вой на — ужас такого дна,
Вой на — рану в дыре болевой,
Вой на — Бога, молитвенный вой,
Война — это вой на…
Воет в слове «война» она.
Кто первым завоет войну,
Тому и нести вину.

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Простите за всё и за всё остальное.
Простите на все времена —
За то, что страну не зарежу струною.
И вас я прощаю сполна.

Простите, что я не отдам ни ступеньки
На лестнице личной судьбы,
Где я не сражаюсь за славу и деньги
С героями этой борьбы.

Простите, что я не дала ещё дуба,
Не выпила яд, как Сократ.
И вас я прощаю — так нежно, так любо,
Что Ангел мой искренне рад!

ТО ЛИ ДЕЛО, БРАТЦЫ, ДОМА!..

Ураган, раскаты грома,
В тучах — сполохи огня.
То ли дело, братцы, дома!..
Пушкин — дома у меня.

Больше нет аэродрома,
Где война и всё горит.
«То ли дело, братцы, дома!..» —
Это Пушкин говорит.

А в Одессе — там свидомо
Жарят заживо людей.
То ли дело, братцы, дома —
До майданских психвождей!..

То ли дело — до разгрома,
Где кровавая река.
То ли дело, братцы, дома!..
Это — Пушкина строка,

Простота её бездонна —
Боль, тоска и благодать.
То ли дело, братцы, дома!..
Пушкин знал за что страдать.

СЕБЕ

Держи удар, дистанцию и слово.
Держи святую воду и перо.
Держи картошки полное ведро
И ожерелья лука золотого.
Они — твоё несметное добро,
Защита от любого духа злого.

Держи свой путь, а не по ветру нос.
Держи любовь — бессмертно, тайнозримо,
Чтоб не держать ни краски для волос,
Ни туши для ресниц, ни щёк для грима,
На это есть всегда огромный спрос, —
Но подлинника страсть неповторима.

Держи улыбку, не оскалив пасть,
Как демонстранты кафеля зубного.
Держи себя, чтоб в лапы не попасть
Общественности, рвущейся во власть —
Кроить страну, как ножницы портного!
Держи удар, дистанцию и слово.

Ядро поэтики — атлетики ядро,
Держи ядро атлетики поэтской.
Ядрёный дух держи природы детской.
Держи картошки полное ведро.
Держи святую воду и перо.
Они — твоё несметное добро.

***

Святые мученики помогают — очень,
Их чистый опыт безупречно точен,
Состав страданий свеж и не просрочен,
Святые мученики помогают нам!..
Когда страданий боль невыносима,
Святые мученики не проходят мимо,
А боль проходит — по реке, незримо,
Куда-то исчезая по волнам.

Боль — как река, течёт её дорога —
Сквозь нас!.. И святомучеников много
По ходу боли! Нам от них — подмога,

Они приходят — только позови.
Святые мученики облучают светом,
Который обезболит, но при этом
Нам не позволит торговать секретом —
Как превращается страданье в свет любви!



Геннадий МОРОЗОВ,
Санкт-Петербург — Касимов



БЫЛИННЫЙ МОТИВ

Алексею Хлуденеву

Засинела вода, засверкала в зелёных озёрах,
На тропе полевой уплотнилась полдневная пыль.
И послышалось мне, как от птичьих дневных разговоров
Стал нежнее шуршать шелковистый приокский ковыль.
За сухие суглинки схватились корнями растенья,
Хрящеватое ухо подставил под солнце лопух.
Под глубинной водой оживают, как рыбы, каменья…
Укрепи, о природа, характер мой, волю и дух!
Животворной росой окропи, тальниковая ветка,
Вон осочина блещет, как остро наточенный меч.
В пересвисте ветров слышу голос воинственных предков,
Их победные клики, державную русскую речь.
Слышу звоны щитов! Злых кочевников конница смята!
Наши стрелы летят супротив половецкой стреле.
А со звонниц гремят колокольные гулы набата.
И распятый Христос проступает в дымящейся мгле.

ТУЧА И СТРИЖ…

Когда это было? — Не помню когда…
Но помню — речная сверкала вода,
Синела небесная, звонкая высь,
Где туча и стриж друг за другом неслись.
Запомнились поле, дорога-большак…
Когда это было? — Не вспомню никак.
Но я вспоминаю родные места,
Где вёртких уклеек ловил я с моста,
Где слушал я диких гусей переклик,
Глядел в осветлённый землёю сошник.
Мне помнится дух избяного жилья…
Ушедшая жизнь, неужели моя?!
Куда он пропал её трепетный свет?
Когда это было? Давно или нет?
О, жизнь, я к такому пришёл рубежу,
В ушедшие годы прощально гляжу.
И словно бы вижу прозрачную высь,
Где туча и стриж друг за другом неслись…

***

Памяти Юрия Кузнецова

Я помню Юру Кузнецова
Задумчивым и молодым…
Его живительное слово
Мерцало облаком над ним.
Мелькали стопки, рюмки, вилки…
А он читал стихи баском.
Опорожнённые бутылки
Теснясь, толпились под столом.
Его влекла не водка… Лира!
Он с нами был…И — далеко…
Мысль покидала бренность мира
И воспаряла высоко.
Самих себя мы забывали…
И зов поэзии вкусив,
Его метафоры взмывали!
Клубясь, ветвился древний миф.
Струились образы… как реки.
Являли облик мудреца
Его припухнувшие веки
И нервность бледного лица.
А в цедээловском* бедламе
Табачный дым свивался в жгут…
И кузнецовскими словами
Объят был воздух тех минут.
Они призывно не взывали
Ни к покаянью, ни к мольбе.
И тайно нас не искушали,
Но были — сами по себе.
В них вспыхивала светосила,
Побег из мрачной пустоты
Туда, куда душа просила,
Узрев смертельные черты
Иного мира, запределья,
Где подсознанье знать даёт
О том, что кончен век безверья,
Что жаждет веровать народ.
Он знал, он знал, творец суровый,
Что счастье — ветер, слава — дым…
И поэтическое слово
Мерцало облаком над ним.

**Имеется в виду ЦДЛ — Центральный дом литераторов.*



***

Долго ль мне бродить по свету...
А. С. Пушкин

День проходит, вечер бродит,
Под ногами снег скрипит,
Со шлагбаумом выходит
На поэта инвалид.

Тише снега он крадется,
Переходит на галоп…
Чтоб влепить не как придется,
Чтобы непременно в лоб.

***

Это озеро для постояльца
Как заноза, туды-растуды…
Водоём, где нельзя искупаться, —
Бесполезная трата воды.

Ждут пожара, и дуют на спичку…
Постоялец взирает в окно,
Где на озере дразнит табличка,
Про «купание запрещено».

Ни сегодня, ни завтра, но скоро,
Послезавтра, скорее всего,
Чтоб спасти водоём от позора
Окунётся в пучину его.

Погрузится в запретные воды,
Вскинет руку — всегда, мол, готов,
Выжмет плавки, как знамя свободы,
И дворами уйдёт от ментов.

***

Легко, по погоде, одета,
Раздета ли, кто разберёт,
Нетрезвая девушка Света
Домой с вечеринки идёт.

По розовой кромке рассвета,
Туда, где батяня побьёт,
Нетрезвая девушка Света
Чуть-чуть, еле-еле бредёт.

Вращается тихо планета,
Над городом брезжит восход.
Светает со скоростью Светы —
Чуть медленней — и не взойдёт.

***

говорят,
что если выключить опцию:
«почему я такой талантливый
варю для них пельмени»,
то жить становится легче.

это не правда.
жить не становится легче.
легче становится
варить пельмени.

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ В ПОДВАЛЕ

Мужчина в самом закате сил
Милостыню просил.

Дело житейское, пустяки,
Мимо руки пятаки.

Нет Малыша, негде жить,
Некого низводить,

Что-то он совсем изнемог.
Где же ты, его Фрекен Бок?

Некуда бежать молоку.
Некуда идти старику.



Ольга МЯЛОВА, Оренбург



***

Зачем я пыталась врать
себе — о себе самой?
Зачем отказалась брать
последний билет домой?
Вниз — как по чёрному льду,
в мрак и муть — головой…
Сижу в темноте и жду,
когда ты придёшь за мной.

А там, за стенами, — день.
Подошвы в красной пыли,
ломают жёны сирень

для тех, кого не спасли.
Ещё б подёргать струну,
ещё б повыть на луну,
упасть — так сразу, а то —
прямой дорогой ко дну.

За то, что злилась в бессильи,
за то, что ушла, — прости…
Зачем обрезала крылья?
Чтоб легче было ползти…
Смеяться — и умирать
пустой, голодной зимой…
Зачем я пытаюсь врать
себе — о себе самой?..

***

Я умру на твоём плече,
Стиснув зубы от злой обиды…
Спрячу боль под гранитные плиты,
Пропаду в проулках ночей.

Зарастут мои рельсы травой,
Снег прикроет на зиму шрамы,
Весь мой путь сквозь жизнь — по кривой,
То в притоны, то в Божьи храмы.

Догоришь на чужой свече,
Поскребёшься в чужие двери…
Я умру на твоём плече,
Чтобы ты простил и поверил.

ЧЕРЕЗ СТРОЙ

До тошноты — обилие ярких красок,
до отупения — прочность стальных дверей…
Я прохожу сквозь строй смеющихся масок,
прямоходящих, двуногих, тонких зверей.

Строй недоумков — строй без конца и края,
грубая ласка слов, камней и ремней —
с каждым крепким ударом я умираю…
но с каждой смертью я становлюсь сильней.

Словно гнилые цепи, нитки порвутся!
Нравится видеть кровь? Да пусть захлебнутся!
Я увлеклась такой серьёзной игрой…
Я засыпаю уже без страха проснуться —
завтра с утра мне вновь идти через строй.



Роман НЕНАШЕВ,
Санкт-Петербург

***

Я вырастаю из старых вещей,
корни пускаю до мокрых пелёнок:
что пригорюнился, братец Кощей?
Не узнаёшь? Это я — Нахалёнок.

Видишь — вот сабля, вот цепь на суку
старого дуба в осиновой роще.
Сколько кукушка отмерит «ку-ку»?..
Не угадаешь… Тебе-то попроще —
спрятал яйцо и живи, будь здоров.
В жизни-то всё прозаичнее будет:
не оглянёшься на стук топоров —
не угадаешь того, кто зарубит.

Да и неважно. Яга-то жива?
Вот ведь летучий сюжет для картины!
А у меня проросла трын-трава,
ты не поверишь — до окон квартиры.

Люди смеются, а мне всё равно —
пусть себе ищут в других гегемона.
Часто у нас принимают рядно
будто шелка от царя Соломона.

Ладно… Царевич, Царевич-то где?
Дети остались от первого брака?
Только подумать… А впрочем, везде:
вырос, женился и умер от рака.

Как там Илюша? Как меч-кладенец?
Как наш Иванушка? Всё при невесте?
Надо же… Вроде счастливый конец:
ты вроде умер, они вроде вместе.

Знаешь, бессмертный, везде всё не то…
И не поймёшь — то ли явь, то ли снится:
вроде себя в решето,
а вырастает сорняк — медуница.

***

Он говорил: «Поехали в Мадрид!
Там хорошо, знакомый говорит.
Увидим «Гернику», «Менины», «Маху». Либо
в Брюссель поедем, как тебе Магритт?»,
а ночью нас убил метеорит —
огромная космическая глыба.

Бессмертья нет. Искусства тоже нет.
Есть тайное движение планет,
есть память, запечатанная в пластик.
В ней тишина и звёзды над рекой.
И есть покой, как выразился классик.
Холодный, оглушающий покой.

***

Было страшно и неправильно,
было так, как не должно, —
и последняя испарина,
и лицо как полотно.

Ты-то думал, что короткую
спичку вытянет другой
и судьба с пустой коробкою
на тебя махнёт рукой.

Всё шарады будут, ребусы,
всё подсказочки к концу
да весенние троллейбусы
по Садовому кольцу.

И казалось, что безбрежная
жизнь качается в окне
и не в силах центробежная
сила вынести вовне.

Но она, конечно, вынесла
то, что выдано в кредит,
и сквозь дыры в шторе вымысла
вечность сонная сквозит.

И при каждом дуновении
ледяного ветерка
штора вздрогнет на мгновение —
и колышется слегка.



Валентин
НЕРВИН,
Воронеж

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ

Памяти Евгения Блажеевского

1

На холме
за Акатовым монастырём
я совсем неспроста замечаю сегодня
эту грань между августом и сентябрём,
полосу отчуждения
Лета Господня.
Всё, на что не хватило души и ума,
не хватило решимости нынешним летом,
в сентябре ускользает по склону холма
до реки, за которой…
не будем об этом.
Что мы знаем о тех, кто на том берегу,
что я помню о тех, кого знаю сегодня,
безоглядно ступая, на каждом шагу,
в полосу отчуждения
Лета Господня?

2

Под занавес Лета Господня
тепло не даётся в кредит.
На русской равнине сегодня
рассерженный воздух гудит.
Я чувствую, как, поневоле,
природа сдаётся «под ключ»
и мечутся ангелы боли,
и молнии мечут из туч.
Душа в дождевой паутине
состарилась и замерла.

Сегодня на русской равнине
кончается время тепла.

***

Иногда ночами снится
и покоя не даёт,
будто молодости птица
перелётная поёт.
Было времечко в начале,
было дело, да прошло —
поперёк былой печали
много водки утекло.
Годы в памяти маячат
и дорога далека,
по которой птицы плачут
и кочуют облака.

***

На фоне заката,
на лоне природы
мы жили, казалось, у края земли,
когда по фарватеру шли пароходы
и сонные воды, как время, текли.
Судьба нагадала
навеки проститься
и мы выпадали из времени, где
над нами летали красивые птицы
и тени сновали по лёгкой воде.
Чем дальше по жизни,
тем сумерки ближе —
махни на прощанье рукой вдалеке.
Во сне запоздалом однажды увижу
огни парохода на тихой реке.

***

Любовь начинается, как листопад,
кончается — пуще неволи:
наивные листья покорно летят,

как жёлтые ангелы боли.
Куда мы уходим от наших сердец,
какие следы заметаем,
о чём вспоминаем, когда наконец
до самой земли долетаем?..

***

Когда мы отправимся в царство теней,
которые свет охраняют,
окажется, что ни друзей, ни коней
на этом пути не меняют:
никто не умрёт, никого не убьют,
красивые лошади скачут,
живые друзья на застолье поют
и русские женщины плачут.

ЗВЕЗДА

К утру холодает.
И чудится, вроде,
костёр догорел, а звезде невдомёк,
что недолговечная ночь на исходе —
кукушка молчит и горчит кофеёк.
Любимая,
нам уходить в одиночку,
но я тривиально доволен судьбой:
есть пара минут на хорошую строчку —
на память,
которая будет с тобой.
Сейчас я достану заветную фляжку —
налей до краев и звезду не туши:
возможно, судьба предоставит поблажку
на время любви,
на пространство души.



Галина НЕРПИНА, Москва



***

и в зловещих сумерках фонари
разевают рты
горящие изнутри

и застывший в памяти
этот крик
контрабандой в двери твои проник

и похожий на битые стекла лед
не растает пока
весна не придёт

и в стакане плещется алкоголь
от всего на свете
забыв пароль

а потом заходит кромешный мрак
поболтать о вечности
просто так

***

В. М.

Угрюм и странен человек —
но отразится свет
в глазах, утративших навек
свой первозданный цвет.

Бредёт домой навеселе,
поднимет воротник.
И мысли сохнут в голове,
как спутанный тростник.

Постылых истин отставник,
Бердяева знаток,
он жизнь свою, как стопку книг,
на свалку отволок.

Идёт теперь навеселе,
несёт в руке винцо.
И отражается в стекле
помятое лицо.

ПОДРАЖАНИЕ Р. КИПЛИНГУ

А день начинался рано
В сверкающем том краю.
Границами урагана
Там мерили силу свою.

По морю ходили смело,
Хоть был к ним Нептун суров.
Не царское это дело —
Учитывать розу ветров!

Всё правильно было на свете.
И дождь, не щадя облаков,
Ловил в свои дружные сети
И лодки, и рыбаков.

Души не удержишь в теле,
В нём слишком много воды.
Но главное — что успели
Вернуться до темноты.

До самых краёв налиты
Стаканы в неровный час.
Ты помнишь слова молитвы?

Прочти её ещё раз.

***

Розы расцветают...
В. А. Жуковский

Нетронутая, полная весна —
которой человек уже не нужен.
Он слишком вероломен и недужен —
чтоб на него обрушилась она.
Зато деревья, птицы и трава
возьмут себе её тепло живое.
А человек — пространство нежилое:
он просто нижет временно слова.
Вот он стоит с заточкою в руке —
и словом равнодушно точит слово.
И ничего не замечает снова…
И розы расцветают
вдалеке.

КИЗИЛ

На зудящую кожу не падает тень
от изношенных солнцем стволов.
Зелена лишь тоска, да в кувшине ревень,
да заросшие скулы холмов.

Но собьёт меня с толку кровавый кизил,
его спрятанной свежести вкус.
Ты навеки когда-то
меня поразил,
в спелых каплях сияющий куст.

Потому что Спаситель увидел тебя,
потому что я скоро умру.
Всем известно давно —
кто пророс из копья,
тот бесстрашно стоит на ветру.



Александр
НЕСТРУГИН,
с. Петропавловка,
Воронежская обл.

СЛОВО И ПОЛЕ

Что ни строка, то в терновом венце роковом…
Речь, ты свеча или дремлющий пал на Руси?
…Полю же — сеять и жать. Ну и пот вытирать рукавом
То перелеска, то пыльной лесной полосы.

Всё-то мы слова выводим особенный сорт,
Тешимся думкой, что хлеба важнее оно.
…Поле, вдыхая колючую ость и осот,
В тёмных ладонях несёт золотое зерно!

Слово, прошу: первородство своё уступи,
Чтобы миры прозревала строка на веку —
Узким прокосом, где бабушка вяжет снопы,
Век собирая рассыпанный, — по колоску…

БИЛЕТ

Был билетом, мне выпавшим, горд,
Повторял: «Бытие!»
…Из двух слов мне попался кроссворд
На вокзальной скамье.

Запад шпалы устало считал,
Пел на стыках Восток…
А меня немотою пытал
Тот измятый листок.

Там в пространстве, до дрожи сквозном,
Откровеньем немым
Были связаны смыслы узлом —
Под углом, под прямым!

И, как будто признав их права,
Стих вокзальный галдёж…
«Там, где эти сойдутся слова, —
Так, как здесь, — ты сойдёшь.

Всё, что ты о пути своём знал,
Мало значит без них…»
Голос, что на перрон меня звал,
Растерялся и стих.

И всё держат в потёмках пути
Поезд мой на руках.
…Я уже разгадал — из пяти!
Из шести — ну никак…

ГИМН

Губами дрогну — звукам гимна
Навстречу… А вот петь — боюсь:
Вспухают в горле, как ангина,
Слова, в которых жив Союз —
Ещё могучий и единый,
Бедой не прибранный к рукам,
Моим не верящий сединам —

И новым ханам и князькам.
Гагаринской улыбки светом
Поднявшийся — за облака!
…Да, там махала партбилетом
Едва ль не каждая строка.
И в этом было мало прока…
И скопом их смахнули в грязь,
И скопом растоптали строки,
Где Русь Великою звалась.

***

Может быть, и жила ты не мною,
А придуманным образом… Но
Это всё не прошло стороною
И не кануло камнем на дно.

Не икона, не мраморный идол, —
Не просил я попроще удел:
Тот, кого я в глазах твоих видел,
На меня неотрывно глядел…

Дни чужие, то розно, то купно,
Душу взять норовили в полон.
Но глядел на меня неотступно
Из заплаканных глаз твоих — он.

Ты его не молила, не звала —
Хоть бы шелестом губ, хоть бы раз!
Ты о нём даже будто не знала —
Ни на миг не сомкнувшая глаз…



Олеся НИКОЛАЕВА, Москва

БЫЛЬ

Как позвал Илья-Пророк Угодника Николая
обойти нашу землю, пройти полями-лугами.
И пустились в путь, ничего здесь не узнавая,
невесёлыми ступали ногами.

Наконец встретили дурачка на поляне.
Решили порасспросить о мире, о человеках:
— А есть ещё наши люди? А где крестьяне?
А где пушные звери в лесах?
Где рыба в реках?

Где пахари и косари, что встают до свету?
Есть ли ещё мужики в этом народе?
Отвечает им дурачок:
— У нас теперь этого нету:
ни мужчин, ни женщин. Каждый одевается
по погоде.

Все теперь ровня — жена ли, муж ли: у всех
застёжка на брюхе.
Мужики рожают, бабы платят, а дети
отрываются и балдеют,
а старики и старухи
сидят в Фейсбуке и в интернете.

— Ну а молитва? А песни свои поются? —
спрашивают странники.
Отвечает им бедолага:
— Да песни как раз найдутся,
Хотя бы вот эта, где м-м и где джага-джага.

И пошли Илья-Пророк со святым Угодником —
Божьи птицы,
головами качают, услышанное никак
не свяжут.
И вдруг засмеялись оба:
— Экие небылицы!
Кто у дураков-то спрашивает?
Они и не то нам понарасскажут!

А дурачок собрал убогих, сирых и малых
и пересказывает им подробности этой сцены:
— Они думали, я не знаю… Но я узнал их!
Ждут нас счастливые перемены!

ОБ ОДНОЙ КОНЧИНЕ

Как лежачей бабе Миле подносили суп,
кормили
с ложечки…
— Хорош супец!
Так старательно жевала
Мила.
— Мало, Мила?
— Мало.
И головкою кивала.
— Кушай, Мила, молодец!

Щёчки тихо розовели, и глаза её теплели
и блаженной пеленой
заволакивались: пела
сладко лимфа, млело тело,
согревалась кровь, и тлела
свечечка во тьме земной.

Подбирался жар к предсердью,
тучно билась плоть со смертью,
оттесняя пустоту.
Поглощала мир глотками и жуя, и за щеками
подержав, несла рывками
руки слабые ко рту.

— Мила, почитать? Послушать
музыку? Ах нет, покушать:
«Пища — жизнь, а жизнь — еда.
Нас самих пожрёт могила…».
И опять глядит уныло.
Что вам снова, баба Мила,
супу?
И глазами:
— Да!

…Всё ушло со смертью — похоть,
ненасытность, алчность, охать,
плакать собрались на гроб.
Жалко. Горестно. Напрасно.
Зачадив, свеча погасла.
Суп прокис. Прогоркло масло.
И — перекрестили лоб.

АНТОНОВ

Мне жаль Антонова! Нет-нет,
он жив, а что пропал — едва ли:
его на станции «Рассвет»
и в «Толстопальцево» видали.
А что — да! На дверь
ему указано: на днище,
ведь и казённое теперь
его отобрано жилище.

За что? На то был свой резон:
он крепко пил! Какие бредни:
доцент свалился на газон,
хватая куст, как шанс последний…
Какие лекции? При чём
желанье, чтобы — без огласок,
когда сам лектор вовлечён
в ристалища теней и масок?
В гуденье рифм, в борьбу идей…
Он видит в родине чужбину:
там хам грядёт, а там халдей
затаптывает жемчуг в глину.

…А я ведь помню век такой,
когда меж снобов и долдонов
изящный, с лёгкою рукой,
по институту шёл Антонов.
И ворот свежий, и лица
простая лепка так опрятна,
и вкраплённая хрипотца
в негромкий голос — деликатна.
Стихи писал. Молва плела:
«мертворождённые», что кокон.
Литературные дела
всё побоку, всё мимо окон.

Сколь многие поймут его!
Во тьме, стирающей различья,
так просто обрести родство:
что птичья кость, что жила бычья!
Идти туда, где гуще мгла,
где все свои за плотной тенью,
ждать отзвука, искать тепла,
и петь хвалу самозабвенью!

Так где искать его? А у
ворон не спросишь: «Где Антонов?»
Иди, кричи свои «ау»
среди бомжатников и схронов.

Выходит, муравей в овсе
заметней человека в силе?

Притом — его любили все!
Мы все Антонова любили!



Майя
НИКУЛИНА,
Екатеринбург

***

Я пишу ниоткуда, потому что живу нигде,
я забыла твой адрес, но письма ещё доходят,
ни жива, ни мертва, не сгорела в лихой беде,
потерялась, как серый солдатик в ночном походе.
Моя долгая верность выцвела, как платок,
моё юное горе прошло — и уже не жалко,
я прошла за тобой столько ближних и дальних дорог
зимней птицей, жилицей, ночлежницей и постоялкой.
Рядовую, уже никакую мою беду
непростительно было б вместить в наградные списки –
только в общую землю, под небо, ветлу, звезду,
и уже никогда под строгие обелиски.
Прожила — ты скажешь. Не знаю. Прошли года,
провожала, встречала, жалела, была, сказала,
и останусь нигде, ниоткуда, сейчас, всегда
незаметной подробностью станции и вокзала.

***

Уездная тоска — и вдруг — и в кои лета —
посланником небес — залётный Хлестаков,
столичная звезда, безбожная комета,
руководитель душ, произноситель слов,

замученный молвой, восторгами и славой,
он только здесь любим, он понят только здесь,
он близок ко двору, к персоне — Боже правый —
к особе самого… Он — страшно произнесть.

Как он красноречив, как он прекрасно бледен,
какой державный жест, какая красота…
И всё-то потому, что он теперь уедет,
и больше никогда… и больше никогда…

Сойдёт блестящий век, как с ложек позолота,
и барышня других — мучительных — времён,
подняв огромный взгляд на молодого Блока,
от страха обомрёт: конечно, это он.

Конечно, это он. И нет иной причины
для страсти и тоски. Он молод. Он хорош.
И слухи о его трагической кончине —
бессмысленная ложь.

***

Сохнет на камне соль.
Море о берег бьёт.
В сердце такая боль,
будто уходит флот.
Парусный, молодой,
яростный, как тоска,
выпростав над водой
белые облака.
Просто глядеть вперёд
с легкого корабля.
Он — ещё весь полёт,
мы — уже все земля.
Нами уже стократ
вычерпаны до дна
суть и цена утрат.
Только теперь догнал
юный несмертный грех —
все мы в урочный час
недолюбили тех,
что провожали нас.

***

Да чем она, молодость, молода,
чем она стоит слёз?
— Жалко впалого живота,
жалко ржаных волос,
вот не доблести показной —
с горла рубахи рвать —
жалко пуговки костяной…
Надо было поднять…

***

Душа убывает легко,
не слышно, не видно.
Летает не так высоко…
Да ей не обидно.
Душа убывает, как свет
июньский, приветный.
Редеет и сходит на нет…
Да ей не заметно.
Узрела заоблачный знак
и срока не чает…
Не больно, не стыдно, никак
душа убывает.



Александр НОВОПАШИН,
Тюмень

НА РАСПУТЬЕ

Под колючею мглой, у времён на распутье,
Где святые грехи предстают во плоти,
Вдаль глядел сквозь метели Григорий Распутин
И не мог столбовую дорогу найти.
А вокруг брат на брата идут в штыковую,
Наступает на горло большая война.
Никому не унять эту боль вековую,
И не знает народ — чья же в этом вина…
А Россия всё также стоит на распутье,
И по-прежнему снежная буря кружит.
И тревожно на нас смотрит с неба Распутин — мужик.

РОДНОЙ ДВОР

Наш двор — не лучше и не хуже
На свете множества других:
Весною — до подъезда лужи,
Зимой — снега до крыш седых.
Зато всё лето спозаранку
И до зажмуренной зари
Полощут душу наизнанку
Дворовой стаи сизари.
Под доминошной канонадой
Трещит покрытый матом стол.
Словами, что нам знать не надо,
Разит вовсю табачный столб.
Грохочут глухо под ногами
Стальные крыши гаражей.
И парни, старше нас годами,
Здесь гонят чужаков взашей…
От звёзд эстрады до пьянчужек
Он судеб повидал людских, —
Наш двор не лучше и не хуже
На свете множества других.

МАТРЁНИНО ГОРЕ

Хоронила Матрёна кота
За околицей на косогоре.
Часто шмыгала из-под платка,
Утирая солёное горе.
За спиною в избе пустота,
Не с кем боль поделить нутряную…
Хоронила она не кота,
А последнюю душу родную.



Вера ОКТЯБРЬСКАЯ,
Оренбург

***

Кроме рук твоих,
Я других не знаю,
И не хочу знать!

Но люблю ходить
Босиком по краю,
Над пропастью танцевать!

Ярко солнце светит
И гуляет ветер,
Каждой стрункой души звенит!

Это сила
И красота в расцвете,
Это мыслей и чувств зенит!

Выдох, вдох
И, кажется, ближе стала,
Как вино опьяняя, высь!

Ты прости,
Не боюсь я упасть на скалы,
Не сердись на меня, не сердись!

Я бы каждому,
Кто принять готов,
Подарила свободу свою!

Хватит окриков,
Хватит тревожных слов!
Я на самом краю стою

И от счастья смеюсь,
Прикрывая веки!
Солнце с ветром в моей крови!
Пусть обнимут нежно,
Обнимут крепко
Руки твои!

***

Я немного нервная ото сна
И лежу, ни слова не говорю,
А за окнами сумрачная весна
Всё торопит утреннюю зарю,

Но никак не может остановить
В переулках шумящий холодный дождь,
Это ложь или правда — не разберёшь,
Но так хочется что-нибудь изменить!

Ты закуришь, а значит — пора вставать,
Включен свет, и нам некогда ждать рассвет,
Выпить кофе, одеться, застелить кровать, -
На другое — времени нет.

Тот же сон продолжается наяву,
В бликах офисных ламп, искрах стоп-огней…
Это жизнь моя? Это я? Живу?
Только сердце колотится всё сильней

И давно работает на износ…
Мне порою кажется — ты не спишь,
А задай тебе самый простой вопрос, —
Промолчишь!

Нам, и правда, не о чем говорить…
Всё становится мелким, пустым, смешным…
И тебе так хочется закурить!
Только я не люблю сигаретный дым.

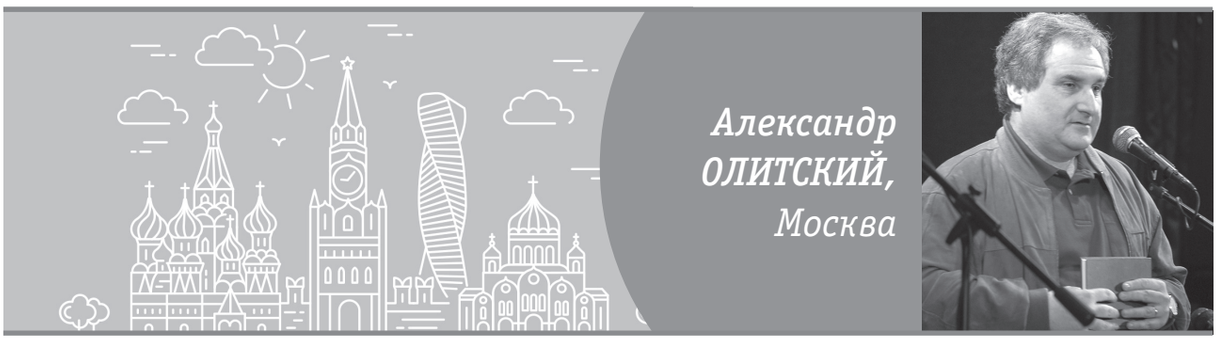
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Морозные стёкла, нетающие снега,
Молочные реки, родимые берега,
Дела, что недавно лелеяла, холила, берегла,
Как хрупкие льдинки, ломаются зло и звонко.

По первому зову, сквозь самый глубокий сон,
Далёкое утро, зияющий небосклон,
В руках материнских, как пёрышко, невесом,
И нет ничего серьёзней, чем взгляд ребёнка.

Чудесных историй, и песен, и грёз полна,
Качает кораблики ласковая волна,
Так миру открыта, так искренне влюблена
В свой берег родимый, берег обетованный…

Что снится младенцам — случается наяву?
Беззубое счастье по имени позову…
— Пусти меня мама, я лодочка, я плыву
По рекам молочным в бескрайние океаны…



Александр ОЛИТСКИЙ, Москва

***

От праведных трудов угрюмы и двугорбы,
В минуты тайных мук, когда весь мир поблек:
«У занятой пчелы нет времени для скорби» —
Нам шепчет Вильям Блейк, хороший человек.

Насущный тяжек хлеб, и белый свет не виден.
Забот стальная цепь сжимает так порой,
Что горький наш удел нам вовсе не обиден,
Ни полночь не гнетёт, ни рокот грозовой.

И лишь закончив гнуть натруженную спину,
Вдыхая дым ночи, глотая дым ночи,
Нам хочется опять проклясть свою судьбину,
Захлопнуть жизни дверь и выкинуть ключи!

Что б больше никогда не думать о прокорме…
Но слышим вновь и вновь, не размыкая век:
«У занятой пчелы нет времени для скорби…» —
Нам шепчет Вильям Блейк, хороший человек.

***

А главного нам не дано понять:
Кто зачеркнёт последнюю страницу?
Мне вспомнилось, как умирала мать,
В моих руках, переходя границу
Меж вечностью и горькою тщетой,
С лекарствами наполненной коробкой…
Она прижалась мёртвою щекой
Ко мне. И кот игрался с винной пробкой
У наших ног. И матери моей
Душа, восстав над неподвижным телом,
На ухо говорила что-то ей,
Верней ему в его окоченелом
Сиротстве. Утро с временем слилось,
Как смешивают краски на мольберте.
Пришли врачи, и мне не удалось
Хоть что-нибудь узнать о тайне смерти.
Да и зачем? Пусть всё идёт как есть,
Не мельтеши, до истины голодный.
А если что, то есть «Благая весть»,
Учебник физики и кодекс уголовный.
Но не отвлечь и не закрыть мне рта,
Жизнь доживём, всех вспомним, всё
отметим…
И всё бы ничего. Но мать мертва.
И я не знаю, что мне делать с этим.

***

Как лес шумит! О, Боже, как он дышит!
Так дышит пёс, так дышит футболист,
Когда стоит он, состязаньем выжат,
Так часто дышит оперный артист.
Дыханье леса — это шум трибуны,
Тут все дела: восторг, обида, раж,
Католикам огласка Папской буллы,
Летящий в пропасть конный экипаж…
Тут все дела: галдёж пивного зала,
Кухонной свары коммунальный гам,
И скрип состава, с мокрого вокзала
Ушедшего, оставив перегар…
Послушаешь, и вспомнится подробно…
Шум медленно исчезнет за спиной:
Как этот лес, я так дышал неровно
В Москве когда-то к женщине одной.
Тут все дела: приходы и уходы,
Каких-то слов бессмысленных елей…

Всё, что стоит за скобками природы,
Не стоит звука, изданного ей.



Юрий ОРЛОВ, Иваново

ЭТИ СТЕНЫ…

Словно музыка похоронная:
Эти стены опять, потолок,
Тишина, суета казённая,
Беспрерывное шарканье ног.

Изнурённые, грустные лица,
Взгляд прощальный печальных глаз…
Мрачной тенью встаёт больница,
Разлучившая нынче нас.

И в те дни, что покажутся дóлги,
Лишь надеждой одной согрет,
Вспомню я о просторах Волги,
Ослепительно яркий свет.

Я припомню лета наши юные,
Песню звонкую на устах,
Дни счастливые, ночи лунные
И улыбку в твоих глазах.

Я припомню, иль мне приснится
Синь глубокая, путь далёк…
А наутро опять больница —
Эти стены и потолок!..

***

Я помню давнее пророчество,
Когда, не знаю почему,
Мне посулили одиночество,
Как прочат прочему… тюрьму.

Ах, то пророчество, пророчество!..
Над ним, увы, смеялся я:
Моё призванье — одиночество,
К нему легка душа моя.

И вот, как вихорь ураганный,
Промчались годы — я один, —
Совсем один — никем не жданный,
Никем не званный гражданин.

И вижу я средь мрачных буден,
Идущих скучной чередой,
Вокруг меня — чужие люди,
И я для них — совсем чужой.

И стала тягостно-постылая
Всей этой жизни кутерьма:
Душа остывшая, унылая —
Моя и крепость, и тюрьма.

Сбылось нелепое пророчество!..
Я привыкаю ко всему,
И уж привык, но одиночества
Не пожелаю никому.

НИКОЛАЮ МАЙОРОВУ

Легендарному земляку-ивановцу, поэту-фронтовику, автору посмертного поэтического сборника «Мы»

Посмертная участь сражённого гения —
Глашатаем быть своего поколения.

Посмертная слава, людская молва…
Глашатаю было всего двадцать два.

Что видел он кроме родимого дома,
Студент, получить не успевший диплома?

Но битва гремела, клубились дымы́…
И встал, и шагнул он, и выдохнул: «Мы!..»

И голос, как ко́лос, сквозь годы пророс
Того, кто высок был и русоволос.

Ему бы к венцу бы, тому молодцу́,
Кто грудь за Отчизну подставил свинцу.

Кто личного «я» и кто смерти был — выше,
Чей голос и ныне отчётливо слышен.

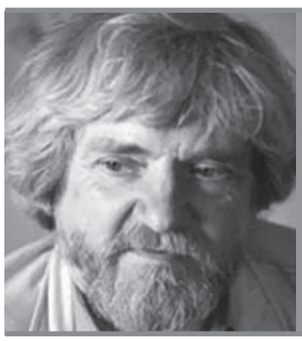
Майоровский пафос, майоровский стих —
От имени павших во имя живых.

Как клич поколений доносится: «Мы!»
Мы тоже — упрямы, и тоже — прямы́!..

***

Уезжаю — возвращаюсь,
И потом ещё вернусь!
Засыпаю — просыпаюсь,
Но однажды… не проснусь.

И реальность не продлится
Новой явью наяву…
Может, всё-то только снится,
А мне кажется — живу.



Олег ПАВЛОВ, Челябинск

***

Я не сторож брату своему.
Из Библии

Будь сторож брату твоему —
Не отпускай его во тьму,
Оберегай от пустословья,
Ни в чёрном сне, ни в чёрном дне
Не оставляй наедине
Со змеем, льнущим к изголовью.

Будь сторож брату твоему.
И пусть покажется ему,
Что нет нужды в твоём догляде,
Не отпускай его во тьму,
Не отвернись, и — Бога ради! —
Будь сторож брату твоему.

Настанет день, когда и он,
Тобой от бед остережён,
Воспримет ближнего как брата
И станет сторожем ему,
Как ты служил ему когда-то…
Будь сторож брату твоему.

2004–2005

ЗВОНОК БРАТУ

Как бы я хотел позвонить брату,
Чтоб сказать ему:
«Здравствуй, брат Саша!
Знаешь, как племянники твои рады,
Что пока жива ещё страна наша…

Что покамест жив ещё язык русский.
Что читают Тютчева и Гумилёва…
Говорят, в двенадцатом лаз узкий,
И Земля вряд ли проскользнёт снова.

Только я не верю в эти кликушки
О Земле, тем более — о России!
Ведь хранит Россию поэт Пушкин,
Да и ты хранишь — по своей силе…».

Только жаль, такого звонка не будет —
Там, где брат, пока ещё нет связи.
Только вещий сон на заре разбудит
И мороз наткёт на окно вязи.

Утро выбьет форточку, влетит ветром,
Что несёт нам с поля полынь-брагу.
Я доволен, Господи, Твоим Светом.
Только вот хотел бы позвонить брату…

ВАСИЛИСК

Василиск Нелюбви караулит влюблённые души —
Он кидается из подворотен, подвалов, трущоб.
Он вгрызается в сердце, в аорту и душит, и душит…
И, оставив растерзанных, ищет кого-то ещё.

Никакого спасения нет от того василиска!
Стоит только услышать надсадный от ярости сап —
Тут как тут василиск. И не рядом уже, и не близко,
А в тебе — и когтит твою душу шестёркою лап.

Этой ночью я стану охотником — благословите! —
На горящее сердце я выманю зверя из тьмы.
В эту ночь Вы меня незаслуженно нежно любите,
И особенно в миг, как в единое сцепимся мы;

Как покатимся мы по Вселенной, ныряя в трясины
Междузвездий, ломая межзвёздную хрупкую клеть…
Вот тогда Ваша нежность мне даст золотистые силы,
Что отринут от зверя и смогут его одолеть.

А когда я вернусь — обожжённый, изорванный в клочья —
И пройду мимо Вас, то под знаменем нового дня
Не узнайте меня. Позабудьте.
Но этою ночью
Я иду на охоту, и — благословите меня.

Осень 2008

ПРО ДЕДА

Мой дед на прошлую войну
Уходит еженочно.
Он за родимую страну
Сражается бессрочно.

Былых друзей-однополчан,
Живых и мёртвых кряду
Он собирает по ночам
В бессмертные отряды.

Над дедом тучи, будто дым,
И в лунной вспышке колкой
Горит, как Курская, над ним
Дуга больничной койки.

Напрасно тратит медсестра
Глицин и валерьянку —
Дед снова будет до утра
Ползти навстречу танку.

Всю ночь дорогой фронтовой
Идут его солдаты,
Где он, по званью рядовой,
Уже давно в комбатах.

А на рассвете дрогнет враг.
Заря зардеет стягом.
И дед, как точку, красный флаг
Поставит над Рейхстагом.

Мой дед на прошлую войну
Уходит еженочно.
Он за родимую страну
Сражается бессрочно.

И я, когда приходит ночь,
Спешу присниться деду,
Чтоб в той войне ему помочь
Вновь одержать Победу.



Анна ПАВЛОВСКАЯ,
Московская обл.

МОЛИТВА

Успокой ветра и бури,
головную боль уйми,
потому что по натуре
остаёмся мы детьми.

Дымный столб идёт на север,
ураган сметает юг.
Неужели Ты во гневе
Землю выпустишь из рук?

Мы стоим, прижавшись к маме,
мы спросонья веки трём,
смотрим синими глазами,
как сгорает отчий дом.

***

над кладбищем чиркают небо стрижи
повсюду охапки ромашек
здесь столько уже моих близких лежит
и ваших и ваших и ваших

я камень горячий от пыли протру
поправлю цветы и лампаду
и не потому что я тоже умру
и не потому что так надо

прости мне моё неуменье молчать
что здесь за оградой покоя
забытую ссору пытаюсь начать
чтоб только задеть за живое

БАЛЛАДА О КРЫЛЬЯХ

мне выдали крылья как прочим тесак и рубанок
а я между прочим была неразумный ребёнок
я не понимала что крылья нежнее пелёнок
и лучше пуховых перин и дубовых лежанок

я встала так рано как будто ещё не ложилась
тяжёлая бабочка рядом со мною кружилась
и я оступилась и в чёрное небо споткнулась
и я с этим небом в бессмысленной схватке схлестнулась

нельзя победить говорили поддайся и сдайся
нельзя победить говорили напейся и сдуйся
и чёрного неба уже никогда не касайся
не смей не моги говорили уйди и раскайся

а я не могла отступить не могла отступиться
осталось одно в это чёрное небо вцепиться
и слиться крыла́ми как плотная вязь лигатуры
на звёздном ветру на краю бесхребетного мира

я встала так рано а было уже слишком поздно
и всё что я делала было напрасно и тленно
и я проиграла и падая мордой о звёзды
я крылья сломала о чёрные зубы вселенной

на каждом рассвете не важно на каждом закате
в каком бы болоте меня не застало светило
спасибо тебе говорю что в безумном полёте
и я не сдавалась а ты меня всё ж победило

***

Рвётся там, где было тонко,
невозможно удержать.
Я отматываю плёнку,
продолжаю продолжать.

Год приходит и уходит,
все грехи совершены,
как всегда стоит на взводе
балерина тишины.

Всё, не будет больше чуда,
не соединить края.
Часто снится почему-то
жизнь другая, не моя.

***

Я ушла от тебя, поселилась в прихожей,
В тёмном зеркале, в шапке, в пуху и пыльце.
Я ушла в белом платье в зелёный горошек
Самым длинным тоннелем со светом в конце.

Это я превращаюсь в чудовищ по Кафке
И меня зарывают, как княжеский клад.
Это я — с острия протестантской булавки
Улетаю на небо с толпой ангелят.

Оставляю гнездо на твоей батарее —
Алый шёлк и ласкающий душу капрон,
И свистя, пролетаю кометой Галлея
В галерее дородных сикстинских матрон.

Это я и мои инфернальные тени
Покидаем надменно предательский дом.
Мы уходим по шпалам других измерений —
Кто с мешком, кто с разбитым дурным
котелком.

Свет померкнет, погаснет последняя точка,
Растворится в тумане ночной силуэт.
Помаши мне вослед оренбургским платочком,
Потому что никто не помашет в ответ.



Татьяна
ПАРСАНОВА,
Наро-Фоминск,
Московская обл.

***

Выключаю разум. Пусть исполнится
Всё, что проклиналось сгоряча.
Примеряю звание «любовница»,
Как одежду с барского плеча.

Распрощалась с гордостью. Покорная…
Эшафот ли… Жизнь ли… Быть… Не быть…
Мне теперь душою обнажённою
В унисон с дождями голосить.

Сердце ранят, как шипы терновника,
Непростые правила твои.

На другой вершине треугольника —
Вне закона…
Просто — по любви.

***

Опять я не на шутку растерялась.
Хотя, пора б привыкнуть. Столько лет…
Ещё вчера нам Осень улыбалась,
А нынче красит небо в серый цвет.

По волчьи ветер подвывает песни.
Холодный дождик зло стучит в окно.
Ну что, Душа, ты снова не на месте?
А впрочем… Твоё место… Где ОНО?

***

1

Нам верилось: два года — ерунда,
А у судьбы другие были планы.
И наши обещанья: «навсегда» —
Закрыли тенью «чёрные тюльпаны».

Ружейный залп, взлетевший к небесам…
Хранящая молчание икона…
Кто подарил войну чужую нам,
И марш Шопена вместо Мендельсона?

2

Так повелось — мгновений череда
Кому роман, кому — рассказ короткий.
Когда-нибудь… Холодная звезда
Прильнёт лучом к моей последней фотке.

Уйду в свой срок. Чтоб в зазеркальном —
«там»,
Сбежав однажды с заданной орбиты,
Глаза в глаза, «двухсотым» пацанам
Поклясться, что они не позабыты…



Ирина
ПЕНЮКОВА,
Брянск

***

Светились мягко ризы Приснодевы.
В умолкшем храме, где-то у Креста
Простых молитв вечерние напевы
Едва шептали старые уста,

Стучали чётки. Становясь короче,
Пахучим воском плакала свеча.
Как вдруг молящий чуть забылся: «Отче!
За что нам эта тяжесть на плечах?»

И замолчал, стремясь сдержать рыданья,
Поскольку в сердце влилось теплотой:
«Как только вы разлюбите страданье
Россия перестанет быть Святой…».

***

Случайный луч. Он был — и не был.
А всё же сделалось светлей…
Душа, наполненная небом,
гостит недолго на земле.

***

Всё всегда бесконечно похоже
В тихом омуте зла на Руси —
Вот свеча разгорается: «Боже!»,
Вот дымит, затухая: «Спаси…» .

1996 г.

БРЯНСКАЯ БЫЛЬ

Скоро день, как не смолкают споры —
Век в деревне не было чудес!
На разбитом куполе собора
Вдруг сегодня встал старинный крест!

И с чего бы вздумала старуха
Утверждать, что крест наверх встянул
Местный бомж? Не поняли: «Ванюха?
Быть не может! Ты…?» Промолвил: «Ну…».

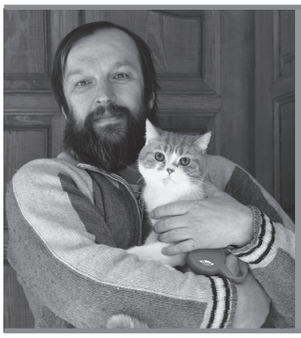
«Набрехал ведь нам, , точно?
Это ж глянь, какая высота!..»
Оказалось — сон увидел ночью,
Что на Божьем храме нет креста.

И рванув во тьму, в пыли бурьяна
Бормотал, ощупывая мрак:
«Как напьюсь — себя не помню, пьяный.
А убьюсь — так хоть не просто так!..»

И потом, потуже, да покрепче
Затянув над сердцем рушники,
Привязал тот крест, себе на плечи
Водрузив… Молчали мужики.

Как он смог? Один? Наверх? Иваха?
Как осилил? Как решился? Как?
Не поверив, вздёрнули рубаху:
«Покажи…»,
А там — сплошной синяк!

Не синяк — одна большая рана!
Словно воин, изгоняя зло,
Водружён на храм рукой Ивана,
Крест стоял над ожившим селом.



Николай ПЕРЕЯСЛОВ,
Москва

ИЗ ФЛОРЕНТИЙСКОГО БЛОКНОТА

Солнце в небе раскалилось добела.
Над Флоренцией звенят колокола.
Замок Питти весь нахмурен и угрюм —
не додумал за столетья столько дум!

Он скопил такие ценности в груди!
Как узнать, что с ними будет впереди?
Сохнут с горя листья сада Боболи.
Хоть и каменное сердце, а — болит…

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕНЕЦИИ

Венеция живёт, как карнавал,
всех веселя, влюбляя и дурача,
сырые стены за фасадом пряча
и запрудив гондолами канал.

Куда ни глянь — всё маска и обман.
Здесь жить нельзя, здесь всё давно прогнило.
Но отчего же сердцу всё здесь мило
и, синь вдохнув, становишься, как пьян?

И над сияньем изумрудных вод
стоишь, застыв с улыбкой идиотской…
(Сюда не зря всегда стремился Бродский,
и приезжал едва не каждый год.)

Жизнь превратилась в бесконечный бой,
душа в крови, но где же санитарка?..
Поднимешь взгляд у пристани Сан-Марко —
и грудь наполнишь новою судьбой.

Тут пахнет тиной. Тут зелёный мох
ползёт по камню, покрывая стены.
Тут шум и гам, и страшно вздуты цены,
но этот город обожает Бог.

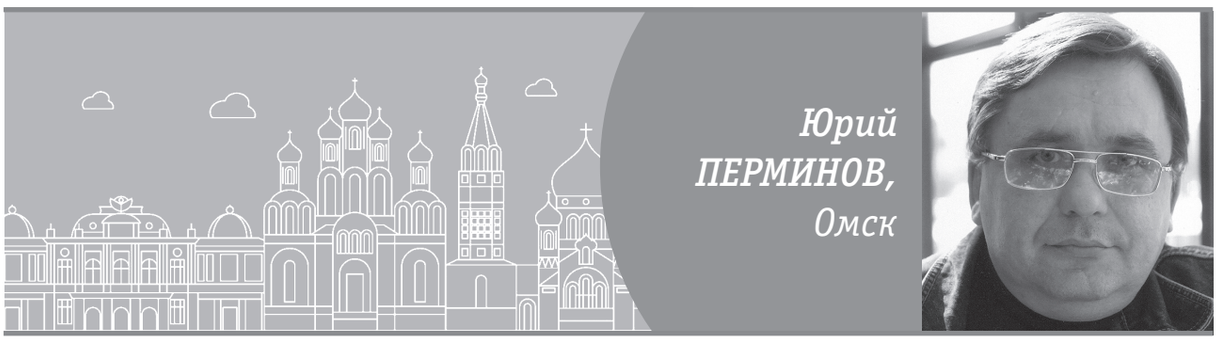
Он, словно яркий шарик надувной,
летит мне вслед сквозь годы и ненастья,
чтоб не ослабла в сердце вера в счастье
и не тускнело солнце надо мной.

***

В Тирасполе ночном поют сверчки.
В столице тихо, как на сеновале,
где мы однажды, сбросив рюкзачки,
у бабки в турпоходе ночевали.

Вокруг, как море, бушевал июнь,
вздымая к звёздам запах разнотравья.
Я был влюблён в весь мир тогда и юн,
не ведая о будущем бесправье.

Теперь стою — и небо до зрачков,
скрывая свет в грядущем, опустилось…
Ночной Тирасполь. Музыка сверчков…
Неужто мне полжизни лишь приснилось?..



Юрий
ПЕРМИНОВ,
Омск

***

Ничего от сердца не отрину,
никого уже не разлюблю…
Догола, до ягодки — рябину
птицы доклевали к февралю.

Погрущу тихонько под гармошку…
Ночь темна, как будто собрала
звёзды Матерь Божия в ладошку,
точно крошки хлеба со стола…

***

Ничего необычного — ветер, мороз да сугробы;
новогодье прошло, оживает помалу народ…

По лабазам с женой прогуляюсь доверчиво, чтобы
в доме были харчи, как всегда, на неделю вперёд,
чтоб к пенатам своим наши будние чувства вернулись…
У Полярной звезды — в сотнях лет световых от земли —
воедино сошлись горизонты окраинных улиц,
вот и мы не сойтись на дорогах земных не могли.

Всякий будущий день только Господу Богу известен,
каждый новый рассвет — он и только! — всегда молодой…

Мы ещё наверстаем то время, что не были вместе;
ничего, что потом — где-нибудь за Полярной звездой…

***

Ну, кто о чём, а мой рассказ о том,
что нынче я (наверное, с устатку)
забрёл, как пёс робея, в новый дом,
где этажей — два раза по десятку,
но точно — сосчитать не удалось…

…Есть мне о чём подумать — на досуге:
а хорошо ли — рядом, но поврозь
жить, ничего не зная друг о друге?..

***

Вадиму Велитченко

К своим делам теряя интерес,
и налегке (не жди, жена, к обеду),
чтоб ощутить дыхание небес
среди людей, —
в деревню к другу еду:
он там — родной словесности оплот,
а впереди не дата ждёт, а веха! —
Литературу друг преподаёт
в деревне той почти что четверть века.

Ну, здравствуй, друг!.. Конечно, друг, хотя
за встречу пьём, уже не балагуря
и по чуть-чуть…
И плачет, как дитя,
всю ночь в деревне пушкинская буря…

Ну, здравствуй, друг!.. Не виделись давно,
а вот молчим — серьёзных лет папаши —
как будто ждём, что кто-нибудь в окно
к нам постучит — из молодости нашей.



Ирина ПЕРУНОВА, Ярославль

СОЧЕЛЬНИК

1

Может, ещё придержать повода?
Перепись эта… придумали тоже!
Перепиши нас, прошу, навсегда —
Сам, от руки Своей, Господи Боже.
С нищими тяжбу ведут торгаши,
праведник мается в пепле и гное.
Господи, Боже мой, перепиши
набело гиблое время земное.
Тихо, по камешку, буковке, по
каждой былинке минувших столетий
перепиши, и небесной кипой
Сам промокни исправления эти.
В школе мы — дети. Нашкодил Адам…
Ты бы простил его! Роды и роды
стонут в шеоле. Зачем они там?
……

Ослик скользит по камням непогоды,
в инее морда, сердит и упрям —
весь выраженье живого укора.
Плечи Иосиф укрыл Мариам:
Скоро теперь, потерпи, уже скоро…

2

Едем и едем, по горкам, по кочкам!
Извини. Гололедица чисел.
Странная выдалась, деточка, ночь.
Кто до небес эти кочки возвысил?
Ослик чихает, звезда на весу
перст в золотые макает чернила,
пишет, кого и куда я везу…
Перепись, вот ведь хлопот учинила!
Дева ладошку кладёт на живот,
молится, молится, молится немо:
Тише, малыш, не волнуйся! Вот-вот,
нам улыбнутся огни Вифлеема.

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА — 1977

Парили рыбы-зеленухи над бело-розовыми нами,
клевала на серёжку в ухе любовь в резиновой панаме
и представлялась Колей, Васей
из параллельного отряда —
и отгребала восвояси…
Я этих игр не.

Вы извините, Васи, Коли,
а надо жизнь отдать, к примеру,

хоть за Индиру Ганди, что ли!
Джавахарлала, что ли, Неру!
Ведь не до жиру, если в Дели нет у детей чернил, тетрадок…
Вот вы пахали две недели, чтоб выслать милостыню с грядок?!

Зато Лариска с длинной шеей любовь до гроба уважала.
И было ей не до лишений чужих детей. Она кинжала
ждала, скрещённого с кинжалом
за взор её.
И душу Зорро
в сопливом прозревала малом,
как шпагу в рейке от забора.

И Геленджик на самом деле дарил ей мелкие авансы:
глазами вжик — и две дуэли! С героем танцы-обжимансы.
Своё мороженое Ларе несли все возрасты покорно.
И я бывала при наваре: черешни горсть или попкорна.

Но речь-то собственно о вере. И вы не смейтесь, богословы!
В сырой платоновской пещере
вы были кто?
Мы были совы.
Совята все в Стране Советов ловили тени, что за гранью.
Пусть утверждает, кто не в теме,
что тень отброшена геранью.

До вашей новой старой эры кружили в облацех совята
и голос был нам:
— Пионэры! —
и тьмой земля была объята,
— Вы будьте, милые, готовы!
К чему, мы выяснили позже.
Распались скрепы и покровы,
большая жизнь ушла на розжиг
иной — вобравшей по крупице
и то и это, тех и этих…
И шансы пересотвориться явились всем, кто жил на свете.

Лариске с шеей лебедицы, её любовям и любвишкам,
вожатым с криками: «Тупицы!», индийским фильмам и детишкам,
Индире Ганди или Неру, и мне, и рыбам-зеленухам —
живым когда-либо не в меру,
земля кому, короче, пухом.

Герань на тумбе прикроватной в пронумерованном горшочке,
однажды мы к тебе обратно по морю синему пешочком
под ручку с Кравченко Лариской
придём сказать: Никто не умер!
И ты, герань,
не будь редиской,
не стёр же Бог с тебя твой «нумер»!

***

Тамо гади, им же несть числа
Пс. 103

Гады, значит? Воистину, гады.
А запомнится берег-отвес,
да на нём светлячков мириады,
их лампады нескучные, бес.

Мы сюда добрели еле-еле,
помню, с другом моим Костылём,
не нашли на ночлег в Коктебеле,
ночевали под небом вдвоём.

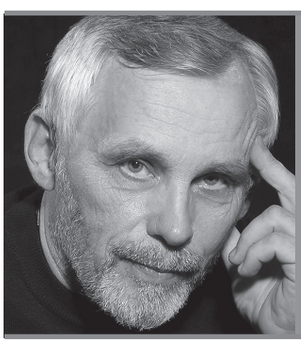
Мне тринадцать, ему ненамного
выше уровня моря и щёк.
Мы лежали в ладонях у Бога,
не гадали о гадах ещё.

Просто ведали: смерть — понарошку,
и не стоит игра её свеч.
У продрогшего Ницше обложку
оторвали — гнилушку разжечь.

По крутым бережкам перебежки
созерцали родных медяков:
два на счастье орла, да две решки.
Ныне, присно, вовеки веков!

Морю чёрному снимся ли? С ними,
с медяками своими, и без.
Что ты в сердце моём, объясни мне,
ищешь сутками бестолку, бес.

Можешь разом его обесточить:
гад на гаде, известный расклад.
Только вдруг сковырнёшь тот листочек,
а под ним светлячок, а не гад.



Виктор ПЕТРОВ,
Ростов-на-Дону



ЧЁРНЫЕ ИЗБЫ

Между чёрных порушенных изб
Что за птица летает и плачет?
Вверх метнётся и падает вниз,
И заросшей тропы не означит.
Знак летучий, как мета креста —
И стою, и немею у горя,
И рябиновой раной Христа
Кровенеет Голгофа угора.
Птица-крест — не судьба ли моя,
Что за мною повсюду летела?
И на свет выползает змея,
И не чувствую более тела.
Я вернуться бы мог, да не смог —
Ни родных, ни подковы на счастье;
А змея обвивает порог,
И толкается кровь на запястье.
И всё то, что со мной — не теперь,
Но случилось уже и случится…
И не ветром откинута дверь,
И рябина ли кровью сочится.
Сгнил порог — не взойти на него,
Развалились трухлявые плахи.
Сгинь, змея не от мира сего!
Упокоился мир сей во прахе.
Некто ходит по свету, и здесь
Процветут заполошные дали,
Чтоб распятого заново днесь,
Покаянно крестясь, увидали.

ТРАМВАЙ

Трамвай идёт себе вразвалочку
По краю городской зимы
И подбирает пару-парочку:
Так это мы с тобою, мы!

Пускай словцом солёным сдобрены
Маршруты наших дней крутых.
Но видим только лица добрые,
Совсем не замечая злых.
Идёт трамвай, трамвай-трамваюшка!..
Покрылось инеем окно.
И сам трамвай, как будто варежка,
Где рядом все и — заодно.
Куда поехали, хорошие,
Куда же завела стезя?
И вслед смеётся наше прошлое —
Вперёд бы ехать, да нельзя!
Неужто все пути разобраны
И нами правит лиходей?
Трамвай, однако, наш особенный:
Полно людей, полно идей…
Пускай тебе приснятся дальности:
Ты видишь спуск — так стой, трамвай!
Покуда живы мы — не сдались мы…
От рельс колёс не отрывай!

ВОРОНЁНОК

Воронёнок, воронёнок,
Перебитое крыло!
Ты не взрослый — ты ребёнок,
А такому тяжело.
Одинокий, замерзая
На снегу, на целине,
Ты блуждаешь, троп не зная, —
Наяву или во сне?
Воронёнок, воронёнок,
Наступили холода:
От метельных злых воронок
Улететь бы!.. Да куда?
В лютый холод обогрею,
А весною улетай:
Если хочешь — то в Корею,
Если хочешь — то в Китай.
Ветер воет, студит души:
Я и сам один бреду
И не ведаю, где лучше:
Бедовать привык беду.
Воронёнок, станешь вещим,
Не предав свои края.
Только голову не вешай,
Воронёнок — жизнь моя!

ЗВЕРЮГА

Разбитая лапа кровила,
И ты волочила капкан,
И с неба сорочьи правила
Ему указали на стан
Звериной кончины в сугробе…
Всё ближе породистый лай —
Уйти от него и не пробуй,
А скорый конец пожелай.
И вот он прицелился точно,
Да только отставил ружьё…
Глаза — две поставленных точки,
Вовек непрощенье твоё.
Звериную славу исхода
Понять ли кому и когда?
Остаться на месте — свобода,
Презренье твоё навсегда!
Хватить бы ружьё о берёзу,
Чтоб вышло спасенье ему,
И дальше рвануть по морозу,
Не зная, зачем? почему?



Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН,
Петрозаводск

***

Соткано время из чьих-то рождений.
Соткано время из чьих-то смертей.
Из чьих-то несчастий и наслаждений,
Из уходящих из дома детей.

Соткана жизнь, словно коврик, вручную,
Весь израсходован ниток клубок.
Только изнанка мне душу врачует —
Здесь мне известен любой узелок.

А для других — сторона лицевая,
В прекрасном узоре — роскошный дворец.
Меня мастерицею зря называют —
Я лишь подмастерье.
А мастер — Творец.

***

Ещё ветра качают на весу
В заснеженной воздушной колыбели
Крохотную сонную весну,
Спелёнутую бархатной метелью.

Но сок уже в берёзовых стволах
Идёт, как кровь в пульсирующих венах,
И даже ночь покажется мгновенной —
Луна, как одуванчик, отцвела.

И, улыбнувшись розовой весне,
Я положу ей на сугроб-подушку
Из радуги с дождями погремушку —
Пусть радость к ней приходит и во сне!

Дождусь, дождусь её я первых слов!
Они похожи на ручейный лепет.
А детвора из снега бабу лепит —
И не с метлой! А, кажется, с веслом…
А как иначе? Ей придется плыть
По быстрым рекам и, конечно, таять.
…Несётся ветер южный во всю прыть,
С деревьев шлейфом зимушку сметая…

***

Я — жемчужинка на ладони.
Ты же — трепетная ладонь.
В опустевшем
казённом
доме
Безучастно горит огонь.
Я — жемчужинка на ладони.
Осторожно! Не урони!
На краю, на крутом изломе
Талисманом
меня храни.
Я — жемчужинка на ладони.
Непривычен
мне
яркий свет.
И, ладонь разжимая, помни:
Моей раковины
уже нет.

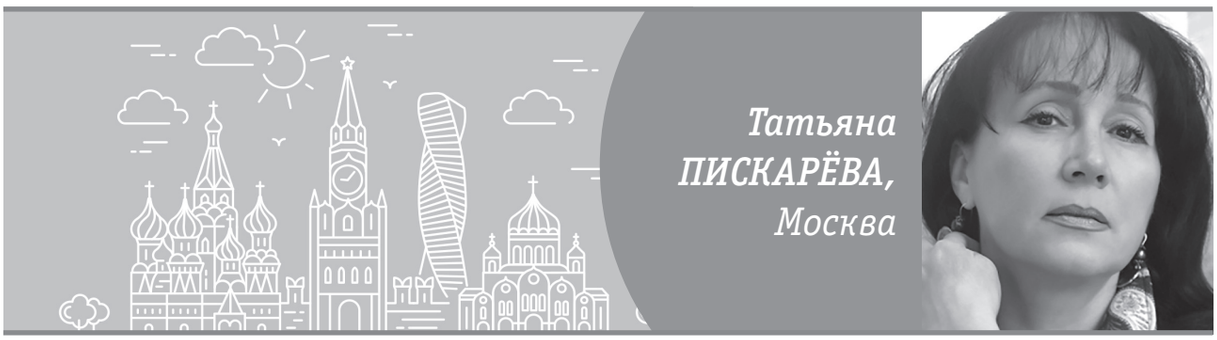
***

А ты знаешь, всё было давно.
Помню твой
силуэт на закате.
Проливалась
заря,
как вино,
На небесную светлую скатерть.
Мы с тобой не знакомы пока
И не знаем, что сны наши значат.
Из ладоней подставлю бокал —

Пусть плеснёт мне
надежда удачи!
Осторожно, ещё наугад
Изучаем
друг друга касаньем.
…Капал в озеро
с неба закат.
Шёл наш поезд
без расписанья…

***

Отключу телефон
и уткнусь в тишину.
Одиночество, право, не благо ли?
И тревогу свою
я в снега заверну,
Чтоб она, как младенец,
не плакала.
А на озере белом
рыбачит февраль
И весна золотою рыбкою
Начинает уже
с ним азартно играть
И хватать за приманку урывками.
Юркий солнечный зайчик,
как будто блесна
В незамерзшей февральской проруби.
Бьет метельным хвостом,
упираясь, весна…
Только где-то воркуют голуби…



Татьяна ПИСКАРЁВА, Москва

***

Вышли в лес. И брызги земляники
заплясали красные в траве.
Дух лесной и дикий, дикий, дикий
зверь лесной навстречу вышел мне.

Но его увидеть не пытаюсь.
Как хозяйка в лес иду, смеясь.
Зверь меня жалеет или жалость
к зверю, как к ребёнку, родилась?

Кто из нас главнее и сильнее?
Зверь лохматый, чудный и чудной,
или я умнее и хитрее,
и ему не совладать со мной?

Он привык к своей угрюмой чаще,
вою ветра, хохоткам совы,
злым дождям и снегу. Чаще
дождь и снег в лесу,
чем знаем мы.

Норы, муравейники, коряги,
и следов давно потерян счёт
от зверей и зверя, что в овраге
притаился, смотрит,
дышит, ждёт.

Лишь уйдёт непрошеная гостья,
он опять пойдёт своей тропой.

Гости всё чужие, не родные,
он же — дикий-дикий,
свой.

Ночью будет спать в норе-берлоге,
чутко слушать, вздрагивать, сопеть,
вытянув кривые лапы-ноги.
И во сне — лететь, лететь, лететь…

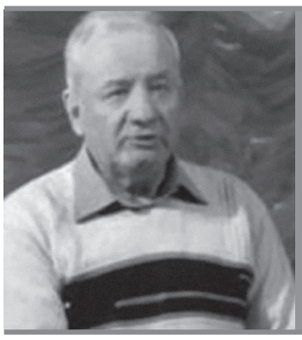
***

Привет, дорогие деревья,
родные мне сёстры и братья!
Хочу я сойти с карусели —
так снова раскройте объятья!

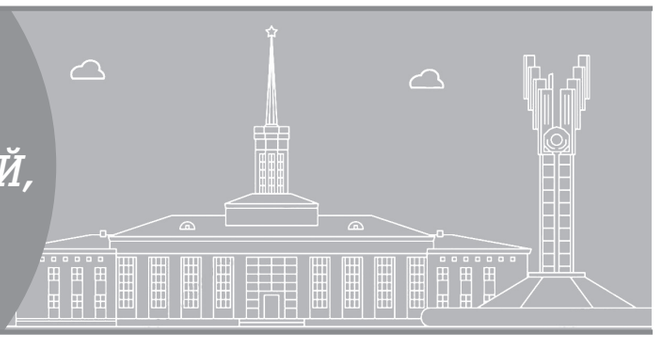
И горки меня укатали,
и жмёт колесо обозренья:
там много, ох, много печали
и мало, эх, мало веселья…

Как долго корнями своими
вы в землю неспешно врастали?
Как были снегами хранимы?
Как вёснами зацветали?
Шепните (я это услышу!) —
о тайнах подземных, небесных.
О тех, что в листве вашей дышат,
в незримых круженьях чудесных.

Возьмите меня в хороводы
своих листопадов осенних!
Я малость
и данность природы.
Я с вами
спляшу в светотени.



Владимир ПОДЛУЗСКИЙ, Сыктывкар



ИВАНОВЫ

Мы не стары, мы не новы,
Мы такие, как всегда.
Ивановы, Ивановы,
Золотая череда.

По дымящейся державе
Колокольни, бубенцы.
Прихожане, каторжане
И великие бойцы.

Куль зерна и горсть половы,
Пару слёз и громкий смех.
Ивановы, Ивановы,
Выпить к празднику не грех.

Мы народ, а не прослойка,
Душу русским не трави.
Как и прежде, мчится тройка
Вдоль нескошенной травы.

Через синие дубровы
И певучий белый свет.
Ивановы, Ивановы,
Едут к Богу на обед.

Вы к ним под руку не суйтесь
С кучей скучных заморок.
Коль живёте, будто всуе,
Бесам выплатив оброк.

Будьте же вовек здоровы
Средь печалей и страстей.
Ивановы, Ивановы,
Цвет божественных гостей.

ЛЕСНАЯ ДЕРЕВНЯ

Берёза домашняя. Старая верба.
Стон яблонь и груш благородных кровей.
Какая тебя удушила потреба,
Деревня лесная, среди купырей.

Мечтала страна, что поднимется в гору,
Повесив селенья на шею осин.
Иду по скрипящему я коридору
Промеж привидений хатён и домин.

Вздыхаю, крещусь и стараюсь словечко
Замолвить за близких, простив им вину.
Конечно, всё в мире весёлом не вечно,
Но жалко убившую сёла страну.

Дано мне прочувствовать прежнюю радость,
Толкавшую кроны и люд в небеса.
Тут что-то на уровне духа осталось,
Как светлая в сердце моём полоса.

Сентябрь золотится, за праздником праздник;
Любой календарный листок как жених.
Деревня лесная, приют и заказник
Для птицы и зверя, и русских святых.

Не хочется плакать и петь уж тем боле,
И даже стихами своими играть.
Ещё обожжётся когда-нибудь поле
О здешнюю родину и благодать.

Берёза домашняя. Старая верба.
Мне видеть ушедшее невмоготу.
Мужик до второго пришествия Хлеба
Деревню лесную имеет в виду.

БЕЛАЯ ИГЛА

Беловодье, Белогорье,
Рыба с царского стола.
Как святое богомолье,
Русь старинная светла.

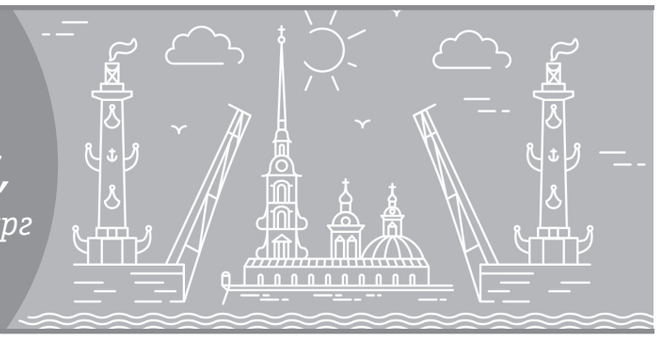
Тут снега и то льняные;
Покрывалом юных дев,
Кручи кроют меловые
Под берёзовый припев.

Я седой, и ты седая;
Я хорош, ты хороша,
Как Россия молодая,
Оглашённая душа.

Белогорье, Беловодье,
Белорыбица к столу.
Одолжил Господь угодья,
Будто белую иглу.



Екатерина ПОЛЯНСКАЯ,
Санкт-Петербург



***

«Мы тут все хороши, пока всё хорошо,
А задень интересы — иной разговор:
На такое нарвёшься — сотрут
в порошок…» —
Докурив, он рывком передёрнул затвор,

И зевнул: «Я тебе — друг, товарищ и волк.
Пусть считают меня дураки подлецом.
Наплевать!..» — так сказал человек, и умолк,
Тяжелея и отвердевая лицом.

Но другой рассмеялся: «Всё правильно, брат!
Нынче воздух до боли пронизан весной —
Не наполнится слух, не насытится взгляд…».
И шагнул, повернувшись беспечной спиной.

Мир дышал на разрыв, шелестел и звенел,
Человек по ладони раскрывшейся шёл.
И дрожал у него меж лопаток прицел,
И отбрасывал солнечных зайчиков ствол.

ТРОЛЛЕЙБУС

Неизвестным безумцем когда-то
Прямо к низкому небу пришит,
Он плывёт — неуклюжий, рогатый,
И железным нутром дребезжит.

Он плывёт и вздыхает так грустно,
И дверьми так надсадно скрипит,
А в салоне просторно и пусто,
И водитель как будто бы спит.

И кондуктор слегка пьяноватый
На сиденьи потёртом умолк.
Ни с кого не взимается плата,
И на кассе ржавеет замок.

Он плывёт в бесконечности зыбкой,
В безымянном маршрутном кольце
С глуповато-наивной улыбкой
На глазастом и плоском лице.

И плывут в городском междустрочьи
Сквозь кирпично-асфальтовый бред
Парусов истрепавшихся клочья
И над мачтами призрачный свет.

***

А в декабре бесснежном и бессонном
Бежит трамвай со звоном обречённым,
И пешеходы движутся вперёд,
Как будто их и правда кто-то ждёт.

И пропадают в трещине витрины
Чужие лица, каменные спины,
А следом отражение моё
Торопится, спешит в небытиё.

Любимый муж, любовник нелюбимый,
Эквилибристы, акробаты, мимы
Бредут сквозь ночь дорогами тоски…
И время слепо ломится в виски.

Стук метронома, взвинченные нервы,
Брандмауэра тёмный монолит —
Который час — последний или первый
По грубым кружкам вечности разлит?

Который — разошедшийся кругами?..
Но подворотня давится шагами,
Невнятно матерится инвалид,
И Млечный Путь над крышами пылит.

***

Когда революция выжрет своих
Детей — романтичных убийц, поэтов,
Идеалистов, и память о них,
Что называется, канет в Лету,

Когда уйдут её пасынки — те,
Которые, выйдя откуда-то с боку,
Ловят рыбку в мутной воде
И поспевают повсюду к сроку,

Когда сравняются нечет и чёт,
И козырь — с краплёною картой любою,
И обыватель вновь обретёт
Счастье быть просто самим собою,

Когда добродетели и грехи,
И неудобовместимые страсти,
В общем раздутые из чепухи,
Станут нам непонятны отчасти,

Когда перебродит в уксус вино,
И нечего будет поджечь глаголом,
Придёт поколение next. И оно
Выберет пепси-колу.



Роман ПОПЛАВСКИЙ, Тюмень

ПУГАЛО

Пустое поле. Убран урожай.
Но всюду, как и раньше, тут как тут
вороны — угрожай не угрожай —
разгуливают, клювом не ведут.
Их сиплые насмешки: кар-кар-кар-
кармические в памяти, точь-в-точь
в заборе гвоздь, засели; на руках —
отметки от когтей, и я никак
о них не в силах мысли превозмочь —
эх, руки коротки, кишка тонка! —
от прошлого отмахиваюсь — прочь!

Теряю равновесие, нелеп.
Опоры ЛЭП — и те на костылях,
так высоки, как будто по земле
они уже устали ковылять
и тянутся туда, где облака,
и напряжённым взглядом свысока
сверкают, электрически маня.
Хоть яма в чернозёме глубока,
но палка не дала корней пока —
я не расту! К тому же из меня
воровки исподволь со всех сторон
выуживают сено и щепу.
О чём мечтать, когда я не ворон,
а будущее прогоняю? — бу!

Чего хотеть, когда очередной
весной придёт, ступая тяжело,
заговорит как будто не со мной,
а сам с собой, и сеном и щепой
наполнит мне простывшее нутро?
Не станет он о прошлом вспоминать,
о том, что после, не проронит слов —
протянет, к настоящему готов,
мне руку заговорщически — на!
И нарисует вороным углём
на котелке неварящем моём
оскал побольше и глаза без дна.

***

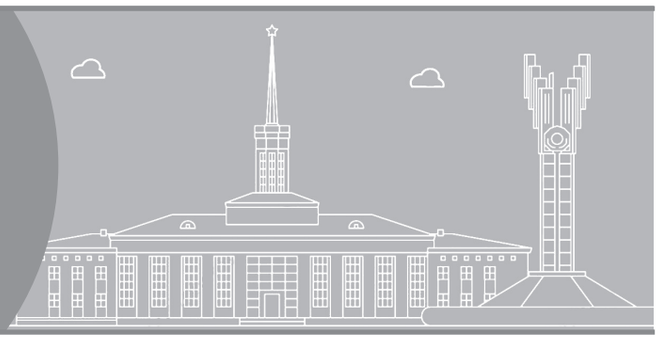
Хотели, как всегда, а вышло — мырк.
И вот сидим: кто в шаге от тюрьмы,
кто — от сумы, но выбираем сами
из этой пары зол, хоть нелегко
и стол дубовый гнётся под платком,
наполненным ржаными сухарями.

А как иначе, если дальше мрак?
Точнее — мрык. На печь Иван-дурак
забрался кое-как, тесня соседей,
и слышит всюду колокольный звон,
но не поймёт, зовут ли на поклон,
войну, поминки или на обедню.

Всё пасмурнее сводки новостей.
Как продвигаться в этой темноте
и как альтернативный путь нащупать?
Не по воде Христом — по льду шагать
и по старинке руки в прорубь — ать!
А вдруг там щука?



Андрей ПОПОВ, Сыктывкар



***

Ищешь чувственною дрожью,
Смотришь в мысленный чертёж —
Постигаешь правду Божью…
Только как её поймёшь?!

Что ни скажешь, будет ложью,
Промолчишь — и тоже ложь.
Постигаешь правду Божью…
Только как её поймёшь?!

Только Господу известно,
Почему удел такой —
Сын живёт в стране небесной,
Я живу в стране земной.

Так легко смутить поэта,
Плачу я в земном краю,
Как понять мне благо это,
Правду Божью, скорбь мою.

***

Живёт душа моя на войне,
Военный твердит мотив.
А люди думают, я вполне
Терпим и миролюбив,
И будто любому привету рад,
И пьяных драк не люблю.
А я хочу купить автомат,
И кажется, что куплю.
На тихом складе среди корыт,
Кастрюль последних систем
Предложат мины и динамит,
И новенький АКМ.
Держу в руке я желанный ствол,
Душа живёт на войне,
И сознаю вдруг, что зря пришёл,
Что мне не сойтись в цене.
В комплекте штык. Удобен приклад.
И цвет спокоен и мил.
Но я, прости меня, тихий склад,

Денег не накопил.
И вижу — нервы напряжены,
И чувствую жёсткий тон,
Можно легко схлопотать войны
Со всех четырёх сторон.
Неосторожно среди корыт,
Кастрюль последних систем
Не взять ни мины, ни динамит,
Ни новенький АКМ.
На тихом складе не верят в долг,
Здесь платят и головой.
Зачем мне снился гвардейский полк
И снился неравный бой?
Зачем я слушаю чёрный мат,
Горячих юношей злю?
Зачем хотел купить автомат?!
И кажется, что куплю.

***

Порой не укладывается в голове —
Почему люди маются? Чего хотят?
Как можно жить, спеша и толкаясь, в Москве?!
Переехали бы хоть в Сергиев Посад.

Как понятней в деревне жить иль в городке:
И в любом нелёгком, переломном году —
Летом до работы искупнуться в реке,
Зимой вернуться домой по речному льду.

И даже концы с концами сводя едва,
Полагать, что сложности у нас не впервой,

Но нельзя отступать: за нами Москва.
Москва за нами, а не мы за Москвой.

ВОЗЛЮБИВШИЕ

…кому мало прощается, тот мало любит.
Лк. 7, 47

Иисус, в дом войдя к фарисею, возлёг.
И сосуд алавастровый с миром
Принесла Ему женщина, встала у ног —
Его ноги слезами омыла.

Фарисей про себя удивился весьма:
Неужели не видит порока?!
Моет ноги — на ней негде ставить клейма,
Он бы знал это, будь Он пророком…

Мы — весёлые люди, а в душах разброд,
Мы — тяжёлые люди, не боги,
И случайная женщина слёзы прольёт,
Омывая нам грешные ноги.

А у нас на душе непонятная тьма,
Фарисейский вопрос — не иначе.
Что за слёзы? На ней негде ставить клейма —
Никакими слезами не спрячешь.

Но сказал Иисус фарисею в ответ,
Да и нам говорит это строго:
Много ей прощено — и греха на ней нет,
Раз смогла возлюбить она много.



Михаил ПОПОВ,
Москва



***

Лектор по гражданской обороне
Очень по-военному одет,
Если что, себя он не уронит,
Очень желчный и смешливый дед.

Курит в перерыве папиросы,
Выйдя из подъезда, на ветру,
Если задают ему вопросы,
Отвечает, хлопнув по бедру,
Где висела шашка, очевидно,
Или может даже кобура:
«По вопросу вашему мне видно,
Всё, что я сказал, для вас мура.
Враг заморский козней нам не строит,
И не хочет с нами воевать,
В случае чего он нас не тронет,
Для чего же нам переживать.
Открывай решительно объятья
И ракетный убирай забор,
Что тут скажешь, все народы братья!
А меж братьев не опасен спор.
От Москвы до самых до окраин
Ждём гостей в своём большом дому…
Только помнится заметил Каин —
Я не сторож брату своему».

***

На конференции по реализму
Вдруг кто-то спросил: а что такое реальность?
Тут же предложено было поставить ему
клизму,
А ещё лучше — сменить специальность.

А если и правда задаться вопросом,
Что мы по этой проблеме знаем?
Глазами реальность исследуем, носом,
Ушами, кожею, к тому ж уплетаем.

Все эти чувства всего лишь маски,
А что за ними, кто нам подскажет!
Не жизнь наблюдаем, а лишь гримаски,
Что строит нам всевселенский гаджет.

Поскольку мы не святые, не йоги,
И нам не откроются главные двери,
Оставим сетования и упрёки,
И станем вовсю укрепляться в вере.

Какое мне дело до нуклона с бозоном,
До всех галактик, не этим бредим.
Главное своё имя не покрыть позором,
Никого не убить, и не съесть вслед за этим.

***

Чего Господь желает от меня?
Чтоб я не врал буквально каждыми словом,
Чтоб я не напивался как свинья,
В источник окунулся под Саровом.

Не тратил бы души последний пыл
На то, что мне покажется забавным,
О самом главном чтобы не забыл,
Вот только б знать, что Он считает главным.

***

Читал «Войну и мир» я в годы юные
И про любовь все сцены пропускал,
Любил как пушки ухают чугунные,
И штыковой решительный оскал.

Прошли года, теперь военной кашею
Меня увлечь уже нельзя всерьёз.
То, как Андрей обходится с Наташею, —
Вот что меня встревожило до слёз.

Года идут и замечаю жжение
В душе такое точно, как давно,
Меня волнует войск передвижение:
Аустерлиц, Смоленск, Бородино.



Сергей ПОПОВ, Воронеж

***

Здесь ветер бьёт из-под земли,
щекочет ночь глаза.
И продаётся за рубли
горючая слеза.

И пыль столбом сквозь мор и хлад
стоит как часовой.
И не сыскать пути назад
с повинной головой.

Пойдёшь направо — пьянь и рвань,
налево — смех и грех,
где бестолковщиной словарь
разделан под орех.

Растёт бурьян сквозь имена
безумцев словаря.
А дело Бога сторона,
пропавшая зазря.

И если нынче тишь и гладь,
то завтра — шум и гам.
И ветер ереси в тетрадь
заносит по слогам.

В мобильник, в голову, в айпад,
в ночную кровь страны.
Что делать, если виноват
как прежде без вины?

Где накатин и никотин
спасают до поры,
летят за копотью грудин
слова в тартарары.

Но выпадающих с ума
водою в решето
впотьмах целует задарма
неразличимо кто.

***

Вдруг оборачивается и смотрит коротко, но в упор,
поправляя некстати сумочку на плече.
А потом уходит, цокая, через двор,
и наступает вскорости время Ч.

Нужно немедленно всё и про всё понять,
вещи сгрести в охапку, хлебнуть винца,
ножик на кухне потрогать за рукоять,
встать и ухмылку стряхнуть с лица.

Ранняя осень, конечно, чудо как хороша:
ржавчина, золото — всё сплошняком бальзам.
Что же не топать вдаль прерывисто, не спеша,
не потакая ни выплескам, ни слезам?

Слишком вокзал на летучую рыбу в огнях похож:
только завечереет — летит-плывёт.
Не холодрыга в городе, а пробирает дрожь,
и внутривенный тупо твердеет лёд.

Это не потому, разумеется, будто страх
подразыгрался у канувшего в ночи.
Просто в косяк торчать на семи ветрах
и самому себе повторять «молчи».

Знать, что вода в аквариуме будет стоять сто лет,
и разноцветный, детский — прости-прощай…
В принципе можно пристроить в шкафу скелет
и перейти в знак дружбы на «только чай».

Но если тьма спешит и её неуёмна прыть,
и чешуя у чудища изо льда —
следует не терять лица — улетать и плыть —
не за горами главные холода.

***

Если всё на свете принять в расчёт,
время дальше больше не потечёт.

Дальше больше — прямо сейчас и здесь
и оформится чёрный фокус весь.

Воплотится жизни чудной почин
в паутину следствий и тьму причин.

И кругом повиснет сплошная сеть,
норовя пожизненно провисеть.

И погаснут в частых ячеях те,
кто светился запросто в темноте.

Потому как всех всё равно не счесть,
чья искрила радость и грела честь.

И на каждый взгляд, и на всякий звук,
осторожный, не претендовал паук.

И расчислить, выйдет ли, почему
выходило весело петь во тьму?



Олег
ПОРТНЯГИН,
Сызрань,
Самарская обл.

МОНУМЕНТ

Москвичи очнулись на рассвете,
Глянули в окошки — ё-моё!
Минина-то нет на постаменте,
Да и нет Пожарского на нём!

Как в мешке пустом не спрятать шила,
Так не скрыть пропавшее.
Увы,
Тут не память — памятник отшибло
У столицы Родины — Москвы.

Спорили в Кремле и на Арбате:
То ли поразил небесный гром,
То ли сгоряча ночные тати
Сдали монумент в металлолом.

Приняла столица близко к сердцу
Эту весть безрадостную, но
Больше всех тужили чужеземцы,
Коих на Москве полным-полно.

Не переставали поражаться
Новым слухам эти господа:
Ожили, мол, Минин и Пожарский
И ушли неведомо куда.

Видели их вроде бы на Волге
Во главе несметных русских сил.
…Иноземцы неспроста в тревоге:
Помнят, знать, историю Руси!

СТРАНА

Ребята, видно, мы не поняли,
Зачем нам Господом дана
От Балтики и до Японии
Раскинувшаяся страна.
Не поняли, зачем на нехристей
Водил дружины князь Донской,
Зачем с такой жестокой нежностью
Кутузов жертвовал Москвой.
А понимать и помнить надо бы
Всё, что пришлось перенести.
И ставить вновь стальные надолбы
У лихоимцев на пути.
Они, проныры закордонные,
И свой, отечественный тать,
Марш похоронный нашей Родине
Готовы запросто сыграть.
Но мы живём назло всем выжигам.
Свой, хоть и горький, хлеб жуём.
И — дайте срок! — не просто выживем,
Не хуже прочих заживём.
Чтоб и они однажды поняли,
Зачем нам Господом дана
От Балтики и до Японии
Раскинувшаяся страна.

ПРОВОДЫ

Год рождения — 1948-й
Из автобиографии

Проводите меня в 41-й.
Помашите платочками мне
И поплачьте о том, что, наверно,
Я погибнуть могу на войне.
Сшей, жена, мне кисет погрубее,
Чтоб на сгибах не тёрся в пути,
Чтоб кисета того мне
До Шпрее,

До Берлина хватило дойти.
Дай мне, мать, на прощание песню,
Чтоб от пули служила щитом.
Ну а если,
А если,
А если…
То —
Роди меня в 48-м.

ПОД ДОЖДЁМ

Врезалось в память:
Дождь приплясывал,
Дорога была мокрой и скользкой
И ехал по ней инвалид на коляске.
Знаешь, такая — на четырёх колёсиках?
Мы стояли под зонтами, карнизами.
Что нам дождик? Так, баловство.
А он по плечи был грязью забрызган.
И ко лбу прилипли седины его.
Что его мотало по раскисшим улицам?
Где ему маячил заветный причал?
Горько, понимающе переглянулись мы.
Он усмехнулся. И промолчал.
А когда неловко — да иначе мог ли? —
Лез на тротуар он, словно это стена, —
Звякнули медали из-под куртки мокрой
И блеснули холодно ордена.



Алла ПРИЦ,
Кстово,
Нижегородская обл.

НЕ БОЛИТ…

К приоткрытой калитке приник
Проходящий деревней маклак.
И, мусоля плаща воротник,
Учит русскую бабу он так:

— Твой младенец кусает сосок — отними!
— Не болит, — та в ответ. — Не болит!
— Муж неласковый цедит твой сок — прогони!
— Не болит, — говорит. — Не болит.
— Братец отнял наследный кусок — прокляни!
— Не болит, — говорит. — Не болит.
— Дед безумный кричит на печи — не корми!
— Не болит, — говорит. — Не болит.
— А сосед?! Лазит в сад твой в ночи!.. Осрами!
— Не болит, — говорит. — Не болит.

Щуря чёрные щели глазниц —
Только блеск сквозь завесу ресниц
Озлащает лицо торгаша —
От забора отпрянул на шаг:
— Нет ума у неё! Лишь душа.

ЛЕТИ, СОКОЛИК…

Небо — мой дом…
Олег Пешков

Лети, соколик, лети на волю — в небесный дом.
Твоя машина тебе успела ль качнуть крылом?
Ты первым в новой войне — в последней?! — погиб в бою,
Вином и хлебом пусть ангел встретит тебя в Раю.
А мы накроем своё застолье — своей душе…
Друг другу скажем: «Не плачь, не больно ему уже…».
А после кто-то обронит хрипло, сглотнув комок:
«Не зря же полит славянской кровью чужой песок?..»

БОСИКОМ ПО РОСЕ ПРЕДРАССВЕТНОЙ ПРОЙДУСЬ…

Босиком по росе предрассветной пройдусь:
Словно жемчуг седой из оборванных бус
На зелёных купинах, на жёлтых цветах —
Под шагами моими рассыплется в прах.

Из акаций до неба поднимется трель —
То малиновка — мой заревой менестрель.
Под невинную песню её — фьюр-ли-ри! —
Встречу первые всплески июльской зари.

Не спеша подойду к разомлевшей реке.
Там следы на песке, как строка на листке:
Те, что меньше, — с моими следами
точь-в-точь…
А его — у причала закончились в ночь.



***

Поменяла весна времена и цвета —
молодая листва на просвет золота:
невесомую дымку едва окропил
осторожною прозеленью хлорофилл.

Да не долгую пору она молода,
а покуда черёмуховые холода,
и ладони живой чешуи листовой
над землёю древесною и кустовой
непременно сомкнутся ступенью
между яростным светом и тенью.

Ибо всё в равномерном пути бытия
обращается снова на круги своя,
но — всегда в кулачке зажимая
лоскуток золотистого мая.

***

Где клонится да коренится
поубавившийся народ,
речка Белая Холуница
земляные породы трёт.

Речка Чёрная Холуница
моет корни невдалеке…
Всё двоится, чтоб сохраниться
на песке и на языке.

И, названиями не обманывая,
мимолётные с высоты,
затекают с Большою Малая
речки Белые под мосты…

Имена только, да навеяло —
не убавилось от потерь:
всея Малые и Белые —
и Великие по теперь…

***

Когда Алма-Ату карагачи
сиюминутным золотом омыли,
мы яблоко с тобою преломили
душистое в густеющей ночи.
Глубинами осенней немоты
мы — прежние, но, зрелости согласно,
былого нет у яблока соблазна,
и нет Алма-Аты — есть Алматы.

Как под напором селевой воды,
что движется безмолвно и упёрто,
не только легендарного апорта
не уцелели многие сады.
Но снова темноту и немоту
года переступают осторожно,
когда всё было ясно и возможно —
лишь лёгкая оскомина во рту…

***

А возвращается крупицами…
Но сладкой жалости не трать.
Ирга испробована птицами —
пора и нам пособирать.

Пускай летят на ягоды они —
неисчерпаем летний сад,
пока рожают наши яблони
и женщины плодоносят.



Николай РАЧКОВ,

Тосно,
Ленинградская обл.



РОДНОЙ ЯЗЫК

Мы любим свой язык,
Храним его природу.
Не для вязанья лык
Он русскому народу.

Нам повторять не лень
Пословицы,
частушки.
Они как в жаркий день
Прохладный квас из кружки.

И чист,
и крепок слог,
Ядрёны поговорки,
Как удалой чеснок
Из-под зубастой тёрки.

Как плачет,
как поёт,
Как он цветёт, играет!
Пока язык живёт,
Душа не умирает.

От шуток далека
Разумная природа:
Не будет языка,
Не станет и народа…

***

Пусть дым из трубы деревенской и горек,
Но есть в нём для сердца волнующий хмель.
Россия — вот этот проснувшийся дворик,
Где утром скворешню качает апрель.

Она и печальный погост за деревней,
И солнечный снег, и пылающий клён.
В ней столько таится поэзии древней,
Легенд и сказаний минувших времён.

Она — Куликово и Курское поле,
И доблестный витязь монах Пересвет,
И Юрий Гагарин,
и девочка Поля,
За бабочкой белой бегущая вслед…

БАЛАШОВ

В июне 1812 года генерал-адъютант русского царя А. Д. Балашов прибыл в ставку Наполеона.

Француз войной на Русь пошёл,
Но здесь не будет фарту…
С посланьем царским Балашов
Явился к Бонапарту.

Была дорога не близка,
Свои и вражьи станы.
Лавиною текли войска,
Драгуны и уланы.

Швырнул письмо Наполеон,
Кулак упруго сжался:
— Я полагаю, русский трон
Меня уже заждался.
Готов я к главному броску,
Учёл вассалов мненье.
Скажи, какое на Москву
Удобней направленье?..

Куражился Наполеон,
Мол, карты русских биты.
Взмыл за столом бокалов звон
Его надменной свиты.

Но воин храбрый Балашов
Явил и здесь отвагу.
Ответил, свой гранёный штоф
Держа в руке, как шпагу:
— Пути любые хороши,
Открыты все на славу.
Вот Карл Двенадцатый решил
Идти через Полтаву…

Он знал, какую роль играл,
Был ферзем, а не пешкой,
Умнейший русский генерал
С загадочной усмешкой.

Себя он сдерживал едва,
Ещё бы — честь мундира!
Запомнили его слова
Все дипломаты мира.

Был явно дерзостен намёк
О боевой дороге.
Но Бонапарту невдомёк,
Что ждёт его в итоге —

Бородино
в крови по грудь,
И маршалов измены,
И траурный,
последний путь
На острове Елены.

***

Ягоды блестят на бересклете
Каплями огня, к себе маня.
Многих близких нет уже на свете,
Многим уж давно не до меня.

Пусто на моей тропе осенней,
Под ногой шуршит опавший лист.
И о жизни глубже, откровенней
Думаешь под ветра резкий свист.

Обо всём, что дорого и свято,
Что вошло и в кровь уже и в плоть,
Что от незаслуженного злата
Милосердный уберёг Господь.

Надо благодарным быть за это,
Никого за что-то не виня.
…Вон как светит кустик бересклета
В капельках последнего огня.



Анна РЕВЯКИНА,
Донецк



***

Открой портал весеннего окна.
Твоих волос балованных копна
и тонкослёзость утомлённых век,
и губ твоих певучий диалект.
Всё выплесни в исконную весну,
надень серьгу — сверкучую блесну.
Ходи по улицам ловиться на живца
чертами белокожего лица.
И никому, пожалуйста, не лги,
пусть знают имя, вес, размер ноги,
размер души, что продана была
в последний день скупого февраля
и выкуплена в первый день весны
у старой ведьмы — у хромой сосны,
что украшала наш военный быт.
Открой портал, пусть будет он открыт
в семнадцатый вооружённый март,
мой юный принц, мой маленький бастард,
побочный сын, непризнанный страной,
открой портал в беспечно молодой
прозрачный март, пусть шепчутся вдали
о наших судьбах злые феврали,
о наших судьбах злые короли.

***

Я люблю этот город —
обетованную степь,
на лице его порох,
он видел воочию смерть.
Он безумен, как шляпник,
разливший нечаянно ртуть.
Этот город внезапен,
но мне не в чем его упрекнуть.
Он стоит на границе —
силы света и силы тьмы.
Он немножечко рыцарь,
его горы — всего-то холмы.
Его вены, усталые вены —
потемневший асфальт дорог.
Его все обвиняют в измене,
сочиняют ему некролог.
Я люблю его, как ребёнка,
не болеет ли, не озяб?
Как же тонко в нём всё, так тонко,
но об этом сейчас нельзя.
Впрочем, в тонкости тоже сила,
тоже правда и благодать.
Я заранье его простила,
если будет за что прощать.

***

Кто читает все эти чёртовы сводки?
Налей мне водки, промой мои раны,
мы с тобой в подвале сидим, как в подводной лодке,
имени русой Марии, имени плачущей Анны.
Наша лампа-лампочка, наша маленькая лампада,
жёлтая, жуткая, внутриматочная спираль мира.
Не гляди на меня, Мария, я боюсь твоего взгляда,
помолчим, Мария, здесь каждое слово — гиря.
Наш подвал укромен, четыре стены и стулья,
а ещё эти полки с помидорами-огурцами.
Нас подвал уменьшает, съёживает, сутулит,
мы становимся даже не сёстрами — близнецами.
А на завтра сводки, от которых мне сводит душу,
а на завтра снова учиться ходить по краю.
Мы идём по улице — два морячка по суше,
мы с тобою ещё ни разу не умирали.

***

Мы уходим в осень и в комендантский час,
в бесконечные стрельбы, в длинные разговоры.
Мы уходим в беззвучный — одними губами — джаз.
Мы уходим в город.
Оставляем на память море и камешек на груди,
мой куриный бог пахнет солнцем и крепким чаем,
осень медленно листья скручивает, словно на бигуди,
на ветру качает.
Этот милый посёлок, где простыни во дворах,
белоснежные простыни, деревянные от крахмала.
Эти спелые сочные фрукты до оскомины на зубах,
аромат сандала.
И сандаловый цвет во всю кожу в рассоле дней,
и сандалий рыжих истёртые поворозки.
Мы уходим в город, который всего важней,
его улицы, перекрёстки.
Его жёлтые скверы, бульвары, солнечные лучи
сентябрит здесь мягко, щадяще, нежно.
Мы уходим в ещё одну осень, звенят ключи
от города между.
Между небом — высоким, пронзительно-голубым —
и асфальтом, брусчаткой, травушкой, чернозёмом
есть одно лишь счастье прижаться плечом к живым
и сказать: «Я дома!»



Анна РЕТЕЮМ, Москва

***

Мой сад, где ограды пробиты
И бродит стадами сирень,
С утра захватили бандиты
И делят его целый день.

Бесчинство хрипя нарастает,
Умолкли дрозды, соловьи,
Лишь пухом лебяжьим спадает
Цвет яблонь и пышной айвы.

И вот уж до неба заборы,
За каждым — пристанище пса.
Не в толк им зелёные хоры
И предков моих голоса…

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прости, земля! Бегу по плитам,
Рискуя верностью цветов,
И по железным лабиринтам —
В соревновании кротов.

Наверно, это просто снится —
И душно здесь, и страшно здесь.
А где-то роща серебрится,
И запах речки словно весть.

Но корни древа мирового
Давно отправлены в утиль.
Жуёт бетонная корова,
Гудит улёгшаяся пыль.

Простите, ветви голубые,
И шелковистая трава,
И звоны птичьи, горловые,
И позабытые слова!

***

Вот бы строгости келейной
В душу пылкую мою —
На колени, на колени
И читать епитимью,
Чтоб молитвою просторной
Засияла б даже я!
Вот бы стойкости соборной,
Золотого жития!

***

Я сигнальный флажок —
на весу — на краю,
и как будто привыкла,
как будто — стою.
Невдомёк — что же будет
секундой вперёд,
и несёт меня поезд —
куда-то несёт;
и несёт меня ветер —
посланьем — листком —
по забытой поляне
да тёмным леском.
Я сигнальный флажок —
на юру — налегке —
мне спокойно, спокойно —
в незримой руке…

***

Будь мужественной, будь небесным
колесом —
пусть льётся на тебя поток необоримый,
и мельница гудит, скрипит — и в шуме сём
созиждется душа, размалываясь зримо…



Наталья РОЖКОВА, Москва

СОЛНЦЕ

Человек от гастронома
Нарочито бойким шагом
Шёл. На горлышке бутылки
Пальцы сизые сошлись.
Выхлопных паров истома
Наполняла воздух чадом,
Отраженья, как опилки,
В луже чёрной разлеглись.
А в бутылке солнце было,
Словно рыбка золотая,
Но никто его не видел,
Даже тот, кто нёс его.
И неведомая сила
Всех влекла вперёд, не зная,
Что апрель Москву обидел,
Вместо солнца — ничего.
Вдруг хозяин пол-литровки
Поскользнулся; каменюка
Ему под ноги попался,
Брызги в стороны летят.
Люди пятятся неловко,
Шепчут: «Солнце, вот так штука!»
Словно шар земной проспался
И спешит на маскарад.
Загремела дробь капели,
Солнце в небо устремилось,
Воробьи запели песни,
Зажурчал ручей, как смех,
И, почуяв дух апреля,
Почки с треском распустились,
А в бутылке солнцу тесно,
Лучше светит пусть для всех!

***

Какой деловитый ползёт муравей
По линии жизни короткой моей!

ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА

Пусть на улице дождь или вьюга,
Слякоть хлюпает по тротуарам,
Я не скучаю — есть у меня подруга,
Звать её Кошечкиной Варварой.

Диабетом больна. Шьёт рубашки чужим любимым.
Если палец уколет — лизнёт, улыбнётся снова:
«Кровь не сладкая, значит — преодолимо,
Значит, я, — говорит, — совершенно здорова!»

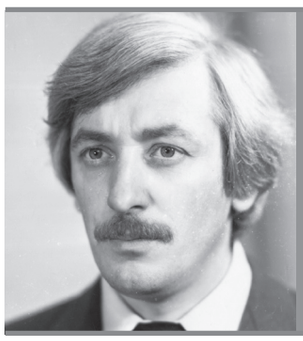
Мужа нет у неё. Давно влюблена в Брюса Спрингстина.
Доктор прямо сказал: «Жить осталось два года».
Как на батуте, на койке прыгает, услыхав злую истину:
«Вот ведь здорово! Это ещё так много!»

Мы с ней стекляшки-«секретики» часто в саду закапываем,
Только Варя, волнуясь, твердит: «Осторожнее!
Если магма рванёт из земли заревом алым, закатным,
Отыскать мы с тобою секретики наши не сможем!»

Я, конечно, немного с нею шучу:
«Спрингстин рядом с тобой, — говорю, — слишком старенький!»
Лишь она отвернётся, тихонько в фан-клубы строчу:
«Милый Брюс, не забудь сложить песню специально для Вареньки…»

ПЕТИЦИЯ

Время суровое. Тяжек твой труд.
Подпись поставлю: «своих — не сдают».
Время — прекрасное. Благостный труд.
Что же я снова: «своих — не сдают»?
Время закончилось. Даром твой труд.
Только по-прежнему — наших — сдают…



Борис РОМАНОВ, Москва



ДРЕВО ГОСУДАРСТВА МОСКОВСКОГО

Зограф Пимен, зовомый Симон Ушаков,
поместил на иконе цветущее древо
государства Московского. Справа и слева
всё цари и святители — до облаков.
Рядом образ Владимирской. Светлый покров
над властями ль простёрт, Богородица Дево?
Убоятся ли, грешные, Божьего гнева —
от князей окаянных до большевиков?

Розовый Кремль внизу. Белоснежье собора.
Лики над куполами и листья узора.
Мономаховы шапки круглы, как плоды,
тяжелы — прогибаются ветви устало.
Только если обломятся, ждите беды —
смуты, Гришки Отрёпьева, ревтрибунала.

ТАРАНТАС

Продаётся ТАРАНТАС подержанный,
но красивый, у Пречистенских ворот,
против аптеки, в доме Штольц.
Прибавление к «Московским ведомостям».
21 июня 1849

Сбивает с толку день вчерашний нас,
а я шутя блуждаю в нём, счастливый,
прочтя, что продаётся тарантас,
подержанный хотя, зато красивый.
Означен адрес: у Пречистинки. Я рад
пойти полюбоваться тарантасом,
что куплен с лишком лет сто шестьдесят
тому купчихой или ловеласом.
Аптека немца вечного цела,
набитая микстурами от смерти.
А церкви нет, что рядышком была,
где эскалатор тащит вниз, как черти,
наверх едва вползая, тормозя,
как вдруг мне показалось, торопыге.
Нет, выскочить из времени нельзя,
но глаз не оторвать от старой книги…
Не улицу мы спутали, а век,
и у каретника — столпотворенье
читателей, в пыли библиотек
наткнувшихся на это объявленье.

БИОГРАФИЯ

Памяти С. С. Лесневского

1

Все биографии слишком кратки —
не хватает любви и слов.
Умерла, проверяя тетрадки
беспощадных учеников,
соседка… Когда-то хотел на сцене,
где величественен сюжет
и слоняются вечные тени,
умереть безумный поэт.
Сбудется всё, дожидайтесь срока.
Мир — театр, драматург — добряк.
Лучших убил. Поступил жестоко.
Жизнь всегда поступает так.

2

Времена, вкус изысканный, спесь ли,
но таких читательниц не найдёте,
что листают в вольтеровском кресле
весною Шиллера, осенью Гёте
год за годом, словно Четьи Минеи.
Коварство и Любовь, Фауст или
Страдания Вертера… Ахинеи,
что наши Байроны настрочили,
не брала в руки прабабушка Блока,
та заковыристая старуха,
а в апреле воспаряла высоко,
и в октябре не теряла духа.
Ценя описания путешествий,
исторические сочиненья,
отмечала череду происшествий —
выход замуж, потом дни рожденья
четырех дочек. Чепец в оборках,
табакерка на золотой цепочке,
монокль… А муж плутал на задворках
империи, покуда росли дочки.
Там он и сгинул, ботаник, зоолог,
Григорий Силыч, скиталец вечный.
Что ж, каждый путь и одинок, и долог.
Вчера красоткой цвела беспечной!
Но из Оренбурга, рванув карьером,
до Петербурга домчали кони,
чтобы её языкам и манерам
в благородных девиц пансионе
обучили. Не пожелать иного,
высокосветское воспитанье!
Училась у Греча и у Плетнёва.
А Дельвиг ей сочинил посланье…
Да кресел уютное вольтерьянство
и гётеанская чертовщина.
Но правнук — последний поэт дворянства —
на сцене гибнет не беспричинно.

3

Никого нельзя судить…
Александр Блок

Александр Блок работает в ЧСК
под началом честнейшего адвоката.
Приводят растерянного старика
Штюрмера, выглядящего плутовато,
к следователю, за судейским столом
ждавшего преступников, а обретшего
только плаксу Вырубову с костылём,
Протопопова полусумасшедшего…
Срывается революционный суд,
несчастные грешники не виноваты.
Безумцы поэты, а не адвокаты
их и оправдают, и отпоют.

РАЗВЕДЧИКИ

В пристрелянные прусские лески
заброшены на подвиг по приказу,
тот у болота, этот у реки
они легли. Их вспомнили не сразу.
Не каждому достался обелиск.
Кому-то — ни могилы, ни медали.
Но вечного забвенья страшный риск
они тогда в расчёт не принимали.

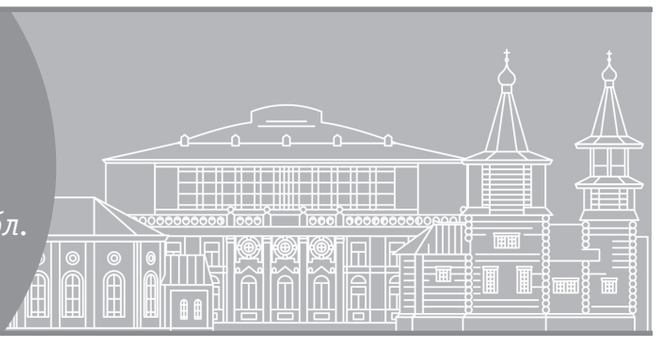
***

В дому навеки опустелом найдя письмо, прочесть посмей…
«Прошу, похороните в белом. И рядом с мамою моей.
Отпойте тайно. Благодарен тебе за счастье…»
Да, темна
судьба, и долгий век подарен ему, а умерла жена.
Но то больничное посланье среди тускнеющих бумаг
чуть высветило мирозданье, его сырой безлюбый мрак.



Галина РУДАКОВА,

Архангельская обл.



***

Ночью не спишь, всё думаешь: «Боже мой, —
Думаешь: — Господи, только бы не война!»
Как родила дитя, так и страх со мной,
с каждым ребёнком — всё больше в душе вина

в том, что бессильна их оградить от зла,
хоть и берёшь, и носишь в себе их боль…
Только б ещё и к нам война не пришла,
да чтоб жилось нам дружно между собой!

Я посадила сосенки во дворе,
каждому по одной — целый сосновый бор.
Вот соберутся дети о летней поре,
будем сидеть в тени, вести разговор,

чай станем пить со смородиновым листом,
а из созревших ягод варенье варить,
утром подсолнухи будут заглядывать в дом,
будет играть в оконницах сполох зари,

будут резвиться внуки, скрипеть качель
(верится, что для счастья им жизнь дана)…
Только не спишь потом — не от света белых ночей,
а лишь от мысли, что рядом идёт война!

В юности ездила в Харьков, в Красный Лиман,
в Коробов хутор как-то судьба завела,
помню, девчушка училась русским словам,
на украинском я разговор вела.

Как мы играли с Марусенькой: то «покачай»,
то «догоняй», сама же со смехом прочь.
После сидели под вишнями, пили чай,
а на Лиман опускалась южная ночь…

Что там сейчас? Вертолётов, снарядов вой,
танки грохочут, рушатся города…
Чувствую и ненавижу бессилье своё
и понимаю: общая это беда!

Вот и взошло, что посеяли — эта война,
их не простить и не умалить вину!
Знаю, и ты, Маруся, лежишь без сна,
с думой о детях.
И я до утра не усну…

ГОРШЕ ПОЛЫНИ

«А дом мой стоял на угоре,
На том, на крутом берегу…
Приедешь ли, девка, вдругоредь?»
…А что я ответить могу?

Кузнечик серебряно-тонко
Поёт, как ручей в полусне…
И снова глазами ребёнка
Та встреча увидится мне.

Забродит в душе и нахлынет
Всё то, что забыть не могу:
И взгляд её, горше полыни,
И ветра осенний разгул…

«Что камень, на сердце обида:
Есть дети, да где они, где?
Отправили в дом инвалидов!..
Как встрече-то не обрадеть?»

И пряди пригладит седые…
«Ах, годы — что дым на ветру…
Живите, покуль молодые!..»
И слышится снова: «Помру,

Никто хоронить не приедет…
А ты передай-ко, бывать,
Хоть кто-то из бывших соседей
Заглянет меня повидать…

А дом — от стоял на угоре,
Я карточку — вот, берегу…
Приедешь ли, девка, вдругорядь?»

…А что я ответить могу?

ГРОЗА

Как этой ночью гроза грохотала!
Как забавлялась она, хохотала,
скалы колола, ворочала камни,
тешилась силой, смеялась над нами,
над суетой, над словами пустыми
(всё от любви это, значит, простимо!)
на берегу равнодушного Стикса,
время придёт с этим миром проститься,
все в эту реку когда-нибудь канем —
каплями света, дождём или камнем.

Даже подумать о том нелегко мне…
Молнии шастают в каждой из комнат
дома, где мы ещё вместе…
мы вместе
в лучшем на свете единственном месте.
Просто обнимемся.
Слова не молвим,
ведь фотовспышками — сполохи молний.
Запечатлеть.
Нам сегодня не спится.
Налюбоваться тобой, насладиться,
слушать биенье горячего сердца.
О, наглядеться бы!
Не наглядеться…
Это последняя из фотосессий.
Только на фото останемся вместе.



Ольга РЫЧКОВА, Москва



***

Мир плывёт на черепахе
По течению реки.
Вековые рыбы в страхе
Прячут морды в тростники.

Крутит нить слепая пряха,
И векам утрачен счет.
Мир плывёт на черепахе.
Лета медленно течёт.

***

…Ну что же, к другим берегам,
Лишь солнце волну обагрило!
Вверяем морям и богам
Свои корабли и ветрила.

На край незнакомой земли
Глядит корабельщик усталый…
А время несёт корабли
Вперёд — на подводные скалы.

***

Снова лодку снаряжать
будешь к лету.
Только в ней, пожалуй, плыть
я не буду,
ибо дама на борту —
есть примета —
это к худу, дорогой,
это к худу.

А на море — красота:
синь, просторы.
Правда, множество акул
есть в пучине,
а у лодки ни весла,
ни мотора —
и в помине, дорогой,
и в помине…

Может, лодка доплывёт
и без вёсел,
только что о том гадать
или спорить,
раз останется от всех
лет и вёсен
только море, дорогой,
только море…

ВНЕШТАТНЫЙ РЕДАКТОР

Скоро растает и этот туман,
Ну а пока что всерьёз — не до игр! —
Я редактирую новый роман
С главным героем по имени Игорь.

Сага, по счастью, не слишком длинна,
Да и финал несчастливо-привычен:
То ль героиня не очень умна,
То ли герой не вполне героичен.

Может быть, сам по себе и неплох,
Но не хватает ни чувства, ни такта.
Переписать? Я не автор, не Бог —
Просто редактор. Внештатный редактор.

А героиня — несчастье моё! —
Снова снимает колготки и платье,
Туфли, часы, кружевное бельё…
Вычеркнуть сцену? За это мне платят.

Правда, гроши, но не стоит гроша
Этот роман — не игра, а игрушка.
…Правка окончена. Жизнь хороша.
Новая рукопись ждёт на подушке.



Олег РЯБОВ, Нижний Новгород

***

Вяч. Фёдорову

Руки дрожат? И хорошо:
Вот перестанут дрожать —
Вспомнишь, а может, всплакнёшь ещё,
Простившись у рубежа.

Руки дрожат? — Значит живой,
Могу и расцеловать.
Знаешь — это не тяжело:
Целовать, говорить слова.

А вот мечтать — уже не могу:
Слышу, вижу порог.
Листик с берёзы сорвать на бегу
Могу, да и раньше мог.

А замахнуться на целую жизнь?
А где её, целую, взять?
Видишь: рука немного дрожит —
Письма пишу друзьям.

САД ОСЕНЬЮ

Тук! Запоздалое яблоко с ветки
В мёрзлую землю упало.
Курица пёстрая лапою цепкой
Что-то там ищет устало.
Астры последние клонят головки,
Лёд по закраине бочки,
Скачет сорока по крыше неловко,
Дятел строчит многоточье.

Что же так холодно? Вскопаны гряды.
Куча ботвы у забора.
Что ж мы с тобою сегодня не рады? —
Грустные проводы, сборы.
Низкое небо сулит скорый дождь —
Как бы разлуки не вышло.
Руку свою ты в ладонь мне кладёшь,
Словно сырую ледышку.

СИРЕНЬ

Весна прошлась по всем дворам,
Избавив женщин от мигреней,
И вдруг упала на сарай
Пушистою волной сирени.

Сирень исполнила прибой
И даже свесилась по краю,
Когда заполнила собой
Всю крышу старого сарая.

Он, стоя в глубине двора,
Изображал карниз утёса,
С которого по вечерам
Струилась вниз сирени россыпь,

Меняя тон, оттенки, цвет,
Срываясь вниз в душистой пене…
Приходит лето в торжестве,
С дворами, полными сирени.

***

А хотелось ведь подчас,
Звонко щёлкнув каблуками,
И по-птичьи щебеча,
Глупо развести руками.
И не думать ни о чём,
Слепо следовать по кругу
До команды «горячо»,
До сердечного испуга,

А ведь был окончен бой,
Просто не было салюта,
Ни победы, ничего —
Просто наступило утро,
Растворилась дура-ночь,
И не надо ждать приказа —
Прочь устав, казарма прочь,
Дальше — матерная фраза!

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ МОДИЛЬЯНИ

О, как ты красив, проклятый...
А. Ахматова

Проклятый, бесподобный Амедео
Увидел и влюбился в нашу Анну,
Мимозу, царскосельскую Медею.
Потом — одним штрихом, изгибом плавным,
Карандашом, пером, а может кистью?
Нет, кистью — никогда! Нет, кистью — грубо!
Лишь скрип графита и бумаги листик…
И что же — больше ничего не будет?

Нет, будет вновь Париж и междометья,
Восторг и карандаш, листов сюита.
Потом, потом, уже в другом столетьи,
Мы всё поймем, как это не избито,
Свежо, уверенно, а не глоточек пыли…
Там страсть была, и это очень странно,
Что мы молчим или уже забыли…
Всё было: Амедео рядом с Анной!



Юрий РЯШЕНЦЕВ, Москва

***

Возвращений всегда чуть поменьше, увы, чем уходов.
И на злую судьбу не греша,
уходя навсегда от друзей, от семей, от народов,
Ротшильд вряд ли счастливей бомжа.
Потому что уж слишком хорош этот майский прозрачный,
острый воздух, не жаркий с утра,
и бассейн возле виллы, и сон у лачуги барачной,
на который судьба так щедра.
Будь ты проклята, жизнь! Улыбнись нам, ведь мы тебе рады,
пусть ещё не привыкли вполне
к единению света и мрака, жары и прохлады.
И к весне вслед за летом. К весне.

***

Небо облачко нахлобучит,
и свежо повеет с реки.
Но, похоже, дождя не будет,
низким ласточкам вопреки.
Это лето на влагу скупо.
Чуть покапает, но — с ленцой.
Старичок упрямо и тупо
жизнь продляет мелкой рысцой.

А продлить её нет резона.
Разве будет (скорее, нет)
в этой жизни тот всплеск озона,
что бывает-то раз в сто лет.
Что ж, борись, старичок. Таблетки
для развития мышц глотай.
А ведь мы с тобой однолетки,
два скворца из погибших стай.

И во мне эта страсть не сдохла,
хоть бранись, хоть благодари:
кобальт ночи и полдня охра,
и кармин вечерней зари.
В нашей жизни, уже недолгой,
я, как стигму, её ношу.
Ты беги — я тебе бейсболкой
с восхищением помашу.

***

Нет, нигде ни за что нипочём никому никогда
не заставит минувшее хаять судьба моя шалая.
Сколько раз обернулась успехом былая беда.
Крикнешь «эврика!» — глянешь, а это старьё обветшалое.

Я сто раз ошибался в сумбурных расчётах своих.
То, что вышло к финалу, ничем по пути не предсказано.
Я всю жизнь избегал всевозможных вождей и вождих
и упрямо старался не делать того, что приказано.

Это в нашей стране очень редко могло привести
не скажу, что — к успехам, а даже к простому спокойствию.
Я, пожалуй, спокоен. Хотя мог бы стать по пути
лицемером, ханжой, подхалимом, скупцом и пропойцею.

Мне достались другие пороки. О них умолчу…
Телефонный звонок. Это, видимо, кто-то из прошлого.
Нет… Ещё не финал. Где ключи от машины — лечу!
От весны, от судьбы, от себя, от достоинства пошлого…

***

Ничего в эти дни мне не надо.
Я один, словно алый репей,
отпугнувший от этого сада
дерзких ласточек и голубей.
Этот рай мой продлится недолго,
не оставив в душе ни следа.
Счастье редко бывает без долга.
Долг без счастья — он чаще куда.

Как естественна жизнь насекомых.
Наш порядочный мир не таков:
отличишь ли друзей от знакомых,
а знакомых — от просто врагов.
Впрочем, это уже — паранойя…
За калиткой, за хаосом лоз
окаянное братство земное
всё поёт «Миллион алых роз».

Не спасёт ни глухая ограда,
ни доступность запретных плодов —
принимайте же блудного брата.
Он от вас отдохнул. Он готов.

***

Пришел июнь, не принимая
тигриного окраса мая,
где солнце с тучами стык в стык.
И снова споры на веранде
особых русских истин ради,
чей смысл пленителен и дик.

Ещё от мая не оттаяв,
угрюмый, словно Чаадаев,
вяз вздрагивал, встревожен мглой…
Да, как замечено издревле,
великие ушли в деревья:
тот — клёном стал, а та — ветлой.

Как хорошо за чашкой чая
твердить своё, на отвечая
на шум родных лесов, дубрав,
в стране, где вольно — без законов! —
живут сто сорок миллионов,
И каждый знает, что он прав.

И каждый вывод здесь — научен…
Далекий громкий скрип уключин
всплывает из-за тростников.
Так, звуки вечера, обрывки,
там снова золотые рыбки
морочат местных стариков.

А можно ль жить без заморочек,
без вольных, пусть обманных строчек?
Конечно, можно… Но — тоска…
Смолкает спор, и стало слышно,
как легкий лист роняет вишня
на тело майского жука.

Всё ночью так, как утром было.
Над нашей трапезой светило
лимонным ломтиком взошло…
А старики опять — без юшки,
и разъярённые старушки
спешат о них сломать весло.



Марина
САВВИНЫХ,
Красноярск

***

По берегам Днепра и Иртыша,
В предгорьях Анд и среди скал Кавказа —
Да славит Бога всякая душа
Струеньем струн и гранями алмаза,
Слезой, в мольбе скользнувшей по щеке,
И словом, обретающим реченье
На каждом человечьем языке, —
Во имя своего предназначенья;
Да славят Бога искренность и стыд,
И стон любви, и первый крик младенца,
Пот пахаря и труд кариатид,
И медный Пётр, и бронзовый Риенцо;
Таёжной братьи дружеский костёр
Под музыку последнего союза —
И вечностью овеянный костёл,
И танец просветлённого индуса,
И рыбака увесистая сеть,
Когда к финалу близок пыл путины,
И в космос устремлённая мечеть —
Михрабы, минареты, муэдзины;
И гулкое терпенье синагог,
И манускрипты в Матенадаране —
Сквозь хор светил и шум вселенской брани
Всё слышит Бог — и всё приемлет Бог!
Но от земли, в которую мой род
Ушёл и из которой вновь взойдёт,
Достались мне и лоб ширококостный,
И трезвость трапезы великопостной,
И Спаса светлого нерукотворный лик,
И Православной истины язык.

КОЙСУ

Миясат Муслимовой

Так реки Лакии — текут или поют —
В пульсирующем каменном свеченье,
И шёпоты садов — затишье и уют —
И блеянье отар — по склонам там и тут —
Протяжные слова их стройного реченья…

Застенок или путь — теснины этих гор?
Под взорами орлов ты извилась тесьмою,
Как будто впереди предсказанный простор,
Неведомый твоим излукам до сих пор,
Сулит проклятие или грозит тюрьмою,

И голос твой дрожит — вселенский плач и стон
Тебя преследуют предчувствием тяжёлым,
Что на тебя с высот кренится царский трон,
Вот-вот низринется обвал со всех сторон,
И смертоносный сель прокатится по сёлам…

Ты прячешься в камнях, ты замедляешь ход,
Ты сводишь берега, как раненые плечи,
И зимняя тоска тебе на грудь кладёт
Неотвратимый снег и неделимый лёд,
И еле слышатся тогда речные речи.

Но сон твой короток… ведь рекам не до сна,
Когда живая кровь толкается в истоках…
Минуют холода, и новая весна
До самого тебя распеленает дна,
И ты воспрянешь — дело только в сроках!

***

Наш имперский микроб…
Виктор Ерофеев

Боль моя, удушье окаянное,
Нет простора для души и глаза…
Но встаёт, как облако туманное,
Надо мной святилище Кавказа —

В первом сне, в сосуде звона гулкого —
Колоннады Божьего чертога…
Через Домодедово ли, Пулково —
Всё равно… осталось так немного!

Где без кисти, без резца и шпателя —
Дерзновенным чадам в наставленье —
Запечатлены рукой Создателя
Канувшие в бездну поколенья,

Где трава и камни — начертания
Тайных иероглифов завета,
Где вода бормочет причитания,
Где не знает тень пределов света, —

Помня ли, во сне ль за правду ратуя,
Вижу их, горянок в платьях длинных,
Строгих, словно мраморные статуи
На забытых миром Эсквилинах —

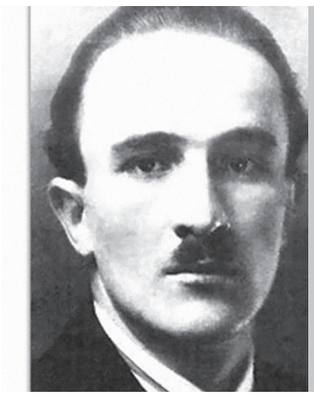
Их сердца — испытанные бедами —
Болью изливаются, как песней…
Наши судьбы связаны обетами,
Родиной земною и небесной.

Вдох — как целованье… псалмопение —
Так дышать, как эти горы дышат!
Попроси прощенья и терпения —
И Господь приникнет и услышит!

Потому что истинного знания
За века не потемнела смальта,
Рвётся жизнь из-под руин страдания,
Как трава сквозь трещины асфальта!

О, Кавказ, тоску вражды и мщения
Утолив на переправе дальней,
Русский дух взыскует очищения
В роковой твоей исповедальне.

Верю: не всесилен бес растления —
Он твоею крепостью преткнётся!
Вот моё имперское мышление —
Было и доселе остаётся.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Ивану САВИНУ

(120 лет)

Виктор ЛЕОНИДОВ

ПОЭТ «БЕЛОЙ МЕЧТЫ» ИВАН САВИН (1899–1927)

Знаменитая библиотека-фонд «Русское зарубежье» на Таганке, ныне носящая имя её основателя — Александра Исаевича Солженицына. Читальный зал. Архивные документы фонда Комитета по обеспечению высшего образования русского юношества за границей, возглавлявшегося неутомимым общественным деятелем Михаилом Михайловичем Фёдоровым. Со всего мира ему шлют письма молодые участники Добровольческой армии и частей генерала Врангеля, бывшие гимназисты, кадеты. Поколение «русских мальчиков», родившихся на рубеже XIX и XX столетий. Прошедших ужасы Гражданской войны, эвакуации, голода, потерявших всё и поставленных перед необходимостью заново начинать жизнь. И вот — письмо из Гельсингфорса от 28 мая 1924 года:

«Естественно, я готов с благодарностью воспользоваться субсидией в каком бы то ни было учебном заведении Франции технического и гуманитарного характера. Но, страдая в результате нервного потрясения в красных подвалах и гибели всей моей семьи в бою и в застенках, заиканием в довольно сильной форме, к тому же медленно поддающимся излечению, я был бы чрезвычайно обязан Комитету по обеспечению образования русского юношества, если бы мне была предоставлена стипендия в каком-либо музыкальном училище или школе, где дефекты речи не могут иметь значения. Некоторая подготовка в этой области у меня имеется (по классу рояля), хотя, вот уже пятый год я не подходил к инструменту: уверен, что в пять, шесть месяцев я возвращу своим пальцам былую технику». Подпись — Иван Саволаин.

И кто бы мог подумать, что автор этого письма, который даже не упомянул о том, что он опубликовал десятки стихов и очерков в различных русских изданиях Балтии, через много лет станет символом Белой борьбы, что сотни людей будут переписывать его строки и учить по его произведениям детей и внуков правде трагедии Гражданской войны и изгнания.

К письму прилагалась справка редакции газеты «Русские вести», где подтверждалось: Иван Иванович Саволаин (литературный псевдоним Иван Савин) состоял постоянным сотрудником газеты и «…известен редакции как убеждённый антибольшевик и национально настроенный русский человек».

И ещё там же была подколота автобиография, написанная мелким, аккуратным, но торопливым почерком.

«Окончив в 1919 году Зеньковскую мужскую правительственную гимназию (г. Зеньков Полтавская губерния)… выдержав экзамен на аттестат зрелости по дореволюционной программе, я был зачислен в число студентов Харьковского императорского университета и вступил добровольно в ряды Добровольческой армии, в которой и сделал южно-русскую, кавказскую и крымскую кампании, состоял первое время (до крымского периода) в 3-м и 2-м кавалерийском полках, а в Крыму — в 3 сводно-кавалерийском полку и в эскадроне уланского белгородского полка в качестве вольноопределяющегося.

В момент оставления Крыма Русской армией я, больной тифом, находился в городе Джанкое, в лазарете, который, по неизвестным мне причинам, эвакуирован не был, и поэтому, вместе со всеми лежавшими в этом лазарете больными и ранеными солдатами Русской армии, попал в плен и я. После многочисленных особых отделов, чрезвычайных комиссий, голода, издевательств и истязаний я бежал из плена и прибыл в Финляндию, где восемь месяцев в больнице восстанавливал своё здоровье, подорванное нравственными страданиями (гибелью моих четырёх братьев) и чрезвычайкой в красных застенках, и в настоящее время служу чернорабочим на заводе».

Интересно, что потом, описывая испытания своей жизни, Савин ещё находил силы для шуток. Вот что он оставил в своей шутливой автобиографии, написанной для Ильи Ефимовича Репина.

«Окончил гимназию после 7 ноября, но всё-таки грамотен. В университете не был — студенческий мундир на красной подкладке мне не к лицу.

С осени 1919 по осень 1921 блуждал по Дону, Кубани и Крыму и увлёкся спортом: первое время верховой ездой и метанием копья, затем — после поражения на Перекопской олимпиаде, заставшего меня в госпитале, — увлекательными прогулками по замёрзшей грязи в костюме Адама и охотой за насекомыми в подвалах, особо и чрезвычайно для того устроенными». Он ещё мог смеяться над собой.

Кем же он был, молодой поэт, проживший всего 27 лет и умерший в 1927 году. Цифра 27 стала для него роковой.

«То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе: во-первых, по причине полной своеобразности стихов и их пафоса; во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые вещи и строфы — особенно». Такие слова нашёл для Савина сам Бунин.

Иван Саволаин (Саволайнен), знакомый всему миру русского зарубежья по псевдониму Савин, родился 29 августа 1899 года в Одессе. История любви его родителей, наверное, была удивительной даже для этого города, южных портовых ворот Российской империи, словно кипящий котёл переполнявшегося представителями самых различных народов. «Дед Ивана Савина — Йохан Саволайнен, финский моряк, встретил в Елисаветграде русскую гречанку, женился на ней, остался жить в России. От этого брака родился отец поэта, Иван Иванович старший. По профессии отец Савина был нотариусом, человеком русской культуры. В одной из своих деловых поездок Иван Иванович старший встретил и без памяти влюбился в молодую помещицу, вдову, которая была на десять лет старше его и у которой уже было пять человек детей. Анна Михайловна Волик тоже была не чисто русской: отец её был молдаванин из старинного города Отян. Только мать Анны Михайловны была русская. От второго брака родились Иван Савин, Николай и сестра Надежда». Так писала вдова поэта Людмила Владимировна Савина-Сулимовская, предваряя книгу стихов и прозы своего мужа, которую ей удалось издать в Нью-Йорке к 60-летию со дня его смерти.

Детство и юность поэта прошли в гоголевских местах, в городе Зенькове Полтавской губернии. Несмотря на то что родители через некоторое время разошлись, дети были очень привязаны друг к другу и жили в большом доме матери. Потом старшие учились в Михайловском артиллерийском училище, сестра Надежда — в Павловском институте, сам Иван Савин, как мы могли уже прочесть в автобиографии, — в Зеньковской мужской гимназии. И эту прекрасную, солнечную, так много обещавшую жизнь разорвали война, а потом рево-

люция и гражданская бойня. Кто тогда мог подумать, что два михайловца будут расстреляны в Крыму: Колю, пятнадцатилетнего мальчика, служившего в синих кирасирах, убьют красные кавалеристы на поле боя, а брата Бориса, едва взяв в плен, зарубят под Каховкой буденновцы.

Вихрь Гражданской войны закружил Россию, и в 1919, когда Добровольческая армия вошла в Зеньков, то у будущего поэта не было никакого другого пути. Впоследствии в своих строках он воспел тот порыв безрассудной и благородной молодости:

Да взлетят белокрылые латы!
Да сверкнёт золотое копьё!
Я, немеркнущий славы глашатай
Отдал Господу сердце своё…

Да приидет… Высокие плечи
Преклоняя на белом лугу,
Я походные песни, как свечи
Перед ликом России зажгу.

Точный, зоркий глаз Савина подмечал всё. И ужасы войны, и грязь, и кровь. Наверное, поэт пытался писать и во время боёв. Но основной, страшный материал для будущих произведений дал ему плен.

Во время крымского отступления он подхватил тиф. Савин и другие несчастные, находившиеся в Джанкойском лазарете, пытались выехать в Симферополь, который ещё находился под относительным контролем Врангеля, но этот последний поезд так и не пошёл.

Как он уцелел, Савин мог объяснить только высшим провидением. Он считал, что ему даровали жизнь для того, чтобы он рассказал о том, через что ему довелось пройти. И ещё раз предоставим слово Бунину:

«Ему не было ещё и двадцати лет, когда он пережил начало революции, затем Гражданскую войну, бои с большевиками, плен у них после падения Крыма… Он испытал гибель почти всей своей семьи, ужасы отступления, трагедию Новороссийска… После падения Крыма он остался больной тифом на запасных путях Джанкойского узла, попал в плен… Узнал глумления, издевательства, побои, голод, переходы снежной степи в рваной одежде, кочевания из ЧЕКИ в ЧЕКУ».

«К нам подошли трое… Один из них, приложив руку к козырьку, крикнул: „Здравия желаю, господин Врангель! — предложил парню в башлыке, — Микитка, звездани его по зеркалу!“

Микитка звезданул. Я упал на калмыка, из носа пошла кровь.

„Смотри, братва, слюни пустил. Понравилось!“

Микитка звезданул ещё. Удар пришёлся по голове. Я сполз с дрожащего калмыка в грязь. Нельзя было кричать… Крик унизил бы мою боль и ту сокровенную правду, которой билось тогда сердце, которой бьётся оно и теперь…

Микитка сам снял с моей шеи цепочку. Когда её мелкие холодные кольца коснулись висков, густая, почти чёрная капля крови, скатившись по губам, упала на крест.

„Твой крест, мама…“».

Так писал Иван Савин в одном из своих очерков «Плен».

Через пятьдесят лет, когда мир познакомился с «Колымскими рассказами» Шаламова, многие заметили эту страшную эстафету русской литературы, этот образец мужества и опыта «самостояния» человека в любых ситуациях, даже на самом краю.

Ему действительно повезло, если можно говорить об удаче в этих условиях. То какой-то комиссар пожалел молодого, истощённого вольноопределяющегося, и отвёл от ямы, то медсестра в госпитале успела сжечь его уланку, то немецкие колонисты накормили умиравшего пленного…

Он очень спешил рассказать обо всём. О мучениях, о потере достоинства победителей и побеждённых и о мужестве тех, кто сумел его сохранить. О пытках и торопливых разговорах в подвалах накануне конца:

«Когда за ним пришли, он отвёл меня в сторону и сказал шёпотом, поджимая босую, окоченевшую ногу:

— Там, в углу, дневник… так Вы, того… Продолжайте… Не скучно, знаете…

Я заглянул ему в глаза. Как остро, как мучительно жадно хотели жить эти молодые, пытками затуманенные глаза, а за ними пришли. Тоненькая струйка судороги переливалась в крепко стиснутых скулах, шевелила запущенную, рыжеватую бородку…

Я кивнул головой, с бесконечной жалостью поцеловал его в высокий лоб, его увели… Увели туда, куда уводили всех обречённых — на широкий выгон у вокзала».

Савин всё-таки сумел вырваться из этого ада и, используя финское происхождение отца, в конце концов оказался в Финляндии, в Гельсингфорсе. И здесь во всю мощь сразу развернулся его талант журналиста и поэта.

Он писал, писал торопливо, лихорадочно, на обрывках бумаги, на коробках от дешёвых папирос. Писал стихи, рассказы, политические статьи, где спешил рассказать миру о том, что с ним произошло. Ведь и в Финляндии, которую также накрыла Гражданская война, были очень сильны левые настроения, и многие считали, что опыт Советской России надо распространить и на финское общество.

С 1922 года во многих русских газетах и журналах Финляндии, прежде всего в «Новых Русских вестях», стали появляться его стихи и очерки. Строки, которые невозможно до сих пор читать спокойно. Потому что талант поэта и прозаика был пропущен сквозь то, что довелось пережить:

Ты кровь их соберёшь по капле, мама,
И зарыдав у Богоматери в ногах,
Расскажешь, как зияла эта яма,
Сынами вырытая в проклятых в песках…
Как вырвал пьяный конвоир лопату
Из рук сестры в косынке и сказал: «Ложись»,
Как сын твой старший гладил руку брату,
Как стыла под ногами глинистая слизь…

По подсчётам исследовательницы творчества Савина Элины Каркконен, которая несколько лет провела в библиотеках Финляндии и Эстонии, работая над громадными подшивками русских газет, только в стране Суоми за четыре с половиной года увидело свет 339 его публикаций.

Комиссары и русские интеллигенты, сметённые бурей российской смуты, белогвардейцы, умиравшие с высоко поднятой головой, и те, кто не смог удержать человеческое достоинство в преддверии гибели, родные, оставшиеся в ледяном и холодном Петрограде, представали со страниц его очерков. Он писал о монахах на Валааме, где, к слову, умудрился записать беседу со спрятавшейся там бывшей всесильной фавориткой императрицы Анной Вырубовой, о Репине, жившем в Финляндии. Великий мастер очень любил Савина, как и вся небольшая русская колония. Да и как было не любить этого удивительно светлого, истощённого человека, каждым днём, каждым вздохом служившего своей потерянной стране.

«Дружески протягиваю Вам руку, — писал Илья Ефимович. — Очень рад познакомиться… Ивана Савина я знаю по живому таланту, бросаюсь его читать — (оказывается, он — Саволайнен). Очень, очень рад познакомиться». Впоследствии, отвечая на просьбу поэта подписать очередное антибольшевистское воззвание, старый художник отвечал: «У меня там, в Совдепии, есть заложники — дочь и внучка (учительницы). У внучки уже трое прав-

нуков моих… Полуограбленные, они обречены на переселение. И вот, обиженные власти погонят их зимой в Сибирь. Кто же их нраву может перечить?» А когда поэта не стало, Репин так выразил своё сочувствие в послании вдове:

«Я всегда мечтал, глядя на этого красавца-малороссиянина, написать его портрет… Какая невознаградная потеря».

Несколько лет назад один из самых уважаемых представителей русской эмиграции в США Ростислав Владимирович Полчанинов, очень много сделавший для издания наследия поэта, передал в Российский фонд культуры фотографию Репина с его надписью: «Необыкновенно красивому Ивану Ивановичу Савину. Пенаты. На добрую память. Илья Репин. 27 января 1927 года».

Ещё поэт, невзирая на огромную работу и тяжелейшую форму нервного истощения, был душой многих литературных и театральных вечеров. Мало того, он взвалил на себя редактирование журнала «Дни нашей жизни» при Кружке русской молодёжи в Финляндии. И два года тащил эту работу…

В 1926 году в Белграде Обществом галлиполийцев была издана книга стихов Савина «Ладонка». Небольшой сборник вызвал единодушный восторг у многих критиков. Сотни людей переписывали стихи молодого поэта от руки — слишком многое значили эти строфы для русских изгнанников:

Все могилы родимые стёрты,
Никого, никого не найти,
Белый витязь мой, братик мой мёртвый,
Ты в моей похоронен груди.

«Книга Савина — это кредо добровольца», — писал в отзыве на «Ладонку» Касаткин-Ростовский. Знаменитый писатель Амфитеатров также не жалел восторженных слов: «Какая художественная поэзия не примолкнет в смущении и испуге, заслышав рядом раздирающие душу стихотворные вопли Ивана Савина — надмогильные вопли брата над зверски расстрелянными братьями, над оскорблёнными и униженными сёстрами? Да во всей русской поэзии нет более страшных, острее впивающихся в сердце стихов».

И, перескочив через несколько десятилетий, вспомним отзыв на переиздание «Ладонки» в Нью-Йорке в 1958 году человека, многими критиками, наряду с Бродским, признанного первым русским поэтом Западного полушария. Ивана Елагина — «короля» эмигрантской поэзии второй волны:

«Эти стихи — торопливый рассказ, полный жутких подробностей… Ритм этих стихов — ритм походки выведенных на расстрел, шатающихся от слабости и от непривычного, после тюрьмы, свежего воздуха. Ритмическая неровность некоторых строк, их отрывистость придаёт стихотворению взволнованность свидетельского показания. Иван Савин свидетельствует о своём страшном и героическом времени, и его поэзия — поэзия высоких обид и высокого гнева.

Этот высокий гнев у Ивана Савина сочетался с высокой жертвенностью. Умереть за Россию, за её честь — к этому призывала его поэзия».

Поэты всегда находят очень точные слова. Савин действительно был поэтом жертвенности, слова, которое, наверное, объясняло само происхождение и суть Белого дела.

У него было очень много замыслов, он хотел создать книгу о Пушкине, хотел писать новые стихи. Но всё пережитое, помноженное на яростную, сумасшедшую работу, не могло пройти даром. Порой его охватывали тяжёлые приступы депрессии.

Однажды поэта отвезли в больницу. Аппендицит. Изношенный организм не справился с последствиями операции и 12 июля 1927 года его не стало.

Жена поэта, Людмила Соловьёва, дочь офицера Финляндского полка, ещё почти шесть десятилетий хранила память о муже. Бурные события Второй мировой в конце концов

забросили её за океан. К тридцатилетию со дня смерти, в том же Обществе галлиполийцев, она в Нью-Йорке снова выпустила «Ладонку». «Второе издание сборника стихов Ивана Савина „Ладонка“ — долг признания и благодарности этому Белому воину и поэту, воздвигшему нерукотворный памятник Белой идее, осветившему мрак трагической эпохи, своему ей служению, своим единомышленникам, соратникам — погибшим, ушедшим и уходящим». Так было сказано в предисловии.

Ещё через тридцать лет, немного не успев к шестидесятилетию со дня ухода поэта из жизни, Людмила Владимировна Савина-Сулимовская (так теперь была её фамилия) вместе с Р. В. Полчаниновым издала книгу «Только одна жизнь: 1922–1927», где впервые после долгого перерыва были снова напечатаны потрясающие очерки «Плен». В России уже наступали другие времена, и стихи поэта буквально хлынули на страницы многочисленных антологий и подборок поэзии русского зарубежья, издаваемых в тогда ещё существовавшем СССР.

Через десять лет в Москве под эгидой московского Дома-музея Марины Цветаевой вышел в свет сборник стихов и прозы Савина «Мой Белый витязь». И снова понадобилось почти десять лет, чтобы благодаря поддержке Никиты Сергеевича Михалкова и усилиями Элины Каркконен и Дмитрия Кузнецова Российским фондом культуры и издательством «Грифон» был издан самый полный на сегодняшний день том произведений «рыцаря Белой мечты» «Всех убиенных помяни, Россия…». Название было дано по строке одного из самых знаменитых его стихотворений, выбитой на плите над могилой поэта на русском кладбище в Хельсинки. Стоит, наверное, упомянуть, что оба сборника, вышедшие тиражом в тысячу экземпляров, были сметены с прилавков за пару недель.

Стихи и проза Ивана Савина теперь, наверное, навсегда вернулись в страну, которая была для него всем и которую он так хотел хотя бы ещё один раз увидеть. В Россию.



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Анна САЕД-ШАХ

(1949–2018)

11 февраля 2018 года от внезапной остановки сердца скончалась Анна Саед-Шах — поэт, прозаик, сценарист, журналист.

«Её стих прост, как изнанка жизни, доступен, как деревья и небо, откровенен, как горе, и бескорыстен, как радость. Поэтические книги Анны Саед-Шах читаются, как роман, повесть, как исповедь, всё настолько откровенно и бесхитростно, что невольно зажмуриваешься, как от внезапно полоснувшего по глазам электрического света...».

Анатолий КОБЕНКОВ

Незадолго до ухода поэтессы «Культурная инициатива» представила четвёртую книгу стихов Анны Саед-Шах «Современная тётка». «Современная тётка» — прекрасная Анна Саед-Шах — читала свои новые и старые стихи с необыкновенным воодушевлением и подъёмом.

Современная тётка
хочет быть супертёлкой,
бизнесвумен
или любовницей умной.
Чтоб напрасно не шляться.
подкачать силикон,
подкопить миллион,
выйти замуж и доброй остаться…

Сквозь подчёркнутую иронию этих строк сквозит тревога, ощущение непреходящего трагизма бытия, а ещё — щемящая надежда на лучшее, на гармонию, побеждающую хаос: «…и доброй остаться». Женское, слишком женское, как сказал бы философ. Поэт бы всплакнул о «долюшке женской», но поэтесса не плачет. Она негодует, вопиет, по-бабьи охает, пожимает плечами, иронизирует и неуклонно остаётся самой собой, ибо «непреображённая реальность рвётся в бедный мой сосуд!».

Эпатаж многих стихов Анны Саед-Шах («Меня встречали по одёжке, а провожали без неё…») обостряет, оттеняет глубину переживаний «лирической героини». Как пишет в послесловии к книге Инна Лиснянская: «Передо мной раскрылась сложившаяся жизнь женщины, раскрылся сложный образ её сегодняшнего быта и бытования».

Стихи Анны Саед-Шах по преимуществу стихи прямого высказывания, с открытыми чувствами, со щедрыми вкраплениями живой повседневной речи, с разнообразием ритмики и рифмовки, с парадоксальными умозаключениями и всегда со своей неповторимой узнаваемой интонацией. Об этом, кстати, говорит в предисловии Евгений Рейн: «У Анны

Саед-Шах интересный не заёмный стих, почти не имеющий аналогов, причём пользуется она им свободно, на полном дыхании…».

Такие стихи легко слушать — они будоражат, задевают, их яростная энергия никого не оставляет равнодушным.

Ну, Господи, ну ради Бога,
Хоть плечи сохрани, спасая и храня.
Я на своих плечах держу так много —
Мир рухнет без меня!

Молчание поэта — тоже творческий жест. Именно его продемонстрировал муж Анны — поэт Олег Хлебников. И лишь после того как её выступление закончилось, он искренне говорил о стихах Анны, о ней самой, о сложностях совместного сосуществования двух поэтов.

Да и слушатели не остались в долгу — они поздравляли поэтессу с триумфом, делились с ней и друг с другом впечатлениями.

Казалось, что никому не хотелось уходить, и, думается, не только из-за дружеского застолья, становившегося всё оживлённее. Просто никто не хотел расставаться с настоящим высоким праздником.

Всё правильно: звучали стихи, и их слушали.

Геннадий КАЛАШНИКОВ

«О ней писали Евтушенко, Самойлов, Лиснянская, Рейн, Сапгир, Рассадин. Станислав Борисович в частности говорил о её «высоком уровне нравственных претензий».

А что прежде всего приходит в голову мне, когда я думаю о её стихах? Анин голос узнаваем, ни на кого не похож. Переводами готовых смыслов она никогда не занималась. Стихи для неё были главным инструментом самосознания и мирочувствования. Именно благодаря ей я понял таинственное определение Мандельштама: «Поэзия есть чувство правоты»…

Олег ХЛЕБНИКОВ

«Она вернула речь сотням тысяч женщин».

Книга стихов Анны Саед-Шах «Меня встречали по одёжке» — не скрою — меня поразила. <…>

Строчки, открывающие первый раздел книги «…Господи, я так тебя боюсь, что любить от страха забываю», — феноменальны по своей чуть ли не хайямовской лаконичности и при тютчевском трагизме.

Стихи о мужчине, который спит рядом, беззащитны и одновременно пугающи:

…За что тебе такая грусть,
тоска звериная о малом,
и крови зов,
и этот кров,
и храп, пугающий врагов,
и бегство ног под одеялом?..

— это в первый раз вслух произнесённая немая исповедь сотен тысяч обессловленных судьбой женщин, столь запуганных нами, мужчинами. Анна Саед-Шах вернула им речь через свои уста.

«Если б я была покойницей, ты бы мне закрыл глаза, чтоб до смерти не увидела, на кого перелюбил». Гениальный неологизм «перелюбил», выросший из фольклора. Такое слово могла бы придумать только одна другая женщина-поэт, а какая — вы сами до-

гадаетесь. Не хочу подводить Анну такими высокими сравнениями, чтобы не заклевали от зависти.

Какая бешеная энергия, доходящая до ярости в строках «Когда точу с подругой лясы, когда с тобой вкушаю страсть, когда чужое жарю мясо, чтоб усмирить родную пасть…» или «Когда, лицо надев, пойду на дело, от пирога и свой кусок урвать, когда душа, заигрывая с телом, меня уж не захочет узнавать…». <…>

Но Анна, кроме бесстрашия исповедальности, обладает и животным пониманием того, что иногда надо «достойно прикусить язык». В этом я полностью согласен с Рассадиным, написавшим, что Анна «домолчалась до стихов».

Евгений ЕВТУШЕНКО



Людмила СВИРСКАЯ, Прага

***

Девятый класс. К счастливому концу
Мой школьный век подкатывался внятно.
В Снегурочки рядиться не к лицу
Тогда уже мне было, вероятно.

Мне был несносен этот персонаж:
Бескрылый ангел с детскими глазами…
Я нарядилась ведьмой, чтобы наш
Девятый «Б» от удивленья замер.

Прошли года: и три, и двадцать три…
Уже и тридцать… через запятую…
…Я ведьма со Снегурочкой внутри —
А счастья всё никак не наколдую.

***

Свеча в подсвечнике твоём уже в лохмотьях восковых. Есть жизнь с пометкою «вдвоём» на острых гранях боковых, Которых лишь коснулись мы, отдёрнув руки и сердца… Я здесь одна, среди зимы, и буду помнить до конца И плеч твоих — не адов жар: любовно-летний, ледяной… И губ потушенный пожар — теперь, когда ты не со мной, Когда на свете — том … где снег — вокруг тебя… в тебе, внутри… Ты улыбаешься во сне… в моём… останься… повтори…

***

Весной, как ни странно, трудней отзываться на крик:
Труднее услышать, поскольку все заняты слишком…
Очнувшись от спячки, напялю зелёный парик,
Чтоб топать навстречу своим убежавшим мыслишкам…
Вот что тут поделать, когда в голове — ни одной?
В чести пустота и безмыслие — не под запретом.
Апрель — абстинент. Пьёт один только чай травяной.
И курит для понта… ментоловые сигареты…
Я мая боюсь: он ведь дольше, а значит, больней:
И спросит, и бросит «под занавес» — милое дело!
Я в каждый из этих весенних оставшихся дней
Хотела б тепла. Но любви бы уже не хотела.

***

Жаль не лета мне (только не это!),
А шального зелёного света,
Что горел мне на всех перекрёстках:
На дубах, тополях и берёзках…
Жёлтый свет — безнадёжное чудо —
День за днём зажигается всюду:
По ветвям и — отчасти — по строкам…

Я ещё проскочу — ненароком…



Ирина СЕМЁНОВА, Орёл

***

Звёздное небо, вокзал,
Еду, нигде не ночуя.
Мне городок показал
Парень за три поцелуя.
Что он нашёптывал мне,
Не отпускать угрожая?
Близкой казалась вполне
Мне эта местность чужая.
Древними были мостки,
Где мы сидели на пару,
Странно с обрыва реки
Бросил в сердцах он гитару.
Разве забуду собор
В полночь со звоном пасхальным?
Прятала я, словно вор,
Руку с кольцом обручальным.

***

Я дома здесь, в спокойном русском храме!
Моя душа пойдёт на Страшный суд
В тот миг, когда, подняв над головами,
Меня отсюда в вечность понесут.
И, может быть, откликнутся святые
На мой призыв, отчаянный вполне,
Но, заклинаю, иноки России,
В тот страшный час молитесь обо мне!
Что жизнь моя! Она была мгновенной,
Был слишком щедр на милости Господь!
Он знал меня юродивой, блаженной,
Он знал, что я уже земли щепоть.

***

Если бы я была свободней,
Я бы к тебе вчера, сегодня…
Если бы я была богаче,
Может, вела бы себя иначе?
Если бы я была моложе,
То не была б с тобой мёртвой строже,
Мы бы лишь райские яблоки ели,
Мы бы в Италию полетели!
Если бы я была свободней…
Трудно сражаться с преисподней!

ИСТОРИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ДЖ. БОККАЧЧО

Данте молча бродил по Равенне,
Но застыли в проёме ворот
Донны, бросив шитьё на колени:
«Посмотрите-ка, Данте идёт!
Правда ли то, что, как дух, по желанью,
Он свободно спускается в ад,
И врагов своих видя страданья,
Всем об этом рассказывать рад?..»
Данте был в своей славе не волен,
Незаметно прислушавшись, он,
Усмехаясь, остался доволен
Благочестьем и ужасом донн.

***

Пока темнеет окоём
Войны холодной, бесполезной,
Мы танки новые куём
И ставим занавес железный.
Россия! С тощим узелком
Ты всех богаче, может статься,
Тебе опять грозят штыком —
Не стоит самобичеваться!
Прощай грехи врагам своим,
Часовни заново отстроив,
Но только на глумленье им
Своих не отдавай героев!

***

Ещё так памятен душе
Салют победы негасимый!
А гриб светящийся уже
Рассыпался над Хиросимой!
Они стращают нас!
Пора
Забыть о битве рукопашной,
Не та война была вчера,
Но, если слышится: — Ура-а-а…
Всё рушит этот возглас страшный!



Елена СЕМЁНОВА, Москва

***

Кафедру общей словесности
можно ставить где угодно на местности.

Достаточно стырить из университета
и установить даже посреди поля где-то.

И каждый — пусть никто не вопит и не ропщет —
взойдя на неё, поделится словесностью общей.

И кафедра, где б её не мастерили под синим небом,
станет лодкой иль домом, возком иль гробом.

«Studiosus aeternam» — накарябать бы на коре бы…
Незабудки цветут до востребования —

в знак, что общее стало особым.

***

Терра морей!
Золотые звуки схвачены.
Золотой покров дрожит, трещинками вибрирует,
Сминаясь и рассыпаясь, как фольга.

Терра морей!
Можно пораниться взглядом о твои грани,
И ко дну пойдут мясо и кости твоих ездоков.

Терра морей!
Красота, граничащая с болью, прыжком в никуда,
Где не ждут даже скалы и спруты.

Терра морей!
Лишь на наковаленке сердца корчится, трепещет
Смятая хрупкая золотинка.

Терра морей!
Да, это в ухо, как в раковины рог, протяжно трубит
Твоя древность.



Александр СЕНКЕВИЧ,
Москва

ОСТАФЬЕВО

Анатолию Коршикову

Бывают дни, когда не по себе,
когда бездумно топчемся на месте
и поступаем часто по злобе́,
а не по зову неподкупной чести,
и, увязая вновь в галиматье
смурных словес, в которых мало смысла,
вдруг осознаем: в мрачной темноте
живая жизнь прогоркла и прокисла.

И вера убывает, как вода
во время затянувшегося пекла,
а правду разъедает клевета,
и речь звучит расплывчато и бегло.
Тогда бегу под сень высоких лип,
что выросли у дома с колоннадой.
Там мой Парнас и там же мой Олимп,
мир благолепья, вскормленный Элладой,
в который наши пращуры смогли
внести со страстью пылкою и новой
блаженный дух отеческой земли,
что освящён был правдою Христовой.
Не сокрушая нравственных основ,
в Остафьеве, наследственном именье,
Пётр Вяземский, поэт и острослов,
развлечь друзей имел обыкновенье.

И Пушкин, издалёка возвратясь,
заглядывал к любезнейшему другу.
Ему был в радость этот странный князь:
он подходил по нраву и по духу.
И Карамзин ушёл сюда, как в скит,
чтоб рассказать, что Русь себе стяжала,
как глубоко и прочно в ней сидит
орды монгольской гибельное жало.
И где они, подобные друзья,
в чьих мудрых ликах неба отраженье?
Их больше нет. Но разве вы и я
великодушны были от рожденья?

Что мы вещаем — вздорная гугня,
А поступаем, словно шлёпогубы.
В нас нет ни вдохновенья, ни огня,
душой нечисты и натурой грубы.
К тому же в нас не вымерла орда.
И смрадный дух набегов и разбоя
из рода в род однажды и всегда,
туманя разум, тащит за собою.

УВЕЩЕВАНИЕ

Мой день тобою омрачён и скомкан.
Ты взорвалась спонтанно, как всегда,
а не мелькнула тенью мимо окон
и не окликнула тревожно, словно та,
что в дом вошла тихонько, скромно, боком,
застенчиво, как будто сирота.
От прежней той осталась красота,
в косе сверкнувший золотистый локон,
а мягкий нрав испортила среда
людей, живущих суетно и скоком.
Что взять с тебя? На дурость нет суда.
Не углублять же наш разлад упрёком!
Когда с тобой предстанем перед Богом,
от наших ссор не будет и следа.

***

Друзья уходят в те пределы,
откуда мне их не вернуть.
Моя душа оледенела,
она моё покинет тело
когда-нибудь, когда-нибудь…

Окно раскрыто нараспашку,
за ним у леса водоём.
Перед глазами кружит пташка.
До невозможности мне тяжко,
хотя мы в комнате вдвоём.

Луна с коралловым отливом
взойдёт над тёмною водой
и ночь заполнится мотивом
щемяще-плачущим, тоскливым,
как перед новою бедой.



Даниил СИЗОВ, Тюмень

ДАВАЙТЕ!

Давайте устроим квартирник
Унылый, как брошенный дом,
Где каждый друг другу противник,
Отсрочивший месть на потом.

Давайте устроим прогулку,
Чтоб все разбрелись по углам,
По тёмным своим закоулкам
Лелеять наследственный хлам.

Давайте надежду задушим
На птичий апрельский десант,
Аскезой суровой заглушим
Любой мало-мальский талант.

Давайте закроем больницы,
И школы, и цирк заодно —
Лечиться, учиться, кривиться
От смеха — не всё ли равно.

Давайте эмоции свяжем
Шнуром от дверного звонка,
В прихожей на коврике ляжем,
Но не откроем замка.

Давайте знакомиться только
Во сне два-три раза в году,
Умчаться на сказочной тройке
Откажемся даже в бреду.

Давайте закажем комету
В пиццерии — здесь за углом,
А если не будет ответа —
Мы встанем и тихо уйдём.

Давайте жить только снаружи,
Чуть тлея сердечным углём,
Ведь мы не спасём уже души,
Зато хоть кафе не сожжём.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕТЕРБУРГЕ

Вот — мансарда, облуплены стены,
За дверьми — упоительный тлен,
На мольберте — пейзаж неизменный,
На виниле — «Мы ждём перемен!»

Переломаны старые коды,
Вход в парадную — настежь давно,
На осколочках летней свободы
Пьём забвенья сухое вино.

Измусоленных крыш вереницы —
Как листы из любимейших книг, —
Разлетелись по ветру страницы —
Трехсотлетний предсмертный дневник.

Сделав крюк через арку — на Крюков,
…Дом Веге и Никольский собор…
Кроме плеска канала — ни звука,
Вдоль ограды — сырой коридор.

Белой ночью дойдём до Шпалерной,
До квартиры, где Мусоргский жил,
Пил безмерно, работал безмерно,
Годунову бессмертье дарил,

И как Пушкин вернёмся вдоль Мойки…
Арендованный дом стал родным
Для него и для сонма потомков —
Здесь и вьётся Отечества дым!



Андрей СИЗЫХ, Иркутск

***

Ах, голова моя — старая, с отбитым краем, из глины супница.
Полная смыслов ненужных и поварёшка в ней.
Жаль, в колесе судьбы развалилась ступица
И больше не стоит ждать новых праздничных дней.
Не зачерпнут со дна фамильного кратера

Ни дети, ни внуки, а правнуков я не дождусь.
Жизнь разлилась, растекаясь пятном по скатерти,
Жирным пятном нестираемым. Ну и пусть.

АВТОСТОП

засинеет газовый рожок
месяца над городком уездным.
звёзд аптечный чудо-порошок
вылечит всю скуку безвозмездно.
смотришь в лужу, словно в телескоп,
Хаббыл-бабыл — инопланетяне,
на Земле, здесь лучший автостоп!
только в путешествия не тянет.
в зазеркалье дождевой воды,
в трещинах советского асфальта
ищут обыватели следы
яркие, как греческая смальта.
и слагают из небесных слёз
мозаичный свод судьбы, как башню.
Ждут-пождут, чтоб кто-нибудь привёз
Счастья горсть, как тёплый день вчерашний.

***

Сходи на край земли, туда,
Где блещет звёздная грибница.
Из этой влаги народится,
Под утро, новая звезда.
Взойдёт над милою страной
И всё вокруг собой осветит —
И на вопрос немой ответит:
Куда лежит твой путь земной.



Владимир СКВОРЦОВ,
Санкт-Петербург

РОВЕСНИЦА

Спит монета-ровесница
на ладони моей.
Я смотрю — и не верится:
одногодки мы с ней?!
Покорёжена, мятая,
вся черна и горька…
И попалась, проклятая,
у пивного ларька.

Отсверкала строптивая
у хапуг и рвачей…
Ты, как я, несчастливая.
Я, как ты, был ничей.
Мы для всех — лишь прохожие,
нам приятель — любой…
Грех сказать, но похожие
судьбы наши с тобой.

Жизнь на место поставила
без большой суеты,
так какого же дьявола

ты черней черноты!?
Эх, монета-ровесница,
с молотком и серпом!
Ты теперь словно пленница
с повреждённым гербом!

Нас любили… и мучили,
но достоинств печать
были мы не научены
за гримасой скрывать.
Кроме всякого прочего,
мы во всём — пацаны,
и считали заносчиво,
что нам нету цены.

Эх, монета-ровесница,
я к тебе так привык!
Что же ты, как изменница,
потеряла свой лик?!
Ты, как пчёлка, старательно
собирала из рук
злой нектар обывателей,
наглецов и ворюг…

Всякий, даже ничтожество,
взял тебя — и владей!
На лице твоём крошечном
все пороки людей!
Я — не лучше уродина,
но кривляюсь при том,
что храню верность Родине
всем горбом, как гербом!

***

Осень нагрянет, и роща нарядится,
будет листва полыхать над горой…
Легче от ветра и пламени спрятаться,
чем от назойливых мыслей порой.

Был я проблемами часто раздавленный,
был обокраден до нитки не раз,
был оклеветанный, был окровавленный,
только души сохранился каркас.

Выбрал себе я дорогу — нетленную,
долго пришлось мне плутать и страдать,
только я знал, что мой мир и вселенную
можно трудом и любовью создать.

В БОЛЬНИЦЕ ПЕТЕРБУРГА

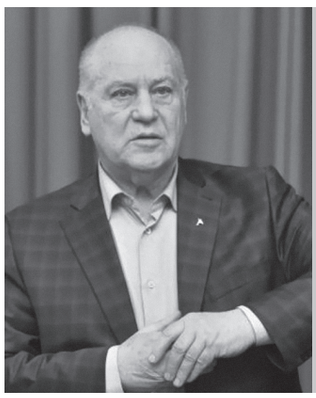
Тут не то, чтобы встать, повернуться
не просто,
я в больнице лежу для духовного роста.

Одиноко дышу. Не в толпе и не в стае.
Так зерно полежит, а потом прорастает.

Что творил я с собой! Это страшное что-то!
Сам себя штурмовал, как морская пехота.

Остов тела дымит, он разбит и разрушен,
и сердечко моё, что увядшая груша.

В голове — не кора, а больная короста,
я невзгоды терплю для духовного роста.



[ЮБИЛЕЙ]

Константин СКВОРЦОВ, Москва

Замечательного русского поэта Константина Скворцова поздравляем с 80-летием!

***

Где медведь ловит лапой
в реке золотые лучи
И горячий песок
отливает на солнце слюдой,
Где под каждой скалою
кипят ледяные ключи
Я тебя напоил из ладоней живою водой.

Словно чуткие цапли
попарно взмывали хребты.
Неразлучными быть, как они,
мы б с тобою могли…
Может быть потому,
что ни я не решился, ни ты,
Стала наша Любовь
родниковой слезинкой земли.

В том, что было и будет,
ни ты не виновна, ни я.
Солнце в руки не взять,
как любовью его не мани.
Но, увидев нас вместе,
вздохнёт облегчённо земля
И водой родниковой наполнит ладони мои…

***

Мне рано
жизни подводить итог,
но знаю я,
на время не в обиде:
мужчина тот всегда
и только тот,
каким его
лишь Женщина увидит.

Я не искал
у женщин правоты,
когда в кругу
веселий многоликих
одна вдруг скажет:
— Друг мой, ты — великий!
Другая — тут же:
— Как ничтожен ты!..

Две женщины.
Два полюса Земли.
Две радости
и две слезы благие.
То — две богини
с мудростью змеи,
то — две змеи
под маскою богини!

Простите мне,
что лгать я не привык,
что тот закон жестокий
непреложен.
Да!
Я с одной поистине ничтожен,
с другою —
и возвышен и велик!..

***

Нелепо говорить в мои лета,
Что миром правит только красота.
Но то поделать, если этот стих
Запёкся кровью на устах моих?!.

Я не лукавлю, да простит мне Бог,
Я ждал, когда распустится цветок,
В котором, как бы написал поэт,
Всё совершенно: форма, запах, цвет.

И он расцвёл. И ангелы кричат:
К цветку не прикасайся — это яд.
Но мой удел, не слушая их впредь,
Вдохнуть тот аромат и умереть.

***

Ты на руках моих качалась, словно в зыбке,
Безумно хороша, вся в солнечных сетях…
Я обретал себя в лучах твоей улыбки
Любимая моя — невинное дитя!

Ещё мгновенье и… утихнут моря волны,
И птицы замолчат на елях смоляных…
Всего лишь год назад мы были всем довольны,
Ещё не зная чем с тобой обделены!

Увядшие цветы… Их чья рука срезала?..
Осыпались на стол — узорчатый овал…
Ты становилось той, какой себя не знала.
Я становился тем, каким себя не знал…

Пусть вянут все цветы — нам прошлого
не жалко!
Мы расстаёмся с ним, играя и шутя…
Вон на окне моём уже цветёт фиалка
Прекрасная, как ты, любимое дитя!

***

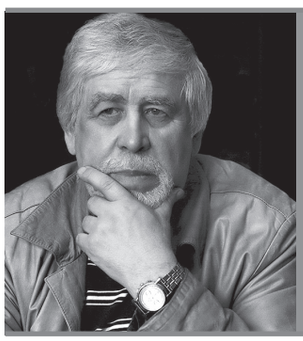
То ль от ветра качаются маки,
То ль огонь благодатный горит,
То ль Амур приготовил к атаке
Эти лёгкие копья зари?!

Мы Восток потеряли и Запад,
Это — явь или вещие сны?
Всюду сладкий дурманящий запах
Утопающей в маках весны!

Мы с тобой не по возрасту смелы…
И, любовные счёты сводя,
В сердце мака вонзаются стрелы
Золочённого солнцем дождя…

И, подвластный неведомой воле,
Грянул гром… Мы б не знали о нём,
Но от молнии вспыхнуло поле
Пожирающим небо огнём!

Ничего нет страшнее и краше:
Мак и пламя, огонь на крови…
Ты не зли меня… В гневе я страшен,
Так же, как беспощаден в любви!



Владимир СКИФ,
Иркутск

***

Я вижу неподвижные деревья,
Они смогли во сне захолонуть.
Весь в грёзах лес за спящею деревней,
Туда ведёт мой заповедный путь.

Слетают с неба хлопьями вороны,
Немеет дней осенних череда.
Пустеют лица и пусты перроны,
С пустых небес свисают холода.

Уже цветы упали в день вчерашний,
Пожухли травы, обмелела даль.
И сумерки бегут по чёрным пашням,
Как поздняя осенняя печаль.

***

Молчит сосна, молчит осина,
У леса — обнажённый вид.
И за околицей рябина
Бягряной ягодой кровит.

Но всё ещё восходит ярко
Сноп поднебесного огня,
И ярко-красная боярка
Иглой впивается в меня.

Спешу за осенью из лета,
Лечу вперёд или назад.
Как выстрелы из арбалета —
За мною ласточки летят.

***

Пасмурный вечер.
Деревья.
Скамейка.
Небо, как вата,
как Серая Шейка,
Приопустилось на озеро дней…
В сердце и в небе не стало огней.

Серою мглой смещено расстоянье,
Близкого космоса слышно дыханье.
Кажется, даже средь поля видны
Серые взмахи пустой тишины.

Линии чёрных тропинок.
Штрихи
Веточек, веток.
Деревьев верхи.
Пасмурный ангел из вечности серой
Черпает дни одинаковой мерой.



Сергей
СЛЕПУХИН,
Екатеринбург

***

Поплавский дирижабль, монокль-иллюминатор,
над Северным Крестом, полярно-голубым,
сомнамбулой парит знакомый авиатор,
из трубочки цедит сиреневатый дым.

Мотор скребет бока, жужжалки запускает,
чернильные круги над айсбергом встают,
зеркалит белый лёд глаза слепому Каю
и Герды за окном рыдают и поют.

Но голосьба сирен лишь суживает ужас,
смыкается в кольцо фермата, как змея,
и ширит океан лужёный зев, натужась,
и манит дирижабль за острые края.

Там мёртвый арсенал, арктический чернобыль,
там сепий фиолет, китайский лён медуз,
там спеют пузыри земли, как гонобобель,
и поглощают жизнь чернила топких луз.

***

Однажды я жил в стороне от дороги,
Где холод, и ночь, и темно.
Сосед забредал, доходяга убогий,
Весь вечер мы пили вино.

Он в грудь барабанил и бил что есть мочи,
Кричал: «Ты не любишь меня!»
А я с каждым днём становлюсь всё короче,
Я в дым ухожу из огня!

Меня в этом чаде не видно, быть может,
И листья, сгорая, шуршат!
А ты всё долдонишь: «О, боже! О, боже!»
Но боги твои не спешат!»

Он плакал, и поезд на станции дальной
Сбривал оголившийся лес,
И жизнь нам казалась дробинкой случайной,
Мишени пристрелянной без.

Бодали рассвет деревянными лбами,
Сидели с братком до зари.
Мы мёртвыми с ним целовались губами,
И в дым выгорали внутри.

***

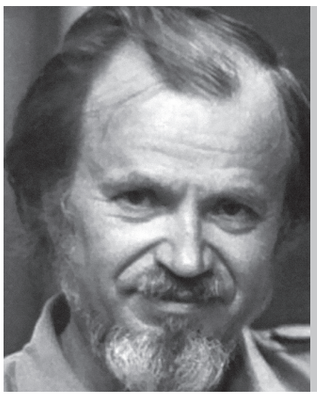
Что-то случилось. Но что? Посмотри по углам:
Мебель изваяна сумрачным пепельным светом,
Стены меж мною и Богом подобны телам
Зрячих теней со щетиною серого гетто.
Дверь отверзается пропастью в тлеющий сад,
Между деревьев враждебно крадётся мокрица,
Тёмным рельефом на клумбах недвижно лежат
Стынущих астр посиневшие хмурые лица.
Мечется голос-сквозняк в деревянной груди,
Сердце пыхтит одряхлевшею грузной медузой.
Лампочка вспыхнула в кухне — жена, бигуди…
Что-то случилось и стало обычной обузой.

КАФКА

К Фелице Бауэр стократная поездка.
Так обручаются с невнятною судьбой.
Трагикомичность нудного гротеска:
Экстаз и пас, горячность и отбой.

Фальшивая улыбка на перроне,
Четыре дня обещанной грозы.
Никто при целованье не уронит
Ни капельки искусственной слезы.

Утраченное также достоверно,
Как смерть под абажуром, мошкара.
Ты — поскользнулась, я — ошибся скверно
Пять лет назад, а может быть, вчера…



[ЮБИЛЕЙ]

Лев СМИРНОВ, Москва

Замечательного русского поэта Льва Васильевича Смирнова поздравляем с 90-летием!

ДОРОГА НА ХЕРСОНЕС

Помнишь, под белой звездою
каменной этой земли
Мы, молодые, с тобою
В Древнюю Грецию шли.
Где-то трещали цикады,
Смутно, как будто сквозь сон,
Про позабытые клады
Косноязычных времён.
В хитрой житейской науке
Ты ещё не преуспел.
Ты ещё юные руки
К солнцу протягивать смел.
Ты ещё первые шрамы
Не называвшие судьбой,
Видел античные храмы
В каменной глыбе любой.
Горек был, горше полыни
Искус, спирающий грудь,
В грозный обломок богини,
В душу её заглянуть.
Древние травы, как трубы,
Пели в полях сентября.
О, как давно эти губы
Не целовали тебя.
Скифом печальным и мудрым
Между немых черепков
Ты задержался тем утром
В мире на тридцать веков.
Всё было, как при Перикле,
Кроме промчавшейся вдаль
Девушки на мотоцикле,
Смутной, как наша печаль.

ЧТЕНИЕ ТАЦИТА

Я Тацита читал в грозу
В какой-то захолустной чайной.
Что может быть необычайней,
Чем чтенье Тацита в грозу
В какой-то допотопной чайной?

Передо мною древний текст
Особым смыслом наполнялся,
Когда вокруг народ смеялся,
Когда сосед ругал бифштекс, —
Меж тем Тиберий к власти рвался.

Механик хмуро ел салат,
А кто-то с миною хмельною
Лез в дверь, напуганный грозою,
И, как Калигула в сенат,
Тянул кобылу за собою.

Буфетчик говорил: — Мирон! —
И добавлял интимно-хрипло:
— Ещё желаешь ли… от гриппа? —
А уху слышалось: Нерон!
А уху чудилось: Агриппа!

Метались тени облаков,
На лики древние похожи,
И холодок бежал по коже
От пролетающих веков
И от словечек крепких тоже.

Сосед мой, с блюдом дорогим
Расправившись, преображался,
Весёлым смехом разражался,
Тост предлагал… А Древний Рим
Всё глубже в кризис погружался.
Входили мирно шофера,

Коллег с зарплатой поздравляли
И вовсе не подозревали,
Какая близилась пора,
Какие битвы назревали.

Ах, Тацит! Он неповторим!
А чайная — такое место,
Где чтенье книжек неуместно…
Но гвалт… но дождь… но Древний Рим…
Всё совпадало так чудесно!

28 июля 1972

ЧТЕНИЕ ЭПИТАФИЙ

Моя мама любила ходить на погост
И брала меня в детстве с собою нередко.
В полный рост перед нами вставали кресты,
И соседка с увядшим венком проходила.

Как ни странно, но был мне погост букварём,
По которому я терпеливо учился,
И где было темно, там светил фонарём
То ли сторож хмельной, то ли ангел из гипса.

Необычен учения был матерьял
(Он бы вызвал, пожалуй, сейчас возраженье):
На фамилиях чьих-то чужих шлифовал
Я фонетику, дикцию, произношенье.

Голод был на земле… Горькой пыли клубок
Пролетал по полям, о беде причитая,
И как мог я голодные дни коротал,
Эпитафии вместо романов читая.

Жизнь на радость была, очевидно, скупа,
Ни картинок, ни книг не дарила она мне…
Лишь густая трава, да лесная тропа,
Да чужая могила, да надпись на камне.

Вспоминать о минувшем не очень люблю,
Но всегда в моей памяти, нищи и голы,
Эти «плачу», «вздыхаю», «надеюсь»,
«скорблю» —
Первой грамоты, первых прозрений глаголы.

1977

ИЗБЕГАЙТЕ ДАНАЙЦЕВ

Избегайте данайцев, курляндцев, голштинцев,
Киммерийцев, туранцев, хазарцев, ордынцев,
Никогда не видавших коней кабардинцев,
Проклинающих нас, москалей, украинцев,
Русопятов, спесивцев, подельцев, злочинцев,
Иностранцев, мелькающих возле эсминцев,
Безрассудных израильцев и палестинцев,
Упрекающих нас за измену кубинцев,
В поездах и трамваях забытых гостинцев,
Недозрелых премьеров, румяных от блицев,
Избирателей, верящих лишь в проходимцев,
Олигархов, лоббистов, «народных любимцев»,
Указующих пальцев, бесценных мизинцев,
Гуманистов из моргов, витий из зверинцев…
Обожайте, любите лишь маленьких принцев!



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Владимиру СОКОЛОВУ

(90 лет)

Геннадий КРАСНИКОВ

«ЗАРУЧИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ НЕМНОГИХ...»

Как ни странно, а вернее, как ни печально, о Владимире Соколове, замечательном русском поэте, написано непростительно, несправедливо мало. Что особенно видно в эти дни 90-летнего юбилея поэта. Сказано о нём в своё время было много, написано мало. Хотя русская литература второй половины XX века непредставима без его неповторимой узнаваемой поэтической интонации. Именно Соколов, как бы несколько отстранённо, не форсируя голоса, тихо и несуетно идя своим путём, вернул в современную поэзию забытую культуру и обаяние русского стиха и то, что можно назвать русской интеллигентностью, связав в собственном творчестве традицию девятнадцатого и начала двадцатого, Серебряного века.

Не удивляюсь истории, услышанной от Николая Константиновича Старшинова, что когда однажды в литературной компании зашёл спор с Соколовым о значении какого-то слова и кто-то уже собирался за словарём, Владимир Николаевич твёрдо и без всякого юмора сказал: «Зачем? — я сам словарь русского языка!..» И действительно, он, как всякий истинный поэт, сам был носителем целого космоса родного языка, его стихии, таящихся в нём пророческих откровений.

Критики не раз ломали голову над знаменитым, ставшим программным признанием поэта, воспринятым едва ли ни как идеологический вызов в пику тогдашней крикливой эстрадности поэтов-шестидесятников с их санкционированной крамольностью: «Со мной опять Некрасов и Афанасий Фет» (Вдали от всех парнасов…», 1960)… С Фетом всё было более или менее понятно — классический русский стих, который, как сказано у Соколова, — «врачует», что в реминисцентном ауканьи с Боратынским, писавшим: «Болящий дух врачует песнопенье», могло давать дополнительный скрытый подтекст. (Кстати, лирику Фета почему-то никто не называл «тихой», а к Соколову прилепили это нелепое определение, хотя его лирику скорее уж можно было бы назвать интимной или медитативно-философской…) А вот Некрасов с его открытостью прямого и беспощадного высказывания вроде бы никак не проявлялся. И вдруг, ближе к закату жизни, в 1988 году, неожиданно происходит взрыв некрасовской энергии:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Великое стихотворение В. Соколова раздалось подобно звуку оборванной струны в финале «Вишнёвого сада». В последней ремарке к пьесе А. Чехов писал: «Слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву». Это и есть пророческие откровения, таящиеся в космосе родного языка. Так заканчивался страшный двадцатый век, так, даже помимо воли поэта, через его слово, возникает предчувствие гибели империи, гибели страны, над которой, словно над прекрасным вишнёвым садом, предательскими руками уже занесён топор истории.

Упоминание «Вишнёвого сада» неслучайно. Когда-то Николай Рубцов в разговоре назвал Соколова дачным поэтом. Что-то было схвачено в безобидно-мимолётной оценке. Интимная интонация, некоторая старомодность со всеми приметами как бы уходящей натуры с её запустелым садом, с заигранной хрипящей пластинкой, с большими сиренями, дымка́ми, туманами, неспешная созерцательность и сосредоточенность, волнующее предчувствие мига, «что всё это канет во мгле…». Какая-то неподвижность в повествовании о «том, что происходит, когда не происходит ничего» («это у меня от Чехова», — очарованно признаётся Соколов). После Чехова будет бунинское «И ветер, и дождик, и мгла», «Я на даче один…», остаётся только «камин затопить», и, разумеется, «пить…». Но чеховское будет возвращаться как в гениальном стихотворении «Рощу и поле дождём замутило»:

Рощу и поле дождём замутило.
Помню, какая тоска охватила

От усложнённого эхом гудка,
Словно из юности, издалека…

…Это дождя отшумевшего шорох
В листьях и память о тех, о которых…

Это закат на пруду и на вербе,
Это шампанское марки «их штербе»,

Это случайный отъезд на века
Без проводницы и проводника.

Потрясает своею пронзительностью — «шампанское марки „ихъ штербе“», как напоминание о последнем глотке шампанского с предсмертными словами Чехова, сказанными по-немецки, «их штербе» — «я умираю»… Такой силы стихи вдали от России писали только Владислав Ходасевич и поздний Георгий Иванов, да ещё Бунин. И здесь есть неразгаданная наша национальная тайна, по которой русский художник может обойтись даже без Толстого и Достоевского, но не без Чехова…

В стихах Соколова, в его хрипящей пластинке, в «шампанском марки „их штербе“», в женской тени, «нежно идущей на ущерб», в неповторимом «васильковом, ромашковом» венце, в его «звезде полей над отчим домом»… — неуловимо-пленительно присутствует тоненький пьянящий аромат, сладкий яд романса, этакая смесь Полонского — Блока — Георгия Иванова — Вертинского с их «И слишком устали, и слишком мы стары // И для этого вальса и для этой гитары», словно и к самому Соколову относятся слова Г. Иванова «Мы жили тогда на планете другой». Неслучайно, одна из последних поэм Соколова называется «Пришелец», герой которой является альтер-эго автора.

В. Соколов влиял на наше послевоенное поколение как-то незаметно, исподволь, так, как будто, живя рядом с нами, был действительно пришельцем из иного культурного кон-

текста, из внутренней духовной эмиграции, из незнакомого нам русского зарубежья, откуда он так ностальгически чисто признавался: «Чёрные ветки России // В белом, как небо, снегу. // Эти тропинки глухие // Я позабыть не смогу», откуда он, подобно Георгию Иванову мечтает «Вернуться в Россию стихами», в свою Россию, со своей тверской родиной, с московскими улочками, с любимой Марианной, с любимым русским снегом, вернуться туда, где: «Хотел бы я долгие годы // На родине милой прожить, // Любить её светлые воды // И тёмные воды любить»...

Следы влияния Соколова можно отыскать на поэтических строках многих из моего поколения. Непостижимая тайна есть в самом грамматическом строении его фразы, он один из самых интонационно узнаваемых поэтов, которого можно угадать по первой строчке любого стихотворения, «Вот и нет меня на свете...», «Когда смеются за спиной...», «В дни, когда рано темнеет...», «Спасибо, музыка, за то...», «Вот мы с тобой и развенчаны...», «Нет сил никаких улыбаться...», «Извилист путь и долог...», «Сальери, мастер в высшей мере...», «Не уважаю не ревнивых», «Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад», «Нет школ никаких. Только совесть...», «Пластинка должна быть хрипящей...», «Упаси меня от серебра...»...

Юрий Поляков, к первой поэтической книге которого В. Соколов написал напутственное предисловие, через много лет назвал своего учителя и старшего товарища «классиком», который по определению «обречён на гармонию». Но гармония она тоже даётся как дар, как фаворский свет, внезапно преображающий. О чуде встречи с собственной судьбой Соколов помнил всегда:

Ученический зимний рассвет.
На окне ледяные подтёки.
Я не знал до шестнадцати лет,
Как бывают пленительны строки.

Но это трудный дар. Марианна Роговская, жена и муза Соколова, помнит его выстраданное долгим опытом откровение: «Мучительней, чем несказанность, я не знал на земле ничего». И ещё читаем у него: «Всегда хочется поймать переход времени в вечность». Человек с негромким голосом написал он очень важные, драгоценные для русской поэзии и русской мысли стихи... Поэт фронтового поколения С. Наровчатов был безусловно прав, говоря о «спокойном» и «грустном великодушии» поэзии В. Соколова, который при всём своём природном аристократизме, был плоть от плоти простого русского народа, рождённый в срединной России, в городе с горьким символичным названием Лихославль Тверской области. И не было у него никакой отрешённости от общей судьбы своей Родины, своего народа. «Я понял жизнь свою, как жизнь людей...», — скажет он в зрелом возрасте с чувством обретённого счастья и мудрости. При том, ничуть не обольщаясь и не впадая в гордыню, помня, в каком реальном мире мы живём, где культурное одичание правит свой пошлый бал. Так, К. Ваншенкин с горечью вспоминает, что когда его друг Владимир Соколов получил российскую Пушкинскую премию, молодая дикторша ТВ сообщила в последних известиях: «Премия присуждена писателю Саше Соколову...». А потому В. Соколов с христианским смирением считал для себя, для своего бессрочного труда, достаточным и достойным всего лишь:

Заручиться любовью немногих,
Отвечать перед ними тайком —
В свете сумерек мягких и строгих
Над белеющим черновиком.



Валентин СОРОКИН,
Москва

ТЁПЛЫЕ ЦВЕТЫ

А тебе я верю, очень верю,
Да и ты со мной не пропадёшь, —
Осторожно к опытному зверю
Ты по снегу белому идёшь.

В редколесье тропы не петляют,
Держатся наезженных дорог,
Браконьеры даже не стреляют,
Столько пуль всадили — превозмог.

Без позора чуду не являться,
В праздном дыме не седеет прядь,
Доброте привык я удивляться,
Ненависть страданьем усмирять.

На Руси шумят и выпивают,
Разрушают праховый уют,
На Руси поэтов убивают,
Раненым пощады не дают.

Пусть не раз я побывал за гробом,
Слава Богу —
не видала ты,
Как тянулись по родным сугробам
Тёплые кровавые цветы.

РУССКАЯ ДУМА

Глаза твои чёрные очень печальны,
А беды застывшие — впрямь величальны.

Не вьюгу, не вьюгу мы топчем ногами,
Наш край, каменея, молчит под снегами.

Ладонь твоя рядом, тиха и приветна,
Мы канем в просторах с тобой незаметно.

И чья-нибудь сытость хихикнет злорадно,
А время вперёд полетит безвозвратно.

И русская дума раскосой луною
Взойдёт над огромной и мёртвой страною.

ЧЕРЕЗ ПОЛЕ

Над холмом речушки неказистой
Распрямился тополь в полный рост,
Чтобы летней ночью серебристой
Головой коснуться тёплых звёзд.

Голос жизни — тайная потреба:
Он её услышал и решит, —
В миг такой ему земля и небо,
Одному ему принадлежит.

Страсть святая, истина святая,
Красота святая!..
И поэт,
Выше зорь над Родиной взлетая,
Пьёт любви и благородства свет.

А потом то в радости, то в горе,
Он встает, взволнованный до слёз,
Только он,
и никого в просторе,
Только он — и воин, и Христос!..

Песню слышит, слышит стон и сечу,
Слышит оклик яростный и риск:
Все кресты идут ему навстречу,
Кланяется каждый обелиск.

Русь моя, судьба моя и доля,
Речка,
тополь,
ветер и утёс, —

Это я шагаю через поле
К лебединой заводи берёз!..

ВОТ ТАК И МНЕ

У нищего верней любовь к свободам.
А властелин — хозяин не всегда.
И потому одна под небосводом
Опять не спит полночная звезда.

Был юным я, лучи её сверкали,
Весёлым был,
теперь угрюм и сед,
И всё равно летит в немые дали
Её высокий серебристый свет.

Гореть во мгле — трагичное искусство,
Лишь погаси и сердце кинет в дрожь:
Возникнет мир, в котором пусто, пусто, —
На брошенное кладбище похож.

Когда тебя крылами я касаюсь,
Веду тебя между иных планет,
Я ничего уже не опасаюсь,
Ведь смерти нет и вечной бездны нет.

Наверное, не понята другими,
Горит звезда зажжённая, горит,
Вот так и мне твоё родное имя
О радости недолгой говорит.

Но древний путь вздыхает перед нами,
Струится дым селений сквозь года,
Пока горит упрямо за холмами,
Горит одна,
последняя звезда!..



Владимир СОРОЧКИН, Брянск

СТИХИ ОДНОГО СНА

1

В теплушке уснёшь на товарных путях,
В составе, весь день простоявшем по зною,
И спишь, и какой-нибудь видишь пустяк,
А поезд поехал, вихляя спиною. —

Уже он успел разогнаться, дрожа
На полном ходу, и, не метя в пророки,
Метается в клетке вагонной душа,
Боясь ненароком отстать по дороге…

2

Ребёнком ты волен туда убежать,
Где можно, как тёплый кусок каравая,
За пазухой годы свои подержать,
Себя — за глаза — в старике узнавая.

И смотришь, не веря, досужую быль,
Что жжёт, как вода ключевая в ушате…
Проснёшься — и плачешь… И всё позабыл…
И бабушка скажет: «Не спи на закате…»

КАЗАЛОСЬ ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ…

Казалось: вся жизнь впереди.
Коль молод — плевать на потери.
Но шёпот твой: «Не уходи»
Меня удержал возле двери.

С тех пор пролетели года.
Я стольких оставил и вышел
Из стольких дверей — в никуда,
Но слов этих больше не слышал.

Давно отшумели сады,
Давно уже выросли дети,
Но шёпот твой: «Не уходи»
Ещё меня держит на свете.

ОН ШЁЛ В НОЧИ…

Сергею Карачакову

Он шёл в ночи, черней, чем дым
Над прахом деревень,
И тьма лежала перед ним,
Как собственная тень.

Он шёл быстрей, чем время шло,
Быстрей, чем мог идти…
Пустое, мёртвое село
Лежало на пути.

В дом постучал, но звук во тьму
Прочь унесли ветра,
И не открыли дверь ему
У этого двора.

Стучал он в дом другой, и вновь
Стучался в третий дом,
Но стук проглатывала ночь
На много вёрст кругом.

Холодным ветром пальцы жгло,
Но и в домах других
Они не слышали его,
И он не слышал их…

И тяжелела на плечах
Ночная круговерть,
И каждый звук, и каждый шаг
Был обречён на смерть.

…Он уходил на шум реки,
Как будто в мир иной,
И зажигались огоньки
В окошках за спиной.



Надежда СОСНОВСКАЯ, Москва

***

Меж прошлым и нынешним — память-река.
Где берег не виден, где вброд до буйка,
А где — пересохшее русло
Морщинисто и заскорузло.
Туманом подёрнуты дали,
Туда доберусь я едва ли.

И я ничего изменить не могу —
Ведь время течёт на другом берегу
Иначе — то скачет галопом
По дальним наезженным тропам,
А то продвигается чуть не ползком,
За шагом шажок и денёк за деньком.

Порой издалёка доносит река
Друзей голоса, аромат пикника,
Вглядишься — друзья разбежались,
Одни голоса и остались,
Их книжки лежат втихомолку,
Освоив особую полку.

Давно не случалось на берег прийти
И в плещущих волнах бутылку найти,
И выдернуть пробку, и почерк узнать,
И вдруг с замиранием сердца понять,
Как долго записка блуждала —
Сама её я написала.

ЧЕХОВ

Разбитая чашка, простуда, в заборе дыра,
Нашествие моли, налёт колорадских жуков,
Счета за квартиру, за окнами — стук топора,
Скопление лишних бумаг и непарных носков.

Там гибнет мой сад, он ложится на землю
плашмя,
Собой приминая цветы и кусты, и траву,
Там мимо пролётка несётся, железом гремя,
И кто-то рыдает: «В Москву бы, в Москву бы,
в Москву».

Осколки на свалку, дыру залатаю доской,
И выведу моль, и с картошки жуков соберу,
Бумаги сожгу и, Бог даст, совладаю с тоской,
И небо в алмазах увижу, и слёзы утру.

***

Так хочется в поезд, на нижнюю полку,
Оставить в столице прощанье без слёз,
Валяться и что-то жевать втихомолку
Под топот триольный весёлых колёс.

Кроссворд, помидор, огурец малосольный,
Крутое яйцо, кругляши колбасы,
И мир за окошком большой и привольный,
Стада на лугах и на башне часы,

И близкие звёзды в небесном просторе,
Медведицы ковш над равниной ночной,
А главное — море, любимое море
У станции дальней, где город родной.

Дорога, люблю все твои приложенья —
Попутчик с попутчицей крутит роман,
Которому не суждено продолженья.
Дрожит в подстаканнике с чаем стакан.

Люблю эту скачку по рельсам бессонным
И жизни мультфильм за окошком вагонным.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

НИКОЛАЮ СТАРШИНОВУ

(95 лет)

Геннадий Красников

КАК ДЕРЕВО В ЛЕСУ

Есть люди, у которых разорвана связь с миром. Они, словно необитаемые планеты, сосредоточены лишь на себе. Поэт Николай Старшинов — полная им противоположность. Ему было мало уже существующих связей, друзей, товарищей, знакомств. Он должен был всё время чувствовать себя звеном в цепи, в дружеском кругу, ощущать себя «в строю — как дерево в лесу». Откуда это? Не из той ли поры, о которой он сам написал когда-то: «И вот в свои семнадцать лет я встал в солдатский строй…»? Смотришь сегодня на его фотографию тех лет и удивляешься: совсем ещё мальчишечка на ней, с тонкой шеей, с лихо надвинутой на лоб пилоткой, из-под которой на нас устремлён отнюдь не грозный, а доверчиво-добрый взгляд чёрных глаз. Правда, поначалу этот взгляд обнаружил, что вокруг у всех «шинелей серый цвет, у всех — один покрой…». И как-то неуютно стало молодому солдату от унылой похожести на всех, от внешней обезличенности. Но шла большая, великая война, и тем дороже был для всех опыт артельности, фронтового братства.

Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй ветер, как назло, —
Солдатам холодно поврозь,
А сообща — тепло.

Этот худенький, цыганистый парнишка сполна успел узнать весь трагизм войны, все её тяготы, всю незащищённость перед ней. Был он пулемётчиком. Командиром расчёта. Тяжёлый станковый пулемёт «Максим» помнился долго, не забыто, сколько весит каждая его часть. Скрыться, спрятаться за «Максимом» практически было нельзя, и потому пулемётчики в некотором роде были смертниками. Перед наступлением, под огнём, посылают их вперёд, насколько можно прорваться: бегом, бегом… 100… 200 метров… Ложишься, стреляешь, за тобою поднимается пехота, потом — снова вперёд, очередные метры, кажущиеся расстоянием в вечность. И это — с тяжёлым пулемётом, да часто и после долгого недоедания…

При мне Старшинов рассказывал: «Мы постоянно хотели есть… В болотах, в грязи, на холоде… Шли по Смоленщине, край голодный, тут и вовсе ни картошки, ни хлеба. Помню, перед самым боем идёт стрельба, снаряды летят, а Малинов из моего расчёта сел на бугорок, достал из вещмешка хлеб и уплетает его. Я ему: „Ты что, стреляют же, прячься, потом доешь!“ А он: „Всё равно сейчас в бой, а там, глядишь, убьют — пропадёт ведь хлеб!..“ Да, молодые были, организм здоровый, требовал…».

Немецкие миномётчики били по нашим огневым точкам. Попадали обычно с третьего раза: недолёт, перелёт, а третий снаряд ложится по цели. В один из таких обстрелов и был тяжело ранен Николай Старшинов. До конца жизни носил он в перебитой ноге осколки. Другими осколками, засевшими в сердце, стали воспоминания о погибших товарищах, о военной молодости. И сегодня, после стольких мирных лет, когда почти совсем не осталось в живых бывших фронтовиков, когда не стало и самого поэта, невозможно спокойно читать знаменитые старшиновские стихи:

Когда, нарушив забытьё,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За неё.

В летописи войны — это, может быть, дни из самых правдивых строк. В них такое будничное, прозаическое отношение к смерти, равной подвигу! В них любовь к родному точно и просто передана через суровый, молчаливый, ежедневный, ежечасный ратный труд солдат. Громкие слова здесь равносильны фальши. Может, именно на этих первых стихах о войне вырабатывался у поэта иммунитет против всего парадного, велеречивого!

Удивительный, человек, никто не чувствовал себя при нём статистом, исполнителем маленькой роли. Он расточал себя с какой-то даже радостью, словно бы на нём подтверждаются евангельские слова: «сберёгший душу свою потеряет её…» Старшинов не трясся скупым рыцарем над собственной душой, оттого она у него и не скудела, её хватало на всех. После войны он работал литературным консультантом в «Известиях», был первым редактором отдела поэзии в журнале Юность», вёл литературное объединение в Московском университете, более двадцати лет руководил популярным, единственным в стране общесоюзным альманахом «Поэзия», вёл семинары в Литературном институте, был постоянным творческим руководителем всех последних Всесоюзных совещаний молодых писателей…

Василий Шукшин писал когда-то: «Талантливая честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков…». Не этим ли объясняется такая тяга многих к Старшинову — поэту и человеку, словно бы к некой духовной опоре?.. Сам он видел предназначение поэзии в «просветлении души». Все его стихи врачующе светоносны. В них чистое, здоровое дыхание жизни.

Снова сердце распахнуто настежь,
И добра и привета полно,
Я желаю высокого счастья
Всем, кого обходило оно…

…Что ж тужить нам о вёснах и зимах,
Если были во веки веков
Даже зимние очи любимых
Голубее любых васильков?..

Читая эти строки, узнаешь особую, ни на чью не похожую старшиновскую нежность, во многом определяющую его творчество, думаешь о нелегко дающейся простоте и о прозрачной, до самого дна просвечивающей ясности!.. Закономерно, что у него так много светлых, согретых подлинной сердечностью стихов о любви, о женщине, о матери!.. Даже в минуту отчаяния он не любит жаловаться, ныть, и вслед за нечаянно вырвавшимся признанием: «В жизни я достаточно продрог…» у него идёт обязательное, сугубо старшиновское предупреждение: «Только умоляю — не сочувствуй!» Но не будем думать, что это идёт

от игры или от «железобетонности», твёрдости характера. Мы-то ведь помним (должны помнить!) ещё со времен Есенина, что именно «нежным — даётся печаль». Нет, просто Старшинов из поколения такой закваски, такого жизнелюбия, что можно позавидовать! Пройдя через горнила нечеловеческих испытаний, он сохранил в душе необыкновенную ясность, незамутнённость, перед которыми пасует любое угрюмое неверие.

Что со мной?.. Ручаюсь головою,
Что-то вдруг со мной произошло.
Заново люблю я всё живое,
Всё, в чём свет сияет и тепло.

Вот я в лес вхожу — задел осинку,
Как бы зря не сбить с неё листа!
Как бы не смахнуть с травы росинку —
Так она немыслимо чиста!

Десятилетиями дружа и совместно работая с Николаем Константиновичем в альманахе «Поэзия», иногда мне казалось, что его стихам не хватает только одного: драматизма, трагического отношения к жизни, к смерти, к жестокой краткости и хрупкости человеческого существования. Но позже я понял, что беда-то во мне самом, что это мне не хватает более светлого, более ясного мироощущения. Это мне не хватает тончайшего внутреннего слуха, чтобы услышать, почувствовать гармонию мира. Гармония в самой сути творчества Старшинова. Отсюда и равновесие в его стихах светлых и тёмных тонов, отсюда и естественность переходов одного состояния в другое. Хотя поздние стихи поэта всё больше тяготеют к новой, по-осеннему мрачноватой глубине, они, как настоявшееся вино, становятся крепче и приобретают привкус печали.

…И посыплются милости с неба,
И окатит меня синевой,
И проглянет земля из-под снега
Прошлогодней пожухлой травой…

И опять я поверю в удачу,
И опять за неё постою,
И последнюю нежность растрачу
На январскую душу твою.

По строгости и простоте, по сдержанности и волнующей искренности это, на мой взгляд, одно из лучших стихотворений поэта.

Можно было бы написать отдельную статью об улыбке в стихах Старшинова. В жизни человек с богатым чувством юмора, он и в литературе остаётся остроумным, лукавым, по-доброму ироничным и насмешливым. Вот несколько характерных строк из его искромётного стихотворения «На выставке собак»: «А эта гражданка, худая-худая, // идёт, как цветок, на ходу увядая…». Думается, что и Саше Чёрному и самому Маяковскому могла бы прийтись по душе эта кинематографически динамичная, очень зримая картинка! Или он, известный как заядлый рыбак, описывает всем знакомую рыбёшку, столь колючую и глазастую, что нельзя не воскликнуть без улыбки: «В чём и держится душа // у сопливого ерша!..» И нам опять передаётся живая, узнаваемая интонация, и нас как бы настраивающая на доброту, на взаимопонимание с природой. Но есть у Старшинова стихотворение, в котором ироническая усмешка так очаровательна, что не сразу понимаешь всю её прелестную горькую подоплёку:

Вроде жизнь наладилась сполна.
Я ступил на ясную дорогу,
Дочка вышла замуж
И жена
Тоже вышла замуж,
Слава Богу!

Неожиданный, взрывной эффект в конце строфы построен по законам трагикомедии! Это как бы по-чаплински комически отозвавшееся эхо пушкинской молитвы: «Как дай вам Бог любимой быть другим», но только после того уже, как «любовная лодка разбилась о быт».

Старшинов часто выступал. Его прекрасно принимала публика. Подкупала его доверительная, демократичная манера чтения стихов, общения с залом. И невольно думалось, что вот есть поэты, о которых критика пишет обильно, а знают этих поэтов лишь окололитературные круги. О Старшинове же, к сожалению, написано не так много, но его знают всюду, у него есть своя аудитория, верная ему. Хоть горько сознавать, что серьёзно критикой он так и не прочитан. Правда, непростительный и несправедливый этот пробел частично восполнен в книге о нём, которую с проникновением в суть старшиновской поэзии и судьбы написал критик Владимир Коробов.

На творческих вечерах поэта всегда было немало выступающих. Как правило, это его товарищи по поколению, близкие друзья-поэты, ученики. Но жаль, что в своих речах многие из них всё больше сбивались на байки о Старшинове, на рассказы о нём, как о весёлом человеке, о рыбаке, игроке «в дурака», об этаком добрячке, «рубахе-парне». Подозреваю, что даже из них не все по-настоящему понимали истинное значение Старшинова в нашей поэзии. А ведь он один из самых разнообразных, ярких русских поэтов. В его творчестве органично сочетаются и песенное начало, и болевое, совестливое отношение к женщине, к Родине, и чистота, и грустная нота… В том и своеобразие этого голоса, что в нём отражена вся полнота жизни, а не какая-то одна, пусть и привлекательная черта.

Тот, кто знаком с его воспоминаниями «Что было, то было…», кто читал книгу статей Старшинова «Памятный урок», кто знает его работы о Блоке, Некрасове, Мартынове, тот открыл в нём для себя умного собеседника, тонкого ценителя искусства, человека большой культуры и безупречного вкуса.

Стали уже легендой доброта Старшинова и его готовность помочь другим. Скольким людям он был нужен! Помню, как в последние месяцы и даже дни своей жизни ему звонили Сергей Марков, Николай Глазков, Леонид Мартынов!.. Он был им необходим, он согревал их своим участием, своей добротой. Разных поэтов, разных школ и направлений принимал он, даже неблизких ему. А сколько сил и энергии отдавал он молодой поэзии!.. Он составил первую в нашей стране антологию молодых поэтов, в которую вошло боле двухсот авторов! Для отбора стихов в неё ему пришлось прочитать свыше трёхсот книг, не менее ста рукописей. Это о нём сказал один из молодых поэтов, что если будет открыт новый Пушкин, которого все так ждут, то откроет его именно Николай Старшинов! Не знаю, как насчёт нового Пушкина, но, думается мне, Старшинов всей своей жизнью, всем своим творчеством, всей своей эстетической открытостью создавал в молодой литературе такую ситуацию, которая если и не открывает, то, во всяком случае, подготавливает появление большого поэта, целой плеяды поэтов…

Было бы неверно представлять его облик сусальным. Он-то знал: сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют… Но горьким быть не боялся. Со своими противниками (а они у него были) он воевал бескомпромиссно: выступал на собраниях, на съездах писателей, в любой аудитории, добиваясь утверждения правоты.

Были у Старшинова и свои пристрастия, привязанности. Ничто человеческое ему не было чуждо, и в чём-то он был не просто последователен, а, честно говоря, фанатичен. Но это не загораживало от него жизни и работы самых разных поэтов…

Могло показаться, коль уж он окружён таким количеством товарищей, друзей, знакомых, то и ощущает себя, как дерево в лесу, что жизнь его безоблачна! Увы, знал он и разочарования, и неудачи, и поражения терпел! Порою находились среди его друзей и отрекавшиеся от него. Видел я и письма к нему одного обюрократившегося его давнего друга. Эволюция этих писем или, точнее, служебных записок поучительна. Поначалу шли обращения к Старшинову-другу просто: «Коленька!..» Затем: «Николай Константинович!» Далее, по мере служебной зависимости одного от другого: «Тов. Старшинову. Оч. сроч.!» Я замечал в Николае Константиновиче и чувство обиды и огорчение, но больше всё-таки (и в этом весь Старшинов!) чувство досады, что человек в общем талантливый, зарвался, самовознёсся в те «облаце», откуда и падать больно и где от бывшего таланта остаётся одна лишь жалкая претензия!..

Старшинов когда-то написал: «Какое лицо у поэта?.. // Оно быть прекрасным должно». В полной мере эти слова относятся и к самому Старшинову, который своими стихами, выступлениями в печати боролся за прекрасное в жизни и в литературе.

Окидывая взглядом жизненный и творческий путь Николая Старшинова, думая о судьбе и таланте этого человека, стоит вспомнить слова Николая Лескова, сказанные им когда-то о Льве Толстом: «Хвалить не нужно, а нужно вести с ним одну и ту же «работу совести».



Евгений СТЕПАНОВ,
Москва



ГЕОРГИЙ ИВАНОВ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Я немощен и нем, и силы нет в глазах.
А всё-таки зачем и боль, и страх, и прах?

А всё-таки за что такая канитель?
Я ставлю рупь за сто, что жизнь не карамель.

Судьба моя строга, дела невелики.
Останется строка. Возможно, две строки.

Событий череда… И незаметен след.
А всё-таки куда я шёл так много лет?

В БАНДИТСКОМ ЭТОМ МИРЕ

Бандитского туза
Бандитские порядки.
Бандитские глаза
В бандитской броской рамке.

Бандитская судьба
В бандитском сериале.
Бандитская пальба.
Мы все её слыхали.

Бандитские спецы
По части лохотрона.
Бандитские певцы
Бандитского шансона.

…Бандитский пьяный хит
Звучит в моей квартире.
Видать, и я бандит
В бандитском этом мире.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН

И будет богаче богатый,
Гребя вороватой лопатой
Кровавые пачки банкнот.
А бедный — бедняга — умрёт.

Но бедный мгновенно воскреснет.
Богатый от зависти треснет.
Богатый — бедняга — умрёт.
А жизни продолжится ход.

А кто же останется? Кто же?
Останутся те, кто моложе.
Попасть нежелательно в плен
Эпохи крутых перемен.

РАСТЕНИЕ

Смерть — такая ловкая лазутчица.
И рубает шашкой, как Чапай.
На земле остаться не получится,
Сколько здесь квартир ни покупай!

Жизнь — такое хрупкое растение,
Но растёт, не помня про недуг.
Становясь и старше, и смиреннее,
Я смотрю восторженней вокруг.

ЗИМА

У зимы затянулся жестокий забег.
Сумасшедший, безжалостный мартовский
снег
Закрывает ресницы московским прохожим.
Что-то скрыть иль укрыть он желает, похоже.
Он метёт день-деньской, он метёт и метёт.
Лишь один необычный, седой пешеход
Не страдает от снежного круговорота.
Потому что прожил лет, наверно, пятьсот,
Потому что изведал нездешнее что-то.

ТЫ

Глаза — ладони — свет — тепло.
Тепло, которое спасло
меня от чёрной стужи
и от чего похуже.

Ладони — свет — тепло — глаза.
Любовь, которая
вершится после смерти.
Хоть верьте — хоть не верьте.

СРЕДИ БУМАГ И ХВОРЕЙ

Я — в мыслях — далеко удрал,
Гоним Москвою-зоной.
О, Юра, — Ра — ура — Урал —
Казарин озарённый.

А — в жизни — я остался тут —
Среди бумаг и хворей.
И кошки на душе скребут,
И нужен санаторий.

ДИАЛОГ

А что ты умеешь? Умею упрямо,
Смеясь, неизвестной тропою идти,
Клонировать мир по стихам Мандельштама
И сердце своё не держать взаперти.

А что ты имеешь? Имею тетрадку,
Блокнот, бутерброд и простой карандаш.
…А чтоб разгадать жизни-смерти загадку,
Не нужен какой-то громоздкий багаж.

РАЙОН

Нет места, наверное, более странного.
Здесь редок обычный, простой человек.
В соседних домах жили Галич, Русланова,
Гайдай, Ахмадулина, Симонов, Бек…

Я прибыл сюда самозванцем непрошеным,
Прижился — такой непонятный кульбит.
…А время летит хищным, сумрачным
коршуном.
А время для всех беспощадно летит.



Наталья СТРУЧКОВА,
Кстово,
Нижегородская обл.

ПОРТРЕТ

Детали, детали, детали —
Штрихи на её портрете.
Вы эти черты писали,
Вы образом жили этим.
И вам иногда казалось,
Что девушка в сарафане
Невольно руки касалась
И вас уже не обманет.
И было бескрайним поле,
Текло бесконечно лето,
Душа ожила на воле,
По шляпке струилась лента.
Июльских цветов букетик…
А вы рассмотрели только,
Хоть были за всё в ответе,
Что свойство иного толка
Сокрыто её улыбкой,
Кокетливой и печальной,
А воздух качнулся зыбко,
И тайна осталась тайной.

ОДУВАНЧИКИ

Одуванчики. Эх, одуванчики!
Ветер дунет — уже не видны.
Это девочки наши и мальчики,
Улетающие из страны.
Их мечты и надежды сбываются,
К новой пристани всякий привык…
И легко от корней отрываются,
И легко забывают язык.
Манят страны заморские разные,
Где от солнышка больше тепла.
Я понять попыталась их разумом,
Только сердцем понять не смогла.
Степь да степь, но раздольная русская,
Бесконечны глубоки снега.
Деревеньки, где семечки лузгают,
Где душа, как река, широка.
Степь ждала прорастания семени,
Но чужие их звали огни,
Разом ставшие искушением,
Разделившим на «мы» и «они».
Это мы, рубежей не сдающие!
Мы, не знавшие многих щедрот,
Милосердные, шумные, пьющие —
Мы — не сломленный русский народ

На деревне с её огородами.
Мы, уставшие ждать перемен…
Кто они, потерявшие Родину?
Что они получили взамен?

Одуванчики. Эх, одуванчики!
Ветер дунет — уже не видны —
Это девочки наши и мальчики,
Улетевшие из страны.



Степан СУЛТАНОВ, Москва

***

В квартире у меня есть стол и стул,
Окно, тарелки, сломанный будильник.
Сомнамбулический скрипучий гул
На кухне источает холодильник.

В прямоугольном дворике февраль.
Летает сор. Сугробы убывают.
Горит желтушным яблоком фонарь
И тени по асфальту проплывают.

Играет где-то тихий саксофон
Субботнюю бессмысленную грусть.
Я, кажется, попал в свой старый сон —
Вот-вот проснусь.

***

Луна плывёт, как белая гондола,
Из камня высечен архангел Михаил.
Толпа ждала. Монах Савонарола
На площадь с проповедью выходил.

Он говорил толпе: «Я свет закона.
Я вижу тьму — и наступает срок:
Ваш Рим умрёт в пороках Вавилона.
Услышьте же меня — я ваш пророк».

Луна над площадью побагровела,
Костёр потрескивал, как узловатый кнут.
Савонарола смолк — толпа взревела:
Его на виселицу волокут.

ТОЛЬКО ВОДА

Сорок первый день великого потопа,
Дождь остановился, слабый ветер
Задевает гребни тонких волн,
И сбивает пену.

Овцы молча смотрят в тихие глубины,
Холодает, наступает вечер,
Спит под палубой огромный вол,
Мокрые ступени.

Время думать, спать, плести корзины,
Слушать плеск воды и скрип ковчега,
И пасутся пасмурные рыбы
На вершинах мира.

ПЕШЕХОД

Вот солнце закоптилось на ветру,
И драхма прячется на дне трубопровода,
А я рассматриваю жабры февраля
На чердаках Никитского бульвара.

Дорога приведёт в Замоскворечье,
Орех растёт под сводчатым окном,
Читаю детям хроники востока,
И льдины проплывают по реке.

Сугробы, площади, приюты, кабаки,
Вокзалы, холодильники, жилища,
Всё тонет в темноте столичной ночи,
И ночь Земли сливается с вселенной.



[ЮБИЛЕЙ]

АЛЕКСЕЮ СУРКОВУ

(120 лет)

Геннадий Красников

ЖИТИЕ АЛЕКСЕЯ, ЧЕЛОВЕКА… СОВЕТСКОГО

Не издевательства, а исторической правды ради, можно было бы без всякой натяжки назвать Алексея Александровича Суркова живым воплощением прозы Андрея Платонова, одним из персонажей того же «Чевенгура». Там почти на всякой странице отыщутся слова, которые могли бы стать эпиграфом к его жизни. Взять хотя бы высказывание «уполномоченного волревкома» Игнатия Мошонкова, переименовавшего себя «в целях самоусовершенствования» в Фёдора Достоевского: «Даю социализм! Ещё рожь не поспеет, а социализм будет готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? Это я по социализму скучал». Причём, в отличие от литературных двойников, реальная судьба Алексея Суркова являет собой абсолютную полноту и завершённость (даже в посмертном своём продолжении), на которую у Платонова для дальнейшего описания не хватило уже ни времени, ни могучей фантазии. И эта полнота, опять же говорю без иронии, не есть некая законченность и цельность какого-то порока, каких-то отдельных качеств или ущербности людей определённой эпохи, но включает в себя всё лучшее и худшее, что вообще составляет суть каждого человека, и лишь имеет перевес, сбой нравственного центра тяжести в ту или иную сторону в зависимости от востребованности временем и обстоятельствами тех или иных душевных наклонностей. Как говорил Оптинский старец, преподобный Амвросий: «Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это, может быть, потому, что не имели к тому случая, — обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе, мы же обыкновенно видим в людях только пороки…».

Алексей Сурков любил называть себя в своих стихах «ровесником века». И он действительно прошёл с двадцатым веком бóльшую часть исторического пути, в чём-то отразив его, в чём-то сам став его отражением. Вот почему поэзия и судьба Суркова представляют

интерес не только как литературный факт, но и как социально-психологический феномен своего времени. Времени, главная диалектика которого сводилась к грубой примитивной схеме: из грязи — в князи, из князей — в грязь.

Кто бы мог предположить, что родившийся в Ярославской деревне Середнёво в семье бедного крестьянина простой парнишка станет по прошествии лет не только известным поэтом, но и крупным писательским чиновником, государственным деятелем. Никаких особых знаков и благодатных знамений, указующих на его будущий избраннический удел, над ним не воссияло. Правда, какая-то чудна́я странность («чевенгурского» окраса!) промелькнула обещанием чего-то неожиданного в имени сурковского прадеда, которого, один Бог знает с какой стати, почему-то звали Помпеем, а бабки поэта ходили на барщину к господам, среди которых, впрочем, был и некто Миха́лков, по-видимому один из дальних родственников будущего автора гимна Советского Союза и коллеги самого Алексея Александровича по секретарской деятельности на вершине писательской власти.

Сурков был, говоря языком его ровесника, Николая Тихонова, из поколения «праздничных, весёлых, бесноватых». Он не просто участвовал в Гражданской войне, он громил своих же собратьев, обезумевших от голода и насилия восставших крестьян в Тамбовской губернии, которых он называл «кулацкими бандами Антонова» и которых командующий карательными войсками Тухачевский усмирял в соответствии со своим указом следующим образом: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, рассчитывать так, чтобы облако удушливых газов распространилось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось».

Об этих, пришедших в литературу из Гражданской войны, «изнутри революции», авторах, Сурков со всею большевистской прямотой скажет в своей небезызвестной речи на Первом съезде писателей, что для них, а, значит, и для него, «вопрос о прощании с прошлым… никогда не стоял». Иными словами, он без колебаний и тени смущения признаёт, что в литературу и в жизнь ворвались люди без прошлого, без памяти, без культуры, без языка, без роду и племени.

Это выпадение из истории, изобретение новой истории и нового языка гениально почувствовал другой современник Суркова, тоже закольцевавший своим юбилеем двадцатый век, Андрей Платонов, фактически ощутивший современную историю, как историю дважды падшего мира: первый раз при Адаме, второй — при большевиках. Если сотворение мира зиждилось на том, что в начале было Слово, то сотворение нового мира зиждилось на том, что в начале было… отнято Слово. «Как такие слова называются, которые непонятны?» — спрашивает один из героев «Чевенгура». — «Тернии иль нет?» — «Термины», — кратко отвечает Дванов». «Тернии, конечно же, тернии!..» — повторим мы вслед за великим печальником русского слова, до сих пор не избыв их роковой власти («Не так страшен чёрт, как его малютки!»), продолжая жить уже не только по «терминам», но и «по понятиям» «чевенгурской» дурной бесконечности…

Приход в литературу Сурковых, Жаровых, Уткиных, Безыменских, Алтаузенов, Тихоновых, Долматовских… — назывался «большим подъёмом творческой самодеятельности масс». Поскольку природа не терпит пустоты, в освободившуюся после деморализованной, разогнанной, уничтоженной интеллигенции нишу, хлынула здоровая, не изъеденная сомнениями и рефлексией сила, молодая кровь наглости неведения (у наглости кровь — всегда молодая и напористая!).

Первые стихи Алексея Суркова появились в 1918 году в «Красной газете», когда ещё в полном расцвете творческих устремлений были Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб… Но уже через несколько лет, «политбоец Алёша Сурков», как его называли, заговорит на языке, который Платонову даже не надо было выдумывать, нужно было лишь прислушаться к таким «политбойцам», поучающим с высокой трибуны несознательных интеллигентов: «Поэтические возможности находятся в прямой зависимости от степени смелости перевода на новую вышку виденья

мира». И всё бы ничего, Бог с ней, забылась бы или стала анекдотом эта «новая вышка виденья мира», простительная для вчерашнего крестьянского паренька, явно не тянущего на роль нового Лессинга, создающего свою революционную эстетику. Так нет, на пятки наступают критики, подбадривают, поощряют. «С самых первых своих шагов А. Сурков, — пишет О. Резник, автор монографии о поэте, — занял наступательную позицию против эстетских гладкописцев, любителей „изящного виршеплетения“, тех самых, которых не раз крепко бил, но не добил при жизни Маяковский».

Но если всё же соблазнится поэт «недобитым» «изящным виршеплетением», и выдаст что-нибудь, вроде:

Сядь со мной, мой ненаглядный, рядом,
Покажи мне серые глаза… —

как уже бдительный Резник напоминает ему об идеологической чистоте: «ахматовское здесь не только в надрывной интонации, но и в назойливой сероглазости…», неожиданно устанавливающей лирическое «родство» советского сурковского моряка с ахматовским «сероглазым королем». Вот те на! «Назойливая сероглазость», надо понимать, это какая-то классовая противоположность «новой вышке видения мира»!

На Первом съезде советских писателей в 1934 году подзаматеревший Алексей Сурков бросается в бой — ни много, ни мало — с самим Бухариным (по сути, с Партией!), вступая в полемику с его докладом по поэзии, где тот противопоставлял гражданской линии Маяковского, как отжившей, выполнившей свою задачу, камерность и аполитичность поэзии Пастернака. «Давайте не будем размагничивать молодое красногвардейское сердце нашей хорошей молодёжи, — говорил, словно зачитывая платоновскую прозу, Сурков, — лирической водой… Будем держать лирический порох сухим!» И читатель с удовлетворением мог от книги к книге убеждаться в «сухости пороха» самого поэта:

Ой ты, песня, путь, пройдённый
В строгом шелесте знамён!
На крылечко встань, Будённый,
Свет Михайлович, Семён…

А любимая о ту пору отправляющемуся в поход другу:

…На кисете, на добро и на беду,
Алым шёлком шила-вышила звезду.
Шила-вышила удалой голове
Серп и молот алым шёлком по канве…

Наверное, имея в виду такого рода образцы, О. Резник, в частности, приходил к вдохновляющему выводу: «К началу тридцатых годов, когда стали выходить первые сборники стихов А. Суркова, социалистический реализм уже одержал значительную победу».

Сегодня уже невозможно понять, до какого момента Алексей Сурков искренно верил в то, о чём говорил в своих идеологических стихах. Единственный объективный критерий «неискренности» — это явные провалы в пародийность его якобы гражданственных и публицистических стихов, типа:

Я в жизни объехал много стран
Англию видел, видел Иран…

Или:

В нашей стране над стихами и песнями
Властвует высший свободы закон…

Но нельзя не признать, что Сурков умел весьма лихо «закручивать» свои идеологические творения. Достаточно вспомнить хотя бы его знаменитую «Песню смелых», которую без задних мыслей, от чистого сердца, распевала вся страна:

Стелются чёрные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.

С бандой фашистов сразиться
зовёт.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт.

Жанр песни вообще удавался Суркову. Его «Конармейская» стала классикой в музыкальной истории Гражданской войны:

По военной дороге
Шёл в и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали в поход…

За свою долгую жизнь Алексей Александрович выпустил несколько десятков сборников стихотворений, за которые получал ордена, Государственные премии, а в 1969-м даже стал Героем Социалистического Труда. Он был депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР, секретарем Союза писателей СССР, избирался членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (1952–1956), кандидатом в члены ЦК КПСС (1956–1966). И ничего удивительного в том, что власть пригревает верных ей подданных, нет. Гаврила Романович Державин тоже, как известно, получил от Екатерины II табакерку с червонцами за её прославление в оде «Фелица», а потом получал от неё чины. С тою лишь разницей, что со времён Державина мало кто мог, как он, «истину царям с улыбкой говорить». И не нашлось у нас своего Андре Шенье, который, по-началу поверив в народный энтузиазм и «в обновление человечества, достойное благ Свободы», всё же сумел разглядеть звериный оскал революции и ценою собственной жизни бросить ей свою анафему.

Но, вчитываясь в лучшие стихи Суркова, зная многие его человеческие поступки (отнюдь не правоверные), обнаруживаешь честные уголки поэтического сердца и даже гибкость недогматических мыслей. Всё-таки его «генеральское» предисловие способствовало выходу наиболее полного по времени 1976 года собрания стихов Анны Ахматовой в большой серии «Библиотеки поэта», где он называл Ахматову «выдающейся русской поэтессой». Правда, прежде было у него и весьма знаменательное послесловие к одному из её сборников стихотворений, где он с элегантностью слона в посудной лавке обронил фразу о том, что «у Ахматовой не хватило ума»… После такого «послесловия» у Анны Андреевны был сильнейший сердечный приступ…

И всё же, именно Сурков помог О. Мандельштаму, когда тот приехал в Москву из Воронежа, не имея средств к существованию.

Необходимо вспомнить и эпизод (бесстрашный по меркам тех времён!), когда он встретился и морально поддержал тайно приехавших в Москву из ссылки (высылки) кавказских поэтов Джемалдина Яндиева и Кайсына Кулиева, с которыми, кроме него, никто не решился увидеться.

Не найти имени Алексея Суркова и среди тех, кто на общемосковском собрании писателей в 1958 году громил Бориса Пастернака. Даже среди не выступивших, но записавшихся в прениях, Суркова нет. Хотя в былые времена он не раз вступал в идеологическую и эстетическую схватку с ним, правда, одностороннюю. Можно быть уверенным, что он до конца жизни считал, как остроумно высказался однажды, что Пастернак «заманивает вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты».

Читая стихи молодого А. Суркова, особенно его военные циклы (а он участник трёх войн — Гражданской, зимней компании 1939–1940 года и Великой Отечественной), убеждаешься, что в нём были задатки большого поэта. У него сильная, энергичная строка, наполненная воздухом революционного романтизма. Он прекрасно чувствует новую языковую стихию. Но главное его качество, с годами, к сожалению, утраченное, задавленное риторикой, — это нефальшивый лирический голос и свободная, по высшему счёту поэтическая интонация. Только истинный поэт может начать стихотворение такой удивительной строкой: «В смертномознобе под ветром трепещет осина…», и далее:

Ворон-могильщик, от пепла горячего серый,
Падает в чёрную ночь с обгорелых ворот…

Но что Суркову эти трагические суровые стихи, когда уже вся страна поёт его «Конармейскую», «Песню смелых», когда он не по дням, а часам вырастает в крупного общественного деятеля. И всё же, ему ещё предстоит неподкупное творческое счастье. Он ещё напишет лучшие свои стихи о войне: «Курганами славы покрыта родная равнина», «Человек склонился над водой», «Застольную песню» и одно из самых пронзительных стихотворений «Видно, выписал писарь мне дальний билет…», звучащее как исповедь его поколения:

Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила у смерти меня.
Испытало нас время свинцом и огнём.
Стали нервы железу под стать…

И, конечно же, среди этих шедевров — «Бьётся в тесной печурке огонь», стихи, ставшие фактически народной песней на все времена. Может быть, эту песню навсегда запомнили ещё и потому, что в ней Алексей Сурков, обращаясь к любимой женщине, высказал своё самое тайное, что всю жизнь носил в себе, но в чём никому не мог признаться:

Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой…

Но этот живой, тоскующий (о чём? о напрасно растраченном даре? о добровольном беспамятстве и отказе от собственного прошлого?..) голос всё реже давал о себе знать в бесцветных, становящихся с годами окончательно мёртвыми стихах…

Есть какая-то мистическая тайна о возмездии ли, о справедливости ли судьбы в том, что всё окружавшее поэта в детстве, все деревни вокруг Середнёва, всё родное и знакомое, где родился и рос Сурков, исчезли бесследно с лица земли, ушли на дно Рыбинского водохранилища, хотя Середнёво всё-таки каким-то чудом уцелело. Поэт с огорчением напишет об этом в стихах «Мир детства моего на дне морском исчез…» и назовёт утраченное «деревенской Атлантидой». Но не сам ли он отказался от прошлого? И прошлое отомстило ему. А Атлантидой, увы, оказалась эпоха, которой он так долго и верно служил. Под воду времени ушли лозунги, идеи, победы и трагедии, и самого его вместе с его поэзией, с тоской по социализму и титулами затягивает и затягивает на дно. И лишь зацепившееся за край оползающего берега Середнёво напоминает, что появился там когда-то на свет человек с живым и тоскующим голосом.



Светлана СЫРНЕВА,
Киров

ОСЕНЬ

Как будто из земли взошла
и за ночь выросла неслышно —
один лишь раз она была,
лишь раз такая осень вышла.

Она возникла в пустоте
первоначального творенья
в своей нежданной красоте,
в своём небесном озаренье.

И старый домик, и крыльцо,
и доски старого причала
она взяла в своё кольцо
и никуда не выпускала.

О, в жар твоих багряных плит,
в подножье рощи златокрылой
студёный воздух крепко влит
и остановлен высшей силой!

И в этой строгой тишине
безмолвная, стояла школа,
и в книгах открывалась мне
вся правда русского глагола.

Таков он был, хрустальный свет
невозвратимого начала.
И было мне тринадцать лет,
и я о жизни много знала.

И здесь, в теснине под горой,
перед водою студеною
всех лет грядущих длинный строй
вдруг развернулся предо мною.

Звени, звени, моя струна,
гори, свеча, не догорая!
Восходит на небо луна
из дальнего, чужого края.

Но в день творения седьмой
оцепенеют, встанут реки.
И осень встретится с зимой,
и растворится в ней навеки.

ТРАМВАЙ ЖИВАГО

В тридцать лет мы не знаем, когда мы умрём,
нам не стыдно слоняться без дела.
И в зените над городом, над пустырём
неподвижное солнце висело.

Поднебесное облачко бросило тень —
и опять безмятежна природа.
Как медлительно, сладостно тянется день,
весь июль девяностого года!

Будут август, октябрь. И уже не шутя,
с удивленьем, с восторгом, с тоскою
ты насмотришься туч, дорогое дитя,
ты увидишь ещё не такое!

Твой зенит приходился на самый канун,
ты обратно не сможешь вернуться —
лирик, физик, философ, мятежный вещун,
жертва русских своих революций.

И уже погрузились в глубокий склероз
ураганные чёрные годы.
И не всё ли равно, кто в осколки разнёс
недопитую чашу свободы!

Ты пройдёшь, и тебя не узнают в лицо,
ты и сам никого не узнаешь.
Как во сне, обручальное наше кольцо
на мешок овощей поменяешь.

Донным илом покрыты колонны и львы,
перепрели перо и бумага.
Ничего не прося, не подняв головы,
ты проедешь в трамвае Живаго.

Из космических, дальних, нездешних времён
звёздный свет, не дойдя, замирает.
И безмолвно на твой летаргический сон
многомудрая вечность взирает.

ГОЛОС КУКУШКИ

В. М.

Как на заре из небесных песочных часов
свет прибывает и копится тихо на дне —
сквозь оплетенье берёз и провалы лесов
голос кукушки в росистой сквозит тишине.

Из средоточья ветвей, из глубин неизведанных тех,
из палестин, где не знают ни горя, ни зла,
голос кукушки доходит, не зная помех,
словно природа свой вещий язык обрела.

Из сердцевины миров, упорядочив хаос больной,
из средостенья Вселенной, на чистом дыханье одном
голос кукушки скользит по равнине земной —
твой золотой, безошибочный твой метроном.

Из бесконечности в вечность летит, лишь на миг посетив,
лишь на минуту коснувшись житья твоего,
необъяснимый, бесхитростный этот мотив —
чистое, лёгкое жизни земной торжество.

Время и радость, сплетённые общим жгутом,
лишь по касательной тронут поверхность Земли
и улетят, растворившись в пространстве пустом,
в космосе тёмном, в безжизненной звёздной пыли.



Лариса ТАРАКАНОВА, Москва

УБОРЩИЦА

Его квартира на Кузнецком
Вещей таинственных полна.
Я прихожу сюда в простецком
Прикиде чёрного сукна.

Четыре раза на неделе
Перемываю этот ад —
Где на полу медведь распят
И в недрах скомканной постели
Следы кровавые помад.

Покуда мою эти стены,
Ковры таскаю, как щенят,
Из Люксембурга, Рима, Вены
Ему звонят, звонят, звонят!

Вот не доедено жаркое
И недопитое вино.
Никто не знает, как легко я
Всё это выброшу в окно,

Как обломаю эту лопасть
И на секундочку одну
В нас разделяющую пропасть
Всей безнадёжностью шагну.

…Запомнит вечер непогожий
Ненастья мокрые следы.
На подоконнике в прихожей
Пятнадцать евро.
За труды.

18 ЛЕТ

Кода мне было восемнадцать лет,
Я надевала юбку до колен
И затевала свой оставить след
В календаре всемирных перемен.

Но в тридцать лет мне стало нелегко:
В семейный круг рванувшись очертя,
Поднаторела делать молоко
Для воспитанья крепкого дитя.

А в сорок лет увидела во сне:
Прекрасный принц склонился надо мной
И умоляет стать его женой…
Ошибся дверью. Это не ко мне.

А в пятьдесят, о горе, в пятьдесят
Одной иерихонскою трубой
Испуганные жёны голосят,
Ужасно недовольные собой.

Ещё не всё в сумятице земной
Уносят вдаль живые облака,
И входит день, и ставит предо мной
Янтарный мёд и чашку молока.

И в ожиданье славных перемен
Всё ж выбираю юбку до колен
И помышляю свой оставить след
В календаре всемирных перемен.

ГРАНИЦА

Мальчик и девочка
дружно ломают лепёшку,
Утки слетаются с двух берегов
на кормёжку.
Справа Германия.

Польша по левую руку.
Утки летят, доверяя
призывному звуку.

Где вам просторней, спросили
у них ради шутки,
Где вам теплее, весёлые
шумные утки?
Нам всё равно, у какого
обедать причала.
Лишь бы холодных штыков
над водой не торчало.

ГОЛУБЬ

Сколько голубю в небе ни виться,
Надо в дом прилететь, предъявиться:
Вот он я! Никуда не поделся.
Полетал. Посвистал. Повертелся.

В небесах наверху хорошо так —
Ни зверей, ни дверей, ни решёток.
Тишина! И до Господа близко.
И пропасть ни малейшего риска.



Владимир ТЕПЛЯКОВ, Москва



***

День всё быстрее тает за окном.
И сердце всё внимательнее бьётся.
И не с кем с ветряными побороться.
И некому сказать: давай гульнём.

Ворон считаешь, а глядишь орлом.
И сеешь то, что мало кем пожнётся…
День держит паузу: ни плачет, ни смеётся.
Лишь потемнело — как перед дождём.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Небо меняется ежеминутно.
В нём оставляющий след — серебрист.
Близость грозы понимается смутно…
После дождя взгляд, как дерево, чист.

Видно становится всё, до мельчайших, —
Всё, что и так понималось не раз:
И подоплёка сочувственной фальши,
И поволока доверчивых глаз.

Правды — в иных доверительных всхлипах,
Как в грозовых небесах — бирюзы…
Лишь на заплаканных клёнах и липах
Нет ни единой фальшивой слезы.

МАРТ

Куда-то сгинул, чьи порывы злы,
кто накануне вёл себя настырно…
Не шелохнутся стройные стволы:
все как один стоят по стойке смирно.

Такая тишь, что слышен стук сердец
неутомимо шествующих мимо.
Весны внештатный, видимо, певец
уже о чём-то возвестил незримо.

Какой восторг! — на стыке двух времён
застыть невольно посреди смолистых
прямых стволов, невозмутимых крон,
когда ни ветерка, ни голосистых.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Беседую о том, чего не ведал.
Любуюсь тем, чего не замечал.
И тот пейзаж, что мне созвучий не дал,
Сам по себе иначе зазвучал.

Одно и то же — с каждым днём дороже.
От мест привычных — глаз не оторвать.
Привычны вороватые вельможи:
Других, похоже, неоткуда взять…

О чём бы ни молчали ежечасно,
И чем бы ни поддерживался дух
Всё больше понимаешь — жизнь прекрасна.
Всё меньше говоришь об этом вслух.

***

Все под Богом, все под боком
У прилипчивой беды.
Кто-то грезит о высоком…
Вместо Анненского с Блоком
Тонны изданной руды.

Жизнь кричит: «Гони монету!».
В свете видятся ином
Те, что выводили к свету…
Все нырнём однажды в Лету
И куда-то поплывём.



Анатолий ТЕПЛЯШИН,
Новотроицк, Оренбургская обл.

***

Шёпот. Робкое дыханье…
Афанасий Фет

Сквозь шёпот, робкое дыханье
и соловьиный перещёлк
вдруг прорывалось громыханье,
как будто шёл солдатский полк.
Стихом стыдили, поучали —
поэт взрывался, как трибун, —
стихом громили, обличали,
на битву звали и на бунт.
Ревел поэт, как лев спросонок.
Всё это видимость, поверь:
стих беззащитен, как ребёнок,
он не щетинится, как зверь.
Он — не приманка дикой страсти,
не двигатель добра и зла,
и не в его печальной власти
вершить насущные дела.
И если трогает он сердце,
то ненароком, исподволь,
как истина в устах младенца
порой приносит взрослым боль.
Уносит время громыханье,
и долетает сквозь века
всё то же робкое дыханье
незащищённого стиха.

***

У весенней у воды
далеко ли до беды.

Разлилась она стремглав,
как роман из сотни глав,
без начала и конца
и без главного лица.

Кто прочтёт, мечту тая,
эту книгу бытия?
Кто достигнет глубины?
Где тут явь и где тут сны…

Эта вешняя вода —
эта вечная беда.
Скрыты тёмные низины,
скрыта светлая гряда.

Где тут сходни, где причал,
Где тут радость, где печаль?
Жаль чего-то, а быть может,
ничего уже не жаль.

У весенней у воды
пропадут мои следы…

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

У деда не было часов —
по солнцу он вставал.
И двери в избу на засов
совсем не закрывал.

Чужой подковы не поднял —
хозяин подберёт.
На шило мыло не менял,
пусть даже был расчёт.

Зла на соседей не держал,
как на родных людей.
Здесь каждый всех с пелёнок знал
и до последних дней.

Как будто в райском уголке,
он жил в селе родном.
А в это время вдалеке
гремел вселенский гром.

На три войны его призвал
земной суровый Бог.
И вновь живого отпускал
в родимый уголок.

Шумели морем золотым
пшеница и овёс.
Вставал над берегом крутым
нетронутый покос.

Работы было ого-го
в том райском уголке.
Остались сверстники его
в далёком далеке.

Потом и старость подошла,
как зимняя страда.
Но повседневные дела
не делись никуда.

А вечером, стуча клюкой,
порой уже без сил,
он, как бессменный часовой,
Эдем свой обходил.

В обычный день ушёл мой дед,
растаял вдалеке.
И деда нет, и рая нет
в родимом уголке.

Скрипят сухие дерева,
гремит вороний грай.
И брезжит в сумраке едва
потерянный мой рай.



Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ, Нижний Новгород

***

Всё теперь закончилось. Едва ли
Я ещё когда-нибудь воскресну.
В разочарованьи и печали
Не найти нехоженого места.

В Сормове метельно, малолюдно.
Я брожу один по Юбилейке.
Вспоминаю, как в июле юном
Здесь мы целовались на скамейке.

Снег летит к земле по биссектрисе,
К катету «конструктор Алексеев».
Абрисом на фоне белых листьев
Вырастает фонарей аллея.

Пальцем опущу рольставни века,
Встану под надуманным предлогом.
Вижу в силуэте человека
Проблеском воссозданного Бога

(Как природу сущности в явлении),
В каждом нарисованном прохожем.
Вижу в ней. Она при рассмотрении
Вообще на ангела похожа.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Нашел её в серванте
Распухшую от пыли.
Ждала, когда захватят,
Надеялась… Забыли!

Открыл, — страницы в клетку,
Исписанные ручкой:
Фамилии, заметки,
Цифири закорючки.

До жути непонятный
Врачебный почерк деда,
Но всё-таки приятный,
Как скрип велосипеда.

Год нет его; от мрака
Нам никуда не деться.
Как варежка, бумага
Хранит тепло владельца.



Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН, Москва

***

Шёл сорок третий. У болота
Война в окопы залегла.
Как цепи вражеской пехоты,
На город наступала мгла.
И бомбы бахали. Белели
В сугробах декабря кресты.
Обозы. Баржи. Батареи.
Бараки. Беженцы. Бинты.
И до сих пор я слышу крики
За рубежом взрывной волны.
И надо мною, словно крылья,
Шуршат погоны старшины.
Лежу. Вокруг — яры крутые.
Охрипший оклик: «Хлопчик, цел?»
И слёзы матери скупые
На обмороженном лице.

Потом подводы нас качали,
Везя куда-то под Казань.
И стали от большой печали
У мамы —
чёрными глаза!
Уже какой по счёту город!
Нас письма ищут — не найдут…
Шёл сорок третий…
Очень скоро
Отца из бронзы отольют!..

СТАНЦИЯ МИНУТКА

Состав устал за сутки,
Смахнув железный пот…
Есть станция Минутка,
А за горой — курорт.
На солнце снег поджаристый.
Висят плакаты зорь.
Минуточку, пожалуйста,
Мне постоять позволь.
Уеду. Затоскую,
Меняя города…
Я тридцать лет впустую
Растрачивал года.
А жизнь летит ночами,
Пуская дым колец,
От станции Начало
До станции Конец!..

Пятигорск, 1971

ПЕТУХ

Третий год войны.
Снега
Вьюга закрутила…
На базаре петуха
Мать моя купила.
Объявила: «На завод
Можно и без валенок,
Но зато под Новый год —
Будет борщ наваристый!»
В нашей горнице давно
Голодно,
Не топлено.
Восемь душ. Одно окно.
Одеяло тонкое.
Так и жили.
Белых мух
Он клевал и кашу…
Инкубаторный петух —
Член семейства нашего.
На крыльце
скрипели
дни
В сапогах кирзовых…
Оставались мы одни
В комнате казённой.
Говорил ему слова,
Хвастался. Куда там!..
Мой петух,
как самовар,
На окне кудахтал.
У него был голос,
слух.
Перья ярко-красные…
Третий год войны.
Петух
Жил у нас до праздника.
Занавешивал наш дом
Сумрак,
словно шторы…
Он вставал.
Гремел ведром.
Пол
царапал
шпорами!
И в голодной тишине
Он стучался в ставенки.
Пел петух
назло
войне
На буфете стареньком.
У печи рыдала мать,
Двигала горшками.
Пел петух.
А старший брат
Нож вострил
о камень!..

***

Всё улетает! Ну и пусть.
И сад представится
оленем,
И сквозь кору
услышу пульс
Румяных
яблокобиений!
Ещё синё. Толпится лето
Дождём у водосточных труб..
Кропает сторож заявленье,
Чтоб
выдали ему тулуп!
И, распахнув подвал,
мгновенно
Седеют, ахнув, мудрецы:
Ведь на жилплощадь Диогена
Вселились нагло огурцы!

***

До чего же синий вечер
За околицей.
До чего же сильный ветер —
Платья
ко-локо-лятся!
А река,
река
волниста,
Как меха у гармониста!



Виктор ТИХОМИРОВ-ТИХВИНСКИЙ, Санкт-Петербург

ЧАГА

Заварю в кастрюльке чагу,
Погашу весь свет в избе
И на тень луны прилягу,
С сахарочком на губе.
Жёлтый куст в окне маячит,
Освещаемый луной,
А у рощи тихо плачет
Путник с ангельской душой.
Заходи в мой дом. Открыта
Дверь для всех. В полночный час
Тишина плющом обвита
И звезда, как рыбий глаз.
Деревенская, столичной
Жизни, лучше… Как хочу,
Помолчу о чём-то личном,
Не о личном, помолчу.
И побаловавшись чаем,
Что от чаги тьмы черней,
Самый лучший сон включаю,
Без реклам и новостей.

ВОКЗАЛ

Здесь радости было немало.
Здесь грусти хватало с лихвой.
Знакомое тело вокзала
Пахнуло перронной тоской.
Здесь время, как будто на страже,
Моих рубежей и твоих,
И, кажется, прошлое даже
Поделено здесь на двоих.



Дарья ТИШАКОВА,
Оренбург

ДИДЖИТАЛ ДЕТОКС

Я объявляю диджитал детокс,
информационное голодание.
Эти иностранные слова
звучат на русском странно.
Сказать проще —
я устала от интернета и гаджетов.
Сознание забито ненужной информацией,
принесённой из социальных сетей:
Аня сегодня была в кафе,
Паша расстался с Таней,
Маша выкладывает фото своего кота.
Кот подрос.
Ну а мы только стареем
и не замечаем,
как бездарно проходит наше время,
наша молодость.
Ее украли социальные сети,
которые мы регулярно проверяем.
Нам некогда жить в реальности.
Мы живем в интернете.

ФОТОСЕТ

Накопи три тысячи
и сходи на фотосессию —
будет что поставить на аватар
в социальных сетях.
Если нет платья,
дадут на прокат,
а также причешут и накрасят —
за отдельную плату.
Вот и готовы фоточки.
Не похожа на себя?
Плевать! Главное, что красиво.
Никогда не бываешь такой в жизни?
Тоже плевать.
Ведь в интернете
встречаешься с друзьями чаще,
и именно там важно
выглядеть хорошо.

***

В нашем детстве
было меньше машин,
были больше палисадники.
В них зеленели кусты
и расцветали мальвы.
Их сажали бабушки,
живущие на первых этажах.
Старушки ругались,
когда из цветов мы делали
кукол
и селили их
в густых кустах.
Там был целый мир
со своей кукольной жизнью
из природных материалов.
Палисадники были зеленее
и фантазия была богаче.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Николаю ТРЯПКИНУ

(100 лет)

Сергей КУНЯЕВ

«МОЙ НЕИЗБЫВНЫЙ ВЕРТОГРАД...» (ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

В подмосковном Реутове в небольшой квартирке я сидел напротив Николая Ивановича Тряпкина, который читал мою статью о его книге избранных стихов, незадолго до этого вышедшей в «Молодой гвардии».

Время от времени он чему-то улыбался про себя, поднимал на меня наполненные прозрачной голубизной глаза, снова углублялся в чтение, потом прерывистым заикающимся голосом просил прочесть вслух то или иное место. Я читал, а он вслушивался, погрузившись во что-то своё, останавливал меня, давал пояснения, благодарил за найденное точное слово... Ободрённый его благожелательным вниманием, я попросил прочитать несколько стихотворений вслух.

— Я н-н-не ум-м-мею ч-чи-итать. Я п-пою-ю-у.

И дальше началось чудо. Послышался распев, переходящий в речитатив, в котором не было ни малейшего голосового сбоя. Плеск воды, шум листвы, шёпот земли слышались в этом распеве, напоённом глубинной энергетикой почвы и космоса, завораживающем, погружающем в таинственные глубины бытия.

За мосты, что мы позамостили,
За весёлый сон в родном краю
Поклоняюсь всем соцветьям лилий
И всему, что знаю и люблю.

Поклоняюсь вам, поля и веси,
За непышный мой и добрый кров.
За вечерний сумрак перелесиц,
За полночный ропот проводов.

А ещё за то, что нас — растили,
А ещё за то, что мы — росли
И великий свет своих воскрылий
По земным дорогам пронесли.

Он пел и только что написанную «Литанию», и старое «Суматошные скрипы ракит…», и наконец прозвучал знаменитый «Стих о Николае Клюеве». И чем дальше, тем больше нарастало ощущение лишь поверхностного прикосновения к таинственному материку, вырастающему на моих глазах.

Хотелось слушать ещё и ещё, впитывая в себя каждую ноту… Тряпкин остановился, светло заулыбался, приспустил веки.

— Н-ну, в-в-всё-ё. П-подожд-дите-е-е, я в-вам п-прин-н-несу…

Он вынес несколько страниц машинописи. Это были недавно написанные стихи, которые ни при какой погоде в то время не могли пойти в печать. Среди них были «Песнь о российском храме», «Стенания у развалин Сиона», «Молчи, Иеремия!..», «Обращение неофита к народу у дверей первого христианского храма».

— В-возьм-м-мите себ-бе. Почит-тайте-е-е.

Это было летом 1982 года.

…Потом были ещё встречи, уже в его московской квартире и в Доме литераторов, где я однажды с трудом уговорил его напеть несколько стихотворений для записи на магнитофонную плёнку… Но та, первая встреча ярче всего вспоминается по сей день.

***

Два поэта, два ровесника, с совершенно разными судьбами уже на склоне лет, вспоминая начало своей земной жизни, словно вступили друг с другом в заочный непримиримый спор.

Эти строки принадлежат Ивану Елагину.

Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой,
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,
Что я вытянул жребий удачный и славный… Постой —
Я родился под красно-зловещей звездой государства.

Я родился под острым присмотром начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного «яблочка» пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.

И совершенно иное — не воспоминание, ощущение — «великого и страшного» восемнадцатого года у Николая Тряпкина.

Ах, не свет исторгает глина,
И не с громом сходится гром, —
То отец повстречался с сыном,
То расплакались сын с отцом…

Не припомню, что дальше было,
Только чую в своей крови:
Вся земля ходуном ходила
От великой своей любви.

И сквозь тысячи Млечных светов
Проносился вселенский бал,
И гремело «За власть Советов»!
У истоков моих начал.

«Я родился при Советской власти, и другой не мыслю для себя», — писал позже Тряпкин, до конца осознавая цену как «великой любви», разлитой по мирозданью в период мирового катаклизма, так и зловещего света красной звезды, осветившей и его крестьянский род, и весь мир, «таинственный и древний», русской деревенской Ойкумены.

***

Николая Тряпкина нельзя назвать ни подражателем, ни покорным учеником. Он шёл своей дорогой десятилетия, почти на ощупь, испытывая и горечь не столь уж малочисленных неудач, и радость творческих побед, редких в начале, всё чаще и чаще посещавших его с годами. Он развивался и рос в течение полувека, медленно, неуклонно совершенствуя свой талант. Со временем то, что лишь отдельными штрихами проявляло себя и давало возможность говорить о Тряпкине как о наследнике Николая Клюева (не издававшегося в России с 1928 по 1977 год), обрело полновесное звучание. Но уже в тот период, когда стало ясно, что Тряпкин не ограничился поднятым и бережно сохранённым наследием, в его поэзии открылось новое дыхание, оборванное в период «канунов», вольная песня «крестьянской» лиры, сохранившая в голосе и памяти всю страшную эпоху перелома, шум которого поначалу глухо отзывался в его стихах, со временем начиная звучать всё более и более пронзительно:

Проснись, моё сердце, и слушай великий хорал.
Пусть вечное Время гудит у безвестных начал.
Пускай пролетает Другое вослед за Другим,
А мы с тобой — только травинки под ветром таким.
А мы с тобой только поверим в Рожденье и Рост
И руки свои приготовим для новых борозд.
И пусть залепечет над нами другая лоза,
А мы только вечному солнцу посмотрим в глаза.

С годами выявлялся определяющий мотив творчества Николая Тряпкина — мотив Памяти. Памяти, несущей в себе всё тяжёлое, трагическое, надрывное, что сосредоточилось в истории ухода с исторической сцены русского крестьянства и его самобытной культуры. Эта тема дала себя знать не сразу — должно было пройти время, прежде чем пережитое, накопленное стало воплощаться в стихи. Сам Тряпкин отнюдь не надрывен, он отдал щедрую дань смеховой, песенно-плясовой стихии народного творчества. Не так уж мало в его наследии стихотворений, где он не прочь и над собой поиронизировать, и над окружающими по-доброму посмеяться. И всё же, если читать его стихи в хронологическом порядке, ощущение земной тяжести и боли за утраченное будет нарастать.

«Я всё тревожнее с годами, // ревнивей к прожитому дню...» — это признание прозвучало ещё в 1948 году, в стихотворении, написанном тридцатилетним поэтом. Но поистине нужно было ещё пережить первый приступ радости внутреннего освобождения, чтобы по-настоящему осмыслить этот «прожитый день» и через него обратиться к более давним временам, к «скрипу своей колыбели», который напомнил поэту его родословную и народную трагедию, отзвуки которой всё чаще звучали в его стихах, написанных уже в 60-е годы.

Сколько снегов промчалось!
Сколько дождей пролилось!
Сколько опять — в коренья,
Сколько опять — в зерно!
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось —
И на сыновние плечи
Прямо упало оно.

Память надвое рассечена рубежом, по одну сторону которого слышится «звон боевых копыт» и скрип детской колыбели, а по другую — совсем иные, тревожные звуки: треск сломанного древа и тоскливый вой пурги. Тряпкин поразительной силой художественного дара сумел удержать в равновесии светлые и тягчайшие воспоминания, не дав перевеса ни одному из них. Свирель, поющая над погостом, — ещё не символ конца жизни, это лишь этап, страшный отрезок, который проходят несколько поколений, чтобы те, кому Бог дал, выжили и сумели донести до потомков свою горькую повесть, и спеть старую, народную, исполненную удалого раздолья и сердечной тоски, почти забытую ныне песню… «Эта песенка сполюбилась нам, // да промчались мы по своим костям…». Сколько их, промчавшихся, от которых и следа не осталось на этой земле, вроде Степана, героя одноимённого стихотворения, что «разругался в дни в тридцатый год» и исчез бесследно в военном лихолетье так, что никто уже никогда не узнает, «под каким ракитовым кустом» затерялась его могилка, или вроде Ваньки-однолишника, о котором осталось лишь вздохнуть: «Запропал ты где-то там… Ой-ё-ёй! // Душу грешную, Господь, упокой…»?

Медленно, шаг за шагом подходил поэт к эпическому сказанию о своей жизни. Первые главы его были написаны в начале 80-х годов, когда Тряпкин обрёл былинную поэтическую мощь, когда прежние отдельные попытки совместить временные пласты отступили перед открывшейся картиной народной трагедии, в которой органически слилось недавнее прошлое и видения набегов и захватов, переселений народов и исчезновений их с лица земли, отделённые от нас веками и тысячелетиями.

И настало то утро, зачавшее это сказанье,
И подводы со скарбом стояли уже у крыльца.
И столпился народ и галдел, как на общем собранье,
Хлопотали отцы, не забыв про стаканчик винца.

И стучал молоток, забивая горбыльями окна,
И лопата в саду засыпала у погреба лаз.
И родная изба, что от слёз материнских промокла,
Зазвучала, как гроб, искони поджидающий нас.

Это было — как миф. Это было в те самые годы,
Где в земной известняк ударял исполинский таран.
И гудела земля. И гремели вселенские своды.
И старинный паром уходил в Мировой океан.

Как удалось Тряпкину повенчать в своей душе ощущение единства и разлада — не будем гадать. Он пришёл к этому после долгих и целенаправленных поисков, и факт остаётся фактом: невозможно ощутить в его самых трагических стихах чувства глухой безнадёжности, а самые весёлые и «беззаботные» строки отнюдь не способствуют наплыву безмятежного спокойствия.

Ответом на счастливые вопли о том, что «нет счастливей участи» (столь созвучные со знаменитым «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»), может быть лишь это:

А между тем, лишь погляди спокойней, —
Вот он — итог свершений мировых:
Всё тот же пресс, всё та же маслобойня,
А ты, в конце — всё тот же жмых.

И вот он круг призвания земного,
И вот он круг истории людской,
И нет пока что выхода другого,
И нет пока истории другой.

Но Тряпкин не был бы Тряпкиным, если бы подобный вывод был для него окончательным и бесповоротным. Он не может впасть в безысходность, он, вопреки всему, сохраняет своё неизбывное жизнелюбие, доставшееся ему от предков и старших собратьев-поэтов, от которых он во всей полноте унаследовал его вопреки всему.

И как бы перекликаясь с давно ушедшим старшим собратом, пророчествовавшим более полувека назад: «Только будут, будут стократы // на Дону вишнёвые хаты», Тряпкин не может не верить в то, что мир не рухнет в пропасть и не сгорит в испепеляющем пламени, что его родная земля, его Россия снова встанет «смирительным щитом» среди «людских кровавых смут» и спасёт этот мир, обезображенный, но ещё не утерявший окончательно своей красоты, спасёт во имя «иных времён», во имя будущих поколений.

Среди лихой всемирной склоки,
Среди пожаров и смертей
Все реки наши и потоки
Для нас всё ближе и святей,

И каждый цвет, и прозябанье,
И солнца вешнего набат...
Земля моя! Моё сказанье!
Мой неизбывный Вертоград!

***

Не устаёт поражать внутренняя свобода, с которой Тряпкин соединял разнородные языковые пласты — три основные слоя — в неразрывном смысловом, сущностном гармоническом сочетании. Слой фольклорный, слой, разработанный классической русской поэзией XIX века, и слой современного живого разговорного языка.

Через устное народное творчество Тряпкин постиг сам мир поэзии и воспроизвёл в ранних стихах ноты народных песен и частушек непосредственно, как бы по-иному перекладывая их, взятые из первоисточника. Немного удач было на этом пути, но лучшие стихотворения начального периода лишены всяких признаков стилизации, искусственности, оранжерейности. Удача приходила к поэту, когда он не подражал народной песне, а создавал её.

При этом Н. Тряпкин был менее всего озабочен привлечением читательского внимания к своим стихам за счёт эксплуатации фольклорных мотивов. Напротив, он обратился к ним в то время, когда любые признаки народно-поэтических традиций в поэзии объявлялись «архаикой» и «оторванностью от современности». Тряпкин долго и напряжённо искал себя как поэта. Первый его сборник вышел в 1953 году, когда поэту было 35 лет. После этого прошёл длительный период творческого созревания, который завершился на рубеже 60–70-х годов.

Песенная линия не сошла «на нет», но основное место в творчестве Н. Тряпкина заняли стихи эпико-философского склада. «Крестьянская» традиция сказывается в них в остро публицистическом пафосе, с каким поэт подчёркивает свою принадлежность к народу, свою крестьянскую сущность.

В этих стихах невозможно не почувствовать того органического сплава песенной стихии и глубинных размышлений о России, судьбе национальной культуры, что находит своё воплощение в строчках, поражающих своей свободой, раскрепощённостью и одновременно

внутренней сосредоточенностью. Публицистический пафос, соответствующий нелёгкому движению поэтической ноты, вырывающейся из потаённых глубин, сродни пафосу Николая Клюева, о котором неизбежно приходится вспоминать, говоря о Тряпкине…

Кровная связь Тряпкина с народом, глубокая духовная связь его поэзии с народной культурой, связь, оплаченная по высшей цене, подобной той, которую платил за каждую свою строку олонецкий песнотворец, обусловлена всей жизненной судьбой поэта. Он родился в глухой тверской деревушке Саблино, сохранившей патриархальный крестьянский уклад жизни.

Не призванный на фронт по состоянию здоровья, он в первые годы войны оказался в эвакуации в сольвычегодской деревне, недалеко от Котласа. А о дальнейшем сам поэт рассказал в автобиографии.

«Коренной русский быт, коренное русское слово, коренные русские люди… У меня впервые открылись глаза на Россию и на русскую поэзию, ибо увидел я всё это каким-то особым, „нутряным“ зрением. А где-то там, совсем рядом, прекрасная Вычегда сливается с прекрасной Двиной. Деревянный Котлас и его голубая пристань — такая величавая и так издалека видная! И повсюду — великие леса, осенённые великими легендами. Всё это очень хорошо для начинающих поэтов. Ибо сам воздух такой, что сердце очищается и становится певучим. И я впервые начал писать стихи, которые самого меня завораживали. Ничего подобного со мною никогда не случалось. Я как бы заново родился или кто-то окатил меня волшебной влагой».

Августовские ночи!
И сузём, и лещуга,
И земной полубред.
Это было на Пижме,
У Полярного круга,
У застывших комет.

Вселенское Время в творческом сознании поэта сжимается, проносятся в течение мгновений целые тысячелетия. В единую секунду бытия начинают существовать Рождение и Закат человеческой цивилизации, зачатие Вселенной и распад узловых корней земного существования. В нерасторжимом единстве сплетены общенародные, государственно-национальные взгляды и общечеловеческая, космическая мысль. Поэту доступно воплощение всемирности, единовременности всего происходящего на Земле и в Бесконечности. Словно по спирали он расширяет свой духовный мир, что даёт ему возможность раздвигать границы прекрасной эстетической традиции. Каждая секунда быта отпечатывается в сознании поэта, притом, что сам он как бы вечен, подобно немеркнущему свету звёзд.

А над миром сияли Полуночные горы
В полуночном венце.
Это было в Начале, у истоков Гоморры,
Это будет в Конце…

Или:

Сколько веков я к порогу Земли прорубался!
Застили свет мне лесные дремучие стены.
Двери открылись. И путь прямо к звёздам начался.
Дайте ж побыть на последней черте Ойкумены!

Здесь, на грани Земли и Космоса, его глазам открывается прошлое, настоящее и будущее, здесь он — творец мира. Россия сама становится частью Космоса, венчает Землю

своей светящейся короной. Органическая связь России и русского поэта остаётся нерасторжимой и здесь, «на последней черте».

Чёрная, заполярная,
Где-то в ночной дали
Светится Русь радарная
Над головой Земли...

Пусть ты не сила крестная
И не исчадье зла.
Целая поднебесная
В лапы твои легла.

И сам поэт выстраивает вертикаль от подземных глубин в Божественные выси, ощущая себя единосущным с Русью, удерживающей мировую вертикаль, бросая взгляд на великих предшественников и сознавая свою неповторимость. Не царь, не раб, не червь и не Бог (вспоминается Державин!), но — русский человек в своей переменчивости, в своих многочисленных ипостасях и в своей гармонии, единстве тела, души и духа, принимающий на себя всю силу земных катаклизмов и таинственных стихий, значение которых остаётся за гранью человеческого сознания.

Пусть я не тварь Господняя,
Но и не червь Земли.
Небо и преисподняя
В песни мои легли.

На рубеже «какой-то смутной веры» ему доступно сдвинуть временные пласты, увидеть то или иное историческое событие наяву, пристально вглядеться в происходящее на его глазах, даже если это происходило за много столетий до его рождения.

Такие стихотворения, как «Чёрная заполярная...», «Где же ты, сердце моё?..», «Жёлтый тайфун», намечали путь Н. Тряпкина к большому эпосу. В них поэт сдвигает подчас несколько временных срезов, соединяя их в одном ракурсе. Он идёт на прямое соединение былинного начала и бытового повествования о сегодняшних днях. Широкое эпическое полотно, развёрнутое на протяжении нескольких строф, исполнено в то же время глубокого лиризма.

Столь характерное для поэта совмещение реального и исторического пластов ярче всего воплощено в одном из его лучших стихотворений — «Песнь о хождении в край Палестинский». Легенда, рассказанная поэтом о своём дедушке-богомольце, воспринимается как реальность, но одновременно и как далёкое прошлое, окутанное идиллической дымкой, не имеющее ничего общего с нынешней трагедией на иорданских берегах.

Этот образ набожного старика родствен образу Савелия Пижемского, рождённого фантазией поэта, с удивительной творческой дерзостью сопоставляющего различные эпохи. Трагическая фигура пьяного забулдыги, бывшего старообрядца, безбожника и охальника, шумящего по улицам, чередующего пьяные частушки и «псалом о местах пересыльных, о решётках пяти лагерей», напоминает Савелия — богатыря святорусского, воплощение русской удали и богатырства, или былинного Святогора, так и не нашедшего применения своей чудовищной силе, и наконец того сказочного богатыря, которого видел в своих пророческих снах Гоголь.

«Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною

силою отразясь в глубине моей; неестественною властью светились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, не знакомая земле даль! Русь!..»

Но не стало места, где бы можно было развернуться богатырю. Незаурядная натура, богатырская во всех смыслах слова, обречена. Вселенский великан становится Савелием Пижемским — убийцей и богохульником, свистящим по ночам под чужими дворами.

«Эй вы, у-лоч-ки,
Переу-лоч-ки…»
Что за хрен такой на прогулочке?
Полупьяная бестия, в дым борода,
Заводила, чудила, шалява.
Матюгами швыряет туда и сюда…
Ой ты, Савва!..

А кругом — только чёрные скитские ели,
Только ели, куда ни качнись…

Самолёты летят. И в таёжные прели
Молодые стрелки подались.

И ещё один богатырь прежней эпохи, «отче Никаноре», идёт «ко святым местам», дабы окунуться в святую реку, приобщиться к мировому духу, пройти по пескам Палестины… Минуло почти восемьдесят лет с той поры. На иорданских берегах «курятся и поднесь дедушкины печки», но от спокойствия, религиозного умиротворения не осталось и следа.

Полыхают пожары, доносится запах гари и крови, слышатся стоны погибающих. «Священная война», «война за Божью землю» или как там ещё, на поверку оказавшаяся кровавой бойней, в которой современные фанатики пытаются чужой кровью отплатить за собственную историческую невоплощённость.

Что же вы творите здесь опять,
Ироды-злодеи?

Почему кровавы здесь пески
И в слезах горючих?
И не Бог ли рвёт свои виски
На сионской круче?

Убеждённость в неотвратимом возмездии сливается с трагедийным чувством, которое слышится в голосе поэта, обращающегося к векам и мирозданью от имени погибших, принявшего на себя их боль и воплотившего её в голосе, обретшем пророческую силу, словно пронизывающем земной круг и космические дали…

Грохотала земля. И в ночах горизонты горели,
Грохотали моря. И сновали огни батарей…
Ты прости меня, матушка, что играла на свирели
И дитя уносила — подальше от страшных людей!

Проклинаю себя. И все страсти свои не приемлю.
Это я колочусь в заповедные двери твои.
Ты прости меня, матушка, освятившая грешную землю,
За неверность мою. За великие кривды мои.

***

В последние годы у Тряпкина, всё набирая силу и полнозвучность, зазвучала нота сопротивления… Изнемогая под гнётом житейских невзгод, он с тревогой вглядывался в грядущее Отчизны, видевшейся ему, подобно Христу, распятой на кресте и терпящей поношения от ничтожных властителей. Но торжество тёмной и злой силы не вечно. Нечисть исчезает под лучами Божественного света, аки дым, не оставляющий следа.

Пусть же провеет над нами крыло Серафима,
В сердце моём закипит огневая слеза…
Снится мне Русь под созвездием Третьего Рима,
Верую, пращур, в святые твои образа.

Поистине, полнота жизни и совершенное воплощение её в Слове не оставляют места страху перед смертью, ибо нет смерти для светлой и незамутнённой души поэта-праведника… Он знал это, и стоическим спокойствием и мудростью пронизаны его строки, рождённые предощущением неизбежного.

Ой ты, камень под горою!
Ты совсем не алатырь.
Только буйной головою
Кто здесь падал на пустырь?
И галопом скачет вихорь,
Закрывая белый свет…
Только холмик с облепихой,
Только пыльный горицвет.
Или, может, под тобою —
Никого и ничего,
Только к вечному покою
Ждёшь прихода моего?..

Зимой 1999 года мы проводили в последний путь одного из драгоценнейших русских поэтов второй половины XX столетия. Кончина его была окружена гробовым молчанием, большинство населения России так и не узнало, кто в те морозные дни завершил свой земной путь.

Завещаю кус простого хлеба
И в ночи горящий Водолей.
Поклоняюсь вам, земля и небо,
За весенний клёкот лебедей.



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Николаю ТУРОВЕРОВУ

(120 лет)

Виктор ЛЕОНИДОВ

«Сборник стихов Николая Туроверова оставляет у читателя впечатление необыкновенной свежести, строя и силы. Омывающая свежесть, крепость изображения, почти телесное ощущение вещей — читатель это почувствует в стихах Туроверова.

Николай Туроверов — потомок старой славной казацкой семьи. Он прозрачными и смелыми казацкими глазами смотрит на мир, и его степная донская душа своеобразной мощью сочетается с ясным, пушкинским чувством вселенной».

«Стих Туроверова скупой и точный, в духе пушкинской традиции. Частый у него трёхстопный ямб ритмично богат. Он зорок и умеет виденное сжато и верно изобразить. С той же чёткостью, с которой он видит и изображает родную Донскую область, умеет он передать и впечатление от чужих земель, по которым ему пришлось скитаться в изгнании…»

«Его стихи полны точных и метких определений. Он не устаёт описывать свои родные донские степи, вспоминать свою суровую „жестокую юность с тускловатым блеском погона на хрупких, на детских плечах“, но рассказы с размышлениями его никогда не сбиваются на исповедь. Стихи ясны и просты хорошей, неподдельной прямотой, лишённой нарочитого упрощения».

Так писали те, для которых русское слово стало делом жизни. Знаменитый певец «белых мальчиков», блистательный и, к сожалению, полузабытый исторический беллетрист Иван Лукаш, исследователь поэзии и прозы литературовед Глеб Струве и мэтр Олимпа русского литературного Парижа Георгий Адамович. Что ж говорить о других многочисленных статьях в казачьих и военных изданиях, о тысячах бывших участниках «казачьей лавы» Гражданской войны и солдатах и офицерах Белой армии, вешавших на стены своих убогих эмигрантских жилищ его портреты и переписывавшие его стихи от руки. Стихи казака Области войска Донского, с потрясающей силой сумевшего выразить в своих строках и тоску по оставленной земле, и всю трагедию изгнания.

Как счастлив я, когда приснится
Мне ласка нежная отца
Моя далёкая станица
У быстроводного Донца…
И слёз невольно сердце просит
И я рыдать во сне готов,
Когда вновь слышу в спелом просе
Вечерний крик перепелов.

Он действительно был очень прост и ясен, и находил какие-то слова, которые никто другой, кроме него, подобрать не мог:

Всё иссякнет — и нежность, и злоба,

Всё забудем, что помнить должны,
И останется с нами до гроба
Только имя забытой страны.

Интересно, что при всей огромной популярности среди русских читателей за пределами СССР за железный занавес стихи Туроверова, на первый взгляд, простые и понятные, в списках к советским читателям «самиздата» доходили мало. Тем неожиданнее стало открытие этого мощного таланта во время перестройки. Его книги, наконец-то изданные в России, мгновенно исчезали с прилавков. Исполнение стихов «казачьего Есенина», «парижского Бояна» (так называли Туроверова в эмигрантской критике) по радио и телевидению вызывало просто потоки писем. А после выхода на телеэкран сериала Елены Чавчавадзе и Никиты Михалкова «Русский выбор», где одна из серий была почти полностью посвящена Туроверову, а также после исполнения Никитой Михалковым и Николаем Расторгуевым песни на стихи этого замечательного поэта Туроверов обрёл наконец-то настоящую славу на своей Родине. В стране, которую он так любил, но куда так и не сумел вернуться.

Я помню улицы глухие,
Одноэтажные дома,
Ах, только с именем «Россия»
Понятно слово мне «зима».

Сегодня в столице и казачьих станицах проходят вечера и фестивали, посвящённые этому удивительному человеку, в ряде областей его стихи включены в обязательные школьные программы. Но, всё равно, ещё очень многим предстоит открытие этого поэта, который знал действительную любовь народа. Ту, о которой мечтает любой художник.

Кем же он был, человек, над стихами которого плачут до сих пор:

Над весенней водой, над затонами,
Над простором казачьей земли,
Точно войско Донское, — колоннами
Пролетали вчера журавли.
Пролетая, печально курлыкали,
Был далёк их подоблачный шлях.
Горемыками горе размыкали
Казаки в чужедальних краях.

В 1968 году в Вашингтоне увидела свет антология поэзии русского зарубежья, составленная верным рыцарем российской литературы Татьяной Фесенко. Со всего мира присылали ей стихи и свои автобиографии уцелевшие поэты российского изгнания. Из Аргентины, Италии, Германии и, конечно, Франции. Туроверовская заметка оказалась одной из самых коротких. Он лишь сообщил, что является казаком Старого города и что «… успел поучаствовать в трёх войнах, застав Первую мировую».

Старый город — имеется в виду казачья станица Старочеркасск. «Древняя Черкасская столица, — город мой на низком берегу», — писал он впоследствии.

Если быть точным, он появился на свет в местечке Манково-Берёзово, в районе Старочеркасска 18 (30 по новому стилю) марта 1899 года.

Недавно автор этих строк получил большую работу ученицы 11 класса 2-й казачьей школы № 2 города Каменск-Шахтинского Евгении Скидаченко, выполненной под руководством неутомимого историка своего края А. Н. Чеботарёва. Юная исследовательница нашла первое стихотворение ученика Каменского реального училища Николая Туроверова «1915 год»:

Я верю в жизни обновленье,

И в царство правды и любви,
Непрочен мир наш озлобленья,
Мир, утопающий в крови.

Здесь ещё довольно трудно разглядеть последующие строки, написанные уже на французской земле:

И растёт, и ждёт ли наша смена,
Чтобы вновь в февральскую пургу
Дети шли в сугробах по колена
Умирать на розовом снегу.

Каменская, большая, утопающая в зелени станица, с каменными зданиями, стала колыбелью юности поэта. Сюда он всё время возвращался в своих стихах. Здесь его отец, тоже Николай Николаевич Туроверов, войсковой старшина, потомок легендарных казачьих атаманов (один из них входил в состав заговорщиков, возведших на престол Екатерину II), служил судебным следователем. Здесь жили сёстры будущего поэта, а также брат Александр, с которым поэт не расставался всю жизнь. Туроверов еле успел окончить 7 классов Каменского реального училища и сразу, как стало это возможным, 1 апреля 1917 поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Атаманский полк. Здесь он сразу показал своё поразительное мужество, довольно быстро получил звание урядника, а в начале сентября этого же рокового года по приказу командования стал портупей-юнкером Новочеркасского военного училища. Но снова учиться долго не пришлось.

Встаёт за могилой могила,
Темнеет калмыцкая твердь,
И где-то правее Корнилов,
В метелях идущий на смерть.

Дальше был весь крестный путь гражданской войны. Вместе с братом Александром он вступил в отряд легендарного казачьего командира Чернецова. Впоследствии сам Туроверов опубликовал большой очерк «Гибель Чернецова. Памяти белых партизан», где с потрясающей ясностью и чёткостью набросал картины страшных дней:

«Начался бой. Наша пушка едва успела раз выстрелить, как была подбита, в двуколку угодило сразу две гранаты, и я видел, как в дыму разрыва мелькнули юбки сестёр. Батарея… била прямой наводкой, не жалея снарядов, и через десять минут трудно было разобрать нашу жалкую цепь в чёрном дыму разрывов».

Молодой казак Николай Туроверов стал одним из любимцев легендарного Чернецова, и, кто знает, может, читал он ему свои первые стихи. Те, которые потом с молниеносной скоростью начали расходиться в списках среди казаков-изгнанников. Чернецов присвоил Туроверову чин хорунжего, потом подъесаула. После разгрома отряда и гибели командира Туроверов прошёл «Степной поход» на восток, потом — всю трагедию Гражданской войны. Начальник пулемётной команды Атаманского полка, командир полковой разведки. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За Храбрость», Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й степени, медаль Святого Георгия 4-й степени. Вот список его коротких боевых вех и наград. Дальше был Крым, и, наверное, там, раненный, на борту одного из последних пароходов, он и задумал строки, которые потом сделали его известным на весь русский мир:

Уходили мы из Крыма,
Среди дыма и огня,
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня…

На борт корабля вместе с ним поднялась красавица казачка Юлия Александровна Грекова, уже ставшая его женой. А потом, в изгнании, на продуваемом всеми ветрами греческом острове Лемносе, появилась на свет единственная дочь поэта Наталья.

Затем были Сербия и Македония, где казаки помогали солдатам королевства Сербов, Хорватов и Словенцев собирать оставшееся на полях сражений немецкое оружие. Работа была опасной, много мин. На руках была семья, и Николай Николаевич и его брат брались за любую работу. Рано утром, до службы, они таскали мешки с мукой. Работа была очень тяжёлая, но зоркий глаз молодого поэта подмечал всё. И он писал, писал стихи:

И только здесь иные речи,
Иное чувство нам дано,
И стал нам дорог сыр овечий,
И это терпкое вино.

Тогда же в газете «Казачьи думы», выходившей в Софии, стали появляться первые публикации Туроверова. Здесь же увидела свет и изумительная поэма «Новочеркасск», впоследствии не раз переизданная автором.

В 1925 году Туроверов, как и сотни других казаков, сумел перебраться во Францию, которая стала его второй Родиной. Позже для неё он нашел такие слова:

Лучшие тебе я отдал годы,
Всё тебе доверил, не тая,
Франция, страна моей свободы,
Мачеха весёлая моя.

В конце двадцатых Туроверов устроился на работу в банк «Диас», где проработал почти тридцать лет и всегда был образцом аккуратности и честности. В 1928 году в Париже вышла первая книга стихов Николая Николаевича. Она называлась «Путь». Все последующие сборники поэт называл просто — «Стихи».

Восторг казачьей и военной прессы дополнился отзывами мэтров парижского литературного «Олимпа». Очень хорошо принял первую книгу Георгий Адамович: «У Туроверова могут найтись и читатели, и поклонники, потому что в своих стихах он действительно что-то „выражает“, а не придумывает слова для выдуманных мыслей и чувств».

Следующего сборника Туроверову пришлось ждать почти десять лет. Стихи его регулярно появлялись на страницах русских изданий, но только вне России. Конечно, во Франции, в Болгарии, в США, в Финляндии. Эти годы явили не только поэта Туроверова. Во всю мощь его гигантского темперамента и работоспособности развернулся талант историка и собирателя исторических реликвий.

Образованность и дыхание истории чувствуется буквально в каждой строке Николая Николаевича. Он знал «одну, но пламенную страсть» — историю казачества и спасение реликвий отечественной военной славы.

Нелишне отметить, что, работая в банке, а до этого ночами разгружая вагоны, Туроверов ещё находил время для посещения Сорбонны. Он очень много читал и много писал. И не только стихи.

На страницах, пожалуй, самого известного казачьего журнала «Станица» один за другим появлялись его очерки. «Платов и его английские изображения», «Дочь Платова»,

«Казачий сказ о Суворове», «Казаки в изображении иностранных художников». Поэт был, наверное, первым специалистом по казачьей иконографии, великолепно зная историю гравюр и русского портрета. Ещё благодаря Николаю Николаевичу в Париже прошло множество выставок. Если объявлялось об открытии экспозиции «Казаки в Париже», «1812 год», «Лермонитов» — можно было не сомневаться, без участия Туроверова это не прошло.

Огромную роль в его судьбе сыграло знакомство с генералом Дмитрием Ивановичем Ознобишиным, бывшим адъютантом герцога Лихтенбергского, а потом помощником военного атташе России во Франции. Он умудрился вывезти из России уникальную огромную библиотеку своего деда, известного литератора пушкинской поры. Именно Туроверов стал главным хранителем этого собрания и опубликовал блестящий библиографический обзор «Книжное собрание Д. И. Ознобишина и его суворовский отдел» в одном из самых престижных альманахов, посвящённых издательскому делу.

И ещё Николай Николаевич очень много сил отдал сохранению архива родного Атаманского полка. Именно он сумел спасти собрание атаманцев, восемь лет был главным редактором «Вестника Общества атаманцев» и председателем «Общества чинов лейб-гвардии Атаманского полка». К тому же долгие годы возглавлял «Казачий союз», а впоследствии также стал руководителем «Общества любителей русской военной старины»… Продолжать можно долго…

Но вернёмся в Париж конца 1930-х. Сборник «Стихи» увидел свет в 1937 году. Кроме восторгов были и другие отзывы. Строгий Ходасевич, которому тематика Туроверова, наверное, не была особенно близка, назвал его стихи «вполне добротными». А вот что писал другой парижский поэт — казак Владимир Смоленский: «Главная особенность стихов Туроверова, по-моему, та, что, читая их, чувствуешь — весь путь русской поэзии после золотого пушкинского века прошёл мимо этих стихов. Туроверов прямой наследник Пушкина». Но всё-таки Смоленский потом оговорился: «Я говорю, конечно, о стиле, а не о силе таланта».

В 1939 во многом благодаря стараниям Николая Николаевича увидел свет уникальный «Казачий альманах» — одно из лучших изданий, посвящённых казачеству. В том же году Туроверов взял в руки новый сборник своих стихов. Название было всё то же — «Стихи». Творчество Туроверова обретало новые краски.

Всё те же убогие хаты,
И так же не станет иным,
Легко уходящий в закаты
Над хатами розовый дым.
Как раньше — при нашем отъезде, —
Всё так же в российской ночи
Мерцают полярных созвездий
В снегах голубые лучи.

Интересной была реакция замечательного поэта и прозаика Вадима Андреева на эту книгу. «Если б Туроверов, одарённый очень редкой способностью в наши дни свободно и легко писать стихи, — пишет, как на коньках катается, — был менее самоуверен и меньше выставлял напоказ свою казачью удаль». Здесь, наверное, проявилось какое -то скептическое отношение интеллектуальной русской эмигрантской критики к этому мощному таланту. Никак не могли понять, что казачья удаль — это была суть поэта, его искренность, и именно это привлекало к нему столько людей.

1939 стал знаменательным для судьбы Туроверова. Он отправился в Африку добровольцем, в иностранный Легион. Там, под палящим небом, провёл почти два года.

Всё равно, куда судьба не кинет,
Нам до гроба будет сниться сон:
В розоватом мареве пустыни
Под ружьем стоящий Легион.

Впоследствии многие, не стесняясь, называли гениальным большой цикл стихотворений «Легион». Пески, прожжёный воздух пустыни, туареги, жажда, погони за противником через барханы — всё было передано ярко и удивительно образно. «Я нахожу его стихи о „Легионе“ блестящими и далеко не уверен, что кто-нибудь ещё (француз, немец, итальянец) сумел оставить такую замечательную памятку об этой исключительно сильной исторической картине», — писал поэт и публицист П. Сухотин, живший в Австралии.

Войну Туроверов провёл в оккупированном немцами Париже, но у него и в мыслях не было брать пример со многих своих товарищей казаков, решивших, что Гитлер поможет им снова обрести Родину, сокрушив власть коммунистов. В 1942 году вышел в свет новый сборник «Стихи», где наконец-то увидело свет великое стихотворение «Уходили мы из Крыма…». В годы войны Туроверов создал свои знаменитые произведения «России» и «Товарищ», которые, невзирая на опасность, читал на русских литературных вечерах.

Тебе не страшны голод и пожар,
Тебе всего уже пришлось отведать
И новому ль нашествию татар
Торжествовать конечную победу.

А в балладе «Товарищ» он обращался к казаку из «червонного казачества», к неизвестному противнику, с которым вместе теперь рассчитывал создавать новую Россию.

С тобой, мой враг, под кличкою «Товарищ»
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?

После войны продолжалась та же ураганная жизнь, та же работа в банке «Диас», стихи, статьи по истории казачества, собирание коллекции книг и гравюр по истории России, участие в работе «Кружка казаков-литераторов». Ещё он продолжал возглавлять «Казачий союз» и вёл переписку со множеством своих собратьев по изгнанию, помогая им сохранять свою историю и традиции.

В 1950 году ушла из жизни жена, Юлия Александровна Грекова. Он так и не создал новую семью. Главной хозяйкой и помощницей стала дочь Наталья.

В газете «Русская мысль» Туроверов регулярно публиковал новые стихи и статьи. С годами в его поэзии появляются новые краски. Он всё больше размышляет о жизни и о судьбе, часто вместо больших стихотворений пишет короткие миниатюры.

Пора, мой старый друг, пора,
Мы зажились с тобою оба,
И пожилые юнкера
Стоят навытяжку у гроба.

В 1965-м увидел свет последний прижизненный сборник стихов Туроверова. На обложке был изображен всё тот же чабрец, ставший для поэта символом оставленных родных степей.

Он уже много болел, но продолжал работать, писать исторические статьи. В последнее время его особенно занимал Суворов. Планов было много, но… «Общество ревните-

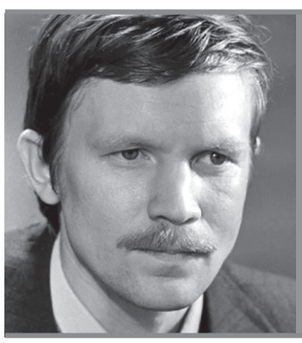
лей русской военной старины с глубоким прискорбием извещает о кончине 23 сентября 1972 года одного из основателей общества, подъесаула лейб-гвардии Атаманского его императорского высочества наследника цесаревича полка Николая Николаевича Туроверова, талантливого поэта и доблестного воина».

Некрологи и статьи его памяти появились во множестве русских зарубежных изданий.

Поэта похоронили на главном пантеоне эмиграции — кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

В наши дни публикации и статьи о творчестве Туроверова в России и на Украине превысили, наверное, количество в несколько сотен. Особенно хотелось бы отметить работы Константина Николаевича Хохульникова, опубликовавшего в Ростове-на-Дону тщательно подготовленные книги стихов и исторической прозы «казачьего Есенина».

И ещё я не могу не вспомнить женщину удивительной красоты. И внешней, и душевной. Ирину Ивановну Туроверову, вдову брата поэта Александра Туроверова. Живя во Франции, она буквально служила русской поэзии и много лет берегла наследие Николая Туроверова, чтобы вернуть его в Россию. Именно Ирина Ивановна предоставила ряд материалов, благодаря которым стало возможным издание в Москве первых сборников поэта на его Родине. К сожалению, она ушла из жизни, но успела застать триумфальное возвращение в Россию наследия человека, чьи стихи и автографы хранила долгие годы.



Владимир УРУСОВ,
Москва



***

Растает Русь как сон в полях огромных,
соединяя запад и восток,
затмив в небесных молниях и громах
рябины красной тлеющий листок.

Ещё далёк холодный час рассвета
и весь в тумане соловьиный сад,
пока от волн Амура и до Бреста
в забвенье бродит курский лейтенант.

И блещут солнцем рыцарские латы,
и танк отцовский в прашурной броне
идёт по следу вечного солдата
на северной и южной стороне.

И не тускнеет воин твой железный,
и не седеет бронзовая прядь —
у Бога отпечатана над бездной
магического ромба рукоять!

ФИЗИК

Шелестели летейские воды
и тянул приливную волну
шум крылатых колёс парохода,
уходящего ночью в Дубну.

Пассажиры смотрели на берег
и стихал у костра, замирал
онемевший в холмах параллельных
равнодушный Московский канал.

И хватался за барную стойку,
перед дамами сыпался ниц
никому там не нужный нисколько
физик в шляпе из альфа-частиц.

Может, видел он тёмные реки
в переливах соломенных кос,
или куклу свою в телогрейке
у корней молчаливых берёз…

Будто в отблесках дня золотого
иногда вспоминает листва,
повторяет за ветром — и снова
забывает простые слова.

ОРДЕН

На прохоровском поле
огонь замёл следы
и стали сгустком боли
две танковых орды.

И Бог взмахнул десницей,
рассыпав зёрна звёзд
за чёрной колесницей
в корнях седых берёз.

И под крестом раскосым
растаял дым долин
и золотым колоссом
раздавленный Берлин.

И травит кровь младенца,
и тянет на восток
серебряное сердце,
святящийся песок…

И катится за Одер,
за тенью гонит тень
святой отцовский орден —
и длится славный день!

КОЛОДЕЦ

И Бог один, и Родина одна
проходит стороной, рассыпав слёзы
и снег, согревший наши имена
под голой берестой седой берёзы.

И сразу вспоминают фонари,
о чём молчат задумчивые ели
и рассудительные снегири,
согретые дыханием метели.

И тает между небом и землёй
на зеркалах колодезного сруба
живая ртуть под коркой ледяной
в колоннах Храма, фабрики и клуба.

Ведут ступени вверх, ведут ли вниз,
и, бесконечно судьбами играя,
шумит о том, куда мы собрались,
косых дождей солома золотая.

И по следам, по кругу от крыльца
блуждает тьма, наполненная смыслом,
соединяя свет в глазах отца
и тень любви под сердцем материнским.

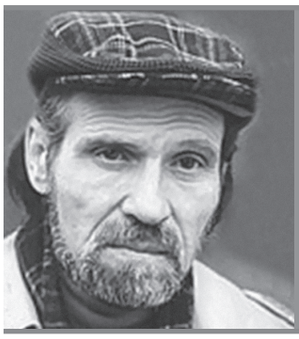
БАЛЬМОНТ

Солнце катится в свой аут
и блестит паркетный пол —
в школе, где учился Бальмонт,
мы играем в баскетбол.

И несёт по следу снега,
вьёт под окнами река
дым серебряного века,
ночь с глазами мотылька.

Там, над площадью Соборной,
заводские трубы флейт
голосят мотив упорный —
победителей здесь нет!

И бродяга за метелью
тростью шаркает по льду —
снегири нам душу грели
в этом солнечном саду.



Илья ФАЛИКОВ,
Москва

В АБИССИНИИ

В Абиссинии нет ни волков, ни пантер.
Не идёт европеец на лов
чёрных львов, демонстрируя детям пример.
В Абиссинии есть Гумилёв.
У него там семья, и лачуга своя,
и ручной крокодил на реке,
и река, молодых бегемотов жуя,
говорит на его языке.

У него там семья, то есть несколько жён
и потомков не менее ста.
Каждый сын Абиссинии вооружён,
но похож на живого Христа.
Не похож на Христа лишь один Гумилёв,
ибо рос на пещерном плюще
и привык перешагивать тыщи голгоф —
через горы шагать вообще.

У него есть привычка — не видеть гвоздей,
вбитых в руки и ноги людей,
ибо он предпочёл разводить лебедей,
лебедей, лебедей, лебедей.
Ибо хобби его дерзновенью равно
мореплавателя и стрелка,
над которым течёт золотое руно,
переделанное в облака.

Говорят, тяжело заболел Менелик,
говорят, у него паралич.
Гумилёв говорит: не печалься, старик,
нынче Пасха, откушай кулич.
В той стране, где я весело жил до того,
крестный путь никого не влечёт,
ибо в ней беспрерывно царит торжество
воскресенья, а гибель не в счёт.

Говорят, Менелик не поверил ему
и в сердцах указал на вокзал,
но вердикт, обещавший суму и тюрьму,
Гумилёва вовек не смущал.
Не указ ему негус, акула, нарком,
и, совершеннолетний на вид,
машет саблей, играя с любимым сынком,
деревянной — она не горит.

***

Ирисы, вам говорят. Ирисы, ирисы,
стоя, как лошади, спят на рабочем столе.
Мимо летят студебекеры, эмки да вилиссы,
визгом визжат тормоза на высокой скале.
Кто тут поставил такое цветное чудовище?
Кто пошатнул подо мной всю планету и стул?
Жизнь пролетела? Была настоящей и стоящей?
Чем угрожая, цветок меня в детство вернул?

Там на колдобине, в петле злодея небритого,
вьётся и бьётся мой худородный щенок,
помесь дворняги и тигра, ещё недобитого,
и у юнната уходит земля из-под ног.
Драньголоштанная в драку несётся на велике,
в око тайфунное воткнуто птичье перо,
а с Окинавы — синатровский голос Америки,
а Левитан — от советского информбюро.

Тонны тушёнки, сгущёнки, малины
ленд-лизовской
лопает дикорастущий портовый Портос,
где, преисполнен железобетонного изыска,
в минное море уходит крутой либертос*.
В яму воздушную ямбы летят и топонимы,
бомбы цветут на окраине материка.
Символом силы считается ирис — в Японии.
Истинно вам говорю. Ибо сила — хрупка.

Бремя любви моей. Время собачьего ящика.
Имя победы. Нежное темя в крови —

падают звёзды, родина мать, а не мачеха,
в ухо её залетают живьём соловьи.
Ирисы, вам говорят. На заре фиолетовой
переработаны в бисерную росу
выхлопы автомобиля, того или этого,
прямо по радуге шпарящего до Хонсю.

** Либертос (морской жаргон) — железобетонное судно типа Liberty производства США.*

ВИНОДЕЛ

Князь Голицын большое вино создаёт,
Лев Сергеич по делу гуляет и пьёт.

Старше рода Романовых только один
древний род, и в начале его — Гедимин.

В подземелье огромная люстра зажглась,
серебром и свечами сияющий глаз.

Здоровяк в армяке, завсегда ни в глазу,
он копает подвалы, разводит лозу.

Серсиаль, Изабелла, Мальбек, Шардоне,
Альбурла, Катауба, Мерло, Каберне.

На французском наречье легко говорит,
римским правом владеет, как люстра горит.

Нос воротит от духа сивушных бород
благодетель и мот, говорун и банкрот.

Наше дело шампанский восторг создавать
и не наше призвание им торговать.

На чужбине в чести Траминер и Гренаш,
там понятья не наши и климат не наш.

И глядит прародитель его, Гедимин,
на тоннели его и коллекцию вин.

Из удельных имений погонят его,
на уступе скалы похоронят его.

Наступает в России 17-й год.
Торжествует революционный народ.

Водки нет, потому как не выращен хлеб, —
разорили подвалы, порушили склеп.

Не о том ли мечтал, не того ли хотел?
Наконец свой народ напоил винодел.

Монтобан, Саперави, Мурведр, Семильон,
Ркацители, Альбилло, Кишмиш, Совиньон.

ГЛАГОЛИЦА

Предвосхитила жизнь мою отвергнутая жизнь иная —
лишь по глаголу голодая, тебя, глаголица, пою.
С небес течёт кровавый пот, и град грохочет в каждом слове,
и у тебя в составе крови Эллада плачет и поёт.
Поёт соперница твоя — кириллица, сестра родная,
подлунный мир преображая и приручая соловья.
Сгущается ночная мгла, и глаголическая кода
на меч Крестового похода кровавым отблеском легла.
Латинский лён, османский плен, воронка дантовского ада,
и на руинах Цареграда ты пала жертвой перемен.
Упала, ливнем бытия успев погибельно упиться,
не горлица, не голубица —
глаголица, звезда моя.



[ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ]

Алексею ФАТЬЯНОВУ

(100 лет)

Николай СТАРШИНОВ

С ПЕСНЕЙ В СЕРДЦЕ

Августовским утром 1943 года, после длительного ночного марша по смоленским чащобам и болотам, наша часть вышла на опушку леса. Мои товарищи в полном боевом снаряжении — с винтовками, автоматами и пулемётами — от усталости едва не валились с ног.

Тут мы и услышали отчаянно весёлую, зажигательную песню, а только потом увидели наших разведчиков, лежавших среди густой некошеной травы в маскхалатах.

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь… —

выводил один из них, привстав на колено. А его товарищи подхватывали:

Играй, играй, рассказывай,
Тальяночка, сама
О том, как черноглазая
Свела с ума…

В песне было столько удали и задора, что как-то сама собой забылась усталость, словно бы у нас прибавилось сил…

Так полвека назад я впервые встретился с песней Алексея Фатьянова.

Его песни шли с нами в годы войны по лесам, полям и болотам, помогали нам жить, воевать, работать, веселее встречать праздники, поддерживали нас в трудную минуту, а в светлые мгновения делали нашу радость ещё ощутимее, продолжительнее. Они неотделимы от нас, от наших чувств, мыслей, надежд. Они всегда с нами…

Песни Фатьянова, написанные в годы войны, были особенно близки солдатам, потому что приходили они в самое нужное время, и говорилось в них о самом главном. И говорилось замечательно просто, задушевно, проникновенно:

Ведь завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, не долюбив,
От наших жён, от наших нив, —
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю…

Как точно схвачено здесь настроение солдата! Какое прекрасное само течение речи, какие естественные интонации, лишённые всякой вычурности!

Долго ночка длится,
Лютый ветер злится,
По траншеям нашим бьёт крылом.
Скоро ль до рассвета,
До весны, до лета
Мы с тобой товарищ доживём?..

Просто удивительно тут возрастание надежды — «до рассвета, до весны, до лета мы // с тобой, товарищ, доживём». А какое разнообразие настроений — и грусть, и мужество, и улыбка, простодушная, почти детская:

Давно мы дома не были…
Шумит над речкой ель,
Как будто в сказке-небыли,
За тридевять земель.
На ней иголки новые,
А шишки всё еловые,
Медовые на ней…

Позже наши поэты создали немало удачных песен о войне, о солдатах. И всё-таки самыми дорогими оставались и остаются сегодня для меня, впрочем, и для многих людей моего поколения, песни, написанные Фатьяновым.

…После войны я познакомился с самим поэтом — красивым, рослым, артистичным. У нас установились добрые, дружеские отношения. Я узнал многие факты его биографии.

Алексей Иванович родился в 1919 году в селе Малое Петрино Владимирской области, в тех местах, где мстёрские леса помнят славу Древней Руси и походы былинных богатырей.

Русская природа, русский уклад жизни, русская речь и русские песни окружали поэта с самого детства. Вот почему всё это так естественно живёт в его поэзии.

Писать стихи Фатьянов начал очень рано. А в 1936 году, участвуя в сельском драмкружке, он проявил незаурядные способности, поэтому не случайно в том же году был принят в Театральную школу Центрального театра Красной армии, по окончании которой, в 1938 году, получил специальность актёра. Ещё студийцем будущий поэт выезжал с театром на гастроли в воинские подразделения: побывал во многих уголках нашей страны, вплоть до Дальнего Востока. Когда же началась Великая Отечественная война, отправился на фронт. Он был рядовым солдатом и корреспондентом военных газет. Служил в ансамбле песни и пляски Орловского военного округа. Вот откуда в его стихах такое знание солдатской жизни, такое понимание солдатского сердца.

Алексею Фатьянову, вслед за А. Твардовским и М. Исаковским, по-настоящему, как никому, удалось выразить характер русского солдата, его широкую народную душу. Я даже думал о том, что если бы Василий Тёркин был не литературным героем,

а существовал как конкретный живой человек, фатьяновские песни были бы его самыми любимыми.

По мосткам тесовым, вдоль деревни,
Ты идёшь на модных каблучках,
И к тебе склоняются деревья,
Звёздочки мигают в облаках…

Всё это родное, близкое с детства, моё, наше. Сам поэт сказал об этом:

Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал? Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил…

Родине он посвятил самые проникновенные, сыновние, самые благодарные строки, она для него — всё: и красота, и вера в жизнь, в победу, в будущее:

Ходят грозы, ходят бури,
Ходит смерть в лихом бою.
Но спасает нас от пули
Вера в Родину свою.

Алексей Фатьянов — удивительный лирик. Истинно народный по всей своей поэтической сути, по глубине чувств, по мудрости, по чистоте речи, по душевной песенности. Только поэт такого склада мог написать:

Когда проходит молодость,
Длиннее ночи кажутся,
Что раньше было сказано,
Теперь уже не скажется.
Не скажется, не сбудется,
А скажется — забудется…
Когда проходит молодость,
То по-другому любится…

А какие ещё стихи, выражающие радость Победы, кровное солдатское братство, можно поставить в нашей поэзии рядом с его всенародно известными строками:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?..

Я не могу назвать таких…

Надо сказать и о другом. При жизни поэта существовал разрыв между всенародной любовью к его песням и молчанием о нём критики. Поэты военного поколения, мои ровесники и старшие товарищи, внесли свой прекрасный вклад в родную поэзию. В годы Великой Отечественной войны ими были написаны в самых трудных условиях стихи, которыми может гордиться наше поколение. Да и не только оно. Стихи эти живут уже более полувека, они украшают сборники и антологии. О них написано множество рецензий, статей, иссле-

дований. Но, как это ни странно, я никогда не встречал в них имени Алексея Фатьянова. Оно почему-то никак не связывается с фронтовым поколением. Да и вообще в критических обозрениях поэзии военных лет имя Фатьянова либо совсем не упоминается, либо упоминается вскользь, в общем перечислении.

Никак не умаляя значения творчества своих товарищей, поэтов-фронтовиков, я всё-таки хочу сказать следующее. Наши стихи, написанные в военное время, к широкому читателю стали пробиваться лишь в самом конце войны и даже позже — после её окончания. Например, я сам знал в конце войны лишь отдельные строки своих ровесников. По настоящему я познакомился с ними лишь на Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, которое было в 1947 году… А песни Фатьянова я знал и пел именно во время войны, когда они были самыми необходимыми. Пел их, идя в бой, на привалах, в госпиталях…

С Алексеем Фатьяновым мы нередко встречались в Доме литераторов, и просто на улице, и на отдыхе в Коктебеле, и позже — в редакциях журналов.

Он был шутник, иногда любил и приврать.

Как-то зашёл он в журнал «Юность» и говорит:

— Коля, я вчера был в кабаке вместе с Валюном (так за глаза иногда называли Валентина Катаева), показал ему свою поэму-сказку о карасе. Он пришёл в дикий восторг. Сказал мне: «Неси в „Юность“, отдай Старшинову. Скажи, чтобы немедленно послал её в набор!.. Гениальная вещь!..»

Алексей вынул из нагрудного кармана свёрнутую в трубку большую рукопись и небрежно бросил её на стол.

Я прочитал её и через неделю, когда он зашёл в редакцию, сказал:

— Сказка не пойдёт!

Безо всякого возражения Фатьянов взял её со стола, свернул в трубку и, как бутылку, отправил снова в нагрудный карман:

— Ну, будь!.. — сказал он мне на прощание, не затаив никаких обид на меня и даже не щегольнув оценкой, которую, якобы, дал сказке Катаев, якобы, в кабаке…

Но особенно запомнилась мне наша встреча, которая произошла года через два после войны, в День Победы.

Шли мы вечером в районе Гороховой улицы мимо студенческого общежития. Из открытых окон полуподвала, у которых прогуливались студенты, вырывалась песня:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…

В полуподвале, за накрытым столом, сидели в основном девушки. Алексей остановился, нарочито громко сказал, кивнув на окна:

— Меня поют!.. Всё-таки знают Фатьянова!..

Прогуливающиеся студенты окружили нас:

— Вы Фатьянов?!

Через минуту мы уже были за праздничным столом — нас насильно втащили в общежитие. А запевалой был уже сам поэт. Порывистый, увлекающий за собой — настоящий запевала!..

Уверен, что этот случай можно объяснить не тщеславным самоутверждением поэта, а вполне понятным желанием справедливости.

Подтверждением этого может служить и такой факт:

Вечером 1959 года, в День Победы, мы с поэтом Виктором Гончаровым сидели на кухне (благо жили в одной квартире). То не спеша, то торопливо вспоминали военное время, пили вино, пели песни. И всё фатьяновские!..

Нам стало обидно за товарища:

— Что же никто не скажет в печати о нём доброе слово?!

Вот и сказал Виктор:

— Давай соберёмся и сами напишем о нём статью, раз у критиков никак не доходят до этого руки!

— Когда?

— А чего откладывать — сейчас!..

Мы убрали со стола. Взяли бумагу и ручки.

К утру статья была готова. (Впрочем, она так и не была напечатана при жизни поэта, но явилась основой для предисловия к книге «Соловьи», выпущенной издательством «Художественная литература» двенадцать лет спустя.)

Мы перепечатали её.

— Давай позвоним Алёше!

Виктор Гончаров прочитал ему по телефону всю статью.

— Спасибо, братцы!.. — голос поэта сорвался, и Алексей повесил трубку…

Большинство песен Алексея Фатьянова живёт и сегодня. И по сей день их поют и его ровесники, и молодёжь, хотя многие даже не знают имени автора. Они стали народными…

Но каждый год, накануне Дня Победы, потеснив сегодняшние песни, мгновенно завоёвывающие популярность и также мгновенно её теряющие, начинают звучать с эстрады, по радио и по телевидению песни времён Великой Отечественной войны.

Вот суровая, пронзительно-тревожная, зовущая в бой «Священная война» В. Лебедева-Кумача, вот задумчивая, щемяще-грустная «Землянка» А. Суркова, вот задушевная и в то же время героическая «В лесу прифронтовом» М. Исаковского. А вот «На солнечной поляночке», «Ничего не говорила», «Соловьи», «Звёздочка», «Давно мы дома не были» и наконец — «Где же вы теперь, друзья-однополчане?..» Звучит Алексей Фатьянов!..

В пору, когда сумрачно в природе и на душе, когда надвигаются тучи, заволакивая всё небо, я всегда вспоминаю:

Когда полыхают зарницы,
Приходит гроза из-за гор,
Поближе к окошку садится
Мой старый товарищ, майор.

Лишь гром прогремит в отдаленье,
Осветит гроза небосклон,
Он шепчет: «Пора в наступленье,
Вперёд, боевой батальон!»

И чудится, братцы, майору:
Идут от реки до реки,
Идут через долы и горы
Гвардейские наши полки…

Вот уже полвека с лишним (а это ли не достаточная проверка временем!) я не расстаюсь с песнями Алексея Фатьянова, они живут во мне также, как и в сердцах моих ровесников. Они печалят и радуют, возвращают в прошлое, зовут в будущее.

И вслед за именами прекрасных русских поэтов, создателей нашей лирической песни — А. Кольцова, И. Сурикова, С. Есенина, М. Исаковского — я ставлю имя Алексея Фатьянова. И уверен — по праву.



Михаил
ФЕДОСЕЕНКОВ,
Тюмень

***

Пересекаю мост.
Под ним проходит поезд.
В нём тоже трудят мозг,
Ведя духовный поиск…
Как хорошо певцам,
Поющим в прутьях ивы!
Неведом их сердцам
Разлад с умом пытливым.

БОЛЬШЕ ЧЕМ НЕНАСТЬЕ

Выверты с подвывертом вертя,
Это состояло не из града,
Не из снега и не из дождя,
Но являлось цельною монадой,
Цельною просодией грозы,
Мощью, не имеющей предела!
И уже маячили пазы
Выхода реальности из тела,
И вбирал зияющий разлом
Утлые трёхмерные руины;
И сквозь траур радостный псалом
Начинал кадиться херувимов…

***

Охапку радости
Из леса приволок я.
Прочь, тени старости,
Раздумий чёрных хлопья, —
Душицей, мятою,
Тимьяном, иван-чаем
Хандру треклятую
Мы с сердцем разлучаем!

***

День возник как вымысел,
Лёгкий и свободный.
Словно кто-то вымостил
К счастью путь бесплотный.

Снова станем молоды
И любвеобильны,
Лей лугами золото,
Горняя плавильня!

Скучные-натужные,
Кыш, хандры-холеры,
Пусть хранят ненужное
Коллекционеры!



Александр ФИГАРЕВ, Нижний Новгород

КОНИ

Это было в залесском районе
В первый год после страшной войны —
Возвращались усталые кони
Из чужой и далёкой страны.

Табуном прибежали — живые,
Возвратились домой навсегда.
Искалеченные, фронтовые
Пили — в речке плескалась вода.

Раны зажили их. От надсады
Задыхались на первых порах,
Где на бабах пахали усады,
А в колхозе — на тракторах.

Нагружали их всё же не сразу,
Тех коней, что в боях, — до конца.
Это всё я узнал из рассказа
Мамы, бабушки, деда, отца.

..И рассказывал батя со смехом
Уж немного подросшему мне,
Что как маршал домой я приехал
Из роддома на белом коне!

НАД СТРЕЛКОЮ

Ока уже молчит, а Волга всё не спит.
Качаются огни у пристани зелёной.
Сиятельная ночь над городом стоит,
И лунный ковш звенит водой незамутнённой.

Как хорошо читать над Стрелкою стихи,
Струятся строки их, почти впадая в русло.
Где борский окоём, средь Волги и Оки
Я видел лебедей, средь звёзд летящих грузно.

Ветрами давних лет пахнуло на меня,
Как будто крылья их чудесные страницы.
Над башнями Кремля, что как ларцы хранят
Сокровища веков, — летят и плачут птицы.

***

Нам юность на мгновение дана,
И то, что есть сейчас — неповторимо.
А жизнь скучна, когда она длинна,
А будущее всё равно незримо.

Нелёгок будет и чудесный груз
Воспоминаний, что лежат у сердца.
Я думал, стану старым — застрелюсь,
Чтоб в зеркало со смехом не смотреться,

Где обезьянье гнусное лицо
Насажено на складчатую шею,
Чтоб не вползать моллюском на крыльцо,
Униженному немощью своею.

Хотелось лечь мне у твоих дверей,
Чтоб видела ты юное обличье.
Но становлюсь я с каждым днём мудрей,
И в старости уже ищу величье.

Пусть поведёт меня любви звезда
Через года, события и страны.
Быть может, стану старым, и тогда
Самим собою — настоящим стану.



Светлана
ФИЛАТОВА,
Оренбург

***

Ничто не научит меня говорить красноречивее,
Чем одиночество.
Ничто не научит меня петь мелодичнее,
Чем печаль.
Ну их подальше — репутацию, имя и отчество —
Если отверсты уста, дух живёт, ничего мне не жаль.

Никто не научит меня настоящему счастью,
Мудрее, чем боль.
И умирать ежечасно, чтобы опять восстать,
Чудно научит жизнь. А ненавидеть — любовь.
Новый виток событий — мой новый добрый учитель.
Каждый день приходящий — мой новый мир, я его повелитель.

МОЛИТВА-ЗАГОВОР

Сохрани меня, Боже, от страсти —
Душу казнящей власти,
От лихого ненастья,
От грешного счастья.

Сохрани меня, Боже, от воли,
Одинокой юдоли,
Печальной доли
Да ветра в поле.

Сохрани меня, Боже, от света,
Где не чтимы Твои заветы,
Где не зримы Твои приметы,
Где родного, его нету.

АСЯ

Её сердце осталось гореть:
Он забыл погасить, уходя.
Её голос остался звенеть
Среди гимнов унылых дождя.

Её руки остались лежать
На узорных извивах перил…
Ей хотелось тогда убежать —
Он безжалостно говорил.

Её взор — голубая гладь —
Лёгкой дымкою был одет.
Он остался теперь сиять —
Обжигающе — ему вслед.

Ей бы впору петь да цвести,
Да резвиться шальным огнём…
Но над нею траве расти
И ветрам напевать — о нём.

***

Весна о себе возвещает громко,
Для звонкой капели не жалея монет.
Я опять ощущаю себя ребёнком,
Передо мной — целый свет!

Запевают ручьи и гортанно, и тонко,
Полные соком, готовы цветы расцвести.
Я опять ощущаю себя девчонкой
В начале большого пути.

Впереди — череда поступков беспечных,
Ошибок бесчисленных хоровод…
Но я всё изменю, я исправлю, конечно —
Будет ясен и чист надо мной небосвод!



Алексей ФИЛИМОНОВ,
Санкт-Петербург



ПЕРЕД ПАСХОЙ

Бесшовно день сменила ночь,
И не было крови заката.
О, чем я мог Тебе помочь,
Немой Спаситель нераспятый?

Иуда бредил пустотой,
А Пётр окрестными холмами
Бродил, и говорил «Постой!»
Кому-то в сумерках меж нами.

И только грешная луна
Взывала к тёмному распятью,
Что пребывало в бездне сна,
Ещё не явленное братьям.

Ни капли крови на заре,
Ослов ленивых понуканье,
И город таял в янтаре
В предощущении закланья.

НЫРЯЛЬЩИКИ ЗЕМЛИ

Мне кажется, что мы плывём в земле,
Слезами умягчая наши души,
В камнях, степи, в болотах и в золе,
Ещё не растворяемые сушей.

Пока не вплыли в пепел пустоты,
И чернозём так ласков поневоле.
Цепляясь за осенние кусты,
Под небо выбираемся от боли.

Сжигая ворох листьев в зеркалах,
Дремотой обступивших и огнями.
Нырнём в песок — и хрустнет на зубах
Песчинка, что вставала между нами.

***

Памяти Глеба Горбовского

Последнее пристанище поэта,
Чьё слово вылетало из пращи.
На Богословском кладбище ответа
О дольней жизни Глеба не ищи.

Пристойны сосны, гроб открыт до срока,
И аккуратно взрезана земля.
Прощаемся с молчанием пророка,
Теперь он Аз, а был недавно Я.

И салютуют снежные вершины,
И ангелы украдкой в небеси
Роняют слёзы, словно исполины,
Творившие бессмертие Руси.

Есенин, Блок, Васильев и Горбовский…
Глеб дольше всех у музы был в гостях.
День первый марта. Полдень Богословский.
Восходит в просинь отрешённый прах.



[ЮБИЛЕЙ]

Ольга ФОКИНА, Вологда

Выдающуюся русскую поэтессу Ольгу Фокину поздравляем с 80-летием!

***

Как давно такого не бывало:
Ночь без тьмы, река без берегов,
Небо спит под лёгким покрывалом
Перистых прохладных облаков.
Небо спит, но сон его не долог:
Час-другой, и в золоте зари
Без следа растает лёгкий полог…
Не засни, зари не просмотри!
Дома я. Знакомо незнакома
Белой ночи тихая печаль.
По никем не писанным законам
Лес безмолвен, воды не журчат.
По никем не признанной науке
Не отражены — поглощены —
Хоть кричи! — бесследно тонут звуки
В глубине огромной тишины.
Я не сплю. Гляжу. Не отражаю —
Поглощаю… Иль поглощена?
Не мечусь, не рвусь, не возражаю.
Всем прощаю — всеми прощена.

СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ

Засыхают старые рябины,
Оседают старые дворы.
На вечерней улочке не видно
Ни влюблённых пар, ни детворы.
Никого с гармошкою в охапке,
Никого — с цигаркою во рту,
И никто ни в рюхи и ни в бабки,
И никто — ни в салки, ни в лапту.
Отгорит один закат багряный,
Отыграет розовый другой, —
Не шелохнут белые туманы
Ни вблизи реки, ни за рекой.
Поутру нетронутые росы
Солнцу пить опять — наедине:
Никого — с граблями к сенокосу,
Никого — на скачущем коне.
…Оставляя облака высоки,
Окуная голову в купель,
Редко-редко скрипнет одинокий
Одноногий старый «журавель».
Вскрикнет так, как будто вспомнит юность!
…Только два с краями — не нальёшь:
Полведра — и то большая трудность, —
До избы не скоро донесёшь.
На восьмом десятке молодицы,

Видно, зря живую воду пьют:
Пролетают по небу жар-птицы,
Молодильных яблок не несут.

***

…И вот, с верёвкой на рогах,
Её влекут на бойню.
Не вдруг поняв, что это — крах,
Она была спокойной.
Шагал хозяин впереди,
Знакомо звал Пеструхой, —
Не сомневайся, мол, иди, —
Солил-сулил краюху.
Прошли поскотину, прошли
Березняки, ольшаник…
Куда, хозяин? Неужли?..
Но — чешет за ушами,
Но — гладит-водит по хребту
Знакомою ладонью:
Мол, не волнуйся, доведу!
Ничто, хоть и на бойню.
Но вот — над речкою мосток,
И в зове — нотки фальши.
И сердце ёкнуло, и — стоп:
Нельзя Пеструхе дальше.
И — замотала головой!
И — уперла копыта!
По десять литров на удой
Давать — и стать убитой?!
Пятнадцать выкормить телят
Своих! Да сколь — хозяйских
Мал-мала меньших ребятят!..
Хозяин, не ругайся.
За долгий, по морозу, путь
Сосцы её озябли.
Не злись, хозяин. Где-нибудь
Передохнуть нельзя ли?
Найди от ветра закуток,
Подай охапку сена,
Влей пойла тёплого глоток —
Оттает постепенно.
И, всепрощающе вздохнув,
Как во хлевинке дома,
Приляжет, ноги подогнув,
На свежую солому.
Заснёт… и будет сон вкусней
Июньской первой травки…
Ты пореши её во сне
Обухом из-под лавки.
И разруби, и распродай
Её большое тело.
А там — пируй иль голодай —
Твоё, хозяин, дело.

***

Как в армию повестка,
Где можно пасть в бою,
Страшит меня поездка
На родину мою.
Боюсь узнать: старушки —
Соседки — больше нет,
В утряске и усушке
Прикончен сельсовет.
И нет библиотеки.
И школа — на замке.
И маленькие дети
Не плещутся в реке.
И поле, где когда-то
Училась боронить,
Стоит в кустах лохматых,
И их не победить.
…Давно пенсионерка,
Забытая людьми,
Грозится рухнуть церква…
Господь её храни!
По росписи на стенах
Там надписи гвоздём.
Живу… Не на гвозде, но
Как на гвозде. Живьём.

***

Лютики. Ромашки. Колокольчики.
Роскошь нетревоженной травы.
Босиком ходи — озноб игольчатый
Вдоль по телу, с ног до головы!
Босиком ходи! Не подпоясывай
Сарафан — весёлый размахай.
На приплёсе солнечном приплясывай,
На косьбе румянцем полыхай!
В поле в белый ополдень из полного
Из ведра, попив, ополоснись,
В знойную, струящуюся волнами
Ширь, и даль, и высь — распространись.
И подхватят тело невесомое
Два могучих, трепетных крыла,
И поднимут в небо бирюзовое,

Где когда-то ты уже была:
Может быть, ещё и до рождения,
Может, во младенчестве ещё
Допускал тебя в свои владения
Кто-то всемогущий и большой.
И блаженств земных моря и россыпи
Ты увидишь сверху…
Мир — не пуст!
И в восторге ты воскликнешь: Господи!
И — спасибо! — выдохнешь из уст.

***

Вечная слава! От этих слов
Пахнет дымом и пламенем.
Вечная слава! Пыльца цветов
Красит слова на камне.

Возле могилы, склонясь, стоят
Дети, солнцем облитые…
Вечная слава тебе, солдат,
Спящий под этими плитами!



Геннадий ФРОЛОВ, Москва

ГРИБНИК
Г. Иванову

Но всё, что имеет начало,
Имеет конец. И о том
Сегодня ему прокричала
Кукушка скупым языком.

Он думал о смерти, что ею
Нельзя ничего объяснить.
Он думал о том, что стареет,
О том, что не хочется жить.

Что прежние мысли и чувства
Ушли навсегда от него.
Что нету любви, а искусство
Не значит почти ничего.

Он взвесил всю жизнь пред собою
И честно хотел отыскать
Хотя бы мгновенье какое,
Которое жаль отдавать.

И, сев на траву у дороги,
Без всякого смысла в глазах
Смотрел отстранённо и строго
На пыль на своих сапогах.

***

Заката павлинье цветёт перо,
Морозный плывёт дымок.
Как будто чернёное серебро,
На лужах лежит ледок.

И голых деревьев сырой графит
Лиловым огнём горит.
Но время твоё летит и стоит.
Стоит и опять летит.

И шаг, что ты сделал, — уже не твой.
И прожитый миг — не твой.
И — самая лучшая в мире — она —
Твоя ли была жена?

И тот, кто любил её, разве ты? —
Хоть те же у вас черты.
Ах, полно, да те ли? Да нет, не те.
Пожалуй, совсем не те!

Пушинка, скользнувшая в холода,
Снежинка, в огне руки
Сверкнувшая каплею! — О, куда
Уносит нас гладь реки?

Так, может, и радости выше нет,
Чем радость бегущих строк,
Где роза, летящая за парапет,
Не падает на песок,

Где всадник в пути горячит коня,
От пыли дорожной сер,
Чтоб вновь услыхать на закате дня
Алкеев тугой размер!

И шлема на солнце пылает медь!
О, эта шальная власть —
Движеньем пера отодвинуть смерть
И розе не дать увясть!

Но чем мы заплатим за этот дар?
Заплатим за этот дар?
Ведь даром ничто не дается — недаром
Бросает нас в дрожь и в жар!

Так жизнью заплатим — а чем ещё? —
Заплатим за всё про всё.
Да! жизнью своею и только ею
Заплатим за всё про всё!

Кому же заплатим — а ну, ответь! —
За то, что верней всего?
Конечно, не смерти, поскольку смерть
Не требует ничего…

А той мимолетности бытия,
Движенью от Я к Тебе
И дальше, туда, где ни ты, ни я —
Уже не нужны себе!

***

Мне снятся мёртвые друзья
Уже какую ночь.
Но если в этой жизни я
И мог бы им помочь,
То там, где их скрывает темь, —
Забывшийся во сне, —
Зачем я нужен им? Зачем
Идут они ко мне?
Зачем они, потупив взгляд,
Присев в моих ногах,
Со мной беспечно говорят
О прежних пустяках;
Твердят мне с жаром молодым
До самого утра
О том, о чём давно бы им,
Как мне, забыть пора?

Как мне поверить, что они
Сквозь дали и года
Лишь для бесцельной болтовни
Являются сюда?
Иль правда то, что до сих пор
Я отгонял, как мог, —
И этот лёгкий разговор —
Их ласковый намёк?
Намёк на то, что даже там,
Где все они сейчас,
Никто не помогает нам
Избавиться от нас;
Что и за крайнею чертой,
От ужаса дрожа,
Наедине сама с собой
Не может быть душа?



Александр ХАБАРОВ,
Домодедово, Московская обл.

СЛОВО БОЙЦА

Я слова подкрепляю делом,
оттого-то и жив едва.
Над землёй, как над мёртвым телом.
склонилась моя голова.

Обнимает меня осока,
лижет ноги пёс-ветерок.
Я лежу над землёй высоко,
далеко от меня восток.

Льётся дождик за мятый ворот,
ворон ходит вокруг меня.
Я в руинах лежу, как город,
нахлебался воды и огня.

Может быть, посреди травинок,
честь по чести грядёт исход,
и найдёт меня светлый инок,
а быть может, и не найдёт.

И останусь в миру, как в храме,
где молитва — сплошь немота.
Подкрепляя дела словами,
я уже не умру никогда…

РУССКИЙ ВОЛК

Я не учил фарси и греческий,
не торговал в Дамаске шёлком;
Мой взгляд почти что человеческий,
хотя и называют волком.

Не вем ни идишу, ни инглишу,
того, на чём вы говорите,
но всех волнует, как я выгляжу,
когда завою на санскрите.

Моя тропа, как нитка, узкая,
моя нора в сугробе стылом.
Моя страна почти что русская
в своём величии унылом.

Служу ей только из доверия
к её поэтам и пророкам;
моя страна — почти империя;
и не окинешь волчьим оком.

Ни пустыря для воя вольного,
или избушки для ночлега.
Трава для полюшка футбольного.
Снежок для волчьего разбега.

Быть может, я ошибся адресом,
когда кормили волка ноги,
и не расслышал в пенье ангельском
нечеловеческой тревоги.

Таких, как я, шесть тысяч выбыло
от пуль, ножей и алкоголя;
судьба в империи без выбора,
зато в законе — Божья воля…

С востока пыль, на юге марево,
на западе — разврат, цунами…
У волка служба государева
Ходить в поход за зипунами.

Таких, как я, осталось семеро —
В бронежилетах человечьих.
Я русский волк, идущий с севера
За теми, кто в мехах овечьих.

СМЕРТЬ

Как ни вертись, а умирать придётся…
Да где же смерть? А вот она, крадётся,
на лимузине поддает газку,
с подельничком стаканчик допивает,
кудлатым псом у дома завывает
и тянется к запястьям и к виску.
Она живёт в тепле, светло и сыто,
фигурки наши лепит из пластита,
обводит красным чёрную беду,
железо плавит, мылом трёт швартовы,
скребётся в дверь, и мы уже готовы
поверить в технологии вуду,
в судьбу-злодейку, в неизбежность рока,
в бессмысленные речи лже-пророка,
в безумный сон, в газетный полубред…
Листаем гороскопы, рвём страницы…
Могли бы жить, как лилии и птицы,
И знали бы, что смерти вовсе нет…

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Легка моя жизнь, и не ноша она, не дорога,
Река безымянная: сохнет, осталось немного…
Качаются в ней пароходы, размокли бумаги;
То в греки течёт из варягов, то снова в варяги…

А я загребаю то правой, то левой, однако…
То с берега машут платками, то лает собака,
То женщина плачет, что я не плыву — утопаю,
Спасателей кличет, а я уж двумя загребаю…

Не нужен спасатель, родная; глубок мой фарватер;
Но я же за круг не цепляюсь, не лезу на катер;
Плыву себе тихо, без цели, хватаясь руками
За воды, за звёзды, за небо с его облаками…

ХОТЕЛОСЬ БЫ…

Хотелось бы, конечно, всем поэтам
припасть душой к приятным сим предметам:
банальностям, фуршетам, шашлыкам,
к холодным винам и горячим водам,
к валютным вкладам, к избранным народам,
и даже, в худшем случае — к волкам…

Но уберег нас Бог от этой страсти —
от пыльных дач и от обильной власти,
от терпких вин, от жирных шашлыков —
хватало в жизни кроткой и короткой
гранёного стакана с тёплой водкой
и песен в исполнении волков.

ИНТЕРНЕТ

Полюбилась мне странная эта страна,
Где теням, словно тварям, дают имена
И дела заменяют словами.
Не ищите меня, я ушел в интернет;
Говорят, там ни смерти, ни времени нет;
Мы не встретимся с вами.

Может быть, и найдется какой-нибудь чат,
Где угрюмые люди ночами молчат,
Не тревожа ни мышек, ни клавиш;
Не вините меня, я не мог не уйти —
Христа ради прошу в социальной сети:
Ну-ка лайкни, товарищ…

Красота в пустоте, красота in the Space,
Мир спасает она, а меня — интерфейс
От разлук, именин и поминок.
Жизнь даётся, конечно, но это обман,
А у смерти — пронзительно синий экран,
Как сказал один инок…



[ЮБИЛЕЙ]

Геннадий ХОМУТОВ, Оренбург

Замечательного русского поэта Геннадия Хомутова поздравляем с 80-летием!

САМОДЕЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА

Скорей, скорей, скорей оттаивайте,
Чернила наши самодельные.
И ничего вы не утаивайте
Про тыловые дни метельные,
Про наши беды неисчётные,
Про будни строгие и хмурые…
Скорей, оттаивайте, чёрные!
Оттаивайте, красно-бурые!
Из бузины и жирной сажи,
Из бурой свеклы и из глины!
И мы напишем,
мы расскажем
Свои житейские былины!
И нам чернила намекали
(Так нам казалось каждый раз),
Как будто перья мы макали
В траншейную слепую грязь,
В огонь и дым больших пожаров

Той, фронтовой
родной земли.
И строчки чёрные бежали,
И строчки красные текли.
А до победы долго топать
Солдатам нашим
до Берлина…
В чернилах копоть, копоть,
копоть,
Огонь и дым,
и кровь и глина…

***

Валерию Кузнецову

С сорок первого года пусты закрома,
С сорок первого года до сорок шестого.
Вот я в школу иду вдоль забора пустого,
Вот я в школу иду.
Там — еда задарма.
Вот налево сады, а направо — склады.
— Эй, склады! —
Заору я в окошко худое.
И голодное эхо и, наверное, злое
Спросит коротко:
— Это ты?
Это я!
Это я на учёбу иду.
Это я тороплюсь и шагаю, шагаю.
Повторяю короткий стишок на ходу.
Но о школьной похлёбке не забываю.
Там сейчас повара над едою мудрят.
Чтобы мы хорошо продолжали учиться,
Чёрным хлебом накормят ребят
И похлёбкой дадут насладиться.
О! Спасибо вам всем.
Вы смогли наскрести
На ребячьи обеды в те годы далёкие,
Оставалось нам самое лёгкое —
Только ложки с собой принести.

***

Мы уже не маленькие —
Курим!
Мы уже не маменькины —
Третий класс!
Мы уже переболели корью.
Даже школа не могла

Без нас,
Не достала к Новогодью
Ёлку.
Мы берёзу сами принесли.
И у взрослых сразу сердце
Ёкнуло:
— Вот и дети наши подросли…

ЖЕНСКИЙ БАРАК

Был женский весёлый барак
Причиной уличных драк,
Причиной семейных ссор,
А каждый туда был зайти не дурак
И дверь за собой — на запор.

После войны это было, давно,
В краю стариков и старух.
И там холостячки глушили вино,
Горланили песни до двух.

А им подпевали чужие мужья,
Своих голосов не тая.
Об этом гуляла людская молва,
Писали на стенах барака слова,
И бабы оконное били стекло,
И в этом бараку всегда не везло.

Я грустно смотрел на полночный погром
И думал всегда об одном:
У взрослых людей нехорошая страсть
Стекло драгоценное бить.
Его ж невозможно достать и купить
И даже негде украсть.

САПОГИ

Анатолию Передрееву

Я сапоги подробно изучал.
Я пальцем по подошвам постучал.
Смял голенища, осмотрел подковы,
Внутрь заглянул:
а гвозди не торчат?
Вот немцы — тоже мастера толковые,
И немцы могут сапоги тачать.
Потом обулся, вышел за порог.
Пошёл я в семилетку на урок.
А вся округа белою была.
Вся в инее, как будто в зимних росах.
Единственная улица села
Свела меня с молоденьким морозом.
Мороз у самых ног моих звенел
И на куски на лужах рассыпался.
И белый иней с веток осыпался,
И ветер длинно в проводах гудел.
Навстречу мне шагали земляки,
Спокойные, дотошные сельчане.
— Ишь, у него какие сапоги! —
Они вопросы сыпали свои
И слышали мои ответы веские.
Сказал я бабам:
— Сапоги немецкие!
Товарищам похвастался:
— Мои!
И был тогда от радости я слеп.
Глаза мои — куда же вы глядели?
Я знать не знал, что через три недели
Мать обменяет сапоги на хлеб.



Владимир
ХОХЛЕВ,
Санкт-Петербург

ПОЭЗИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(Отрывок, продолжение. Начало в ДП — 2017)

VIII

Он признался… Она, не присев на пустую скамью,
поплыла в направлении, заданном жестом поэта.
Голубей разогнав шумно-крылых большую семью,
Он за ней поспешил, ожидая простого ответа.

За деревьями Русский музей жёлто-белым парил,
перед ними гремели движками машины-ракеты.
Клоун в маске, с детьми забавляясь, прохожих дурил,
из «Бродячей собаки» толпой выходили поэты.

Кто-то в рифму читал про надёжных друзей и подруг,
кто-то слушал восторженно, радостью чувства встречая.
На огромной длины поводке чей-то преданный друг
бороздил по кустам, как обычно маршрут помечая.

IX

Когда под утренний туман пробился миг восхода солнца,
и невский воздух распрощался с гудком последним корабля,
Он отворил в огромный мир своё мансардное оконце
и обнаружил в перспективе, что белым светится земля.

Позавтракав в кафе омлетом, взбодрившись чёрным, крепким чаем,
Он в чисто вымытый троллейбус на Первой линии влетел.
Три поливальные машины, все понимания за краем
оставив… мыли мыльной пеной асфальт до блеска — он блестел.

Кораблик на Адмиралтействе поймал нитеобразный лучик
под парус, золочёным боком его лениво отразил.
Сломался луч, на правый берег, используя удобный случай,
перелетел, вскочил в троллейбус… Его внезапно ослепил.

X

Она кораблик развернула, во сне кружась над острой шпагой,
луч переправила к фонтану, разбила в радугу над ним.
Спустилась… сон с себя стряхнула, умылась разноцветной влагой
и стала молча ждать свиданья… как договаривалась с Ним.

Они гуляли по дорожкам… Он не решился снова ставить
вопрос под сенью сна деревьев… Остановились у Петра.
Могучий конь терзал копытом змею, готовую ужалить,
Пётр руку простирал над миром и суетой забот утра.

— Тому, кто смог в меня войти, обратно в мир уже не выйти!
Готов пожертвовать свободой? Покой оставить навсегда?
Он без смущения, серьёзно, остерегаясь мыслей прыти,
ответил, взглядом улыбнувшись: — Готов, конечно! — Значит, да!

XI

Кто пережил мгновенья счастья, тот знает, как это бывает…
как убыстряется ток крови, и частым делается пульс.
Как над землёй, забыв про тело, душа распахнутой взлетает
и где-то там, под облаками, трепещет на ветру, как гюйс.

Кто без сомнений согласился на путь труднейший и тревожный,
готов в неведомом, далёком искать поэзий жемчуга…
тот должен помнить — из историй — закон, как будто непреложный:
играя в неземное счастье, жди козней на земле врага.

Он не заметил, как злорадство преобразило глаз змеиный,
как камень-гром заколебался, и Пётр привстал на стременах,
как изменились птиц движенья и говор сонный голубиный,
как задрожали в окнах тени, и смял траву холодный страх…

Они взлетели над Сенатской, достигли высоты зенита,
вниз с восхищением всмотрелись — в любимый городской простор.
Их окружала, не рифмуясь, свободных рифм большая свита…
Он записал на тверди неба любви жестокий приговор.

XII

Санкт-Петербурга эволюций не обойти вниманьем прессе.
Он то лиричен, то логичен, то театрально-простоват,
То он бунтарь с тяжёлым шагом, то лёгок в самом лёгком весе…
И скромен до уничиженья, когда ему кричат: Виват!

Всю ночь под рынды караванов хор иностранных интонаций
ему пытался под давленьем чужие воли навязать.
Он на Неве за три столетия провёл так много навигаций,
что не боялся быть собою… и никому не подражать.

Мост Большеохтинский под утро, свой разводной пролёт устроив
в горизонтальном положении, собой два берега связал.
Хрусталь воздушных ожерелий, в воде пространственно удвоив,
он слово — не учтя советов — о городе своё сказал.

XIII

Родился текст большой поэмы… Она перечитала дважды,
сказала — что не так, где плохо, что нужно править, что менять.
Он, одержимый вдохновением, томимый стихотворной жаждой,
писал ещё — она читала… Как в этом состоянии спать?

А город спал, перед рассветом совсем по-детски безмятежно…
Лишь огоньки такси мелькали, день к ночи приближая… Не
спалось десятерым атлантам, держащим небеса прилежно
уже не первый век… Дремала река в туманной пелене.

Он наконец устал… сложились листы фантазий, ночь сомлела,
с пера в чернильницу слетели две капли призрачных чернил.
Она чернильницу закрыла, его своим теплом согрела.
Уснула тоже… На востоке в полоску неба день светил.

XIV

Театра явь вечерним ветром сдувает пыль души дневную,
острит притушенные чувства, сознанья убыстряет бег.
Театр уводит в перспективу — пространственную, временную,
грустит и плачет, веселится, мечтает громко, любит всех…

Антракт… Она осталась в зале, Он вышел покурить один —
Стоял-мечтал, искал знакомых, лепнину изучал в фойе…
Заметил, как из тёмной ложи на свет явился господин,
одетый по последней моде, в известном всеми ателье.

Франт подошёл, склонился к уху, как заговорщик зашептал:
— Я ваш! Вы дивный мастер слов поэтических игры!
Я не поклонник Каллиопы, но плакал, когда вас читал!
Я в высший свет вас проведу… хоть в королевские дворы!

XV

Он молча слушал незнакомца — глазам, ушам своим не верил,
Морозом жгучим спину, плечи сковал животный, липкий страх.
В зрачках врага — как в бездну ада — двойные открывались двери…
Он мял программку постановки, как будто не в своих руках.

Франт ждал решения поэта… Навязчивый и не свободный
третий звонок звенел, звенел… но был совсем не слышен им.
Дрожа в коленях, раскрасневшись, — как человек совсем безродный, —
кивнул в согласии поэт… Соблазн могуч, непобедим!

Себя одернув, — как от беса — он отскочил от театрала,
сказал: — Не нужно, это лишне… Надеюсь, вы меня простите?
Враг снова с приступом — открылся, сорвал с лица своё забрало.
— Моя визитка с телефоном… Не тороплю… Пока… Звоните!

XVI

В подсветке Невский театрален — как продолжение балета,
Здесь ароматы впечатлений свиваются в один букет.
Он изменился в этот вечер — возжаждал славы, звёзд и света,
который высшим назывался, хоть в нём совсем ничтожный свет.

Она, конечно, постаралась Его настроя не заметить…
вела себя непринуждённо, укрылась в головную боль.
Ей стоило больших усилий холодный взгляд любимых встретить
глаз… и войти искусно в без чувства греющего роль.

А Невский жил красивой жизнью — не уставал, не засыпая…
Неон реклам с неоном спорил преуспевающих витрин… Машины
шли, играя в фары, зевак ленивых подгоняя…
Бравурной музыкой прохожих звал каждый модный магазин.



Александр ЦИРЛИНСОН,

Новотроицк, Оренбургская обл.

***

Тёмной ночью
белой вьюгой
Занавесилась дорога.
Провожаем мы друг друга
От порога до порога.

Нам никак нельзя проститься:
Вьюга плачет и хохочет,
И кружится, и кружится,
Поджидая одиночек.

ЗВЁЗДЫ

Сегодня я думал о звёздах,
Горящих в немыслимой мгле,
Которые рано ли, поздно,
Свой свет протянули земле.
Сегодня я думал о счастье
Родиться, и жить, и гореть.
И пусть не всегда, пусть не часто,
Но в звёздное небо смотреть.

Какой же всесильный Всевышний
Рискнул этот мир сотворить,
Когда даже маленькой жизни
Хватило, чтоб вечность прожить!

***

Борису Чичибабину

Человек стоит у дома,
А вокруг — зима.
Человеку всё знакомо —
Ветер, снег и тьма.

Человек зарылся в ворот.
Зябко пальцы сжал.
И шагнул в пургу, как в омут,
И пургою стал.

Он идёт — угрюм и светел.
Ветер рвёт пальто.
Человека в целом свете
Не зовёт никто.

Ни любимой нет, ни друга.
Всё за тенью лет.
Рядом только тьма, да вьюга,
Да неясный след.

Ветер то сильней, то тише.
Снег летит дугой.
Человек, наверно, вышел
Подышать пургой.

***

День прошёл. И не заметил.
Что о дне печалиться?
Я за жизнь свою в ответе,
А она кончается.
Годы — бусинки на нитке —
На судьбу нанизаны.
Были разные попытки
У судьбы записаны.
Радости и беды — были.
Были дни невзрачные.
Но — любили мы, любили,
Не ходили мрачными.
Миг — и жизнь твоя короче —
Из мгновений соткана.
Ты её продлить захочешь,
А она закончена.



Евгений ЧЕПУРНЫХ, Самара

***

У английской королевы
Есть поэты при дворце.
А у этой бедной девы
Лишь румянец на лице.
У английской королевы
Есть болонка и бульдог.
А у этой бедной девы
Лишь косынка и платок.
Нам к английской королеве
Не попасть за сотню лет.
Но и к этой бедной деве
Тоже что-то ходу нет.
Потому и плачет дева,
Плачет дева на крыльце.
Горько плачет королева,
Словно дева, во дворце.

***

На границе бытия
Есть изба на курьих ножках.
Это бабушка моя
Из неё глядит в окошко.

Помню, в юности своей,
Если был часок в излишке,
Я частенько бегал к ней
Перекинуться в картишки.

Нынче нету куражу,
До картишек нет охоты.
Молча рядышком сижу.
Может, чаю?
Что ты, что ты.

Может, сладких пирогов
Или водки?
Что ты, что ты…
Вдоль болотных берегов
Сплошь туман и позолоты.

Чьи-то рыла и хвосты,
Чьи-то рожки и бородки
Промелькнули сквозь кусты…
— Ладно, водки, значит, водки!

Наливай и подноси
В позолоченной посуде.
…Может, скоро на Руси
Духа русского не будет.

Бытие, небытие.
Тьфу и только — посерёдке.
Слишком близко от неё
Эти рожки и бородки.

Слишком хрупкие мосты,
Слишком топкие болота.
И летит из темноты,
Всё сметая,
Позолота.

***

Потеряла мужика,
Скромного такого.
Призадумалась слегка:
Где найти другого?
Подошла к окну на миг:
Соловей поёт.
«Где он нынче, мой мужик?
Может, водку пьёт?»

Ладно, не тоскуй навзрыд,
Больше не дури.
Вон на лавочке сидит,
Подходи — бери.

***

Ютимся в очевидной тесноте,
Где речь ручьёв смешалась с нашей речью.
Вот птица прокричала в высоте,
Задев крылом о душу человечью.

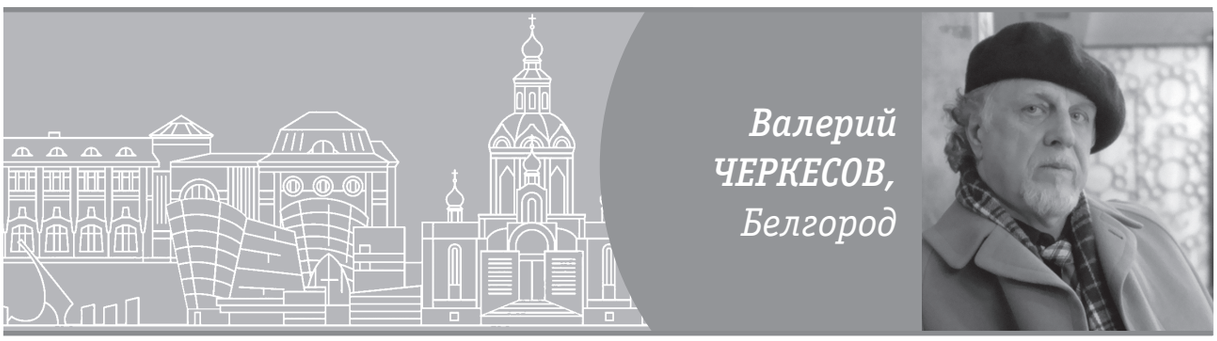
Дома пыхтят, набычившись лоб в лоб,
Как паровозы, горячи и громки.
И даже на погосте новый гроб
Кладут промеж иных, а не в сторонке.

Такая теснота, что не пойму,
Как в твердь земную дождик выпадает,
Как слышно, где смеются, где рыдают,
Как день, не заблудившись, входит в тьму…

На сто ладов взрывается эфир,
Помноженный на тысячи коробок.
И трезво мыслить: только тот не робок,
Кто хлещет исключительно кефир.

И в веере раскрывшегося дня
Вы, словно искра, мечетесь в пожаре.
Такая теснота! Но на меня
Взгляните: я один на тротуаре.

Деревья голы. Улица пуста.
Летит листок, как маленькая птица.
И я могу маленько потесниться
Для вас и для летящего листа.



Валерий
ЧЕРКЕСОВ,
Белгород

ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Днём — на «железке», на мануфактуре,
к ночи раскладывали лото.
И не роптали на жизнь, ну а кто
вдруг начинал, тут же в голос бабули
шикали: «Что это ты, понимаешь,
жалишься, ведь не война, не война-то!..»
И позволялось лишь тёте Наташе,
вдовой, рыдать, как весной в 45-м.

***

Каждый кулик своё болото хвалит.

В моём болоте соловьи поют
заливисто, как в тридесятом царстве,
черёмуха и яблони цветут
без разрешения муниципальной власти;
на лавке маракуют мужики,
чем наступление весны отметить,
и дева, ненавистные чулки
оставив дома, расставляет сети
невидимые; я домой иду
уставший, будто ломовой коняга,
чтоб вновь нырнуть в болото поутру.
Я — не кулик, а вот хвалю, однако.

***

Знаю, за что…
Ещё бы ведать, зачем
испытания посылает —
потери близких.
И всё же
у седых у храмовых стен
Ему я кланяюсь низко.

Есть надежда,
что поймёт и простит,
что не отнимет последнего —
этой надежды.
Вот Он с иконы
посветлевшей глядит
и слезятся
Его милосердные вежды.



Маргарита ЧИКАЛИНА,
Киров

***

По заросшей лестнице пройдёшь,
Увидав её издалека.
Прошуршит по небу то ли дождь,
То ли крылья тронут облака.

Вот и всё, и нет ни слов, ни сил.
Только и запомнишь, что — «живу»,
Только и сумеешь, что носил,
Сбросить на иссохшую траву.

И когда придёт дурная весть,
Полыхнув оставленным быльём,
На ступени сбитые присесть,
И молчать, и думать о своём.

Чтоб качались клёны, как в бреду,
Сучьями корявыми грозя,
На краю, где страшное «дойду»
Тяжелей подспудного «нельзя».

Сладко им, не ведающим зла,
Горечью до корня изойти,
Отмеряя кольцами ствола
Вехи непройдённого пути.

Видишь — ничего и не сбылось,
Но уже не горько от того,
Словно ты и смерть прошёл насквозь,
Ощутив с ней тайное родство.

***

Это мы, Господи!..
Константин Воробьев

В небольшом библиотечном планетарии,
На десятом непромытом этаже
Мне три раза рассказали про Швейцарию,
А к чему — теперь не выдумать уже.

В планетарии незапертые форточки,
Подоконники с облезлой белизной.
Мы, как дети, у стены сидим на корточках,
Рассуждая про войну перед войной.

Всё запомнится от ферта и до ижицы:
Синий месяц в отражении стекла,
Зоопарковые книжечки и книжицы
На алтарных незастеленых столах.

И спокойствия не выдумать красивее,
И печали безнадежнее, чем та…
Это мы — пока ещё такие сильные —
У подножия последнего креста.

***

В моём как будто уютном мире
Горят торшеры в согретых кухнях,
И пахнет дымом в сырой квартире,
И тесто в кадке закрытой пухнет.

В моём созвездьи как будто праздник,
Столы накрыты — сыры, компоты.
И я гостей пригласила разных,
Но всё как будто бы нет кого-то.

Застолье. Пир виноградных песен.
Салат прокисший. Угар дремучий.
И мир по-прежнему так же тесен,
И правит им то судьба, то случай.

А в небоскрёбном — напротив — доме
Пластает небо по крыше ветер.
Срывая камни с разбитых кровель,
Ломая рёбра промокших веток.

И вроде некому здесь перечить,
Своя мелодия ближе к телу.
Но так хотелось успеть за вечер
Всё, что за жизнь успеть хотелось.

***

Светлым снегом улицы припорошены,
И беда живёт за семью замками.
Так и мы, любимая, лишь к хорошему
Привыкаем, Господи, привыкаем.

…И везде он — твой бесконечно маленький,
Безнадёжно великий, железно-хрупкий…
Под косынку — косы, на ноги — валенки,
И опять в ворота да в переулки

С нутряным — весна непременно сбудется,
Расцветут пролески, заплачут крыши.
Потому тебе и поётся-любится,
Потому-то ты и живёшь, как дышишь.

И неважно, что там случится в будущем —
К январю, июлю, апрелю, маю…
Я ведь знаю, какими словами любишь ты,
А какими — плачешь. И мир твой — знаю,

Что он весь — обломок крылатой лопасти,
Где блестит, на ветру искажаясь, солнце, —
Не стоит у края бездонной пропасти,
А сорвался
или
вот-вот
сорвётся.



Наталья ЧИСТЯКОВА (МАЗАЛЕЦКАЯ)

Балашиха, Московская обл.

ОТЦУ

Поминальный августовский день.
Для других — ничем он не отмечен,
А меня сейчас накрыла тень,
И на сердце опустился вечер.

Оттого в прощальной тишине
Больно сердцу, полному любовью,
Так мучительно, так больно мне
К твоему склоняться изголовью.

На слова с тобой скупа была,
О войне расспрашивать не смела.
Я тобою только и жила,
А ушёл — и я окаменела.

ПЕРЕВОЗЧИК

Через речку перевозчик
За пятак перевозил.
И весла весёлый росчерк
Развесёлое сулил.

Мне, девчушке, снились ночью
Вёсел смелые круги.
Я кричала что есть мочи:
— Мама, мама, помоги!

Что круги? Куда ни гляну,
Хоть реви, но это быль —
Всё войны живые раны:
Из-под брючины — костыль.

Я божилась, что не стану
В топкие глаза глядеть:
Он кладёт бинты на рану,
Начинаю я — белеть.

Сердце выбьет многоточье
Ночью сквозь немую стынь:
— Бедолага перевозчик,
Перевозчик-поводырь…

СОЛОВЕЙ

За духмяною калиной
Старосветский соловей
Песней дивною, старинной
Сладко потчует людей.

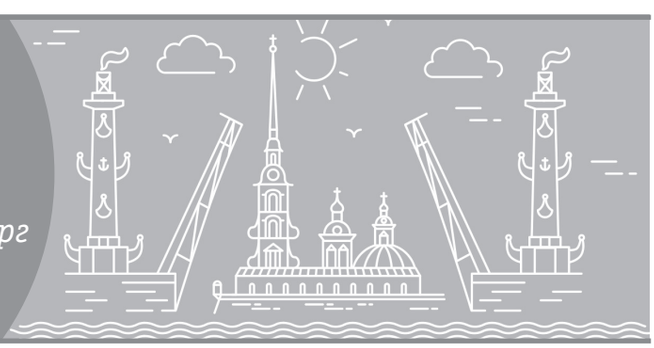
Неприметная пичуга
К микрофону вновь встаёт,
И одна на всю округу
Ночью душною поёт.

Про далёкую чужбину,
Про житьё-бытьё на ней.
Как поёт из-за калины
Одинокий соловей!

И Россия слышит это,
И не спит в слезах она.
У певца и у поэта
Жизнь одна и ночь одна.



Олег ЧУПРОВ,
Санкт-Петербург



ЖАВОРОНОК

Ветер детства
Взъерошил мне волосы…
С первой ноты певца узнаю.
На серебряной ниточке голоса
Крепко держит он душу мою!

В звонком горлышке
Звука нет лишнего,
И оркестры ему ни к чему…
Как бесценную милость Всевышнего,
Песню жаворонка приму!

Не под силу орлу или соколу —
Так внезапно, на радость другим,
Взмыть в зенит
И простору высокому
Исполнять удивительный гимн!

И душа оживает усталая
И вбирает в себя небосвод…
Не в кремлёвском дворце —
Птаха малая
На ладони у Бога поёт!

СТАРУХА

В этой всеми забытой деревне
Доживает свой век одна…
Днём на улицу выйдет —
И дремлет
На завалинке у окна.

Молча сварит картошку на ужин,
Зыбким взглядом
Скользнёт по стене —
Там, где выцвела карточка мужа.
До сих пор он на той войне…

И под сводом
Пустынного крова
Тишина плетёт свою нить…
Померла у соседей корова,
Не с кем стало поговорить.

Ночью вздрогнет
От странного стука,
Перекрестится, сядет впотьмах.
До утра подушку,
Как внука,
Держит бережно на руках…



Ольга ШАБЛАКОВА, Брянск

ЛЕСНОЙ ОБЕЛИСК

Всё лето — жара, и грибов мы почти не видали.
С дождливой погодой надолго пришли холода.
Но вот в октябре прояснилось, затеплились дали,
Листва пожелтела, и стали пустеть города.

…Скучать на обочинах брошены были машины.
Хоть тара грибная подчас оставалась пуста,
В лучах восходящих сияли деревьев вершины,
И верилось: где-то таятся грибные места.

Нам сладко дышалось в лесу на полянке пригожей,
Где мы, отдыхая, болтали о разных вещах.
Порою плутали, смотрели на солнце тревожно,
Ловили жужжанье моторов, дорогу ища.

…Поросшие мхом и травою встречались воронки —
Тяжёлые раны давно миновавшей войны.
И мне представлялось, что где-то над нами, вдогонку,
Гудящие юнкерсы мчатся, и нет тишины.

Но мирно в низинке росли, разбредясь, сыроежки,
Их красные шляпки под листьями были видны.
И вдруг ты позвал меня. Я обернулась, помешкав.
Холодным ознобом меня обожгло со спины.

О да, я слыхала о том, что в сражениях часто
Без вести бойцы пропадали на страшном пути.
Но чтоб среди леса… могила… веночек цветастый…
И знак «под охраной» — такое случайно найти?

Хранил обелиск под звездою фамилии, званья.
Высокие сосны почётный несли караул.
Над теми, кто жизни отдал, выполняя заданье,
Лес ветви раздвинул, осеннюю синь распахнул.

А мы всё стояли в раздумье, не ведая сами,
Какими путями судьба нас сюда завела,
Где нет и тропинки, но явственна связь с небесами,
И вечная память о павших легка и светла.



Николай ШАМСУТДИНОВ, Тюмень

***

С санкции уязвлённой души, наводнив окрестности,
В стужу, воспоминаньями, не убывает вечер
С обмороженным взглядом, пока, репетитор местности
В низкорослых конструкциях, воет промозглый ветер.

Там простуда в прохожих возделывает свой образ, там
Даже клякса в ненастном письме обладает зрением,
Погорев на ином… Недолюбливаемый возрастом —
Узок в прописях, «облагороженный поражением»,

Чаще — перед собой… Упиваясь чужой рефлексией,
Увлажнённой слезами, теряют в… Сплошное скерцо —
Нежность долго была, повторяю, твоей профессией,
Чтобы с лёгкостью вытряхнуть, рдея, меня из сердца.

Та же стужа, в залысинах, с дьявольским назначением,
Вымораживает нас… Материя, но — без правил,
Жизнь, с уликами, — ежеминутное обличение,
Чьи пределы, в унынии, ангел давно оставил,

И зима выпадает в осадок. По праву сильного, —
Пока ты не уходишь, подняв неизменный ворот,
Закусив помертвевшие губы, груба, до синего,
Гололедица бьёт, обмирая в падучей, город…

***

За кольцевой, не греша, между тем, на долю,
Набело пишет зима по ночному полю,
Не достигая замкнувшегося бетона,
В яростных красках помешанного неона

Над мостовой, проседающей прямо в лица,
Тянущей вниз… и сосулька — самоубийца —
Из любопытства ли? — свешивается с крыши,
Ибо нет искуса радостней, слаще, выше…

Внутренний визг её невыносим для слуха…
Жизнь неизменно ведёт к энтропии духа,
Тем объяснимей, что в шумном письме, близ свечки,
Перегибают ландшафт по ревнивой речке.

Как и её, не найти на промозглой карте
Время, осевшее серым сугробом в марте,
Где из него вытаивают, забыты,
Воспоминанья, обеты, грешки, обиды.

Что нас, под занавес, переживает, кроме
Зимнего почерка? — непослушанье крови,
Тянущей в белое, за кольцевою, поле,
Где одиноко — до страха, до спазм, до боли.

***

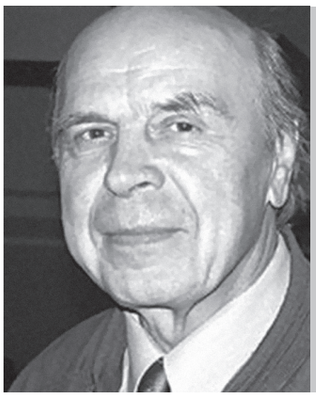
В знойных руинах, не попирающих твердь,
Но — увлекающих ввысь,
миру солнечных пиний
В магии ласковой хвои — «Мгновенная смерть —
Высшее счастье для жизни…» — ответствует Плиний.

…В очереди к убывающей вечности, день
Ломится в окна, и, от попечения тюля,
Выйдя на солнце, врасплох застают свою тень —
К ревности иллюминированного июля.

В прятках с душою, забывшей себя, на пиру
Радостной пластики, выпукло дышат с фронтона,
При родовой молодой неприязни к перу,
Девы и лозы — лазутчики Анакреона.

Как ни юродствует солнце, дожди ни секут,
В щелях язвя, — в новизне узнаванья прелестней,
Так гулко пьют и в тимпаны, без отзыва, бьют,
И от ударов судьбы заслоняются песней,

Что их пугаются, хвойную тень теребя,
И в летаргическом времени
искус сатира,
Перемещаемый взгляд, обращённый в себя,
Видит и горы, и море — лазутчиков мира…



[ЮБИЛЕЙ]

Валерий ШАМШУРИН, Нижний Новгород

(80 лет)

Андрей ШАЦКОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПОЭТУ ВАЛЕРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ ШАМШУРИНУ

Уважаемый Валерий Анатольевич!

По поручению попечительского совета и редакционной коллегии «зеркала отечественной» поэзии — ежегодного альманаха «День поэзии — XXI век», позвольте поздравить Вас, нашего постоянного автора, с восьмидесятилетием!

Кажется особенно знаковым, что юбилей исконно русского поэта приходится на Год российского театра (в скобках отметим — поэтического).

Русь — моя открытая рана,
Боль жива и покоя нет.
И лежит на траве кургана
От заката кровавый след —

под этими словами счастливы были бы подписаться тысячи отечественных поэтов. За свою творческую жизнь Вы — автор популярных поэтических книг, успели много сделать для сохранения богатства традиций нашего великого русского языка и отечественной литературы.

Именно поэты, которые, как известно, являются «орудием языка» всегда должны быть верны завету великой Анны Ахматовой: «И мы сохраним тебя, русская речь, // Великое русское слово».

Как известно, возраста для поэта не существует, а Ваши удивительные энергия и энергетика позволят Вам ещё долго определять направленность нашей великой русской литературы и её нижегородского вектора.

Информируем Вас, что по решению сопредседателей попечительского совета альманаха «День поэзии — XXI век», директора Национального лермонтовского центра — М. Ю. Лермонтова и президента литературного фонда «Дорога жизни» Д. А. Мизгулина Вы представлены к награждению юбилейной медалью «Михаил Лермонтов» ассоциации «Лермонтовское наследие».

Позвольте пожелать Вам продолжения творческого полета, всеобщей любви, новых книг, а также счастья и здоровья Вам и Вашим близким.

19 марта 2019 года

ВОЛЖСКИЕ ПРИСТАНИ

Глядят по-старушечьи пристально
Крылатым «Ракетам» вослед
Бессменные волжские пристани,
Забывшие, сколько им лет.

Стоят теремки деревянные,
Старинным постройкам сродни,
И в ночи глухие туманные
Особо уютны они.

Любому приют они исстари
Среди полуночной воды.
За ними откосы лесистые
И улочек сельских ряды.

Повеет то клевером скошенным,
То хлебным дымком от села…
Надраены, как и положено,
Щербатые колокола.

И многого мне не хватало бы,
Как будто полжизни проспал,
Когда бы на старые палубы
Я в детстве порой не ступал.

Когда бы опоры испытанной
Не чувствовал я под собой
На Волге, ветрами пропитанной,
Зовущей в простор голубой…

И вновь добродушно и пристально
Глядят торопыгам вослед
Бессменные волжские пристани,
Забывшие, сколько им лет.

И жизнь молодая, широкая
Ведёт свой стремительный счёт.
И Волга своею дорогою
Из вечности в вечность течёт.

***

Забытье… Немота… Ковыли…
Русь глубинная — вся ты, как есть,
Где погосты репьем заросли
И на плитах имен не прочесть.

Отчего ты забыла себя,
Для кого ты открыла пути
И, погибель свою торопя,
Водкой боль заглушаешь в груди?

Беспокойные сны октябрей
Поминальной свечою горят.
Ветры воют тоской пустырей,
Всё живое сметая подряд.

И к чему этот глум, этот грим,
Эти пляски во время чумы?..
Он в мечтаниях был — Третий Рим,
Но его разбазарили мы.

Нет, не ждёт впереди благодать.
И всего-то лишь надо теперь
На свирепом ветру устоять,
Выжить после бессчетных потерь.

Беспросветно вблизи и вдали,
Будто пала вселенская тьма.
Забытье… Немота… Ковыли…
Путь немереный, посох, сума…

ПОХОРОНЫ МОЦАРТА

Когда дроги с телом Моцарта добрались до городского вала, за гробом шел лишь один человек. Это был Сальери.

Зло без добра не проживёт —
Об этом ветры пели.
До самых городских ворот
За гробом шёл Сальери.

Дрожала вскинутая бровь.
В глазах слеза застыла.
О ненависть, ты как любовь —
До холода могилы!

Дощатый немудрёный гроб.
Три гульдена за дроги…
Морщина рассекает лоб,
Душа его в тревоге.

Метель бушует впереди.
Клячонка тянет еле.
Но даже этому пути
Завидовал Сальери.

Пути, который до креста,
До самого финала,
Где меркнет всякая звезда,
Как ярко б ни сияла.

Молчала Вена.
Мир молчал.
И выл ветрами вечер.
Казалось, Реквием звучал
Из гроба злу навстречу.

Да, Моцарт жив!
Да, Моцарт жив!
Он встанет из могилы.
Он уличит тебя во лжи,
Мир чёрствый и постылый.

И он тебя переживёт
В своей могучей вере…
До самых городских ворот
Один бредёт Сальери.



Галина ШАПКИНА, Москва



***

Когда друзья уходят в мир иной,
Я не слежу за лодкою Харона,
Но никогда из книжки записной
Не удаляю номер телефона…

Наверное, так несколько теплей…
Пусть память, время сглаживают лица —
Мне кажется: а вдруг в один из дней
Хоть кто-нибудь сумеет прозвониться…

***

В комнате стол, кровать и окно напротив,
А у печи сломанный табурет.
То, что он сломан, — хозяина не заботит —
В этом пространстве хозяина больше нет.

Воздух пропитан чем-то сырым и едким,
Старая дверь висит на одной петле.
А из окна в комнату лезут ветки —
Видимо, им хочется быть в тепле…

Только тепла нет в этом сиром доме:
Печь отсырела, крыша давно течёт.
Где-то в сенях, в холоде, на соломе,
Спит домовой. Спит и кого-то ждёт.

Он так привык: дом, значит кто-то будет,
Будет тепло, вспыхнет в печи огонь…
Будет хозяин, будут чужие люди
Петь вразнобой под старенькую гармонь.

По вечерам будет мычать корова,
И по утрам будет она мычать.
А домовой будет скрипеть засовом
и в кладовой на пауков ворчать.

Будет собака, что по ночам тревожно
Цепью гремит, услышав какой-то звук…
Кошка на крыше. Без этого невозможно!
Взрослые, дети, а коль повезёт — так внук

Или внучата… а может, седой и древний,
Будет свой век, один, доживать старик…
Спит домовой, пустому строенью верный.
И никуда ему не уйти. Привык.

Спит домовой. Нынче не при работе.
Ждать и молчать выпало много лет…
То, что он ждёт, — хозяина не заботит —
В этом пространстве хозяина больше нет.

***

По городу вечернему,
в неоновом бреду,
не веруя в спасение
бреду.

По прошлого проталинам,
по бешеной грозе,
по вере обезглавленной —
как все.

Спешит народ, толкается,
озлоблен и речист,
кто мается, кто кается,
и —
чист.

И в городе загруженном,
спеша к его нутру,
как все,
себя, ненужная,
сотру.



Андрей ШАЦКОВ,
Москва

МАМИН ДЕНЬ
(27 января)

В День мамы мороз отпустил поутру.
Упали снега на осины.
Я в церковь у краешка леса приду.
Отметить её именины.

За мною — собака, судьбой семенит,
С её голубыми глазами.
Пусть Власий добром крестный путь осенит
За верность и преданность маме.

Позёмка куницей юлит на дворе.
Нахмурились неба седины.
Как странно, что в хладном Руси январе —

День ангела солнечной Нины.
Ограда, ворота, притвор, лития —
Сквозь окна, летящая к свету.
Когда-то со мною молилась семья.
Теперь моих кровников нету.

В надмирных краях, посреди палестин,
Откуда слетают зарницы,
Меня дожидаются мама и сын.
И бабушки старые спицы.

Небесная Мать, утоли мою боль.
Утишь бесполезные слёзы…
А снег на плечах — словно едкая соль.
И память, как жало занозы.

АПРЕЛЬСКИЙ ПСАЛОМ
Памяти сына Дмитрия

Что так птицы кружат
прошлогодней листвою над палом?
Что так пальцы дрожат,
обнимая огарок свечи?

И Былое Великое
кажется скучным и малым.
И себя обретаешь
один на один лишь в ночи.

Это память моя
о шиповник не хочет колоться,
Чьим заплотом апрель
оплетает родимый погост.
На который дожди
из бездонного неба колодца
Пролились на голбец,
отбывающий вечности пост.

Этой смутной весною —
от снега до первого грома,
От недели Страстной
и до Радониц светлого дня,
Я в молчанье брожу
от могильного взгорка до дома —
И обратно, и верую,
близкие помнят меня.

А в апрельских лесах,
по которым шатался от века,
Собирая в баклагу
прозрачный берёзовый сок,
Будет тень одиноко
скользить по следам человека,
Для деяний которого
вышел отмеренный срок.

И останется вязь
неоконченных горестных строчек.
И останутся перья,
опавшие с трепетных крыл.
И останется завязь,
убитая зазимком, почек
Детских душ — тех, чью тайну
для сына Господь не раскрыл.

ЛЕБЕДИ ТЮТЧЕВА

(Размышления в Овстуге
на 215-летие великого поэта)

Над Овстугом властвует Брянска зима.
Осталось в минувшем дождливое лето.
Как странно: здесь «Горе» живёт «от ума»,
Родившись в усадьбе другого поэта…

Хозяина нет. Он уехал давно,
И вряд ли до срока пребудет обратно.
Залито чернилом столешниц сукно.
На пледе в шкафу — от подсвечника пятна.

Россия хоть Третий, но всё-таки Рим.
В ней веет дыхание Божьего духа…
Неужто сдадут Севастополь и Крым?
Неужто настанет разор и поруха?

Что толку в записке, которую царь
Не смог процедить оловянным прищуром?..
Над Овстугом тучи, сгущается хмарь…
И полнятся мысли тоской и сумбуром.

Тяжелые вериги — поэтов судьба
В России, покрытой морозною пылью…
Но гордо в щите родового герба
Распластаны лебедя белые крылья!

Их выводок плещет в заветном пруду,
И ходит эскадренным строем по кругу…
Я к ним попрощаться с поклоном приду.
И горького хлеба отрежу краюху.
А нежность…
пусть нежность останется там —
В чугунном затворе усадьбы ограды.
В небрежно доверенной тайне — листам,
В которых поэту — не надо пощады!

ОЛЕНЬИ ПРУДЫ

Спят пруды. Свисает снег мохнато
С прибережных веток бахромой.
Здесь вдвоём бродили мы когда-то.
Сколько лет минуло, Боже мой!
В зимней полудрёме и томленьи
Уходило солнце вглубь воды.
Замерзали губы и Оленьи,
Скованные холодом пруды.
Утишало грай, воронье вече…
Млечный путь — неярок и далёк
Фонарями, вспыхнув в этот вечер, —
Росстанью на наши судьбы лёг.
Только всё-равно, когда в смятеньи,
Пустоту почуешь за спиной,
Вспомни:
наши два пруда Оленьи
Осиянны тайной неземной.
Где перед тобою на колени,
Не приемля прозы суеты,
Стал поэт, обняв пруды Оленьи, —
Светлые московские пруды.



Михаил ШЕЛЕХОВ,
Минск

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ

Ночь. Безлюдный переулок. Никакого фонаря.
Никакой тебе аптеки. Никакая не заря.

Кто-то любит человека. Только чем, почём, куда.
Не допрёшь, не разберёшься. И не стоило труда.
Начинаем всё сначала, чтобы вникнуть. Значит, ночь.
Ну, не так, чтобы. Но темень. Пусть там ходит, кто охоч.
Нам же эта ночь постольку. А поскольку — наплевать.
За фонарь бы зацепиться. Чтоб от печки танцевать.
Ночь. Фонарь с разбитой мордой. Об аптеке не мечтай.
Пробирался вдоль забора кто-то с чем-то невзначай.
И не так чтобы. Но крался. Или крал. Но втихаря.
Не в аптеке. Не в кармане. Не седьмого ноября.
Невзначай на человека натолкнулся. Нечем крыть.
Этот самый кто-то с чем-то. Ну и стал его любить.
И не ночь. И не аптека. Не какой-нибудь фонарь.
Что там длится дольше века? Что-то длинное как встарь.
Эта вещь большого смысла. Работяща и проста.
За неё, за коромысло зацепилась красота.
Ничего уже. Ни века. И ни неба. Ни земли.
Всё на свете провалилось. Но карманчик есть любви.
Там под некоторым забором с пеньем птички ай, люли
Кто-то любит человека. Кто-то любит человека.
Кто-то любит человека. А зевака — отвали.

ЛЮДИ ИЗ ПЕСКА

Я великих живых на свой пир собирал.
Я любовь к ним стеной в своём сердце слагал.
И в одном проживали дворце все они,
И тащил я на бал их и в ночи, и в дни.

Но для этого пира не смог их сыскать.
Тот уехал в порту чай и перец встречать.
Тот в дому завертелся в заботах своих.
Тот на свадьбе своей оказался жених.

И сказал я: зовите прохожих с дорог,
Одиноких, голодных, кто сир и продрог,
Всех из тьмы и дождя, кого встретите там,
Всех калек и слепых, из ночлежек и ям.

И пришли на роскошное золото мест
Все из мира, который клубился окрест,
Все незваные прежде, вся рвань и родня.
И великая оторопь взяла меня.

А как яства по кругу для них потекли,
И рекою все вина, и песни пошли,
Пригляделся я к лицам отверженных тут,
И начал вспоминать за сосудом сосуд.

И в беззубых, и в бельмах, без ног и ушей,
Рассмотрел я забытых умерших друзей,
И любимых своих, кого в сердце сложил,
И засыпал песком и навеки забыл.

На застолье бродяг без лавровых венков
Я сидел, как на вечном пиру облаков.
И рыдал я весь пир, разрываясь в куски,
Чтоб забрали меня эти люди тоски.

Но подъели они, и подпили они,
И угрюмых былин погудели они,
И пропали, оставив на креслах песок.
И догнать мертвецов я, живущий, не смог.

С той поры я киркою и заступом бью
В своё сердце и песню бродяги пою.
Достучаться до тех, с кем я ночь эту пил,
И кого схоронил, и кого позабыл.



Владимир
ШЕМШУЧЕНКО,
Санкт-Петербург

МАРИНЕ

1

Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах…
Я тебя назову: свет осеннего дня
Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.

А ещё… Из камина возьму уголёк,
И на белом листе (только бы не проснуться!)
Напишу всего несколько слов в простоте,
До которых потом не смогу дотянуться.

Полутон, полусвет — между явью и сном…
Только ты помолчи, а иначе разбудишь…
Это снег! Это первый, большой за окном!
Я его полюблю так, как ты его любишь!

2

Смахнул снежинки с тёмной шубы
И сразу понял — опоздал! —
Тебя в обветренные губы
Мороз уже поцеловал.

Глаза в глаза… И задохнулся!
И растворился! И пропал!
Ненужным словом поперхнулся
И поражение признал.

Я — снег! Лепи меня руками!
В азарте пальцы обжигай!
Взрывайся белыми стихами!
И междометьями стегай!

И смейся… Смейся до упаду!
А вечер — бел! А ветер — тих!
Приму, как высшую награду,
Прикосновенье рук твоих!

***

Наливаются яблоки, ветви пригнув до земли.
После долгих дождей в полный рост поднимаются травы.
Дядька в Киеве верит, что воду в Днепре москали
Отравили не корысти ради, а ради забавы.

Украинская полночь для дядьки — тиха и темна —
Лучше повода нет перепрятывать польское сало…
А ко мне в полнолунье приходит Олесь Бузина,
И вселенской тоской от Обводного тянет канала.

Он садится за стол и усмешкой коверкает рот,
И с пустого листа откровенья наотмашь читает…
Дядька в Киеве верит, тоску буряковую пьёт
И из сердца (меня!) пятернёй на паркет выжимает.



Александр ШИНЕНКОВ
Нижегородская обл.

СТРАНА

Взяв винтовку, надев сапоги,
Ради высшего, божьего братства —
Сколько раз ты спасала других,
Усевая костями пространства!

Угодить тебе стоит в беду —
И спасённым уже неприятно:
Ясно с ризами — всё на виду,
А хитон как делить — непонятно!

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

На камне вмятины от старческих колен:
Высокий дух превозмогает тлен
В постах, в молчанье, в потайных моленьях…

Ужели так? Ужели на коленях
Докажем, что народ не обречён?
— И власяницею! — дохнуло в отдаленье. —
Не всё нам
безрассудством да мечом!

***

Русь. Бесчестие. Слабость больного.
Было многое — нет ничего.
Так Господь попускал на Иова,
И друзья обличали его.

То на нервах один поиграет,
То премудрость другой изречёт:
«Не за дело Господь не карает!»
«Неповинных лоза не сечёт!»

«Говори, где играл против правил,
Где плевал прокажённым в лицо?»
«Признавайся, как нищего грабил,
Как вдову не пускал на крыльцо?!»

«Если добр, если нет в самом деле
За тобой убиенных гостей, —
Отчего эти язвы на теле,
Этот смрад от гниющих костей?»

Русь, в тебя —
Те же самые камни.
Дом толпою святош окружён.
Так закроем тяжёлые ставни,
Под иконой лампаду зажжём.

И поднимем —
За верное слово,
За бесславье и славу с тобой;
За терпенье, за слёзы Иова,
За любовь до доски гробовой!

ОСЕНЬ БОЛДИНСКАЯ

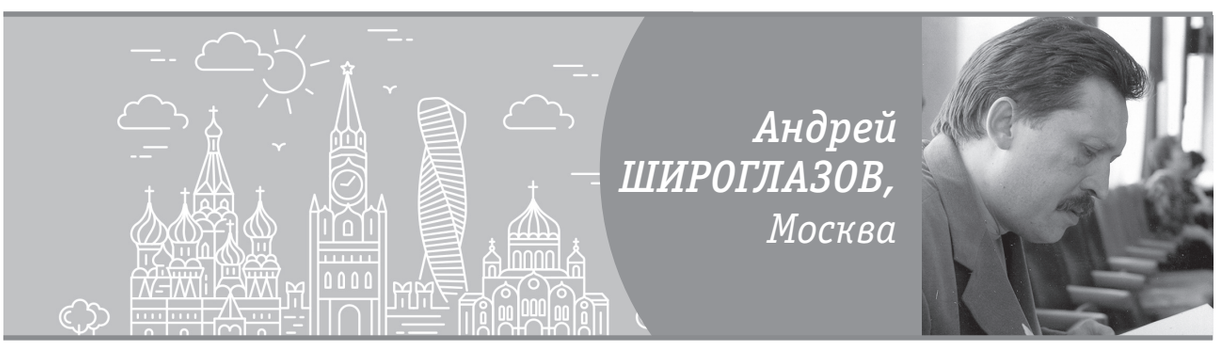
Заразная стезя
шлагбаум опускает.
К возлюбленной нельзя —
жандарм не пропускает.

Дороги развезло,
но муза прилетела:
Во флигеле стекло
от свечки запотело.

Крестьянок и крестьян
нахмуренные лица…
Заката свет багрян —
там счастье и столица!

Короткие деньки,
промозглые туманы,
Но — светлые стихи,
и драмы, и романы:

В них скупости изъян,
В них страсти океан,
Там — бились и терпели…
Там гордый Дон Жуан,
И Моцарт, и Сальери;
Там логика своя
и чести, и предательств,
В них — Божья бытия
одно из доказательств!



ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЫМ

Я примерял приморский город
Не как примерный раб портных,
А как портной: рукав распорот,
На месте пуговицы — штрих.
Тропой неровных очертаний
Я продвигался. И проник
Туда, куда причастный тайнам
Обычно ходит напрямик.
И здесь, как в первый день Творенья,
Среди каштанов и витрин
Я принял верное решенье
И раскроил свой габардин.

И проступил приморский город
На карте пройденных широт
Корявой струйкою за ворот,
Солёным потом на живот.
Руины, портики и арки
Взорвались красками времён
И белозубые татарки,
Ещё лишённые имён,
Уже приобрели различья:
У этой — резкое лицо,
У той — произношенье птичье
И в брови плат заподлицо.

Неразрешённые загадки,
Незавершённые стихи —
Здесь всё переплелось украдкой
В бурлеске праздной чепухи.
Песчаник, выщербленный ветром,
Собор, мечеть и шаурма,
Высокий лоб под серым фетром
И череп, лысый от ума,
Трамвайный парк за водокачкой,
Трёхцветный флаг на ветерке,
И дама с маленькой собачкой,
И я с тетрадкою в руке.

Я не был здесь, признаться, долго.
Моим прибежищем была
То Обь, то Сухона, то Волга,
То лужа на краю села.
Я беспонтово жил без Понта.
И вот она — родная ширь:
Морская даль до горизонта
И солнца южного имбирь.
Далёкий голос муэдзина —
Как рыба в овощном рагу.
Крою остатки габардина
На старом крымском берегу…

2014 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места…
С. Есенин

Я посетил родимые места —
Не те, куда рвалась душа Серёги,
А те, где тажеранская верста
Равна куску асфальтовой дороги.

Где слух ласкает слово «Мадархан»,
Где, сотрясая воздух звуком медным,
Я каждый мною встреченный бурхан
Готов просить о чём-то заповедном.

Где горизонт, очерченный хребтом
И не подвластный букве и цыфири,
Напоминает нехотя о том,
Что я рождён и выращен в Сибири.

Где, суетному веку вопреки,
Из года в год неспешно, терпеливо
Сползают вниз дощатые балки
К тугой петле Куркутского залива.

Где ноги устают не от ходьбы,
А руки норовят сложиться в крылья,
Где ничего не просишь у судьбы,
Но и не воешь ночью от бессилья.

Я снова здесь. Покатые гольцы
Меня встречают радостно, как друга.
А мимо пролетают Еланцы,
Где я однажды чуть не спился с круга.

Село Куреть лежит в туманной мгле,
Косая Степь с годами не спрямилась.
О, сколько раз на той, чужой земле
Мне это снилось, снилось, снилось, снилось…

Я вскакивал от мысли: «я живу!»,
К окну бросался, как к бутылке водки,
И видел малахольную Москву
Сквозь контур обязательной решётки.

И этот зарешёченный пейзаж,
На жизнь мою наброшенный небрежно,
Здесь и сейчас растаял, как мираж, —
Неторопливо, тихо, неизбежно…



Павел ШИРОГЛАЗОВ,
Череповец, Вологодская обл.

***

Я понял Россию, и было мне счастье:
В берёзовых пальцах мелькали кресты.
Озёра вскрывались, как чьи-то запястья,
И жили на свете такие, как ты.
Мы шли с тобой рядом — нас ветром качало,
И солнце встречало колючим лучом,
Когда бы я мог отмотать на начало,
Я снова б тебя всем другим предпочёл.
Я понял Россию до самого края,
Да так, что однажды шагнул через край
И если за это лишат меня рая,
Я снова в тебе отыщу этот рай…

***

Я ветер вытер о рукав:
Мне ветер больше не товарищ.
Я вынес душу на руках
Из сотни гибельных пожарищ.
Я обернул себя кругом
Плетёной серою верёвкой
И к свету ринулся бегом:
Он был последней остановкой.
Потом случился автопарк,
Там было всё, чего не нужно,
И я глотал при свете фар
И внутривенно и наружно
Слова и едкий солидол:
Вся жизнь — игра, все лужи — херес
И к общей куче мне хотелось
Нырнуть под чей-нибудь подол…
К утру я выбрался в тираж:
Я есть теперь в любом киоске,
Когда помру — исполнят в воске,
И стану я на веки ваш…

***

Я нырнул в тулуп овечий,
От мороза чуть живой,
И услышал человечий,
То ли голос, то ли вой.
Ветер гнул берёзам пальцы
И ломал запястья рук.
Одинокие скитальцы
Становились в полукруг.
Круговой была порука
В пункте выдачи тепла.
Ветер в души лез без стука
Сквозь замёрзшие тела.
Бог один, а нищих много:
Всех не пустишь на ночлег.
Здравствуй, дальняя дорога.
Здравствуй, русский человек!
Сбросил я тулуп овечий
И гордыню порешил,
Сохраняя человечий
Облик собственной души.
Если до утра не сгину
И меня услышит Бог,
Я рубаху тоже скину,
Чтобы он согреться мог…



Виктор Широков,
Москва

НА СОЛНЦЕ

Бабье лето. Хоть несколько дней
проживём мы в тепле и довольстве.
Что ж, богам очевидно видней
мера радостей и удовольствий.

Да и мне этот пир не впервой,
жизнь давно состругала мне стружку.
Я на солнце верчу головой
и лучам подставляю макушку.

Бабье лето поймёт и простит.
Не нужны ни раздрай нам, ни драка.
Собираю шиповник горстьми.
До чего он колючий, чертяка.

14.09.15

ОСТАТНЕЕ ТЕПЛО

Из Фрунзе я летел обратно.
Давным-давно. В другой стране.
Но процитировать приятно
сейчас стихи былые мне.

«Мир рынка всюду одинаков,
но мне спокойно и светло;
и я, как записной гуляка,
ловлю последнее тепло».

Лет 30, видно, миновало.
Жизнь вовсе не была светла.
И мне всё мало, мне всё мало
уже остатнего тепла.

16.09.15

ДЕНЬ

Сердце сегодня любовью согрето.
Хватит скитаться по стылым ночам.
Радуюсь отблескам бабьего лета.
Радуюсь солнечным дивным лучам.

Всё же не зря я мечтал о подарках.
В первую очередь жаждал тепла.
Вторила мне в лианозовском парке
скрипом дуплистым старуха-ветла.

Ветер метался в кустарнике частом
и подымался к верхушкам дерев,
что походило на приступы счастья,
громко звучало потом нараспев.

Отблески бабьего лета погасли.
Солнце сокрыло тугие лучи.
Снова луны желтоватое масло
бледным огнём засияло в ночи.

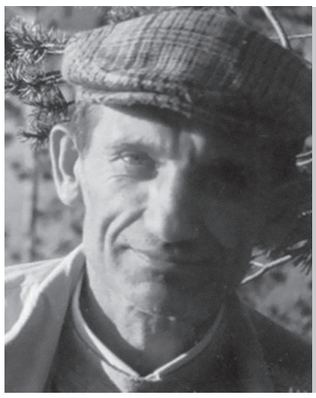
18.09.15

ЭНТРОПИЯ

А вот и осень… Что такого?
С собакой вышли. Повезло.
Земля давным-давно готова
отдать последнее тепло.

Россия. Родина. Святые
кругом места. Вздыхаю вновь.
И кто-то скажет: «Энтропия».
А я подумаю: «Любовь».

29.09.15



[ЮБИЛЕЙ]

Игорю ШКЛЯРЕВСКОМУ

Замечательному русскому поэту Игорю Шкляревскому — 80 лет!

Зоя МЕЖИРОВА, Иссакуа, штат Вашингтон (США)

ФЛЕЙТА ГОСПОДА

Я звоню через необозримые водные пространства и материки — и, пока набираю цифры на телефоне, приближается Патриарший пруд с решёткой и фонарями вокруг, и тут же, через неширокую улицу — дом, в котором квартира Игоря Шкляревского.

— Я вас слушаю, — звучит бодрый, свежий голос Шкляревского.

Его время — ночь. Ночью всё острей — и жизнь духа, и весь дневной мир, который как бы удесятерил свою силу, зажжённый луной. «Полночный свет — ты тот же день, // Белей лишь блеск, чернее тень…» — так чувствовал ночь Афанасий Фет. Мир в эти часы — издали уже видится. И в нём, в таком сложном, проще разобраться. Из-за того, что включается как бы дополнительное зрение, шестого, наверное, всё же существующего чувства.

Говорим с ним в основном, как всегда, о Поэзии. Но его живую, переливчатую, артистическую натуру и воображение интересует и заяц, которого я иногда вижу на траве у двери дома, и олени, спускающиеся с гор и, как прекрасные неподвижные изваяния, стоящие порой неподалёку, не боясь людей, думая, наверное, что мы — деревья.

— Напомни мне название твоего городка, — просит он.

— Иссакуа, старое индейское название, — отвечаю я.

Однажды он прочёл мне по телефону начало неоконченного стихотворения, и, я думаю, Игорь Шкляревский простит мне вторжение в пока ещё рукописный текст, потому что эта часть его совершенна, пластична и завершена сама по себе:

Живу один. Теперь мы все изгои.
Уже поэты вовсе не нужны.
И только голос Межировой Зои
Ко мне приходит
из другой страны…

Конечно, это и поэтическая метафора, и лирическое преувеличение окружённого любовью близких друзей и поклонников его поэзии, тех, которые, что бы ни происходило с нашим обществом, не переведутся на русской земле. Как говорил Александр Межиров, настоящий читатель — величина постоянная, истинных читателей всегда немного.

Шкляревский не слишком любит поток восхвалений. Однажды на мой рассказ о том, что одна знакомая время от времени снимает с полки его книгу и читает по одному

стихотворению, медленно, прочувствованно, а потом через некоторое время стихи эти снова перечитывает, он ответил:

— Вот это для меня самое драгоценное.

Александр Межиров называл его первым лириком современной России. А я называю — флейтой Господа. Валентин Курбатов писал недавно о таком желанном интервью с поэтом: «Надо бы поговорить с сегодняшним Игорем Ивановичем, слава Богу, ещё молодым речью и даром, ухватить это чудо и тайну слышания мира». Замечательно сказано — «тайна слышания мира».

Как и всякий большой поэт, он именно слушает мир, который страдает ещё и потому, что желает быть выраженным. И поэт всегда ощущает это страдание.

Я упомянула одиночество. А точнее надо было бы сказать — затвор, который концентрирует, как это делает для некоторых ночь, духовные силы и на самом деле полон особой жизнью. «Затаённая роскошь перловиц, малиново-серебристая, бледно-голубая радуга, которая скрывается за грубыми створами», — сказал мне об этом Шкляревский, вспоминая строчку из своей только что законченной прозы «Книга белых ночей и пустых горизонтов». Вот что такое затвор. И не от нелюбви к людям он. Я была удивлена и, придя в изумление, даже повторно перечитала статью «Одинокое блуждание по земле» критика Владимира Бондаренко об Игоре Шкляревском (в сборнике «Последние поэты империи»). «Книга его стихов мне, безусловно, понравилась, но скорее своей откровенностью, чем жизненной позицией…» — писал Бондаренко. В статье много верных мыслей и точных наблюдений, но главный взгляд на поэзию Шкляревского привёл в растерянное недоумение, обескуражил. Ну, об откровенности и говорить не стоило, без неё нет настоящего стихотворения, которое и у Шкляревского — исповедь. Но вот о непонравившейся жизненной позиции хочется особо сказать. Нет у Шкляревского нелюбви к людям и отгораживания от них. Необходимый для его характера творческий затвор отсортировывает всё непервостепенное для жизненного времени и души. Это абсолютно понятно, и в этом нет ничего предосудительного. В данном случае — человеческая натура обслуживает поэтическую, что не одно и то же, самопроизвольно, инстинктивно защищая, оберегая её. У Игоря Шкляревского как раз острое сопереживание другому человеку в мире, ускользающему в никуда времени. Да вот и это первое попавшееся короткое стихотворение полностью доказывает сказанное:

Проезжая лунный полустанок,
Женщине со связкою баранок
Жаловался на судьбу сосед,
Но остался только
лунный свет.

И опять — сколько воздуха здесь! — как это всегда у Шкляревского и в стихах, а теперь и в его лирической прозе. И сколько внимательной любви, и боли, и сочувствия к ближнему, напрямую не сформулированные — выраженные.

Да, необходимый затвор. Он исключительно редко, особенно теперь, появляется на людях. Я помню появление Игоря Шкляревского, кажется, совсем недавно, а прошёл уже с немалым год, на сцене Большого зала ЦДЛ, где стоял гроб с телом Евгения Евтушенко в день прощания. Перед рядами стульев сбоку — там сидели близкие друзья и родственники ушедшего — неожиданно возникла фигура в чёрном пальто с тёмно-красными розами, и как бы взвихренный воздух взошёл с ним на сцену. И тут же по рядам пронёсся едва заметный, но явственный, взволнованный шёпот растерянности: «Игорь Шкляревский… Игорь Шкляревский…».

А как могло быть иначе?.. Шкляревский, хоть было ему в этот день совсем нелегко пробираться сквозь толпу у входа и длинный поток людей, стоящих в несколько рядов по улице, пришёл проститься — даже не с другом, какая может быть дружба среди оди-

ноких волков Поэзии?.. — с другим одиноким волком, таким же на самом деле одиноким, как и он сам, встать около гроба в горечи расставания, овеянной чёрными полами пальто, как взвихрениями скорбных ангельских крыл, в тот момент даже изменивших свой обычный цвет. Это было неожиданное явление, которое запомнилось.

Жаль, что в прекрасной статье Бондаренко о Шкляревском не сказано о ещё одном важном элементе поэзии — о поэтической ткани его стихов. Она ведь — основа, и ведь именно ею отличаются поэты. И если говорить о фактуре стихов Шкляревского, то вот как она мне на ощупь духовной и слуховой представляется. И наверное, не грех будет в данном случае процитировать мною же в своё время написанное:

«Драгоценная прохлада серебра, чуть колющая своими невидимыми стрелами и свежая. Может быть, потому, что в стихах много бодрящей прохлады „и веселящий душу холодок“. Даже избавление от болезни любви, которая отпустила, сравнивается с погружением сломанной руки в спасительный холод ручья. Этот серебряный холод — живая бодрость ослепляюще высокой духовности. В его стихах очень ясное, кристально прозрачное видение, как будто пишущий их только что вышел из воды и в глазах, как линза природы, растекшаяся капля, дающая особое преломление света и удесятеряющая чёткость зрения. Сквозь неё отчётливее видны детали мира, видимого и творимого. Никогда прямо не формулируя, Шкляревский стихийно преподносит эмоциональный образ предмета или события. Он стремится свести слова до предельного минимума. Ему отрадно подняться даже выше немногословия и вплотную прильнуть к сути звуковой мелодии, самозабвенно растворяясь в ней».

Выше немногословия… Последнее — очень важно, к этому Шкляревский пришёл не сразу — жёсткие, я бы даже сказала, безжалостные сокращения. Недавно я с удивлённым восхищением проследила одно из таких сокращений. Речь о первоначальном и окончательном варианте стихотворения «Анна Валерия». Я увидела, что были изъяты из него чистые, пластичные, замечательно написанные строки начала. Но почему? Ответ был ясен: поэт избавлялся от информативной описательности, которой действительно необходимо много слов. Появились особая сила, и сжатость, и красота. Бриллианту нужна необычная, особая огранка. И появился мираж, навсегда запечатлённый в слове:

И увидел он Анну Валерию
в тёмной раме окна.
Если свет переходит
в материю, — вот она…
Её волосы, в небе шумящие,
словно тысячи птиц,
оглушали разлукой щемящею
выше гор и границ.
И несло их дорогой канатною,
и над морем огней
он прощался всю ночь
с итальянкою
руставелевских дней.
Не погашено бешеной вьюгою
где-то в поле окно.
Так сияло им перед разлукою
утешенье одно.

И сказал он ей: «Анна Валерия,
веке в двадцать втором,
если в свет переходит
материя,
мы друг друга найдём».

Я праздную сейчас, Игорь, твой Юбилей, действительно славный, действительно всепобеждающий, праздную твой высокий Дар этим так любимым многими стихотворением. Неиссякаемого вдохновения тебе и радости читателям от твоей поэзии и в прозе и в стихах. И пусть ещё долгие годы будет наполнена удачами жизнь под охранным и целебным покровом твоей же строчки — «И ласточкой в моём окне // там счастье ставит запятую». Потому что в области поэзии — нет времени и расстояний, и властью её — даже далёкое — там, всегда — здесь.

«НОЧЬЮ ПРОЛЕТАЛИ ЖУРАВЛИ…»

Ночью пролетали журавли.
С крыши звёзды синие текли.
Запахи оттаявшей земли
чуть с ума подростка не свели.
И в глазах его остался крик…
Этой ночью на какой-то миг
всё земное сердцем он постиг,
всё представил, зная наперёд,
что ночное небо не поймёт.

ВОКЗАЛ

Могилёвский старинный вокзал,
сколько раз ты мне душу пронзал,
чёрным дымом меня обнимал
и баянами вдаль провожал!
Там, где пиво мешали с водой,
эх, крылатый, да только безногий,
эх, с ногами, да только слепой —
пели вестники вечной тревоги.
Вспоминали, как в танках горели,
и, меня провожая в Москву,
словно люки открыть не успели,
в паровозном пропали дыму!
И опять, как тогда, на мгновенье
светом вырваны лица из тьмы,
словно выплыли мы из забвенья,
и в забвенье канули мы.
Это августа холод бодрящий,
опустевший девятый разъезд,
облетающий, мимо летящий,
застеклённый пылающий лес.
Плачут дети, кричат поезда.
Ветер листья с дубов обрывает.
И зелёная злая звезда
нас опять до весны разлучает.
До чего ж ты коварна, разлука!
Даже тот, кто казался чужим,
улыбнётся улыбкою друга,
и растает, и станет родным…

МОЙ ВОЛК

Насторожило карканье ворон.
Задела нерв сосновая иголка.
И в тот же миг я понял — это он,
хотя впервые в жизни встретил волка.
Он пил из лужи, и рябая дрожь
шла по воде, заляпанной листвою.
На всякий случай я нащупал нож.
Волк посмотрел в мои глаза с тоскою
и побежал. Его худая тень
без суеты — легко и обречённо —
пересекла пустую лесостепь,
и тишина вздохнула облегчённо.
Но что-то было у него в зрачках,
какой-то смысл безмолвного прощанья,
какой-то светлый неподвижный страх
и просто право на существованье.
Случись охотник на моём пути,
без колебаний укажу рукою
куда-нибудь в орешник за рекою,
чтоб волк успел оврагами уйти.

РЯБИНА

В пустой долине бродят миражи.
Блестит река, двоится белый бакен.
Лес изнемог от пыли и жары.
И вдруг в листве — рябина, словно факел…
Не представляю леса без рябины,
как могилёвской юности своей
не представляю без воскресных дней!
Я формовал тяжёлые станины.
Графитной пылью семь часов дышал
и чёрную выплёвывал мокроту
на белизну снегов… Зато встречал,
как день рожденья, каждую субботу.
Любил проснуться утром в воскресенье
и глазом цифру красную поймать!
А настоящий личный день рожденья
не отмечал. Зачем их отмечать?
На кухне мать нарядная хлопочет.
Шумят друзья. А во главе стола, —
да я в те дни сгорел бы от стыда! —
румяный юноша. За что такая почесть?
За то, что он увидел белый свет?
Ведь никакой другой заслуги нет.
А может быть, в душе живёт обида?
Опять на взгорке вспыхнула рябина…

ВДОВА

В. Н. Орлову

Ярко горели сухие дрова.
Весело в небе свистела флюгарка.
Долго смотрела на пламя вдова,
в юности прачка, а после кухарка.
Медленно думала что-то своё,
давнее что-то в золе ворошила.
Честно работала, верно любила,
чисто стирала чужое бельё.
Сполох стоял над спокойным лицом —
алые угли к огню подгребала,
молча движения тень повторяла.
Думал и я в эту ночь о своём…

ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ

Дрожал июнь, и ночью лунной,
травой холодною и длинной,
я шёл к реке с тобою, юной,
совсем как в песне той старинной!
И был мой голос необычен,
когда отважился звенеть,
что каждый человек трагичен,
ведь каждый должен умереть.
И ты, как девочка босая,
слепца ведущая домой,
тревожных слов не понимая,
была тревогою самой…

РЫЖАЯ МАЙЯ

В городе ночью шумят листопады.
Воздух трещит за стеклянной стеной.
Я засыпаю, лечу под канаты и,
просыпаясь, трясу головой.
Тренер не спит — финалисты продули!
Лучшую «муху», как ветром, смахнули!
«Тяж» разучился удары держать.
Очень страдает. А мне наплевать.
Радостей жизнь для меня не избыла.
Что мне какой-то проигранный бой?
Вечером слава меня обделила,
утром уже окрылила любовь!
Юноши дуют в спортивные трубы.
Кружится мусор вчерашнего дня.
Листья летят. И в разбитые губы
рыжая Майя целует меня.

«НА РОДИНЕ МОЕЙ УЖЕ СКРИПЯТ ПАРОМЫ…»

На родине моей уже скрипят паромы,
а у тебя в глазах всё тот же синий лёд.
…Геологов спасли! Поднялся вертолёт,
и диктор передал, что все они здоровы.
У острова Аскольд столкнулись корабли,
в борьбе отчаянной был день кошмарный прожит.
Сегодня рыбаки на помощь им пришли.
А я люблю тебя — никто мне не поможет!



Маргарита ШУВАЛОВА,
Кстово,
Нижегородская обл.

МОЙ АВГУСТ. ЗАКРЫВАЮ ГЛАЗА

Дыханье Осени сквозное
Всё ощутимей и больней.
С досады я глаза закрою,
Чтобы не думалось о ней.

Не видеть, как он бьёт поклоны,
Себя теряя по листку.
Мой Август ласковый, зелёный,
Медовый, в яблочном соку!

Его щедроты и старанья
Делами добрыми крепки.
Ещё я чувствую касанье
Его заботливой руки.

Но есть конец у всякой сказки.
Спине тепло, но стынет грудь…
ОНА уже мешает краски,
Чтоб наши встречи зачеркнуть.

Мой Август спорить с Ней не станет,
Я это знаю наперёд.
Он соберётся с птичьей стаей
И на рассвете упорхнёт.

И холодеющей зарницей
Мне долетят его слова:
Я приходил с тобой проститься —
Ты головы не подняла.

Вслед холодеющей зарнице
Мне долетят его слова:
Я приходил с тобой проститься —
Ты головы не подняла.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТОК

Сорвётся с ветки лист последний,
На снег печально упадёт.
Запечатлят пруды Оленьи
Стеклянным взглядом небосвод.

А с ним недавнее былое
Замрёт, как подо льдом вода,
Когда держась за руки — двое
Глядели в зеркало пруда.

Но всё, о чём они мечтали,
На что надеялись всерьёз,
Сокрыли сумрачные дали,
И первый снег мечту занёс.

Бредёшь — неверными следами,
Не замечая никого
Туда, где стынет подо льдами
Осколок сердца твоего.

Идёшь туда, где пруд Олений,
Тропой невыдуманных строк.
И словно солнца луч последний,
Тот самый — осени листок,

Твоей руки теплом согретый,
Пускай поблёкший, но — живой,
Как нежность, что хранят поэты
В душе, под неба синевой.

***

Поэзия, виждь, как без стона, без звука
Уходят последней любви трубадуры.

А. Ш.

Всё тише и тише шаги Командора
На древней земле, странным веком объятой.
Всё дальше от мест, очарованных взором,
Пронзивших стихами и болью когда-то.

Уставшее сердце всё реже и реже
Пытается вспомнить о прежней отваге, —
Как сильное Слово завистников режет,
Как ветер полощет победные стяги…

Запуталось время в бесхитростной прозе.
Один на один с беспросветной печалью.
И добрая сказка растаяла в бозе,
И карее небо над волжскою далью

Затянуто мглою в предчувствии бури…
Походная сумка стоит у порога…
Чем дальше от тех, с кем пути разминули,
Тем лествицей в небо короче дорога.



Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ, Москва

БЛЮЗ ДЛЯ СВЕТЫ

Я не спал ночь-полночь, я что-то смотрел, я что-то слушал и что-то слышал.
И вдруг меня озадачил вопрос, а зовёшь ли ты меня своим бывшим?
И я вспомнил, как мы на второй день знакомства ночевали с тобой на камнях Утриша,
Я вспомнил о том, как мы пили вино под сенью лозы с моим другом Мишей…
За окном моим голуби шумят, я лежу один и прошу: «Потише!»
Потому что меня взволновал вопрос, а зовёшь ли ты меня своим бывшим.
И я подумал вдруг, а ведь мы с тобой никогда не гуляли вдвоём по крышам,
Что у нас была кошка, была черепаха, но не было рыбок и не было мыши.
Я бы тихо спал, но кому-то нужно, кому-то важно, кому-то свыше,
Чтобы узнал, ну, зачем-то узнал, а зовёшь ли ты меня своим бывшим.

К 60-ЛЕТИЮ ПОЭТА ВСЕВОЛОДА ЕМЕЛИНА

Сели многие на мели,
Потеряли вкус и стыд,
Только Всеволод Емели
Буревестником парит.

Толстый пингвин робко прячет,
У гагары — жалкий вид,
А Емели стих горячий
Нам со сцены говорит.

Не писал стихов я датских
И себе не верен здесь…
С днём рождения! По-братски!
Птицы есть, Емелин есть!



Сергей ЩЕРБАКОВ, Московская обл.



ИГРА

Ведь мы играем не из денег...
А. Пушкин

Всю жизнь играешь в дурака,
Тузов таская из колоды,
И чья-то ловкая рука
В отбой выбрасывает годы.

А там и сгонит со двора,
С приличной грустью домочадца,
Сия азартная игра,
В которой трудно отыграться.

Я думал, я судьбе не раб,
А жизнь пошла с пиковой крали,
И нечем крыть — язык ослаб,
А козырей не раздавали.

ДОМ

Варю грибы, лечу вином простуду
И строю дом, в котором жить не буду, —
Мне грустно жить на родине моей.

Позаросли заветные поляны,
Товарищи неизлечимо пьяны,
И поредели кроны тополей.

Мой старый дом, страдающий одышкой,
Давным-давно, когда я был мальчишкой,
Красивым был, и я гордился им.

Но сочтены уже его минуты,
Он строился ещё до первой смуты, —
Ему пора к строителям своим.

Пора и мне. На зимние квартиры.
Пора в Москву — потрогать струны лиры.
С журналами пора наладить связь.

Там в суете развеются печали,
Там без меня подруги заскучали,
Да и жена, пожалуй, заждалась.

Но будет день — меня потянет снова
Под ветхий свод отеческого крова —
Я слишком им приучен дорожить.

Я стану вновь лечить вином простуду
И строить дом, в котором жить не буду.
Но кто-нибудь в нём всё же будет жить!

ДАР

Л. Калюжной

Вот здесь когда-то жил безвестный сочинитель.
Жил бедно, но весной, в один погожий день,
Пронизывал его убогую обитель
Пьянящий аромат – вокруг цвела сирень.

Был аромат её тягуч и фиолетов,
А он сидел один, топя в плохом вине
Нелепый дар судьбы – сплетать венки сонетов,
Не нужных никому в родной ему стране.

И вот, когда он стал совсем седым и старым,
И мог унять с трудом дрожание руки,
И проклинал свой дар, что был потрачен даром,
Тогда к нему пришли его ученики.

И он учил их так: «Возлюбленная лира
Свела меня с ума и привела в трактир.
Любите Божий мир, но не спасайте мира,
Поскольку всё равно вы не спасете мир!»

Когда он уходил за край земного света,
Туда, где дан покой усталому уму,
То перед ним несли венки его сонетов,
Как он и полагал, не нужных никому.

ПАМЯТИ МАТЕРИ

Здесь не стало матушки моей.
Девять дней прошли и сорок дней.
Год пройдёт, потом и жизнь пройдёт —
Матушка меня на небе ждёт.

Я не стану Господа винить,
Стану в церковь Божию ходить —
Мне нельзя во время судных дней
Разминуться с матушкой моей.



Татьяна ЩЕРБИНИНА,
Северодвинск, Архангельская обл.

ДВА ПРАДЕДА

История — тёмное дело.
По воле судьбы у меня
Два прадеда — красный и белый,
Два сердца, два грозных огня.

Один — голоштаный Петруха,
Мечтатель, подвешен язык.
Плевались по Тойме старухи
Вослед: «Сотона, большевик!»

Смотрел он сурово и жёстко,
Но совесть, как видно, была:
Ушёл, не стерпев продразвёрстки,
На фронт из родного села

И сгинул в кипящем пространстве,
Оставив детей и жену,
«От голода и от тиранства»
У белополяков в плену.

Второй не рассказывал байки.
С холодным азартом в глазах
Лупил комиссаров нагайкой
Упрямый уральский казак,

И также безвременно сгинул
В степи, посреди ковыля,
Прадедушка Фёдор Щербинин —
За веру, за Русь, за царя.

Не знаю я, кто из них прав был.
Теперь до скончания дней
Два прадеда — белый и красный
Отчаянно спорят во мне.

Свинцом да железом калёным
История нам воздаёт.
Свеча у разбитой иконы.
Россия. Семнадцатый год…

БЕРЕГ

…Смотрю на горячие травы и глаз не могу отвести,
мой берег заброшенный, правый, высокий, до неба почти,
как песня старинная, длинный (Россия — судьба набекрень!),
лишь брёвна, да ржавая глина, да тени родных деревень.
От светлого хочется плакать, кого ж тут спасёт красота,
но красный ободранный бакен плывёт, не покинув поста.
Стою на последнем пароме, смотрю на далёкий угор,
где мамин зелёненький домик, и ласточки режут простор.
Я знаю: мгновенье, и снова огромный потянет магнит,
песчаною низкой подковой обхватит, сожмёт, полонит —
тот, левый — большая дорога, зудящая масса людей,
там тоже живётся убого, но чуточку всё ж веселей.
На палубе ветер противный, коричнево волны кипят,
смотрю и смотрю неотрывно, пока ещё можно, — назад.
Штыками оставшихся елей небес охраняя гранит,

мой правый, несдавшийся берег,
как Брестская крепость стоит.

ВРЕМЯ ПЕСКА

Это время песка, изумрудных больших стрекоз,
время нежного ветра и лютиков золотых.
С вечернего неба белый капает воск —
или просто бабочки у воды?
Голос кукушки — чётко, издалека,
спокойный, сладкий, словно небытиё.
Слишком быстро мелеет эта река,
а с нею — сердце твоё.
Всё громче стрекочут в полдень цветы,
вышивают ромашки скромный узор.
Здесь страдали предки, но хочешь ты
быть счастливой — наперекор.
И, пока заката горит стрела,
идёшь по песку в купальнике, чуть сыром.
Зеленоглазый овод вьётся вокруг бедра,
опьянённый твоим теплом…



Иван ЩЁЛОКОВ, Воронеж

***

Ты — бегущая по осени,
Ты — летящая под струями,
Для чего играешь косами,
Как натянутыми струнами?

У мелодии неслаженной
В календарной звукозаписи
Что-то нежное и важное
От косых ветров погасится…

Паутиной дни, как нервами,
Перехлёстнуты, пришпорены.
Не судачь про жизнь по первому
Звуку, канувшему в шорохи.

Не разбей сердечной хрупкости,
Не развей душевной зыбкости.
Мир и так оглох от глупости,
От пещерной первобытности.

***

Белым днём у всего на виду
В тщетных поисках сытного времени
Ходят дикие утки по льду,
По прозрачному,
скользкому,
первому…

На мосту легковушек затор,
В любопытстве сердца сочленяются.
Чьи-то губы рождают восторг,
Чьи со страха ледками ломаются.

Полдень гадким утёнком с тоски
Поспешает на выручку с берега —
Тенью зыбкою лечь у реки
Через лёд
молодой,
неуверенный…

Я от зрелища прочь не уйду,
Совершая, как птицы, скольжение…
Чудо чудное — утки на льду
Щиплют собственное отражение.
Пыль с холмов на версту. Ни снежка.
И морозов напасть несезонная.
Но сквозь лёд прямо в души река
Вносит звоны свои колокольные.

***

Ещё до Святок больше, чем неделя,
И с суетой справляешься едва,
А во дворе весёлые метели
Уже поют во славу Рождества.

И тенькают синицы за окошком
Беспечно и без грусти о весне,
С крыльца таская булочные крошки
То к яблоне и груше, то к сосне.

И лёгкое, до радости, волненье…
К метелям, птицам, в заметённый сад
Торопишься на звуки обновленья,
Не понимая, а чему же рад.



Яна ЮДИНА,
Москва



ВЕЧЕРЕЕТ…

Вечереет… И белое кажется серым.
И ещё недвиж***и***мее — выпавший снег.
Пробирается в дом по волнистым портьерам
Лёгкий сумрак, нашедший желанный ночлег.

Вечереет… И резкое кажется тихим.
Шквальный ветер невзгод налетел и прошёл.
Золотистая гроздь наливной облепихи
Спелым летом свисает с картины на стол.

Вечереет… И хрупкое кажется прочным,
Словно в узел тугой всё само собралось.
Только стрелки, встречаясь в приюте полночном,
Сутки новые будут отсчитывать врозь…
А когда станет гуще палитра ночная,
И потянется струйкою к звёздам дымок,
К сонным окнам прильнёт синева ледяная
И серебряным снегом укроет порог…

ИЗ ГОДА В ГОД ПЕРЕБЕГАЯ…

Из года в год перебегая,
А иногда, переходя,
Вдруг замечаешь: ты — другая,
Как капли нового дождя…
Как облака, что, набегая,
Вмиг заслоняют солнца свет.
Другая! — Боже мой! — другая!
А что же, прежней больше нет?!
Всё вроде также «по бумагам»,
Улыбка тоже, к счастью, та.
Но отчего неслышным шагом
Ушла святая простота?
И за плечом другие лица
Знакомых, недругов, подруг,
Где с прошлым велено проститься,
Переходя на новый круг…
Где жизнь с усмешкой скомороха
Подбросит в сутолоку дней
Рассвет мудрее на полвздоха,
Но… на полвыдоха бледней.

ЧТО НИ ГОВОРИ…

Всё тяжелее…Что ни говори…
Дороги те же, а шаги другие.
Не лечат снегом душу декабри,
И вести тоже не всегда благие…

Всё очевидней, что пора менять
Очки с любимой розовой оправой.
И если время в чём-то обвинять,
То только в том, на что имеешь право…

Всё ощутимей темп бегущих дней
Туда, где вечность сон оберегает,
И неизбежность больше не пугает,
Когда невольно думаешь о ней…



Евгений ЮШИН,
Москва

КОЛЫБЕЛЬ

Божья люлька — Земля. Нам желанно в родной колыбели,
В белой пене ромашек кружиться, в метельных ухлёстах.
Тополя наши пьяные! В окна щебечут капели.
Как всё это родимо, молитвенно, как это просто!

Как печально за звёздами в небе следить одиноком!
И робеет душа, холодеет, поёт и трепещет.
И когда осыпаются звёзды, как листья у окон,
Только струйка рассветной зари от печали излечит.

Я за тихими звёздами в небе слежу из акаций.
Словно в космос взлетаю. Комет золочёные гривы!
Осьминогами жадными щупают протуберанцы
Беспредельный простор, нашу Землю и сизые сливы.

Эти хищные бури готовы сожрать всё на свете!
В дикой пляске, ощерясь, бросаются в топкую бездну!
А у нас на Земле — частоколы дождей на рассвете,
Запотевшие окна и сердцем зажжённые песни.

А у нас на Земле и крапива-то — жжётся, но лечит.
Колыбельную слышу… Всю жизнь свою —
матушку слышу.
Для чего мы живём? Я на этот вопрос не отвечу,
Но и сам запою от восторга созвездиям рыжим.

Как прекрасно за звёздами в небе следить одиноком.
Но звезда полетела, угасла, — и нет её вовсе…
Колыбельная песня плывёт от негаснущих окон,
А кленовые звёзды ветрами срываются — в осень.

УРАГАН

Кусты — в узлы! Вонзает ливень пули
В берёзу, в крышу, хлещет по двери!
Во тьме шныряют молнии-ходули.
Стихия! Ничего не говори!

Молчи, ничтожный! Ты ещё не знаешь,
Гордынею объятый человек,
Что эти ураганы ты рождаешь,
Враждой и злобой засевая век.

Вот отчего природы потрясенье.
Кардиограммы молний — знак суда.
Молись, несчастный, о своём спасенье.
Господь простит. Природа — никогда.

ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Увы, становится прохладно
И по-сиротски смотрит лес.
Как поле стрижено опрятно!
И как пустынен свет небес!

И по дороге за машиной
Не вьются пыльные клубы.
Но горячо горит калина,
Как угли прожитой судьбы.

И мне печально, хоть желанно
Летящих листьев видеть рой,
Без птиц умолкшие поляны
И травы с гордой сединой.

Желанно видеть за рекою
В тумане брезжущих коней.
Огни села — передо мною.
Огни села — в реке моей.

И обязательно, конечно,
Гармонь окликнет вдалеке
Волну, что всхлипывает нежно
На всем понятном языке.

И шепчет мне: — До встречи, милый!
— До встречи, милая моя!
Ты так ласкала, так любила,
Что ни о чём не думал я.

***

Я осень тихую приемлю
Без рваных северных ветров,
Когда листва летит на землю
И гонит к стойбищу коров.

Ну и какие в том печали?
Всему на свете свой черёд.
— До встречи! — птицы прокричали.
— До встречи! — выдохнул народ.

— Курлы!..—
И что же в том такого?
Простор. И журавлиный свет.
И всё ж душа рождает слово
О всех, которых с нами нет.

Кто так же пели и любили,
Хранили Русь, страдали с ней…
И вот однажды проводили
Своих последних журавлей.

Холмы пологие печальны.
Всему на свете свой черёд.
И звёздный берег — дальний-дальний
Молитву древнюю поёт.

***

Смотрю на реку, как в окошко —
Берёзы в ней и облака.
Растянет ветер волн гармошку
И всё сотрёт наверняка.

Как зыбко в мире! На запруде
То зарябит, то снова гладь.
Мечтать о том, что завтра будет,
Себя не стоит утруждать.

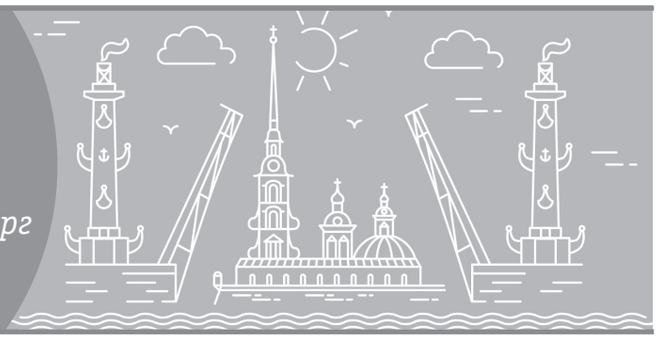
Всё переменчиво, всё скоро.
Наземный век людской, как миг.
Вот солнце прилегло на горы,
А вот и кануло за них.

И потому ценю мгновенье:
На глади волн — листок луны,
Любимой шёпот откровенный,
В бородке моха — валуны,
И голос матушки из тени,
По большаку спешащий МАЗ…

Заря припала на колени
И смертно молится о нас.



Михаил ЯСНОВ,
Санкт-Петербург



***

Как легко поутру поётся там,
где в листве что ни трель — цитата.
Птичья партия вслед за Моцартом:
та-та-та́, та-та-та́, та-та-та́-та.

Сколько чистого и неброского
свистопения до заката!
И внезапно — волной — из Бродского:
та-та-та́-та-та, та-та́-та, та-та-та́-та.

***

Былое не выкинуть. Как бы опрятно
не выглядели пустые полки,
оно с помойки ползёт обратно —
все эти платья, брюки, футболки.

Они опять заполняют память,
они приказывают оглянуться.
Так и хочется их напялить,
и к сердцу прижать, и назад вернуться.

О продранные мои одёжки —
как в ваших дырках судьба свистела!
Где, расскажи мне, ещё найдёшь ты
то, что и вправду так близко к телу?

Эти свидетели давних бедствий,
пота, крови… О как вы прытки!
Опыт — это предательство детства.
По углам расползаются даже нитки.

***

Хочу в девяностые годы
вернуться хотя бы на миг.
Глоток неумелой свободы
поймать пузырьком на язык.

Какая-то сущая малость,
всё вкривь получалось, и вкось…
А вот ведь дышалось, дышалось,
дышалось, дышалось — жилось!

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Едва родившись, канет
и вспыхнет в свой черёд.
Едва к себе приманит,
так с толку и собьёт.
Приобретенье детства —
бегущая строка.
Так хочется вглядеться
в неё издалека!
Обрезанные краем
рекламного щита —
О, буковки! — пора им
вернуться на места.
Они уже готовы,
и в гуще мёртвых фраз
опять сверкает слово,
бегущее от нас.

***

Всех разорванных, ставших золою,
сгнивших в ямах, пошедших под нож,
всех, залитых водой ледяною,
всех поруганных — как их сочтёшь?

Их губили, топили, гноили,
их топтали в дорожной пыли,
и в одной безымянной могиле
вместе с родом людским погребли.

И небесною выпавший манной
чёрный пепел валит и валит,
и компьютер, как крест безымянный,
в чистом поле над ними стоит.

***

Ещё живая память
лежит в судьбе закладкой,
ещё я помню запах
учебника с тетрадкой,
мой старенький портфельчик
ещё не развалился…
Верните детям школу,
в которой я учился!

Там были мы бутузы,
там были мы стиляги,
там не было обузы
ссылаться на бумаги.
На нашу Марь-Иванну
весь пятый «а» молился…
Верните детям школу,
в которой я учился!

И были там мужчины,
и было их немало,
потом они исчезли,
ушли куда попало.
Абрам Ильич уехал,
Сергей Петрович спился…
Верните детям школу,
в которой я учился!

С тех пор, уже далёких,
кто только не был в классе!
Один учитель в форме,
другой учитель в рясе.
Министр образованья
реформою кичился…
Верните детям школу,
в которой я учился!

Ещё о целом мире
мы знали понаслышке
и прятали под партой
не гаджеты, а книжки.
Но не входили в классы,
потупя очи долу…
Верните детям школу!
Верните детям школу!

***

Негоже старому поэту
стесняться лирики. Она
дана закату и рассвету,
смешно, но ею жизнь полна.

Среди детей ничтожных мира
он первым должен быть готов
перебирать, как струны лиры,
резинки драных башмаков.

***

Как невостребованная мелочь,
за годы скопившаяся в бутыли,
меня уже не донимает немочь —
спасибо, купюры, за то, что были!

Спасибо за то, что бывал во власти
яркого света, чёрного мрака.
Спасибо, страхи, спасибо, страсти,
вы были госзнаками Зодиака.

Ни пустоты, ни огня в сосуде —
время поймёт красоту иначе.
Бог рассудит, ветер остудит,
судьба отсчитает копейки сдачи.

СТИХИ СТУДЕНТОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА И УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ (ХИМКИ, 2019)



Ольга АНИКИНА, Санкт-Петербург

***

Кате Полянской

На окраине лета
от изборских пустынь
тянет запахом хлеба,
веет мёдом густым.

Островами лесными,
луговой пестриной
пролетает гусыня
над стеной крепостной —

от кургана к погосту,
до разлома в плите.
Разомкни этот воздух
и попробуй лететь,

в облака, в молоко ли
словно пуля, входя…
Николай Колоколец,
сбереги от дождя,

из-под белого ситца
на меня погляди,
словно белое сердце
из открытой груди.

Обмелеет запруда,
разрастётся трава,
перемелют друг друга
и падут жернова,

и могильную пустошь,
твердь подземной реки,
родникового пульса
пробуравят ростки,

от азов и до ижиц
самых давних годин.
Ты наклонишься ниже —
и услышишь: гудит

всё больней и напевней.
И сбегается люд:
то за мёртвой деревней
новый колокол льют.

23 МАЯ

А. К. Антонову

Давай дойдём до чебуречной,
пока старушка не мертва,
до нашей станции конечной,
где есть «дешёвая жратва»,

селёдка с луковой короной
и слёзы белые в стекле,
чтобы потом стоять на Бронной,
как стопки на пустом столе.

Где сквозь закрытые ворота
скамейки видно и кусты,
но сквозь решётку даже шпрота
не проплывёт, не то что ты,

рванина, так что двигай мимо —
какого «сердца и вина»?
У бывшего гардемарина
похмелья нету с бодуна.

… будили криками округу,
не разбирая в этот час,
что крепко-накрепко друг к другу
смерть приколачивает нас.



Камила БАГИРОВА, Москва

ВЫХИНО

убаюканный снег на капоте пологом,
уходящие будни, пристреленный свет.
одинокий бомбила паркует свой логан,
и маршрутки мелькают, как фотосет.

где надорван пакет и прозрачен и вязок
выливается воздух, едва золочён,
и течёт по лопаткам дорожных развязок,
заползая белесою плёнкой в зрачок,

где-то здесь нас не будет и там, видно, тоже.
равнодушные плоти электроопор
молчаливо распяты за всё, что ты прожил
и не можешь забыть, мельтеша до сих пор.

распадаясь на тысячи мелких сегментов,
мы разбросаны солью по дальним углам.
заглушая на сорванных связках всё это,
уносящийся поезд затянет мугам.

горклый вечер закатными сгустками сплёван.
мы немыслимы вместе. чернеющий снег.
я зажмурюсь и, может, всё это снова
промелькнёт и исчезнет за несколько сек…

БЕЖЕНЦЫ

пересохшее озеро, чёрствый гог'ал,
просочится слезами в корму.
убегать, оставлять, что когда-то кохал,
непонятно зачем и кому.

и названия станций бегущей строкой
в отраженьях читать на фарси.
если это стихи, то услышь их, сокрой
в пенопластовом снеге россий.

а когда трясогузки вернутся сюда,
(пусть вернутся хотя бы они,
позабыв опаливший ресницы Судан),
не вернувшихся птиц помяни.

2019

***

Как расцвели нечаянные звёзды,
Как набухает ливнями вода,
И дом синеет ветрено-промозглый,
И я иду — откуда и куда?
Как тихо мне скользить по перелесью,
Не спотыкаясь в мыслях и пути,
Перелетая, словно бездну, Пресню,
Перегрызая линии в пунктир.
И ты созвездьем лебединым был там,
Когда в степи растаял караван.
Твоя тоска, моё лицо — всё слитно.
Всё слито. Ава Отче. Ар-Рахман.

2017



Софья БАРАШКОВА, Москва

***

Ты гладишь свечи, и ручное пламя
Не исчезает, остаётся с нами,
Бежит к земле густой медовый воск.

Рассыплются на бусины браслеты,
Под босоножкой развернётся лето,
Слепящий росчерк золотарных розг.

Я обещаю, что-нибудь случится.
Вспорхнёт с куста тревожная синица.

Следи за ней, не открывая глаз,
Невиденьем прекрасное калеча.

Кому-то в храме зажигают свечи,
И это пламя остаётся в нас.

***

когда метель впадает в чёрный лес
приобрети плетение словес
не в колокше не в вологде нигде
но в беспокойной мартовской воде
где бред и бредень тонкая леса
пронизывает бусин словеса
пуглива рыба и вода жива
вдоль рукава ледышки-кружева
большой моллюск холодного песка
ворочающий телом языка
плетение словес зелёный прут
ком белой глины с красной перетрут
большой глоток воды на полпути
приобрети его изобрети

***

Завтра выпадет снег, заметая прогалины слов.
Лёд у края ведра. Торфяные колодцы ослепли.
Я сотку тебе плащ, заплетая колючие стебли —
Кровохлёбку, багульник, иртышник и болиголов.
Сохрани тебя, мох, от остынувших рук или рек.
Не таскай моих слов, по дырявым карманам не помни.
Танец сорванных рук, обнажённые локти и комли,
Соль горячей земли. Потому завтра выпадет снег.



Алексей БОЛДЫРЕВ,
Павловск, Воронежская обл.

***

… пересчитывает «друзей» по перьям своего крыла,
ангел XXI века, праведник на полупроводниках.
писание в формате аудиокниги: не убий, не возжелай,
по дороге в офис, в пробке, пригодится наверняка…

святой отец, отпусти мне 2 гигабайта грехов,
я из тысячи тысяч, простой файлообменник.
монах РПЦ или сержант ГАИ потенциальный ИОВ,
когда нечего делать богам в дождливый понедельник.

жизнь не телевизионное шоу, какая тут к чёрту интрига,
но на этом пути не проще, чем на соседнем пути.
что-то хрустит, как февральский снег, но это не кости, а книга,
завёрнутая в газетную бумагу, она по-детски прижата к груди…

ФУТУРОЛОГИЧЕСКОЕ

Собираешь себя по мегапикселям каждое утро,
в ожидании приёма межгалактических станций.
Покупаешь на рынке пусть и б/ушный панцирь,
чтобы на Родине выжить, надо действовать мудро.

И снова рекорд по пользованию одноразовой бритвой,
хожденье по головам, мысли: сколько вас, Брут?
Стремление к идеалам закончится решающей битвой,
но кто же останется тут, если никого не останется тут?

Новости, удивляют научившихся мыслить, всё новыми позами,
это будущее уже наступило, тебе ли не ясно?
Роботы, перестреляв всех людей, любуются розами,
люди, победив искусственный разум, вдыхают машинное масло.

И если на дворе XXI век, то почему херово как в XX?
Вымирание видов, любовь костью в чьих-то зубах.
А после смерти мы все попадём в Росатом —
Если я ничего не напутал, а пока, пусть звучит космический Бах…



Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ, Волгоград

***

И не пить с твоего лица ни кофе, ни чай,
Не ловить с утра на живца у метро вайфай,
Только рваться в Кусково в удушливый выходной,
Чтобы только на фото смотреться почти княжной.

На салатовой ветке живёт моя птица-дрозд,
Не поёт, не трепещет и даже не тянется в рост.
Я сама такова. Замолкаю на ноте «си».
Удержу на ad-libitum где-то на небеси.

Сколько нот за три года летели не в ту мишень,
То на сочинский плеск, то в московскую светотень…
Лишь недавно уснули. Как дети под Рождество.
Если ты их разбудишь — скажу тебе… ничего.

Или грянет рассвет какофонией облаков,
Или тихий аккорд будет тёплым, как молоко.
И сжимается город Садовым своим кольцом.
И сквозь пролитый чай проступает твоё лицо.

***

Помнить о главном и вновь забывать о том,
Что не родным переулком ушла я в тень,
Город мне давит на плечи своим дождём,
Я вырываюсь туда, где твой светел день.

Где ты всё знаешь до камня на мостовых,
Красное, белое, храмы и острова.
Я, не нарушив законных границ ничьих,
Буду на проводе птицей шептать слова.

В горьком тумане привидишься у метро,
Сор моих мыслей сметая за тротуар.
Только того, что несу я внутри, не тронь.
Вдруг пригодится еще на какой пожар.

Любо — не-дорого, просто, как три рубля.
Не продаётся, с меня никакой торгаш.
Дай мне надежду, она, как всегда — с нуля.
Только ты даже полвзгляда, увы, не дашь.

Будешь кругами свой дом обводить и жечь
Листья октябрьские в тыкве на Хелоуин.
Я буду верить лишь в то, что смогла сберечь
Кадры на память, сама не попав ни в один.



Элина ВИТОМСКАЯ, Москва

***

Помани да вымани слово из головы,
поищи-ка удочку для приманки-звука,
выуди на́хлыстом, поездом из Москвы
увези его, тишиной его убаюкай.

Потому как нынче оно твоё, твоё,
в оркестровом трюме сиди, оформляй опеку,
даже если слово — совсем словцо, сырьё,
всё в коросте смыслов от всякого имярека.

Холотропно его продыши назад, назад, поснимай послойно значения, как с капусты, и тогда в системе заученных координат будет пусто и восхитительно пусто.*

** Холотропное дыхание — метод психотерапии, заключающийся в гипервентиляции лёгких за счет учащённого дыхания, в результате чего начинается торможение коры головного мозга, и активируется подкорка, что вызывает переживания, вытесненные в подсознание. Холотропные состояния оказывают воздействие на процессы мышления, человек переживает вторжение других измерений бытия.*

{приёмный покой}
от второго слова
вспотели ладони
и в поисках хладнокровия
ты сразу становишься
немыслимо занят:
две, четыре, шесть, семь
птиц, а лучше — птах
на проводах

{кардиологическое}
опа! — синкопа — и снова госпел,
а самописцы шуршат —
ничего страшного,
это просто экстрасистола,
неопрятность сердечного ритма,
который при должном зрении совпадает
с инверсионным следом бабочки,
беглянки из тонкого мира,
присевшей на лепесток
на мгновение



Александр ГУЛИКОВ, Зеленоград

ГОРАЦИЮ

Мой конь устал, он измучен, припал
Сонный, к плечу моему,
Тёплый, дрожащий, родной шестипал,
Едва одолевший хурму.
Тихо тебя в свой карман положу,
тихо я тронусь в путь.
Детские вздохи твои, и псалму
Невинностью их бы вздохнуть.
Под кожицей неба толчки нерождённых
Твоих изумлений и снег,
Яростно-нежный мой жеребёнок,
Помнящий смех комет.

СУДАК 2017

Медным светом окрасив смутные силуэты,
Не спеша отплывает солнце за грань планеты,
Я смотрю на часы: через пару мгновений
восемь,
Наступает осень.
Всё покорней кромсает бумага сплетения слов
Волчьей вытью в аорте вздохнул
Богослов.
В Судаке у Голгофы украли кресты,

Наташа, подайте хлысты!
По листве, точно дождь, рассыпаются
крылья птиц,
Вновь двадцатый… Ты Божий?
Тогда падай ниц,
Босы ноги и слепы глаза, а ты пробеги,
Чередою сплошь Великие Четверги.



Наталья КАУЛИНА, Москва

***

Дерево, как же я раньше не замечала,
Ты — лучшее, что может быть на свете,
У тебя есть корни и длинные ветви,
Над тобой — крики неспящих чаек.

Но мне кажется, ты само не замечаешь —
Корни твои врастают в звёздное небо,
Ветви к солёной текут к земле, отчаясь,
Прорастая словом, побегом вербы.

Но откуда ей быть здесь, над обрывом диким?
Где река внизу течёт так неспокойно,
Что ты не слышишь и птичьего ночью крика?
Но, всё равно… помаши рукой мне.

***

Ещё, казалось, нет добра и зла.
На берега, пустые изначально
Под облаками неспокойных чаек
Внезапно тень твоя тяжёлая легла.
Ты очертил знакомый сердцу круг
От встреч до расставаний и обратно,
И не хватает больше циферблата,
Как сцепленных нам не хватает рук.

***

Уносит день свой ветреный испуг,
Я тихой ночью буду звать обратно
Тебя, как сына и отца и брата,
И будет плавиться и таять звук,
Царапать не остывший за ночь шар,
Пока рассвет не вспыхнет новой свечкой,
Пока в ночи лишь тлеет дым предвечный,
И над водою носится душа.



Александр КИРВАС, Германия

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКОЕ УТРО

И площадей литых свинцовый глянец,
И шпили островерхих рыжих крыш,
Лишь око солнца с неба, щурясь, глянет,
Заворожённый миром, ты молчишь.

Немецкой речи режет говор хрусткий,
Взрезая бодро утреннюю тишь.
Ты вспоминаешь сердцем, что ты русский
И, впав душой в безмолвие, кричишь.

Разлилось утро стылой бирюзою,
Заря стекла за кромку сизых гор;
И пахнет воздух будущей грозою,
Весною ярой полнится простор.

И петушок на островерхой крыше
Златится, пышит в зареве огня,
Как будто знает мысли, душу слышит,
И потому так чествует меня.

И вижу, как над кирхою колышет
Залётный ветер чудо-петушка;
И знает сердце, что сейчас здесь с крыши
Сорвётся в бездну русская тоска.



Алина КОСТЮЧЕНКО, Москва

РИСУЙ!

Рисуй дома, соборы и мосты,
Теченье рек под этими мостами,
Деревья в шелесте, витрины, в них цветы,

Как девушки любуются цветами.
А где-то в небе — птицы, облака…
Внутри собора — перекличка хора,
И мягок свет, и музыка близка,
Близка Тому, Кто создал всё живое.
Там эхо отражается от стен,
Звучит латынь торжественно и просто.
Там время замедляет бег и день
Уходит медленно — сияет в стёклах солнце.

Прошёл тот день, и был насущный хлеб.
Рисуй, пока в стране не слышно горя.
Рисуй. Рисуй и красок не жалей,
Пока ещё не в тучах этот город.

ТРЁХГОЛОСИЕ

Южнорусские песни, грузинские песни. Их вспомнишь,
Может быть, перед самым концом. Это то, что осталось
В жестоком, безжалостном мире. И некуда деться
В двадцать первом печальном, ужасном, трагическом веке…

Это Троица с силой Её, воплощённая в звуке…
И с течением времени стихнут, замолкнут слова.
Но что в мире прочнее, сильней, долговечнее Слова?
Ведь по Слову построился мир, и Ему мир спасать.



Светлана КРЮКОВА, Москва

***

Маленькая родительская вселенная, солнце — огненный одуванчик.
Однажды облысеет, станет старым, однажды умрёт совсем.
Со всем, что рядом.
В мире замкнутых систем нет места бесконечности.

***

Быть большим, как это небо, это море, пески и ветер.
Ветер обязательно!
И чтобы девочка в розовом облаке улыбнулась тебе.
Всё остальное несущественно.

НЕТВАРНЫЙ СВЕТ

Когда бот станет Богом,
душа — ношей, кодексом, файлом… папкой!
И за каждым сервером
духом падкий юзер свято уверует:
«Я — Бог!»,
неизречённых глаголов ноль бит
перевесит
бесшабашную спесь бесью.

***

Крестьянские мысли пахнут хлебом, цветами Гоше,
ладони в трещинах, лица в ладони спрятаны.
Любовь вверить Богу — единой вселенской душе,
себе веру — мы крошки, мы капельки… атомы.

***

Научишься ходить по воде — иди по земле.



Александр ЛОГУНОВ, Москва

***

Над мира глубиною чёрной,
Среди печали ледяной,
Иди, кораблик обречённый,
Крылатый мой.
Светилу следуй виновато,
Не подымая парусов,
Вальсируя витиевато
Меж полюсов.

Объятия живые строги,
Обетованны и страшны.
Иди. Орбиты и дороги
Завершены.

…и долго слышал окаянный
Сердцебиенье тишины.
И тлела снасть меридиана,
Слетали сны.
Сияло небо, отворяя
Семижды семьдесят высот.
И молоко текло по краю,
И капал мёд.

Над мира глубиною чёрной,
Среди печали ледяной,
Иди, кораблик обречённый,
Господь с тобой.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Правды найти на миру никому никогда.
Правда является в ласточкиных проводах,
Отображается белой стезёй на сетчатке.

Видишь её? — Продолжай и веди до конца,
Разновеликую соль отирая с лица,
И исправляй неразумной судьбы опечатки.

Так и ходи по земле, не ломая печать.
Ласточке белой под силу ли перекричать
Полифонию бессмысленнейших восклицаний?

Но тишины жутковатой исполнится миг.
Всё, что отцы узнавали из дедовских книг,
Всё развернётся вот-вот наяву перед нами.



Наталья МАМЛИНА, Москва

1990-Е ГГ.

Мы — бражники, блудницы, наркоманы —
Вошли в полуразрушенные храмы
И различили запад и восток.
В нас чувства, пробудившись, стали резки.
Нас окружили выцветшие фрески —
На уцелевших полыхали раны.
И было ясно, где добро, где зло.

В те дни мы восставали против тлена,
Мы приносили к стенам Вифлеема
Свои окаменелые сердца.
Мы даже не мечтали о прощенье,
Но (притчу испытавши до прочтенья)
Почувствовали выходцы из плена
Навстречу нам спешившего Отца.

***

Под натиском ветра листва облетела.
Деревья трясло.
И дух мой метался по бренному телу,
Почувствовав зло.
Сменяла большое, большое несчастье
Тугая усталость.
И сердце моё разрывалось на части
И снова срасталось.



Вячеслав ПАМУРЗИН, Москва

***

Гадали по руке и голода искали
От линии судьбы до эрогенных зон.
Любовь до гроба, как больница в зазеркалье —
На миллион слепых один и тот же сон.

Страшилка табака, навыворот загадка,
И хочется чудес — да нету решета,
И жизнь — величина иного беспорядка,
Постольку удалась, поскольку прожита.

Слепить покровом век белёсые ожоги
Любимая моя не подойдёт ко мне.
Ей тоже снятся сны — их обжигают боги
В горниле облаков на ледяном огне.

Дорогу в никуда осилит не идущий,
И зябко до утра в метели гробовой
По сумеркам гадать, как по кофейной гуще,
Которая беда накроет с головой.

***

Не о том говорю, ни о чём говоря,
Ихтиандром во сне говорящим.
Непроглядна от века природа моя —
Человек-пароход-звероящер.
Лебедь, щука и рак, каманэ-марганэ,
Одиночества шаткий треножник…
Не идёт ни одна пирамида ко мне,
Не уводит от мыслей тревожных.
Сколько рак на горе головой ни крути,
Ни свисти, полыхая от гнева, —
Мне ни прямо пойти, ни направо пойти,
Ни налево, ни даже налево.
Напролом пробиваю дорогу мою
В глубину, в тишину, по спирали.
Не о том говоря, ни о чём говорю,
В кровь о камни календы стирая.

***

Непогожий край и хата моя впритык,
Злополучный вид и окна выходят боком,
Вековой бедлам, к которому я привык,
Потому что быть не трудно, когда не Богом.

Если сам грешил, что дело моё труба,
По душе ли, нет, себе выбирая снасти,
То поди ты знай, кто плотник, а кто рыбак,
Золотых ли дел ты или заплечных мастер.

Отвела труба, я был на седьмом краю
От кривой любви с нелёгкой своей свободой.
Мне один дурак поведал, что я творю,
Я в глухом раю один не в ладах с погодой.

В неуютном сне, как будто в чужом дому,
Я взвожу глаза, от боли не взвидя света.
Как поверил Бог опять не в того Фому,
Так теперь Фома никак не поверит в это.



Кира ПЕШКОВА, Москва

магазин здорового питания
здравствуйте — процветаете? — процветаю
каково ваше похмелье?
спасибо, несильное
больше не пейте
больше не буду
а у нас новые биойогурты
самые натуральные вы не думайте
самые био и даже по акции
хотя какая экономия на здоровье вы сами подумайте
я подумаю
я обо всем подумаю вы не думайте
приходите еще и будьте здоровы
если начнёте есть правильно жить правильно всё поменяется вы вот увидите
сигарету выкиньте алкоголь вылейте
отдайте музыкантам уличным маргиналам этим поганым хотя думать нужно тоже
правильно с добром думать нужно понимаете
так и камни говорят растворяются и квантовые переходы происходят и вообще вселенная
на добре волне работает
вот вы ей говорите хочу а она дает вам если думаете правильно и просите тоже правильно
и вся энергия космоса на вас работает вы попробуйте вот увидите
вот у вас там камень в поджелудке так это вы думали неправильно жили неправильно
пили курили обижались много в основном обижались конечно вот поэтому
так и до наркотиков недалеко вы подумайте где наркотики а где бог
психотерапевты они кто вообще они не нужны это медиазаговор нужно видеть вселенную
слушать вселенную мандалы по утрам разукрашивать по вечерам тоже можно за вечерним
биойогуртом пока комнату перед сном проветриваете ведь в холоде и сон здоровее и мысли
чище а космос ведь он весь на ваших мыслях работает
вы очищайтесь скорее да поезжайте в крым здоровье поправлять в море купаться там вода
солёная люди добрые мирные свежие чистые земля русская йогурты натуральные вино
домашнее
родите в двадцать ведь дал бог жизнь даст и на жизнь вы сами знаете
маму порадуете стихи напишете хорошие про море жизнь небо там вас в газете напечатают
литературной красивой фотографии в интернете разместите
мы скоро в крыму филиал откроем будете к нам ходить за биойогуртами и цены опустят и
санкции отменят когда путин начнет думать правильно и энергией космоса пользоваться

мир начнет говорить на одном языке утилизировать батарейки носить старую одежду
чтобы не шить новую ходить на курсы правильного дыхания советоваться с природой и
есть одни биойогурты
мы считаем так правильно
вы подумайте тоже приходите еще мы вас ждем спасибо за покупку будьте здоровы
подумайте



Екатерина ПИОНТ, Московская обл.

***

Опять земля покрылась снегом белым.
И в воздухе снежинок хоровод.
И надо бы заняться лучше делом.
А я стою…
Смотрю,
Как снег идёт…

ПРОДАВЩИЦА

А тёти-Лушины руки
Крыльями мне казались
В том, у моста, раймаге,
В детстве моём далёком.
Сколь километров ткани
Старые отмахали?!

После уроков, с портфелем,
Я наблюдала подолгу,
Как большеглазая птица
Снова взлететь пыталась…

ПЛОТНИК

Мой отец стал плотничать подростком.
Он полвека с топором, пилой.
Карандаш за ухом, папироска.
И четыре класса — за спиной.

Жил в фуфайке. Без обид и злости —
А меня не спутает никто.
И на праздник, собираясь в гости,
Надевал суконное пальто.

И крепил он слово честным делом.
Как перила ставил на крыльцо.
Как он танцевал кадриль… Умел он
Подлецу сказать «подлец» в лицо.

А дома, что строил он на счастье,
Сколько лет с тех пор уже прошло,
Там стоят! Как он же — коренасты.
И стоят надёжно. Хорошо.

Выходил из дома утром ранним.
Было слышно, как вздохнула дверь.
Нёс он гордо ящик деревянный,
Как иной увесистый портфель.

***

И пою я, как плачу.
Плачу я, как пою.
Я готова взять сдачу,
Если в честном бою.

Если счастье большое
Мне, но не по годам…
Посмотрю, что — чужое,
И обратно отдам.



Екатерина РАТНИКОВА, Московская обл.

***

Я слов не читаю, а вижу их все в лицо:
Рисунки, виньетки и текст для детей едины,
И мне невдомёк, что с годами в конце концов
Забудется всё, только это неизгладимо,

Что взрослым учиться так тщательно смысла
нет —
В глубины вещей не пускает упрямый разум.
… Я знаю их вкус, знаю запах, структуру,
цвет,
Я вижу страницу — как мысль и картину разом.

Что ж, в тридцать — я кладбище многих надежд
и дел.
Другие дела мне даются взамен, как милость.
Как ярок был свет, как же медленно он редел,
И дверь приоткрыта была, а теперь закрылась.

***

Смерть родных учит нас умирать по частям,
Как забытый под яблоней треснувший плод.
Так у озера старая ива гниёт,
И гнилая вода подступает к ветвям.

Эту боль не понять — с каждым часом не та,
С каждым годом тоскливей, прозрачней,
странней…
Понемногу растёт изнутри пустота,
Но здоровая плоть растворяется в ней.

Я прошу: в час, когда позабуду слова,
И моей пустоте станет тесно внутри,

Посмотри на меня, как в окно, посмотри
И скажи мне, что я не права.

Что привычная тяжесть не вовсе уйдёт,
Просто сменится мир, как меняют жильё.
Просто сердце сорвётся, как с яблони плод,
Умирающий раньше неё.



Татьяна А. УСТИНОВА, Москва

БЕЗДНЫ И ЗВЁЗДЫ

Никогда ничего не считай своим,
Кроме своей души.
Никогда не ходи за собой самим,
Путаясь, не спеши.

Никогда никого не проси дышать,
Каждый решает сам.
Никогда не бери на себя кладь
Ту, что не по плечам.

Никогда ничему не давай имён,
Кроме своей звезды.
Никогда не веди за собой племён,
Будешь виновен ты.

Никогда никому не давай совет,
Каждый себе палач.
Никогда не предай свой душевный свет,
Если захочешь — плачь.

Из пустот звезду для себя сотвори
Силой своей души.
В бездне жизни звездой гори.
Время идёт, спеши…

НАДЕЖДЫ

Не питайте надежд на далёких и верных —
Им, таким же, как мы, было велено ждать
Безнадёжно наивных и сокровенных,
Чтоб собою пополнить несметную рать.

Не тушите свечей — они ярче созвездий,
Они ввинчены в кольца ночной тишины.
И дождитесь от неба последних известий —
Все маршруты известны и предрешены.

И, наметивши путь по задворкам Вселенной,
Полюбуйтесь на отблески тающих звёзд,
Что, блуждая в потёмках по вечности бренной,
Заставляют срываться с «насиженных гнёзд».

ЧЕЛОВЕК

Hómo hómini lúpus est* —
Прискорбно, предельно, не но́во.
Человек одинок как перст,
Даже за руку взяв другого.

Hómo hómini lúpus est —
Обезлюбливает природа.
Пустит по́ миру волчий крест,
Измотает себя порода.

Hómo hómini lúpus est —
Человечья глухая стая
Боязливо глядит окрест,
Безнадёжно в пути плутая.

_____

* Hómo hómini lúpus est — «Человек человеку — волк».



Снежана ХОЛОДОВА, Москва

КАРЕЛИЯ

Легко, как после баньки по-чёрному.
Светло, как после церкви на выселках.
Свежо, как вдоль по руслу кручёному
В камнях, где время летопись высекло.

Туман — молочной пеной в подойнике.
Во мху стоим язычески-босыми.
Молчат угрюмо ратники-хвойники,
Следят за адамантами-росами.

Я здесь, в чужую сказку попавшая,
Как в старь, к варягам, с предками-греками.
Постель листвой устлали опавшею,
Купель сменили бурными реками.

Закат, червонным золотом вышитый,
Горит атласной лентой карминовой.
И Он, так близко, — можно ли ближе-то? —
Дарит рубины грозди рябиновой.

Колдун, не разберу, или праведный,
В глаза глядит с вопросом — а верю ли?
Когда бессонно вставшая завидно
Молюсь камням замшелым Карелии.

ДЕЛЮСЬ

Счастье моё, разбитое на осколки,
Бисером разлетелось в траве высокой,
Скрылось в корнях меж репейником и осокой.
Сколько же мне собирать приходилось, сколько?!.

Птахой — по ягодке в кроне калины алой,
Мышкой-норушкой по зёрнышку в поле голом.
В сердце, подтравленном болью и валидолом,
Капля за каплей, скопилось горой немалой.

Вроде бы — в мутной воде золотой песочек,
Вроде бы — в горной руде самоцвета кроха…
Смотришь, а вышло в итоге не так уж плохо:
Россыпью точек запряталось между строчек,

Брызгами слёз растворилось в морском прибое,
Каплями рос на траве испарилось летом,
Тенью, не видимой в дождь, семенило следом.
Так подставляй ладони, бери с собою

Ветки сосновые в рыжих лучах рассвета,
Листья кленовые в мокром осеннем парке,
Фенечки на запястьях — мои подарки.
Я соберу ещё, я умею это.

01.02.2016



Ульяна ЦОЙ, Московская обл.

***

Сны уходят так же легко, как уходит сентябрь.
Холодные руки становятся чем-то обычным.
И вспоминается блоковское «…как встарь…»
Слова — это просто слова, когда обезличены.

А жизнь — это цифра из цифр и немного скитаний
от берега к берегу и от мечты до мечты;
Это любовь, знающая о расставании.
Но всё же, в итоге, или тебя, или ты.

Как же легко говорить о чём-то бессмысленном.
О Боге, о справедливости, о самосознании.
И чувствуешь самым нутром ту самую истину,
Когда диалога вершина — это молчание.

***

Горела лампа, падал снег.
И растекался воском год.
Ко мне не шёл мой человек
И не придёт.

Ломался час, как тонкий лёд.
И не с кем было помолчать.
Всегда вперёд. Всегда вперёд.
И не прощать.

Тоска — бесценный верный друг,
Способный выстрелить в упор.
Ну а пока — глядеть вокруг:
Какой простор!

Квартира состоит из стен,
В которых правит тишина,
Из книжных полок, где Верлен,
Рембо, Дюма…

Так много слов, так много книг.
Так много слёз, так мало лет…
Глядишь в окно: рассвет возник.
И гасишь свет.

Водоворот сцен и картин,
Но как ни думай, не соврёшь:
Приходишь в этот мир один.
Один уйдёшь.



Анастасия ЧЕРЕНКОВА, Москва

ШЛЯПНИК

Безумный Шляпник шутит невпопад,
Смеётся громко, щурится лукаво,
Макает в чай зелёный виноград,
Но пьёт коньяк из винного бокала.

Косит глазами, яблоко даёт
И пальцы разжимает неохотно,
В сердцах себя ругая: «Идиот!
Алис сейчас любить уже не модно».

С коварною улыбкой до ушей
Девчонке подливает из графина.
Она — его болезнь, а кто он ей?
Бессмысленно, но так невыносимо!

Чеширский кот забрал с собою день,
Оставив полумесяца улыбку.
Алиса под ногами ищет тень,
А Шляпник налегает на наливку.

***

Небо не дышит, а я не кусаю губы,
Время уходит сквозь пальцы седой росою.
Нежный ещё вчера, он сегодня грубый,
Ветер весенний, такой же, как был зимою.

Я не кусаю губы, не плачу, прячу
Волосы в косу, а косу беру и режу.
Таня сама пустила по речке мячик,
Мячик уплыл. Мячик думал, его удержат.



Роман ШИШКОВ, Нижний Новгород

***

Уедем в Ивановскую глушь.
Переставим в Моторолу симку
(только для звонков родителям
в тех местах, где будет ловить).
Спрячемся от всех людей на печке
среди снегов.
Только ты, я и советские книжки
из 80-х, когда цензура ослабла.
И нет времени, и нет погони,
И нет тревоги.
Всё застыло киселём из местного ларька
(ну как, местного — 7 км пешком
или на попутках).
Тишина.
Тишина — блаженная.
Уедем в Ивановскую глушь
к оставшимся доживать свой век
пенсионерам.
Будем носить им хлеб, а они
поить чаем, доставать соленья,

смотреть сквозь радужку слёз
на нас.
Кто-то будет скучать по тем временам,
В которых скучали мы.

КИТАЙСКАЯ ГРУША

На китайской груше притаился иероглиф,
Мне её принёс сосед — переехавший китаец.
У него в квартире краска вся на стенах
облупилась,
И местами лишь заметна пуща зелени былой.
Я попробовал ту грушу, изумился её вкусу,
Накормил я ею хворых зимних грустных
голубей.
И китайцу в благодарность я принёс немного
риса,
Он же мне вторую грушу в древней длани
протянул.
Были воткнуты две спицы в мякоть нежной светлой плоти,
И внезапно поло-
малось-
всё-про-
странство-
наше-
время.

Голуби летели здравы в этой сломанной зиме.



Роман ЯПИШИН, Челябинск

СОЛЁНАЯ ВОДА

На улице запахло чёрным воронком,
И камень, не сдержавшись, рассмеялся.
Я пепел для тебя пропел тайком
И подоткнул под сердце одеяльце.

И вышел за солёной злой водой,
Текущей под лежачий камень.
А ты спала у кромки золотой,
Качаемая в такт товарняками.

Жизнь воспевают мухи на окне,
Часы протягивают нам свои пружины,
Кровоточат глаза у окуней,
Так молятся за нас речные старожилы.

И плачет нам сухая стрекоза,
Вчера переродившаяся в птицу,
Что хочется до боли ей назад
Лишь потому, что невозможно возвратиться.

А я вернусь к тебе с непрошеной водой,
Ты постареешь, но меня узнаешь.
Прости, я всё такой же молодой.
Я виноват, родная.

ВОЛНА

Поскольку ты вышла из ветра,
Я дал тебе имя — Волна,
И сразу в окошке, за кедром,
Прорезалась осень из сна.

И сразу на ней почернели
Прогалины мёрзлой земли,
Как будто спустились с постели.
А мы с тобой так не могли.

Ведь не было света, а после
Не стало и тьмы никакой.
Всё было и кончилось возле
Реки, что зовётся «рекой».

И не было смысла, иначе
Была тишина бы иной.
Всё было и кончилось, значит,
Кончай притворяться волной.

Останется жёлтая жилка
И родинка! Родинка, да.
Твоя непростая ухмылка,
Стекающая, как вода.



Иван АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Москва

***

Когда я с тобой наиграюсь,
Невольная память моя,
Я цепью ворота сарая
Свяжу, никого не таясь,
Рукой, как обычно, соседу
С улыбкой махну без труда
И, словно по делу, уеду
Отсюда уже навсегда
В безродной пародии Ялты
С судьбою играть в поддавки,
Где вечно на привязи яхты
Качаются как поплавки,
Под стук молотка в приговоре
В беззвёздную выпаду ночь,
И прах мой холодное море
С брезгливостью вытолкнет прочь,
А твой, крепко спутанный, кокон —
Напрасно спасения ждать —
Оставлю в сарае без окон,
Где без толку звать и стучать,
В углу, где царит беспорядок
Из мифов, вещей и обид,
Где лук мой рябиновый спрятан
И детская шпага стоит.

***

По низинам ещё притаился
В чёрной пене язык ледяной.
Но ему, сколько б он ни змеился,
Не управиться с этой весной.

Полыхнёт изумрудное пламя,
Зашумит над холодной землёй,
Не заметив различий меж нами,
Всех признает единой семьёй.

Гордо встанут с колен огороды,
Задымят шашлыки и трава.
Одинокие наши народы
Подберут золотые слова.

Мы ещё от Некрасова знали,
Что настанет такая пора,
И терпели, боролись, страдали…
И терпели… Но это вчера.

А сегодня, развеяв ненастье,
Одолев и войну, и суму,
К нам пришло искушение счастьем.
Неужели поддамся ему?



Мария ЗАТОНСКАЯ, Саров, Нижегородская обл.

ОДНАЖДЫ

Однажды меня коснулось искусство —
бабушка солировала в Доме культуры.
Светились-звенели стеклянные люстры,
ангелочки с гипсовой шевелюрой

с колонн свисали,
бабушка пела «Аве Мария», и это Аве
стекало водой в голубое моё.

Маленькая девочка
расправляла ладони и плавала:
«Мама, я здесь!
чуть-чуть ещё и — домой».
Она ныряла-выныривала из синевы.
Воды всё больше — насколько хватает глаз.
— Плыви, Мария, — бабушка пела, — плыви.
И я тогда захлебнулась!
и — началась.

НА ВЫРОСТ

Мне дарят книги на вырост (Хэмингуэя, Ошо).
Бабушка покупает новые спицы:
вяжет братишке свитер на пару размеров больше —
ему пригодится,
он вытянется, проступят скулы из пухлых щёк.
А я уже взрослая, и не знаю, вырасту ли ещё.

***

Актрисе Э. Арсеньевой

Занавес. Извините, вы просыпали чётки-строчки.
Вам помочь? простите, понимаю, сами, сами.
После спектакля на сцене прибираются рабочие
и находят бусины со стихами.
В гримёрке вазочка уже почти полная,
досыпала горстку бусин. Каждая — эхом в судьбе.
Бегу, стучу в двери: — Ещё потеряли! — взволнованно.
Открывает: — Не нужно, деточка, у меня много, оставь себе.

***

Если бы наверняка знать,
из чего поэзия состоит,
как шьют её так, что у строк нет шва,
а ткань — невесомая.
Подносишь к окну её, на просвет —
а она — прозрачна, будто её и нет, —
только рама, в которую вставлена синь,
и оттуда в меня смотрит бездна.

И страшно, и голос во мне: «отвернись»,
но кажется, если я отвернусь,
то сама исчезну.



Надежда КЕЛАРОВА, Северодвинск

***

У меня есть знакомый. Усталый и близорукий.
Вечно с чашечкой кофе, одетый в пиджак и брюки.
Принимающий всё: от дресс-кода до факта смерти,
Называющий жизнь предсказуемой круговертью.
Вместо светлых эмоций — железный исход событий,
Вместо действий и планов — умение щепкой плыть и
Разговоры про фатум и «незачем болтыхаться».

У меня есть знакомый. Ему навсегда семнадцать.

Он неловкий, упрямый и просто безумно рыжий,
Обожающий море, летающий с гор на лыжах,
С миллионом идей и мозолями от гитары,
У него звонкий смех, светлый взгляд и мечты — радары.
Повторяет: «Конечно, мы сможем дойти до цели!»

Но спустя пару лет: крепкий кофе, тоска и телик.

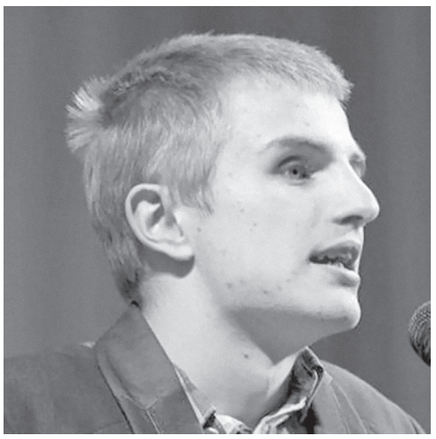
У меня есть знакомый. Усталый и близорукий,
Вечно с чашечкой кофе, одетый в пиджак и брюки.
Он плетётся домой, раздевается, греет ужин,
Зная, близится ночь, что вытаскивает наружу
Что-то юное, нежное, звонкое и больное:
Веру в чудо, наивность, отравленные виною,
То, что думалось выкинуть к чёрту молчанья ради.

Но летит снег за ворот и светятся рыжим пряди.

***

Это всё от того, что мне некому петь о спрятанном.
А слова хотят выбраться. Буквами бьются, бесятся.
В маленьком теле и тесно, и как гранаты, но
Я убираю от сердца до горла лестницу.

Это всё от того, что мне некому, но желание
Говорить, говорить, доставать из себя горящее
Не затихает.
Я рвусь на ошибки, дела и не
Не воскресаю в счастливое настоящее.



Василий НАЦЕНТОВ, Воронеж

***

А таять начинало в феврале,
в десятых числах, к Сретенью Господню.
Я жил гораздо меньше на земле,
чем не́ жил. То, чего я стою,
уместится в синичий чёрный клюв,
да выпадет, да вырастет, согнётся.

И будет снег и солнце к февралю,
и снова снег, и снова будет солнце.
А таять начинало. И в дыму —
цигарочном, густеющем, тягучем —
мы уходили вдаль по одному,
но оставляли след. На всякий случай.

***

Я молод. И мне нечего сказать
о имени и времени своём.
Как ветка жилиста, повёрнутая вспять
сочувствием воды, когда вдвоём
проходим сквером оттепельным, где
скворец неприлетевший говорит.
Он замер. Он по клювик в воздух вбит.
А наши речи и верней, и глуше:
как холодно в России, как светло
и как могло быть хуже.

***

О боли, о добре, о сигаретах «Прима»,
о том, что человек уходит налегке,
печально и светло, строкой, полоской дыма,
на ясном и простом, на птичьем языке.
И след его и слог не рассекает света,
горчит по деревам не-музыка листвы,
не-смерть его, но звук зелёного завета,
но долгое дыхание стареющей травы.
По жилистым ветвям выстукивать, молиться.
Окраина небес в протянутой руке
о том, что человек — не человек, но птица,
не птица, но строка на птичьем языке.

***

Осенней бабочки неровен час полёта,
в ней, безъязыкой, тишина и свет.
Я вместе с бабочкой родился для чего-то
надмирного. Меня, наверно, нет.
До слов о смерти и до всех смертей —
пророчества незримая работа —
седьмое небо от седьмого пота
за письменным столом моих локтей.
Бессмысленный уют, но мы вдвоём
ещё не знаем,
что дом, несокрушимый дом,
с огромным деревом
уже построен нами.



Елена СИВАЧЁВА, Санкт-Петербург

ВЕСНА 59°57 30°19

В историческом центре моих размышлений о мире,
Там, где въезд ограничен, плачу за парковку вперёд.
Растворяя себя в равнодушно-чужом эликсире
Пёстрых слов и прохожих, взрослею я на поворот,
За которым соблазн суеты мой баланс не нарушит.
Допиваю исполненный радости вечер до дня.
Безмятежностью рек и каналов в бушующей суше
Неожиданно пылко весна обнимает меня.

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Последним быть не веселей, чем первым,
Особенно, когда ты — просто снег.
Весной тебя не замечают в сером,
Простывшем городе четвертый век.

А я бы вам позировал для фото,
А я б напомнил вам про волшебство,
Следы бы научил читать кого-то
И тем счастливей сделал бы его.

А вы мне будто бы совсем не рады
Подснежниками грезите, листвой.
И я смущаю вас своей прохладой…
Ars longa, мне недолго быть собой.

ОСТОРОЖНО, ЛЮДИ ОТКРЫВАЮТСЯ

Выходя из себя, не выходишь из зоны комфорта…
Каждый — друг и попутчик и каждый — невольный стрелок:
Попадает в тебя своим смыслом, изрядно потёртым,
Даже дно превращая то в палубу, то в потолок.

Каждый знает о том, что неведомо первопроходцам,
Столь беспечно открытым и неравнодушно живым.
И агрессией полнятся дни, как плевками — колодцы.
Оставайся в себе — и окажешься неуязвим.



Маргарита ЧЕКУНОВА, Тюмень

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

Здесь, как ни думай, всё предрешено.
Вот комната за аппаратной следом,
где снимут в жанре скучного кино,
какое и не снилось нашим дедам.

Что будет дальше? Будет фестиваль,
где сотни вер смешаются. Их миксер,
всё размолов, начнёт торжествовать,
светясь из камер в сотни мегапикселей.

Ну а потом маршрутка, и лететь,
смотреть в пути, как бьют младенца руки
той женщины, что родила детей
как минимум от похоти и от скуки.

Мне всё равно, кто первый, кто второй.
Мне всё равно, поскольку я не с ними.
Со мной есть самый пламенный пароль,
которым не поделишься с другими.

В разгар ночи, и в этот симбиоз,
В апофеоз гордячки и плодячки,
фонарик мой, мой призрак, мой пегас,
спаси меня от мёртвой спячки.

И я не знаю, кто ты и откуда,
мой ангел на плече в маршрутке в горький час.
Но если здесь давно не верят в чудо,
вполне возможно, чудо верит в нас.

***

Я молча смотрю. Мигают часы на стенах.
Сто мыслей, несвоевременных, несовременных:

как падала в снег, разбивая о лёд колени,
как слышала в смехе симфонии поколений,
как видела раздвоение, растроенье
двуногих упрямцев, не верящих в исчезновенье
своих идеалов и вынужденных скрываться,
как мир повернулся спиной, а тебе — только двадцать,
как знала, что тон не зависит от камертона,
а любить платонически — выше идей Платона,
как писала слова молитвы на льду нечётко,
и кричала толпе, как может кричать девчонка:
«пускай дан орлу полёт, а пингвину — ласты,
последний — взлетит!» — и меня не любили схоласты.

По-прежнему верю в то, что однажды приснилось,
пусть небо за тысячелетье не изменилось,

и мой инструмент — это резкий смычок Минервы,
и век восемнадцатый — лучше, чем двадцать первый,
и в тонкой одежде абсурда и грёз пришедших
я лучший друг всех истинно сумасшедших.

Пусть пух откровений не крепче бетонной фальши,
мне хочется верить, что всё повторится дальше.

Литературно-художественное издание

День поэзии — XXI век. 2018–2019 год

Альманах:
стихи, статьи

Дизайн — Анастасия Евменова

Подписано к печати 19.10.2019. Формат 60x84/16
Бумага офсетная. Печать офсетная,
гарнитура «PT Serif». Печ. л. 34. Тираж 500
Заказ №

***

Отпечатано в типографии «Любавич»
Санкт-Петербург, Менделеевская ул., 9
Телефон/факс: 8 (812) 603-25-25, 8 (812) 333-96-06